

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

М.А.ТУРЬЯН

СТРАННАЯ МОЯ СУДЬБА

Памяти моего мужа
Натана Матвеевича Давидовского


ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

М. А. ТУРЬЯН
СТРАННАЯ МОЯ СУДЬБА

О жизни Владимира Фёдоровича Одоевского

МОСКВА «КНИГА» 1991

ББК 84Р7-4
Т 89

Вступительная статья
В. Э. Вацуро

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Художник
В. Ситников

Редактор
Т. В. Громова

Мариетта Андреевна Турьян

"СТРАННАЯ МОЯ СУДЬБА...
О жизни Владимира Федоровича Одоевского

Редактор издательства Е. Л. Новицкая
Художественный редактор Е. Ковалева
Технический редактор А. З. Коган
Корректор Э. М. Тахтарова

ИБ № 1627
Сдано в набор 06.06.90. Подписано к печати 27.09.90. Формат 60x90 1/16. Бум. кн.-журн. Гарнитура "Пресс-Роман". Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,0. Усл. кр.-отт. 25,0. Уч.-изд. л. 29,53. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4509.
Заказ № 1207. Цена 4 р.

Издательство "Книга". 125047. Москва, ул. Горького, 50.
Набрано на композере издательства "Книга".

Отпечатано на Ярославском полиграфкомбинате Госкомпечати СССР.
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Т $\frac{4702010201-010}{002\ (01)-91}$ КБ-12-32-90

СУДЬБА "РУССКОГО ФАУСТА"

Среди культурных деятелей пушкинской эпохи, да и всего русского девятнадцатого века, герою этой книги – князю Владимиру Федоровичу Одоевскому – принадлежит одно из самых почетных мест.

Он не был обойден вниманием – ни у современников, ни у потомства. Один из немногих, он не стяжал себе смертельных врагов в эпоху бурных литературных и общественных полемик. Его ценили Полевой и Пушкин, Шевырев и Белинский; он пользовался приязнью в среде декабристов и в кругу высшего правительственного чиновничества, а позднее, уже в конце жизни, его считали князем-демократом. Нравственная репутация его была неоспорима, как и культурные заслуги: он оставил свой след в истории русской прозы, критики, литературной и музыкальной, философии, педагогики, законодательства, библиотечного дела и даже кулинарного искусства; в эпоху обособления наук он сумел остаться принципиальным энциклопедистом. И интерес к его личности и творчеству сохранился до наших дней, то ослабляясь, то усиливаясь, но не исчезая вовсе. Единственный из "младших светил" пушкинской эпохи, он стал героем классического историко-культурного труда – монографии П. Н. Сакулина "Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель" (М., 1913. Т. 1. Кн. 1–2), основанной на материалах его обширного архива. Две книги, общим объемом более тысячи страниц, составили лишь первую часть задуманного, но не оконченного Сакулиным грандиозного труда. Семьдесят пять лет последующего изучения вызвали к жизни около трехсот книг и статей – переизданий, публикаций, историко-литературных и теоретических работ – целую библиотеку на нескольких языках, посвященную Одоевскому. В последней по времени английской монографии Нейла Дж. Корнуэлла "Жизнь, эпоха и среда В. Ф. Одоевского" (Лондон, 1986) библиографический список занимает тридцать страниц.

Эта библиотека пополняется теперь еще одной книгой – той самой, которую читатель держит в руках.

Автор ее – М. А. Турьян – является сейчас одним из лучших знатоков творчества Одоевского. Ей принадлежат специальные работы о повестях Одоевского 1830-х годов, о связях писателя с фольклорной и литературной традицией, в частности об истории взаимоотношений его с Пушкиным и И. С. Тургеневым. Но на этот раз исследователь предлагает нам не историко-литературный труд, а опыт целостной биографии писателя Одоевского. Добавление нелишнее: книга доведена до середины

1840-х годов, когда окончился писательский путь Одоевского: жизненный путь его продолжался еще почти двадцать пять лет.

Читать эту книгу можно по-разному.

Читатель, мало знакомый с историографией пушкинской эпохи, найдет в ней связный, последовательный рассказ о формировании личности выдающегося писателя и мыслителя; он будет вникать в перипетии его биографии, где события совершенно личные и семейные тесно переплелись с интеллектуальными исканиями; он будет смотреть глазами Одоевского на "архивных юношей", – затем на Пушкина, Гоголя и Лермонтова; входить в салон, где собирались лучшие литераторы эпохи, и в кабинет "русского Фауста", украшенный черепом и ретортами; он познакомится, и, возможно, впервые, с теми произведениями Одоевского, которые не вошли еще в круг повседневного чтения, – а затем, может быть, возьмет в руки "Русские ночи" или недавно переизданную "Космораму", чтобы погрузиться в своеобразный полуреальный, полуфантастический мир, населенный философствующими мечтателями и стихийными духами.

Искушенный же читатель, в особенности знакомый с литературой об Одоевском, будет поражен.

Он обнаружит – и, вероятно, с немалым удивлением, – что известный ему облик отрешенного от житейских забот литератора и ученого, независимого, живущего скорее интеллектом, чем чувством, окруженного семейным комфортом, дающим ему спокойствие и досуг для ученых занятий, – иными словами, тот облик Одоевского, который сложился в сознании современников и потомства, – начинает двоиться и распадаться, приобретая новые, не известные ранее черты.

Жизнь Одоевского мы представляли себе поверхностно и неполно. Авторы исследований о нем, – иной раз весьма высокого уровня, – почти не интересовались его биографией, а обилие работ создавало иллюзию изученности.

М. А. Турьян, кажется, впервые рассказывает нам о детстве и ранней юности будущего писателя. Она обращается к генеалогическим материалам, семейной переписке, хозяйственным документам. Из них вырисовывается драматическая картина распада семьи, социальной ущемленноста, полусиротского детства и ранней юности потомка Рюриковичей, вынужденного в пансионские годы перекраивать и перекрашивать себе старое платье. Семейная драма, вторжение в детство писателя отчима – человека малокультурного, алчного и грубого – породили глубокую раздвоенность в сознании подростка и чувство отчуждения от ближайших родных, отравлявшее ему жизнь десятки лет. Все это сродни тем социально-психологическим феноменам, которые мы знаем по романам Достоевского. Эта драма была тщательно скрыта от окружающих, но биограф, уяснив ее себе и открыв читателю, получил возможность взглянуть другими глазами на всю последующую историю личных и социальных взаимоотношений своего героя. Теперь то, что ранее проходило мимо внимания исследователей, приобретает особое значение. Юношеский "Дневник студента", рассматривавшийся до сих пор исклю-

чительно как факт литературного творчества Одоевского, прочитывается теперь как человеческий документ; в пансионских письмах к матери звучат не слышные ранее драматические ноты. В свою очередь этот пласт биографического материала влечет за собою находки в области литературной биографии; так, из книги М. А. Турьян мы впервые узнаем о напечатанных анонимно или под псевдонимом ранних стихах Одоевского.

Здесь можно было бы обратить внимание читателя, что с неизданными документами и не известными ранее данными он будет сталкиваться в книге неоднократно. Иные из таких находок могли бы стать основой для самостоятельных этюдов и статей: таково письмо Одоевского Соболевскому 1826 года с подробной характеристикой его отношений с Грибоедовым или записки Н. Н. Ланской с новыми сведениями о Лермонтове. Но архивная находка, обычно поражающая воображение любителя, для серьезного исследователя – не самоцель, а лишь недостающее звено в общей картине. Неизданных бумаг Одоевского – тысячи; искусство биографа в том, чтобы выбрать из них самое необходимое и существенное – то, что ближайшим образом служит поставленной задаче. Задачей же является прослеживание жизненного и творческого пути писателя. Именно поэтому, как и в рассказе о детстве и юности Владимира Одоевского, внимание биографа обращено вовсе не на сенсационные "находки". Маленькие и на первый взгляд совершенно неинтересные деловые записки Одоевского и Титова 1827 года вдруг предстают ему как несущие драгоценную информацию. В течение десятков лет историки пытались найти подтверждение глухому свидетельству Одоевского, что он принимал участие в подготовке цензурного устава 1828 года – одного из самых примечательных и прогрессивных документов русского законодательства о печати в пушкинское время. Теперь эти подтверждения лежат перед нами.

Писатель, философ, музыковед и кулинар раскрывается нам еще одной ипостасью своей натуры. Чиновник, да; государственный служащий высочайшей образованности и трудолюбия, не жалеющий сил для улучшения российских законов. Именно такие люди брали на свои плечи тяжкое бремя труда и ответственности в любые – даже в темные – времена русской истории. В книге рассказан еще один эпизод, до сей поры неизвестный, – когда Одоевскому было поручено подготовить материалы для кодификации грузинского законодательства. Он изнемог под почти непосильным для него бременем; он изучил законы царя Вахтанга, он собрал все, что мог, о социальных, бытовых, национальных отношениях почти неведомой ему ранее страны. Он доказывал необходимость законов органических, естественно вырастающих из векового уклада, – и быть может, отчасти ему цивилизация была обязана тем, что на Грузию не были распространены отношения крепостного права. Но здесь уже в нем говорил не только ученый-историк и социолог, доказывавший с фактами в руках, что крепостничество не было свойственно Грузии исторически, – здесь слышался голос и русского политика и общественного деятеля, не приемлющего крепостничества вообще.

Уже одни эти примеры, – а число их можно многократно увеличить, – показывают, с какими проблемами приходится сталкиваться биографу Одоевского. Жизненный путь этого человека неотделим от творческого пути: жизнь его была деятельностью, деятельность – жизнью. Вне творчества, вне постоянной, напряженной интеллектуальной работы Одоевский как личность не существует: это будет другой человек. Биограф Одоевского поэтому обязан быть и историком литературы, журналистики, общественной мысли. Специальные главы и части глав книги посвящены экскурсам в эти области. Этого мало; на протяжении жизни Одоевский общался с бесконечным рядом людей, принадлежавших к самым разнообразным социальным и культурным сферам: от провинциального чиновничества до придворных особ; от петербургского "дна" до иностранных дипломатов. Его жизненный путь пролегает через старомосковское барство, через кружки московских "либералистов" – любомудров, соприкасается с декабристским кругом в лице Кюхельбекера, Александра Одоевского и многих других, через петербургский пушкинский круг, редакцию "Отечественных записок", бытовое и литературное окружение Лермонтова. Все эти люди, кружки, общества так или иначе появляются на страницах биографического повествования об Одоевском. Биография писателя перерастает в биографию поколения.

Здесь нужно отдать должное литературному искусству автора, сумевшего точно выстроить биографический сюжет, подчинив ему весь этот разнородный материал, очень трудный и для осмысления, и для изложения, найдя гармоничное соотношение между центральным и побочным, сюжетной линией и экскурсом. В этом сложном целом свое место занимает личная и даже интимная жизнь героя повествования.

Об этой стороне жизни Одоевского до книги М. А. Турьян мы не знали решительно ничего.

Кажется, никто из исследователей "русского Фауста" и не предполагал возможности той глубокой, скрытой от всех любовной драмы, которую пережил этот человек, – и, конечно же, не знал о той роли, какую сыграла в его жизни Надежда Николаевна Ланская. И уж тем более никто не искал проекции духовной драмы Одоевского в его литературном творчестве.

Между тем в одном из своих писем Одоевский обронил горькое признание, что знаменитые "Пестрые сказки" несут на себе отпечаток чисто личных переживаний и что след их остался в "Себастияне Бахе".

Здесь возникает целый комплекс проблем эстетического, литературного и этического свойства.

Частная жизнь исторического лица принадлежит потомству в той же мере, в какой оно имеет право на его переписку, черновики и сочинения, не предназначенные для печати. Таков исторический закон, – и он требует от потомков лишь одного: отнестись к этому наследию с должной мерой уважения, не превращая его в предмет обывательских сплетен, а, напротив, оценив его как историко-культурный факт. Эмпирический быт, личные взаимоотношения, любовные драмы сублимируются

в литературном творчестве писателя, и знание их обязательно для каждого, кто хочет проникнуть, насколько это возможно, в глубины его эстетического сознания.

Именно такая попытка предпринята в книге "Странная моя судьба...", и нам кажется, что попытка эта принесла плоды весьма ощутимые.

У Одоевского нет в собственном смысле слова автобиографических произведений; результаты интроспекции и автобиографические реалии попадают в его произведения сложным, опосредованным путем. Так, в "Пестрых сказках", и в особенности в неизданном наброске биографии Иринея Модестовича Гомозейки, ощущаются отзвуки ранних детских впечатлений. Они становятся конструктивным принципом повествования в "Игоше"; они составляют некий отдаленный фон светских повестей Одоевского. Почти нигде они не выходят на поверхность прямо; они подвергнуты рефлексии, включены в контексты философские и социальные, порожденные зрелым сознанием писателя.

Понять, как они изменились в этом творческом горниле, найти коэффициент их искажения, уяснить облекшую их художественную символику, – значит понять принцип работы художника над жизненным материалом.

М. А. Турьян показывает особое качество автобиографизма в прозе Одоевского.

Анализ "Себастияна Баха" и незаконченного произведения о монахе, влюбленном в святую Цецилию, принадлежит, как нам кажется, к лучшим страницам книги. Бытовая переписка, внешне незначащая, но с глубоким психологическим подтекстом, художественные замыслы, осуществленные и брошенные в самом начале, горбуновский портрет Ланской и "Святая Цецилия" Карло Дольчи образуют некую символическую нить, ведущую в лабиринт духовной жизни человека и художника.

Но обо всем этом лучше прочесть не в предисловии, а в самой книге.

Всю жизнь сам Одоевский, то невольно, то намеренно, создавал свою биографическую легенду. Тому было много причин, – и не последней из них была свойственная человеку "хорошего общества" первой половины девятнадцатого века органическая неприязнь к демонстрированию своей частной жизни. Он жил по закону этикета, – как бы ни обличал его в своих инвективах против бездушного и "кукольного" "света", но у него были и свои, чисто личные основания скрывать от современников ту социально непрестижную часть своей биографии, которая роднила его, рюриковича, потомка князей Черниговских, с интеллигентами-разночинцами. В результате и создался тот почти идеальный, очищенный образ аристократа-философа и просветителя с демократическими убеждениями, который мы попытались набросать в начале нашего очерка. При всей несомненной привлекательности этого типа, тот реальный образ, который вырисовывается в биографическом исследовании М. А. Турьян, кажется нам еще более привлекательным. Человек, испытавший и материальные, и душевные невзгоды, преодо-

левший их собственным умом, знаниями и энергией, знакомый не понаслышке с жизнью социальных низов и пытавшийся в меру своих возможностей и социальных убеждений прийти им на помощь, что это, как не гуманист в самом точном и глубоком смысле слова? Он заплатил за свою деятельность тяжкую цену: творчество, наука, общественное служение поглотили его целиком, порвали семейные и дружеские связи, обрекли на внутреннее одиночество и, может быть, непонимание, – но такова была судьба и великих художников. Он выбрал ее сам, – но тем дороже и ближе нам, потомкам, его "узкий путь".

В. Э. Вацуро

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Можно ли доверять автопортретам – живописным ли, словесным? Безусловно, нет! Можно ли доверять автобиографиям? Думается, почти нет – или с величайшей осторожностью. Чем своеобразнее художник, тем вдохновеннее творит он историю своей жизни для потомства, и это отнюдь не привилегия одних прирожденных мистификаторов, вроде, скажем, Эдгара По, придумавшего себе путешествие в Петербург, или безумно романтических натур, какова наша Дурова, славная "кавалерист-девица". Перед абсолютным этим законом "кривого зеркала" равны все: гении и посредственности, романтики, скептики, рационалисты. И однако, без вдохновенного ли, расчетливого ли их "обмана" немыслимо, невозможно даже самое приближение к истине. Отсюда с неизбежностью начинаем мы счет, подступаясь к биографиям наших героев, на этом пути, радуясь находкам "откровений" (записи, дневники, не предназначенные для посторонних глаз, исповедальные письма), "уличая" в лукавстве или "сокрытии" иных фактов, медленно подвигаемся мы к тому, что можно с большей или меньшей степенью достоверности признать за объективную истину.

Биография Владимира Федоровича Одоевского – одна из самых "закрытых". Впрочем, понимание этого приходит только сейчас, спустя более чем столетие после смерти писателя. Благополучно и ясно выстроившаяся его жизнь, огражденная, казалось, самой судьбой от житейских бурь и катаклизмов, напоминает, на первый взгляд, озаренную ровным светом, отменно вымощенную приятную дорогу. Но это не было отнюдь эдакое partie de plaisir – легкой походкой по легкой тропе, – нет, то была жизнь настоящего труженика, много – очень много! – успевшего: писатель, журналист, философ, музыкант, общественный деятель, деятельный благотворитель... Все удавалось: литературное имя, служебная и придворная карьера, с чередой званий и чинов, "идеальный" брак, безупречная репутация... Рассеянный, наивно-добро душный, честнейший, милейший князь... Иных его позднейших биографов невольно тянуло на житие...

Счастливая судьба или умело сотворенная "стерильная" ее версия? Именно последнее более всего настораживает. Мы утратили простодушную доверчивость предков, и наша подозрительность приносит подчас неожиданные плоды.

Собственно, биографии Одоевского (если не принимать за таковую более или менее пространные биографические очерки, суммирующие внешние факты жизни) до сих пор не существует. По ближай-

шем рассмотрении в жизнеописании его обнаруживается немало "белых пятен" и "темных мест". Очень существенных. Иногда – важнейших. Не забудем, что он прожил хоть и не самую долгую – 65 лет! – жизнь, но видел смену трех царствований, трех поколений, что протянул живую нить от Пушкина до Льва Толстого и что круг его общения – лучшее, что было в России на протяжении этого времени.

В настоящей книге мы попытались по возможности прояснить иные "темные места", "заполнить" иные из "белых пятен" – за этим неожиданно начала вставать *другая жизнь* Владимира Одоевского.

Основной источник сведений о ней – документы, в большинстве своем обнаруженные и привлекаемые впервые. Однако многие из них не смогли бы "заговорить" без посредничества сотрудников Отдела рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Серафимы Игоревны Вареховой, заведующей читальным залом Центрального государственного исторического архива, без помощи переводчиков большинства французских текстов Александры Львовны Андрес и Розы Ефимовны Павловой. Выражаю всем им, с такой готовностью соучаствовавшим в моем труде, глубокую признательность.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



МОСКВА

Несколько слов об одном городском предании

Обстоятельства ранней жизни Владимира Федоровича Одоевского известны весьма скупо. Вскоре по смерти громкое некогда имя автора "Русских ночей" было почти забыто, и историческая, культурная память не донесла до нас многих вещественных деталей тех далеких лет.

Родился Одоевский в Москве, но где, например, в какой из столь разноликих частей старого города протекало его детство?

Из завещания отца писателя, Федора Сергеевича, благодаря подписи его духовника Михаила Петрова из "Сергиевска что на Трубе" явствует, что дом Одоевских находился где-то у Трубной площади, в приходе Сергия Чудотворца. Церковь сохранилась.

Москву я знаю плохо. Бродя окрест Трубы в поисках храма и вообще каких-нибудь "следов" Одоевских, а также – не скрою! – в тайной надежде на местные легенды, заглянула в музей Васнецова на Самотеке. Это совсем рядом с Трубой. Увы, никто из музейных работников о *тех* Одоевских ничего мне сказать не мог.

Зашла к своей приятельнице, живущей неподалеку, на Цветном бульваре.

– Вика, где находится церковь Сергия на Трубе?

– Это та, в которой Одоевского крестили? – неожиданно "вставляется" ее восьмилетняя дочь Лена. Я немею.

– Вика, откуда тебе это известно?

– Не помню, – отвечает она растерянно. – Здесь все это знают...

Оказывается, причудливая память московских поколений почти два столетия хранит случайный факт крещения княжеского отпрыска.

Если довериться ей, то значит, что крестили князя Владимира княже Федорова сына Одоевского лета 1804 года в церкви Сергия Чудотворца на Трубе, что в Крапивенском переулке, против старинного двухэтажного особнячка, и поныне весело глядящего на церковные купола.

ГЛАВА I.
ЗАВЕЩАНИЯ

ЗАВЕЩАНИЕ КНЯЗЯ ФЕДОРА СЕРГЕЕВИЧА ОДОЕВСКОГО

"Во имя Всемогущего Бога во Святой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Я, нижеподписавшийся статской советник князь Федор княже Сергеев сын Одоевский, будучи одержим болезнию а потому опасаюсь прекращение моей жизни, предварительно делаю в целом уме и памяти моей сие духовное завещание на следующем основании, – препоручаю сына моего малолетнаго князь Владимира княже Федорова сына Одоевского в полную опеку жене моей княгине Катерине Алексеевне и брату моему двоюродному генерал-майору и кавалеру Дмитрию Андреевичу Закревскому, коему и быть с означенною моею женою опекуном до совершенных ево лет в полной их воле, а как я взял за означенною женою в приданое разные вещи, а рядной ей не подписал, то сверх следующего ей на седьмую часть имения выдать ей из имения моего десять тысяч рублей, да дворовых людей каво и сколько она пожелает; по смерти же моей сие завещание мое законным порядком произвесть в действие покорнейше прошу Московский Опекунский Совет яко надежный и совершенный душеприкащик на основании Высочайшего Учреждения Сохранной Казны, 4-й статьи.

Князь Федор княже Сергеев сын Одоевский.

Мой духовный сын князь Федор Сергеивич Одоевский оное подписал в целом уме и памяти в том свидетельствую духовной ево отец Сергиевска что на Трубе Михаил Петров

что сия духовная подписана собственною рукою Статского советника князя Федора князь Сергеева сына Одоевским подлинно в твердом уме и совершенной памяти – в том свидетельствую генерал-майор и кавалер Павел Михайлов сын Глазов,

что сия духовная подписана собственною рукою штатского советника князя Федора Сергеева сына Одоевского в том свидетельствую и подписуюсь действительный тайный советник и кавалер Петр Александров сын Заборовский.

Декабря 3 дня 1804 года".

Князю Федору Сергеевичу Одоевскому, статскому советнику и директору Московского Ассигнационного банка, было тогда тридцать три года; его малолетнему же наследнику едва минуло четыре месяца: он родился на исходе душного июля недоношенным и столь слабым, что для спасения этой едва забрезжившей жизни пришлось прибегнуть к мерам чрезвычайным: младенца тотчас стали завертывать в горячие шкуры, снятые с едва убитого барана, и новая княжеская жизнь стоила

жизни по крайней мере тридцати животным. Не пренебрегли и спасительными – как свято верилось тогда – ваннами: бульонными и из белого вина.

Ребенка выходили, однако на всю жизнь осталась ему необыкновенная тонкость кожи, слабость в мускулах да доктора лет до двадцати все прочили чахотку.

Завещанию же Федора Сергеевича, точь-в-точь подтвержденному за полгода до смерти, суждено было быть явленным через четыре года – без малого два месяца не дожил он до четырехлетия сына.

...От ускользающей из взрослой памяти полуяви первых лет сохранилось у князя Владимира лишь воспоминание о поездке с отцом в подмосковное Калистово на Троицкой дороге да запах гарлемских капель, напоминавший об операции, – кажется, впрочем, неудачной, – сделанной отцу двумя знаменитыми московскими врачами – Гильдебрандтом и Лодером. Ребенка увезли тогда из дома – к приятельнице матушки и другу семьи генерал-майорше Аграфене Петровне Глазовой, по детским воспоминаниям мальчика, "обожавшей" его.

...Отрывочные эти сведения – из автобиографических записок Одоевского. Дважды за жизнь принимался он писать свою автобиографию и дважды, едва начав, – бросал, уходил в сторону.

Похоже, хоть и уверял, что воспоминания детства восходят далеко, по смерти отца – не хотел вспоминать...

...Старая Москва жила сомкнуто, переплетенно, вездесуще. Головоломное для нас теперь породнение кланов, предрешенные родством и старинными связями старших пересечения молодых... Когда Владимиру было два года, в одном из домов, принадлежавших Федору Сергеевичу, неподалеку от их собственного, у Харитония в Огородниках, поселился с родителями семилетний Александр Пушкин; сын опекуна и троюродный брат Одоевского Андрей Дмитриевич Закревский спустя двадцатилетие стал ближайшим университетским другом Лермонтова, с которым, в свою очередь, предстояло позже дружески сойтись и ему самому; не прошло и десяти лет с момента роковой отцовской операции, а юный князь уже восторженно постигал первые тайны анатомии под руководством профессора Лодера, пахнувшего когда-то гарлемскими каплями; Гильдебрандт же, лечивший позже Герцена, купил впоследствии у Ехалова моста, что близ Басманных, дом родственников Одоевского князей Львовых, но это было уже после того, как в сентябрьской пожарной Москве, когда Владимиру пошел девятый, Иван Алексеевич Яковлев с пятимесячным сыном своим Александром Герценом нашел приют в доме известного московского благотворителя и двоюродного деда Владимира Петра Ивановича Одоевского... Этим младшим суждено было разойтись потом в жизни непримиримо...

По рождении сына Федор Сергеевич спешил с завещанием не зря. И без того небольшое состояние его было крайне расстроено, и подведение итогов оказалось плачевным:

"Положение свое 1805 году имею я…"

1. Дом в Москве старой и новой ценностью в 15.000 рублей
2. Подмосковную – 32 души
3. Рязанская – 159 душ
4. Новогароская – 215

Итого 406 душ.

По позднейшим подсчетам уже овдовевшей княгини Екатерины Алексеевны, "чистыми" – не заложенными в казну и партикулярные руки – оказались лишь 66 душ – в сельце Дроково Скопинского уезда Рязанской губернии – будущем месте почти постоянного ее обитания. Да и при жизни мужа доход получали, по ее уверениям, лишь из этого Дрокова 2210 рублей деньгами да хлеб на содержание московского дому – более ничего. Общая же сумма долга, оставленная покойным, равнялась примерно 25 тысячам. Список заимодавцев был пестр и велик, и посему родовое Новгородское имение Черниговской губернии, доставшееся Федору Сергеевичу от матушки его, полковницы княгини Елисаветы Алексеевны Львовой, с разрешения Сената и Московской Дворянской Опеки было продано за долги.

Между тем родные пеклись о юном наследнике, как умели.

Алексей Алексеевич Филиппов – матери, прапорщице
Авдотье Петровне Филипповой
22 сентября 1807 года. Местечко Шилов.

"Милостивая государыня матушка Авдотья Петровна!

Известно мне, что покойным родителем нашим, а вашим супругом, трудами его приобретенное и вместе нажитое с вами имение утвердил он все по духовному завещанию своему как то: дом, людей обоего пола, деньги в долгах. Имеющиеся так же и в доме разные вещи. – По кончине его духовная явлена законным порядком 9-го дня 1803-гр года и утверждено все за вами без остатку. Следовательно оное имение и находится теперь в полном вашем распоряжении. Зная же ваше намерение, что вы при жизни своей хотите написать духовное завещание и имение ваше росписать в нем как мне, так и брату моему Александру Алексеевичу. Но как я нахожусь в воинской службе в Лубенском гусарском полку, то за нужное почел просить вас о нижеследующем. Так как долг службы моей не позволяет мне жить с вами, и я нахожусь всегда в отлучке, то дабы во время оной в случае вашей смерти не мог я лишиться части своей, которую в духовном завещании мне назначите, то и прошу вас ту назначенную мне часть из имения вашего куда вы заблагорассудите отдать в верное место, откуда бы я по возвращении моем беспрепятственно получить мог, о чем и прошу вас меня уведомить. Буде же при жизни еще вашей смерть прекратит дни мои, то назначенную мне от вас часть я предоставляю вам с тем чтобы по смерти вашей уже наследницею была той моей части сестра наша родная статская советница княгиня Екатерина Алексеевна Адоевская, по кончине же сестры нашей наследником имеет быть сын ее князь Владимир Федорович. Это мое желание прошу вас милостивая государыня матушка означить в вашем

Духовном завещании, дабы не могло выйти каких-нибудь споров, ибо я обязанным себя считаю за оказанную любовь ко мне от сестры нашей сделать ее по смерти вашей и моей полною наследницею части моей, которая от имения вашего мне от вас назначена будет. В вас же я уверен что вы сего желания моего не отвергните..."

Неведомо, при каких обстоятельствах безвестной прапорщице Авдотье Филипповой, обитавшей в собственном доме в Пречистенской части, в приходе священномученика Власия, удалось выдать дочь свою Екатерину замуж за родовитого князя. Владела Филиппова всего дюжиной дворовых и домом – правда, заведенным: с картинами, книгами, иконами – множеством икон в серебряных и вызолоченных ризах, завещанных потом, кроме тех, коими благословила детей и внука, в окрестные церкви, монастыри и пустыни. Водился и небольшой капиталец – вот, собственно, и все, действительно нажитое – не наследственное. Прижимистая Авдотья Петровна исхитрилась как-то и дочь выдать почти бесприданницей, дав за нею лишь относящееся к непременным дамским нуждам и нарядам.

Единственную причину этого явно неравного и, по всей видимости, случайного брака приходится искать в красоте Екатерины Алексеевны – какой-то безвольной и потому особенно обезоруживающей. Друг юности Одоевского, пансионский его товарищ Владимир Титов, из надменной московской молодежи, помнил ее женщиной малообразованной, что, вероятно, не вполне справедливо. В отличие от едва грамотной "домостроевской" матушки новоиспеченная княгиня умела по-французски, охотно разыгрывала несложные польские и вальсы, следила за журналами, живо интересовалась словесностью, любила потом высказывать в письмах к сыну суждения о его литературных опытах, не лишенные подчас тонкости, и даже сама пробовала однажды приняться за сочинение романа – впрочем, оставшегося неоконченным.

Вместе с Екатериной Алексеевной княжеский порог переступила и мизерная ее родня. Мизерность эта и послужила позже, очевидно, возникновению легенды о матери Одоевского – простолюдинке, легенды, энергично усиленной едва ли не сразу по смерти писателя низведением Екатерины Алексеевны в крепостные.

Дядья князя Владимира Александр и Алексей Алексеевичи удались разно. Матушкиного баловня и любимого младшего брата княгини Алексея, когда ему не было еще и шестнадцати, князь Федор Сергеевич по-родственному пристроил к себе, в Ассигнационный банк. Однако вскоре юношу поманили эполеты, и, будучи благодетельствован некоею "особой", был он зачислен корнетом в Лубенский гусарский полк. Спустя два года, в 1809-м, юный гусар уже описывал в письмах к родным пряную красоту Крыма и воевал турок. Потом же военный его путь лег на Наполеона, через Кульму, Дрезден – словом, в Европу. Служилось ему, однако, нелегко – не из-за тягот военного быта, нет, но из-за постоянной, унизительной бедности. Матушка имела свои понятия о необходимых нуждах гусарского офицера, полагая, что сын и так слишком тратится на свое содержание. Алексей еще из Крыма, втайне

от родительницы, молил сестру о помощи, убеждая, волнуясь и доказывая всем известную истину: числиться в гусарах – честь недешевая.

Александр же, судя по всему, вел тем временем жизнь низкую, известен был дурным поведением да и помер рано, так и не выбившись из губернских секретарей.

...Сразу по кончине Владимира Федоровича Одоевского, начав собирать воспоминания о нем еще на первой, острой волне утраты и пока было, кому вспоминать, ближайшие друзья вдруг с удивлением обнаружили, как мало осведомлены они о ранней поре его жизни. Путаясь и противореча друг другу, они не могли даже сказать с точностью, где, когда и у кого из родных жил в пору детства и отрочества будущий писатель. Екатерина же Алексеевна и филипповская родня вообще как-то выпали из поля зрения мемуаристов – то ли не осталось, кому о них вспоминать, то ли оставшихся – не просили. Впрочем, выпали они и из воспоминаний самого Владимира Федоровича, во всю жизнь не устававшего, напротив, хранить память о Рюриковой своей ветви. Он сознавал себя О д о е в с к и м – и т о л ь к о: заботливо копились родословные грамоты, не раз составлялось и уточнялось генеалогическое древо.

Так или иначе, но о жизни его в пору допожарной Москвы н и ч е г о н е з н а л и.

...На Пречистенке, у бабки-прапорщицы, был между тем свой мир. Здесь вели строгий счет каждой нажитой копейке, по-старинному усердно молились, продавали и покупали дома, давали в рост деньги и водились с незнатным, но оборотистым московским людом. Люд этот, вслед за Филипповыми, потянулся и в дом Одоевских. Среди них – доверенное и близкое Авдотье Петровне лицо, генерал-майорша Глазова, долго и странно вершившая многие дела в семействе княгини Екатерины Алексеевны. В попечение ей был отдан в юные годы и князь Владимир.

Клан же Одоевских, хоть и заметно к этому времени сникший – ни громких чинов, ни былого богатства, – хранил все еще славу Рюрикова рода, древнейших князей Черниговских. Это было исконное, с причудами, барство.

...Ранняя память князя Владимира сохранила еще моську, запряженную в дрожки и возившую мальчика, – подарок графини Софьи Осиповны Апраксиной. Но в какой это было жизни – непонятно: при-отцовской или после?

Ясно одно: моська – из жизни О д о е в с к о й стороны. Из отрывочных воспоминаний и случайно оброненных в письмах слов всплывает еще одна О д о е в с к а я причуда – дедовская. Младшая годами родственница Владимира, Екатерина Львова, вспомнила много лет спустя слышанные ею в детстве разговоры взрослых о своенравном полковнике князе Сергее Ивановиче. У него, по рассказам Львовой, была воспитанница или приемная дочь, за которую сватался поляк, музыкант Иосиф Францович Каменский, и получил от князя отказ. Молодые же сыновья старика Иван и Федор и отец Львовой, князь Владимир – тезка и крестный Владимира Одоевского, будучи приятелями

Каменского, помогли ему тайно увезти девушку и обвенчаться с нею. Все трое, конечно же, немедленно подпали под опалу старика, и он, в гневе на Владимира Львова, "в течение двух или трех лет, или более, не называл внука своего Владимиром, а Сергеем". Гнев старого полковника и в самом деле, видно, был велик, а воля – непреклонна, потому что некрещенное это имя – "Сергей" – прочно вошло в семейный обиход и держалось гораздо дольше, чем помнит о том княжна Львова. "Князь и Сережа все еще нездоровы", – сообщала в 1807 году в письме к сыну Алексею Авдотья Петровна о своем зяте и внуке. Сам Алексей Алексеевич спустя семь лет (!), адресуясь к сестре из Лейпцига, просил целовать "милого Сережу". К тому времени грозный дед Одоевский уже несколько лет как умер, мальчику шел десятый год, но имя – держалось.

Истории детства непрестанно всплывали потом в писательской памяти. "Катя, или история воспитанницы" была написана, к примеру, уже в 1830-х годах:

"Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же наверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные"... Графиня же "нарочно для меня велела приучить моську ходить в дрожках и возить меня по саду"...

"Воспитанниц и мосек полон дом"...

Это была не только грибоедовская, но и его – барская Москва детства...

Однако Москву эту наблюдал мальчик не в своем – в чужих родственных и знатных домах. Сам же он рано оказался бесприютен и, неприкаянный после смерти отца, передавался родней с рук на руки. Прямых следов этого тягостного начала жизни почти не сохранилось, но по косвенным, открывающимся подчас только теперь, – можно догадываться и строить вполне обоснованные предположения.

Осиротевшего Владимира (Сережу!) забрал к себе вначале дед Сергей Иванович, но и это оказалось ненадолго: дед вскоре умер – накануне наполеоновских событий, в 1811 году, успев разделить свое наследство и отказав при этом внуку имение в Костромской губернии в четыреста с лишним душ, – пока, разумеется, под опеку. Затем юный Рюрикович перекочевывает в руки филипповской родни и поселяется с матерью – неизвестно, то ли в собственном их доме, то ли, возможно, если дом уже был продан, – в наемном или у бабки Авдотьи. Судя по позднейшему упорному молчанию Одоевского об этой поре детства, о том, что он никогда не хотел вспоминать, – вероятнее последнее.

Интересно, что не расшевелило Одоевского на воспоминания об этом времени даже то, что, казалось, не могло не расшевелить: нашест-


Глава I
В.Ф. Одоевский

вие Наполеона, пожарная Москва. Мальчику, помнившему себя едва ли не с трех лет, шел тогда девятый. Младший его двумя годами А. И. Кошелев, например, живо записал потом врезавшийся в память отъезд из Москвы – дорогу, запруженную экипажами, подводами, пешими – всем, что медленно тогда тянулось из белокаменной и над чем повисла всеобщая грусть и мертвое безмолвие...

Наверное, и Филипповы тронулись из Москвы – скорее всего, в Рязанское имение Одоевских Дроково – на восток, в сторону от Наполеона. Однако уйти насовсем, выключиться, не знать – было невозможно. Горела Пречистенка, в действующей армии сражался дядя Алексей Алексеевич, и вестей от него, как важнейшего события, конечно, домашние ждали постоянно. Письма же ходили плохо, да и непонятно было, куда к москвичам адресоваться, где они и что с ними. Естественно, волнениям, толкам, слухам не было конца.

Князю Владимиру, пожелай он того, оказалось бы, что вспоминать...

Лубенский гусар "прорвался" письмом к матери из Лейпцига спустя лишь год после пожара, в декабре 1813 года:

"Третье письмо уже я пишу Маминька к вам отсюда. Я и тем бы был доволен, естли бы из всех хотя одно бы получили. – Вы быв в неизвестности обо мне столь долгое время, конечно уже думали обо мне всячески, а я утешаю себя тем, что вы читая газеты и невидав меня в списке мертвых остаетесь спокойными, каким я желаю вам быть всегда. – О себе вам скажу – я слава Богу здоров как нельзя лучше желать – скажу вам еще, что я ожидаю себе ордена кроме того, что уже два раза был представлен; еще в третий с прочими представлен, которое представление пойдет к прускому Королю и на которое совершенно надеюсь, потому что наш полк 4-го числа октября быв в команде пруского Генерала Клейста сделал большие ему услуги, за что он был так доволен, что благодарил всех офицеров и дал честное слово, что выхлопочет нам Кресты, не худо бы прицепить на шею што-нибудь <...> Я полагаю Маминька, что наш дом сгорел – от приезжих я слышал, что между Арбата и Причестинки сделалась площадь, почему я и свой дом в том же числе полагаю. Однако эта потеря очень мало меня тревожит. – Положение мое довольно бедноватое; но по крайней мере, кое-как мог изрядно обмундироваться, то есть по походному и естлиб необидели меня французы, которые захватили мою лошадь в Пирне с моим имуществом, то я бы был теперь довольно богатый человек. Вот, Маминька, мое желание сбылось, на иностранные земли и города нагляделся, видел довольно подобных мне человеков за свое Отечество пострадавших, словом сказать, видел все то, что желал видеть. – Теперь остается еще желание – дождаться миру, свидания с вами, облобызать ваши ручки, с сим желанием остаюсь сын Ваш Алексей

Филипов".

Но "облобызать ручки" было уже не суждено – старая прапорщица не успела разделить наивные восторги покорителя Европы, рвавшего-

ся "пострадать за Отечество" и посмотреть "иностранные земли". Как раз тогда, когда писал он ей это восторженное письмо, кончила она свои дни, не выдержав военных тревог и потерь, но успев, однако, озаботиться судьбой детей и одарив их по собственному разумению справедливости.

Московского уездного суда 2-го департамента

ДЕЛО

Филипповой Авдотьи прапорщицы о утверждении учиненного ею завещания

Началось 13 марта 1814 года
Решено 7 ноября 1827 года

"Я нижеподписавшаяся покойного от армии прапорщика Алексея Филипова жена ево Авдотья Петрова дочь будучи я одержима всегда тяжкими болезнями, а потому и опасаюсь нечаянного прекращения моей жизни. Но так как я имею от меня рожденных детей двух сыновей и дочь, то по долгу моему заблагоразсудила при жизни моей зделать распоряжение между детми моими и тем дабы не нарушино было родственное согласие их росписать движимое имение мое благоприобретенное и нажитое мною; а учинить исполнения по смерти моей душеприказчице моей генерал майорши Аграфене Петровой дочери Глазовой и душеприкащику моему 6-го класса и разных орденов кавалер Осипу Тимофееву сыну Серебрякову. Предварительно делаю будучи в целом уме и твердой памяти моей сие духовное завещание: 1-е означенным душеприкащице и душеприкащику поручаю сыновей моих в опеку в полную власть и волю, коим и быть под покровительством их; 2-е и оставшеяся по мне всякого рода движимое имения и имеющиеся в долгах деньги и заемные писмы и взнесенные от имени моего в Императорской Московской воспитательной дом в Опекунской Совет в Сохранную казну, а сколько всего капиталу и на ком состоит в долгах, при сем моем Духовном завещании прилагаю реестр, так же и дворовых людей обоего полу, сгоревший дом с оставшимся каменным корпусом состоящей в Москве в Пречистенской части во 2-м квартале под № 137-м в приходе священномученика Власия..."

Завещание – пространное и витиеватое до путаности. Любимцу Алексею отказывалось в нем шесть тысяч пятьсот рублей долгового капитала и то, что может быть возмещено казной и пожертвованиями за сгоревший – как и полагал Алексей! – дом. Очевидно, один из двух, коими владела Авдотья Петровна и который заранее ему предназначался: "<..> подано от меня прошение в Комисию и в Санкт-Петербургское сословие о сгоревшим доме и о расхищении имущества моего, но буди по прошению моему воспоследуит каковое либо вспомоществование суммой и оная сумма ему же Алексею, да так как я отдала ему всех дворовых людей, что и почитаю для него ненужными и по услугам его не способными; и для лутчи пользы Алексея при жизни моей имела намерение всех продать и вырученные деньги за оных на имя Алексея взнесть в Опекунской Совет в Сохранную казну. Но будеже сего при

жизни моей выполнить не успею, то прошу душеприкащицу и душеприказчика по смерти моей, выключая малчика Петра, а протчих людей продать а денги взнесть в Сохранную казну. Но естли же по власти и Бога и Создателя нашего жизнь его Алексея прекращена, то все означенное ему по смерти моей отдаю вышепомянутой дочери моей Княгини Одоевской вечное и потомственное владение ее <...>"
Узнав об этом завещательном распоряжении матушки, Алексей, освободитель Европы, спешно писал сестре в марте 1814 года из Лейпцига с просьбой людей не продавать, чего ему делать "крайне не хочется, естли ето сделано – то нельзя ли их возвратить?" Не опасаясь более матушки, жалуется он вновь сестре на нестерпимую бедность – "как беднее быть не можно, почему и должен не только отказывать себе в некоторых прихотях, но даже и в самых необходимых надобностях, и что еще несноснее – должен иногда слушать язвительные насмешки на счет моей бедности. Теперь я думаю ты, мой друг, имеешь уже понятие о людях, с коими я по нещастию должен проводить время"...

Девятилетний Одоевский в это время с матерью, и если не содержание, то общий тон дядюшкиных писем мог быть ему известен. "...Тысячи неприятностей и огорчений, которые есть единые мои сотоварищи, наконец взяли верх над моим терпением, – писал дядюшка. – Не думай, чтоб я имел неудовольствия по своей службе – совсем нет; но те, которые подстерегают наше самолюбие..."

..."А как за мною состоит означенное движимое имение... дом мой (надо полагать, второй, каким-то чудом уцелевший! – *М. Т.*) с мебелью и картинами разными, книгами и посудой, какая в оном имеется, отдаю дочери моей статской советнице княгини Катерины Алексеевой дочери Одоевской, ей же девку Марфу Матвееву вечное и потомственное ее владение, платьи мои, столовое белье и мелочные уборы отдаю ей все".

Суровее всего обошлась Авдотья Петровна с непутевым Александром. Положив ему шесть тысяч капиталу из долговых денег, она велела, однако, душеприказчикам внести их в Московский Воспитательный дом в Опекунский Совет с тем, чтобы выдавать подопечному каждогодно на содержание проценты с них; "настоящего ж капиталу отнюдь ему сыну моему Александры вруки не выдавать потребованию его и быть ему довольным одними только процентами и болие по смерти моей ничего не требовать и нивочто не вступаться..."

Однако немилость к заблудшему и опрометчивая безоглядная доверенность к душеприказчице своей, казалось, выслужившей эту доверенность многими годами семейной близости, обернулись для младших Филипповых плачевно. Уже спустя три года по кончине матери Александр жаловался в Московский уездный суд на опекуншу, явно нарушавшую волю покойной. В дело вмешался Алексей, наблюдавший интересы брата, а отчасти и свои : согласно завещанию, в случае смерти Александра капитал его наследовал он... Дело перешло в судебные инстанции и затянулось на тринадцать лет. Тринадцать лет "благодетельница" Глазова не в состоянии была расстаться с присвоенными ею деньгами, отговариваясь от судебных предписаний то "дурным поведением" Александра,

то незаконным вмешательством в тяжбу брата его, а то и просто тем, что никак не может "действовать по силе" объявленного ей приказа Московской управы о внесении шести тысяч ассигнаций в Опекунский Совет "по слабости здоровья". Не выдержав кляуз и произвола Глазовой, отказался от опекунства Серебряков, и тяжба эта завершилась лишь по смерти старшего Филиппова, когда Алексею удалось, наконец, настоять на своих наследственных правах. Это означало, разумеется, и окончательный, скандальный разрыв столь тесных некогда отношений с "опекуншей".

Непонятно, каково было в этой истории князю Владимиру: именно в это время, когда шла уже тяжба, в пансионские его годы, отдан он был Аграфене Петровне под постоянный присмотр, а позже, по выходе из Пансиона, состоял, видно, постоянным ее должником. Уже из Петербурга, накануне женитьбы, умолял Одоевский своего друга и поверенного в делах Соболевского рассчитаться за него с Глазовой: "Глазова меня замучила деньгами..." Он рвал эти тягостные, эти унизительные московско-филипповские путы, он начинал новую жизнь, а вслед ему напористо неслось еще из мутного "пречистенского" омута:

А. П. Глазова – В. Ф. Одоевскому

Милостивый Государь

Князь Владимир Федорович

К крайнему моему неудоволствию нахожусь принужденная беспокоить вас маими писмами, так как вам небезызвестно, что дядюшки вашего господина Филипова люди приписаны у меня к дому, а я и прошлаго году объяснялась с вами, что я нихачу иметь их при маем доме, и вы дали мне слово но на етих днях меня столко беспакоила полицыя, что я принуждена была заплатить слишком двести рублей, начто я имею из казенной палаты квитанцыю, абчем я иписала квашей матушке и послала к ней копию, но атвету от нее неимею, вашеже об етом забвение я ничему иному ни приписываю, как вашими Балшими Занятиями, то для тово и апять повторяю вам маю прозбу приказать оных людей переписать и доставить мне денги которыя я заних заплатила, а вы сами судите, что всякому своя собственность дарога, а между тем и вы избавитес от скучнова занятия получать вздорные писмы, ваша покорная ко услугам

Аграфена Глазова

Я надеюсь что вы недоведете меня <...> до неприятности прасить об етом в суде

1827 года сентября 22 дня.

Письмо написано на исходе тяжбы с семейством Филипповых (закончилась она спустя полтора месяца), и ясно, что речь в нем идет о тех самых дворовых людях, полученных Алексеем Алексеевичем по завещанию матушки, которых он, будучи на походе, просил сестру не продавать. Тогда, очевидно, они и были приписаны к дому "друга" Аграфены Петровны. Теперь Алексей Алексеевич также находился далеко от Москвы, к тому же "наступал" на нее по всей законной форме, требуя Александровы шесть тысяч, и генерал-майорша решила отыграться

на племяннике, угрожая некогда "обожаемому" и опекаемому Владимиру судом...

...Но все это разыгралось много после. В завещании же Авдотьи Петровны, имевшем столь непредсказуемые последствия для семейства, помянут был и юный князь Одоевский: "<…> внуку моему князь Владимиру княже Федоровичу Одоевскому в благословение Владимирския богородицы риза серебреная Троеручицы богородицы с предстоящими риза серебреная вызолоченая <…>" Наверное, одной из этих икон и благословила потом Екатерина Алексеевна сына на женитьбу.

Это был последний след бабки – Филипповой, мелькнувший в жизни Владимира Федоровича. Мы так никогда и не узнаем, что чувствовал он к владелице дома на Пречистенке, в приходе великомученика Власия? Добром ли, стыдом или другим каким чувством хранил ее в тайниках памяти? Или равнодушно позволил этой памяти истаять без следа? Никогда, нигде во всю свою долгую жизнь не обмолвился он о ней ни словом... Разве что, быть может, это ее образ мелькнул десятилетие спустя в "Письмах в Лужницкому старцу", в обличье Филоритовой бабушки, которая "плохо учена грамоте" и упрашивает со вздохом близких "не предпринимать никаких дел в понедельник", да еще несколько схожих с этим, но оставшихся по преимуществу в рукописях ироничных "портретных" набросков.

ГЛАВА II.

ПАНСИОН

В самом центре Москвы, на углу Тверской и Газетного переулка, там, где громоздится ныне Центральный телеграф, помещался некогда Московский университетский Благородный пансион – одно из своеобразнейших учебных заведений России, как-то странно отпочковавшееся в самом конце XVIII века от университета. Здесь, вняв убеждениям истинных ревнителей просвещения, стало образовывать своих детей русское дворянство. В аристократических его стенах зрели государственные люди. Воспитанников готовили к будущей общественной жизни, к государственной, ученой, литературной, дипломатической или какой другой деятельности.

За кирпичной оградой, тянувшейся вдоль Газетного переулка и скрывавшей флигеля и мощеные, ухоженные дворики, где воспитанники предавались физическим упражнениям, царил свой, строго заведенный уклад. "Полные" пансионеры, то есть жившие тут же – а их было большинство, – сдавались на руки директору и бессменному наставнику юношества Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому с полной доверенностью. Занимая до того в университете кафедру профессора энциклопедии и натуральной истории, Антонский был назначен в 1791 году вначале инспектором, а затем и директором Пансиона и выказал на этом поприще незаурядные качества педагога и воспитателя. Сам воспитанный в Московском университете под сенью "Дружеского ученого общества", объединявшего людей новиковского круга, он вынес оттуда идеалы нравственно-совершенной и деятельной личности. В речи "О воспитании", произнесенной на одном из первых актов Пансиона, Прокопович-Антонский четко сформулировал свои принципы гармонического развития юношества. "В деятельности, воздержании, в простоте жизни и умеренности" видел он основу основ. "Никто не родится в свет ни счастливым, ни добродетельным, ни просвещенным. Природа, производя человека, кажется, дает ему только жизнь и силу действия..."

"Во всем есть мера; преступая пределы ее, мы всегда уклоняемся от пути правого..."
"...Ах! Время, время почувствовать, что просвещение без чистой нравственности и утончение ума без образования сердца есть злейшая язва, истребляющая благоденствие не единых семейств, но и целых народов".
"Красота лица есть дар природы. Здравие живит ее, болезни помрачают <...> Но нельзя не признаться, что как красота, так и безобразие физическое весьма много зависят от красоты и безобразия нравственного.

Лицо есть зеркало души". Посему "ложно честолюбие, соединенное с именами князей и графов".

Что касается "просвещения ума и образования сердца", то Антонский считал: "Что здоровье для тела, то рассудок для души. Человек с неповрежденным здоровьем и основательным рассудком ближе всех к прямому счастию".

Заботам о физическом совершенстве придавал он самое серьезное значение. "Безыскуственная и простая пища – самая лучшая, самая полезная для здоровья <…> Величайший порок в воспитании, особливо между знатными – излишнее пресыщение и раннее лечение детей. Обычай, введенный прихотливою изнеженностью предохранять их от болезней, иногда пагубнее самой болезни. Преждевременно лекарствами истощая силу натуры, умножают только в них слабость и увеличивают недуги".

Однако "рассудок необходимо должен быть всегдашним руководителем нашим". И наконец: "Законоисполнители всего выше поставляют благо общества".

Прокопович-Антонский хотел видеть в своих воспитанниках людей физически закаленных, образованных и преданных отечеству. Уроков Французской революции было достаточно. В его Пансионе, назначенном для коренного российского дворянства, должны были царствовать Нравственность и Умеренность.

Руководитель Пансиона следовал своим принципам неуклонно, и уроки его – в силу почитания, коим он пользовался в кругу пансионеров – оказались столь внушительны, что его воспитанники усвоили их едва ли не на всю жизнь.

Пострадавший в московском пожаре Пансион восстановили быстро, и в 1814 году он вновь открыл свои двери для желающих. Спустя два года отдан был сюда на "полный" кошт двенадцатилетний Одоевский. Воспитанники жили тесно, по пять-шесть человек в комнате, – но ладно, под внимательной и неусыпной опекой надзирателей. В пять утра звенел по коридорам будильный колокольчик, в восемь, при желтых сальных свечах, начинались занятия в классах – до двенадцати. Затем обед – пища свежая, простая и здоровая: похлебка, лапша с пирогами, щи с кашею, телятина, дичь, домашняя птица, блинки и пирожки с вареньем – и отдых, чтение, занятия музыкой, физические упражнения, потом – снова классы: с двух до шести. В девять вечера Пансион замирал. После субботних классов воспитанники отпускались домой.

Программа обучения в Пансионе была "приуготовительно-энциклопедическая", включавшая множество предметов: закон божий и священная история, логика и нравственность, математика, механика, фортификация и архитектура, российская и всемирная история, мифология и право, живопись, фехтование, верховая езда, танцы... И, конечно же, среди главнейших и наиболее любимых учениками – русский язык и словесность и языки иностранные. Первому Прокопович-Антонский придавал особенную важность – здесь обучение было самое основатель-

ное. Из остального же дети могли выбирать по склонности и своим способностям. Неизвестно, кем это было приуготовлено, но пристрастие к словесности и философии обнаружились у князя Владимира сразу. Интересы эти выдает и шкала его оценок – не очень ровная.

В мир литературы вводил своих воспитанников профессор Алексей Федорович Мерзляков, человек закваски несколько старомодной, легко воспламеняющийся, но души доброй, чистой и прямой. Он обучал, как писалось в пансионских программах, "российскому слогу". Лекции его, кажется, были довольно стихийны, но зажигательны. Напившись обычно за полчаса до занятий чаю с ромом, он захватывал с собою – часто наугад – какую-нибудь книгу и, трактуя ее, воодушевлял слушателей своими пламенными импровизациями. "Светлая мысль, искра чувства электрически оживляли всю аудиторию", – вспоминал потом о чтениях Мерзлякова Степан Шевырев. И юные сердца открывались навстречу этому "электрическому чувству", этой рыцарской любви ко всему изящному. Ученики перед ним благоговели.

Поднявши руку на классицизм, но не в состоянии вместе с тем помириться с новомодными романтиками, Мерзляков весьма своеобразно формировал вкусы своих подопечных. Сын пермского купца, сам известный "поэт-лавреат", он был превосходным знатоком и любителем древних, верным их переводчиком, – но и с особенной любовью писал романсы и простонародные песни (среди них грустная "Среди долины ровныя"... живет и по сей день).

Из новейших писателей образцовыми почитал он многих: Прево и Лессинга, Руссо и мадам де Сталь, Виланда, Гете, Коцебу. У англичан, особенно им хвалимых за "точное изображение человеческой природы", "превосходные нравоучения и силу чувствований", выделял он Ричардсона, Филдинга, Стерна, Голдсмита. Здесь были и те, что доставляют "приятность", – но и те, что проповедуют "мораль" и "пользу". Последнее было непременным: дидактизм в стенах Пансиона цвел пышно, и юные моралисты с бойкостью, достойной в их лета лучшего применения, отщелкивали бесчисленные сочинения на темы благочиния и благонравия. Уже в первых классах, вытверживая начала всех наук, двенадцати-четырнадцатилетние отроки вполне умело очерчивали круг своих познаний рамками строгой нравственности и морали. Среди "любимцев" профессора был и Лабрюйер, – и несомненно он внушил юному Одоевскому любовь к французскому моралисту, столь едко обличавшему не только человеческие пороки, но и развращенные нравы знати. Именно с помощью Лабрюйера выказывает юный литератор сатирическую направленность первых своих литературных интересов: дважды появляются в печати его переводы из французского писателя – в 1820 году в "Каллиопе" – сборнике трудов воспитанников Пансиона и спустя два года, уже по выходе из Пансиона, – в "Вестнике Европы".

Однако и страстные обличения, и ратование за туманный идеал "блага всех и каждого" – все это было совершенно благопристойно и, конечно же, вполне укладывалось в рамки благонадежности. Неусыпный Прокопович-Антонский мог быть спокоен: даже от случав-

шихся пансионских "вольностей изрядно веяло унылым законопослушанием, – но то было в порядке вещей.

В литературной жизни той поры вообще царила неразбериха: карамзинисты сражались с шишковистами, Мерзляков ссорился с Жуковским, и пансионеры подальше от греха были "задвинуты" бдительными своими наставниками на "запасный" – вернее – безопасный путь штудирования классических основ, подалее от мирской суеты и крамольных соблазнов. При умильном одобрении учителей и родных произносили они на торжественных актах речи "О украшении познаний добротою сердца", "О религии, как основе истинного просвещения", "О главных обязанностях образованного молодого человека, вступающего в общество" и многое тому подобное. Не составлял исключения в этом смысле и наш герой.

Очевидно, в первые же годы пребывания в Пансионе он посвящает главному радетелю пансионской нравственности свой добродетельный, пространный и довольно неуклюжий стихотворный опыт, совершенно отражающий царившие здесь настроения и вкусы. Назывался этот опыт также классически-сентиментально: "Жертва признательного сердца, посвящаемая Почтеннейшему Благодетелю Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому при наступлении праздника Светлого Христова Воскресения".

Благодарность, долг священный!
Удел чувствительных людей!
Тобой одной одушевленный
Стократ блажен я в жизни сей!
Ужель есть смертный под луною
Дерзающий тебя не чтить?
Иль свету хочет он собою
Пример неслыханный явить?

Возможно ли без содроганья
Помыслить только лишь о том,
Чтоб в сердце не питать желанья
Чтить благодарности закон?
Она душ нежных украшенье
И добродетелей всех мать,
Источник чистый наслажденья –
Ее не должно ль обожать?

Где трон она свой утверждает,
И где ей всякий покорен,
Там щастье вечно процветает,
Там ею всякий возвышен!
Она душа семейства, царства,
Согласья и покоя друг,

Враг злобы, лести и коварства
Награда подвигов, заслуг!

Цвет нашей юности хранить!
Чрез вас познанья, добры нравы
Лет наших служат красотой!
Страстей не ведая отравы,
Живем в невинности златой!

А ты, кем щастлив я и славен,
В ком зрю источник всех отрад!
С чьем жребием мой жребий равен?
Твоей любовью я богат!
Богат усердием чистейшим
К тебе, Хранитель – Гений мой!
И с чувством радости живейшим
Тебе я предан всей душой!

Вообще литературные опыты пансионеров не отличались большим разнообразием. "Каллиопа" пестрела сентиментальными элегиями и идиллиями о бессмертии, мечтах, "щастии уединенной жизни", стихотворениями "на случай", переводами из древних, нравоучительными сказаниями и рассуждениями. В большом ходу был и довольно архаичный уже тогда жанр дидактического "разговора", и юный Одоевский также отдал ему полную дань. Накануне выхода из Пансиона, на торжественном акте 1821 года, он выступил, например, с "Разговором о том, как опасно быть тщеславным", тогда же, между прочим, напечатанным в "Вестнике Европы".

Подобным сочинениям посвящались и литературные собрания воспитанников, разрешенные "для большего изощрения ума и образования вкуса". Впрочем, практиковались и кружки неофициальные. Однако собирались они тайно, не оставив по себе никакого следа.

Внушаемые юной пастве возвышенные идеалы оборачивались в их творениях пасторальной патокой или произносимыми с бездумной легкостью выпадами против "невежд в орденах" и "богатых в чинах", против "шумного града" во славу руссоистского бытия. Мир с его добром и злом был подернут в их воображении литературным туманом и представлялся вполне отвлеченно.

Впрочем, уныние царило и за стенами Пансиона. Роковой пожар, казалось, не только испепелил полгорода – изменился самый воздух первопрестольной. Вспоминая позже допожарную Москву, Вяземский писал, что со времен Екатерины прослыла она "республикою"; в ней было "более свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели <...> в Петербурге, где умы развлекаются Двором, обязанностями службы, исканиями, личностями". "Так и быть должно, – добавлял Вяземский, – в Петербурге – сцена, в Москве – зрители; в нем действуют, в ней судят".

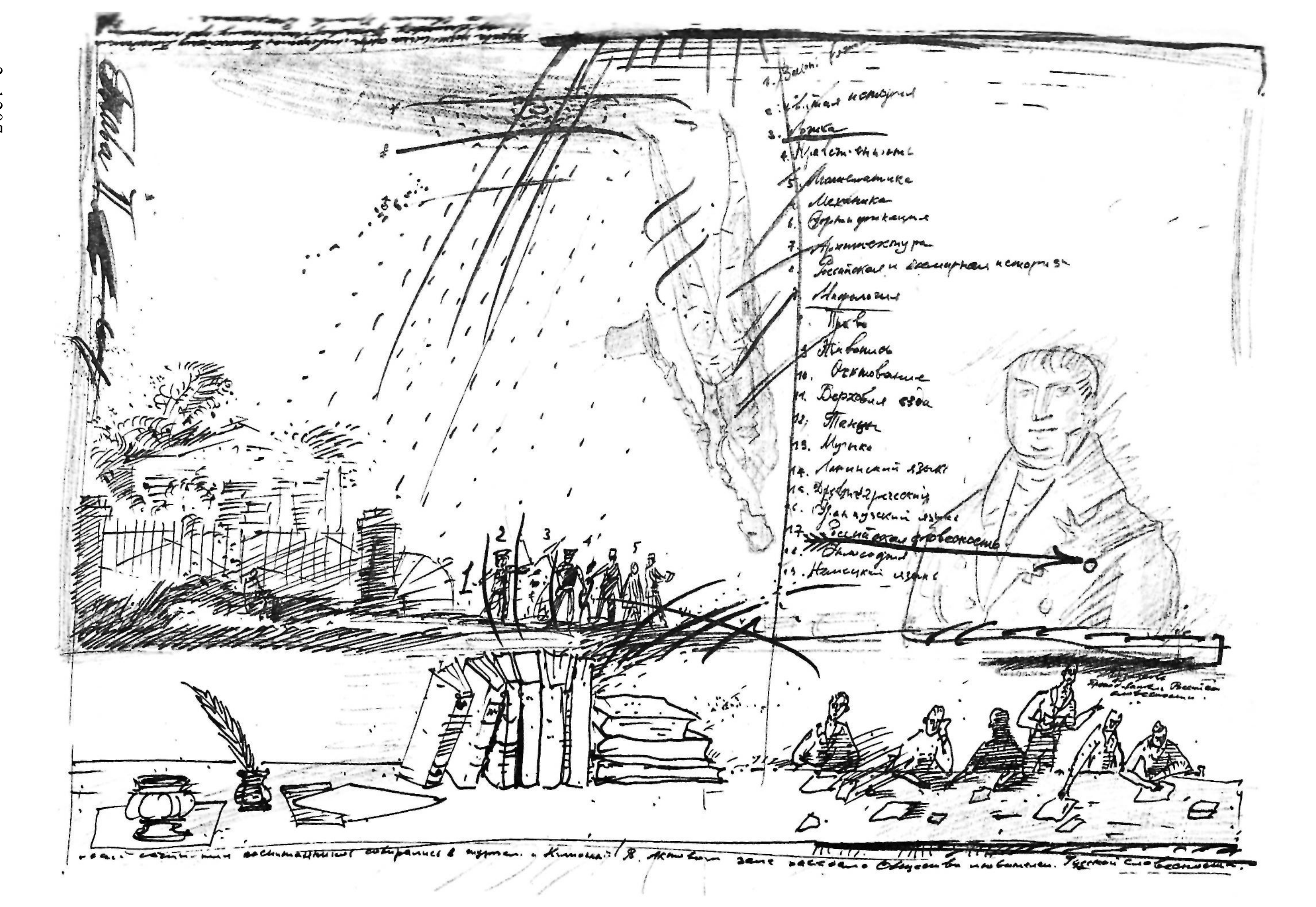
После пожара Москва всколыхнулась было вновь, вела себя спасительницей России и чванилась перед "чухонским городом", где,

как уверяли москвичи, и детей-то воспитывают не вполне русскими. Однако вскоре она как-то незаметно притихла и стала смахивать на провинцию – будто душа отлетела...

"Души" – истинные, московские – и в самом деле разлетелись, кто куда. Николай Михайлович Карамзин отбыл в Петербург писать трудную и странную историю своего Отечества, Жуковский – в Дерпт, сам Вяземский – в Петербург и Варшаву. Былой дух поддерживали, кажется, одни старики. Как и прежде, до Наполеона, неутомимо разъезжал по Москве с новыми своими сочинениями любимец московских гостиных Василий Львович Пушкин. Он все еще хранил у себя на Басманной заведенный когда-то уклад литературного дома и писал своему другу, щеголеватому и жеманному князю П. И. Шаликову, послания в стихах по всякому случаю. Был верен первопрестольной Иван Иванович Дмитриев, живший, впрочем, довольно уединенно, да господа "классики" – университетские профессора. Тон задавала теперь северная столица. Там уже шумно и открыто собиралась вокруг "арзамасского" гуся дерзкая братия – в Москве же, в Газетном переулке, подрастали тем временем "старики-младенцы" (название, придуманное позднее Одоевским) – племя тоже младое, но совершенно никому не знакомое.

Одним из властителей дум в Пансионе становится в этом время двадцатидвухлетний профессор философии и словесности Иван Иванович Давыдов, помогавший Мерзлякову в преподавании словесности. Ученик его по Московскому университету, Давыдов всячески старался примирить классицизм с романтизмом – и за то прослыл потом эклектиком, но не это было главное. В курсе философии начал он знакомить своих слушателей с некоторыми новыми идеями немецкой философии, открывая перед ними заманчивые горизонты. Из немецких философов всем другим предпочитал он Шеллинга. Вместе с тем, будучи человеком довольно холодным и отличаясь известной независимостью мысли, Давыдов "препарировал" Шеллинга почти до неузнаваемости и, игнорируя его поэтические "слабости" и натурфилософские "красоты", попытался извлечь из его идей лишь рациональное зерно. Основой философского мировоззрения провозгласил он здравый смысл и научный эмпиризм, вполне сознавая, что его попытка определить философию психологией "не есть ни Вольфово, ни Кантово, ни Фихтево, ни Шеллингово": в истории философии Давыдов видел своего рода "практическую логику". В качестве учебного пособия для воспитанников Пансиона он издал "Начальные основания Логики", где, в частности, писал: "Станем наблюдать самих себя, начиная с наблюдений анатомических и физиологических; с сим запасом приступим к психологии и логике. Тогда с анализисом математическим будем уметь делать приложение логики к другим наукам; тогда, узнав недостатки способностей своих, будем уметь их образовать и совершенствовать". Это его стремление "к математической точности и систематизированию" оказало несомненное и сильное влияние на Одоевского: в числе прочего ученик принял из рук любимого учителя и этот своеобразный его "ключ" к Шеллингу.

2–1207



Логика
Математика
Механика
Архитектура
Мифология
Право
Живопись
Фехтование
Верховая езда
Танцы
Музыка
Латинский язык
Французский язык
Российская словесность
Немецкий язык

Уже на исходе жизни, вернувшись как-то мыслью к пансионским годам и пытаясь разъяснить самое существо своего энциклопедизма и его истоки, Одоевский написал знаменательные строки: "Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить (мы говорили – конструировать) все явления природы, точно так, как теперь верят возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека..." Далее писатель рассказывает, каким образом "гордые метафизики", пытаясь уяснить себе "многие места в Шеллинге", непонятные "без естественных знаний", пришли наконец к осознанию первостепенной важности "грубой материи". "В собственном смысле именно Шеллинг, – заключал свой рассказ Одоевский, – может быть, неожиданно для него самого, был истинным творцом положительного направления в нашем веке, по крайней мере в Германии и в России". Именно в соответствии с внушениями Давыдова переходили любомудры в своих "естественных" занятиях от анатомии к физиологии, от физиологии – к физике и химии.

В этих воспоминаниях имени Давыдова Одоевский не упомянул, однако уроки его явлены здесь с полной очевидностью.

Но вернемся вновь в Газетный переулок 1810-х.

"Начальные основания Логики" Давыдова вызвали бурю негодования среди "староверов". Печально знаменитый попечитель Казанского учебного округа Магницкий в официальной записке уверял министра народного просвещения, что давыдовская "Логика" вся пропитана "богопротивным учением Шеллинга, распространяющего влияние свое на все отрасли человеческих сведений и даже на литературу", и что шеллингова философия суть не что иное, как "вольнодумство и разврат". Однако, по утверждениям более спокойных критиков, "шеллингианцем" Давыдова можно было назвать лишь весьма условно. Вместе с тем "философское воззрение" господствовало и в его курсе словесности – в разборах трактатов Софокла и Платона, проповедей митрополита Филарета, сочинений Озерова или горячо чтимого им Карамзина.

Неудивительно, что Одоевский, равно, кажется, склонный и к строгой мысли, и к созерцательности, был "любимейшим из его учеников-мечтателей", как не без иронии заметил позже кузен Владимира Александр Одоевский. Взаимная привязанность ученика и учителя была, видно, серьезной и продолжительной. Давыдов ценил успехи своего юного адепта. Посетив в 1819 году Царскосельский лицей, он разочарованно писал из Петербурга Прокоповичу-Антонскому: "Я любопытствовал взглянуть на русские сочинения и переводы. Наш князь Одоевский здесь был бы первый". Не оставлял он покровительством своего любимца и по выходе того из Пансиона: "почтенный Иван Иванович", как сообщал Одоевский своему другу Титову из Дрокова летом 1823 года, содействовал помещению его сочинений в "Вестнике Европы".

В 1821 году, накануне окончания курса, встретился Одоевский в пансионских стенах и с Михаилом Григорьевичем Павловым – про-

славленным, уже "истинным", хотя и "умеренным" шеллингианцем. Правда, сближение их произошло позже, но идеи Павлова, касавшиеся эмпирического естествознания, усвоил он довольно рано.

"...Моя юность протекала в ту эпоху, когда метафизика была такою же общею атмосферою, как ныне политические науки..."

Нам довольно трудно сейчас представить юношей, почти еще подростков, самозабвенно погруженных в тайны "метафизики", – но то было время философское. Правда, трудно и вообразить себе, во что складывалась философская картина мира в юных, разгоряченных умах. Михаил Петрович Погодин, параллельно с Одоевским кончивший курс в университете, прочитав "Логику" Давыдова, заметил, например: "<...> начало дичь, которой Давыдов сам, думаю, не понимает", а в беседах с друзьями высказывался в том же духе и вообще о философской "эпидемии", начавшейся в России: "У нас говорят о немецкой философии, как немцы говорят о нас... Голову отдать можно, что не понимают и сотой доли Шеллинга, да и когда было узнать его?" Уже позже, в период "Мнемозины", крестный Одоевского князь Владимир Семенович Львов, часто и горячо споривший со своим тезкою о философии, сожалел, что такая способная голова так безалаберна. Но философское семя было брошено на благодатную почву и давало хотя и беспорядочные, но бурные всходы. Уже в 1819 или 20-м году Одоевский, шестнадцатилетний юноша с тонкими красивыми чертами и нежным цветом лица, голубоглазый, но с каким-то детским, немного плаксивым и жалобным голосом, поражал своих кузин Львовых "огромной" ученостью, особенно когда с важностью рассказывал им о своих занятиях санскритским языком и алхимией. И это была отнюдь не просто эффектная поза или желание поразить воображение юных девиц – уже формировались прочные интересы будущей зрелой жизни.

Однако, конечно, не одна философия наполняла жизнь пансионского затворника. Под руководством прекрасного московского музыканта Д. И. Шпревица (Шпревича) с необыкновенным успехом овладевал он и тайнами гармонии; здесь, в Пансионе, впервые открылся ему мир великого Баха, имя которого тогда едва было известно в России. Фоно сделалось его страстью. Он поражал своей беглой игрой и легкостью, с которой давались ему сложнейшие Баховы фуги; рано начал сочинять и сам. Восхищение Бахом пронес Одоевский через всю жизнь, о нем написал одну из лучших своих новелл – биографию гениального маэстро. В музыке прорывался "застылый пламень" его души, и, быть может, одним лишь звукам доверялся он без оглядки. И еще – тайному стихотворству.

Как ни напитан был пансионский воздух "классиками" и моралистами, но и за его кирпичную ограду проникали новые литературные бури. В Актовом зале Благородного пансиона по заведенной традиции проходили заседания Общества любителей российской словесности, собиравшие обычно лучшую московскую публику, и Прокопович-Ан-

тонский, председатель Общества, поручал старшим воспитанникам прием посетителей. Погодин, впервые увидевший здесь Одоевского, вспоминал тоненького, стройного и красивого юношу в узеньком фрачке темно-вишневого цвета, с сенаторской важностью разводившего на назначенные места дам и наблюдавшего порядок во время чтения. Программа чтений отличалась необыкновенной пестротою. Тон задавали "классики" – рассуждения и речи Мерзлякова, священные псалмы Н. М. Шатрова – старинного недруга Карамзина, на которого писал он гневные эпиграммы, переводы "Илиады" Гнедича выпады самого Прокоповича-Антонского против развращающей нравы Франции и страстные его призывы к юношеству: "Нет под солнцем земли любезнее, чем отечественная..." Под стать ему торжественно зачитывались присылаемые отовсюду патриотические оды. С особым энтузиазмом рассуждали теперь и о русском языке. Однако новая "карамзинская" школа начала и здесь отвоевывать свои позиции. В 1816 году в Общество были приняты Жуковский и Батюшков. Знаменитая речь последнего – "О влиянии легкой поэзии на образованность и язык" прозвучала апологией анакреонтическим идеалам: раскрепощались чувства, дурманила осанна наслаждениям жизни и сладкому похмелью любви. Дерзкий оратор вызвал в Обществе настоящий переполох. "Эта речь нашумела здесь, – писал Батюшков Гнедичу в сентябре 1816 года, – ты не удивишься, прочитав ее. Я истину ослам с улыбкой говорил". В следующем году на одном из заседаний читал свои стихотворения и Жуковский. Тогда же трижды выступал с сочинениями своего племянника, воспитанника Царскосельского лицея Александра Пушкина, Василий Львович. "Классики" – защищались. 22 февраля 1818 года произошел примечательный казус, и Василий Львович Пушкин тут же живописал его в Петербург, Вяземскому: "Не знаю, дошла ли до тебя весть о том, что происходило в последнем собрании нашего ученого общества? Мерзляков читал письмо какого-то Анонима, возмущающегося против экзаметров, баллад, одним словом ругал нашу Светлану, сколько душе его хотелось. Вот до чего доводит зависть! Господин профессор, забыв, что Жуковский сам присутствует в собрании, вздумал давать ему уроки, и министр просвещения, попечитель университета, И. И. Дмитриев и многие другие были слушателями. На другой день он явился к приятелю нашему с извинением, и тот, по доброте души своей, простил его". Пикантность ситуации заключалась в том, что автором текста "Анонима" был сам незадачливый Мерзляков! Неизвестно, присутствовал ли Одоевский именно на этих собраниях, – да это и неважно, ибо каждое из них становилось в Пансионе событием, предметом живых споров и обсуждений. Общество также было для пансионеров школой, и здесь образовывался их вкус, оттачивался слог. Невзирая на непререкаемый авторитет Мерзлякова, в новом литературном направлении была своя неотразимость. Рядом с Лабрюйером и Шеллингом лежал на столике у Одоевского Шатобриан; Жуковского читали, восхищаясь. Одоевский вспомнил эти молодые восторги много лет спустя, в день пятидесятилетия поэта, вспомнил, как теснились юные его поклонники вокруг дерновой скамейки, где происходили

полутайные регулярные чтения, с каким трепетом, затаив дыхание, ловя каждое слово, слушали они "Людмилу", "Эолову арфу", "Певца в стане русских воинов", "Теона и Эсхина", как заставляли вновь и вновь повторять читающих целые строфы, страницы... "Новые ощущения нового мира возникали в юных душах и гордо вносились в мрак тогдашнего классицизма, который проповедовал нам Хераскова и еще не понимал Жуковского <...> Стихи Жуковского были для нас не только стихами, – вспоминал тогда Одоевский, – но было что-то другое под звучною речью, они уверяли нас в человеческом достоинстве, чем-то невыразимым обдавали душу – и бодрее душа боролась с преткновениями науки, а впоследствии – с скорбями жизни. До сих пор стихами Жуковского обозначены все происшествия моей внутренней жизни, – до сих пор запах тополей напоминает мне Теона и Эсхина. <…>" Таким признанием закончил тогда свою приветственную речь поэту сорокапятилетний Одоевский, и к этому признанию стоит прислушаться с особым вниманием: за сенаторской важностью и повадками солидного старичка уже тогда таилась робкая тяга к "новому миру", возвещавшему "человеческое достоинство". У юного Одоевского, которого так рано начала кружить судьба, все это ложилось на сердце и становилось нравственным смыслом жизни. Одоевский сочиняет в это время не только глубокомысленные философские трактаты – в синие ученические тетради переписываются и антологические стихотворения Батюшкова, записываются собственные стихотворные опыты, иные из которых отправляются в Петербург, к Александру Одоевскому, которому поверял Владимир "мечтательный свой пламень". "<…> получил великолепные стихи твои, в *новом вкусе* написанные <…>" – откликнулся как-то брат на одну из таких присылок. "<…> едва ли уже не сбираешься ты описать в элегии несчастие молодого человека, который по крайней мере чем-нибудь похож на Торквато", – значится в другом его письме несколько месяцев спустя.

Рослый красавец, поэт и столичный офицер, гордо носивший шляпу с надменным белым султаном, жадно рвавшийся навстречу наслаждениям жизни, Александр был полной противоположностью тщедушному и не по летам рассудительному "Вальдемару". Беспечный любимец муз, с которым связала тогда Владимира дружба недолгая, но пылкая, любил подтрунивать над "стариком-младенцем". Однако страсть кузена к стихотворству вовсе не была для петербургского корнета секретом. "Георгики", старательные переводы из рассуждений Иоанна Златоуста о "премудрости и благости божией в отношении к человеку" и "мечтательный пламень" странно уживались в этой юной, мятущейся душе. Что победит?

ГЛАВА III.

"СТРАННИК В СВОЕМ ДОМЕ"

"В Москве. Его сиятельству милостивому государю моему князю Владимиру Федоровичу Одоевскому. На Тверской в доме университетского пансиона". Так адресовал обычно в это время свои письма кузену из Петербурга Александр Одоевский. Почти вся жизнь Владимира протекала здесь, Пансион был постоянным местом обитания. Правда, на выходные дни забирала его иногда к себе матушка – жила она тогда в деревянном – но уже наемном – доме все в той же Пречистенской части, где-то около Старой Конюшенной. Однако и эти знаки материнской заботы продолжались недолго – лишь в первые два-три пансионских года. В 1818 году или в самом начале 1819 Екатерина Алексеевна вторично вышла замуж, расставшись с княжеским титулом и громкой фамилией ради отставного подпоручика Павла Дмитриевича Сеченова – человека мутного, невесть откуда выплывшего и непонятно чем прельстившего ходившую в княгинях Екатерину Алексеевну. Впрочем, кажется, дарованный первым замужеством титул не слишком возвышал ее в глазах родовитой родни Федора Сергеевича, спесиво ее чуждавшейся, – для них оставалась она случайно залетевшей в их клан дочерью безвестного прапорщика, "простолюдинкой". У знававшего Сеченова Владимира Титова сохранился он в памяти "человеком незначущим, необразованным и ни в каком отношении не могшим внушать юному пасынку особливое к себе уважение или сочувствие". Был он к тому же и без гроша, не имея в эту пору собственности "даже на дневное пропитание". Однако хватка у новоявленного "папиньки", как вынужден был поначалу величать его юный Рюрикович, оказалась недюжинная – и семейство много за жизнь от него претерпело... Впрочем, речь о господине Сеченове еще впереди. Так или иначе, но летние вакации 1819 года князь Владимир проводит уже не с матерью в своем именье, а у Аграфены Петровны Глазовой. Сеченов же тем временем начинает прибирать к рукам хозяйственные дела Одоевских, нацеливаясь на единственное из всего наследственного, хоть сколько-нибудь свободное от долгов и, видно, обжитое Дроково, находящееся к тому же под опекой Екатерины Алексеевны. Туда и перебирается новая супружеская чета, оставив сына под надзор все той же бессменной "покровительницы" Аграфены Петровны. Безвольная Екатерина Алексеевна отдалась в полную власть нового своего мужа.

Нетрудно представить себе, сколь и мучителен, и оскорбителен должен был быть для воспарившего уже духом и достаточно самонадеянного юноши этот новый поворот семейной жизни, вновь втягивавший

его в мир бабки Авдотьи. Снова – "мизерная" родня, унизительная опека, из-под которой пока не вырваться...

Владимир Одоевский – в Дроково
Москва 1820-го года октября 5-го дня

Любезные родители!

Я получил последнее письмо Ваше, но прежде нежели я буду Вам отвечать на него, позвольте мне Вас обоих поздравить с Вашим днем рождения, любезная маменька, и посвятить Вам при сем прилагаемое одно из новейших произведений моей Музы; не буду говорить Вам о своих желаниях в сей день – это обыкновенная уловка людей, которые словами хотят заменить чувство сердца, ибо людям близким сердцу

...Что ни желай – все мало! –

да и к тому же, к чему служат простые желания? – мои мольбы за Вас пред Всевышним заступают их место.

Теперь, исполнив должность моего сердца, позвольте мне отвечать на последнее письмо Ваше:

На слова Ваши о бумаге о выходе моем из опеки, Иван Васильевич мне повторил, что о долгах не пишется в такого рода бумаге, но что для этого подаются особенные. – Бумага подана.

Касательно платья: отдавая серое нижнее платье в краску, позвольте мне также отдать и потенкоровое – я еще могу его долго проносить. – А жилет чтоб не делать лишних издержек, мне кажется можно будет сделать из моего старого палевого нижнего платья, которое я делал к концерту, только перекрасить в черную краску.

Всякий раз, когда мне хочется идти в театр – я спрашиваюсь у Аграфены Петровны, товарищи же мои суть те, с которыми я живу в комнате – папинька их знает, а иногда и чаще с надзирателями.

В словах моих: я езжу в один дом не сказавши в какой, я виноват и невиноват, если я не прибавил, то по крайней мере хотел прибавить: в один дом: Зубовых, но спеша послать на почту я как-нибудь пропустил это. – Хозяйка этого дома есть: Катерина Петровна, сын ее лучший ученик Фильда, и едва ли, как говорят, не играет лучше самого Фильда; сие все семейство состоит из музыкантов. К ним съезжаются по субботам все лучшие московские артисты и у них бывают концерты, на которые приглашают любителей музыки; я попал не знаю как в число сих последних и сын сам приезжал просить меня от имени своей матери к себе, но более соблазнил меня тем, что у них будет играть один приезжий музыкант на любимом моем инструменте – виолончеле, который не уступает своей игрою Ромбергу, по общему всех согласию, и не играет нигде в публичных концертах, а только в частных – я написал об этом к Аграфене Петровне и она мне позволила.

Неужли получу я от Вас за это выговор? – Снестись мне с Вами было некогда ибо до почтового дня оставалась целая неделя, да и мне казалось, что тут нет ничего <не> позволенного! – Уведомьте меня, выведите меня из беспокойства.

Радуюсь Вашему успеху, касательно Цигры, и я моим доволен. Попросите у Петра Ивановича Благонамеренного, нумеров, которые вышли в конце августа и в начале сентября и взгляните на 50-ю страницу. Я еще не видал ее, каким-то странным случаем все нумера этого журнала были в моих руках, кроме того, в котором напечатана моя пиеса, и я узнал, что она напечатана, только по оглавлению, находящемуся в конце части. Скоро пошлю другую пиесу.

Быть в лавках Якобсона и Беккерса я еще не успел, ибо с получения Вашего письма все были будни, но в воскресенье буду. Вы пишете ко мне чтоб я купил, но каким образом прикажете переслать к Вам: по почте или дождаться оказии. О сем уведомьте.

Вы пишете ко мне: при сем посылаем шинель – но где же она? – По почте ли послана Вами или с оказией. – О садовой книге Левшина узнаю в воскресенье и уведомлю на другой почте.

Прошу Вас мне сказать решительно: выходить ли мне в нынешний выпуск в декабре из Пансиона или оставаться до будущего выпуска. В нынешний выпуск я уверен, что получу 12-й класс, а 10-й может быть!!.

Желая Вам всех благ в мире, честь имею быть

Ваш многолюбящий и послушный сын
К. Влад. Одоевский

P.S. Как я рад расщитав теперь, что мое письмо придет в самый день Вашего рождения любезная маминька. Разыграйте мой польской в нем нет никаких затруднений.

...Поразительны воспоминания все той же княжны Е. В. Львовой, относящиеся году к 23-му – 24-му, к послепансионской, уже взрослой жизни Владимира. "Не могу порядочно отдать себе отчет в памяти, почему мне к<нязь> Одоевский казался тогда жалким, терпящим во всем недостаток, гонимым мачихою". В этих коротких словах поражает многое. Дом князей Львовых – дом крестного князя Одоевского – один из наиболее близких ему в это время, посещаемых чуть не ежедневно. Мать же его, выходит, в этом семействе принята не была, потому что младшие княжны даже не знали ее. Конечно, какие-то глухие разговоры вокруг нее здесь возникали, но, кажется, говорили о Екатерине Алексеевне дурно – иначе откуда было взяться такой чудовищной аберрации: у князя Владимира – злая мачеха (а ведь мемуаристке было в эту пору лет шестнадцать – память уже вовсе не детская!). Между тем не подозревавшая истины (а подозревал ли ее вообще кто-нибудь?) княжна Екатерина, которой удалось сквозь плотную завесу надменного педантизма и заносчивости разглядеть "жалкость" молодого аристократа, оказалась на редкость прозорливой. Отношения в новой семье складывались для Одоевского тягостно и сложно. Его не только мелочно, унизительно опекали – его держали в повиновении, бесцеремонно распоряжались наследством; ему, наследнику, исподволь диктовали условия.

В 1817 году получено было, наконец, разрешение Правительствующего Сената и Московской дворянской Опеки на продажу Новгородской наследственной вотчины – для уплаты долгов Федора Сергеевича,

а спустя год происходит эпизод довольно странный: нищий, как церковная крыса, Павел Дмитриевич Сеченов приобретает на свое имя имение в Симферопольском уезде, при деревне Кугул-Кузеп, за 20.000 рублей. Свадебный подарок Екатерины Алексеевны? Вполне возможно.

В декабре 1820 года, строго направляемый матерью (на всех документах – пометы ее руки), 16-летний Одоевский подает прошение с просьбой снять запрещение с Рязанского имения: "Все кредиторы, кроме родительницы моей удовлетворены..." У "родительницы" же к покойному Федору Сергеевичу свои претензии – на сто тысяч (!) ассигнациями. Векселя, подписанные ей покойным князем, она также предъявляет сыну.

Хлопоты Екатерины Алексеевны не случайны: полюбившееся и устроенное Дроково она уже считает своим. Во всяком случае, когда, достигши юридического по тем временам совершеннолетия и вступив на двадцать второй год жизни, утвердился Владимир, наконец, в наследственных правах, ему оставалось лишь просить узаконить тот раздел с матерью, который фактически давно был ею произведен и по которому отцовского не досталось ему ничего: за Екатериной Алексеевной оставались единственно уцелевшие села Дроково и Рождествено Рязанской губернии Скопинского уезда с землею, разными угодьями и примерно полуторастами душами мужеска пола, князю же Владимиру отошло в полное владение дедовское – вроде бы достаточное, но на деле безнадежное наследство: заложенное и запущенное имение в Костромской губернии Ветлужского уезда, с четырьмястами пятьюдесятью шестью душами. Доля матери с денежными ее претензиями, похоже, существенно превышала положенное.

Очевидно, единственным человеком, с которым делился Владимир своими мучительными сомнениями и терзавшими его непростыми отношениями с матерью, был Александр, но он, сам недавно осиротевший, настраивает брата на умиротворение: "Письмо, которое я получил от тебя, – писал он в августе 1821 года, – есть новое доказательство чувствительности твоего сердца и сыновней любви, которая ни в каком случае не изменяет. Люби и уважай твою мать, за это я еще более буду тебя любить и уважать. Я знаю цену материнской любви, – я потерял мать, которую обожал и память которой продолжаю обожать".

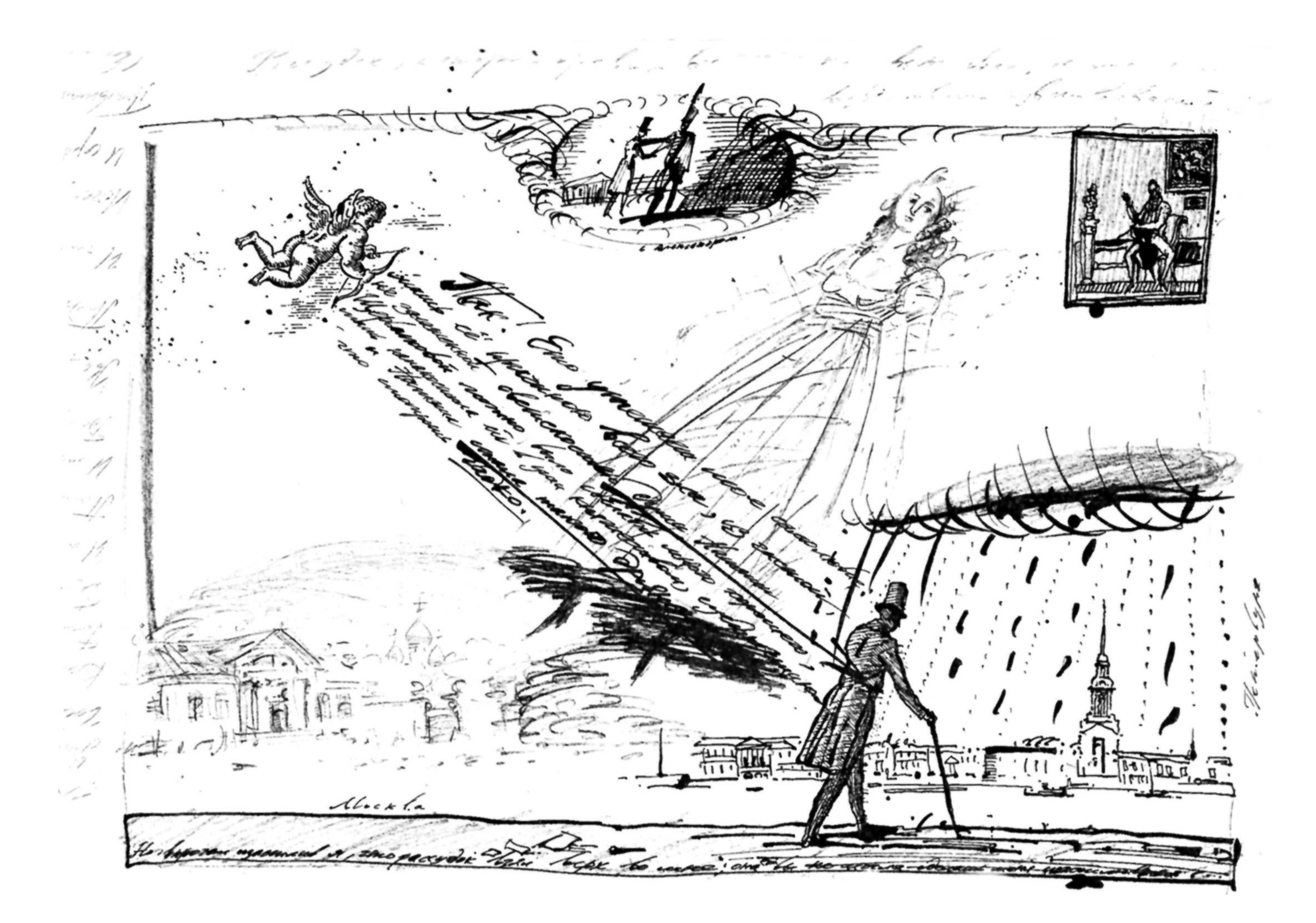
Интересно, что настоящая близость между братьями возникла лишь с отъездом Александра в Петербург – до того Александр находил характер замкнутого Владимира "холодным", а это более всего возмущало его в людях: "Существо бесстрастное не живет, а прозябает". Но трогательное прощание в подмосковном поместье Симы, у родственника их князя Бориса Андреевича Голицына, поколебало подозрения веселого корнета, и в первых же письмах из столицы он поспешил раскаяться и признать свою оскорбительную предвзятость, от которой страдала их дружба.

Однако как одинок и неприютен был пансионский затворник, как "леденил" свое сердце, если за защитную броню не имел доступа даже любимый и, кажется, единственно близкий ему в это время человек.

Судьба обходилась с этим гордым и ранимым юношей не слишком милостиво. "Полный пансионер", бездумно обреченный на казенные стены взамен семейного очага, он рано познал горечь бесприютного существования; рано развилась в нем и недетская скрытность, и единственное, чему доверяет он свою горечь, свои гнетущие мысли без остатка, – перо и бумага.

Дневник студента
<1820–1821 годы>

С некоторого времени жизнь моя становится тяжким бременем. Сколько ни стараюсь отвыкнуть от мысли, что я не могу быть счастливым, но она не оставляет меня ни в шуме света, ни в моем уединении. – Я часто смеюсь, хочу не только казаться, но даже быть веселым, но к нещастию я не могу понять значения этого слова и смех мой подобен смеху человека, из которого тянут жилы, говорят, что во время сего терзания, человек ужасно хохочет. Пробегая мысленно протекшую жизнь свою, я вижу некоторые минуты удовольствия и удовольствия, отравленного горестями, хотя время несколько истребило их – и более ничего; по крайней мере с тех пор, как я начал входить в самого себя, когда я как бы снова начал жизнь – я не помню ни одной радостной минуты. В жизнь свою я никогда не наслаждался благом семейственного щастия, единого, истинного блаженства. Рожденный с сердцем, ищущим, так сказать, к чему-либо быть привязанным – я встречал в самых близких людях ко мне – чувство, которое не смею назвать холодностию, но в котором не находил чего-то такого, чего желала душа моя. – Так, я никогда не наслаждался семейственным щастием. Оставленный нравственно самому себе – я покинул мир вещественный – и сотворил для себя другой мир прекрасный, в котором я окружил себя всем, что воображение мое могло представить прелестнейшего – все это представлялось мне где-то, не знаю, казалось, что оно меня ожидало, я стремился душою к этому идеалу и блаженствовал в мечтаниях – но угрюмая существенность разрушала мое очарование, и я сделался нещастливее прежнего, ибо прекрасный идеал блаженства соделался как бы прошедшим, невозвратным – и сравнивая с моим идеалом, то что на самом деле со мною случается – или уныние и тоска овладевают моею душою, или я, взбешенный на людей за их проклятые так называемые правила пристойности (слово, которое весьма много в себе заключает) стараюсь на них излить всю желчь мою, бешусь, и бессильный, снова упадаю в тоску и уныние. – Боже! ни одной радостной минуты! – Часто стараюсь придраться к безделице, хватаюсь как за слабый тростник чтобы только порадоваться, и от того часто наружно бываю – ребенком, но внутренно – стариком, стоящим на краю гроба. – Хочу ли дать волю своим удовольствиям, ибо иногда сердце ими так бывает полно, что не может более их вмещать себе – меня встречает угрюмая холодность, ищу ли средство как-нибудь примириться с жизнию, или как обыкновенно говорится рассеять себя, мне представляют какие-то правила пристойности. Я не вижу той милой заботливости, которая



Москва

составляет прелесть жизни семейственной – начиная от больших до малейших желаний моих – ни одно не исполняется, я с досады изобретаю их еще множество, и душа моя находит какое-то злобное удовольствие в том, что ей противятся, от того родились в ней какая-то холодность, презрение, настойчивость, желание язвить, упрямство. Есть благо в жизни, которое называют *независимость*. Когда-то – оно будет моим уделом. Но и тогда оно не будет в состоянии заменить щастия семейственной жизни. Александр был эпохою в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами оной. В его сообществе я находил то, чего я везде искал и нигде не находил. Что может заменить ту минуту, когда сердце, свободное от всех уз, совершенно раскрывается пред другим сердцем, как бы сливается с ним. В эту минуту человек находится на степени человека – его не стесняют унижающие его оковы всех людских глупостей! – Блаженное состояние, зачем ты кратковременно?

Меня занимали разные вздоры, хорошенькие личики прельщали меня, мне казалось, что я был влюблен до безумия, но что я находил под этими прекрасными покрышками? – Пустоту, невежество, легкомыслие, тщеславие – одним словом глупость! и очарование мое исчезало, и жизнь мне снова становилась скучною, тягостною. Странно, у меня часто спрашивают, от чего происходит моя задумчивость. Эти люди и не могут себе вообразить что что-нибудь за пределами корыстолюбия (всякого – н<апр>имер почестей – богатства) может производить горесть и свои презренные пустые хлопоты величать именем – *важного, или сурьезного дела!* О глупость глупостей!

Я намерен записывать все со мною случающееся по трем причинам – или для того, чтоб чрез несколько лет посмотреть на самого себя и увидеть, переменюсь ли я и переменятся ли мнения мои о людях, с которыми живу, для того чтобы хотя бумаге передать то, что на душе; наконец для того, чтобы Александр то, чего – не будет у меня духу сказать ему, узнал тогда, когда пресечется нить тяжкой мне жизни.

———

Исповедь больной души... и исповедь впервые плененного сердца, история пылкой влюбленности в кузину Натали Щербатову.

"Сюда приехали Щ<ербатовы>. N<athalie> есть еще эпоха в истории моего сердца. Она мне понравилась с первого взгляда. Прекрасные, умные глаза, открытое лицо, на котором нет ни, так сказать, нахальной, вечной веселости городских девушек, ни глупой робости уездных, непринужденность в обращении, отсутствие всякого жеманства уже сначала предупредили меня в ее пользу. Говоря с нею я заметил, сколько можно было, ее ум, но что всего более – сердце чувствительное. Ее нещастие тронуло меня до глубины души, участие с которым она рассказывала мне о сестре своей, заставило меня еще большее обратить мое на нее внимание и мне тотчас показалось досадным, что такое прекрасное, умное, чувствительное творение говорит мне Вы – когда я имею право

свергнуть с себя и с него одну из цепей глупой пристойности, я воспользовался этим правом и слово ты как стройный аккорд отозвалось в слухе моем, я стал дышать свободнее, говорить непринужденнее, говорить больше, чтобы больше иметь радости слышать слово милое: ты, и мне показалось на одно мгновение, что идеал мой опять ко мне возвратился. Но почему я знаю, что скрывается под этою прекрасною физическою и нравственною наружностию? – О! – как бы я желал, чтоб наружность меня в сем случае не обманула и первое мое о ней заключение было бы справедливо, одним словом, если б мой Александр, в колете, с усами мог бы преобразиться в милую, прекрасную девушку. Если б она могла мне некоторым образом заменить Александра и если б подобно как с ним, связи родства были бы вместе и связями дружбы. – Братская, дружеская любовь ее ко мне наполнила бы пустоту души моей, и несколько щастливых минут, которые бы дружба мне доставила, еще могли бы привязать меня к жизни, но это все мечта! – может быть она ветрена, легкомысленна, капризна... о Боже!

29 генваря. Воскрес<енье>

Я был у ... ласки ее ко мне, их участие – вселяют в меня к ним доверенность. Обязанный любить их за их благодеяние – я больше люблю их за участие во мне, даже за ласки, ибо одна обязанность не могла бы меня заставить любить их, ибо обязанность есть оковы.

Целый день меня мучила неизвестность – что найду я в ней? – не обманывает ли меня наружность? – эта мысль не выходила у меня из головы. – Будет ли хотя малая нить, которая бы привязала меня к жизни? – Наконец вечером я нашел время говорить с нею и старался выведать ее мысли, чувствования и – мнение мое об ней – оправдывается. Я до того забылся, что даже несколько слов о наскучившей, тягостной мне жизни сорвалось с языка моего – после жалел, ибо я еще не знаю ее, но дело уже было сделано.

Отец ее был печален что-то, она с милою заботливостию старалась рассеять его, и это еще больше возвысило ее цену в глазах моих, я с благоговением, даже с завистью смотрел на нее – я никогда не имел щастия утешать, подобно ей, отца...

Я учил ее делать триоли на фортепьянах, она меня вальсировать, она говорила, что я танцуя похож на какого-то Михай<ла> Федор<овича>, мы шутили, смеялись... идеал мой вертелся в голове моей. Я приехал домой гораздо спокойнее, нежели как выехал. Здесь нашел Г... и был в состоянии целый вечер говорить с ним, спорить о предметах ученых. Он милый человек, жаль что голова его заражена проклятыми манихейцами, с их точки он смотрит на все предметы. Попробую своего искусства отвратить его от их вздора, может быть, я успею до тех пор, пока чахотка не истребит моей внутренности, сделать доброе дело.

И забыл-было – Она – показывала мне письмо от своих братьев, ничего по нем не могу судить об них – жаль только, что они делают ошибки против правописания!

Июля 23-го – Вечер

Долго не брал я пера, чтобы описывать мои вседневные приключения – и – боюсь сказать какой-то стыд удерживает мою руку. Корыстолюбие людей ко мне близких теперь во всем своем блеске – описывать его действия тягостно стыдно.

Едва ли не оправдывается мысль моя, давно уже при некоторых случаях родившаяся, что корыстолюбие есть одна причина заботливости о сохранении моего здоровья – единственного знака любви, мною получаемого. Дай Боже, чтоб я ошибался, но мне кажется, что если бы теперь моя смерть не заставляла бояться вредных последствий касательно предметов корысти, то я спокойно бы мог улечься в сырой земле – и вечно-холодная рука покрыла бы меня песком также холодно. – Оставя мнимую природную невозможность быть ласковым – мнимую, говорю, ибо и тигр ласкает детей своих, спрашивается: если есть истинные бескорыстные чувствования, то должна ли быть заботливость о моем назначении в будущем. – Разумеется. Средства для будущего рода жизни суть познания – но когда не дают способов приобретать их – то не следует ли из этого, что не заботятся о будущем назначении и следственно, что нет чувствований истинных бескорыстных. Здесь бывает обыкновенная отговорка – недостаток – но его не видно в покупаемых, только не для меня, безделицах. Здесь говорят, что эти безделицы суть единственное утешение. Я бы и на это согласился, но что бы вы сказали о матери, которая заботится больше об том, чтобы в последствии времени наполнился ее сад, нежели об том, чтоб у сына ее голова была наполнена. Здесь к нещастию ошибки быть не может – и этот силлогизм к нещастию слишком правилен, и – дай Бог, чтоб я ошибался! Едва ли не можно сказать, что как забота об одежде происходит от мысли о том, что подумает свет, так забота о здоровьи – от корысти. Не желаю здесь упоминать о смешных жалобах, о пересказах того, что говорила истина и прямое, но раздраженное сердце. Они останутся навсегда у меня в памяти. Поступок не желаю и описывать – это верьх нечувствительности! Теперь отнимают у меня и последнее мое благо – покой. О Боже! Долго ли я буду странником в своем доме? Можно ли порицать меня, что я желаю независимости, сего единого, истинного щастия.

1821-го года июля 30-го

Ровно через год принимаюсь я за свой Дневник; сколько перемен со мною произошло с того времени – без конца. N.<athalie>, которая казалась мне ангелом во плоти, сделалась обыкновенною, скучною, надутою московскою девушкою; я начал скучать с нею сперва, потом вздумал обращать ее на истинный путь, и что же встретил – не Александра, как прежде думал, но матушку ее, преобразившуюся только в двадцатилетнюю вертушку. Так! Ето утешает мое самолюбие: мать ее причиною всего зла, из чистой, не загаженной светскостию души Н<аташи> Щ<ербатовой> можно было сделать много хорошего, мать напакостила ей в уши княжеством, суетностию – и Наташа стала такою дрянью, что смотреть гадко. Но впрочем щастлив я, что рассудок взял верьх во мне; она бы не могла сделать меня щастливым, дополнить

моего существования; если она сделалась суетною, то ето значит, что она семя суетности носила в душе своей, рано или поздно оно развилось бы, хотя искусная рука могла бы и умертвить ето семя. Да и не безумствую ли я: может ли хотя какая-нибудь женщина удовлетворить моим требованиям; встречал ли я до сих пор хотя одну женщину, с которою бы мне не сделалось скучно. Женщина – с душою мущины, с умом светлым, с мыслями обширными – вещь невозможная. Везде мелочность, тщеславие, гадко! Не лучше ли оставить женщин в покое, – не созданы ли они только для вещественной жизни мущины? Но отчего же в человеке чувство етой пустоты, недостатка – неужели простое желание плотское? Лучше быть евнухом – и к чорту моя мечта о существе, которое бы могло служить дополнением моей вещественной и духовной жизни. Все ето прекрасно под пером и в возвышенном состоянии вдохновения, – тогда немудрено весь мир лучше становится. Ничего нет гаже, как корова ссыт в природе, а она прекрасна в картине славного живописца. – И женщина вместо дополнения – не раздвоит ли нашего существования; человек женатый теряется в периферии, выражаемой детьми – полно дурачиться! – одно хорошее было в моей глупости – славный предмет для романа!"

Это – первый, самый ранний из дошедших до нас дневников Одоевского. Первый, непроизвольный опыт будущих литературных творений. Мотивы этой дневниковой исповеди разойдутся потом по страницам его апологов и повестей, послужат многим из них своеобразным камертоном. Может быть, и самый дневник спустя какое-то время решил Одоевский использовать как "предмет для романа" – не случайно в нем тщательно было вымарано потом имя Натали Щербатовой, замененное на некое обобщающее: "Она" и вместо первоначального названия "Журнал" (т.е. "Дневник") появилось другое, претендующее на некую "литературность": вначале – "Дневник школьника", затем – "Дневник студента". Однако мысль переделать исповедь "больной" своей души в литературное произведение Одоевский, видно, тотчас оставил – она касалась слишком конкретного, личного, больного и "тягостно-стыдного". Так будут исповедоваться потом, следя с бесстыдством отчаяния все потаенные изгибы своей души, герои Достоевского. Именно в это время глухо прорываются в письмах Владимира к Александру нотки горечи и оскорбленных сыновних чувств, и именно в эту пору – в августе 1821 года – не подозревающий, конечно, всего драматизма ситуации Александр увещевает брата: "Люби и уважай твою мать..." Вряд ли догадывалась о том, что происходило в душе сына, и Екатерина Алексеевна. Увлеченная новой своей жизнью, "безделицами", она и не помышляла, что ей предъявлен уже серьезный жизненный счет, счет ее родительской холодности и "корыстолюбию" – предъявлен, кажется, на всю жизнь.

"...Я спокойно бы мог улечься в сырой земле и вечно-холодная рука покрыла бы меня песком также холодно..."

С беспечностью неведения будет она потом увлеченно описывать в письмах к Владимиру свой дроковский сад – действительный предмет ее неусыпных забот и гордости – и будет выращивать в оранжерее диковинной величины груши – на удивление всей губернии – специально для отправки молодой чете Одоевских в Петербург, невольно напоминая сыну о той его, молодой, боли, о "вечно-холодной руке", и не будет понимать, отчего она встречает в ответ столь же холодную руку. Она так никогда и не в состоянии будет ни услышать, ни понять этих горьких, вырвавшихся когда-то, подобно стону, слов:

"Странник в своем доме..."

"Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса, – она очень любопытна, – бросит позже как бы походя Одоевский в "Кате, или истории воспитанницы", – жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания". Мало кто догадывался, как близко подошел он к этой жизни уже сызмальства, как хорошо были известны ему повадки этой дворянской "мелочи", с амбициями и раболепством, без устали снующей в надежде удачных афер, теплого местечка или выгодных связей – будь то дальняя, но чиновная родня или приказное мещанство...

...Князья Щербатовы принадлежали к ближайшей *Одоевской* родне Владимира, принимавшей по столь развитому в те времена чувству "клана" участие в осиротевшем юном князе, и он обязан был им вынужденной любовью за "благодеяния". Свою родную тетушку Прасковью Сергеевну Владимир явно недолюбливал, хотя позже и не пренебрегал разного рода ее услугами – недалекая, но добрая княгиня, сама после мужа оставшаяся в весьма стесненных обстоятельствах, охотно ссужала его деньгами и терпела неаккуратность в уплате долгов. Поводом же к особенному сближению послужила, несомненно, княжна Наталья. Трудно сказать, что в этом "идеале" было придумано достаточно "головным" уже юношей, что соответствовало действительности, – да и вряд ли "чистейший образец", сочиненный Владимиром в стенах пуританского Пансиона – эта странная смесь достоинств умствующего мужчины с женскими прелестями, Александр в женском обличье, – вряд ли сыскался бы он в московских гостиных. Тем не менее Натали сумела возбудить в своем кузене короткое, но сильное чувство. Однако окрашено оно было в отнюдь не свойственные романтическому "мечтательному сердцу" тона. В Благородном Пансионе и в самом деле растили какое-то странное поколение – странно выглядел воспитанник его и на рандеву. Но не только боязнь ошибиться в "идеале" сдерживает естественные порывы юноши. В семействе Щербатовых, где мать "пакостит" в уши дочери суетностью и богатством, он, князь без княжества, король без королевства, чувствует себя таким же "лишним" человеком, как и в собственном доме. Его "муки любви" окрашены не только "головными" умозаключениями о несоответствии "идеала" предмету любви, – окрашены они и горьким сознанием собственной бесприютности. Именно в это время, в пору душевных волнений, он, казалось бы, дает брату Александру, осведомленному о романе, лишнее

доказательство своей "чувствительности", способности к жизни сердцем. Как раз на пике увлечения Натали сообщает он матери в Дроково о "пиесе", посланной им в петербургский журнал "Благонамеренный" – и "пиеса" эта оказывается элегией в "новом вкусе", несомненно навеянной любовными переживаниями и пронизанной мотивами дневниковых записей. Любопытно, что название ее – "Отчаяние любви" – повторяло известный в это время одноименный перевод комедии Вильдербека, принадлежавший Павлу Лукьяновичу Яковлеву, бойкому литератору, в недавнем прошлом воспитаннику Пансиона и брату известного лицейского товарища Пушкина "паяса" М. Л. Яковлева. Возможно, название это, бывшее "на слуху" у ориентированных в текущей литературе пансионеров, попало "в тон" настроениям юного поэта.

Неудивительно, что и "любовный недуг" задел его лирические струны, однако Владимир впервые рискнул предать свои стихотворные опыты гласности – и именно на страницах журнала А. Е. Измайлова, тогда еще не скомпрометировавшего себя в глазах молодежи. Здесь печатались в это время "баловни-поэты" – Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер, составлявшие круг известного петербургского салона С. Д. Пономаревой, усердно посещавшегося и самим Измайловым. Через год "Благонамеренный" резко изменит свое лицо, станет прибежищем чиновничьих низов, "старики" возьмут в нем верх над молодыми, и те, уйдя из журнала, будут выступать против его "кулачных бойцов", в числе которых окажется и перебравшийся в Петербург П. Л. Яковлев, племянник Измайлова. Однако в 1820 году имевший не очень широкое хождение, но тем не менее известный Одоевскому журнал был выбран им довольно точно – его элегические излияния пришлись там ко двору:

Над шумным потоком,
Упавшим с высокой, гранитной скалы,
Где в мраке глубоком
Кипели, ревели средь бездны валы;
Где сосны столетни, нагнувшись, стояли,
Безмолвной пустыни ничто не живит
И только зловещие птицы летали –
Там юноша, в грусти, прелестный сидит
И мыслит: "Где радость? где счастье девалось?
Где призраки славы, блеснувшие мне?
Увы!.. все исчезло – навеки умчалось,
Подобно упадшей с утеса волне!..
И что предо мною!..
Исчезла любовь –
И сердце навеки убито тоскою...
Погибшая радость не явится вновь!..
Свершилось!.. Здесь в бурном потоке – могила...
Коварный свет скоро забудет меня...
Любовь! ты мне счастием некогда льстила...
Погибла, погибла надежда моя!.."

Вздохнул – и сокрылся
Навеки в волнах –
Шум волн повторился
Далеко в лесах...
Какая же горесть могилу изрыла?
Друг милый!.. вот участь несчастной любви!
Ах! бедность от милой его отлучила,
Потух и жар славы, пылавший в крови!..
Друг милый! ужасно
Не сметь полюбить.
А гибнет надежда – тогда все напрасно...
Кто может погибель ее пережить?..

Под стихотворением стояла подпись: "П-н. Москва".
"Ударные" места элегии, заключавшие в себе основной смысл стихотворения, были выделены самим автором: пылкого героя отлучила от милой и поставила к краю бездны бедность – губительница всех надежд.

Стихи и в самом деле оказались "в новом вкусе" – над ними витала тень Жуковского, его "Эоловой арфы" с несчастливой любовью и вечной разлукой:

Владыка Морвены,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Над озером стены
Зубчатые замок с холма возвышал...

"Лирическая волна" всерьез захватила влюбленного Владимира. "Отчаяние любви" появилось в июльском номере "Благонамеренного"; спустя три месяца, в октябре 1820 года, как и было обещано в письме к матери ("скоро пошлю другую пиесу"), там же появляются еще два стихотворения за той же подписью "П-н", с уже знакомыми нам мотивами. В одном из них – "Пылающая хижина" – автору рисуются романтические картины несчастий, настигающих влюбленных средь сумрака "нощи", и единственным спасителем все потерявшей "девы, красы" оказывается ее "друг милый", способный заменить все утраты, "обновить" радость и вернуть ей "счастия прелесть". В другом – под названием "Песня" – вновь звучит больной для юного Одоевского мотив его отношений со "светом":

. . . .
. . . .
...Я видел блеск большого света,
Большие, пышны города.
К чему скрываться?.. ослеплялся
Вельмож словами, богачей;
За счастьем в их толпе скитался –
Бежал из хижины моей.

. . . .

Но что же?.. средь людей кичливых,
Я был последний, ниже всех:
Игрушка сильных, горделивых,
Скучал, томился средь утех...

*

Твой друг там с горестью встречался,
Попавшись в царство суеты,
На время с счастьем распрощался...
И что со мной, когда б не ты?..

*

Не буду в чувствах изменяться,
На пышность счастие менять,
Не буду светом обольщаться,
Не буду почестей искать...

. . . .

И наконец, тему "Песни", свое отношение к "царству суеты", где господствует "счастья своевольство", он спустя месяц подкрепляет назидательной "Эпитафией" – последним из стихотворений, появившихся в "Благонамеренном":

Прохожий! здесь скажи: "Что слава в мире? – дым!"...
Уж я ли, кажется, не славен был на свете:
Собакам, лошадям дивились все моим;
По городу езжал четверкою в карете;
На карту – по сту вдруг червонцев становил;
На бал, за стол ко мне, бывало, все спешили –
И всякой у меня играл, плясал, ел, пил...
И что же? – умер я – и только: все забыли!..

Меньше чем через год он запишет в дневнике аналогичную отходную Наташе Щербатовой, носившей в душе это самое "семя суетности" и сделавшейся посему в глазах еще недавнего влюбленного "дрянью". Резкий приговор ей и ее матушке, "загадившей" душу дочери, был высказан на дневниковых страницах со всей энергией возмущенного обманом чувства, сменившего недавние еще лирические мечты. Очень скоро все это станет основой первых литературных сатирических опытов Одоевского, так, казалось бы, неожиданно, устремленно и продуманно выступившего обличителем "большого света" и предвосхитившего разнос, учиненный Чацким фамусовской Москве. "Разнос" Одоевского был выстрадан глубоко и болезненно.

На "щербатовской" части дневника с его обличительным пафосом лежит, несомненно, и затаенная печать оскорбленного самолюбия: юноша понимает, что он – "невыгодная партия" и заранее отвергнут в качестве претендента на руку. Однако вопреки "написанному" чувство его к Натали угасало, очевидно, гораздо медленнее и мучительнее. Во всяком

случае, его конфидент, все тот же Александр, спустя два года вспоминал еще в письмах к брату княжну: "Засвидетельствуй мое почтение любезной нашей кузине княжне Щербатовой, – писал он в январе 1823 года, – ты часто бываешь с нею".

Так или иначе, но этому юному, сильному чувству обязаны мы единственными образцами поэтической лирики в творчестве философа-прозаика, ставшими и его первым печатным словом.

Лабрюйеру, только что переведенному им для "Каллиопы", Шеллингу, анатомическим опытам и литературным "классикам" сопутствуют романтик Жуковский и петербургские "новые" поэты – и уже не последнее место в их ряду занимает Александр Пушкин. Как раз в это время появляется в печати его поэма "Руслан и Людмила", и московский пансионер отважно бросается в свой первый журнальный бой – в развернувшуюся вокруг "Руслана" скандальную полемику.

В самом начале 1821 года "Сын отечества" публикует сатирическую аллегорию "Аполлон с семейством", подписанную Н. Кутузовым. Гвардейский офицер и один из видных деятелей Союза Благоденствия – правая рука Федора Глинки, Николай Иванович Кутузов был более известен как автор записок о социально-экономической жизни России, однако не чуждался и изящной словесности – правда, преуспевая здесь менее заметно.

Статья об "Аполлоне" была написана им еще год назад, но он решился поместить ее в журнале лишь теперь, в момент для себя знаменательный: менее чем через месяц он готовился вступить в действительные члены "Вольного общества любителей российской словесности". "Ученая республика", как с недавних пор стали именовать "Общество" его участники, находилась под заметным влиянием Союза Благоденствия, всячески стремившегося упрочить здесь свои позиции. Печатное выступление Кутузова накануне официального приобщения к "Вольному обществу" оказалось в этом смысле довольно симптоматично: политик по преимуществу, он декларировал свои взгляды с явным прицелом. Высказанные им не только литературные, но и нравственные, и эстетические воззрения отражали программу, выработанную в союзе с единомышленниками.

В духе благородном, но слогом несколько пышным ратовал Кутузов за высокие цели, вменяя писателям в обязанность "убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мысли, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих".

"<…> безнравственность, соединенная с безверием, является в одежде привлекательной и приобретает хвалу всеобщую!" – восклицал автор "Аполлона..." Не случайно образцом высокого искусства объявлял он "Слово о полку Игореве".

Коснулся Кутузов в своей статье и новой поэзии, обратившись со словом увещевания прежде всего к тому, кого почитал самой яркой звездой на нынешнем поэтическом небосклоне – к Пушкину, ибо с

грустью зрел в нем не только "прелестные дарования", но и "великие заблуждения". "Пожалеем, что перо Пушкина, юного питомца муз, одушевлено не чувствами, а чувственностию... Станем надеяться, будем просить Пушкина, дабы перестроил лиру свою для его славы, и славы земли родной".

Менее чем через месяц на статью Кутузова откликается "Вестник Европы". Некий аноним, скрывшийся за инициалами "И. К.", своим "Письмом к редактору" решительно встает на защиту Пушкина. Он едко иронизирует над "неподражаемым творением" Кутузова, запальчиво утверждая, что автор сатиры предпринял "все эти хлопоты" только для того, "чтобы сказать несколько острот насчет Пушкина".

В эти же дни, между прочим, в письме к А. И. Тургеневу из Варшавы возмущался нападками Кутузова "на нравственность Пушкина" и Вяземский.

Имя защитника "юного питомца муз" оставалось до сих пор неизвестным. Между тем автограф "Письма к редактору" сохранился – и покоится он в архиве Одоевского, неожиданно и красноречиво свидетельствуя о гораздо более раннем, чем предполагалось до сих пор, приобщении его к поэзии Пушкина.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного – ведь восторженный семнадцатилетний критик и сам переживал в это время прилив лирических чувств, вылившихся в не очень умелые, но искренние стихотворные опыты в романтическом духе. Естественно, что дерзкая и соблазнительная раскованность легкокрылой пушкинской поэмы не могла не восхитить юного ее читателя, не могла не вызвать в его душе сочувственный отклик, ставший его первым печатным критическим выступлением.

Тем не менее все эти вспышки "чувствительности" в ломавшемся литературном голосе Одоевского, кажется, мало что могли уже изменить. Тревожащая романтическая стихия успокаивалась холодным философским сознанием – ему в этом противоборстве и суждена была окончательная победа. Характер, слепленный не одними природными наклонностями и пансионским воспитанием, но и обстоятельствами жизни; "застылый пламень", подавляемый рассудком и желчной иронией.

Не случайно Александр не верит лирическим излияниям брата и называет его "юным лицемером". "Только хладнокровный человек может следовать за связью мыслей своих", – пишет он Владимиру в 1821 г., ничего, конечно, не ведая о его дневниковых исповедях. Сам же он, поэт душой, хорошо знает уже цену беспричинному и прекрасному "сумасшествию" – от "грусти и скуки".

"Рассудок, который привык все класть на весы свои, не может взвешивать чувствований":

И если ты за то сочел безумным брата,
    Что сердце ссорится с умом,
То верно бы пришлось и самого Сократа –
    Врасплох – отправить в желтый дом.

Слишком они были несхожи, порывистый офицер и замкнутый пансионский затворник, и можно себе представить, каким вольным ветром должны были врываться за кирпичную ограду благочестивого заведения летевшие в петербургских письмах легкие стихи:

Иль сбросив бремя светских уз,
В крылатые часы отдохновенья,
С беспечностью любимца муз
Питаю огнь воображенья
Мечтами лестными, цветами заблужденья.
Мечтаю иногда, что я поэт,
И лавра требую за плод забавы,
И дерзостным орлом лечу, куда зовет
Упрямая богиня славы:
Без заблужденья – счастья нет.

Эти последние письма адресуются уже вчерашнему пансионеру. 25 марта 1822 года на выпускном Акте Пансиона Одоевский к полному удовлетворению своих наставников и высоких гостей произносит "Речь о том, что все знания и науки тогда только доставляют нам истинную пользу, когда они соединены с чистою нравственностию и благочестием", вполне в моралистическом духе пансионской школы развивая мысль о том, что науки должны быть религиозны и нравственны. Однако здесь же провозглашает он и универсальность философии как "науки всеобщей, имеющей влияние на все другие", заимствующие от нее силы, "как планеты от источника света – солнца". Восемнадцатилетний выпускник удостаивается высшей награды – золотой медали "с правом на чин X класса". На этом он расстается с пансионской "темницей" и уходит в самостоятельную жизнь.

Александр поздравляет брата со вступлением "в большой свет", "на поприще, совершенно новое", и – предостерегает: "...спасайся общества, которое заводит молодых людей в архииерейское болото. Помнишь ли, Володя, ты бывал там, когда ты не был еще совершенно свободен, но теперь не воспользуйся слишком *во зло* себе своею свободою".

"Без заблужденья – счастья нет"...

Однако эта формула жизни, похоже, оставила Владимира равнодушным. Гордые помыслы молодого любомудра направлены в прямо противоположную сторону – преодолеть "заблуждения" человечества поисками и постижением высшего смысла жизни, некоей туманной и недоступной простым смертным, но наверняка существующей Абсолютной Истины. Свое счастье он положил искать здесь.

ГЛАВА IV.

ДЕРВИШ

Павел Никитич Сакулин, известный исследователь творчества Одоевского, пишет в своей монографии, посвященной писателю, о том, что меланхолия, столь выраженная в характере нашего героя в молодые годы, была в высшей степени свойственна всему поколению 1820-х годов. Неудовлетворенность разлита была в воздухе, которым оно дышало, либеральные толки, особенно в среде военных, звучали все отчетливее и громче. "И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь <...> – вспоминал это время А. И. Кошелев, – беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали..." Трудно сказать, однако, до какой степени общественная сторона жизни трогала за живое Одоевского – во всяком случае, в первые послепансионские годы. Уже достаточно определившиеся его интересы лежали в других сферах, и его ранний "байронизм" носил скорее характер личностный.

В одном из писем этих лет, адресованном Титову, в своих "музыкальных" рассуждениях он вспоминает о типе "меланхолика" как о человеке "неопределенных" ощущений – в его представлении наиболее тонком "воспринимателе" музыкальных впечатлений – и не вкладывает в это понятие никакого социального содержания.

В это время одно из старинных московских зданий за Покровкой, мрачно возвышавшееся на пригорке в глухом и отдаленном квартале, с толстыми каменными стенами и низкими сводами, – некогда жилище боярина – приобретает неожиданную и особенную известность. Здание это некогда было отдано под хранение древних хартий Московскому архиву Коллегии иностранных дел, и сюда, в эту "мрачную храмину", устремляются на службу вчерашние выпускники Пансиона и университета. Почти одновременно в стенах архивного ведомства оказываются А. И. Кошелев, В. П. Титов, братья Дмитрий и Алексей Веневитиновы, С. П. Шевырев, наставленные на жизненный путь Давыдовым и Павловым философски настроенные молодые люди, снискавшие себе известность под увековеченным Пушкиным именем "архивных юношей". Потянулся к ним в друзья и университетский кандидат Михаил Петрович Погодин, сын получившего вольную крепостного, богоприверженный, трудно, на покровителях поднимавшийся вверх и уже тогда суеверно и ревностно погруженный в изучение русской истории. Содружество составилось как-то само собой, и из молодых служащих Коллегии в стороне от этой "философской" братии держался лишь, пожалуй, недавно вернувшийся

из Петербурга, надышавшийся столичным воздухом Сергей Александрович Соболевский.

Одоевский быстро сходится со столь близкими ему по духу "архивными юношами". Однако сам он в первые после Пансиона годы почему-то не служит – лишь перед самым отъездом в Петербург, уже в начале лета 1826 года, начинает он вдруг беспокоиться об обещанной ему должности в Губернском правлении. Тем не менее молодой любомудр всецело отдается ученым занятиям и ведет жизнь труженика. "Сенаторская важность" преобразуется теперь в его облике в нечто почти старческое. Он ходит согнувшись, нюхает, покашливая, французский табак à le Balette, но все прежним юношески высоким и тонким голоском увлеченно и горячо беседует со своим крестным о предметах исключительно серьезных – физиологии, химии, философии. Правда, князь Львов не находит в его ученых занятиях никакой систематичности и видит в них, как и в музыкальных сочинениях, заметный беспорядок.

Владимир поселяется вблизи Пансиона, в том же Газетном переулке, в доме своего двоюродного деда князя Петра Ивановича Одоевского, некогда приютившего в московский пожар девятимесячного Герцена. Молодой Одоевский располагается в тесном, но уютном флигеле и живет обособленно: навещавшие его здесь друзья старого полковника никогда не видывали, – впрочем, как утверждали они, не видел его и сам Владимир, но колоритная фигура московского барина, окружившего себя под конец жизни, после смерти жены и дочери, многочисленными воспитанницами и щедро жертвовавшего сиротам, возникла спустя много лет на страницах его рассказа "Сирота" в образе князя Воротынского, который завел "филантропический дом", и приписал к нему "славную Тамбовскую деревню" – точь-в-точь как прототип его, пожертвовавший более тысячи душ на содержание "Убежища бедным" в своем подмосковном имении Болшеве.

Одоевский уже тогда выглядел молодым Фаустом. Две занимаемые им тесные каморки, по описаниям М. П. Погодина, были до того завалены книгами, что пробираться между ними представлялось делом и мудреным, и небезопасным. "На окошках, на полках, на скамейках, – стклянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякие орудия. В переднем углу красовался человеческий костяк с голым черепом на своем месте и надписью: "sapere aude" [1]. В эту немыслимую тесноту каким-то образом, благодаря изобретательности хозяина, было втиснуто еще и маленькое фортепиано. Как прочно все уже сложилось в этой рано сформировавшейся натуре! Даже этой "модели" первой своей самостоятельной обители Одоевский оставался верен всю жизнь: так выглядели потом все его кабинеты – петербургские, и на закате дней опять – московский, более или менее обширные, но все с теми же разбросанными повсюду фолиантами, ретортами и черепами – и сам хозяин, обретавшийся посреди причудливых этих атрибутов, принимавший на себя образ то ли ученого-чудака, то ли средневекового алхимика. Здесь,

---

[1] Решись быть мудрым (*лат.*).

в Газетном переулке, и предается Одоевский усиленным философским занятиям, усердно следуя наставлениям своих профессоров.

О жизни Одоевского сразу по выходе его из Пансиона сведений практически почти не сохранилось. Пожалуй, единственный источник – письма все того же Александра, которому Владимир продолжает поверять свои дела, мысли и чувства. В отзывчивом сердце брата, в дружеской его любви находит он по-прежнему едва не единственное утешение. Но ему уже явно недостает одних писем. Он просит Александра заехать после летних маневров в Москву, хотя вряд ли теперь при личном свидании они остались бы довольны друг другом. Пути их незаметно начинают расходиться. Александр, увлеченный "полнотой жизни", пламенеет "восторгом, каким-то чувством вожделения, жаждой наслаждений", Владимир же ищет наслаждений иных – "идеальных", умственных; он одержим уже "комплексом Фауста".

Вместе с тем из писем Александра узнаем мы, например, что Владимир в это время переживает и очередное сердечное увлечение и пишет брату "чувствительно безумные" письма. В мае 1822 года петербуржец пеняет ему: "Папинька пишет, что ты чрезвычайно похудел, что ты бледен, как смерть – и из чего? из любви, конечно, из любви! Я могу судить по твоему письму, о коем я думал, что оно не что иное, как переложение в прозу стихов Жуковского: тайное, незнакомое, незримое, таинственное, – словом, такая мечтательность, которая прямо заводит – в желтый". Однако Александр уже слишком хорошо знает цену этой "мечтательности" брата и тут же, спустя неделю, говорит ему об этом с веселой откровенностью: "А ты все так же мил, и еще более, если возможно, с тех пор как достоин сожаленья за мечтательный свой пламень! Ты слишком сладострастен, чтобы быть когда-нибудь влюбленным, а пишешь точно как будто из желтого дома. Уверяешь меня, что ты худеешь и делаешь непростительную ошибку в физике, принимая кости за существа прозябаемые. Уверяешь меня, что ты совсем сумасшедший и так умно корчишь жителей желтого дома, что всякий другой поверил бы тебе, но не я, зная очень, что ты не иное что, как забавный лицемер, что ты столько же здоров, как и был до сих пор; что ты сидишь за пьяно, как и прежде, – по несколько часов, – что ты сочиняешь новые вальсы, или лучше сказать новые способы переплетать руки с девицами милыми как В.".

Однако, очевидно, не один "мечтательный пламень" на уме у "забавного лицемера" – "жизнь труженика" вступает в свои права, и молодой искатель истины обретает уже привычку к полуночным бдениям: напившись кофею, проводит он ночи за письменным столом. Отрешенный, рассеянный – с годами рассеянность эта станет в дружеском кругу притчей во языцах и предметом добродушных насмешек – забывает он сообщить Александру в Петербург новый свой адрес, тем самым лишив нас, между прочим, нескольких не нашедших адресата писем Александра Одоевского! "Ты пишешь, пишешь ко мне, – сетует Александр в августе 1822 года, – я тебе отвечаю, отвечаю, – и я один получаю письмы! Пре-

красная переписка! Ты забыл как ты ветрен. Ты забыл прислать мне адрес, переменя квартеру. И еще к тому же на меня сердишься! Сам виноват, а меня осуждаешь. – Я должен тебя переругать, я плачу от гнева! Неужели все мои красноречивые увещевания, все мои пламенно-нежные ответы на чувствительно безумные письма остались тщетными? Ах! я несчастный! Но ты еще более несчастлив. – Ты лишился таким образом самого действительного лекарства от болезни своей, – ты, может статься, исцелен бы был теперь, если бы получил все мои целебные увещевания, и вникнул в справедливость моих суждений. О варвар! зачем не прислал поскорее адреса. Прощу тебе только тогда, когда обниму тебя, безумный и милый Вольдемар!"

Однако "безумный" Вольдемар не очень уже нуждался в веселых увещеваниях брата. Очередная волна "чувствительности", можно полагать, не столь уж серьезно и глубоко занимала его воображение. Петербургская легкость все меньше и меньше импонирует ему, исповедальные письма отправляются туда все реже. Александр, все еще исполненный к брату нежных чувств, чутко улавливает первые признаки отчуждения.

А. Одоевский – В. Одоевскому

С-Петербург, 23 января 1823 г.

Мой милый друг и брат Володя.

Ты очень ленив, даже непростительно ленив. Тебе, верно, приятно так долго играть со мною в молчанку, но это только тебе одному приятно! Хоть бы подумал о ближнем своем. О, себялюбие, и проч.! Вот благоприятный случай написать длинную диссертацию об этом общем свойстве людей XIX века; но я не учился у Давыдова и больше чувствую, нежели говорю. А ты не говоришь, и может быть... Не сердись, Володя, за точки – ей, ей, вырвалось!

Ах! друг мой, мой милый Володя! Зачем ты не пишешь ко мне? Ты целый день сидишь у своего столика, чернильница пред тобой, и ты никогда не выпускаешь пера из рук. То философствуешь для журналов, то для девиц! Что бы стоило тебе промарать две строки и надписать: к брату Одоевскому <…>

Ах, Володя, Володя! не забывай меня: по чести, мало людей на свете, которые бы столь же чистосердечно тебя любили.

Но пора кончить мою элегию в прозе. Кто поручится, что ты уже не рассердился на меня? Может быть, ты переменился с тех пор, как мы расстались. Все изменяется. Но дай Бог, чтоб долго не изменилось сердце моего Вольдемара...

Ему же

С.-Петербург, 2 марта 1823.

Мой милый Володя.

Ты философ хоть куда! Я читал, перечитывал твое письмо; и понял, сколько можно понять едва просвещенному *корнету* лейб-гвардии Конного полка – *глубокомысленные* умозрения непонятного Шеллинга, одетые во вкусе Давыдова любимейшим из его учеников-мечтателей.

Я читал, читал – и напряженный ум мой не видел ни зги в дедале Шеллинговой философии; но не менее того мне приятно было, ничего не понимая, смотреть на буквы, начертанные пером твоим. Так, милый друг! рассудок мой, из почтения к Шеллингу, молчал, но за то сердце говорило. Я был доволен уже тем, что письмо от тебя, и не любопытствовал нимало о истинном содержании оного. Вот как я тебя люблю, Володя мой!

Впрочем, (из того, что я понял) я заметил, что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости *быть счастливым, довольствуясь малым.* Ну, не мудрец ли ты, когда ты довольствуешься одними словами, а что касается до смысла, то, по доброте своего сердца, просишь у Шеллинга – едва только малую толику? Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! – я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу – на Невский проспект.

Твой верный друг Александр Одоевский

Это было объяснение и – вызов. Ироничному корнету в шляпе с белым султаном и ученику-мечтателю Давыдова все труднее становится понять друг друга. Переписка вянет. Нет, она протянется еще два года, но уже без прежней теплоты и доверительности, Александр поборется еще за душу брата, – и не один, но – тщетно... "Странная" судьба была уже выбрана...

Между тем как Владимир отвращал постепенно лицо свое от Петербурга, появлялись новые привязанности, и мы вполне можем представить себе, чем были заполнены его мысли и дни. Если лирические "пиесы" Одоевского в "Благонамеренном" прошли почти никем не замеченные, то окончание Пансиона ознаменовалось для него другим серьезным и обратившим на себя внимание печатным выступлением – впрочем, для всех довольно неожиданным: в одном из самых популярных и читаемых журналов – "Вестнике Европы" – с начала 1822 года начинают появляться его "Письма к Лужницкому старцу": этим именем называли в литературных кругах издателя "Вестника Европы" Михайла Трофимовича Каченовского, жителя Малых Лужников. В цикле сатирических зарисовок желчно, со знанием дела обличались нравы провинциального дворянства и московского "высшего света". Однако подобное направление ума молодого автора могло показаться неожиданным лишь на взгляд поверхностный и непосвященный. Прошедшие мимо читательского внимания стихи московского анонима уже обличали уязвленную душу. Еще раньше, в 1818 году, в Пансионе, в ученическом сочинении на заданные слова: "зима, столица, угрюмость, праздник, обращение в свете, веселость, уединение, приятность характера" Одоевский уже стремится обрисовать героя, предпочитающего шумным удовольствиям столицы уединение и "лучших своих друзей" – книги и вообра-

жающего себя гражданином вольного Новгорода. Через два года эти слабые контуры отчуждения от суетного света он решительно прочертит в "Эпитафии", а столь популярный в те годы символ вольнолюбия – Новгород, низведет в своем дневнике на уровень жажды личной независимости – желание, уже наполненное для него конкретным житейским смыслом. В дневнике же обозначилась и тема "Писем". Последняя, исполненная горечи и разочарования обличительная запись в нем была сделана летом 1821 года. Первое "Письмо к Лужницкому старцу" помечено декабрем. В этом и появившемся вслед втором "Письме" речь идет о нравах послевоенной провинции – оба они явно опираются на личные, "дроковские" впечатления и "филипповско-сеченовское" окружение. Ироничное описание провинциальных представлений об "общей пользе", благородстве поступков и модной тяге невежд к "образованности" перекликается с саркастическими строками письма Одоевского к Титову, написанного два года спустя из Дрокова: извиняясь перед другом за молчание, объяснявшееся "ногтоедой", "поселившейся" на пальце правой руки и лишившей его возможности писать, Одоевский замечает: "…а живу я здесь в такой благословенной стороне, что под диктовку писать никто иначе не может, как сделавши в письме столько же ошибок сколько букв. Таким образом, не желал в письме моем проявить уродство Резанской губернии..." Не случайно потом город Реженск станет в его последующих произведениях символом провинциальной дремучести. Нарисованная же в одном из "Писем" помещица Евдокия Григорьевна едва ли не наводит на мысль о самой Екатерине Алексеевне или, во всяком случае, весьма ей подобных.

"...а как понатерлась в большом свете, так туда же за знатью. Сколько стихов затвердила, сколько моральных правил со вздохами проповедует! Успела, голубушка моя, и по-французски научиться. А все от большого света заняла".

В последующих "Письмах" – "Странный человек", "Похвальное слово невежеству" и "Дни досад", появившихся на страницах "Вестника Европы" в течение 1822 и 1823 годов, явился публике и новый герой – обличитель, провозвестник Чацкого и будущих персонажей самого Одоевского, "странный человек" Арист. Он, как и герой ученического сочинения, "нелюдим совершенный; он почитает те минуты счастливейшими в жизни, когда, на свободе, может в своем кабинете завалиться всеми возможными книгами, когда скрып двери не напоминает ему, что он, волею или неволею, должен из мира идеального перенестися в мир существенный..." Арист иронизирует над светом, не находя там людей с подлинным "умом и образованностию", он пренебрегает тем, что ему, человеку знатной фамилии, должно дорожить общим мнением, ему, наконец, смешны "расчеты светских приличий". Он убежден, "что в свете едва ли не в миллион раз больше глупых, нежели умных, следственно глас общего мнения, или лучше сказать, глас большего числа, есть<...> глас глупости". Облик героя вполне узнаваем. Со всем пылом молодости сокрушает Одоевский то, что доставляло ему все эти годы столько нравственных мук, он дерзко, почти сладострастно

бросает вызов тем, у кого на краю чужих гнезд прошли его бесприютные детство и юность. Он крушит "три могущественные богини всех веков – Знатность, Богатство и Невежество". Надев "очки наблюдателя", Арист отправляется путешествовать по Москве, – и сатирические картины сменяют одна другую. Чередой следуют буквально те же герои и положения, что не увернулись потом и из-под грибоедовского пера: граф Глупосилин, княгиня Пустякова, князь Лелев, выгодно женившийся на дочери ростовщика Процентина, и надо все этим – "деятельное бездействие". "Странный" же человек Арист предпочитает умного, честного бедняка в изношенном кафтане "знатному барину, гордо едущему в раззолоченной карете", чтение Цицерона и Сенеки – необходимым визитам к тетушкам, и в довершение, после двух недель угарной светской жизни, отказавшись от выгодной женитьбы, он в разгар зимнего сезона покидает Москву, чтобы укрыться в деревенской глуши. Таков данный Аристом "полный чертеж светской жизни", где счастливы могут быть лишь глупцы и невежды; "неглупец" же не воспользуется счастьем близким и устремится "за болезненным совершенствованием", к служению во благо человечества. Поэтому мудрый всегда недоволен собою и не знает покоя, жизнь же платит ему людским равнодушием и неблагодарностью.

Задумав откровенно памфлетный цикл, Одоевский, тем не менее, уже здесь уверенно "выводит" свою, ставшую потом излюбленной, тему о стремлении к самосовершенствованию как единственно достойной цели существования и о презрении к не понимающей эти устремления неблагодарной "толпе".

Появление "Писем", по словам героя-повествователя, "наделало <...> в городе много шуму", а некоторые даже сочли Ариста "существом фантастическим".

Все это и в самом деле было ново: герой с умом и сердцем, аристократ, бросающий вызов свету, "странный человек", позволивший себе открыто презреть освященные традицией нормы светского общежития. У Ариста найдется потом немало последователей – и ярче его, и глубже, и злее: Чацкий, лермонтовский "странный человек", "лишние люди", наконец. Но герой Одоевского открывает эту галерею.

Поразительно, как с первых же шагов на литературном поприще Одоевский начал складываться в фигуру "неканоническую", и не менее удивительно, как рано начали его бить и "справа", и "слева". Александр Одоевский вяло и равнодушно замечает ему в письме: "То философствуешь для журналов, то для девиц!" Однако другой довольно близкий ему в ту пору человек, Погодин, напротив, "заражается" его примером, и почти одновременно с "Письмами" Одоевского на страницах "Вестника Европы" появляются и его послания Лужницкому старцу – на этот раз страстные и грозные филиппики против засилья всяческой иностранщины в России. Оба цикла, перемежаясь, как бы сливаются на страницах журнала: они – под одной "шапкой". Зато другой "архивный юноша", новый конфидент и наставник Одоевского, заметно оттеснивший брата Александра, Владимир Павлович Титов, явно недоволен журнальными

эскападами своего друга. Но Одоевский отвечает на дружеский выговор продуманной и любопытнейшей программой: "Вы почти браните меня за мои сатирические статьи, но послушайте и мое оправдание: мы еще не дожили до того Астреина века, в который люди будут довольствоваться одними чистыми, светлыми удовольствиями. Солнце ума слепит еще глаза многих – надобно людей знакомить с ним – посредством стекла закопченного. Вот цель моя! Она заметна во всем, что ни пишу я, следственно, говоря вашими словами, делаю более услуг публике, знакомя ее с Солнцем одними искрами – ибо целого солнца она не в состоянии видеть. – Сверьх того мои сатирические безделки я составляю, как приготовление к тому, что намерен писать я и о чем расскажу вам при свидании. – Пускай до того времени мои парадоксы перейдут в состояние мыслей не новых, следственно, не ослепляющих". Слова горделивы и юношески самонадеянны. Самонадеянна и готовность к учительству, и сознание собственного избранничества – отнюдь не романтического; "чернорабочий" труженик – и наставник человечества, бестрепетно уверенный в том, что владеет и истиной, и правом наставлять. Готова уже и программа учительства – пожалуй, на всю жизнь.

Письмо это написано Титову в августе 1823 года из Дрокова – здесь, у матери и отчима, усиленно занимающихся хозяйственными перестройками, он проводит лето. Впрочем, домашняя жизнь мало его трогает – он всецело погружен в свои занятия. Письма Александру оставлены – он не может более рассчитывать на понимание гвардии корнета, так упоенно отдавшегося во власть жизни, живой игры ума, легкого пера и наслаждений. Его заменяет Титов, с которым они говорят на одном языке.

Послания Одоевского Титову длинны и философичны. (Точно такие же письма Титов пишет в это же время Погодину!) В июле он сообщает другу, что обязан уединению "идеалами многих сочинений", которые старается теперь "перенесть на бумагу". Более других занимает его опыт о музыке. "Кроме внутреннего наслаждения, при сочинении сего опыта, я имею еще другую цель, а именно: познакомить с Трансцендентальным Идеализмом тех, которые даже сего слова, как огня боятся, ибо для знакомых с Шеллингом мое сочинение ничего нового не представит <…> Между тем, чтобы дать вам понятие о моем труде, представляю остов оного: живящий и мертвящий производители в Природе – в Музыке являются под видами согласия и несогласия <…>" Это уже было явно не для ушей Александра. Так рано обозначившаяся наклонность к философскому образу мыслей влечет теперь Одоевского неудержимо. Следуя урокам своих наставников-шеллингианцев, Давыдова и Павлова, молодой любомудр пытается претворить их в собственную философскую систему. Однако далее следуют любопытные признания. "Все прочтенные вами мои мысли нигде мною не почерпнуты, – пишет он Титову. – Они суть следствия, самим мною выведенные из знаемых мною начал естеств<енного> любом<удрия> ибо я ни одной книги, касательно музыки, написанной последователем Шеллинга, не имею, а в других кроме мыслей поверхностных не нахожу ничего".

В другом письме – со всей откровенностью: "Я не читал еще ни Окена, ни Шеллинга, ибо все мои старания достать их до сих пор были тщетны, – все мои умствования вывожу я сам собою, по одним, известным мне началам <…>" Намечен к чтению, но не раскрыт еще и Гердер, но тем не менее Одоевский пытается уже сформулировать свою теорию изящного, основывая ее на идее синтетического искусства, так поразительно отозвавшейся спустя десятилетия в его зрелых, отмеченных незаурядной философской эрудицией построениях: "<…> то искусство, где разительность мгновения живописи соединится с глубоким постоянным, продолжительным действием музыки – то искусство будет производить величайшее действие – и ето есть: Поезия. Но как мелодия производит более действия, будучи соединена с аккордами нежели одна она, так равно и Поезия собственно более действия имеет, будучи соединена с муз<ыкой> и жив<описью>. От того Поезия по преимуществу будет Драмма. Драмма же по преимуществу есть лирическая трагедия, или трагедия древних <…>" Естественно, однако, что пока он легко попадает "в прорехи". Титов, к этому времени уже основательно изучивший Шеллинга, без труда обнаруживает их в доморощенных "умствованиях" друга. "Ваше изложение мыслей шеллингийцев о происхождении искусств поразило меня и поколебало (но еще не разрушило) систему, самим мною себе составленную <…>" – признается Одоевский в ответ. "Ваше изложение потрясло меня так, что я не имею о происхождении искусства совершенно никакой мысли". Однако он не намерен отступаться. Идея совершенствования – и прежде всего совершенствования философского – уже начертана на его знамени. "Вижу сколь ничтожны мои несвязные умствования пред вашими спокойными, на прочных основаниях утвержденными мыслями. Сообщите мне, – просит он Титова с горделивым смирением подмастерья, убежденного в том, что и ему откроются в конце концов высокие тайны "ремесла", – не найдете ли вы еще каких прорех у меня. Много благодарен буду – пуще всего откровенность! откровенность!" Одоевский готов постигать "ремесло" с фанатичным упорством. Перепиской увлечены оба. Титов задает своему корреспонденту философские задачи, и тот охотно их решает. "От чего цветок пленяет обоняние, а плод – вкус наш?" – следует "натурфилософский" вопрос, на который молодой философ тут же отвечает: "Думаю разрешить так (помните однако же, что я не читал Окена, и простите, если сделаю грубую ошибку): цвет венчика ответствует кругу, а плод еллипсе; живая гипербола (которая есть круг обратного значения) – наш обонятельный орган; живая овальность (отвечающая еллипсе) – наш орган вкуса. Посему соответственно цветок нравится обонянию и проч. Растения, происшедшие по преимуществу круга, имеют плоды, не имеющие сходства с нашим вкусом; происшедшие по преимуществу Еллипсы, носят цветы, не имеющие сродства с обонянием".

Невозможно не обратить внимание еще на одну деталь.

Молодой, не лишенный "мечтательности" человек как бы вовсе не замечает окружающих его прелестей среднерусской природы, видя в ней

лишь проявления все той же философской "истины", которую он намерен открывать невеждам сквозь "закопченое стекло". Вместо романтических пассажей о разлитых вокруг красоте и покое в его "философических письмах" появляются весьма характерные размышления – вроде, например, такого, "спровоцированного" прогулкой по саду: "Помните ли, – пишет он Титову, – как Павлов говорил о корнях дерев расположенных к С.<еверу> и Ю.<гу>. Я здесь заметил факт не менее достопримечательный, может быть он вам и не известен. Поелику корень есть тоже дерево, только противуположного значения, то и положения того и другого одинаковы. Как сучья дерева сливного имеют направление вертикальное и загибаются в в е р х , так и ветьви корня такое же имея направление загибаются в н и з . Напротив как сучья дерева яблонкого распростираются горизонтально, так и ветьви корня его. Таковы и все деревья. Шеллингу обязан я моею теперешнею привычкою все малейшие явления, случаи, мне встречающиеся р о д о в а т ь (так перевожу я с французского слово generaliser, которого у нас по-русски до сих пор не было, скажите: удачно ли ето изобретение)".

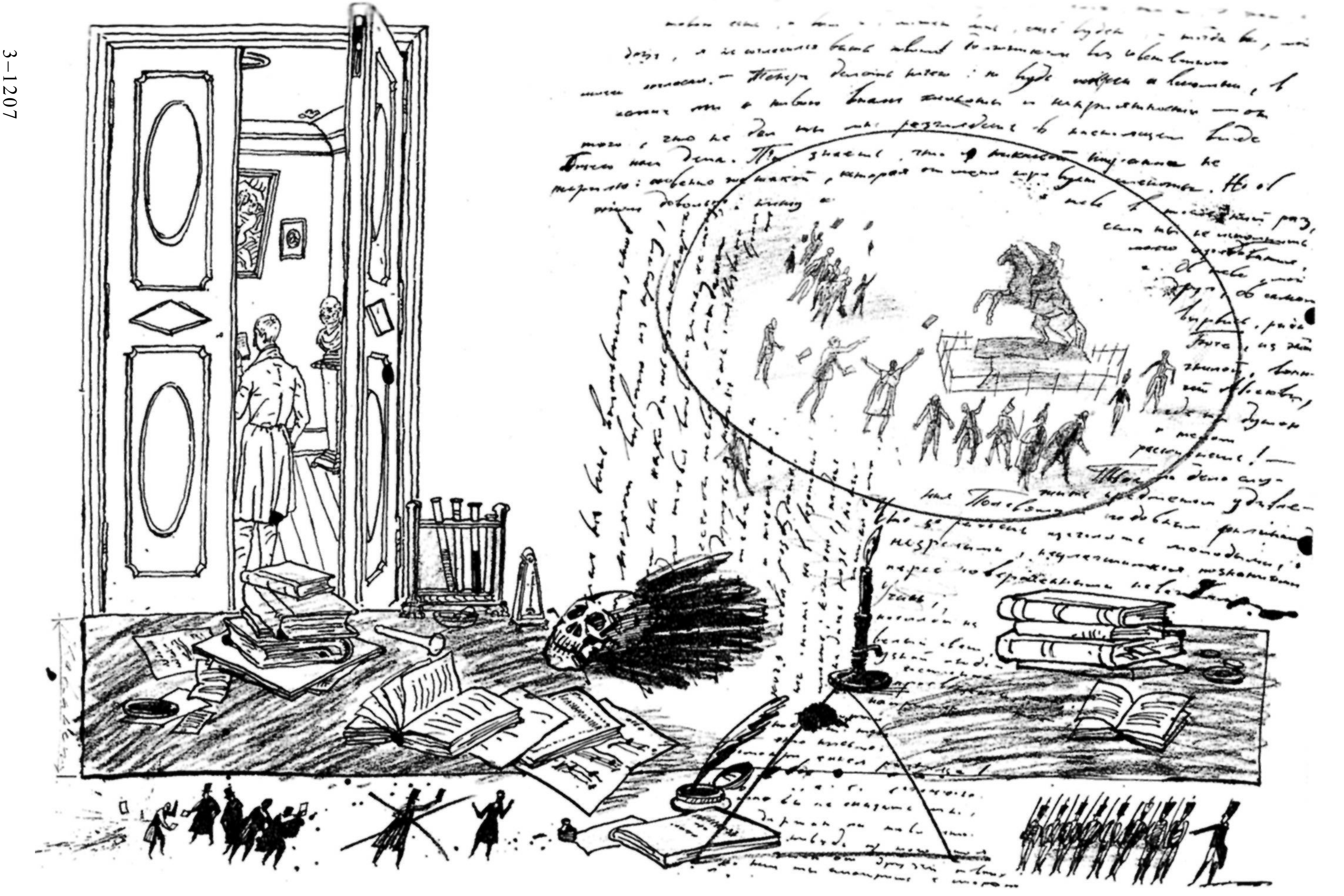
Александр был, кажется, прав, видя в "мечтательном пламени" Владимира лишь "забавное лицемерие".

Пансионская школа сделала свое дело, и пуповина все еще не была перерезана. Одоевский продолжает поддерживать связь с "почтенным" Иваном Ивановичем Давыдовым, и, видно, именно через его посредство попадают на страницы журнала Каченовского "Письма к Лужницкому старцу". Нередко бывает у Давыдова и Владимир Титов.

Уже в эту раннюю пору темперамент сатирика и отрешенные, почти схоластические философские "умствования" причудливо сосуществуют и развиваются рядом.

Философ, однако, зреет "тайно" – в тиши сельского уединения или московского кабинета в Газетном переулке, литературная же "ипостась" размыкает этот круг, требуя живого общения, обозначившего для нас и круг литературных единомышленников. Правда, голос Одоевского уже прозвучал со страниц "Вестника Европы", и прозвучал запальчиво и смело. На юного литератора обратили внимание. "Письма" его, по свидетельству Погодина, "произвели движение между сверстниками"; мысли, в них выраженные, "сделавшиеся впоследствии общими местами, хотя и без большого действительного влияния, тогда были еще новы". Появившийся весной 1823 года в Москве Грибоедов, услышав в филиппиках "странного" Ариста голос своего "сумасшедшего" Чацкого, ищет с Одоевским знакомства. Дальние по родству, но гораздо более близкие во многом по духу, они быстро сходятся, и Одоевский почти ежедневно бывает в доме друга Грибоедова С. Н. Бегичева, где тот живет. Драматургу импонируют "свойства ума и дарования" Одоевского: "Знаю, что похвалою не угожу вам, – живо откликался он на "приятные произведения" молодого автора, – хотя бы нечего возмущаться и самой щекотливой скромности от человека прямодушного, не кроителя пустых вежливостей, и который высоко ценит свойства ума вашего и дарования". Правда, в Одоевском не чувствовалось еще отчет-

3–1207



ливой приверженности какому-то одному, определенному направлению – зато ощущалось биение пусть и незрелой, но независимой мысли. "Я как живу, так и пишу свободно и свободно", – мог бы он уже, наверное, отчасти повторить вслед за Грибоедовым. "Я почти уверен, что истинный художник должен быть человек безродный. Прекрасно быть опорою отцу и матери в важных случаях жизни, но внимание к их требованиям, часто мелочным и нелепым, стесняет живое, свободное, смелое дарование", – писал Грибоедов позже "милому мудрецу", с готовностью внимавшему его урокам. "Горе от ума" подействовало на Одоевского неотразимо, и "особость" отношения к Грибоедову вскоре подстегнет его на одну из первых и яростных журнальных полемик.

В марте 1823 года друг "архивных юношей" Погодин, давно уже помышлявший о создании литературного Общества, пишет княгине А. Н. Голицыной: "У нас составилось Общество друзей. Собираемся раза два в неделю. Читаем свои сочинения и переводы. У нас положено, между прочим, перевести всех греческих и римских классиков и перевести со всех языков лучшие книги о воспитании, и уже начаты Платон, Демосфен и Тит Ливий".

Среди "друзей" видим мы знакомые лица – университетскую и пансионскую молодежь: Шевырев, Титов, Кошелев. Завсегдатаями вечеров становятся Федор Иванович Тютчев, Николай Васильевич Путята, избранный в секретари Василий Петрович Андросов, тихий Василий Иванович Оболенский (переводчик с греческого "Разговоров" Платона) – круг людей, прочно вошедших в жизненную орбиту Одоевского, непременного участника этого содружества. Центром же его становится Семен Егорович Раич, посредственный стихотворец, но известный переводчик Виргилиевых "Георгик", человек преоригинальный, постоянно витающий в мире идиллических мечтаний и удивительным образом сочетавший солидность ученого с каким-то юношески целомудренным поэтическим пылом. Он обучал в это время литературе пансионскую молодежь, и "школа" его носила отпечаток вполне определенной эстетической программы, своеобразно сочетавшей поклонение Жуковскому с нескрываемыми "архаическими" симпатиями. Еще переводя "Георгики" Виргилия, Раич стремился выработать некий "средний" – между "архаистом" Шишковым и "новатором" Карамзиным – "дидактический слог", что-то вроде подражания французу Делилю или Ивану Ивановичу Дмитриеву. Перед последним он благоговел и пользовался его покровительством. Не случайно Вяземский называл шутя Раича "крестником" Дмитриева.

Созданный под его эгидой литературный кружок вполне отражал и его литературные вкусы.

Раичевы "Георгики" Одоевскому нравились. Еще в 1821 году, видно, сразу по выходе их в свет, расхвалил он новый перевод брату Александру, и тот не замедлил с отповедью: "Я написал к тебе предлинное письмо, разругал тебя за твою ветреность (касательно Георгик) – и уже печатал письмо, исполненное угроз и увещеваний; но в это самое мгновение получил великолепные стихи твои, *в новом вкусе* написан-

ные, прекрасное поздравление – и я смягчился даже до того, что бросил письмо в огонь". Одоевский в эту пору, кажется, довольно всеяден. Амплитуда колебания его литературных вкусов весьма широка. Уроки Мерзлякова не прошли даром и, несколько смягченные новыми веяниями, продолжали давать свои плоды. Кружок Раича – легкого дидактика и "итальяниста" в батюшковском смысле, ревнителя галантной поэтической "красивости", энергично отпеваемой "баловнями-поэтами", был в этом смысле весьма показателен. А присутствие в нем Одоевского – внутренне закономерно. Четверги Раича в доме Н. Н. Муравьева на Большой Дмитровке, а затем – на квартире сенатора Г. И. Рахманова, при сыне которого Раич состоял воспитателем, удостаивались посещения Ивана Ивановича Дмитриева, и вполне понятно, почему Одоевский спустя еще несколько лет продолжал выказывать маститому писателю знаки особенного и почтительного внимания. Уже будучи в Петербурге, посылает он московскому литературному патриарху через своего управляющего Никольским имением ящик костромского табаку, а Дмитриев с откровенной доверительностью сообщает ему в письме свои суждения о принципах и нравах текущей литературной и журнальной жизни.

Исповедуется в Раичевском кружке и культ Востока.

"Восток есть отчизна всего чудесного..."

Один из членов кружка, Д. П. Ознобишин, погружен в восточную поэзию, и Раич всячески поддерживает в нем мысль о том, что "надобно перенести к нам поэзию Востока". А вскоре один за другим начнут появляться в печати апологи Одоевского, почерпнутые из мира восточных сказаний, где брамины, дервиши и мудрецы-созерцатели прозревают высокие, "небесные" истины. Не только образцы высшей человеческой мудрости, но и возвышенный порыв души к "сверхземному" находят живейший отклик у молодого любомудра. Именно в это время, по свидетельству Львовой, он усиленно принимается за санскритский язык.

Изящная словесность стояла в кружке Раича на первом месте, и литературные опыты "идеальных" юношей, составлявших этот кружок, были отнюдь не отвлеченными. Сквозь несколько надменную их философичность угадывалась глухая оппозиция "новой" волне, пробивалось настороженное внимание к новомодным поэтическим "дерзостям". В центре этого внимания находился, конечно, молодой Пушкин. Раич встретился с ним в августе 1823 года в Одессе и лишний раз убедился, что пушкинский "байронизм" для него неприемлем. За три года до того Погодин, зорко следивший за первыми произведениями юного поэта, делился с Тютчевым своими впечатлениями. Восхищаясь свободным, благородным духом "Вольности" и некоторыми местами из "Руслана", не постигал он, однако, многих "несообразностей" и "нелепостей" поэмы. Дерзнув выступить в январе 1823 года критиком "Кавказского пленника" и назвав его "прелестным цветком на русском Парнасе", Погодин вооружается против "чувственности" новой поэмы.

Без упоенья, без желаний,
Я вяну жертвою страстей...

"Можно ли выставлять такие чувства!"

Незадолго перед этим Карамзин пишет И. И. Дмитриеву: "В поэме либерала Пушкина слог живописен: я не доволен только любовным похождением. Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия". "Архивные юноши", увлеченные дерзостным, сокрушительным обаянием нового таланта, в вопросах нравственности и языковых новаций солидаризуются со сдержанной неприязнью "старших", почитая, очевидно, и свои нравственные чувства если не оскорбленными, то во всяком случае сильно задетыми.

Поддался ли Одоевский, еще недавно готовый защитить Пушкина как раз от подобных нападок, настроениям "кружковцев"? Неизвестно.

Однако предавались у Раича не одной изящной словесности. Именно здесь Одоевский, приступивший к штудированию Окена, знакомит своих друзей с его натурфилософскими идеями о нуле "как родоначальнике всех плюсов и минусов". Правда, начатый было им перевод он вскоре оставляет, но спустя два года за "Теософию" Окена принимается ближайший теперь к Одоевскому Дмитрий Веневитинов. Он делится своими восторженными впечатлениями с А. И. Кошелевым: "…О Боге говорить высшей математикой, которая теперь в моих глазах самый блестящий, самый совершенный плод на древе человеческих познаний!"

"Четверги" Раича приобрели в московских кругах некоторую известность, но относились к ним по-разному. Живший в это время в Москве Кюхельбекер подтрунивал над Раичем и сочинил пародию на известную детскую песенку: "Раич, Раич, где ты был?" А остроумный Соболевский придумывал этим "радениям" уморительные эпитеты, повторявшиеся со смехом и самими членами Общества. "Кружковцы" между тем подумывали об издании собственного журнала – не исключено, что одним из инициаторов этой идеи был Одоевский. Именно он привел как-то к Раичу предприимчивого молодого журналиста Николая Полевого, прослышав о его журнальных замыслах и предлагая объединить усилия. Будущему издателю "Московского телеграфа" "комедия" эта, однако, пришлась не по вкусу: чтение каких-то "стишков", "статеек" – словом, детское подражание «большому "Обществу российской словесности"» Антонского... Да и интересы "идеальных" юношей плохо согласовались с идеями злободневной журналистики. Они, напротив, старались уйти от нее "вглубь" – это была позиция принципиальная, эдакое легкое небрежение духовной элиты к мелкой "мирской" суете – и, пожалуй, единственный среди них, наиболее "правоверных" любомудров, – Одоевский – готов был поворачивать свой лик на обе стороны.

Тем не менее одновременно с кружком Раича именно энергией Одоевского и Дм. Веневитинова составилось и другое общество – фило-

софское, – по словам Кошелева, также его участника, "особенно замечательное". Собиралось оно "тайно" – след верности все тем же пансионским традициям с их "тайными" кружками, быть может, далекий отзвук почти неосознанных внушений пансионских наставников, причастных когда-то масонским "таинствам". О существовании общества никому не говорилось. Кроме этих троих, входили в него еще Иван Киреевский и Николай Матвеевич Рожалин, друг Веневитинова, болезненный и меланхолический, но много обещавший юноша, завоевавший вскоре известность переводом Гетевых "Страданий Вертера". Здесь уже единовластно царствовала немецкая философия: Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес... Немец Г. Кениг – со слов Н. Мельгунова – написал потом о русских любомудрах в том смысле, что это новое литературное поколение отличается от старого не только распространением немецкого вкуса и немецких литературных течений (романтики); оно стремится к более глубокому проникновению, к философскому обоснованию "немецкого духа". В словах этих заключалась серьезная доля истины – поколение воистину было "немецким". Неспроста Фаддей Булгарин ерничал потом в своем "Иване Выжигине": "Москва, любезный друг, из всех иностранных причудов и обычаев умела соткать для своего покрова свою собственную, оригинальную ткань, в которой чужеземцы узнают только нитки своей фабрики, а покрой одежды и узоры принадлежат нашей родимой Москве. Лучшее московское общество составляют: <...> чиновники, неслужащие в службе, или матушкины сынки, то есть: задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепой фортуной <...> Их называют Архивным юношеством. Это наши петиметры, фашионебли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произнесть: oui и non. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно через край, кроме здравого смысла; низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук".

Молодые философы, семнадцати-двадцатилетние юноши, обратили свои взоры к одной Германии, демонстративно отгородившись от французских "просветителей-говорунов" и "Вольтеров и Гельвециев". Они назвали себя "любомудрами" (калька с греческого "философ") – словом, встречавшимся между прочим, еще и у масонов, а также в статьях ученика масонов И. И. Давыдова. И хотя эффектные декларации несколько опережали события – друзья-единомышленники, собственно, толком еще не были знакомы с немецкой философией, известной им больше со слов русских ее интерпретаторов, однако уже и тогда Шеллинг отчетливо представлялся их "философскому" воображению новым Христофором Колумбом, открывшим человеку, как вспоминал потом Одоевский, "неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания – его душу".

Зная о началах новой философии лишь "со слов", Одоевский, тем не менее, уже летом 1823 года отважно начинает формулировать свое понимание законов искусства. Сколько тут было непосредственно "немецкого" – сказать трудно: наши представления об этой начальной поре

его исканий отрывочны. Впрочем, нам известно, например, что позже собственная литературная практика и атмосфера русской жизни вносили неизбежные коррективы в его отвлеченные философские построения.

Собирались любомудры у Одоевского по субботам – так же по субботам открывались потом двери и его петербургского салона: князь был человеком устойчивых привычек.

Очевидно, кроме "посвященных", допускались на "тайные" московские собрания и "избранные". Эти зимние субботние вечера с любовью вспоминал потом, например, Авраам Норов. "Скажу чистосердечно, – писал он Кошелеву, – этими беседами я много приобрел, – более, нежели книгами или собственными размышлениями. Всего интереснее для меня были твои жаркие диссертации с Веневитиновым. Физиономии одушевлены были энтузиазмом. Ты спорил чистосердечно, с жаром делал возражения, но с радостью и соглашался".

Смутно представляются сейчас и эти "диссертации", и самая обстановка, их сопровождавшая, – все следы собраний были потом уничтожены. Однако можно вообразить, что дружеские беседы отличались разнообразием и что в философских прениях молодые искатели истины пытались привести свои разнородные познания к одной стройной системе. "Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и – сколько благородства! Счастливое время! Где ты?" – ностальгически восклицал Одоевский спустя полтора десятилетия.

Известно также, что именно здесь зародилась мысль и о журнале, и Веневитинов даже высказал свои идеи на этот счет в специальной, прочитанной друзьям статье.

Общество любомудров стало для Одоевского серьезной школой. И в самом деле, в ученых занятиях и спорах беспорядочность юных увлечений входила в берега и обретала более строгие и четкие очертания. Складывается у него к этому времени и определенная система эстетических воззрений, которую начал он излагать на бумаге еще несколько лет назад, задумав целостный труд, – именно о нем, как мы помним, писал он Титову еще из Дрокова. И хотя свой "Опыт теории изящных искусств, с особенным применением оной к музыке" Одоевский и не довел до конца, но значение его как первой серьезной попытки систематизировать уже накопленные к этому времени эстетические представления переоценить трудно. Спору нет, его "положительная система", подчинявшая все, в том числе и литературную критику, единым философским началам, отличалась жестким диктатом рациональных построений. Тем не менее, по свидетельству Погодина, статьи Одоевского, вскоре появившиеся в "Мнемозине", были уже отмечены "примечательной ясностью изложения" и заставляли "ожидать многого от молодого любомудра, как он называл себя".

Так или иначе, но сам Одоевский позже, с расстояния лет, подтвердил особую важность тогдашнего систематического и целенаправленного "философского" общения. "Вообще история литературных кружков с таким серьезным направлением, каким отличался кружок Веневитинова, – писал он, – должна была бы входить значительным эле-

ментом в историю русской мысли, которая всегда пробивалась у нас этими узенькими дорожками, за неимением других, более широких и открытых путей".

Не очень ясно видится, однако, другое: насколько достигали кабинета молодого Фауста уже накатывавшие волны преддекабрьских настроений. Погруженный в философию, увлеченный литературными и журнальными замыслами, от этого он, похоже, намеренно держался в стороне.

ГЛАВА V.
"МНЕМОЗИНА"

30 июля 1823 года в Москве появляется Вильгельм Кюхельбекер. За плечами этого не очень уравновешенного, рассеянного, но блестящего и оригинального умом и образованностью человека был уже немалый и горький жизненный опыт: преподавание в Петербургском Благородном пансионе, декабристская "Священная артель", путешествие за границу и крамольные лекции о русской литературе в Париже, вызвавшие серьезное беспокойство русского правительства, Тифлис и дуэль с родственником всесильного тогда Ермолова...

Приехал он в Москву неспроста. 26 августа – письмо родным: "Дмитриев мною очень интересуется; также и князь Вяземский, уже мой старый знакомый; у последнего я дня два провел в деревне. Может быть с помощью двух этих господ я смогу осуществить свой журнал..."

П. Вяземский – тогда же – Жуковскому: "Вообще талант его кажется развернулся. Он сбирается издавать журнал, но и тут беда: имя его, вероятно, под запрещением у цензуры. Советую ему приискать книгопродавца, который взял бы на себя ответственность издателя. Надобно будет помочь ему и, если начнет издавать, то возьмемся поднять его журнал. План его журнала хорош и Европейский; материалов у него своих довольно; он имеет познания. Кажется, может быть прок в его предприятии".

8 сентября П. А. Плетнев советует Кюхельбекеру из Петербурга "подружиться" с кем-нибудь из московских журналистов, "имеющих уже довольное число подписчиков", – одному журнал не осилить.

Кюхельбекер приехал в Москву пробовать журнальное дело. План "европейского" журнала был у него уже продуман и готов. Оставалось – дать ему ход, и здесь совет Плетнева имел свои резоны.

С молодым Одоевским Кюхельбекер познакомился уже года три назад, сейчас же вновь сводит их, конечно, Грибоедов, которого Кюхля знал еще по Петербургу. Но в Тифлисе знакомство это перешло в доверительную горячую дружбу, и Кюхельбекер стал едва ли не первым читателем "Горя от ума".

Одоевский рвался в большую литературу. Более того – в пекло большой журналистики. Он жаждал крупного литературного "дела". Совсем недавно поверил он своему дневнику сокровенную мечту о независимости как о высшем благе жизни – стремительный прорыв на литературную "авансцену", желание утвердиться в ней было, очевидно, одним из способов эту независимость обрести. Он хотел взять жизнь с боя. Удивительно, как складывался этот характер! Милый, добрый,

подавленный неуютным началом своей жизни девятнадцатилетний князь, смиренно погрузившийся в постижение философских тайн мира, – и уже готовый с горделивой надменностью открывать "невеждам", "толпе" – истину. Еще недавно бедствующий, зависимый, униженный холодным материнским небрежением – он позволяет себе не вступать после Пансиона в службу, даже такую весьма необременительную, как Архив, как-то налаживает, очевидно, дела в отошедшем ему по сговору с матерью дедовском Костромском имении, куда наведывается лично, – словом, проявляет редкий в "мечтательных" юношах практицизм, "сочиняет" себе в Газетном переулке первый – и на всю жизнь – "Кабинет Фауста" (склонность к некоей театрализации быта с годами усилилась – потом он будет являться в своей петербургской "пещере" в средневековом балахоне и колпаке) – и уверенно, смело начинает независимое существование. Редкая в юноше жизненная цепкость, редкая, целеустремленная воля, так плохо согласующаяся с уже привычным, оставленным нам не очень внимательными современниками образом добродушного, рассеянного князя. Нет, были и добродушие, и рассеянность, но... образ этот, похоже, был о двух лицах.

Дроково с его мутными семейными страстями "задвигает" он все решительнее на задний план. Молодой Одоевский теперь – князь, "фашионебль". Он начинает творить свою биографию. Но творить, как истинный созидатель-труженик.

Его тесный, но "свой", отмеченный уже печатью непохожести флигель в Газетном переулке становится центром общения московской интеллектуальной, как сказали бы ныне, молодежи. Однако келейные эти собрания, дающие, правда, богатую пищу уму, оставляют все же привкус неудовлетворенности. Молодой любомудр все чаще начинает поглядывать в окно, за которым кипит жизнь, дразнящая молодое тщеславие.

Бог весть, кому первому пришла в голову идея союза двадцатишестилетнего, умудренного опытом Кюхельбекера с этим только вступающим в большой мир юношей, воспаленным к тому же незрелыми и сумбурными философскими идеями. Скорее всего – Грибоедову, под сильным влиянием которого находились в это время оба. Недавний резкий перелом литературных пристрастий Кюхельбекера таил в себе явный след его тифлисского общения с творцом Чацкого. Об "измене" Кюхельбекера и о переходе его в лагерь "шишковистов" горько сетовали лицейские друзья. "Страшусь раздражить самолюбие приятеля, но, право, и вкус твой несколько очеченился! Охота же тебе читать Шихматова и Библию <...> Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии и от первоначальных друзей твоих!" – писал ему из Одессы и Василий Туманский, общавшийся здесь, кстати, в это время с Пушкиным. "Злой дух" этот витал уже и над юным Одоевским. Демонстративная "внепартийность" Грибоедова должна была импонировать ему как нельзя более – ведь он сам замахивался на роль "поучителя невежд" всех мастей; пансионская же литературная выучка сближала со старшими друзьями

еще теснее. "Старших", в свою очередь, должен был привлекать в этом способном молодом человеке и интеллектуальный накал, и бившая через край энергия молодости. Молодость же была и порукой "послушания". Кюхельбекер рискнул "поставить" на него в своем "альманашном" предприятии. (Альманах ли, журнал ли "трехмесячник" – это были тонкие игры с цензурой, опыт, который перенял потом Пушкин, задумав свой "Современник".) У колыбели "Мнемозины" "тайным" благословителем стоял, похоже, Грибоедов.

"Мнемозине" готовы были помочь – несмотря на то, что петербуржцы сами теперь разрывались между торжествовавшей на берегах Невы и требовавшей все новой пищи "Полярной звездой" и затевавшимися Дельвигом "Северными цветами". Пушкин обещал "дань" обоим лицейским друзьям. "Что Кюхля?" – спрашивал он у брата в начале февраля 1824 года.

Неизвестно, вырабатывалась ли предварительно соиздателями нового альманаха какая-нибудь общая "платформа". Скорее всего – нет: Одоевскому мог быть просто предложен уже готовый план "европейского" журнала – он же, надо полагать, готов был на любые условия: его время было впереди. Может быть, именно поэтому некоторая "разноголосица" обнаружилась на страницах "Мнемозины" довольно скоро.

Одоевский к этому времени успел вкусить первые плоды известности, в нем клокочет и рвется наружу недюжинный темперамент литературного предпринимателя и задиристого журнального бойца.

По выходе "Мнемозины" Александр Одоевский, согласившийся распространить несколько ее экземпляров в Петербурге, будет с презрительной гримасой писать брату по погоду его "журнально-коммерческих оборотов", решительно не желая выдавать себя за его "прикащика": "Феодальная гордость еще не совсем исчезла!" Странно, но при столь культивировавшемся всю жизнь "княжеском" самосознании Владимир Одоевский в журнальных и издательских делах ни этой брезгливости, ни "феодальной гордости" никогда не испытывал, рано обнаружив в вопросах "литературной промышленности" "буржуазное" здравомыслие. Может быть, современные знатоки генетических теорий отнесли бы это "странное" явление именно на счет "подпорченных" генов?

Так или иначе, но в декабре 1823 года на страницах "Вестника Европы" за подписью князя В. Одоевского и В. Кюхельбекера появляется объявление о новом альманахе. Составленное в довольно общих выражениях, оно не провозглашало никакой определенной программы. "Сие издание, – сообщалось в нем, – в роде немецких альманахов, будет иметь главнейшею целию – удовлетворение разнообразным вкусам всех читателей. Посему в состав "Мнемозины" будут входить: повести, анекдоты, характеры, отрывки из романов и путешествий, рассуждения об изящных искусствах, отрывки из комедий и трагедий, стихотворения всех родов и краткие критические замечания <…>" В числе участников объявлялись Денис Давыдов, Грибоедов, Александр Пушкин "и другие известные наши литераторы". Однако главными сотрудниками "Мнемо-

зины" должны были стать, конечно, сами издатели. Одоевский брал на себя беллетристику, философию и публицистику, Кюхельбекер – поэзию и критику. Редакционные и административные дела отдавались, по-видимому, в основном в руки энергичного младшего соиздателя. Московский "четверогранный" альманах начал свою недолгую жизнь. Юный Одоевский шагнул на порог русского Парнаса к созвездию литературных имен.

Первые выпуски "Мнемозины" имели громкий успех, поразив всех дерзостным ударом по признанным литературным кумирам. Несколько неожиданной в этом "ударе" оказалась и позиция молодого любомудра.

Первая книга, вышедшая в январе 1824 года, открывалась его прозой – "Дневником" уже известного читателю Ариста – "Демокрита в наших нравах" – под названием "Старики или остров Панхаи". Последняя сатирическая аллегория, как бы завершавшая цикл "Писем к Лужницкому старцу" и обличавшая скрывающуюся под личиной "спесивой знатности" пустоту светских "стариков-младенцев", – отголосок собственного дневника, пронизанного "бешенством" и "желчью". "Старики..." окончательно утвердили сатирическое перо Одоевского в правах существования в большой литературе: написанные, по словам Рылеева, "со всем остроумием и веселостию", они заслужили почти единодушное одобрение. Однако не это, конечно, вызвало удивленные толки о "смелости" удара; не здесь и Одоевский развернулся в полную боевую позицию. Вызов был брошен в его критическом памфлете "Листки, вырванные из парнасских ведомостей", где он, дав волю своему сарказму, безжалостно расправлялся с "победителями" – "поэтами-баловнями". Называя их "гениальным скопищем", в котором существуют "гении", "подгении", "гениальные писари" и "гениальные рассыльщики", Одоевский метил в Карамзина и тех, кто, защищая его позиции, одержал верх над "упрямыми ультрами". В "писари", надо полагать, записал он Василия Львовича Пушкина, друга его князя Шаликова, А. Ф. Воейкова – усердных ревнителей "дружеской поэзии". Достается, правда, в "Листках..." и "староверам" – "ультра-словесникам", для которых "все, что ново, то безобразно" и которые "далее учителя моего учителя" никогда не пойдут, но основная сила удара пала все же на "буйных радикалов".

Что было в этом запальчивом, почти мальчишеском выпаде "своего", "одоевского" и что – "наговоренного", внушенного? Сам он, похоже, склонялся уже к мысли: "ни те, ни другие" – но, тайно вздыхая над строками Жуковского, но будучи готовым защищать "чувственность" Пушкина, вряд ли бы стал он по собственной инициативе доводить дело с "победителями" до таких сарказмов. Ясно, что им руководили. Его выпустили на затравку.

Во второй книге "Мнемозины" карты были раскрыты полностью. Против теперешних своих литературных противников – "новых" поэтов – выступил сам Кюхельбекер. "Листки" Одоевского, по существу, были "конспектом" его знаменитой статьи "О нап-

равлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие". И все же: до какой степени разделял Одоевский своеобразные литературные вкусы своего соиздателя, ратовавшего за "истинно русскую" поэзию, основанную на "вере праотцев, нравах отечественных, летописях и сказаниях народных", и следовавшего в этом, подобно Шишкову, путем, проложенным церковными книгами и фольклором? Взгляды Одоевского в это время устремлены в несколько иную сторону. Не случайно он на романтическое стихотворение Александра Пушкина "Мой Демон", помещенное в третьей части "Мнемозины", демонстративно отвечает отнюдь не высокой одой, но философским апологом "Новый Демон" – о тщете сущего, совершенно во вкусе немецкого любомудрия. "Недозревший Шиллер", Вергилий, на которых ополчается Кюхельбекер, были еще недавно предметом увлечения пансионеров. Провозглашая апологию оде как высшему поэтическому жанру, Кюхельбекер, в противовес кумирам и поэтическим вождям эпохи, наряду с Ломоносовым называет и Державина, на которого Одоевский будет вскоре нападать в "Московском телеграфе" и вызовет тем неудовольствие Пушкина. Предпочтение, отдаваемое Кюхельбекером "высоким" жанрам перед "легким стихотворством", должно было, казалось, также найти известный отклик в душе ученика "классициста" Мерзлякова, – но он уже пересматривает и свое отношение к учителю. Основные точки соприкосновения издателей "Мнемозины" сходятся, конечно, на романтизме, однако и здесь все идет как-то по касательной.

"Промежуточная" программа Раичевского кружка, которую, думаем, лишь до известной степени исповедовал и Одоевский, отнюдь не совпадала с кюхельбекеровскими требованиями национальной самобытности. Солидаризуясь, с одной стороны, с приверженцами "архаистов" и ревнителями "высокой" поэзии – с другой, не скрывали здесь открытых симпатий и к "итальянисту" Батюшкову, и к "немецкому" романтику Жуковскому с его "туманами" и "вздохами". Сам Одоевский еще недавно писал Александру письма, сильно смахивавшие на "переложение в прозу стихов Жуковского: тайное, незнакомое, незримое, таинственное..." Вместе с тем именно у Раича порицали Пушкина за "байронизм" и "бесстыдную" романтическую чувственность.

Статья Кюхельбекера, сильно аргументированная и явившаяся плодом зрелых размышлений, была написана откровенно и благородно. Однако в числе прочего он позволил себе крайне резкие выпады в адрес "гениальных писарей" и "переписчиков", среди которых едва не больше всего досталось бывшему "арзамасцу" В. Л. Пушкину – автор статьи почти дословно и весьма иронически пересказал широко известное его послание к Жуковскому:

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?..

Василий Львович, смертельно обиженный, ответил "Мнемозине" эпиграммой в "Дамском журнале":

Хвала вам, смелые писцы и стиходеи!
В Поэзии теперь нам кодекс новый дан:

Гораций и Парни – пигмеи,
А Пумпер-Никель – великан!

Кюхельбекер, предъявивший старшему Пушкину серьезный счет, не собирался затевать с ним журнальной перебранки – Одоевский же, рубивший сплеча со всей молодой горячностью, немедленно рванулся было в схватку, написав фельетон, в котором прямо – и довольно грубо – переходил на "личности". В ответ на эпиграмму он отпустил автору "Опасного соседа" и свой экспромт:

О друг мой Василий,
Тщета всех усилий,
Ведь ты не поэт.
И в ныняшни годы
Уж вышел из моды!
Молчи же, сосед!

Фельетон, однако, напечатан не был – думается, стараниями Кюхельбекера, не желавшего опускаться до мелкой журнальной грызни. Агрессия же Одоевского по отношению к Василию Львовичу не была случайной и отражала отношение к "переписчикам" московских "юношей": спустя несколько лет Соболевский, например, нелестно упоминал еще дядю молодого Пушкина в одном из писем к Одоевскому.

Вокруг статьи Кюхельбекера разгорелась бешеная полемика. Вызывающая ее откровенность раздражила и литераторов, и публику; идеи не были ни поняты, ни приняты. "...Читал ли ты Кюхельбекериаду во второй "Мнемозине", – спрашивал Вяземский Александра Тургенева летом 1824 года. – Я говорю, что это упоение пивное, тяжелое. Каково отделал он Жуковского и Батюшкова, да и Горация, да и Байрона, да и Шиллера? Чтобы врать, как он врет, нужно иметь язык звонкий, речистый, прыткий, а уж нет ничего хуже, как мямлить, картавить и заикаться во вранье: даешь время слушателям одуматься и надуматься, что ты дурак". Сдержаннее всех, но по существу вторя Вяземскому, отозвался, пожалуй, Пушкин, всегда серьезно относившийся к "критикам" Кюхли, – лишь спустя полтора года он заметил в письме к А. Бестужеву: "Сколько я не читал о романтизме, все не то, даже Кюхельбекер врет". Эти оценки Одоевский вполне мог бы отнести и на свой счет.

Имя Парни возникло в эпиграмме старшего Пушкина не случайно: Кюхельбекер методично развенчивал "французские идеалы", служившие его литературным противникам образцами для подражания. Тех же взглядов придерживался Грибоедов. Деятельность молодых любомудров также началась с отрицания французского XVIII века.

Как ни негодовали на Кюхельбекера и друзья, и недруги, но "Мнемозина" продолжала отстаивать свои позиции. Надо отдать должное смелости Одоевского – в следующем, третьем, выпуске альманаха он выступил в поддержку своего соиздателя, опубликовав "отрывок из романа" под названием "Следствия сатирической статьи". Здесь он не только солидаризовался со многими положениями Кюхельбекера, но и уточнял собственные литературные принципы, объявляя, в сущности, войну на два фронта. Недаром прозрачно-автобиографический его ге-

рой – граф Ипполит Двинский, литератор и ученый, человек независимых взглядов – оказывается под перекрестным огнем.

Совершенно естественно, что в "отрывке" Одоевского немалое место занимают и нападки на "французские идеалы", – однако не только на Парни и Мильвуа, певцов "туманной дали", с которых не сводят умильных глаз их российские почитатели. Восстает писатель и на французских "классиков", вообще полагая, что настала пора свергнуть Францию с вовсе не заслуженного ею литературного престола: "Ничего не может быть смешнее и жалче французов нашего века, которые думают, что еще не прошло то счастливое время, когда они пользовались литературного славою, столь неправильно ими приобретенною; когда Вольтер кружил всем головы, а Буало и Лагарп почиталися верховными самодержцами Парнаса". Достается от противника французской "тирании" и таким сочинителям всякого "вздора", как Жанлис или Дюкре-Дюмениль, а заодно и их переводчикам – этой "безобразной средине", приверженцам "Дамского журнала", бездумно оставившим "простоту прежних нравов", но вместе с тем "не достигнувшим европейской образованности". Всего милее Одоевскому тот самый малочисленный "класс" людей, который осмелился "покинуть *уныние* и *сладострастие,* разогнать густые *туманы,* забыть о *луне* и заниматься своим совершенствованием, в полном смысле слова".

Пожалуй, в этом "отрывке" пристрастия молодого критика определились с наибольшей отчетливостью: ни запоздалый классицизм – неспроста оппонентом Двинского выступает "классик" Мусорин, ни слащавый сентиментализм, ни псевдоромантическая или эпикурейская "легкая поэзия".

Создатель Двинского и его литературной программы вполне осознавал всю дерзостность отрицаний своего героя, отрицаний, которые неминуемо должны были принести ему в обществе опасную славу "сумасшедшего" и "карбонария".

...Первая книга "Мнемозины" прошла "на ура". Она блистала именами Дениса Давыдова, Грибоедова, Вяземского, самого Кюхельбекера. На выход нового альманаха откликнулись почти все журналы, его приветствовал со страниц "Полярной звезды" Рылеев. "Подписка идет в Москве хорошо, – сообщал Кюхельбекер родным, – расходы по первой части покрыты: в кассе у нас сейчас 1300 рублей остатка, и мы ожидаем из Грузии еще 1500 руб. <...> Я собираюсь отпечатать еще до 600 экземпляров первой части; а остальных частей сразу 1200". "Твои билеты весьма хорошо расходятся по рукам", – писал в то же время из Петербурга младшему соиздателю Александр Одоевский, распространявший подписку на альманах в Петербурге. Однако со второй книги, со статьи Кюхельбекера, успех этот становится скандальным. На "Мнемозину" – неуклюжие к тому же книжки в лиловой обертке, с худо литографированными картинками и множеством опечаток – ополчились. Игнорируя мелкие придирки А. Ф. Воейкова и робкие возражения П. Л. Яковлева в "Благонамеренном", Кюхельбекер резко отвечает на сомнительные похвалы Булгарина. Следует раздраженный

ответ и фельетон "Литературные призраки", где Булгарин прикрывается именем Грибоедова – "Талантина", нового своего друга и единомышленника Кюхельбекера. В "Ответе г-ну Кюхельбекеру" Булгарин больно задел и Одоевского. Тот, рано проявивший нетерпимость к критике и рассерженный даже довольно сдержанными откликами на выход "Мнемозины" в "Дамском журнале" Шаликова и "Новостях литературы", теперь закусывает удила. Булгарин позволил себе посмеяться над философскими идеалами князя-"любомудра", категорически отказал ему в литературном таланте и публично обвинил в плагиате: "Романы ваши <..> не имеют ни связи, ни слога, ни характеров, а некоторые блестки ума насчет общества взяты смелою рукою, как я теперь догадываюсь, из известной рукописи". Последний намек был более чем прозрачен: Грибоедов, "Горе от ума". Однако, защищаясь в столь же резких выражениях, Одоевский одновременно отстаивает от булгаринских посягательств и автора неизданной комедии. Была объявлена неслыханная война. Журнальная брань сотрясала воздух обеих столиц. Расходившегося Одоевского увещевали со всех сторон – но тщетно. "Что у тебя за война? – спрашивал его из Петербурга Александр в мае 1824 года. – Перестань *журналиться;* в этом нет прока! Перебраниваешься, ругаешь *кого? как? и за что?* <...> Лежачих не бьют, а особливо *ослов;* ты их тем заставишь только встать и снова лягаться. Приятная война! и славные противники". И далее – с резкой откровенностью: "Береги свою желчь, ибо и ее можно употребить на что-нибудь путное в сей странной жизни. Но если твоя жизнь – журналы, то я отказываюсь их читать, потому что я слишком люблю тебя и боюсь, чтобы ты не задушился в этом тесном корсете. По крайней мере, не читая журналы, не буду видеть, как ты мучаешься и задыхаешься. Вот истина. Извини брата и друга".

Много спустя, уже порядком поостыв от пыла "сражений", Одоевский сам с необыкновенной живостью воссоздал эту атмосферу литературного "райка":

"Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством; но мы, в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности; литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке..."

Последнее – некоторое лукавство. "Философами портика" вели себя его друзья-любомудры, но отнюдь не он сам. Заключая своей статьей "Несколько слов о "Мнемозине" самих издателей" последнюю книгу альманаха, он как раз ставил ему в заслугу именно то, что на его страницах была объявлена война "почти всем русским журналам, почти всем старым предрассудкам". Но как раз этим обстоятельством и был менее всего доволен Кюхельбекер.

Еще в первой книге "Мнемозины", где Кюхельбекер начал публиковать свои "Отрывки из путешествия" с описанием Дрезденской галереи, к его тезису о "высшей поэзии, идеале" как соединении "вдохновения и прелести" появляется пространное полемическое примечание Одоевского об основаниях для теории изящного. Кюхельбекеровское определение "высшей поэзии" он уклончиво оценивает как если и справедливое, то во всяком случае далеко не исчерпывающее и одновременно открыто выступает против своего вчерашнего учителя Мерзлякова, опровергая один из основных тезисов его эстетики, весьма близкий мысли автора "Отрывков": "Самое понятие о прекрасном – чуждо всяких законов". У Одоевского – своя контридея, родившаяся еще в дроковском уединении: принципы развития изящных искусств основаны, как и развитие любой точной науки, математики или физики, на "едином общем мериле". Иными словами: искусство имеет свои, строго обозначенные и постоянно действующие законы. Первую осторожную попытку "ревизии" Мерзлякова – в пользу "трансцендентального идеализма" – предпринимает Одоевский еще за год до этого, записывая свои мысли по чтении "Полярной звезды". Теперь же он метит в две цели разом и дипломатически корректно, но определенно отмежевывается от взглядов своего соиздателя. Последний, между прочим, ведет в это время любопытные записи.

"Мерзляков – некогда довольно счастливый лирик, изрядный переводчик древних, знаток языков русского и славянского, приобретший имя сочинениями по части феории словесности, но отставший по крайней мере на 20 лет от общего хода ума человеческого и посему враг всех нововведений – выдерживает нападение кн. Одоевского и не отвечает на оное".

В. Кюхельбекер. "Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности".

«"Мнемозина" I часть.

Кюхельбекер передается славянофилам...»

Там же.

Вспомнил, очевидно, напечатанные там свои тяжелые, затканные славянизмами сочинения – стихотворение "К Богу" и повесть "Адо"...

"Междуусобия продолжаются"...

Там же.

"Междуусобия" действительно продолжались – не только внешние, но и глухие, внутренние.

Хотя в объявленной программе "Мнемозины" и не было ни слова сказано о любомудрии, Одоевский с завидной последовательностью начинает проводить на ее страницах новые философские идеи. Неизвестно, нравилось ли это Кюхельбекеру, – вряд ли. Но занятия своего молодого друга одобрял Грибоедов – и это, возможно, служило надежной защитой. Вообще, надо думать, Кюхле, открытому, непрактичному до нелепости, было довольно сложно совладать с убежденной энергией своего молодого друга.

Во второй книге альманаха Одоевский публикует "светскую" повесть "Элладий", где вновь живописует полный интриг и низостей великосветский мир Москвы, где героиня оказывается столь же недостойной героя, как некогда его, "студента", – Натали Щербатова, и где сюжет, не стоящий, по словам автора, "взора Любомудра возвышенного", оживляется лишь искренностью автохарактеристик и грустными мотивами собственной ущемленной юности, когда "пламень молодости" сжигал "завесу равнодушия" – "и благородные чувствования, исходя на внешность во всей наготе своей – искажались: твердость характера – казалася упрямством; чувство собственного достоинства – безрассудною самонадеянностию, бескорыстное стремление к совершенству – странностию, наконец невольное презрение к бессмысленным – обращалося в насмешливость". Элладий говорит голосом Ариста, но творец его – уже под обаянием Чацкого, и Элладий не то что объявлен сумасшедшим – он просто, сраженный клеветой, сходит с ума. Отсюда, наверное, и потянулась нить к будущему грандиозному замыслу "Дома сумасшедших".

При всем художественном несовершенстве этого прозаического опыта историко-литературное его значение оказалось заметным; спустя два десятилетия его в полной мере оценил Белинский. Впрочем, критик возвращался к ней несколько раз, и уже в 1835 году, вспоминая собственные впечатления молодости, сделал важное замечание о том, что "эта повесть была дивным явлением в литературном смысле" и что в ней "в первый раз блеснули идеи нравственности XIX века, нового гостя на Руси; в первый раз была сделана нападка на XVIII век, слишком загостившийся на святой Руси и получивший в ней свой собственный, безобразный характер". И позже, признавая все "детские" несовершенства "Элладия", Белинский подтвердил прежние свои оценки, еще более их уточнив: "Это была первая повесть из русской действительности, первая попытка изобразить общество не идеальное и нигде не существующее, но такое, каким автор видел его в действительности".

Однако наряду со "светской" повестью появляются в этой книге альманаха и "Афоризмы из различных писателей по части германского

4–1207

любомудрия", также принадлежавшие Одоевскому. Начинались они характерным тезисом: "Цель науки – сама наука – нет для нее другой внешней цели" – и знакомили русскую публику с не очень понятными ей идеями новейшей немецкой философии.

Но "Афоризмы" приветствует один из любимых учеников Шеллинга, едва ли не первым возвестивший России "о новых познаниях естественного мира", профессор физиологии Данило Михайлович Велланский. 17 июля 1824 года он писал Одоевскому: "Афоризмы вашего сиятельства, помещенные в Мнемозине, читал я с величайшим удовольствием, и признаюсь, что из всех известных мне ученых россиян вы один поняли настоящее значение философии".

"Вторая часть "Мнемозины". Совершенное поражение и приведение в безмолвие кн. Одоевским гг. В. и Воейкова. Афоризмы кн. Одоевского, или намерение самое благородное и высокое, но..!

"Элладий" – повесть его же, или лица могущие существовать в одном воображении молодого человека.

Пролог к "Аргивянам", трагедии с хорами – и первые военные действия Кюхельбекера противу элегических стихотворцев и эпистоликов – впрочем, он отнюдь не соединяется с гг. классиками".

В. Кюхельбекер. "Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности".

"Намерение самое благородное" имело, однако, неуклонное свое продолжение. Третья книга "Мнемозины" открывается четырьмя философскими апологами Одоевского – его излюбленным в эту пору жанром, которого, кажется, не знала до него русская литература. Первый из них, "Дервиш", звучал декларативно.

Сквозь мрак и тернии, неведомыми путями, бредут вслед за Дервишем странники. В руках Дервиша – светильник, который "обличал пред ними и мрачные бездны и грозные скалы". Почти все, следовавшие за Дервишем, кляли его, завидовали светильнику, роптали...

"Дервиш не внимал ни благословениям, ни проклятиям; холодный, бесстрастный не примечал стона ниспадающих: не для освещения ничтожной толпы нес он светильник, не для нее подавлял тернии: взорам, воображению, уму, всем чувствам, всем движениям души его – представлялась цель, к которой он стремился. – Для нее позабывал он все подлунное – и если вспомоществовал своим спутникам, то потому только, что не мог к ней стремиться – и в то же время не подавлять терния, не освещать светильником.

Мудрый! – ужели добродетели простолюдина цель твоих действий? – Толпа бессмысленная, приравнивая тебя к себе, ищет в тебе сих добродетелей, слепой взор ее не замечает... Но не твоя ли добродетель возвышеннее всех прочих? – Совершенствование! – Добродетель муд-

рого! – ты, в которой поглощаются и благотворительность, и милосердие, и любовь к ближнему! – Он может стремиться к тебе и в то же время не быть милосердным, не благотворить человечеству, но ты – единая цель пламенного ее стремления!"

"Цель науки – сама наука..."

..."Германо-россы и русские французы прекращают свои междуусобия, чтоб соединиться им противу славян, равно имеющих своих классиков и романтиков! Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; Катенин, Г<рибоедов>, Шаховской и Кюхельбекер – ко вторым".

В. Кюхельбекер. "Минувшего 1824 года..."

Кюхельбекер все решительнее отмежевывается от "классиков" – в сторону некоего варианта "героического" романтизма; Одоевский все решительнее отмежевывается от Кюхельбекера – в сторону "германского любомудрия".

Неизвестно, как складывались личные отношения соиздателей, но к концу 1824 года, после выхода третьей книги альманаха, некоторое отчуждение ощущается явственно; Кюхельбекер все более самоустраняется – или отстраняется энергичным Одоевским? – от альманашных дел. Нарастает глухое раздражение, он покидает Москву и уезжает в смоленское имение сестры Закуп.

IV книга "Мнемозины" отдана, похоже, "на откуп" Одоевскому. Во всяком случае, выглядит она как "книга любомудрия", и Александр Одоевский упоминает о ней в письме к брату знаменательно: "Твоя Мнемозина". Здесь появляется статья корифея-шеллингианца М. Г. Павлова, две философских статьи самого Одоевского – "Секта идеалистико-елеатическая" и "Отрывок из словаря истории философии". Последнюю, очень важную издательскую статью – "Несколько слов о "Мнемозине" самих издателей" – Одоевский также пишет сам. В ней он уже в открытую главнейшей целью издания провозглашает стремление "распространить несколько новых мыслей, блеснувших в Германии; обратить внимание русских читателей на предметы в России мало известные, по крайней мере, заставить говорить о них..." Правда, не забывает Одоевский здесь и близкой обоим идеи: "...положить пределы нашему пристрастию к французским теоретикам, наконец показать, что еще не все предметы исчерпаны, что мы, отыскивая в чужих странах безделки для своих занятий, забываем о сокровищах, вблизи нас находящихся". Однако, вроде бы учитывая позицию своего соиздателя и говоря о целях, которые преследовал альманах, он формулирует их довольно неожиданно, спокойно игнорируя первоначальную программу "Мнемозины", объявленную в "Вестнике Европы". Наряду с излюбленной кюхельбекеровской проповедью "самобытности" он провозглашает теперь борьбу с французским направлением... во имя "германского любомудрия". Более того, он ставит в важнейшую заслугу альманаху то, что "Мнемо-

зина" заставила заговорить не только о новых литературных идеях, но и о Шеллинге и Окене.

Кюхельбекер вспылил. 23 марта 1825 года, когда книга, сильно опаздывая с выходом, начала, очевидно, наконец печататься, он пишет Одоевскому из Закупа:

"Твоя статья уже напечатана: итак я должен быть ею доволен; делать нечего: но Пушкин очень прав, что назвал задорным цех,

О котором не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

Ты все сделал, что я от тебя ожидал (подч. нами. – *М. Т.*): и в заключение ты порядком себя похвалил, а других пожурил, ты был бы не Одоевский, если бы того не сделал!"

Судьба их союза была решена.

"Сделай милость п о с л е д н ю ю , о которой тебя прошу: вышли исправно экземпляры, как не высланные еще по сю пору третьей, так и четвертой части <...> Не знаю, откуда вы взяли с Эристовым, что буду в Москву: я, признаюсь, не намерен! На Фоминой неделе я еду в С.-Петербург".

Правда, спустя десять дней вспыльчивый Кюхля, отойдя, извиняется перед Одоевским, ответившим ему, видно, обиженным письмом. "Любезный, добрый друг, – пишет он ему 5 апреля. – Ты на меня сердишься; сделай милость, не сердись! Конь, и о четырех копытах, спотыкается..." Уже вполне миролюбиво просит он князя разослать "Мнемозину" нескольким поименованным им подписчикам и интересуется, между прочим, получил ли все части Пушкин: "Справься, душа! Сделай милость". Просит заодно отпечатать – уже в "Телеграфе" – свой перевод из "Агамемнона" Эсхила и быть "корректором оного". Но все это существа дела не изменило.

Еще несколько месяцев назад соиздатели не оставляли, видно, планов на продолжение "Мнемозины" – правда, преобразованной: в бумагах Одоевского сохранился "План периодического издания, под названием "Мнемозина", на 1825 год", а Кюхельбекер в декабре 1824 года ездил к цензору И. М. Снегиреву просить, чтобы тот взял на себя в следующем году цензурование альманаха. Возникал и другой замысел: в виде прибавления издавать литературно-критический журнал "Комета". Учитывая горький и поучительный опыт своих недавних "боев", они хотели посвятить новое издание "благонамеренной и здравомыслящей критике", введя ее в разумные берега. Однако теперь все планы оставлены. Интерес читателей к альманаху, стремительно идя по нисходящей, упал совершенно: беллетристика с каждым номером становилась все посредственнее, нараставший "философский" напор широкую публику лишь отпугивал. Отношения соиздателей, хоть и скрепленные все еще дружеской приязнью, дали заметную трещину.

"...С последним № "Мнемозины" мое журнальное поприще – надеюсь на Господа! – навсегда кончено, – пишет Кюхельбекер Одоевскому вслед за предыдущим письмом, – ибо боюсь посредственности,

к которой прямой тракт лежит через область журнальных мнений, прений и рвений". С неудачей "Мнемозины" дела его пошатнулись. Весной 1825 года он отправляется в Петербург и ищет журнальную работу у вчерашних своих противников – Булгарина и Греча, пытается найти службу. А вскоре знакомится и, быстро сойдясь, поселяется на одной квартире с Александром Одоевским, только что принятым в тайное общество.

Однако "хвост" "Мнемозины" тянулся еще до осени: издатели фактически прогорели, и последняя часть, печатавшаяся с трудом, была доставлена подписчикам только 22 октября 1825 года!

Булгарин умудрился еще до ее выхода свести с Одоевским последние счеты, добыв рукопись книги у Греча, которому дал ее доверчивый Кюхельбекер. Прекрасно зная, что в момент подготовки номера последнего не было в Москве, и оставляя его в покое, издатель "Северной пчелы" расправлялся с "гусляром-философом", забыв уже все приличия.

«"Мнемозина" отстала во всех отношениях, – писал он в своей газете. – Ей надлежало бы выйти в свет в сентябре 1824, а она появилась в октябре 1825 года За то получаем в ней экстракт греческого, римского, еврейского, халдейского и немецкого любомудрия, и если бы глубокомысленный мыслитель <...> понимал то, о чем он писал, и что почтенный издатель "Мнемозины" поместил в сей книжке, то, может быть, и мы бы чему-нибудь понаучились <...>»

Литературный "раек"...

"<...> вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, – а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность... Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей, и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы..."

"Мнемозина" "произвела движение между сверстниками", – но это было и горьким разочарованием для "идеальных юношей". Самый, пожалуй, яркий и энергичный из них, "гусляр-философ", впервые вышел к "толпе" с новой проповедью – и был встречен насмешками и холодом непонимания.

Не понимали и близкие. С братом Александром после некоторого перерыва отношения наладились вновь, но в них не было уже прежней короткости и гармонии. Петербургский офицер все менее понимал московского философа, задиристого и странно одержимого теперь вдобавок духом "соревнования" с братом, – однако "высокопарное его суесловие" не убеждало, "худо перенятое мудрствование" отража-

лось лишь в "вечных восклицаниях". Александр начинает как будто постигать на расстоянии характер "милого Володи". Новое нелицеприятное объяснение между ними не заставило себя ждать. Еще в октябре 1824 года, в разгар "Мнемозины" и "тайных" собраний в Газетном переулке, Александр снова пытается "вытащить милого Володю":

"Скажи, Идолопоклонник! – пишет он в Москву. – Не похож ли ты на какого-нибудь Тевкра, взирающего с благоговейным трепетом на золотое облако, для него не прозрачное и в котором отец и мать богов сами не ведают, что творят. – Всматривайся; что ты видишь? Высокое, высокое, высокое! Восклицание за восклицанием! Но если бы пламень горел в душе твоей, то не пробивая совершенно твердых сводов твоего черепа, нашел бы он хотя скважину, чтобы выбросить искру. Где она? Ты видно на огне Шеллинга жаришься, а не горишь.

Я буду говорить правду, ибо ты сам принял на себя священное обязательство наставлять меня на путь истинный <…>

Я скажу все, как вижу из-под *козырька моей каски,* который однако не мешает всматриваться в тебя, потому что не нужно для этого (с вашим дозволением) считать на небе звезды. Ты еще пока в людской коже, как и не лезешь из нее.

Ты попал в болото и лежишь под целым роем немилосердно квакающих лягушек. Эй, брат! приучишься квакать <…>"

Однако Александру чужд не один "философский лепет" брата – еще опаснее кажется ему "журнальный бред и круг писак-товарищей, полу-авторов и цельных студентов".

"<…> Вместо того, чтобы дышать внешними парами, не худо было бы заняться внутренним своим созерцанием и взвесить себя. Мы оба никогда еще вместе не бывали на ристании или просто на скачке. Никакой английский лорд не бился об заклад о том, кто из нас друг друга перегонит. Зачем же тебя вдруг дернул чорт соревнования? Чему ты радуешься? Зачем ты так себя не щадишь и выказываешь? Ты желаешь душой своей разлиться по целому, и, как дитя принимает горькое лекарство, так ты через силу вливаешь в себя все понятия, которые находишь в феории полезной и прекрасной <…> – но не заменяющей самостоятельности <…> Итак, учись мыслить, но не говори, что ты достиг цели, стоящей вне круга моей жизни. Ты еще ничего не достиг. Ты едва ли еще на пути, хотя ищешь его, как кажется. Откуда же взялась такая смешная самонадеянность. *Ты старше летами, но я – перегнал, я старше...* чем? душою. Но где душа? Ты как будто ищешь ее вне себя, в философии Шел.<линга>, а я ее не искал!

Сойди в глубину своего ума, признайся, что набросать слова звучные, нанизать несколько ниток фальшивого жемчуга, и потом, сев на курульские кресла, с важностью римского сенатора, судить человека совсем незнакомого, – весьма легко. Незнакомого? – да, незнакомого! Он тебя любит <…> уважает твои способности, благородные надежды, но он всегда был тебе также темен, как оракул вдохновенной Пифии <…> Когда ты видел меня? где? Если бы ты подумал об этом, Вольдемар. Жестокая потеря унесла с собою лучшую часть моих чувств и мыслей <…>

С тех пор я не совсем оправился, но однако начинаю ступать с некоторою доверенностию к себе. Как-то мыслю, как-то чувствую, иду, но не считаю, как ты, шагов моих, и не мерю себя вершками. У всякого свой обряд. У меня есть что-то, пусть – идеал, но без меры и без счету <…> Я дорожу, чем ты не дорожишь; понятно: ты всегда готов заменить свое какою-то примесью. Образумься! Время. Чем же ты меня так перещеголял? Внутренним бытием? – ты моего не знаешь. Печатным бытием? – я его презираю. Ты перещеголял меня самолюбием; верь!

Я отвечал на твое письмо, – как ты сам меня на то вызвал <…>"
Это практически последнее (не считая коротенького, июня 1825 года) из известных нам писем Александра Одоевского брату. Через год будет еще последняя личная встреча в Москве, но здесь уже, по существу, сказано все.

Игра самолюбия, надменное, "сенаторское" чувство превосходства, "чужое", превращаемое в "личное" достояние...

"Образумься! Время"...

Но Владимир этих слов давно уже не слышит; с важностью он продолжает поучать, в сущности, незнакомого человека...

Судьба зажгла им на небе две разные звезды. Одному забрезжили уже сибирские дали – другой написал "Дервиша".

"Дервиш не внимал ни благословениям, ни проклятиям <…> не для освещения ничтожной толпы нес он светильник, не для нее подавлял терния..."

...С прекращением "Мнемозины" Одоевский перебирается на страницы "Московского телеграфа" – журнала, только что организованного Николаем Полевым, задуманного как оплот новой романтической литературы и поддержанного Вяземским и Пушкиным.

Весь 1825 год он активно использует эту трибуну, регулярно помещая здесь и музыкальные статьи, и новые свои произведения. Один за другим появляются небольшие его сатирические и нравоописательные очерки, продолжающие тему "Дней досад" и "Элладия". "Сборы на бал", "Женские слезы", "Невесты" – все это вновь едкие зарисовки светской суетности, тщеславия, недостатков воспитания. Публикует Одоевский и несколько "разговоров": "Разговор двух приятелей", "Разговор под Новинским" – след пансионской литературной школы. В жанре бытового или светского сатирического повествования молодой писатель еще не выработал своей формы, однако старый каркас обрамляет уже новое содержание, и в этом смысле быстрые его картинки весьма важны: они пронизаны философски обличительным пафосом, отличающим мировоззрение молодых любомудров и в эту пору наиболее законченно и ярко отразившимся именно в творчестве Одоевского. Темы, избранные для "Разговоров", также были отмечены печатью оригинальности и предвосхитили повести позднейшей, зрелой поры: "разговор покойников" – бедного солдата

и богача, – утверждающий право на социальное равенство, был развит потом в рассказах "Живой мертвец" и "Насмешка мертвеца"; критика женского воспитания со всей полнотой сатирической страсти выразилась позже в одной из самых популярных его "пестрых" сказок – "Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту". Здесь, как и в апологах, только еще переплавлялся опыт предшествующих литературных традиций, новых веяний и философских влияний, но было уже ясно, что для Одоевского наиболее близкими оказываются дидактическое начало и "гумор", выражавшийся, однако, по словам Белинского, "не в веселом расположении, понуждающем человека добродушно и невинно подшучивать надо всем, что ни попадется на глаза, но в глубоком чувстве негодования на человеческое ничтожество во всех его видах, в затаенном и сосредоточенном чувстве ненависти, источником которой была любовь". Аллегории Одоевского сразу выделились "каким-то необщим выражением своего характера", тем, что были исполнены "жизни и поэзии".

Не оставлена и острая журналистская шпага – Одоевский по-прежнему оттачивает свое полемическое перо. Он продолжает легкую перебранку с "Северной пчелой", однако главным его критическим выступлением в "Московском телеграфе" этой, предпетербургской, поры становится статья в защиту "Горя от ума".

С комедией Грибоедова Одоевский познакомился, видно, в числе первых – до того, как "разлилась" она по России "бурным потоком", как списки ее широко распространились в обеих столицах. Вспоминая позже о привычке Грибоедова приниматься за перо не прежде, чем стихи складывались окончательно, Одоевский утверждал, что слышал в авторском чтении "почти все "Горе от ума", когда еще ни одного стиха не было записано на бумаге". Во всяком случае, уже в 1825 году (в печати к этому времени появились лишь отрывки "Горя...") Одоевский несколько раз восторженно обращается к новой комедии, подчеркивая непреходящее ее значение. В своей статье, заключавшей последнюю книгу "Мнемозины", он оценивает творение друга как "произведение истинно делающее честь нашему времени", а в "Разговоре двух приятелей" уже разъясняет общественный смысл грибоедовской сатиры.

Однако с публикацией отрывков вокруг комедии разгораются журнальные страсти, спровоцированные едкими выступлениями двух давних грибоедовских недругов, московских литераторов А. Писарева и М. Дмитриева. Среди прочих "разоблачений" критиков одно оказалось особенно уязвляющим: новая комедия была расценена лишь как "памфлетная" (по словам Дмитриева, Грибоедов "не совсем попал на нравы того общества, которое вздумал описывать"), а герои ее – всего только "портреты", списанные с ныне здравствующих обитателей московских гостиных. Следуя этой логике, критики объявляли о полном тождестве Чацкого с его создателем, предполагая тем самым достичь своей цели: не только "уронить" "Горе от ума" в общественном мнении, но и дискредитировать ее "сумасбродного" автора, одержимого, подобно своему герою, "духом самолюбия".

Это уподобление, исполненное тонкого коварства, вполне оправдало свое назначение: оно внедрилось в умы и сторонников, и противников как-то сразу и надолго, сослужив неблаговидную службу.

Не избежал ловушки и горячий, но опрометчивый Одоевский. В "Московском телеграфе" появляются его "Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии "Горе от ума"" – "антикритика", основной пафос которой был направлен на опровержение главной мысли хулителя Грибоедова: "Чтобы иметь ключ ко многим литературным истинам нашего времени, надобно знать не теорию словесности, а отношения к лицам".

Спор Одоевского с Дмитриевым касался в первую очередь главного героя комедии, в котором автор "критики" увидел лишь несовершенно выполненный идеал молодого образованного человека, автор же "антикритики" – гораздо большее: "совершенную противоположность с окружающими его лицами". По мысли Одоевского, в одной из представленных в комедии противоборствующих сторон, а именно в Чацком, "видна сила характера, презрение предрассудков, благородство, возвышенность мыслей, обширность взгляда; в другой слабость духа, совершенная преданность предрассудкам, низость мыслей, тесный круг суждения".

Отвергая поверхностные аналогии Дмитриева, сравнивающего Чацкого то с героем сатирического романа Виланда "Абдериты" Демокритом, то с Мольеровым Мизантропом, отвергает Одоевский и вытекающее из этих сравнений утверждение автора "критики" о том, что Грибоедов "не совсем попал на нравы того общества, которое вздумал описывать". Взгляд Одоевского прямо противоположен: "портреты" комедии Грибоедова – как раз и есть "список с нравов" того русского общества, которое взял он в "прототипы".

Однако не случайно спустя восемь лет Кюхельбекер, воскрешая в памяти эти первые бои вокруг "Горя...", вспомнил прежде всего "предательские похвалы" Дмитриева, за которые, по его понятиям, полагался бы "Суд Чести", и досадливо назвал тогдашних защитников Грибоедова "неловкими". Едва ли не в первую очередь упрек этот относился к Одоевскому, так неосмотрительно попавшемуся на уловку опровергаемого им противника: признав, по существу, правомерность отождествления Чацкого с его создателем, Одоевский попытался лишь поменять в этом уравнении все минусы на плюсы.

Недаром и сам Грибоедов был раздражен тогда этим сомнительным спором. "Хотя ты за меня подвизаешься, а мне за тебя досадно <...> Борьба ребяческая, школьная", – морщась, выговаривал он Одоевскому из Киева.

Примечательно, что неизмеримо более опытный и проницательный Пушкин сразу же после первого, даже не очень внимательного знакомства с комедией отметил прежде всего – и дважды подряд – разницу между Чацким и Грибоедовым: "Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен".

Тем не менее в статье Одоевского прозвучало и несколько важ-

ных и неординарных мыслей – главным образом, о языке грибоедовской комедии. Как и Орест Сомов, автор восторженной рецензии в "Сыне отечества", он смело утверждал, что только с Грибоедовым на комическую сцену явился, наконец, взамен "натянутых, выглаженных фраз" слог подлинно разговорный, язык легкий, непринужденный, исполненный истинно "русского колорита". «Вот практическое доказательство истины слов моих, – заключал Одоевский, – почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли – стихи из "Горя от ума"». При всей неоднозначности своих оценок Пушкин, между прочим, также писал Александру Бестужеву: "О стихах не говорю: половина – должны войти в пословицу".

Высказанные в "антикритике" наблюдения делали честь молодому критику. Его убеждение в том, что "Горе от ума" "не имеет нужды ни в похвалах, ни в защите от нападений", ибо оно, "без сомнения, переживет все журнальные статейки", его суждения о языковых новациях комедии Грибоедова – все это было развито потом в классических статьях о "Горе от ума". Много позже, вспомнив как-то в письме к Верстовскому жаркие схватки за комедию и ярых ее противников – в частности, бывшего своего пансионского сотоварища Александра Писарева, – он не без гордости, впрочем, вполне оправданной, заметил: "Не знаю, выйдет ли из меня что-нибудь путное, но только знаю, что люди, которых я защищал и на которых он нападал, теперь сделались классическими у нас писателями <…> Ето показывает, что я по крайней мере не совсем ошибался..."

Особое, восхищенное отношение к бессмертному творению своего старшего друга Одоевский пронесет через всю жизнь; образы "Горя от ума" то и дело будут всплывать в его художественном сознании, постоянно возникая на страницах собственных его произведений, – и так же постоянно будет звучать в них легкий грибоедовский стих.

...Этот год вообще оказался насыщенным. Одоевский становится завсегдатаем одного из самых блестящих литературных домов Москвы – княгини Зинаиды Волконской. Сама писательница, музыкантша, художница, она сумела привлечь к себе и новую московскую молодежь. В великолепных залах ее особняка на Тверской – "Белосельских палатах" – можно было встретить все, что существовало тогда именитого на русском Парнасе, и Одоевский даже записывает в альбом "русской Корины" один из своих апологов – "Санскритские предания".

Продолжались и его "келейные субботы". По средам собирались у Веневитинова в Кривоколенном переулке. Странно, но никто не оставил нам подробностей этих встреч...

К зиме 1825 года усилились в Москве политические толки. В феврале или марте Кошелев присутствовал на памятном для него вечере у своего родственника М. М. Нарышкина, где собирались будущие декабристы – князь Е. П. Оболенский, Пущин, Рылеев, читавший свои патриотические думы, и где все свободно говорили о необходимости покончить с существующим правительством. На следующее же утро

Кошелев рассказал об этом вечере друзьям-любомудрам – Ивану Киреевскому, Веневитинову и Рожалину, и они долго обсуждали необходимость перемены образа правления в России. Немецкая философия отошла на время на задний план – их заменили французы-политики: Бенжамен Констан, Рое-Коллар. Примечательно, однако, что имени Одоевского Кошелев в этой связи не упоминает. Возможно, уже к этому времени в дружеском кругу достаточно хорошо была известна его политическая "сдержанность" – во всяком случае, не к нему помчался наутро Кошелев с сообщением о вечере у Нарышкина. Однако не только это. По-прежнему, если не больше, закрыты для посторонних глаз его семейные отношения, и лишь Кюхельбекер как раз в апрельском письме к Одоевскому сочувственно и глухо упоминает о каких-то его "неприятностях" и о болезни. Тем не менее в глазах Кюхельбекера и нового его друга и единомышленника Александра Одоевского Владимир – "заблудший" и погибающий в московской трясине, и они предпринимают последнюю отчаянную попытку вызволить его из этого "болота". Осенью в Москве появляется Александр, уже захваченный стихией вольнолюбия, уже готовый "славно умереть", и привозит брату письмо от его старшего друга и недавнего соиздателя, исполненное искренней, дружеской тревоги.

В. Кюхельбекер – В. Одоевскому

Любезный друг Владимир Федорович

Брат твой вручит тебе это письмо: он на словах пополнит тебе то, что время не позволяет мне тебе написать или что напишу не довольно вразумительно, не довольно ясно, не довольно убедительно. Я к князю Александру Ивановичу имею полную, безусловную доверенность; итак все, что касается до меня, ты ему выскажи, как будто бы ты говорил с самим со мною, без всякого постороннего свидетеля. – Во-1-х, прошу тебя (без всякой ложной деликатности, которая может меня только оскорбить) сказать князю, что я тебе должен – рубль в рубль, копейка в копейку. Если бы ты был сам богат, если бы не нуждался, как то, я знаю, с тобою есть, и было и, может быть, еще будет, и тогда бы, мой друг, я не согласился быть твоим должником без с о б с т в е н н о г о моего согласия. – Теперь делать нечего: но будь искрен и вспомни, в какие мы с тобою впали хлопоты и неприятности – от того, что не дал ты мне разглядеть в настоящем виде общего нам дела. Ты знаешь, что я никакой тирании не терплю: особенно же такой, которая от меня требует слепоты. Но об этом довольно: пишу к тебе в последний раз, если ты не исполнишь моего требования. – 2. Об тебе, мой друг, об самом: вырвись, ради Бога, из этой гнилой, вонючей Москвы, где ты душою и телом раскиснешь! – Твое ли дело служить предметом удивления Полевому и подобным филинам? Что за радость щеголять молодыми, незрелыми, неулегшимися еще познаниями перед совершенными невежами? Учись; погляди на белый свет; узнай людей истинно просвещенных, каков, напр.<имер> тот, который подаст тебе это письмо. Посмотри, какая разница!

Я желал бы быть волшебником, чтоб тебя махом вырвать из кругу, в котором находишься и которого хуже для тебя вообразить не могу; вспомни, чего от тебя ожидают истинные друзья твои. Извини, брат, что пишу к тебе, может быть, и жестко: хочу тебя разбудить; ты спишь не в безопасном месте: конечно, падать и падать – розь! но понижаться неприметно – все-таки падать. – Я думал написать к тебе целую диссертацию: у меня накопилось; ты часто был для меня предметом размышления горького, предметом разговоров с твоим братом. Вверься ему: это человек, который для тебя все сделает. Он и лучше тебе доскажет то, что не умею выразить, как бы хотел: желал бы я вместе и сильно потрясти тебя, и не огорчить; задача трудная <…>

Прощай, любезный! Целую, обнимаю тебя: не сердись на меня, да послушай; а если иначе нельзя, рассердись, да послушай. Из всех твоих знакомых поклон одному Титову. Прости!

Твой Вильгельм.

Что двигало этим зрелым, умудренным жизнью человеком в столь настойчивой, упрямой борьбе за "душу" юного друга? Человеком, разглядевшим младшего Одоевского с дистанции гораздо более близкой, чем Александр, видевшим все так трезво и так открыто, – честный, искренний до простодушия Кюхля не мог иначе, – и все же, несмотря ни на что: Одоевский – и "филины". Похоже, невзирая на "альманашные" расхождения, на "тиранию" и "самолюбие" младшего, в какой-то момент Кюхельбекер стал для Одоевского едва ли не единственным душевно, человечески близким – правда, в тех пределах, которые Владимир уже явно обозначил себе. Но Вильгельм знал многое, больше других: и семейные неприятности, и материальную стесненность – даже "нужду". Более того, в этом же письме вдруг неожиданно возникает имя дядьки Владимира Алексея Алексеевича Филиппова – возникает в странном, не вполне ясном для нас контексте: "Ты не отвечаешь на письма А. А. Филиппова; это, мой друг, не хорошо; тем более, что он тебе обязан..." Сквозь плотно опущенную завесу мелькнул в мимолетном "кадре" семейный персонаж – причем непонятно, известно ли Кюхельбекеру, что "А. А. Филиппов" – родной дядя князя? Скорее всего – нет: вскоре Одоевский примерно так же, уклончиво, отрекомендует Алексея Алексеевича Соболевскому: "мой родственник..."

Конечно же, Кюхельбекер зорким своим глазом сумел разглядеть сквозь игру тщеславных страстей и упрямую, упорную борьбу за независимость, ум и способности сильные, природную доброту и почти детскую незащищенность. "Матушка меня за тебя крепко журила: и есть за что! Она тебя заочно любит..." – писал Вильгельм в Москву из Закупа еще весной.

То же, что помнил и Александр, что виделось ему из петербургского далека.

"...Вспомни, чего от тебя ожидают истинные друзья твои..."

Интересно, что совсем незадолго до этого Грибоедов, в отличие от тех двоих "сердечно радовавшийся" занятиям "милого мудреца",

тем не менее также желал, чтобы Бог поскорее "вынес" его из Москвы. В этом же, июньском, 1825 года, письме к Владимиру из Киева содержится, между прочим, и еще одно в высшей степени любопытное признание. Считая и Александра своим "питомцем" и потому вовсе небезразличный к отношениям между братьями, Грибоедов писал: "...он же (Александр. – *М. Т.*) тебя более по мне знает, из моих описаний, вы слишком были молоды, когда вместе живали или виделись, и не могли составить себе решительного мнения друг о друге".

Сохранилось бесценное свидетельство княжны Е. В. Львовой: еще в бытность Кюхельбекера в Москве он и Владимир бывали в доме Львовых ежедневно и "редкий день не обедали". Александр, конечно, также был здесь "своим". Трое, живо сохранившиеся в памяти мемуаристки, являли собой в ее глазах полную противоположность: Владимир, сохранивший "нежность в чертах", но в свои двадцать два года как-то "согнувшийся" и принявший на себя "что-то старческое", "тем же высоким или тонким голоском говорил живо, горячо, с увлечением; беседа же Кюхельбекера была сдержанна, он говорил немного, тихо, обдуманно. Наружность Кюхельбекера была не красива, не ловка и не симпатична, вообще между друзьями не было ничего сходного". "Крайнюю же противоположность" с Владимиром представлял Александр. "Высокий, здорового сложения, красивый собою, с открытым, живым взглядом, с каким-то сердечным, сообщающимся смехом. Александр был чрезвычайно симпатичен, умен, учился хорошо и в душе был поэт".

Перед самым декабрем оба – Кюхельбекер и Александр – в Москве; оба, как и Владимир, – почти каждый день у Львовых:

"19 ноября 1825 года кончается император Александр I-й. 10 или 11 декабря того же года к<ня>зь Александр проводит по обыкновению вечер у нас, в каком-то возбужденном состоянии, обыкновенная веселость его и симпатичный смех как-то принужденны, неестественны, что нас всех удивляет, не возбуждая однако никакого подозрения. На другой день мы узнаем, что Александр Одоевский и Кюхельбекер уехали в Петербург и 14 декабря оба уже были действующими лицами на Зимней площади.

Князь Владимир был поражен как и все в Москве, последующими событиями. Казалось ни Александр, ни Кюхельбекер не поверяли ему ничего о своем обществе. Владимир как мне помнится, был сумрачен, но спокоен, только говорил что заготовил себе медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия. – Однако его не тронули <…>"

А. И. Кошелев вспоминает о почти ежедневных собраниях у М. М. Нарышкина в период между получением известий о кончине Александра и событиями на Сенатской площади – здесь сосредоточивались все известия и слухи, доходившие из Петербурга. Обсуждались даже меры, которые следовало предпринять в случае благоприятных вестей из столицы. Известия, между тем, были противоречивы. Прошел даже слух, что не присягнувшая 2-я армия идет на Москву с тем, чтоб установить конституцию, и что сюда же двинул свои войска с Кавказа Ермо-

лов. Юноше Кошелеву казалось даже, "что для России уже наступил великий 1789 год". "Немецкие философы", забросив "Шеллинга и компанию", ездили каждый день в манеж и фехтовальную залу, готовясь к "деятельности", которую себе "предназначали".

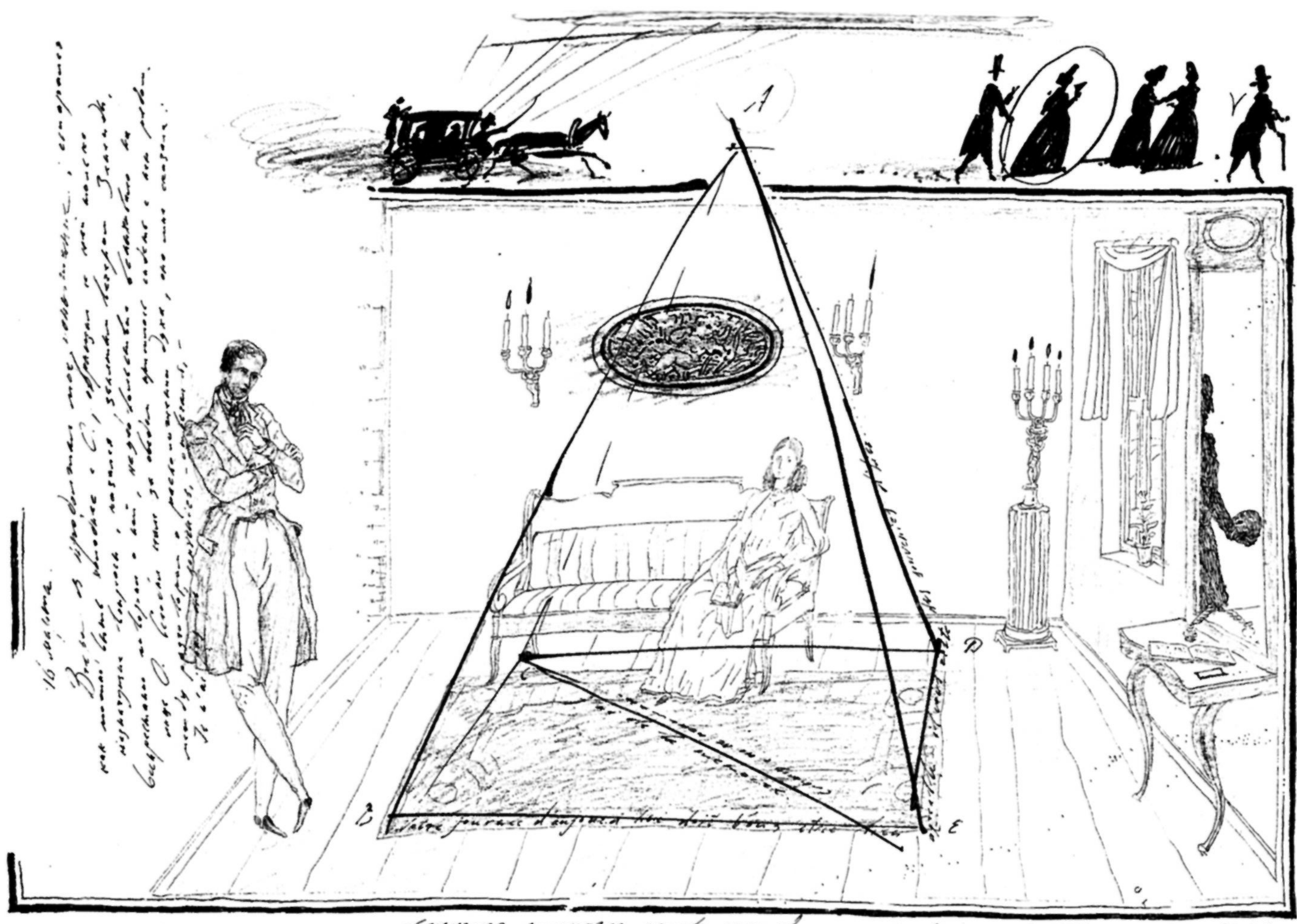
"Мы, молодежь, – передает свои тогдашние ощущения мемуарист, – менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события, – добавляет он, – нас, между собою знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня..."

П. Н. Сакулин давно уже заметил, что в рассказе Кошелева Одоевский так же, как Титов и Шевырев, упомянуты лишь в этом, общем перечне друзей. Все же предыдущее относится, судя по всему, лишь к нему, Кошелеву, Киреевскому и Веневитинову. Других, более подробных сведений о настроениях Одоевского в эти дни не сохранилось. Однако в рассказе Кошелева узнаются, например, знакомые детали: его матушка также заготовила сыну теплую фуфайку, сапоги и дорожную шубу. Но это понятно: слухи об арестах в Петербурге увеличивали общую тревогу, а вскоре начались ночные аресты и в Москве: М. Нарышкина, В. Норова, М. Фонвизина... еще и еще. Однако Львова запомнила Одоевского "сумрачным, но спокойным". Над его ближайшими друзьями, с которыми он только что расстался, нависла смертельная угроза, – и он готов был ответить за эту дружбу: медвежья шуба лежала наготове. Какие разговоры – жаркие, резкие или вовсе наоборот – осторожные, "наощупь" – происходили между ними? Неизвестно.

Мы, наверное, так и не узнаем, посвятили ли Александр и Кюхельбекер Владимира в свою "тайну" или нет. Думается, однако, что Владимир вполне понимал, о чем идет речь.

Но вставать грудью за конституцию он явно не собирался. Знали об этом, наверное, и восторженно всколыхнувшиеся было его друзья-любомудры.

Зрелые – и сложные – оценки декабризма придут потом. Сейчас же, вступая в большую жизнь, он осторожно нащупывал свой, "узкий путь".


A
C
D
B
E

ГЛАВА VI.

НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН

Тетку свою Варвару Ивановну, дочь двоюродного деда Ивана Ивановича Одоевского, Владимир любил искренно. Рано осиротев, Варвара Ивановна жила в Москве у своего опекуна Дмитрия Сергеевича Ланского, женатого также на одной из княжен Одоевских, двоюродной сестре Варвары Ивановны и родной тетке Владимира. В 1811 году, когда Владимир был еще семилетним ребенком, Варвара Ивановна переселилась в Петербург и вышла там замуж за двадцатичетырехлетнего Сергея Степановича Ланского, сына человека важного – гофмаршала и члена Государственного Совета Степана Сергеевича Ланского.

Сергей Степанович был личностью по-своему замечательной. В царствование Александра состоял он вторым мастером "Провинциальной" масонской ложи и находился в тесных сношениях со старыми масонами – друзьями Шварца и Новикова. Тогда же, через посредство А. Н. Муравьева, вошел он в Союз благоденствия, однако покинул его задолго до 14 декабря. Служил он в Коллегии иностранных дел, был одно время по дипломатической части в Финляндии. В мае же 1824 года, подав прошение об увольнении, перебрался на жительство и службу в Москву.

До этого Варвара Ивановна наезжала сюда из Петербурга, кажется, не часто, и насколько она входила в жизнь своего племянника – неизвестно. Однако по переезде ее сходятся они сразу.

Женщина чрезвычайно образованная, сама не чуждавшаяся "пробы пера", Варвара Ивановна вникала в предметы самые разнообразные. Еще, например, в 1816 году спрашивала она мнение своей ближайшей московской подруги фрейлины М. А. Волковой о магнетизме, и та отвечала ей рассуждением весьма примечательным: "Это вещь очень интересная, – писала она, – но, признаюсь, я не желала бы, чтоб сведения эти распространились в толпе; это может повести к страшным злоупотреблениям, которых последствия трудно предвидеть. Вообще не люблю я, когда стараются проникать в тайны природы, в особенности мира духовного. Я убеждена, что есть люди, способные глубоко вникнуть в тайны природы, но мне кажется, что посредством изучения мира физического не дойдешь до понимания вопросов, относящихся к миру духовному, которых большинство людей не в состоянии постичь".

Неважно, так или несколько иначе мыслила сама Варвара Ивановна об этих предметах, – важнее другое: они ее интересовали. Неудивительно, что спустя лишь несколько месяцев после водворения Ланских в Москве Одоевский уже посвящает своей тетушке "Четыре аполога" –

"в знак нелицемерного уважения и непритворной привязанности". Тетушка также, надо думать, простирает свое заботливое крыло над Владимиром не только по обязанностям родства – тем более, что живут они под одной крышей: Ланские также поселяются в доме князя Петра Ивановича Одоевского. Но безоблачной идиллии не получилось – есть основания полагать, что с Сергеем Степановичем молодому человеку приходится сложнее: взаимная неприязнь законоприверженца – философа и столичного "прогрессиста" в эту пору очевидна.

Однако судьба распорядилась будущими их отношениями по-своему.

"Выписка из бумаг матушки моей
Варвары Ивановны Ланской"

1826. *Dimanche 21 Février ma belle mêre et toutes les dames sont arrivées de Petersbourg et se sont logées chez nous*[1].

Москва. (Т<о>е. <сть> Марья Васильевна, Ольга, Павла и Зинаида Степановны Ланские).

В Москве появляются мать Сергея Степановича, и его сестры, все еще незамужние девицы, старшей из которых, Ольге, в это время двадцать девять лет.

В. Одоевский "Выписки из моего дневника"

4-е марта. <1826>. Что за чудо со мною делается? Я наконец увидел наяву то существо, которое являлось ко мне во сне, пред получением известия о окончании моего дела с Оболенскими, которое я видел накануне того дня когда м.<атушка> отдала мне имение в управление, которое явилось мне пред 14-м декабрем, ето сестра С.С. – я узнаю ето существо, точно такая же уборка волос, точно то же образование лица, та же улыбка, тот же взор. Я едва мог скрыть свое смущение, смешанное с каким-то ужасом; неужли ето дело случая? Явление брата, предсказание о К.<юхельбекере>, ета девушка – со мною только случаются такие чудеса. Буду записывать все со мною случающееся.

5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е. Происшествия довольно обыкновенные. Отъезд м.<атушки> в деревню был мне предлогом не бывать у Л.<анских>. Не хочу давать воли своему воображению, оно Бог знает куда может завести меня. Сегодня однако же не вытерпел – заговорил – с моим видением, кажется из любопытства – но из нашего разговора нельзя ничего было заключить. Из глаз ее выглядывает много, но я не в очках ли? – Много надобно, чтоб всколыхать меня. Неужли?.. Я делаюсь суевером!

12-е. Сегодня я и не думал делать испытания, но оно само собою

[1] В воскресенье, 21 февраля моя свекровь и все дамы прибыли из Петербурга и поселились у нас (*фр.*).

сделалось. Вечером я увиделся с моим ночным посетителем; расположение духа моего было мрачное; в борьбе с самим собою, не довольный собою, я принялся мизантропить; она казалось понимала меня, нападала на свет, говорила, что утонченность его достигла до такой степени что все что ни говорится в свете – маска; никогда не слышишь себе противоречия; что она пробовала говорить нарочно нелепости, и слышала как ей подтакывали. "Где сыскать неподделанность, – продолжала она, – одна она возбуждает искренность и удовольствие душевное". – Неужли вы нигде не находите етой неподделанности? – Нигде. – Нигде? – Нигде. – У меня еще остается надежда... – "Вы меня щастливее..." – Если у нас будет еще несколько таких разговоров – я ни за что не отвечаю; я слишком было разнежился; мечты, давно уже меня покинувшие, снова всколыхнулись в душе; пробудился тот идеальный рай семейного щастия, которого еще до сих пор я не видал в существенности; я было скинул с себя оболочку, под которой скрываю от черни раздражительность души моей, – я даже ей сказал об етой оболочке – но кто знает? Не ребенок ли я? Может быть то, что она говорит – светская уловка: умение со всяким заговорить о его предмете. – Она говорила мне, чтобы я искал людей умеющих ценить меня; – как понимать ето?

13-е. Я не понимаю себя, никогда я не бывал в таком состоянии духа; вчерашний разговор, мое везение, взор ее – все ето борется с убийственною мыслию о светской уловке. Не слишком ли возвышаю ее? Ее взор, ее улыбка не есть ли следствие кокетства, а не природного расположения. Сегодня между разговором я рассказал, что не могу привязать к себе собаки. "Неужли вы думаете, что вы не можете привязать к себе", – сказала она. Нам помешали продолжать разговор. Она очень к тому кажется была расположена, – но я переломил себя и ушел в свою комнату, где принялся взвешивать все ее слова и поступки. В произведении вышло неизвестное.

14-е. Сегодня я сидел с нею рядом за обедом; во время обеда и после она была чрезвычайно ко мне приветлива; расспрашивала меня о моем романе, спрашивала, где я отыскал характер Марии, уверен ли я в том, что необходимо соединение двух противоположностей для связи между людьми? – Меня поразило то, что она заметила ету мысль, которая не замечена была многими читателями. – Да, – я отвечал, – противоположность в характере и сходство во мнении..." – Мне только хочется знать, что вы ето так написали, или точно ето ваше мнение? – "Ето было так давно", – отвечал я. Замечание ее меня восхитило – но что меня ожидало? Я сел задом к зеркалу. "Не хорошо не смотреть в зеркало, – сказал я, – надобно его всегда иметь перед собою". – "А вы любите смотреться в зеркало – вы на ето имеете право". – "Как вы понимаете? Неужли все слова можно понимать буквально – иногда говорится одно и понимается совсем другое", – сказал я стараясь придать вес словам моим. – Avec cette manière on peut se laisser aller avec ses fantaisies Dieu sait ou; on peut avec cette manière se rendre, la conversation agréable ou desag-

réable, comme il vous plaira... [1] Ето меня срезало – я притворился что не понимаю етого, просил повторить; О.<льга> обратила ето в шутку, стала толковать мне: "Теперь понимаете?" – "Понимаю", – отвечал я, вздохнувши – и после незначущего разговора, с горестью ушел к себе. Я в самом деле ребенок – надобно обуздать себя.

15-е. Мрачно для меня сегодняшнее утро; целую ночь я не смыкал глаз, думал, передумывал, бранил, хвалил себя, смеялся над собою – ничто нейдет в голову. В.<арвара> И.<вановна> требует от меня перевода, а у меня буквы скачут перед глазами, читаю и не понимаю. Странное дело. В первое наше свидание я не мог объяснить себе чувства, ею на меня, произведенного – ето был какой-то ужас – не знаю, как етот ужас перелился в мучительное, пламенное беспокойство; с каждым днем оно увеличивается. Сегодняшнею ночью казалось мне что я отгадал характер О.<льги> – он похож на мой – ето застылый огонь, – или она не что иное, как кокетка – обуздаю себя; долго еще надобно мне с ней торговаться; многого еще в ней не объяснить себе. Если точно уже ето любовь – то пускай же она будет не по чувству только, но и по уму. Постараюсь возбудить в ней ревность. Я говорил о Зенеиде и только о ней целый день. Негодование вспыхивало на лице О.<льги>.

16-е марта. Вчера я продолжал мое испытание; старался как можно быть хладнокровнее с О., обращал к ней только незначущие вопросы, казался занятым вечером Зенеиды, беспрестанно говорил о ней; неудовольствие вспыхивало на лице О. Сегодня нам за обедом пришлось сидеть с нею рядом. Между разговором о расположении духа, она мне сказала: Votre journée d'aujourd'hui doit vous être bien agréable – il vous reste des souvenirs d'hier – Je n'ai pas de souvenirs, – отвечал я, – mais j'ai de la mémoire [2].

Мне хотелось намекнуть на ее вчерашнее: "понимаете?". – Она как будто не вслушалась, я повторил, О. отвечала: "Слышу, но не понимаю". После обеда зашел спор о Системах с Н.А.Г., я совсем не расположен был к нему, но однакоже собрался с духом и напустил на моих противников тучу силлогизмов вопросительных и утвердительных. На все мои толки Г. отвечал своими обыкновенными фразами: "Не знаю – ето так по вашему мнению – по нашему иначе". – Забавный способ спорить: не сказать ничего, и уверять что противник неправ. Боюсь я етого всезнающего незнания, под ним истинное знание также может спрятаться, как и глубочайшее невежество – ето платье всякому по мерке. Ети господа дали мне мысль съездить в Китай и объявить Мандаринам, что я лучше их всех разумею китайский язык; они будут приставать ко мне с вопросами, требовать доказательств, а я буду им отвечать: Поверьте мне что я лучше вас знаю, если вы етого не замечаете, то ето от того, что

---

[1] Так можно со своими фантазиями зайти Бог знает куда; так разговор можно сделать приятным или неприятным – как Вам будет угодно (*фр.*).

[2] Ваш сегодняшний день должен быть Вам весьма приятен – Вам останутся воспоминания о прошедшем. – Воспоминаний нет, – отвечал я, – но у меня есть память (*фр.*).

вы имеете одно мнение, а я другое!" – Боюсь я двух сортов людей: у которых вечный ентузиазм – и людей, у которых нет его совсем. Истинный ентузиазм – искра Божества, приходит неожиданно, она всемощна – не спрячешь ее в карман, когда она развозится, – самое малейшее обстоятельство, возобновляя ряды воспоминаний, производит ее. Надоела мне ета битва – другая призывала меня. В сегодняшнюю ночь сочинил я романс "Мой Идеал" – весьма сходный словами с состоянием, в котором воображаю себе О., я пошел к фортопьянам отдохнуть от сражения и нечаянно романс етот попался мне под пальцы; я сыграл его; – он понравился ей; она просила меня написать его; – "Он мне самому нравится, – сказал я, – он у меня из души вырвался". – "Вы ето покажете Зенеиде", – сказала В.<арвара> И.<вановна>. Мне жаль стало О. – За что ее слишком наказывать? – "Нет, – отвечал я, – для света я пишу вещи с трудностями, руладами, – а ето слишком просто – свет не стоит того, чтобы жертвовать ему лучшими минутами души. – Прошло несколько времени; я потрепал собаку. "Она завизжит", – сказала мне О. – Тем лучше. – "Неужли ето вам нравится". – Я шучу: я не всегда говорю, что думаю – и – право лучше думаю нежели говорю, – прибавил я с невольным потрясением в душе; в ету минуту мелькнули предо мною все обстоятельства моей странной, чудесной жизни – со всеми принадлежностями. Стало уже темно. О. работала у окна". – Vous gâterez vos yeux [1], – сказал я ей. – Вот какие вы, – отвечала мне О., – я просила вас избавить меня от комплиментов. – Ето не комплимент, а просто ошибка против языка. – Етой ошибки я вам не прощаю – она вам совсем не пристала. – Что делать? во многом я еще имею мало опытности. – Впрочем уверяю вас что ети вещи меня не трогают, я их слышу и не *верю*. – "А можно ли верить не слыхавши? – спросил я выразительно. – Она взглянула на меня: Можно. – Можно? – Можно. – Разговор наш прервался.

17, 18, 19. Три дни целые не удавалось мне говорить с нею, кроме вещей обыкновенных. Думаю, передумываю, сержусь на себя и нахожусь в недоумении.

20-е. Сегодня когда я писал для О. мой Романс, приходит какой-то ее родственник и начинает ее укорять и спрашивать, неужли никого у ней нет на сердце – етот разговор пронял меня лихорадкой – руки мои затряслись так, что я не мог провести линейки; она подошла ко мне – я был вне себя, не мог писать; хоть успокоило меня ее уверение, что никого нет, – но желчь моя поднялась, едва я мог окончить романс и с трепетом посвятить ей его, не мог выразить своего состояния в нынешний вечер: ревность, страх, надежда, нерешительность – даже искра самолюбия воевали в моем сердце.

21. Стараюсь рассеяться, жить как можно безжизненнее, убегаю О., решусь не видать ей, и невольно вхожу к ней на лестницу – ничто нейдет в голову: в обществах я думаю щитают меня сума-

---

[1] Вы изуродуете ваши глаза. Здесь: неточный фр. оборот вм.: Vous vous abîmerez les yeux – вы испортите себе глаза.

сшедшим, отвечаю несвязно,спрашиваю,переспрашиваю и не слушаю ответов.

Он мог позволить себе расслабиться только в дневниках. Только эти, скрытые от посторонних глаз, страницы служили ему "зеркалом", которое "надобно всегда иметь перед собою" – и только в это зеркало отваживался он смотреться – здесь его изображение возникало чистым и ясным – все с той же, неизжитой юношеской ущемленностью и подозрительной недоверчивостью к жизни.

Только здесь едва мелькнул странный, но искренний отблеск чувств, вызванных даже не самой петербургской трагедией, но ее предощущением: "явление брата, предсказание о К." – конечно, Кюхельбекере! След последних разговоров, последних горестных расхождений, когда – даже если ему и не было ничего сказано впрямую – он все понял. Поняли ли его до конца они, любящие его друзья, поняли ли что-то еще, кроме политических, идейных разногласий? Они были исполнены вдохновенной романтической силы – он вел уже дневник изверившегося Печорина. Его несогласие с жизнью было иным.

Странно, но в глубинах этого рационального молодого сознания жил инстинкт загнанного зверя. Недоверие к жизни оборачивалось недоверием к внезапной возможности счастья, равного "чуду". Трижды являлось оно ему во сне в образе будущей избранницы, являлось, как то же "предощущение", как "знамение", накануне важнейших событий личной жизни: окончания "дела" с Оболенскими, о котором нам ничего не известно, перед вступлением в права владения – порог долгожданной независимости, и "пред 14-м декабрем..." "Вещие" сны будут играть потом особую роль в его духовных исканиях, он будет записывать и толковать их всю жизнь: сначала "мистически", потом – "физиологически", но всегда будет относиться к этим "знакам" подсознания с чрезвычайной серьезностью.

...Запальчивое, торопливое самоутверждение, пыл первых журнальных боев – но и первое "дыхание" Шеллинга – незнакомого, заманчивого мира, "вещие" сны...

"Выписка из бумаг матушки моей
Варвары Ивановны Ланской"

Le 27 Mars. Ma belle soeur nous annonce qu'elle épouse Wladimir Odoewsky[1].

Le 4 Mai. Nous nous transportons avec ma belle mère et sa famille et Odoievsky à la maison de la Presnia[2].

Le 4 Juin. Nous nous sommes tous transportés à Varino (в Богородском уезде) et Odoiewsky avec nous[3].

---

[1] 27 марта. Моя невестка объявила нам, что она выходит замуж за Владимира Одоевского (*фр.*).

[2] 4 мая. Мы перебираемся с моей свекровью и ее семьей и Одоевским в дом на Пресне (*фр.*).

[3] 4 июня. Мы все переехали в Варино... и Одоевский с нами (*фр.*).

В.Одоевский – С.Соболевскому
<май – июнь 1826 г.>

Сделай милость, исполни мою просьбу, друг сердечный, но пожалуста без всякой ветренности и шалости, ты меня премного одолжишь; просьба моя состоит в следующем: съезди в Губернское правление, спроси там советника Льва Егоровича Никифорова скоро ли кончится мое дело об определении моем в службу, он обещал об оном проведать и уведомить меня; узнай об етом пообстоятельнее и подробно меня уведомь с сим посланным. Советнику поклонись от меня и скажи ему, что необходимые дела удерживают меня в деревне. В Губернском правлении он бывает не долее 12-ти часов; там найдешь Данзаса, если ты с ним знаком, то он тебя может наставить на путь истинный. Пожалуста, душа, постарайся хорошенько, ибо мне совсем не хочется понапрасну приезжать в Москву, а между тем ето дело может задержать мою поездку в Петербург. Ты меня много обяжешь... Продал ли мои фортопьяны Веневитинову – мне деньги нужны.

Вторник. 12 часов ночи. Твой Одоевский

Le 9 Juilles. Ma belle mère est partie pour Petersbourg avec ses filles accompagnée par Odoiewsky[1].

В. Одоевский – С. Соболевскому

Новгород. Середа. 12 часов утра
<14июля 1826 г>

Я не забыл о тебе, душа; посылаю нужную тебе бумагу; прислал бы и прежде, но к нещастию приходилось так, что все города проезжал я ночью; останавливаться же нарочно не мог я по известной тебе причине; теперь заплатил лишнее, только, чтобы поспеть в Новгород днем. Дорога, по которой я ехал, на тебя похожа, часто прекрасна, как шелковая, часто скверна до мерзости. Но ты все таки лучше ее; она однообразна и скучна до невероятности, если бы не последний у тебя вечер, если б не свидание с моей невестой на дороге и особенно не бутылка (которая между прочим разбилась) рома в бричке – я бы умер с тоски; за то Валдай меня утешили; место – чудо; век бы жить остался; есть где глазам разбежаться, горы над горами, и еще горы и еще еще д а л е к о. Здесь в Новгороде в ожидании верющего письма таскался по вечевой площади, которая здесь известна под названием бичевой! – Sic transit gloria mundi[2], был в доме Марфы Посадницы, и застал – кого ты думаешь – старую бабу, которая ела чеснок и запивала вином, она меня водила по всему дому, дивилась толстым стенам, железным вереям и еще больше тому, что все ходят смотреть етот дом, как будто в нем

---

[1] 9 июля. Моя свекровь отбыла в Петербург со своими дочерьми, сопровождаемая Одоевским (*фр.*).

[2] Так проходит слава земная (*лат.*).

что особенное. Был в Софийском Соборе и вспомнил Титова с его зодчеством: меня сыростью ли, холодом ли, ужасом ли, только чем-то обдало, когда я вошел в него, полтысячи с лишком лет казалось из всех углов на меня выглядывали и таращили поседевшие брови; мне страшно показалось особливо когда взглянул на чудовищной величины изображение Христа в самом куполе – ей Богу, в ету минуту от души верил моему проводнику, который уверял меня, что Спаситель держит согнутую руку от того, что сколько раз ни писали ее благословляющею, он все сжимает и что был оттуда (из купола) глас, возвестивший что егда разожму руку мою, тогда рассыплется град сей; – мысль довольно пиитическая; потом показывали мне Корсуньские вороты – на них увидел я изображение человека, который бьет другого и кругом написано: paupertas [1] – ета мысль поразила меня и заставила вспомнить о моем кошельке, в котором всего 600 рублей, почему прошу тебя поспешить высылкою кредитов, как равно вещей моих, ибо между ними остался образ, который мне нужен будет тотчас по приезде в Питер. Весьма бы ты одолжил, если б выкупил ты мою табатерку – и всего она заложена в 300 рублей, – в Воспит.<ательном> Доме, она мне здесь очень нужна будет. Получил ли деньги от Кольчушки? отдал ли Глазовой? Обо всем напиши ко мне.

Д. Венев<итинова>, который отдаст тебе его письмо, расцелуй, скажи ему, что никогда не забуду последнего вечера – одним словом вырази ему все то, на что у меня не достает выражений, ни времени.

Прощай душа, кланяйся всему моему, знаешь ли ты, что я тебя теперь больше люблю? – При прощании у тебя блеснуло в глазах что-то такое, чего я не подозревал в тебе прежде – не замораживай етого чувства в себе, душа, – об нем вспоминается и тогда, когда все прочее забыто –

Твой Владимир.

Одоевский ехал на новое место, ехал жениться, будто на недолгую прогулку в Подмосковную – налегке, без багажа, без денег, небрежно позабыв второпях о материнском благословении. Может быть, из легкого суеверия? Ольга была фрейлиной, и по заведенному порядку предстояло получить еще разрешение на брак от императрицы Елизаветы Алексеевны.

Но ему было двадцать два года, он встретил, наконец, странный свой "идеал" – что могла значить тут разница в летах?

Он, кажется, начинал верить в свою звезду.

---

[1] Бедность (*лат.*).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕТЕРБУРГ

ГЛАВА I.

"РАССКАЖИ ЕМУ О МОЕЙ ЖЕНИТЬБЕ..."

Одоевский въехал в столицу под погребальный звон. Прямо перед петербургским домом Ланских в Мошковом переулке, у Дворцовой набережной, где предстояло ему начать новую жизнь, по ту сторону Невы маячил зловещий кронверк. Предсвадебный поезд будто чьей-то злой волей подгадал к панихиде. Казнь свершилась за два дня до прибытия в Петербург жениха и невесты.

"...Повешенные – повешены..."

Но была решена и участь его друзей, томившихся еще совсем рядом, за сырой толщей открывавшихся взору казематов Петропавловской крепости. Друзья дозвались его в столицу не в добрый час.

"...Александр был эпохою в моей жизни..."

Неизвестно, на какой ноте расстался он с ним там, в Москве, и что должен был испытывать сейчас, когда все это отозвалось вдруг такими страшными, такими трагическими аккордами. Сулившее долгожданную радость будущее вдруг, по иронии судьбы, озарилось кровавым отсветом того, что он от себя отторг. Столица встретила молодых мрачно. Он был подавлен.

...Одоевский добирался до Петербурга семь дней. Выехав из Москвы вместе с Ланскими, на дороге почему-то разъехался с ними, "нарочно" не останавливаясь в городах: "не мог... по известной тебе причине", – как написал из Новгорода Соболевскому. Быть может, это означало некую наивную меру осторожности. И в самом деле, трудно было выбрать время, более неподходящее для бракосочетания фрейлины императрицы и брата политического заключенного.

Одоевский прибыл в Петербург 15 июля. 16-го из Царского Села тронулся на священное коронование в Москву новый император. 25-го состоялся торжественный его въезд в первопрестольную. М.П.Погодин, находясь в тысячной толпе встречавших, записал: "Государь был пасмурен, государыня худа, мальчик хорош..."

Обычно формального соизволения императрицы на брак фрейлины ожидали на этот раз напряженно.

Наконец к августу все разрешилось. 10-го числа счастливый жених пишет матери в Дроково почти безмятежно:

"Спешу уведомить вас, любезная маменька, что наконец мы получили позволение от императрицы на брак наш; за неделю пред сим, т.е. 6-го августа мы были обручены. Все приготовления к свадьбе сделаны, и по окончательном приведении в порядок всех дел наших, свадьба наша должна совершиться, теперь, если Бог позволит, ничто нас не может

более удерживать. Я не буду вам описывать нашей радости; но ета радость не безумная, не бешеная; мы ее приняли как милого, но ожиданного гостя, как должную награду за нашу твердость и терпение; одного не достает, любезная маменька, к совершенному моему щастию, ето присутствия вашего, но мы будущим же летом хотим вознаградить ету потерю непременно; мы намерены сделать маленькое путешествие, если что не попрепятствует; объехать Тверскую деревню моей будущей жены, мою Костромскую, оттуда явиться к вам в Дроково; если найдутся препятствия, мы спишемся. Здесь я как сыр в масле катаюсь, все родные, благодаря стараниям Олиньки, меня на руках носят; само собою разумеется, что я им стараюсь отвечать всею любезностию, к которой только способны мои нависшие брови и моя обыкновенная рассеянность, которая кажется с летами все увеличивается; оно и не мудрено, потому что Олинька взялась за меня и для меня делать все, так что мне ничего делать не остается, кроме как курить трубку и нюхать табак, что с летами также увеличивается. – Квартера наша отделывается, но я думаю не поспеет к свадьбе, мы займем комнаты Марьи Васильевны, которая, как я уже писал, живет теперь на даче.

Я забыл вам написать, что Олинька при отъезде своем получила подарки от любезного братца **солитер...** в две тысячи не аршин, но рублей, а от Варвары Ивановны сервиз серебряный тысячи в четыре; нам я вижу от серебра некуда будет деваться, ибо Марья Васильевна сверх приданого дарит нам серебреный столовый сервиз, с умывальниками и прочим. Признаюсь вам, что первый подарок для меня самый неприятный, коварство, скрытое под личиною светской пристойности гаже всего на свете; на Варвару Ивановну я не сердит, ибо ета женщина искренно меня любит и доказала мне ето во многих случаях, она препятствовала мне частию по заблуждению, частию потому, что жена всегда находится под властию мужа.

Моя Олинька свидетельствует вам свое почтение, как равно и Мария Васильевна. Благодарю вас за то, что не забыли моего дня ангела, я в самый етот день приехал в Петербург".

Безмятежность была, однако, наигранной, счастье давалось нелегко – тугой узел обстоятельств, и без того неблагоприятных, осложнялся еще и непонятной глухой неприязнью близких Ольги. Сергей Степанович, брат невесты – не скроем, весьма перезрелой, – не спешил, похоже, радоваться предстоящему ее браку. Причина неясна. Ланские роднились с Одоевскими уже не раз – почти традиция! – да и сам он был женат на родной тетке Владимира. Владимир же, московский фашионебль, музыкант, философствующий писатель и остро пишущий журналист, успел уже стать фигурой довольно заметной.

Правда, иных, приближавшихся к добросердечному князю **слишком** близко, что-то в нем не устраивало – с Ланским же они пожили под одной крышей. Может быть, скрестили шпаги в мрачные декабрьские дни? Не коробила ли прогрессиста Ланского, наверняка помнившего **свой** Союз Благоденствия, слишком откровенная приверженность мо-

лодого философа законному правопорядку? Очень возможно. Однако в этом случае обманулся внешней холодноватой сдержанностью Одоевского и Ланской. Как матери, человеку не близкому, преподносилась "официальная" версия сообщавшихся событий, полуправда, выглядевшая вполне благополучно, как лукавы были сыновние сожаления по поводу отсутствия ее, Екатерины Алексеевны, на предстоящем свадебном торжестве, куда она в действительности и не была звана, так и здесь, приученный жизнью к подозрительной недоверчивости, не торопился он, видно, открыто выказывать свою угнетенность ужасной петербургской историей, терзавшей его противоречивыми чувствами. Ведь именно таким, сдержанным и внешне спокойным, запомнила его в эти трагические дни и княжна Львова.

Тогда, сразу после 14 декабря, созвал он друзей-любомудров – **свое** "тайное" общество – и с некоторой даже торжественностью предал в их присутствии огню протоколы заседаний. Это была не только разумная предосторожность, но и известная демонстрация лояльности. Сейчас же, спустя почти год и через пять дней после "счастливого" письма матери, он признавался Соболевскому, тянувшему с высылкой вещей и денег: "Если бы не так тяжело у меня было на сердце, любезный друг Сергей Александрович, я бы на тебя серьезно рассердился <…> Если ты сердишься на меня за то, что я к тебе не пишу, то ето глупо, ибо в моей теперешней горести, которой меры ты не можешь за 800 верст постигнуть, я имею едва силы писать и такого рода письма, какие я посылаю к моему камердинеру <…>"

Соболевский хорошо понимал, о чем идет речь. "Ты знаешь, – отвечал он, – что мне не безызвесно твое горе, и что я верно не менее твоего скорблю не только по тебе, но и *непосредственно..."* (Курсив мой. – *М. Т.*)

...Голова шла кругом от всего. Предсвадебные, довольно запутанные финансовые дела никак не хотели улаживаться. Душили безденежье и долги. (Спустя несколько лет точно так же будет метаться в канун свадьбы и Пушкин!) Было от чего приходить в отчаяние. Оставленный в Москве слуга Дмитрий Маиев доносил барину: из Ветлуги, из Костромского имения, получены лишь 800 рублей, да и те не выдают по причине неисправной доверенности; "Кольчушка" – московский книгопродавец Иван Григорьевич Кольчугин, сторговавший перед отъездом у князя сто экземпляров "Мнемозины", восемьдесят два экземпляра "Элладия" и пятьдесят кюхельбекеровской "Смерти Байрона", – денег еще не внес и разговаривать-де будет только с Сергеем Александровичем; долг Глазовой не выплачен; вещи и книги им же, Сергеем Александровичем, за недосугом также еще не отправлены, а за напоминания гонит он его, Маиева, со двора. В том же письме от 15 августа Одоевский взывал к своему безалаберному другу:

"Я знаю тебя, ты поутру решишься заняться моими делами, потом протаскаешься из угла в угол и забудешь о них; таким образом пройдет день, другой – и наконец полтора месяца, между тем вообрази себе всю неприятность моего положения: образ, которым меня благо-

словила матушка, находится в сундуке и останавливает мою женитьбу; меня спрашивают и удивляются, почему так долго не шлют Его, на что я не могу отыскать причины, ибо я думаю ты сам не отыщешь ее; здесь все принимаются за зимнее платье от ужасных ветров, а моя шуба в Москве; зимнее платье моего мальчика также в Москве, он по твоей милости ходит в одном нанковом платье, я не имею средств сшить другого, потому что денег нет ни гроша; наконец долг Глазовой мучит меня днем и ночью, етот долг у меня лежит на чести, она мне дала 1000 рублей из расходных денег, а ты между тем не хочешь внести ей 800 рублей, хотя я именно писал и просил о етом, лучше 800 рублей, нежели ничего; наконец меньшее, мои визитные карточки, которые бы избавили меня от труда, тягостного в теперешнем моем положении, ездить самому, также не присланы. Не говорю уже о высылке кредитива, который мне обещал ты с такою уверенностию, что я не принял никаких мер, чтобы не быть без денег, если не вышлешь его. Ты знаешь, что из Москвы я взял менее 1000 рублей; 25 раз ломалась моя бричка на дороге, и я приехал в Петербург с 200 рублями; теперь у меня чисто нет ни гроша; между тем я должен нанимать карету, хорошо одеваться, кормить трех людей, жить на всем покупном; как тебе нравится ею положение? – К довершению – ты даже моих писем не отдаешь моему человеку. Умилосердись, брат, уважь хоть раз в жизни моим положением; ты своею неаккуратностию меня в отчаяние приводишь; неужли ты хочешь заставить меня сожалеть, что я тебе поручил дела мои. – Я знаю тебя, на тебя и ето письмо не произведет никакого действия, ты забудешь о нем, едва ли прочтешь его; а между тем время будет проходить в бесполезной переписке и я как рыба об лед биться; вспомни, что у меня здесь нет ровно никого, от кого бы я мог надеяться помощи. Именем всего что есть для тебя святого на свете, посвяти хотя один день на дела мои, отвечай мне на ето письмо, вышли мои вещи, кредитив если можешь; 500 рублей по моему щету или более должно оставаться от моих денег у тебя – Бога ради вышли их или ты меня приведешь в отчаяние. Не сердись на меня, брат, ето письмо может тебе показать, в каком я положении нахожусь, ты можешь сам судить как мне нужны теперь деньги. Заплати Глазовой хоть 400 рублей – дай остальные Дмитрию. <…>"

Соболевский наконец усовестился. Кое-как разобрался с горящими долгами князя, выдал даже денег на лекарство маявшемуся болезнью слуге Дмитрию и сообщил, что отправляет его, излеченного, с вещами в Петербург – "что вдесятеро дешевле, чем отправление того и другого транспортом или в дилижансе". Дмитрий нанял извозчика с расчетом, что на тринадцатый день, к 4 или 5 сентября, дотащится с поклажей до Петербурга, после чего и быть, наверное, свадьбе: барин получит, наконец, долгожданный образ. Однако отложилось и это.

"Прилагаю тебе письмо, душа, которое отдай Кольчугину запечатавши; он написал мне жалобу на тебя, что хочешь взять с него ассигнациями; черт его возьми, Мнемозина и без того много шумела, не тревожь ее праха, я и без того равнодушно о ней вспомнить не могу..."

Тянулись московские "хвосты" – Одоевский ни сердцем, ни помыслами все еще не мог от Москвы оторваться.

"...Уведомь меня где и что Грибоедов, – останется ли он в Москве, долго ли и поедет ли в Грузию или нет; как и куда к нему писать; обо всех уведомь обстоятельно <...>

Скажи еще Грибоедову, что теперь не могу ничего писать к нему, а есть много кое-чего – оставлю до удобственного случая, поцелуй его от меня и от души – слышишь ли – сколько в тебе достанет; надобно же, чтобы судьба насмехалась так надо мною – он выехал из Петербурга на другой день моего приезда. Расскажи ему о моей женитьбе, опиши ему женщину, которая одна осмелилась понимать меня, принять во мне участие, женщину с светлою головою, с горячим сердцем, одним словом расскажи все что знаешь, вырази ему то, что я сам словами не могу выразить – Грибоедов поймет етот немой язык; – скажи ему, что я скоро ему все сам опишу <...>"

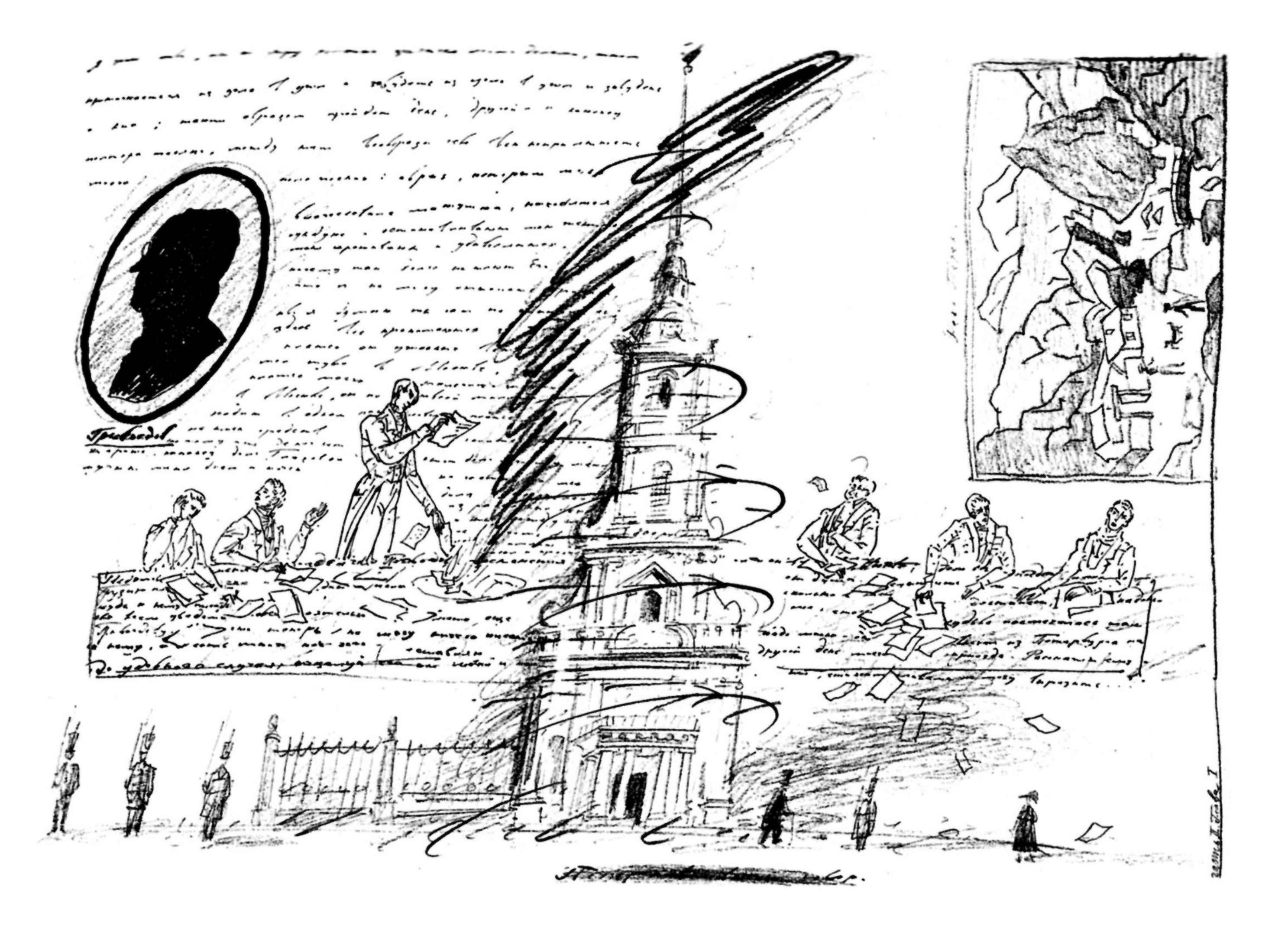
"...Вырази ему неизменную любовь и дружбу..." Наверное, "немой язык" означал именно это – что ж еще? Неизменную дружбу человеку, только что едва избегнувшему участи Александра и Кюхли, – вряд ли Одоевский сомневался в подлинной ценности полученного Грибоедовым "очистительного аттестата". Конечно, прямых улик не нашлось, – но были и высокие заступники: еще могущественный "проконсул" Кавказа Ермолов, стремительно набирающий силу родственник Паскевич.

Однако как онемел, как замкнулся Петербург! Даже в доме Ланских, столь близких семейству недавнего опального, ничего о нем не знали. Сутки, целые сутки быть под одним небом – и не свидеться! Как в страшной сказке, страшном сне кружили они вокруг "проклятого" места, обозначенного роковым числом "13", и – не сошлись. Что решилось с Грибоедовым здесь, в Петербурге, вернее могло быть известно в Москве, "своим". Сам же он для омертвелой столицы еще чужак. Траур справлялся за глухо закрытыми дверьми.

Петербург нем...

Павел Христофорович Граббе – Алексею Петровичу Ермолову
22 марта 1824 года

<...> Я закрывал уже ето письмо, как получил с почты от одного из моих бывших товарищей гусарства, которое меня еще несколько строк прибавить заставляет. Я вижу что к Богам и сильным земли без просьбы не приближаются. Итак вот и моя: служивший со мною в Лубенском гусарском полку, ныне в отставке майором, Филипов, человек весьма грамотной, в порядке дел сведущий, усердия и честности испытанной, желает определиться в службу по гражданской части под вашим начальством. Принимаю смелость приложить ко мне его письмо и о себе записку. Ето первой случай, которой мне предоставляется заплатить хотя часть моего долга корпусу офицеров Лубенского полка в лице одного из них, за оказанное ими ко мне расположение. Если можно, сделайте его успешным..."


Грибоедов

Дело с Кавказом, однако, сильно затянулось, но – не вовсе безнадежно. 4 сентября 1826 года, когда Одоевский писал Соболевскому о Грибоедове, дядька Владимира, Алексей Алексеевич Филиппов, рекомендованный Ермолову бывшим своим полковым командиром Граббе, находился в Петербурге, улаживая, очевидно, последние дела перед долгожданным, но близким уже отъездом на Кавказ. Он и оказался тем "удобственным случаем" для откровенного письма Грибоедову, о котором упомянул Одоевский.

В. Ф. Одоевский – С. А. Соболевскому
6 сентября 1826 года

Ето письмо ты получишь, душа, от моего родственника Алексея Алексеевича Филипова, которого прошу полюбить и показать ему где живет Грибоедов. Посылаю тебе с ним подарок, дополнение к твоим тысячам Грамматик, Японскую грамматику, читай, учись, душа; если она уже у тебя есть, то возврати мне ее назад. Писать больше теперь мне некогда; скажи мне, что ты делаешь с моим Дмитрием и с сундуками; повторяю тебе в десятый раз, что у меня за образом, находящимся в сундуке, свадьба остановилась – пожалуйста, вышли его скорее <...>

А. А. Филиппов – В. Ф. Одоевскому
24 сентября 1826 года с. Пахрино

Любезнейший князь Владимир Федорович! – Г-на С<оболевского> я застал дома по третьему моему приезду; но по письму твоему не только 425 рублей, но не получил и 50 рублей. Он извиняется пред нами совершенною невозможностию заплатить теперь; но дал слово заплатить прежде месяца; разумеется, я не мог ожидать уплаты и в столь критическом положении прибегнул к моему благоприятелю Владимиру Ивановичу Курилову: он ссудил меня 175 рублями; это все, что он мог сделать по теперешним его средствам.. – Надеясь на твое слово, я покорнейше прошу тебя сумму сию выслать ему сколь возможно поспешнее, ибо у него также залипших денег не бывает. – Из Дрокова я еще напишу тебе. – Гриб<оедова> не застал, он уехал в Тифлис. – Я бы сказал тебе великое спасибо, если бы из П.бурга написали к Паскевичу. – К г. Курилову адрес: **Смотрителю Пахринской** конюшни, **Московс<кой> гу<бернии>, в городе Подольске.** – Еще прошу тебя, любезнейший друг, оправдай меня пред ним скорейшею высылкою денег. – За худою дорогою и погодою, ехал я до Москвы семь дней.

Преданный тебе
Ал. Филипов

В промежутке между двумя этими письмами в Петербурге сыгралась, наконец, свадьба. 17 сентября Ольга Степановна Ланская стала княгиней Одоевской. Приданого за невестой дано было: движимого – на 17.500 рублей и недвижимого, по рядной записи, (оформленной, однако, лишь в мае 1832 года) – 275 душ в Тверской губернии Вышневолоцкого уезда, с угодьями, всем прочим в 100 тысяч рублей ассигнациями – правда, как водилось, и со всеми долгами по непременному почти залогу.

Венчание было скромным, однако и за узким семейным столом пустовали места: отсутствовали родные князя. Дядюшку, покинувшего Петербург в самый канун свадьбы, похоже, не удерживали. Мать находилась в Дрокове. Не оказалось на торжестве и ближайших свидетелей зарождения этого союза – любимой тетушки Владимира Варвары Ивановны и любимого брата Ольги Сергея Степановича.

В Дрокове же здоровье молодых пили ровно месяц спустя – 17 октября: известие о совершившемся браке дошло туда с большим опозданием. Алексей Алексеевич, заехавший к сестре проститься перед дальней дорогой и вместе с ней нетерпеливо ожидавший вестей из Петербурга, сообщал Владимиру, что так и отправился к месту нового назначения, в Тифлис, в неведении, состоялась ли долгожданная свадьба. Поздравляя письмом новобрачных, укоряла за это сына и Екатерина Алексеевна. Однако, представленная Ланским еще в Москве и очарованная избранницей Владимира, посылала она ей теперь в подарок домашние работы – чепчик и косынку из слегка пожелтевших от времени кружев, залежавшихся в ожидании будущей невестки, и с церемонной провинциальной этикетностью извинялась за скромность дара, не соответствующего тому, "чево требует порядок". Свое поздравление она сопровождала "сердечным чувствованием всех благ возможносных в мире", рекомендовала себя и своего мужа благорасположению новых родственников и напоминала об обещанном портрете Ольги Степановны, дабы он, для удовольствия и утешения материнского, занял в ее комнате подобающее место рядом с портретом сына.

В предназначенном молодым мрачноватом, даже без хилого петербургского солнца внутреннем флигеле дома Ланских начали они устраивать свое гнездо. Князю Владимиру как на роду были написаны флигеля богатых родственников! Но, окрыленный на этот раз счастьем, он не унывал и послал вскоре матери веселую картинку – шуточный план новой своей обители: тесненький, аршин шесть на семь, кабинет, не очень удобно расположенные столовая и гардеробная княгини... Впрочем, Екатерина Алексеевна нашла обширность дома на первое время вполне достаточной.

Еще до письма матери, 20 сентября, Одоевский коротко сообщал о свершившемся и Соболевскому: "<...> я уж женился, сегодня третий день – потому имею очень мало времени писать к тебе" – и в который раз бранил друга за недосланные вещи: "бронзовый крест, ковер, сторы, чернилица, двое шандалов, шандал с плато и одним словом все то, что я нарочно положил сам в сундук – мне необходимо нужны, ето все такие вещи, к которым я привык, и которых и по финансам мне вновь покупать не хочется, ибо здесь ето все в тридорого. Сделай одолжение пришли мне все это немедленно..."

Но стоустая молва достигла Москвы прежде этого письма – через Ланских. Разнес по городу новость Василий Львович Пушкин, от которого узнал ее и Соболевский. Однако немудрено, что ему некогда было заниматься Князевыми шандалами: 8 сентября в Москве появился Пушкин.

С веселым цинизмом требуя от друга "подробностей" –

...восторги первой ночи
И сладострастием подернутые очи
Ее смятение и щастие твое
И слово милое: еще, мой друг, еще" –

Соболевский писал ему 27 сентября:

"Здесь Пушкин не Лев и не Василий Львович, а Alexandre, с которым мы сделались неразлучны. С тех пор как я с ним сблизился, он мне нравится более прежнего, ибо он в моем роде. Любит себя показывать не в пример худшим, чем оно на деле..."

"Поздравляю тебя с твоим гостем, – следует из Петербурга ответ, – напомни ему обо мне, поклонись и расскажи то, чего не пишу.<...>"

Отклик, правда, запоздалый – от 3 ноября. Одоевский в Петербурге уже два с половиной месяца, в которые накопилось о чем **не писать.** 25 июля был перевезен из Петропавловской крепости в Шлиссельбург Кюхля, осужденный на пятнадцатилетнее одиночное заключение. Преступник особо опасный. Другие потянулись в каторжную, сибирскую неизвестность. Родные, друзья... Об этом тоже **не писали,** но даже Погодин, весьма далекий свершившемуся, — и тот в июле заносит в "Дневник": "Приезжал Веневитинов, все жены едут на каторгу. Это делает честь веку".

Заочное знакомство Одоевского с Пушкиным уже, видно, к этому времени вполне определилось, принадлежность же к одному, довольно тесно обозначившемуся кругу – Кюхля, Вяземский, теперь Соболевский, – давала право передавать только что "прощенному" поэту – **неписанное.**

Пушкин, в свою очередь, должен был узнать в Москве новые обстоятельства жизни Одоевского. Поэт с интересом присматривался к несколько странной на его вкус литературной элите, и имя "вожака" любомудров наверняка возникало в московских разговорах.

14 октября при посредстве тех же влиятельных в государственных кругах Ланских Одоевский зачисляется в Цензурный Комитет Министерства внутренних дел. Если точнее, то помогает молодому князю определиться в должность министр внутренних дел Василий Сергеевич Ланской, и ему доводившийся дядькой, – тот самый Ланской, который год назад собственноручно сдал властям другого своего племянника – "бунтовщика" Александра.

Надменный философ и заносчивый литератор, вчера еще почти полновластно распоряжавшийся в "Мнемозине" и затевавший неслыханные журнальные бои, становится чиновником, скрипящим пером канцеляристом.

Что ж, вдохнуть живительный петербургский воздух, о котором столько толковали Александр и Кюхля, вытаскивая его из московского "болота", не довелось. Опоздал. Вольность теперь отдавала здесь свинцом. Но, надумав жениться, ехал он сюда и на службу – столичную,

карьерную, так что новая жизнь обретала первые контуры по задуманному. "Что до меня касается, – пишет он Соболевскому, – то я щастлив, сколько можно быть щастливым в етой странной лотерее, которую зовут жизнию, если бы не проигрыши **других,** то я бы точно уверился, что судьба перестала ко мне оборачиваться задницей. Смешно и грустно..."

"Проигрыши других" не давали покоя. Было что сообщить Пушкину; "много кое-чего" – душевно близкому Грибоедову. Но в Москве с "удобственным случаем" вышла осечка – дядюшка с его письмом не успел. Однако вполне возможно, что Алексей Алексеевич довез все же петербургскую весточку племянника до адресата – вдогонку, за Кавказский хребет, в Грузию.

А. А. Филиппов – В. Ф. Одоевскому
16 ноября 1826 года. Тифлис

Пятнадцать дней уже находясь в Тифлисе, до сих пор не знаю, что мне сказать о себе, любезнейший друг князь Владимир Федорович! – Назначения мне никакого не сделано, да вряд ли скоро оно и последует. – Обстоятельство сие, как можешь сам посудить, крайне для меня невыгодно. – Душно на свете без денег и покровительства! – Путешествие мое совершилось без всякого приключения и почти без удовольствия; мой попутчик, ехавший до Ставрополя со мною, способен был только умножить скуку <...>

Боясь изуродовать моим описанием чудеса и прелести природы, виденные мною в сем путешествии, я ничего не скажу о них; примолвлю только, что до восхищения любовался я рекою Тереком, берегом которого ехал сто верст; как он прелестен в стремлении своем между гор! – Кажется, что падение каскада не стремительнее течения сей реки. – Новостей здесь никаких не слышно, а о бывших военных ты знаешь лучше моего, ибо читал их в газетах и журналах; скажу только, что жители здешние совершенно спокойны на счет войны<...>

С Тифлисом до сих пор я так мало ознакомился, что никуда пройти, ни возвратиться в квартиру не могу без ошибки. Етому причиною странное расположение города, который, по окончании начатых строений, будет очень не дурен; много однако же есть строений совсем отделанных, а особливо казенных, очень хороших. – Я успел заметить, что для нашего брата жизнь здесь сходная и даже можно – разумеется при деньгах – роскошествовать больше, нежели где-либо; например – воду можно заменить здешним вином, бутылка не дороже 15 медью и притом вино доброе и по уверению тифлисцев весьма здоровое; с меньшею же разборчивостию можно вино иметь и за сходнейшую цену; фунт винограду не дороже $10^{ти}$. Вообще съестные припасы не дороги. Не поленись отвечать мне по первой почте, адресуя просто: в Тифлис.

Если ты уже женат, желаю наслаждаться всеми приятностями брака и вполне супружеским счастием и нажить детей столь же хорошеньких, как их маменька. Прощай!

Преданный тебе
А. Филипов

Алексей Алексеевич живописал племяннику места, лишь пять, неполных пять лет, как покинутые Кюхлей. Ровно через одиннадцать лет предстояло увидеть их нынешнему узнику Петропавловской Александру... Были разговоры о "бывших военных" и с дядюшкой. Но каких новостей ждал Одоевский из Тифлиса? О пошатнувшейся власти Ермолова, под сомнительное теперь покровительство которого направлялся Филиппов в Грузию? Об опале кавказского "проконсула", как и о щекотливой миссии приставленного к нему в "помощь" Ивана Федоровича Паскевича, в Петербурге знали – не случайно Алексей Алексеевич просил Владимира найти пути к новому фавориту Николая, дальнему родственнику Одоевских и ближайшему – Грибоедова.

Алексей Алексеевич, фатальный, кажется, неудачник, и тифлисскую свою жизнь начал не в лучшую пору кавказского "междуцарствия". Впрочем, Алексей Петрович Ермолов даже в трудные для себя времена не забывал цену военному братству. Просьбу боевого соратника Павла Христофоровича Граббе он уважил. Еще 26 января 1825 года в Тифлисе было заведено дело об определении – по предложению Ермолова – в Исполнительную экспедицию Верховного Грузинского правительства губернского секретаря Филиппова. Однако по непостижимости лабиринтов российского делопроизводства, тянувшегося на извечно сонных скоростях (здесь же еще – непременные сношения с Петербургом), Филиппов вступил в должность лишь 19 ноября 1826 года, когда разыгрывался драматический ермоловский "кавказский" финал и уже угадывался другой "кавказский" конец – трагический: Грибоедов был: в Тифлисе, на взлете дипломатической карьеры, исполненный горделивых преобразовательных замыслов, на пороге не сужденного ему счастья, пережившей его любви. Нашел ли его здесь привет молодого друга, заносчивого, но много обещавшего – того, кто так восторженно внимал еще недавно в Москве его урокам?

Думается, нашел.

...Первое тифлисское назначение Филиппова по службе носило, очевидно, скорее формальный характер, и соответствующая запись в его формуляре появилась, судя по всему, задним числом, в соответствии с существовавшим для русских чиновников на Кавказе правилом: время ожидания и устройства шло для них "к чину". Во всяком случае, спустя неделю после первого письма из Тифлиса в Петербург было отправлено второе, столь же еще неутешительное:

А. А. Филиппов – В. Ф. Одоевскому
22 ноября 1826 года. Тифлис.

Второе письмо пишу к тебе отсюда, любезнейший друг князь Владимир Федорович! – В первом я ничего не имел сказать хорошего о делах моих, – теперь могу сказать довольно дурного: начальство, приняв мои бумаги, велело ожидать места до времени открытия первой вакансии. – Путевые деньги, на которых я основывал всю мою надежду, мне не дадутся; ибо они следуют только прибывающим сюда в обер-верхних чинах. – Сии два обстоятельства весьма горьки в моем положе-

нии. Мне дали квартиру и сказали, что время к чину будет считаться со дня моего сюда прибытия; спасибо и за ето! – Итак я кандидат; но еще любопытно знать под которым № стоять буду. – Терпеть мне уже не учиться стать, но дело в том, что способы мои никак не позволяют мне долго кандидатствовать. – Не можешь ли, любезнейший друг, исходатайствовать от кого-либо в мою пользу письма к здешнему губернатору Роману Ивановичу Ховену, в котором уверить его, что я вовсе не из числа тех, которые вместо прогулки приезжают сюда на казенный счет – только за следующим чином. – Ты человек ученый, скажи мне, какая труднейшая роль на театральной сцене? Касательно же сцены света я очень знаю, что нет труднее роли просителя. – Проситель есть самое жалкое создание: ему весьма редко аплодируют. – Нетерпеливо буду ожидать твоего ответа. – Предупреждаю, что после сего я нескоро соберусь писать к тебе; ибо сколько не хочется докучать другим своими неудачами, столько же неприятно их и описывать; если же случится добрая перемена в моих обстоятельствах, не замедлю уведомить.

Погода здесь до сих пор прекрасная, дни ясные и так тепло, что нет надобности в шинели. – В день восшествия Императора на престол я не мог довольно налюбоваться на иллюминацию; она мне нравилась больше всякой затейливой: по отвесу гор стоящие сакли с свечами в окнах, другие с плошками на плоских их крышках и освещенная древняя крепость на скале стоящая – представляли вид прелестнейший; вечер был темный, огни со всех сторон казались висящими в воздухе. – Прощай, любезнейший друг! Может быть ты теперь в объятиях своей супруги; да будут они услаждением вашей жизни; я же запечатав письмо, поспешу в объятия сна, единственного моего здесь благодетеля. – Адрес ко мне просто: в Тифлис.

Преданный тебе

А. Филипов.

Еще через несколько месяцев Екатерина Алексеевна укоризненно передавала сыну: "...так же пишет и брат Алексей Алексеевич что он писал к тебе но не получил ответа и говорит что он не решится до тех пор писать к тебе <пока не> получит от тебя..." По прошествии какого-то времени – те же интонации обиды и укора: "К брату напишу, что молчание не есть бездействие но едва ли оно будет утешительно. Молчание продолжительное часто бывает похоже на равнодушие".

Есть, однако, основания усомниться в безусловной справедливости этих упреков. Одоевский в переписке был не очень аккуратен, в эту же пору на молчание его жаловались почти все друзья. Между тем формуляр Филиппова невольно наводит на мысль о присутствии чьей-то заботливой руки, и "рука" эта, скорее всего, могла принадлежать только Грибоедову.

Уже в первую половину следующего, 1827 года началось продвижение Филиппова по служебной лестнице; стремительно миновав несколько ее ступеней, в мае он назначается старшим членом в Комис-

сию "для окончания старых дел Тифлисской градской полиции" и исправляет эту должность до начала 1829 года.

За два месяца до этого назначения, в марте, был окончательно отстранен от дел Ермолов. Вместе с тем, по сохранившимся единодушным свидетельствам, Грибоедов по возвращении в Тифлис обрел там неслыханное влияние и силу. Н. Н. Муравьев-Карский вспоминает, например, что в сложной тогдашней обстановке новый наместник Грузии вряд ли справился бы без него со всеми ссорами и кознями. Именно в это время Грибоедов, пользуясь своим влиянием на Паскевича, неоднократно и настойчиво ходатайствует перед ним за сосланных декабристов – за иных, лично ему незнакомых, по просьбам своих друзей. Сомнительно, чтобы при этом не замолвил он слово и за дядьку своего друга: просьба эта среди прочих должна была быть для него легчайшей – на Филиппове не лежало клеймо политического заговорщика. Кроме того, с милейшим, отзывчивым тифлисским гражданским губернатором Романом Ивановичем Ховеном, упомянутым Филипповым в письме к племяннику, Грибоедов был накоротке.

Думается, Одоевский в ответ на укоризны матери мог, не кривя душой, уверять ее в том, что "молчание не есть бездействие".

Нити последующих важных перемен в служебном положении Филиппова также невольно ведут к предполагаемому его покровителю – слишком близко отстоят они по времени от последнего пребывания поэта-дипломата в Петербурге, когда возобновилось его дружеское общение с Одоевским. Именно тогда, в декабре 1828 года, вернувшись в Грузию и отправившись вскоре дальше, к месту своего рокового назначения, адресовал царский полномочный министр из Тавриза и другую свою заступническую просьбу Паскевичу: "<…> бросаюсь к вам в ноги <…> Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского <…>" Примерно тогда же сообщала утешительные новости о любимом брате Владимиру и Екатерина Алексеевна: 29 января 1829 года, за день до трагической гибели Грибоедова, Филиппов был назначен Шамшадильским главным приставом в Елисаветпольскую губернию – арену недавних боев с персами. В марте она описывала уже, со слов брата, подробности: его неожиданно призвал к себе сам Главноуправляющий Грузией, Паскевич, и, наговорив много лестного, сделал "главным начальником" шамшадильской округи – место, как писал Алексей Алексеевич, "из почетнейших и выгоднейших в целой Грузии". Думается, и личный вызов Паскевича, и "почетнейшее и выгоднейшее" место, полученное не очень способным гнуть спину в начальственных приемных Филипповым, – все это дело рук и пособничества того же Грибоедова. Других видимых способов помочь дядьке на далеком Кавказе у Одоевского не было. "Лестные" же слова, услышанные безвестным чиновником из уст Паскевича, – конечно же, след чьих-то усиленных рекомендаций, имевших, впрочем, под собой веские и реальные основания в пользу предполагавшегося кандидата: именно военная биография отставного майора должна была как нельзя более устроить и Паскевича, облеченного не только высшей гражданской, но и военной властью в Закавказье, –

ведь речь шла о "наместничестве" в самой взрывоопасной в ту пору грузинской провинции, близ неспокойной персидской границы. Поэтому править там мог только человек надежный, "свой".

К слову сказать, военное прошлое Филиппова в новой его должности действительно пригодилось, и шамшадильский пристав сумел отплатить за нее важной услугой: в мае 1829 года он заслужил личную "совершенную благодарность" Главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом "за содействие к спешному формированию 3-го Мусульманского конного полка". "...Как говорит он, – передавала Екатерина Алексеевна Владимиру, – сверьх всех домашних выгод он будто б получит 1000 рублей серебром. Что от Тифлиса далее 140 верст, до Елисаветполя в 50-ти верстах. Хвалит климат и воды не уступающие Кавказским. Жизнь говорит будет моя пустынна с народами полудиками, сотоварищи же его помощник, письмоводитель и переводчик. Но грешно бы было роптать что нет всех тех выгод какие бы иметь желалось... Дай Бог ему счастия пора отдохнуть душе его..."

Однако как ни поразительна судьба этого "маленького" человека, мыкавшего неуютную жизнь по разным пределам огромной империи, для нас она навсегда будет обозначена еще и прихотливой своей сопричастностью судьбам великим. Не случайно рассказаны здесь и "кавказские" эпизоды биографии Алексея Алексеевича, рассказаны как неожиданное свидетельство поздних, не прерывавшихся личных связей "столичного" Одоевского с "грузинским" Грибоедовым, связей, о которых имеем мы до сего времени весьма смутное понятие...

ГЛАВА II.

НАЧАЛО ПЕТЕРБУРГА

Одоевский тронулся из Москвы первым.

Уходящий год, завершавшийся для него, кажется, счастливо, был труден. "Московская братия" как-то рассеялась и подавленно затихла. Увлеченный и мучимый любовью, растревоженный судьбою зачисленных в государственные преступники, замолк и он, ревниво оберегая уединенную тишину своего кабинета. Ни пронизанных восточной мудростью апологов, ни уничтожающей сатиры на современные нравы. И журнального пыла – вроде не бывало. Словно дал он обет молчания. Николай Алексеевич Полевой, удачливый издатель, – и тот еще в январе 1826 года горько сетовал издателю петербургскому Павлу Петровичу Свиньину: "Что сказать вам о Москве? все по-старому – литература здешняя есть существо относительное к вашему Петербургу и страх как идет тихо. Мы все ждем от вас новостей <…>"

Однако на исходе траурного года родная белокаменная будто стряхнула вдруг с себя полудрему – и не только по обязанности коронационных торжеств. В московских домах Пушкин дерзко читал привезенного из ссылки "Годунова" – историю кровавой жертвы престолу. Друзья, необыкновенно одушевленные знакомством со знаменитым поэтом, затевали уже совместный журнал. 24 октября торжественным обедом у Алексея Хомякова, ученого и поэта – все на новый, непривычный Пушкину манер, – было отмечено рождение "Московского вестника". Издателем журнала определили взволнованно переживавшего личное знакомство с кумиром, искательного и честолюбивого Михаила Погодина – впрочем, заметного уже историка; в сотрудники записалась вся "братия": пламенный, острый Дмитрий Веневитинов – едва ли не главный застрельщик предприятия, к тому же, по дальним родственным связям знакомый с Александром Сергеевичем по раннему детству; энергичный, подающий надежды Шевырев; глубокомысленный, но суховатый Титов, удостоенный позже двусмысленной чести попасть под перо Пушкину: "<…> один из тех людей, одаренных убийственной памятью, которые все знают и все читали и которых стоит только тронуть пальцем, чтоб из них полилась их всемирная ученость".

Союз выглядел странно. Философы, птенцы московского "архивного" гнезда, и в самом деле искали выход своей "всемирной учености". Они рвались к трибуне и не прочь были освятить свой алтарь столь уже громким именем, служившим к тому же гарантией коммерческого успеха. Пушкину же, ничего не поделаешь, нужен был журнал, и он рассчитывал совладать с москвичами, несмотря на ревнивые упреки

мизантропического Плетнева и на то, что пенял ему за этот союз милый Дельвиг, перед которым поэт при случае уморительно оправдывался: "Ты пеняешь мне за "Московский вестник" – и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребяты теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать – все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... – "Московский вестник" сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (Впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB.)".

Жуковский также считал, что "демократия, с которой связался Пушкин, едва ли что-нибудь путное сделает". Насчет "путного" сомневался и Плетнев. "Ему ("Московскому вестнику". – *М. Т.*) хочется вдруг развить у нас и германские идеи и таинства Востока, – писал он Вяземскому. – Это как-то мутит воду, а не дает ей быстрейшего течения".

В то время как Одоевский, приноравливаясь к новой жизни, неуютно ежился на промозглом петербургском ветру, в его первопрестольной царило оживление. Чередой шли обеды, вечера, чтения – все с Пушкиным. У Соболевского, Веневитиновых, Хомякова, Погодина. Горячо обсуждался журнал, в котором поэт обещал преимущественное свое участие. Стороны присматривались друг к другу. Конечно же, друзья и его мыслили непременным участником нового дела – изо всех них журналиста уже с опытом, – однако о московских перипетиях узнал он спустя: сейчас москвичам было не до писем, да и он, за вычетом необходимо нужных дел, не склонен был к пространным излияниям. Семейственная жизнь увлекала и грела его, однако и на возможность полного счастья смотрел он философски: жизнь – странная лотерея, как написал Соболевскому.

Накатывала гнилая петербургская осень, Одоевский мерз и, хилый здоровьем, начал по ночам кашлять, приводя в отчаяние заботливую Оленьку. Он спал в вигоневой фуфайке, в чулках и чепчике – дурное обыкновение с детства, все от обожавшей его мамушки, которая постоянно дрожала за здоровье любимца и душно курила перед сном у его постели сахаром. Екатерина Алексеевна тревожилась в Дрокове, не скажутся ли пагубно на князе Владимире (так любила она величать сына в письмах) ужасные петербургские непогоды, и наставляла молодую жену, открывая ей скверные привычки "мерзлого" ее мужа: напиваться ввечеру кофею и писать ночи напролет свои сочинения и музыку, отчего у него делается боль в груди, упрямо скрывать свое нездоровье, выходить по утрам со двора, не завтракавши, а также отращивать непомерно длинные ногти – мать не могла их равнодушно видеть. Кроме того, Екатерина Алексеевна очень желала, чтобы сын ее, тщедушный сложением, непременно потолстел – "для авантажу".

Привыкший к простоте московского общения, князь Владимир явно тосковал по нему и не спешил в чинные петербургские гостиные. Молодые выезжали мало, вполне довольствуясь новизной семейной жизни, о прелестях которой успел он уже написать Полевому, вызвав ревнивую обиду "своих".

"Любезный князь, – выговаривал ему Титов, – с тех пор как твое сиятельство закатилось за Московскую заставу, не пишешь ни к кому из нас. Полевому живописуешь свое семейственное счастие, а к нам ни пол-словечка, как будто бы мы не умели ему и порадоваться. Ну право ни на что не похоже. Чтоб ты был так занят, ето небылица..." Приветствуя вступление Одоевского в службу – "нельзя пренебрегать никаким способом делать хоть малое добро", – интересовался Титов и другими занятиями друга: "продолжается ли Философский словарь, льются ли апологи из-под пера упитанного красными чернилами, гремят ли под пальцами фантазии, кантаты воинские, страстные?"

Упрекам Титова в первые "петербургские" месяцы вторили не раз и другие. Приятельствовавший с Одоевским, особенно по музыкальной части, Николай Мельгунов корил нового петербургского жителя молчанием, напоминая не только о себе, но и о ближайших сердцу князя лицах, "формально" им позабытых: Соболевском, Титове, Шевыреве. Напоминал, что называется, с пылу, сиюминутно: "о Соболевском, у которого я сейчас обедал, – о Титове, который сегодня утром был у меня, – и наконец о Шевыреве, с которым вчерашний вечер зевал в Русском театре". Все они единогласно делали лени князя самый строгий выговор.

Москва – привычная, уютная – жила прежней жизнью. Без него. Может, он и отмалчивался потому, что щемило. Даже старик Дмитриев, говорят, поминал его, примолвливая: "Я люблю его", – правда, голосом вовсе не нежным, а протяжным своим басом, уткнув подбородок в галстух. О занятиях тоже говорить не хотелось – ничего определенного. Хотя, кажется, вопреки опасениям матери, ночные бдения продолжались. Сразу по приезде в Петербург настойчиво выпрашивал он у Соболевского оставленные в Москве книги: Шеллинга, Спинозу, Вейсса, два французских сочинения о магнетизме, Вальтер Скотта и книжки итальянские – о поэтах XV века, Маккиавелли и Торквато Тассо. Год уже, как задумал он грандиозное полотно о великом жреце науки и мученике во имя истины Иордано Бруно. Не об этом ли романе говорил он с Ольгой Степановной в пору первой своей влюбленности? Знали о нем и друзья – и, готовые помочь, возлагали на будущее творение большие надежды. Однако чем именно занимался теперь Одоевский в Петербурге, толком не знал никто. В начале декабря в разухабистом письме Алеше Верстовскому, чудному музыканту и родной душе, глухо промелькнули и серьезные признания: "Я-таки сделал хотя одну, но большую новую вещь, т.е. женился, и теперь добиваюсь другой новой – ребенка. Вообрази себе меня отцом семейства, целый день не вылезающего из халата, курящего трубку, едущего лимбуржский сыр и сочиняющего фуги; вообрази и не засмейся. С литераторами благодаря Бога не вижусь, выключая тех, которые держут от себя литературную чернь в почтительном отдалении; журналов, благодаря жене, не читаю, ибо она изводит их на завивки; пишу и никому не показываю; житье да и только!"

С петербургскими литераторами – не враждебной, конечно, булгаринской кликой, с которой навоевался вволю, а с пушкинским "лаге-

рем" – и с теми, видно, сходился Одоевский трудно. Во всяком случае, явных следов непосредственного общения в эту пору не осталось. Даже с Дельвигом, который еще в 1824 году, в разгар "Мнемозины", просил Кюхельбекера познакомить его с Одоевским и уговорить прислать что-нибудь в затевавшиеся тогда "Северные цветы": "Литературно я знаю и люблю его". Однако тогда же рекомендованный Дельвигом Кюхельбекеру "милый", "европейского клейма" адъютант Николай Александрович Муханов сообщал в Петербург свои московские впечатления: "Одоевский молодой человек, любящий учение, без разбору, всякого рода, – философию, литературу, медицину и генерал-бас; у него рано рука зачесалась, – черт дернул, – стал писать <…>" Рядом с обликом "благородного, с душой" Кюхельбекера характеристика эта звучала весьма сдержанно. Адресована она, правда, была не Дельвигу, но вполне вероятно, что нечто подобное доходило и до него. В свое время не ускользнули, наверное, от Дельвига нотки горечи и в отношении самого Кюхли к своему соиздателю. Складывавшаяся репутация подкрепляла настороженность петербуржцев к философам-московитам вполне.

Возможно, было именно так, и гордый князь не желал навязывать дружбу – возможно. Хотя...

Одоевский тронулся из Москвы первым – и как будто пробил брешь. За суетой и делами друзья осознали это не сразу. Время, однако, подсказало: невольно ли, по простому ли совпадению обстоятельств, но переменил он течение не только своей жизни. С отъездом его что-то вдруг утратилось невозвратно. 1 мая 1827 года Николай Мельгунов писал ему в "монотонный Питер": "Мы москвичи право подозреваем Вас в заговоре против нас. Словно сигнал подали, от которого товарищество наше рассыпалось по всем концам земли. Вы, как солнешко, – держали нас в повиновении; не успели рвануться из центра, как вдруг по какому-то волшебному мановению всех нас отбросило от оного, Бог знает на сколько времени и расстояния один от другого <…>"

Однако письмо это было написано уже после насыщенной событиями прошедшей зимы.

Одоевский и в самом деле будто поколебал московскую недвижность – закоренелые рыцари первопрестольной вдруг потянулись во враждебный Петербург. Один за другим. И странно: потянулись тогда, когда, казалось, должно бы удерживать осуществление давно желанного: свой журнал.

В начале ноября в Петербурге появился Дмитрий Веневитинов. Он приехал сюда вместе с Федором Хомяковым служить по дипломатической части. Это был удар по Москве, пожалуй, самый ощутимый.

Дмитрий владел тайной неотразимости. Он притягивал к себе не убежденной, властной целеустремленностью, подобно Одоевскому, но какой-то ясной и глубокой одухотворенностью. Конечно, тоже философ и шеллингианец, но философ поэтический – и вообще поэт, надежда русской словесности. Даже Пушкин выделил его из всей "братии" особенно, душевно. Еще за год до теперешнего личного сближе-

ния изо всех откликов на первую главу своего "Онегина" отметил он веневитиновский – единственный, который прочел "с любовью и вниманием", и сам по приезде в Москву изъявил желание возобновить это давнее, полудетское знакомство. Светлый юноша надолго запал в его сердце: много позже под быстрым пушкинским пером возник на страницах онегинской рукописи его легкий, исполненный духовной, изящной красоты профиль.

...Для Владимира приезд друга действительно стал желанной радостью – кусочек родной Москвы. Дмитрий привез ворох новостей. Он-то и сообщил: новоиспеченные журналисты твердо рассчитывают на ближайшую помощь князя. У Веневитинова была и еще задача: собрать "дань" с петербуржцев. Журнал – почти его детище, его идея – по существу и в деталях. Сразу по приезде он нетерпеливо ловит в Петербурге Дельвига: "Я к нему, он ко мне. Я к Пушкиным, он от них". Первого декабря он уже сообщает Погодину об участии в "Вестнике" поэта Козлова. Надеется и на Крылова-старика. Как-то стремительно сойдясь со здешними литераторами, Веневитинов успокаивает москвичей: в Петербурге на их предприятие возлагают надежды, помочь готовы – сам Пушкин писал сюда об этом; словом, журнал здесь – не без защитников и подписываются на него изрядно. "Истинные литераторы за нас". Одновременно, не надеясь всецело на нового издателя, теребил он и Соболевского: понукай Погодина, ругай Полевого, выжимай из Шевырева статьи, необходимо нужно в каждом номере имя Пушкина, не щадите Булгарина, Воейкова и прочих. "Если ты хорошо вникнул в, роль свою, то ты увидел, что она не противоречит твоей гордой и солидной осанке. Ты должен быть крепкий цемент, связующий камни сего нового здания; от тебя много зависит его прочность". В награду за удовлетворительные первые номера сулил он чревоугодному Сергею Александровичу изысканный и редкий английский сыр Стильтон.

Между делами и наставлениями описывал Дмитрий Соболевскому, посмеиваясь, и семейную идиллию в Мошковом переулке: "<…> Посмотрел бы ты на него, он как сыр в масле, ласкает жену как любовник, любезничает с дамами как жених. Она женщина превеселая и милая, в глазах каждого, что ж должно быть в глазах нашего чувствительного Одоевского? Придешь к ним поутру, они сидят рядом как голубок с голубкой, шутят и целуются, я смеюсь. Сцена довольно забавная. Придешь вечером. Она разливает чай, он угощает своих дам <…> по вечерам принимает". Кажется, Одоевский вполне мог бы предвосхитить пушкинские слова: "Я женат – и счастлив". Приезд Дмитрия, однако, понудил его скинуть маску блаженного ничегонеделания и заставил забыть лицемерное отречение от литературного ремесла. 19 декабря в "канцелярию издателей "Московского вестника" из С.-Петербургского отделения" следует "всепокорнейший рапорт" от Д. Веневитинова и В. Одоевского. Значилось в нем следующее:

"Мы, нижеподписавшиеся, извещаем издателя "Московского вестника", что мы с удовольствием принимаем на себя отдел критики с тем только условием, что все наши статьи, как бы они задорны ни

казались мягкосердечному Погодину, помещались без разведения водою <рукою Веневитинова>. Нижеподписавшийся, подтверждая все вышесказанное, прибавляет еще условие: его имени никому не открывать и не подписывать. Браниться – рад <рукою Одоевского> <…>" "Трудитесь, – приписывал Веневитинов, обращаясь к Титову, – мы с Одоевским, надеюсь, не отстанем. Авось не даром соединили усилия".

Сердце старого журнального бойца дрогнуло, рванулось навстречу сигналу боевого рога. Раззадорили. Разве что мальчишеский запал сменился умудренностью тактика: теперь он желал оградиться от лобовых нападений спасительной таинственностью анонима.

Со "своими" говорилось легко. Сразу возвращались уверенность и ощущение надежной почвы под ногами. Можно было и шутить, и серьезничать. Поймут.

С о б о л е в с к о м у: "Недавно я познакомился с твоим однокорытником Глинкою, чудо малый. Музыкант, каких мало. Не в тебя урод".

Т и т о в у: "Здравствуй, душенька, Володенька, – ты думал, что я забыл тебя – ничуть; не писал – правда, да когда? Дети просят каши, жена – не скажу. Ты едешь в Питер – жду; приезжай, душка, трубку дам. Пиши ко мне".

Ш е в ы р е в у: "Малютку целую и ласкаю. Умница мальчик; пишет, переводит, а нет, чтобы ко мне написать <…>"

Все сместилось. Пушкин, не любивший Москвы – живешь в ней, не как хочешь, а как тетушки велят, – волею судеб принужден был находиться там; москвичи, враждебные граду Петрову едва не от рождения, силою обстоятельств поселялись в ней надолго. Но оставались они здесь какими-то несмиренными, неслиянными и как бы в отместку судьбе или кому еще начали свивать себе гнездо в самом сердце "чужой" столицы. На Дворцовой. У Одоевского. Дмитрий с Федором Хомяковым положили начало "московской колонии", незыблемо верной своим привычкам и традициям. Нет, они были и молоды, и веселы, и умели писать со всем блеском остроумия письма друг другу, – то были блаженные времена, когда к письмам относились всерьез и когда еще почитались они тою же литературою, – но и задорность, подчас фривольная, и игривая россыпь ума позволялись как-то лишь в своем кругу – посторонний же глаз отличал прежде всего "кабинетность" их и серьезность не по летам. С Владимиром Федоровичем, к слову, так бывало постоянно: для "чужих" – чопорен и надут, для "своих" – "чувствителен". Однако правда и то, что общее мнение о "новых" москвичах было не без резонов, ибо и сами они ученые занятия почитали главною своею целью. "Кабинетные" юноши и впрямь, кажется, взялись приучить ленивый русский ум к истинным началам европейских наук, но страсть их к немецкой "метафизике" сынам вольного Лицея, например, оставалась вовсе непонятной.

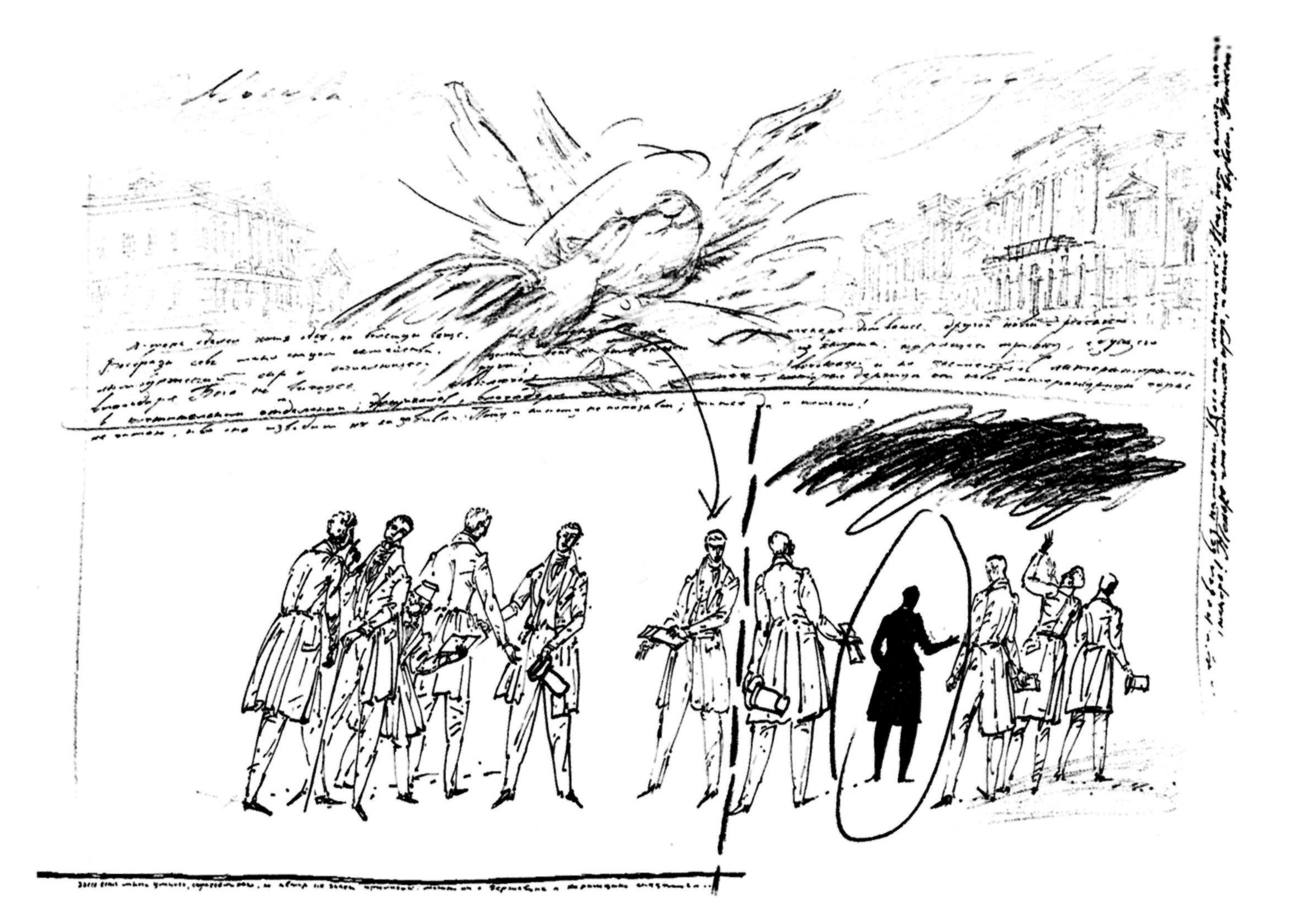
Вместе с тем "кабинетность" свою, заодно с шандалами, чернилицами и прочей поклажей, перевозили они потихоньку и на берега Невы.

Появившийся в столице чуть позже Иван Киреевский писал из Петербурга родным: "В своих я нашел здесь еще больше дружбы и теплоты, нежели сколько ожидал <...> Вчерашний вечер у Одоевского была совсем Москва..."

Веневитинов с Хомяковым поселились вместе (на Мойке у Фонарного переулка – в доме, принадлежавшем Ланским), и последний наставительно описывал своему порывистому, романтичному брату их петербургское житье: "Хотелось бы для твоего исправления чтобы ты пожил с нами здесь, посмотрел на Дмитрия. Это – чудо, а не человек; я перед ним благоговею. Представь себе, что у него в двадцати четырех часах, из которых составлены сутки, не пропадает ни минуты, ни полминуты. Ум и воображение и чувства в беспрестанной деятельности. Как скоро он встал, и до самого того времени, как он выезжает, он или пишет или бормочет новые стихи; приехал из гостей... опять за то же принимается, и это продолжается обыкновенно до 3-х часов ночи. На наше житье-бытье смешно смотреть: мы сидим в двух комнатах, одна подле другой с открытыми дверями, часто в одной, и в целый день иногда двух слов не промолвим иначе как за обедом или когда придет кто-нибудь к нам в гости <...> Гостей к нам почти не ходит кроме Больта и Одоевского, бывшего издателя".

Трудился ли столь же ревностно в эту пору и "бывший издатель"? Скорее всего. Что-то, как повелось – не для посторонних глаз; для печати же – все как-то невпопад: "старая" манера начала отказывать, и первые его вклады в новый журнал встречены были сдержанно. В самом начале марта 1827 года Титов писал ему:

"Друг Одоевский, препровождаю к тебе письмо Погодина <...> и на три твои записки отвечаю одним полновесным посланием. Хотя ты не отвечал на мои вопросы о твоем житье-бытье, но я и тому рад, что твое долгое молчание разродилось журнальными присылками: знак что занимаешься делом. – В твоих Россказнях духов мысли вообще прекрасные; но скажу откровенно: мне не нравится форма: не вижу, какая нужда затруднять варварскими именами Кардиада, Эфирида и проч. наблюдения, которые и без них довольно сложны, и в представлении которых первые свойства должны быть: простота и ясность; сверх того одежда Аполога прилична только для отдельной мысли, которую она иногда украшает подобно рифме, иногда же представляет в более резких оттенках, но мысли систематические трудно вместить в форму Аполога: форма и содержание никогда не сольются в одно органическое целое. Потому признаюсь я бы желал, чтоб ты исключил из Россказней духов первый аполог, и составил бы из оного Рассуждение для Отдела нравственности, в котором мы нуждаемся. А вместо его прислал бы Звуки – пьесу хорошую и написанную в характере Аполога. Позволь мне еще одно замечание: в Введении к Россказням просвирня невольно напоминает о Фаддее, другое лицо о Полевом; из этого нехотя заключить, что в дедушке представлен Моск<овский> Вестник – какое же сходство нашел ты между нами, яко журналистами, и человеком, ко-



торый большее время своей жизни слывет за сумасшедшего и говорит в полупонятных отрывках, как Пифия Дельфийская?"

Возражения Титова звучали обоснованно и решительно. Спор шел по существу. Он был почти резок. И впрямь, видно, что-то менялось со стремительностью, которую Одоевский вдруг не уследил – или упрямо не хотел уследить? То, чем всего лишь несколько лет назад восхищал подающий надежды юноша, сегодня не приемлет даже духовный брат его. Кардиады... Эфириды... Непостижимо, как тяжелело непринужденное его эпистолярное перо под бременем философских раздумий и учительства. Уж если и на взгляд Титова **философская** проза его годна лишь для дидактических нравоучений в отдел нравственности! Отстал ли? Вырвался ли вперед? Или вообще особняком – не понят?

"Россказни духов" так и остались нам неизвестны – Титов взял сильные меры, не скрывая к тому же, что и редакция была в них задета лично: Одоевский, соблазненный возможностью пустить очередную стрелу в давнего своего противника Булгарина, явно переборщил. Была и еще причина к неудовольствию: москвичи нервничали, чувствуя себя неуютно вблизи опасного конкурента – "Телеграфа", и Титов едко выговаривал князю за то, что тот взял вдруг да поместил очередной свой "альманашный" разбор у Полевого, когда б он, дельный, и им сгодился: "Уж не доказал ли ты себе, что каждой из полостей твоего мозга должен соответствовать журнал, где бы ты участвовал". Неудовольствие и журналистская ревность распространялись и на Веневитинова: обещали, господа хорошие, добыть стихов Козлова и Дельвига, вместо чего Козлова успел тиснуть Полевой, а Дмитрий отдал свои пьесы в "Северные цветы". Не хватало громких имен, Пушкин, как считал Титов, был ненадежен, да к тому же "и он как Пифия, изредка говорит дело, а чаще порет вздор, что уши вянут и виснут на щеках как ослиные". Надменный Титов позволял себе эту сдержанную неприязнь... В довершение просил у петербуржцев прозы – этого недоставало остро.

Препровождавшееся при сем письмо Погодина было не веселее. Касалось оно посланного Одоевским в "Вестник" разбора альманаха "Памятник отечественных муз", составленного недавно петербургским литератором Б.Федоровым не вполне привычно: издатель включил в раздел прозы и письма писателей, считая их "зеркалом" чувств и мыслей, любопытных для биографа или "наблюдателя нравов". Именно это, думается, и "спровоцировало" Одоевского, ибо рассуждения его были посвящены главным образом вовсе не литературному содержанию сборника, а означенному предмету. Идеи же его выглядели, быть может, и спорно, но весьма примечательно. Рецензент, как бы примериваясь к собственному писательскому будущему, решительно восставал против жадного и неразборчивого "покушения" потомков на жизнь знаменитостей, восставал против обнажения писательской "лаборатории": не всякий набросок, даже пера великого, должен быть "предан тиснению" (сам же под конец жизни опроверг себя: с немецким педантизмом сохранив все собственные, даже мимолетные замыслы, планы, "пробы", самолично передал многое на закате дней в Петербургскую Публичную

библиотеку); не все письма могут быть доступны постороннему глазу – "семейственные" интересны только пишущему и адресату; неправа была и Генриетта Вильсон, преподробно описавшая в своих записках спальный колпак герцога Веллингтона: "Скажите, на что знать это биографу сего мужа?"

Не случайно задерживаем мы на этой пустячной статейке (печально известной совсем по другим причинам, о чем – ниже) внимание нетерпеливого читателя – поверьте, она того стоит! Может быть, мы имеем единственную и счастливую, хотя и случайную, возможность сделать для себя важное открытие: постигнуть причину "закрытой" биографии нашего героя и удостовериться лишний раз в том, что она – действительно и сознательно была им "закрыта". Нигде, кажется, никогда более не проговаривался Одоевский с такой резкой откровенностью о "семейственном" и о "спальном колпаке герцога Веллингтона" – это был почти личный выпад, вырвавшийся с молодой горячностью у человека, задетого за живое. Его "ахиллесова пята". То, что он потом молча убрал из своей жизни от посторонних глаз – ему казалось, наверное, навсегда – и почему так долго заставлял нас мучиться "оптическими обманами", неуловимостью собственного облика. Увы... Рукописи не горят. Не горят и письма...

Однако вернемся к рецензии, где под конец бегло разбирал Одоевский и помещенную в альманахе прозу и поэзию, выделяя стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, Горчакова и довольно небрежно обойдясь с другими здравствующими, а также со "стариками" – Державиным и Карамзиным. Статья попалась на глаза Пушкину, и тот – вспылил. Об этом и было письмо Погодина:

"Разбор ваш "Памятника муз" сокращен по настоятельному требованию Пушкина. Вот его слова, повторяемые с дипломатической точностию:

"Здесь есть много умного, справедливого, но автор не знает приличий: можно ли о Державине и Карамзине сказать, что "имена их возбуждают приятные воспоминания", что "с прискорбием видим ученические ошибки в Державине": Державин все – Державин. Имя его нам уже дорого. Касательно живых писателей также не могу я, объявленный участником в журнале, согласиться на такие выражения. Я имею связи. Меня могут почесть согласным с мнением рецензента. И вообще – не должно говорить о Державине таким тоном, каким говорят об N.N., об S.S. Сим должен отличаться "Московский вестник". Оставьте одно общее суждение".

Мы спорили во многом, но должны были уступить, решились было оставить статью до сношения с вами, но должно было выдавать книжку; Пушкин читал уже по корректуре".

Литературное знакомство с Пушкиным начиналось не лучшим образом – с выволочки. Как мальчишке.

...У него так бывало не раз: накатывали беды – так одно к одному. И теперь: оба письма, недобрые вестники, пришли "в горькую мину-

ту" – так спустя почти два месяца оправдывал Одоевский перед Погодиным свое молчание, запоздало и коротко заметив при этом: «Пушкин имеет право вступаться за Державина – *свой своему* и проч.; я и сам рад, что Вы выкинули из моей статьи места слишком откровенные; они бы могли дать оружие врагам "Московского Вестника"<...>»

"Горькая минута" была и в самом деле, как удар грома. Внезапный. Устрашающий. Неотвратимый. Перед лицом его все остальное разом померкло: тлен и суета.

В начале марта простудился болезненный Веневитинов, и недуг начал вдруг развиваться с угрожающей быстротой. Друзья заметались, спешно созвали консилиум... Болезнь, однако, оказалась недолгой и смертельной...

Одоевский был безутешен. Потеря всех оглушила, нежданно, невосполнимо.

"Не мудрено что ты плачешь; я не привык плакать, но не могу вспомнить о нем без слез <...> – не думаю чтобы мое счастье в жизни могло быть с етой поры без примеси грусти..."

Титов – Одоевскому, 22 марта.

<...> "Память Веневитинова должна соединить нас еще крепче. Мы более нежели когда-нибудь уверены в твоем участии в трудах наших".

Ему же, 12 апреля.

"<...> ревел без памяти. Кого мы лишились? Нам нет полного счастья теперь! Только что соединился было круг, и какое кольцо вырвано. Ужасно. Ужасно".

Запись в "Дневнике" Погодина.

Рыдал Соболевский. Пушкин, говорят, воскликнул в сердцах: "Как вы допустили его умереть?" Жуковский писал в Москву: "<...> чистый свет угас слишком скоро..."

Осиротелые друзья поместили на страницах "Вестника" последние его стихи – пророчество Поэта:

Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься...

Двадцать пять лет подряд сходились потом они в этот роковой день у могилы в Симоновом монастыре, двадцать пять лет поднимали оставшиеся в живых памятную чашу...

ГЛАВА III.

"В МИРЕ ЧИНОВНИЧЕСКОМ..."

На исходе апреля в столицу приехал Владимир Титов. Он поселился в доме и под крыло своего родного дядюшки Дмитрия Васильевича Дашкова – старого и верного "арзамассца" Чу, которого Пушкин называл "бронзой". Ныне он был государственным человеком – товарищем министра внутренних дел.

Судьба племянника тревожила Дашкова давно. После долгого перерыва увидев его два года назад в Москве, он с удивлением обнаружил вдруг, до какой степени юноше, отнюдь не пылкому, вскружила голову немецкая философия. Дашков усмотрел в этом вредное влияние кумира московской молодежи – профессора Давыдова, человека, решительно неспособного ни к какому злодейству, но вредного на кафедре философской: внушить питомцам своим, что предмет его – не просто **история** науки, но основание **всех** наук и даже нравственности – от подобного соблазна может захмелеть не только юнец! Кончилось тем, что дядюшка по сговору с сестрой своей и матерью Владимира, жившей в дальней деревне, забрал племянника к себе, определив его для прохождения службы в Азиатский департамент.

Решению этому способствовало, видно, еще одно обстоятельство. В дни декабрьской "смуты" обнаружилось, что старший брат Владимира, Петр Титов, поручик лейб-гвардии Кирасирского полка, вступивший в военную службу пятнадцати лет и тогда же, совсем еще отроком, побывавший в заграничном походе, состоял членом Северного общества и был учредителем Полу-Управы в Могилеве.

За четыре месяца до приезда Владимира Титова в Петербург Петр был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Легко можно вообразить себе тревогу родных и неусыпные хлопоты дядюшки во облегчение участи "бунтовщика". Без сомнения, ему и обязан был старший Титов снисходительным приговором: три месяца крепости, после чего, тем же чином, перевод в дальний Омский гарнизон.

Неудивительно, что решено было на всякий случай прибрать к твердой руке и младшего, "философа": добрый Дашков, усомнившись в благотворности Давыдовского влияния, почел, видно, за благо не спускать глаз с Владимира.

Наверное, не без рекомендации Титова пригляделся Дашков и к молодому князю, вступившему в должность по его же ведомству, и взял нового чиновника себе в письмоводители.

Дашков до зарезу нуждался в дельных помощниках, для случая чрезвычайной, исключительной серьезности. Речь шла о цензуре. Печально

известный устав 1826 года составлен был с необыкновенной поспешностью. Не случайно заслужил он и славу "чугунного": носились слухи, будто тогдашний директор департамента народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов, желая по возможности ускорить окончание возложенной на него хлопотной миссии, представил министру Шишкову отысканный в архивах и наскоро подновленный проект, который был составлен в конце предыдущего царствования метнувшимся в мракобесие Магницким. Распространившееся, тревожившее вольнолюбие понудило тогда Александра и здесь распрощаться с собственным "прекрасным началом": цензурное уложение 1804 года, при нем введенное, казалось теперь куда как либеральным. Однако непредсказуемый царь запущенное им же дело так и не утвердил. Устав этот был и в самом деле стеснителен сверх меры и запрещал все: не один род сочинений, целые отделы наук, противные, по мысли авторов, престолу и вере. Реакционность его была столь откровенна, что смутила даже Николая. Он почел благоразумным прибегнуть к совету сведущих людей, и история сохранила нам несколько замечаний анонимных его "консультантов" – скажем, такие:

п. 185-й. Запрещается сочинителям и переводчикам в печатных произведениях их означать целые места точками или другими знаками, как бы нарочно для того поставляемыми, чтобы читатели угадывали сами содержание пропущенных повествований или выражений, противных нравственности, благопристойности или общественному порядку.

Мне кажется, что сие правило, принятое без исключения, стеснит писателей без всякой пользы.

п. 214-й. История не должна заключать в себе произвольных умствований, которые не принадлежат к повествованию и коих содержание противно правилам сего устава.

Мало сего рода сочинений, в которых не было рассуждений сочинителей. Тацита, Тита Ливия и даже Карамзина история запрещены будут.

10 июня 1826 г. новый цензурный устав был, тем не менее, утвержден, а 29 сентября Вяземский писал Жуковскому и А. И. Тургеневу: «Что за новый устав цензурный! <...> В уставе сказано, что история не должна заключать в себе умствований историка, а быть голым рассказом событий. Рассказывают, что государь, читая устав в рукописи, сделал под этой статьею вопрос: "в силу этого должно ли было бы пропустить Карамзина? Отвечайте просто да или нет". Они отвечали: нет! Государь приписал тут: вздор! но, между прочим, вздор этот остался и быть по сему».

Отныне запрещались в России Вольтер, Руссо, Дидро, Монтескье... Возмущение в обществе росло. В архивах III отделения сохранился экземпляр устава с чьими-то негодующими пометами: "Ужас". "Варварство". "Цензоры невежи". "Инквизиция".

К счастью, Шишков в своем рвении превысил полномочия, предполагая распространить действие 230 "охранительных" параграфов и

на книги иностранные. Царю подсказали, сколь невыгодное мнение возбудит это в чужих краях. Тогда министру внутренних дел В.С.Ланскому повелено было выработать правила цензуры для книг иностранных. К концу 1826 года проект – тоже, надо сказать, весьма "средневековый" – был готов, однако здесь произошла непредвиденная "осечка": вместо ожидаемого одобрения последовало высочайшее повеление о создании Временного комитета для его рассмотрения. Вошли в него сам Ланской, генерал-адъютант И. В. Васильчиков, граф К. В. Нессельроде, управляющий Министерством внутренних дел, генерал-адъютант Бенкендорф, сенатор С. С. Уваров и действительный тайный советник Дашков. Последний, как и следовало ожидать, оказался в этой своеобразной компании серьезной практической силой – недаром в поздних своих записках Одоевский называет его главным редактором Комитета и "одним из величайших государственных людей". По рассмотрении вопроса от имени всех совещателей Дашков подал царю смелую записку, где с почтительным достоинством решительно объяснял всю злонамеренную непригодность действующих цензурных положений. Для отрезвления "непокорных" в Комитет были введены министр народного просвещения А. С. Шишков и председатель Цензурного комитета Л. Л. Карбониер, однако остудить пыл почти самозваных преобразователей не удалось: Комитет, вовсе не наделенный столь обширными правами, лихорадочно приступил на свой страх и риск к составлению нового устава. В этой ситуации Дашков, взявший на себя основной труд, действительно нуждался в толковых людях. Не долго раздумывая, он подключил к работе не только Одоевского, но и своего племянника.

Лето – начало осени 1827 года

Титов – Одоевскому

(На конверте – надпись: "Немедленно доставить на дачу")

У дяди нет Наполеонова устава о цензуре; он посылает тебе, любезный друг, Устав 1804 года и просит через неделю возвратить: ибо он ему нужен.

———

Рукой Дашкова:

Попросить кн. Одоевского, чтобы он прислал мне назад Устав о цензуре 1804 года и другие бумаги по Цензуре, если у него какие из нашей работы остались.

———

Погодин – Одоевскому

2 августа 1827 года

Во время моей отлучки, любезный князь Владимир Федорович, пришло письмо ваше. Жалею, что ответ получаете вы поздно.

Вот известие, на первый случай, о числе процензурованных рукописей и книг в Московском цензурном комитете, заимствованное из актов университетских, по годам академическим, а не гражданским:

В 1824г. (т.е. полов. 1823иполов. 1824)	рассмотр.	и одобр.	173	рукописи
„ 1825 г. /id./	„	„	150	„
„ 1826 г. /id./	„	„	182	„
„ 1827 г. /id./	„	„	185	„
				и 39 книг.

Число листов определить нельзя, ибо они большею частью отмечаются наобум. Впрочем известно содержание листов рукописных к печатному, ergo etc. – В четверг будет собрание цензурного комитета, и там выправлюсь по возможности и дам вам знать немедленно...

Титов – Одоевскому

Любезный князь

По поручению дяди я к тебе приеду ныне за важным делом, и если можно, то буду ночевать у тебя: ибо иначе нельзя будет кончить. Прощай до вечера.

Твой Титов

P.S. Если кто к тебе приедет, придумай заранее предлог извиниться.

20 сентября 1827 года Одоевского утверждают в должности секретаря Общего собрания Временного комитета.

14 октября Временный комитет представил Николаю свои замечания на устав 1826 года, присовокупив к ним возражения Шишкова, а 19 октября царь распорядился о закрытии Комитета. Однако, невзирая на это, работа продолжалась: остановить ее было уже невозможно – уродливая "чугунная" махина заколебалась, и любой ценой надлежало пустить ее под откос. Члены Комитета, при всей разности своей, сознавали это отчетливо. Им явственно виделись основания нового закона, приличного цивилизованной европейской державе. Следовало торопиться, дабы довести дело до конца.

Титов – Одоевскому

Вот тебе творение Нечаева с моими заметами. Блудов и дядя хотят чтоб мы с тобою оное переделали; срок – суббота. Посылаю тебе нарочно заранее: прочти, а завтра в 5 часов я к тебе приеду, и примемся за дело.

Ему же

Посылаю к тебе Цензурный устав: лучше переделай по-своему замеченные § § и приложи на особом листке; так желал дядя. А к тому присоединишь и примечания, в виде комментария, на особом же листе.

Одоевский – А. Верстовскому

С. Петербург 1828. Генваря 20.

...вот уже три недели, как я каждый день ложусь в 2 часа ночи и встаю в 7 часов утра – в продолжение всего етого времени я обедал только по разу в неделю, вокруг меня целая канцелярия писцов и беспрестанно пристают то тот, то другой; до сих пор я еще не знал, что

значит служба! на, впрочем, не жалею об етом – по крайней мере не даром живу...

22 апреля 1828 года Николай утвердил новый устав о цензуре, долженствующий, как было сказано в указе, "заменить во всех частях изданные доныне по сему предмету узаконения".

23 апреля А. С. Шишков подал в отставку.

Это была крупная победа, в достижении которой не последняя роль принадлежала Одоевскому, и, очевидно, на склоне лет, обозревая пережитое, имел он достаточные основания для следующего признания: "В мире чиновническом замечаю **мой** цензурный устав 1828 года..."

В 1858 году директор императорской Публичной библиотеки барон М. А. Корф, представляя своего заместителя, князя В. Ф. Одоевского, к награждению чином тайного советника и перечисляя его заслуги, между прочим писал: "С самого вступления своего на службу по Министерству внутренних дел, в 1826 году, он снискал особую доверенность бывшего тогда товарища министра Дмитрия Васильевича Дашкова, весьма строгого в выборе людей, и был при нем главным редактором Секретного Комитета, учрежденного по Высочайшему повелению, для начертания цензурного устава..."

Способный и исполнительный молодой человек не просто пришелся ко двору в Министерстве внутренних дел как ревностный чиновник – отнюдь. Проницательный Дашков быстро разглядел в нем и иные, более высокие, незаурядные возможности: европейская образованность, широкий взгляд на вещи, отменно вытренированный, дисциплинированный на философских силлогизмах ум. Идеалисты-шеллингианцы – кто бы мог подумать! – оказались весьма полезны отечеству – и что самое замечательное – в сфере **практической.** Для Дашкова, надо думать, это была новость неожиданная – ведь он вызволял своего племянника из "метафизического" болота, вряд ли рассчитывая на что-нибудь путное. Сдержанные, четкие московские юноши быстро вошли в доверие. В упомянутом январском письме Верстовскому, в котором шла речь о поступившей в Цензурный комитет опере композитора "Пан Твардовский" на либретто Загоскина, Одоевский, между прочим, писал: "Ценсор хотел пиесу ету запретить совершенно, я, не потому, что ты писал на нее музыку, а *по чистой совести* (курсив мой. – *М. Т.*) не находил в "Пане" ничего непозволительного, спорил с Ценсором, но Ценсор не согласился. Отправившись с докладом к Министру, я ему представил мое и Ценсора мнение; Министр согласился с моим, но с тем, чтобы сделаны были перемены, требуемые Ценсором..." Простой канцелярист или секретарь вряд ли смел позволить себе столь свободную и независимую форму **служебного** поведения.

Спустя несколько десятилетий, уже умудренный жизненным, чиновническим и социальным опытом, Одоевский написал две записки о цензуре. Первая из них – "К истории русской цензуры" – была посвящена воспоминаниям о 1826 годе. Конечно, писал их во многом уже **другой** Одоевский, однако основания его взгляда на предмет без сомнения коренились здесь, в начале служебного поприща, волей случая

оказавшегося для него столь замечательным. С расстояния лет он оценил этот опыт сполна. Любопытны в записке, однако, не только свидетельства участника комитетской "кухни", рассказ о принципах, которым следовали противоборцы Шишкова и Магницкого, пытавшиеся оградить российский правопорядок от капризно изменчивых политических обстоятельств и других временных, "скоропреходящих" случайностей: губительного блеска графа де-Местра, учения библейских обществ и отцов-иезуитов.

"Вопрос о цензуре был рассмотрен с истинно государственной точки зрения, а не в границах полицейской, почти всегда ошибочной сферы..."

Любопытны, повторяем, собственные его рассуждения, комментирующие смысл "государственного" подхода и сформулированные с трезвостью человека "государственного":

"Цензура <…> должна бороться с неопределительностию человеческого языка и с возможностию одному и тому же выражению, даже слову, давать все возможные смыслы. Это открывает широкий простор цензору, если мотивы запрещения выражены в общем и неопределенном смысле, тем более, что одна и та же фраза, – как ежедневно показывает опыт, – может показаться сегодня невинною, завтра предосудительною". Однако "полагать возможным посредством каких-либо правил предупредить все отступления от цензурного устава все равно, что добиваться, посредством каких-либо правил, предвидеть действия бури, наводнения, землетрясений и прочих тому подобных общих, естественных явлений, не зависящих от воли человека..."

"...Во всякое, так сказать цензурное явление вмешиваются постоянно два <…> элемента: общее настроение литературы в данную эпоху и общественное мнение. От сего происходит, что в цензурном деле вводят в беспрерывное заблуждение оптические обманы, от которых необходимо себя предохранять прямым, добросовестным и многосторонним воззрением на предмет".

"...по чистой совести..."

"Оптические" же обманы суть таковы:

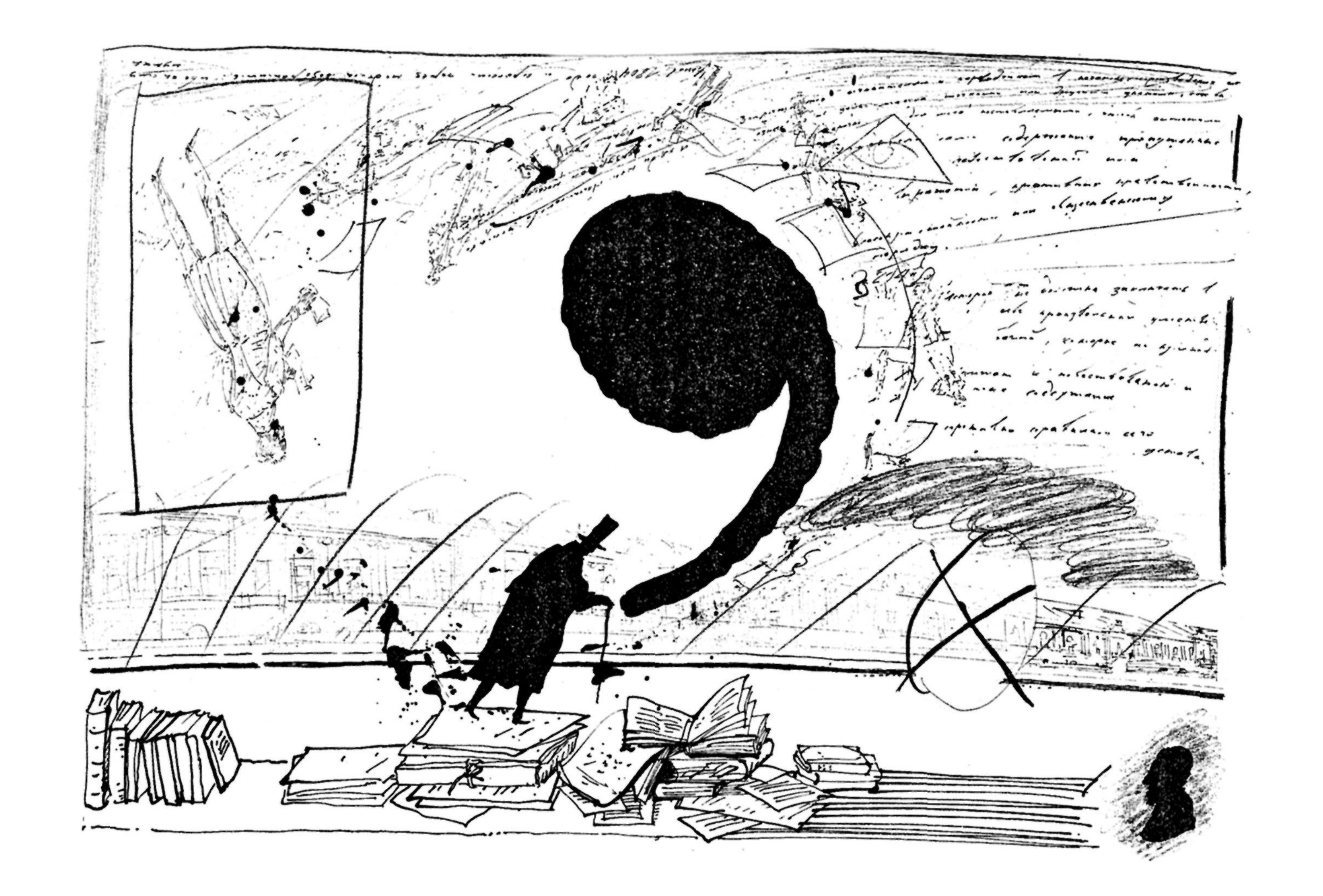
постоянно говорится о вреде книг для "публики" – но спрашивается: где эта **читающая** публика? И что она читает – календари? События политические, судебные, административные, семейные, наконец, затрагивают ее ближе, нежели все явления литературные, интересные лишь немногим.

"...То, что называется мыслью, распространенною в публике, есть не что иное, как "вывод более или менее точный из всех отдельных толков, производимых каким-либо происшествием".

Считается, что от книг мысли переходят в общество, в то время как за исключением творений гениальных книги лишь – "термометр идей", находящихся уже в обществе:

"Разбить термометр – не значит переменить погоду, а лишь уничтожить средство следить за ее переменами".

Толкуют о дурном влиянии сатирических произведений, так



истово запрещавшихся цензурою, – но не они ли способны остановить многих на скользком пути?

"Полицейская цензура, имеющая в виду лишь прикрыть язву, чтобы ее не заметили, может запрещать подобные статьи. Государственная цензура должна не только позволять, но и поощрять их".

"Публичность" вообще губительна для "тайных злодеяний" – они много теряют от этого в своей притягательности.

Проницательные, все благие и удивительно современно звучащие мысли человека и в самом деле "государственного" прогрессивного.

Не будем, однако, торопиться с выводами. Сменялись эпохи, дозревали некогда не вполне ясные, бродившие, как молодое вино, мысли. Случалось при этом, что прекрасные идеи обретали подчас сомнительный смысл: именно "гласностью", отменой запрета в России на герценовский "Колокол" предлагал, например, стареющий Одоевский бороться с враждебной ему политической эмиграцией...

Однако мы забежали далеко вперед. Впрочем, может быть, и не зря: яснее видится Одоевский 20-х.

"Вообще четыре главные предмета, выраженные в 3-й статье устава о цензуре 1828 года, а именно: вера, престол, нравственность и честь личная, могут служить верным мерилом для оценки произведения в цензурном смысле".

Почти с уверенностью можно сказать, что этот параграф – может быть, один из тех, которые по желанию Дашкова просил его переписать Титов, – принадлежат перу нашего героя.

...Дашков вполне оценил заслуги кроткого и прилежного молодого человека. В мае 1828 года он отбыл из Петербурга в свите Николая к театру военных действий в Турции. Уезжая, Дашков представил Одоевского к чину, однако это представление государем было отклонено. На то имелись свои причины.

К новому московскому юношеству Николай относился подозрительно. Нет, они не были замешаны в бунте и даже как будто держались вовсе иного образа мыслей и сохранили верность престолу – но все же: хороши ли и эти? Что думают? Чем дышат? Не очень понятно. Ведь и их уже величают "либералистами". Что толку, что на какой-то там новый манер – либералисты и есть либералист. Да и не последнее: связаны они были с "теми" весьма тесно – все родственники да друзья: "зараза" прошлась по московским домам густо. Он это знал. Знал – все: по слухам, шепотку, а также испытанным на Руси способом – по подметным письмам. Чего-чего – а ретивых доброхотов всегда хватало! С конца 1826 года, как только организовался "Московский вестник", участники нового журнала и ближайшее его окружение оказались под прицелом. Было заведено тайное дело об официальном издателе его Михайле Погодине – "молодом журналисте с либеральным душком", который дал увлечь себя покровителям – "вампирам" – Петру Вяземскому и Александру Пушкину, "высасывающим все доброе из молодых людей и впускающим свой яд".

В августе 1827 года, когда Одоевский и Титов лихорадочно трудились над новым уставом, в III отделение Собственной его величества канцелярии поступил донос на другого московского журналиста – Николая Полевого, однако и в нем значилось следующее:

"Все замеченные в якобинизме москвичи: Титов, Киреевский, Соболевский – сотрудники "Телеграфа". Покровители оного – князь Вяземский и бывший профессор Давыдов, самый отважный якобинец. По всем известиям, дух молодежи в Москве весьма дурен. Соболевский, побочный сын Соймонова, замеченный в весьма либеральных правилах и известный по письму сомнительного содержания к Киреевскому, прибыл в Петербург. Киреевского также ожидают. Титов здесь служит в Иностранной коллегии. Молодой человек развратных правил. Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надо беречь как дитя. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом, Атаманы – кн. Вяземский и Полевой; приятели – Титов, Шевырев, Рожалин и другие москвичи".

Факты и вымысел, как обычно в подобных "документах", сплелись фантастически. И тем не менее, даже если сделать изрядную скидку на рвение и возможную интригу, сигналы были неприятные: новые "якобинцы".

Имя Одоевского в этих доносах не упоминалось. Однако, как любят теперь говорить, снаряды ложились рядом: метили в ближайших друзей. Впрочем, спустя несколько месяцев, в декабре, в очередном анонимном донесении, упоминавшемся нами уже ранее и направленном на этот раз против сотрудников "Московского вестника", был назван и он – "философ", у которого собираются "карбонарии": Соболевский, Титов, Мальцев – и прибывший в Петербург Погодин; приезд последнего, видимо, и был причиной особенного беспокойства неизвестного блюстителя власти. Услужливый осведомитель предупреждал, что главная цель этих "истинно бешеных либералов" – ввести в свой журнал "политику". Более того, он открывал их намерение издавать якобы в следующем году политическую газету; "но как ни один из них не мог представить своих сочинений, как повелено цензурным уставом, то они выписали сюда Погодина, чтобы он снова от своего имени просил позволения ввести политику".

Все эти сведения, правда, оставлялись как будто без видимых последствий, однако не прошло и полугода, как явилось продолжение – на этот раз исходившее от человека, вполне заслужившего "высочайшее" внимание и отнюдь не оголтелого фантазера. Максим Яковлевич фон Фок, правая рука шефа жандармов Бенкендорфа, с недавнего времени сосредоточил в своих руках тайный политический сыск. Это была личность по-своему примечательная, энергичного и твердого ума, и даже Пушкин сожалел впоследствии о его смерти, считая ее "бедствием общественным".

Так вот, "Секретная газета", как деликатно именовался этот

новый "рапорт", была написана (или переписана?) рукой фон Фока и, ввиду важности дела, препровождена им Николаю на далекую турецкую границу как раз в том самом мае 1828 года, когда Дашков представил Одоевского к чину в награду за усердие на государственном поприще.

В записке этой уже били в набат:

«В Москве опять составилась партия для издавания газеты политической, ежедневной, под названием "Утренний листок". Хотят издавать или с нынешнего года с июня, или с 1^го^ января 1829. – Главные издатели те же самые, которые замышляли в конце прошлого года овладеть общим мнением для политических видов, как то было открыто из переписки Киреевского с Титовым.

Все эти издатели по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский, два Киреевские и еще несколько отчаянных юношей. Поныне такое между ними условие: поручить издателю "Московского вестника" Погодину испрашивать позволение. Погодин, переводя с величайшими похвалами и лестью сочинения академиков Круга etc., ректора Эверса и других, успел снискать благоволение ученых, льстя их самолюбию. За свои детские труды он сделан Корреспондентом Академии и весьма покровительствуем Кругом, Аделунгом и другими немецкими учеными. – Сей Погодин – чрезвычайно хитрый и двуличный человек, который под маскою скромности и низкопоклонничества вмещает в себе самые превратные правила. Он предан душою правилам якобинства, которые составляют исповедание веры толпы московских и некоторых петербургских юношей, и служит им орудием. Сия партия надеется теперь через немецких ученых Круга и Аделунга снискать позволение князя Ливена, через князя Вяземского и Пушкина – действовать на Блудова посредством Жуковского, а через своего партизана Титова, племянника статс-секретаря Дашкова, – снискать доступ к государю чрез графа Нессельроде или самого Дашкова.

Издание частной газеты в Москве будет весьма вредно для общего духа и мнения, ибо, как известно из переписки сей партии, вся их цель состоит в том, чтоб действовать на дух народа распространением либеральных правил. От сего не убережется никакая ценсура, ибо издатель, поместив две или три фразы пошлые в похвалу правительства, может спокойно молчать о том, что производит хорошее действие, и помещать все, в виде фактов с пояснениями, что воспламеняет умы к переворотам. Москва, удаленная от центра политики и министерств и не будучи подвержена непосредственному надзору в нравственном отношении, может наделать много зла газетами, ибо пока здесь хватятся за статью, – она уже разойдется по России.

Уже эта Московская партия показала свой образ мыслей на счет газет не только в Секретной переписке, но даже и в печатном. В № 8 "Московского вестника" на сей 1828 год критикуют наши газеты и дают чувствовать, как они сами будут издавать газету. В начале сей статьи

упрекают газеты, что они извещают русскую публику о безделицах и представляют одни голые, неудовлетворительные известия о происшествиях вместо того, чтобы ставить нас на такую точку, с которой мы могли видеть, что занимает умы в настоящее время в державах европейских, наиболее обращающих на себя внимание всякого просвещенного, – вместо того, чтоб изображать нам перемены, происходящие во внутреннем устройстве Государства с их причинами, постепенным развитием и последствиями, вместо того, чтобы выводить вперед современные лица, действующие на поприще политическом, с их характерами и мнениями и проч... – Здесь цель издателей ясная. Что занимает умы в Европе? – Конституции. Перемены во внутреннем устройстве государств с их причинами, постепенным развитием и последствиями – суть революция и оппозиция. А выведение политических лиц с их действиями и мнениями поведет к проповедыванию карбонаризма. Вот чем привлекают к себе публику новые издатели газеты в Москве <...>»

Хотя и этому доносу не был дан активный ход, "отзвуки" его, тем не менее очевидны: последовали серьезные неприятности у Вяземского; немудрено, что и представление Одоевского к чину не возымело успеха. Возможно, более пагубные для молодых людей последствия "Секретной газеты" в значительной мере предотвратил Дашков. Николай показал ему "послание" от фон Фока, и тот не медля ответил на него своей "Запиской", в которой со всей возможной решительностью взял под защиту московских "либералистов". Не зная имени доносчика, но прекрасно ориентируясь в расстановке литературных сил, он проницательно разгадал подоплеку обвинения и истинных его инициаторов: "Скажу безошибочно, что они суть петербургские журналисты, имевшие много литературных сшибок с "Московским вестником" и "Телеграфом" и желающие приобрести разными путями прибыльную монополию политической газеты». Дашков недвусмысленно метил в Булгарина. Обо всех, поименованных в доносе – кого знал, – он почел долгом высказаться "по чести и совести". По существу, не знакомый широко с молодыми москвичами, он брал под защиту "своих": Вяземского, Одоевского и собственного племянника.

Авторы "Секретной газеты", по справедливому его замечанию, "описали мнимое московское общество весьма неверно и слили в оное лица, кои равно им нелюбы и кои между собою не имеют связей. Таковы кн. Вяземский и молодые издатели "Московского вестника" – люди, могущие казаться "нескромными", но "не с умысла, а по неосторожности или по умничанью", поскольку вообще "неразумное умничанье и необузданная болтовня играют большую роль в так называемом русском либерализме".

Дашков пытается представить дело самым невинным образом и в своей защите прибегает к сильным средствам. Князя Вяземского – "острослова", известного правительству с дурной стороны лишь благодаря "невоздержанности языка и пера своего", он ограждает от злоу-

мышленных наветов именем родственно близкого "обвиняемому" "незабвенного" Карамзина: "Верный Карамзин по чутью узнал бы в нем изменника и отверг бы его тогда с омерзением". Мнимую же вину перед правительством, приписываемую автором "Газеты" другим "отчаянным юношам" – среди них Титову и Одоевскому, – Дашков с легким сердцем перекладывает на несчастную немецкую философию. Аттестуя Одоевского с полной похвалой, он, между прочим, открыто выражает сожаление о том, что "его величеству не благоугодно было утвердить" представления молодого человека к чину: "Боже сохрани, чтобы правительство искало привлечь к себе подобных ему юношей незаслуженными милостями; но когда сия милость действительно заслужена ими, то неполучение оной может ввергнуть в отчаяние и растравить юное сердце, еще не затверделое в правилах, кои велят ставить долг выше всех обстоятельств жизни".

Однако чина Одоевскому в тот год так и не дали. С окончанием горячей поры в Цензурном комитете, в июле 1828 года, он был сверх занимаемой уже должности определен столоначальником в Департамент духовных дел иностранных исповеданий, и единственным знаком монаршего примирительного снисхождения явился именной высочайший указ о назначении ему жалованья по двум ведомствам.

Верный своей либеральной молодости, Дашков не дал в обиду "своих". Но многое в его "Записке" было не только защита, но и истина по существу: что касалось Вяземского и Пушкина, которых знал он с молодых их лет, то их, действительно остроязычных, "бешеных", находившихся постоянно под подозрительным оком – и весьма за дело, – приходилось спасать не раз. Московская же молодежь, должно быть, и на глаза старого арзамассца выглядела несколько загадочно. Они в самом деле не таили в мыслях противодействие престолу, и путь их явно лежал мимо Сенатской площади – здесь правительству вовсе не стоило тревожиться.

В то время как Дашков защищал москвичей от политических наветов, один из них – Иван Киреевский, только вступавший на литературное поприще и горячо желавший присоединиться к "Московскому вестнику", излагал другому участнику журнала, Александру Кошелеву, свою программу: "Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога".

Проповедь либерализма обретала новые, не вполне понятные еще черты.

ГЛАВА IV.

НОВЫЕ ЛИБЕРАЛИСТЫ

"...Пишу и никому не показываю..." Мимолетное признание Верстовскому в декабре 1826 года было не без оснований. Как ни бурно оказалось вступление в государственную службу, "миром чиновническим" жизнь не исчерпывалась: с началом "Московского вестника" Одоевский принялся извлекать свои литературные "запасы", плоды ночных радений, обнаруживших устойчивую "московскую" инерцию. Титов, выспрашивая друга о его литературных занятиях, в своих "подозрениях" оказался прав: из-под пера Одоевского, "упитанного красными чернилами", все это время продолжали "литься" апологи. Они сочинялись, как фуги, постоянно и вперемежку с ними – ни то, ни другое Одоевский не мог **не сочинять.** "Лилось".

Кое-что, правда, в "московской" традиции все же поколебалось. Нежданно обернулся "комом" критический дебют в новом журнале, и неудача, очевидно, оставила в честолюбивом авторе болезненный и долгий след. Так или иначе, он не вспоминал более о своих притязаниях на роль ведущего критика в "Вестнике". Не было уже рядом и Веневитинова, с которым намеревались они соединить усилия, да и сама критика, кажется, "взрослела", меняя свое лицо: горячие и, прямо скажем, не вполне галантные журнальные перебранки времен "Мнемозины", в которых юный аристократ не очень чинился, уступали место иной манере, спокойно-доказательной, где и самая язвительность нуждалась в известной корректности. Твердая пушкинская позиция по отношению к "славе предков", его неудовольствие литературным панибратством без чинов и различий явились требовательным знаком новой этикетности.

Одоевский пополнил издательский портфель чем мог, и уже в начале марта Погодин благодарил князя за действенное участие в "Московском вестнике". Князь будто внял советам Титова: на страницах нового журнала один за другим начали появляться небольшие и изящные его апологи, вдохновленные одною какою-то мыслью, кратким, но глубоким раздумьем, минутным настроением. Иные, согретые недавними личными переживаниями, звучали "стихотворениями в прозе".

"Ты, юноша, – писал он в одном из них, – еще не испытал прелести тайного свидания; в мечтах неясных, полупрозрачных являлось тебе существо, которое – половина тебя самого, существо родное тебе, без которого жизнь остается тебе вечною загадкою.

Знаешь ли ты то состояние, когда власы подъемлются на главе, кровь огнем струится по жилам, когда присутствие какого-то неземного

духа наводит на тебя ужас, когда тысячи мыслей, как мириады планет кружатся в голове твоей, покорные единой бесконечной Фантазии?.. Вымоли у Зевеса минуту вдохновения! Ты почувствуешь в себе новое бытие, новую жизнь, незапно влившуюся в грудь твою. Сладостная мука сожмет твое сердце, оно забьется сильно, порывисто; пламенная рука покроет глаза твои, и они исчезнут для всего видимого, душа превратится в уста твои, и уста твои откроют новую, непостижимую прежде природу!

Как миг свидания, ты скроешь минуту сию от черни непросвещенной; тебе не с кем будет поделиться своим блаженством, ибо в самом себе заключишь всю вселенную!"

Одоевский писал аллегории о стойкости человека в добродетели, о "ложной опытности", легко иронизировал над схоластическим мудрствованием, безыскусно пересказывая русскому читателю излюбленное индийское "Пятикнижие", древнюю "Панчатантру" – неиссякаемый для него кладезь ясной и высокой в своей извечной простоте философии жизни. Одну из притчей – "индийскую сказку" "Переход чрез реку, приключение брамина Парамарты" – заметил на страницах "Московского вестника" Пушкин и, не зная имени автора, скрывшегося за таинственной подписью "К.", похвалил ее в письме к Погодину как "любопытный отрывок учености". Много позже Белинский признавался, что его поколение сразу почувствовало в апологах молодого Одоевского "одушевление, жизнь и мысль". То были важные литературные экзерсисы, упорная тренировка пера и ума, истоки будущей философской прозы. Российское любомудрие говорило в них устами восточных мудрецов, их глазами прозревало высокие истины – и это не было вовсе минутной, прихотливой игрой воображения или художественной условностью. Индию Одоевский считал прародиной славян. Спустя несколько лет в "Пестрых сказках" также возникнет тысячелетний мудрец, "прародитель славянского племени", отправленный по воле писателя "из древней славянской отчизны – Индии к Северному полюсу".

К Востоку как "отчизне всего чудесного" обратились уже немецкие романтики – и их идеи находили сочувственный отклик в сердцах русских "любомудров". Только что друзья и единомышленники Одоевского Титов, Мельгунов и Шевырев познакомили русского читателя с книгой Ваккенродера-Тика "Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного" в собственном переводе; здесь, в частности, говорилось о высокой древности и младенческой простоте восточной философской мудрости, представляющей нам таинственные и странные загадки, отвергаемые "здравым" рассудком.

Мы помним, что Одоевский сразу по выходе из Пансиона начал составлять свой "Опыт теории изящных искусств" – "по Шеллингу", применяя его к наиболее близкой ему сфере – музыкальной, и писал об этом Титову пространные письма из Дрокова. Уже тогда восстал он против канонов старой эстетики, признававшей за истину одно лишь внешнее подражание природе. Теперь, вслед за своими немецкими учителями, все увереннее искал он основы искусства "в законах чело-

вического духа". Помимо дидактического смысла, апологи его несли и этот философский заряд: его Брамины и Певцы-избранники прозревали "истины высокие, небесные" лишь в состоянии глубокого, напряженного раздумья или экстатического восторга.

В своих "индийских" пристрастиях Одоевский был отнюдь не одинок. Одновременно с его апологами на страницах "Московского вестника" появляются статьи Рожалина о двух великих индийских эпических поэмах – "Махабхарате" и "Рамаяне", и Титов торопит из Петербурга Погодина с их печатанием: статьи эти "многие желают читать". Проницательный же Плетнев замечает в письме к Вяземскому о новом московском журнале: "Ему хочется вдруг развить у нас и германские идеи и таинства Востока".

Уроки знаменитых немецких романтиков молодой русский писатель впитывал в себя жадно. Последняя "волна" философских апологов, над которыми витал их поэтический дух, завершала период "послушничества". Спустя некоторое время последователю новой литературной веры предстояло явить **свою** проповедь – сильную и независимую.

Расставшись с идеей главенства в критике "Вестника", Одоевский, тем не менее, связан с ним не одними творческими "вкладами": вокруг него быстро группируется "петербургское крыло" журнала, готовое влиять на его дела и политику самым решительным образом. В начале сентября 1827 года почти одновременно в обоих "филиалах" редакции нарастает неудовольствие Погодиным. Пушкин, пойдя на быстрый и довольно странный для окружающих союз с фактически незнакомой ему молодой "московской братией", до того объяснял Вяземскому свое решение: давно мечтая "завладеть одним журналом самовластно и единовластно" и желая при этом избавить себя от "черной" журнальной работы, он предпочел "архивных юношей" и Погодина потому, что они, в отличие от Полевого, знают русскую грамматику и умеют "писать со смыслом", – в новом альянсе, где Пушкин рассчитывал на творческое руководство "Вестником", эта хотя и важная в его глазах, но техническая функция редактора представлялась поэту первейшей. Толковый и грамотный человек для "черной" работы, текущих организационных и издательских дел. Объявленные главными сотрудниками "Вестника" Шевырев, Титов, Д. Веневитинов, Рожалин, Мальцов и Соболевский также явно рассчитывали на полное "послушание" искательного и тщеславного Погодина, едва ли не парии в их аристократическом кругу, удостоившегося столь высокой чести.

Но Погодин понимал свое назначение иначе. Он довольно скоро освоился с новым положением, втайне тешил себя различными честолюбивыми помыслами и, пользуясь пассивностью назначенного ему в помощники Рожалина и фактическим отсутствием в Москве остальных, стал недвусмысленно стремиться к единовластию. Однако вскоре из Петербурга ему начали раздраженно и наставительно выговаривать за промахи в составлении номеров и тьму опечаток, Соболевский был оскорблен "неблагопристойностью" в денежных расчетах. Один Пушкин как будто утешал и подбадривал Погодина, но и он, по существу, писал

о недостатках журнала – может быть, наиболее важных, – только делал это мягче, нежели заносчивые, а то и резкие москвичи. 31 августа 1827 года поэт объяснял редактору "Вестника" главную, с его точки зрения, ошибку: "Мы хотели быть слишком дельными". И еще: в журнальной прозе оказалось "слишком мало вздору". Иными словами, "Вестник", в отличие от живого и разнообразного "Телеграфа", грозил задушить читателя серьезностью и скукой. Не было у них и Вяземского, хранившего верность журналу Полевого, – за одну его "несправедливую", но "резко оригинальную" статью Пушкин готов был отдать три "дельных" статьи "Московского вестника". Как бы вторя пушкинским мыслям, один из читателей нового журнала в это же время адресовался к издателям с просьбой впредь "помещать повеселее что-нибудь". Этот столь скоро и явственно обозначившийся первый внутриредакционный кризис выдвинул на повестку дня вопрос о новом соредакторе. Петербургское "крыло", явно стремившееся "править бал", желало Шевырева – умного, бойкого и острого "рыцаря фортуны", который должен был сменить тяготившегося своими обязанностями Николая Рожалина – человека Раичева гнезда, широко образованного, но уединенного и "людебоязненного", а потому никак не способного к журнальной деятельности.

13 сентября Рожалин успокаивал находившегося в Петербурге и исполненного сомнений Соболевского: "Сообщили ли тебе с в о и планы Титов и Одоевский? Я их одобряю, и они непременно будут выполнены: тогда дела наши пойдут очень хорошо". Убеждая Соболевского – пушкинского посредника – не отчаиваться в "Вестнике" и не пророчить "торжества Гречева", Рожалин ссылался на задуманные в издании перемены, о которых должны были дать ему полное понятие те же Одоевский и Титов: "Мне кажется, ты можешь смело говорить за свою московскую братью перед Пушкиным".

13 октября, во исполнение этих "планов", Одоевский и Титов посылают Погодину жесткий "ультиматум" (невольно, кстати, возвращающий память к временам "Мнемозины", к тем упрекам в диктаторстве, которые в минуту горького откровения адресовал Кюхельбекер своему молодому соиздателю). В этом "ультиматуме" они напоминали Погодину о том, что в силу первоначальной договоренности издатели "Московского вестника" имеют право на какие угодно преобразования в журнале большинством голосов, что ныне этим большинством "положено Шевыреву быть соредактором" и что в случае неповиновения "меньшинства" "большинству" они, Титов и Одоевский, отрекаются от дальнейшего участия в "Вестнике" "делом, словом или помыслом".

Стремительная смена лидеров, невзирая на глухое погодинское сопротивление, произошла под открытым нажимом новоиспеченных петербуржцев.

Шевырев, вполне оправдав надежды своих радетелей, не замедлил выступить с убийственной критикой Булгарина-беллетриста и Булгарина-журналиста, заслужив воодушевленные похвалы "своих", а также Пушкина и поколебав даже скептические виды на журнал Собо-

левского. Не пощадил Шевырев и властителя публики – "Московский телеграф", так что Титов, один из наиболее "непримиримых", счел за лучшее поостеречь москвичей: "щелкать" "славного торгаша" Полевого надобно, "однако не выводя из терпения: двух врагов зараз иметь накладно".

Однако красота воинственного лика, обретенного журналом, была весьма своеобразной. В знаменитом своем "Обозрении русских журналов в 1827 году" Шевырев, например, признавая непреложность репутации "Московского телеграфа" как "лучшего журнала в России", принципиально выступал, тем не менее, против его "всеядности" и "нарядной пестроты", а главное – против "гордого презрения" его издателя "к опытности". Невзирая на антифилософские "декламации" Пушкина, орган любомудров – каковым "Московский вестник" и стал по существу – устами Шевырева упрямо проводил свою программу – в защиту "философского направления". "Разумеется, молодое поколение должно было более подвергнуться сему влиянию, – писал Шевырев, – с жадностию, свойственной его возрасту, оно бросилось на новую философию, как науку, в которой разрешаются главные вопросы о самом человеке, – и кому же бы не польстило разрешение оных? Сначала оно приняло не столько мысли, сколько слова, и ограничилось однеми общими, неясными идеями; но первое брожение утихло; пена слов пустых исчезла, – и нестройные, безотчетные порывы превращаются в ясное тихое размышление". Но как раз "тихое" это размышление звучало для широкой публики не вполне внятно. Полевой, кажется, вполне бы мог вернуть Шевыреву упрек в "гордом презрении" – но к читателю, на которого редакция "Вестника" смотрела явно свысока. Небрежные, с множеством опечаток, непривычно тонкие журнальные книжечки выглядели слишком "учено"; катастрофически недоставало прозы – Пушкин настоятельно писал об этом к Погодину. Но собственное его имя украшало каждый номер, он по-прежнему был надеждой и залогом успеха и сохранял верность "Вестнику", хотя Шевырев прошелся холодно и по "пушкинским" "Северным цветам", отозвавшись со снисходительной небрежностью о критиках Сомова и стихах Баратынского, который, по его мнению, "более мыслит в поэзии, нежели чувствует", чем заслужил упрек Пушкина и – самым тоном и литературной позицией – плохо скрываемое раздражение Дельвига: "глупая посредственность" "мальчишек Шевыревых"... Изначальное взаимное отчуждение литераторов обеих столиц ничто, кажется, не в состоянии было смягчить: ни наметившееся вроде личное сближение, ни даже Пушкин. Трещина между "Цветами" и любомудрами угрожающе увеличивалась, и Погодин упрекал в "неверности" даже самого Шевырева, назначившего в дельвиговский альманах свои стихи: "Признаюсь, мне не хочется, чтобы ты писал для "Цветов": это не наши; они смотрели на нас сверху, не хотели помогать нам и ободрить нас; так и мы от них прочь. После, после, когда нам удастся показать себя, мы будем давать им кое-что в знак нашего благоволения и незлопамятства".

Однако, как бы во искупление, был в шевыревском "Обозрении"

реверанс и в сторону Пушкина. Не исключено, что в памяти московского критика жило еще столкновение редакции с поэтом по поводу злополучной рецензии Одоевского, залихватски поднявшего руку на Державина и Карамзина, и он решил теперь тонко потрафить Пушкину, постаравшись заодно "оправдать" в его глазах и друга: "Видя новое издание сочинений Озерова в нынешнем году, – писал Шевырев, – не можем не посетовать, что Державину мы до сих пор еще не воздвигли должного памятника изящным изданием его творений. Мы как будто на время забыли о нем, увлекшись цветами поэзии современной; но когда-нибудь его снова откроют, как древнюю статую в развалинах Геркуланума, как Шекспира в Англии, как заброшенную по незнанию картину Рафаэля".

Молодым журналистам приходилось туго. Журнал, при всех своих недостатках, хотя и украшенный громкими поэтическими именами – Д. Веневитинов, Денис Давыдов, Языков, Туманский, не говоря о Пушкине, – и серьезно просвещавший публику по части истории, философии и наук, окружала глухая враждебность. Не спокойнее было и внутри редакции. Плохо сосуществовали Погодин с Шевыревым. "Зачем баловать мальчика, который кусает себе ногти?" – записал как-то издатель в дневнике о своем "задорном" соредакторе. "Без меня пропадешь", – как бы отвечал Шевырев Погодину, не справлявшемуся, как считал он, с журналом в его отсутствие. Из Петербурга же продолжались в Москву то директивы, то окрики. В марте 1828 года, после того как Погодин почтительно приветствовал появление русского перевода Тассова "Освобожденного Иерусалима" – плод многолетнего труда старого его учителя Мерзлякова, – Титов резко выговаривал Шевыреву за то, что тот позволил Погодину "тиснуть" в "Вестнике" эту "смиренную глупость": "Зачем же *мы* тебя возвысили в сан соредактора? Чтобы ты сидел сложа руки? А? Бей, да и дело с концом".

И все же, невзирая на разнообразные перипетии и внутриредакционные трения, именно 1828 год и был для "Московского вестника" "пиком" удачи: "Отлично хорош и журнален", по словам того же Титова, сказанным в добрую минуту. Как раз в это время и Пушкин уверяет Погодина, что их общее детище – "первый, единственный журнал на святой Руси". Теория и история литературы русской и европейской, статьи Титова о принципах государственности и "благоденственном состоянии" Североамериканских Соединенных Штатов; Рожалина, знатока древнего Востока, – об Индии и Китае; статьи знаменитого археографа П. М. Строева; статистика, биология...

"Новые либералисты" неприметно "вводят" в свой журнал и "политику", свободно интерпретируя события европейской политической жизни: редакция "Вестника" давала урок булгаринской "Северной пчеле" не только словом, но и делом и будто вполне оправдывала инсинуации недавних доносчиков, обвинявших московское юношество в приверженности "правилам якобинства".

Одоевский же и на этом "пике" к журналу постепенно остывает. Правда, он приветствует шевыревские критики и, как всегда, подогревает антибулгаринские страсти, но сам фигурирует за весь 1828 год

на страницах "Вестника" лишь единожды: его излюбленный в эти годы псевдоним "Каллидор" появляется под небольшой и неожиданной философской утопией "Два дни в жизни земного шара" – первом русском отклике на тему, обретшую вскоре неслыханную популярность: предсказанное европейскими учеными появление таинственной кометы Галлея, нацеленной якобы своим ударом на бедную нашу Землю. Роковую космическую гостью ожидали в 1832 году. К этому времени зашумят о ней в полный голос и в России, ее именем назван будет альманах и даже в пушкинские стихи властно ворвется образ "беззаконной кометы", а мать Одоевского Екатерина Алексеевна из захолустного своего Дрокова с тревогой будет выспрашивать о ней у сына:

"Благодарю тебя любезный друг к.<нязь> Владимир за внимание которое ты имеешь к моему спокойствию. Книгу о Комете я получила, читала ее, и признаюсь нисколько не успокоилась видев что Комета может причинить вред приморскому городу. Натурально что я сей час представила Питербу.<рг> Письмо твое получила 17го октября беспрестанно ожидала появления кометы но как видно путь ее замешкался что и сказано в описании, следовательно ожидать следует 18го ноября. Дай Бог чтобы она прошла без вреда а признаюсь что весьма робею сего явления".

Под рассказом же Одоевского стояла дата "1825 год" – мимолетный след систематического внимания к европейской научной мысли: упоминания о грядущих космических катаклизмах едва только начали тогда появляться – и то, кажется, лишь в немецких журналах.

Уверенный и быстрый набросок апокалиптического конца мира наверняка соблазнил Одоевского возможностью противопоставить ему "шеллингианскую" антитезу – своеобразный катарсис, незыблемо покоящийся на "внутреннем чувстве" и вере в абсолютную силу троичности: высшими законами мироздания человечеству неуклонно предопределено три ступени развития. Именно поэтому "беззаконная комета" – лишь испытание, но не знак конца, несовместимого к тому же с суетностью и страхом.

"...Гибель Земли совсем не так близка <...> Земля еще не достигла своей возмужалости..."

Оспаривая ложные исчисления немецких астрологов, вызвавшие потом в России широкий протест, Одоевский оставался верным этой идее и спустя полтора десятилетия в другой своей утопии – "4338-й год". Там она, правда, осложнится и иными, "дозревшими" за годы представлениями о судьбах человеческой цивилизации – здесь же, в "Двух днях...", молодой писатель и философ в полном согласии с "верой" друзей-любомудров как бы в назидание живописует последнюю "торжественную минуту кончины" Земли, освобожденную от низменных страстей и чувств, живописует как высшую "минуту счастья", как осуществление древнего египетского пророчества:

"Настал общий пир земного шара; нет буйной радости на сем пиру; не слышно громких восклицаний! Давно уже живое веселье претворилось для них в тихое наслаждение, в жизнь обыкновенную;

уже давно они переступили через препоны, не допускающие человека быть человеком; уже исчезла память о тех временах, когда грубое вещество посмеивалось усилиям духа, когда нужда уступила необходимости: времена несовершенства и предрассудков давно уже прошли вместе с болезнями человеческими, земля была обиталищем одних царей всемогущих, никто не удивлялся прекрасному пиру природы; все ждали его, ибо давно уже предчувствие оного в виде прелестного призрака являлось воображению избранных. Никто не спрашивал о том друг друга; торжественная дума сияла на всех лицах, и каждый понимал это безмолвное красноречие. Тихо Земля близилась к Солнцу, и непалящий жар, подобный огню вдохновения, по ней распространялся. Еще мгновение – и небесное сделалось земным, земное небесным, Солнце стало Землею и Земля Солнцем..."

Философские раздумья все ближе подступают к перу и бумаге – Одоевский, видно, продолжает варьировать темы, нашедшие отражение в "Двух днях...", но "варианты" эти его не удовлетворяют: их отзвук слышится вскоре в письме Погодина к нему: "Земное и неб<есное>" я исключил по вашему требованию..."

Дата, поставленная под рассказом о комете Галлея (или, как ее еще называли: Белла, Вьела), весьма красноречива.

Одоевский как будто резко вдруг остывает к своему письменному столу. Тот же Погодин, Христа ради просивший у него летом 1827 года побольше критик на петербургские книги и "жемчуга" и "бисера" «в оклад на образ"Московского вестника"», имея прежде всего в виду испытанное сатирическое копье князя, восклицал удивленно: "Да неужели Петербург так очеловечился, что у вас д о с а д никаких не бывает?" Одоевский пропускает намек мимо ушей, посылая в Москву вместо новых "досад" плод давних философских раздумий. Одновременно он начинает демонстративно открещиваться от каких бы то ни было литературных занятий, упорно объявляя себя убежденным службистом и видя в этом более смысла и пользы.

Из письма к Н. Полевому
<1828 г.>

"На нашу журналистику нашло какое-то беснование. Вы над сим насмехаетесь, ибо мало новые журналы обещают хорошего; но я с тех пор как отделился от литературы и сделался карикатурою на И.И.Дмитриева, я на это все смотрю с восхищением. Забываю о том, кто пишет и что пишут, вижу только, что чернилы изводятся, бумага истребляется, станки типографские стонут, в лучших обществах интересуются русскою литературою и читают, по крайней мере, объявления о русских журналах; вижу, что школы умножаются, возникает Педагогический институт и в нем кафедра философии, что первая мысль о том была самого Государя, как равно и о выставке произведений русской промышленности, и с восторгом повторяю себе, что все это вместе называется деятельностью! В моей сфере, в которую бросила меня судьба, я часто скучаю и, измученный работою, часто принужденною, почти

всегда сухою и нередко бесплодною, я с грустию вспоминаю о том времени, когда я душевную деятельность посвящал искусствам..."

Из письма С. Н. Бегичева В. Ф. Одоевскому
Декабря $2^{\text{го}}$ $1829^{\text{го}}$ года. Москва.

"...Вы пишете что переменили образ вашей жизни, что теперь служите и занимаетесь делами; и я вас за ето хвалю! ибо по мнению моему, для того чтоб узнать людей, и быть со временем для них полезным, теории одной недостаточно, и надо видеть на опыте дела их, и изучить причины их действий..."

Отстраненность почти равнодушного наблюдателя. Смешанное чувство удовлетворенности новым образом жизни и ностальгии по ранней литературной молодости. Впрочем, нынешняя стезя показалась, кажется, увлекательной и достойной хоть какой жертвы лишь поначалу – сразу "дело", цензурный устав! За взлетом, однако, явная разочарованность спада, ощущение "лямки". И опять – лукавая игра с судьбой, вновь – отречение от литературного ремесла: "уходы" эти становились своеобразным знаком неожиданно-новых "возвращений".

Чуть позже, в 1831 году, Одоевский сделает в письме к Верстовскому важное признание: "Ты замечаешь, что в продолжении пяти лет почти не было моего слова печатного – но может быть, я не потерял етого времени. Скоро будешь в состоянии сам об етом произнести решенье".

Впрочем, близкие вспоминали его былые литературные занятия без удовольствия и тешили себя тщеславными надеждами на блеск иного восхождения – карьерного. Еще в феврале 1827 года матушка князя, рассказывая молодой его супруге "чудеса" сына, между прочим, писала: "Оплеуха данная ему за беднова Шаликова очинь кстати, он с самых юных лет нападает на ету дряхлую учоность, за что ево многие так же побранили", а через полгода, поздравляя сына с должностью секретаря Цензурного комитета, со свойственным ей наивным простодушием присовокупляла: "...а хорошо естьли б **Секретарь** сделался **камер-юнкер** – мне очень етово хочиться и ты дурачися что не пользуешся своим правом, что за гордость быть обязану милой своей подруги, я думаю ты один которой не сделал етаво, пожалуста будь камер-юнкером, утешь меня естьли будет на то согласие Оль<ги> Степа<новны>..."

Нечто подобное слышал он и от любимой тетушки Варвары Ивановны Ланской – человека куда более родного ему по духу, чем мать. Спустя несколько лет после женитьбы Владимира с грустью вспомнила она как-то его неуемные литературные сарказмы, московскую жизнь, покойного их общего благодетеля Петра Ивановича Одоевского: "Жаль что добрый наш дедушка, которой так великодушно простил сатиру на стариков, не дожил до сего время; как бы он рад был видеть вас и слышать ваши рассказы о Петерб<урге> по делам, а не в одних журналах – помните сколько и он и я, мы тогда вас журили".

Не лишена, кажется, была светского тщеславия и сама Ольга Степановна.

Все это, быть может, отчасти объясняет столь медленное и сейчас для нас едва уловимое петербургское "литературное" начало Одоевского, его "вхождение" в пушкинский круг. Он не мог бы в первые годы, подобно Дмитрию Веневитинову, так легко написать о Дельвиге: "Мы с ним дружны как сыны одной Поэзии", он позже всех лично познакомился с самим Пушкиным, а познакомившись, долго еще оставался – в отличие, скажем, от Шевырева или Погодина – на почтительном к нему расстоянии. Переломным и в этом смысле видится как будто все тот же 1828 год – петербургский сезон, насыщенный людьми и событиями, но и здесь "роль" Одоевского приходится во многом додумывать – он все еще остается в тени, на периферии пушкинской орбиты, приверженный московскому братству, которое "петербургскими" москвичами по-прежнему блюдется свято. Узнав о размолвке Ивана Киреевского с Погодиным, Титов писал последнему: "Надобно помириться во что бы то ни стало: одно из утешений моих в Питере знать, что московские наши не перестают жить между собою ладно". "Московские" же, несмотря на взаимные неудовольствия, также не утрачивают со "своими" петербуржцами внутренней связи. Но они не очень ясно представляют себе, чем и как живет Одоевский, и Мельгунов, не удовлетворенный известиями о нем даже таких "очевидцев", как Мальцов и Соболевский, настойчиво выспрашивает князя о подробностях его "житья-бытья": "Что происходит в Вас или около Вас". Письмо это с приписками Соболевского и Алексея Веневитинова доставили в Петербург из Москвы опальный Мицкевич и его друг Малевский. В Москве высланный польский поэт был всячески обласкан друзьями Одоевского и восхищенным Пушкиным, теперь он направлялся в Петербург хлопотать о возвращении в Литву или выезде за границу и был препоручаем заботам Владимира Федоровича.

"Почтеннейший князь! – писал ему Мельгунов. – Господа Мицкевич и Малевский, кои взяли на себя труд доставить Вам письмо ето, должны быть, особенно первый, Вам слишком известны, чтоб рекомендация моя могла послужить к чему-нибудь. Прошу одного: чтоб Вы, дражайший князь, сверх их личных достоинств, приняли сих единоплеменных наших в звании добрых моих приятелей; и прием Ваш почту я верным залогом Вашей ко мне дружбы, на постоянство которой смею надеяться".

Мицкевич, конечно, близко принят в пушкинском кругу, вскоре за ним в Петербурге появляется кумир юности Грибоедов, однако сейчас нам не удается разглядеть Одоевского в тогдашних литературных гостиных, – наверное, появления его там если и случались, то не часто, всю зиму он завален работой по уставу, и даже на знаменитом пушкинском чтении "Бориса Годунова" у Лавалей весной 1828 года Ольга Степановна присутствует одна, без мужа.

Правда, известно, что он довольно рано и регулярно начал посещать дом Екатерины Андреевны Карамзиной, где встречался с Жуков-

ским, Блудовым, Вяземским, "черноокой" обворожительной Россет, – здесь всегда шел живой обмен литературными и политическими новостями; стали ритуальными вечера и обеды в собственном его доме, столь же открытом и гостеприимном, как некогда в Москве, однако дом этот все еще оставался более средоточием москвичей, и здесь по-прежнему царил дух философский, рано привлекший в Мошков переулок умных и ученых людей. Впрочем, царила здесь и стихия музыкальная, равноправная с философской, – недаром завсегдатаями Одоевских сделались Михаил Виельгорский и Глинка. "Музыкальный тон" дому был задан Одоевским с самого начала. Уже спустя несколько месяцев по переезде в столицу он сообщал Верстовскому в Москву о том, что у него "собираются разные fanatico per la musica" и что он "гремит" вместе с ними "на всю улицу". Сам хозяин разыгрывает и распевает ("чего не доиграю, то допою"!) сочинения своего московского друга, талант которого усиленно пропагандирует. Это были вечера не "приготовленного скучного концерта", но блестящих импровизаций и свободного музицирования, часы истинного, высокого наслаждения. Они вознаграждали Одоевского за этикетную "повинность" непременного посещения чопорных петербургских гостиных – "кабинетный" князь, в отличие от ловких столичных "аматеров", был не очень способен к светскому общению. "Скажи мне к<нязь> Владимир, – спрашивала его как-то матушка, – что ты делаешь на балах. Дремлешь, или рассматриваешь людей и удивляешься их пустоте в светском обращении как то некогда бывало – или мысли твои изменились, я бы желала знать..." И здесь же укоряла сына в закоренелой ненависти к вальсам – в угоду ему Ольга Степановна отказывалась на балах от этого прелестного танца. Екатерина Алексеевна заклинала также Владимира – избави Боже! – советовать жене "в туалете": "ей никуда нельзя будет показаться, ты в етой науке даже азбуки не знаешь".

2 мая 1828 года Вяземский рассказывает в письме к своей жене Вере Федоровне о "вечере и ночи у Пушкина", отмеченных пламенными импровизациями Мицкевича, и перечисляет участников собрания: Жуковский, Крылов, Хомяков, Плетнев и Николай Муханов. Вечер – незадолго до отъезда Алексея Хомякова в Турцию, на театр военных действий, куда стремился так и сам Пушкин –

Друзья, прощайте!
Лечу к боям,
К другим краям
Во след орлам...

Одоевского здесь нет.

В Хомякове же вряд ли еще угадывался тогда будущий фанатичный рыцарь славянофильства – напротив. Молодой человек, отличившийся вскоре холодной, блестящей храбростью и заслуживший репутацию "поэтического солдата", покорял младенческой простотой; он был куда более "доступен" в легком общении, нежели Одоевский с его настораживающей "непонятностью".

В сентябре того же года в Петербурге появляется Шевырев.

У Одоевского он встречается со "своими", читает здесь Титову и Н.И.Любимову новую повесть Погодина "Черная немочь". Однако, опять-таки в отличие от Одоевского – так сложилось по журналу и по московскому общению, – коротко вхож Шевырев и к Пушкину, и уже 15 сентября сообщает тому же Погодину: "Пишу к тебе от Одоевского и спешу к Пушкину читать у него главу из Романа для Альманаха" – отрывок из пушкинского "Арапа Петра Великого" для "Северных цветов". Вместе с поэтом, который к нему "весьма ласков", проводит он вечер и у Дельвига.

Между тем становится все более заметным и общее охлаждение к погодинскому журналу в Петербурге. Накануне приезда Шевырева Александр Муханов извещал Погодина, что "каждодневно увещевает" его сотрудников деятельно содействовать "Вестнику"; соредактор же его по приезде в столицу имел печальную возможность лично удостовериться в справедливости сетований Муханова: "Здесь сотрудники "Московского вестника" решительно не верные. Это узнал я по опыту".

То была истинная правда. Желая оживить угасающий журнал, Погодин придумал в следующем году диковинно его переустроить, выпуская частями, посвященными исключительно одному какому-нибудь разделу: поэзии, прозе или, скажем, истории. Незадачливый преобразователь тотчас удостоился резкой отповеди Титова, объявившего о своем выходе из официальных сотрудников и туманно обещавшего впредь лишь статьи от случая к случаю – наравне с другими журналами. Одоевский еще нехотя дает Шевыреву "некоторые пьесы", но на поверку в 1829 году, как и в предыдущем, в "Московском вестнике" появляется лишь одна из них – опять-таки, надо думать, извлеченная из запасов: отрывок в старой, "фонвизинской" "нравственно-сатирической" манере "Утро ростовщика", бытовая зарисовка приемной "жестокосердого" Процентина, где в обстановке нуворишеской смеси роскоши и купечества разыгрываются драматические жизненные коллизии, где сиятельный князь предъявляет к взысканию вексель родного племянника и где царит унизительное равенство перед необоримой силой денежного мешка.

Появление "Утра" на печатных страницах явилось скорее уступкой настояниям Шевырева, собиравшего очередную журнальную "дань". Жанр, в котором Одоевский столь заметно выступил впервые на литературном поприще, был окончательно скомпрометирован в глазах истинных литераторов романами Булгарина, завладевшего "монополией в описании нравов", – сам же Шевырев блестяще раскрыл это в своем "Обозрении", показав "безжизненность" его писаний, воскрешающих давно забытые страницы, "с целью доказать весьма известные нравственные правила", и Одоевский горячо приветствовал этот разбор: "Никогда характер сочинений Булгарина не был так верно определен". С этим было покончено.

Одоевский, столь демонстративно открещивающийся в это время от литературных и журнальных дел, исподволь, без титовских деклараций, начал поворачивать к иным берегам. В конце 1828 года он просит

Николая Полевого поместить в "Телеграфе" объявление о предполагающемся новом еженедельном издании – "Детском драматическом вестнике", с оригинальными и переводными пьесками для детей – и раскрывает инкогнито издателя, нового своего родственника Бориса Алексеевича Врасского, женатого на сестре Ольги Степановны Зинаиде, с которым прочно потом свяжется его журналистская судьба. Быть может, внутренним и не очень осознанным импульсом обращения его к "детской" теме как раз в эту пору была затаенная жажда отцовства, о которой друзья, видно, знали или догадывались и время от времени не очень деликатно над ним подтрунивали. "Поцелуй деток", – приписал как-то ехидно Верстовский в письме; "...не предвидится ли и у тебя зародыш угасающего племени князей Одоевских? – развязно любопытствовал из Флоренции Соболевский. – Пора бы, а то что подумают про Ваше сиятельство те, которые подобно мне не имели счастия ссужать Вас своей квартирой для некоторых проделок". Возможно, до Соболевского дошли какие-то слухи, потому что несколькими месяцами ранее, в начале 1829 года, Екатерина Алексеевна спрашивала у сына впрямую: "Да прошу меня уведомить что значит, что ты скоро будешь отцом, я ничего и о начале сего не слыхала". Стать отцом Одоевскому, увы, так и не было суждено, хотя некоторое время и не терял он надежды (в 1831 году писал Верстовскому: "...только еще не нажить детей, но ето еще будет со временем"). Примечательно, что почти в это время явилась публике и новая его литературная "маска" – сказочник дедушка Ириней, и по сей день рассказывающий свои поучительные истории. Одоевский будет заинтересованно и серьезно относиться к воспитанию племянников Ольги Степановны и на всю жизнь сохранит глубокое неравнодушие к миру детства, в котором сошлось, наверное, все: поучительная горечь собственных воспоминаний, природная любовь к детям, талант педагога. Неусыпными его заботами возникнут потом детские приюты – с особой, им самим разработанной системой, он станет истинным подвижником высокой благотворительности, скрашивая жизнь сирых и обездоленных. Любопытно, что в его записной алфавитной тетради этих лет, крайне бедной записями, едва ли не единственная оставленная за 1829 год посвящена именно "воспитанию": примечательная выписка из отчета министра юстиции Франции, представляющая собой таблицу детской преступности в соответствии со степенью грамотности малолетних преступников.

Вообще время литературного полуотшельничества оказалось решающим: мучительно передумывалось прошедшее, нарастала неудовлетворенность настоящими обстоятельствами внутри "Московского вестника", все более отдалявшими его от недавних литературных единомышленников, во всей остроте вставал вопрос: "Камо грядеши?" Е,му не хотелось лишь тактического, внешне легкого союза с петербуржцами, как у Шевырева или Погодина. Основательный во всем, может быть, потому и здесь он присматривался к еще недавно чуждому ему литературному кругу долее прочих. Он делал трудный для себя выбор.

1829 год начался резким конфликтом между Одоевским и Погодиным. По инициативе последнего на исходе года ушедшего в "Московском вестнике" появляются «Замечания на „Историю государства Российского"» казанского историка Н. С. Арцыбашева, одного из ярых "антикарамзинистов". Вдохновленные идеей ревизии карамзинского труда, "Замечания" эти содержали и грубые выпады против личности покойного историографа. Погодин, на заре своей деятельности и сам предпринявший попытку "перемыть белье" Карамзина и поощренный за это Арцыбашевым, предоставлял теперь ему для тех же целей страницы своего журнала, снабдив, однако, "Замечания" собственным туманным предисловием, предупреждающим возможное возмущение "карамзинистов", где объяснял свой поступок пользой науки, а также отмежевывался от "нескольких выходок, лично относящихся к Карамзину".

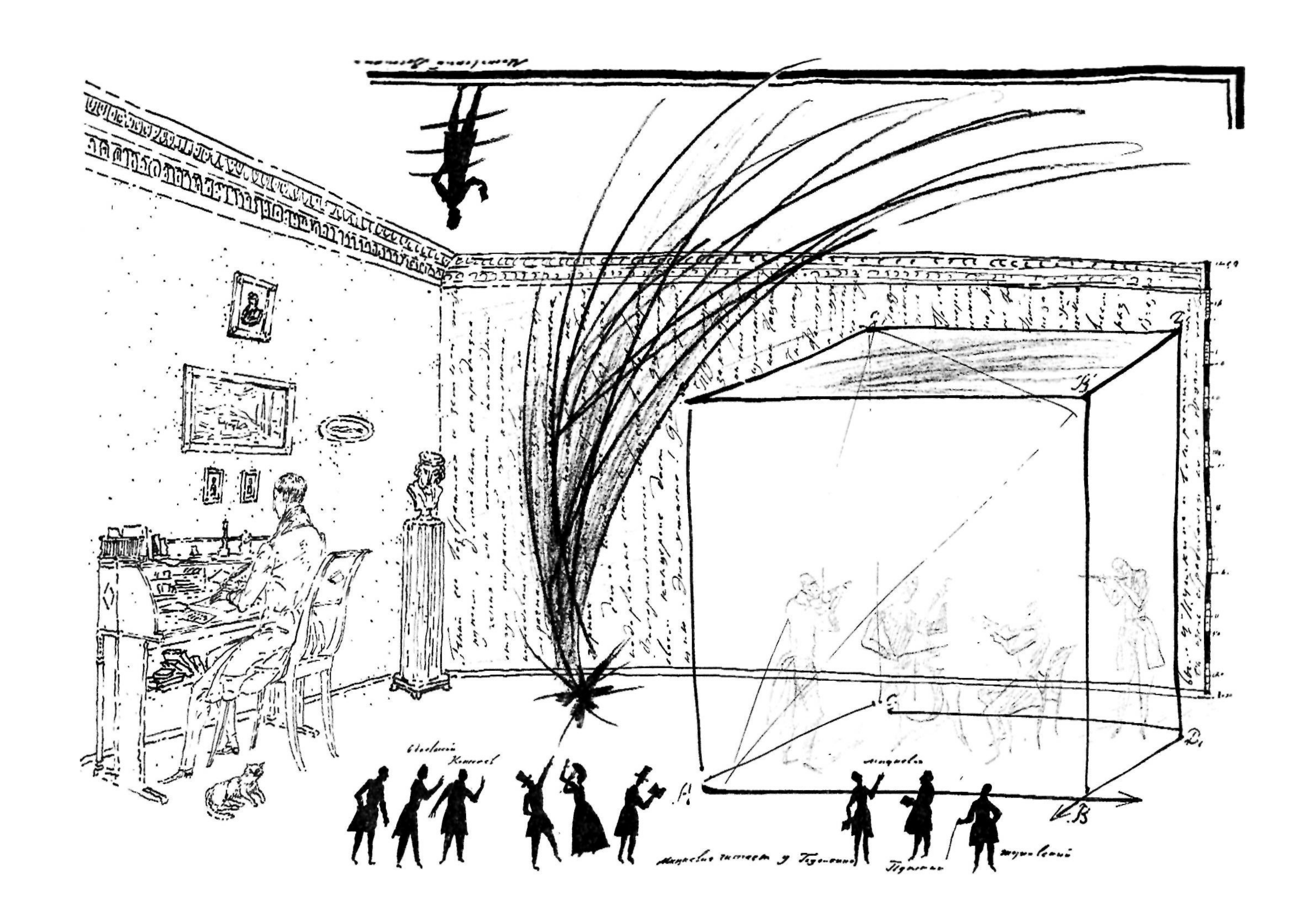
В ответ, как и следовало ожидать, всколыхнулась буря всеобщего негодования. Вяземский на страницах "Московского телеграфа" разразился в адрес хулителей Карамзина убийственными сарказмами. Погодин попытался оправдаться, поместив в следующих номерах инсценированные им самим письма к издателю, свои же ответы на них, ответ на последовавшее письмо Арцыбашева, – но тщетно: в него уже летели грозные стрелы.

Иван Киреевский писал Соболевскому: "Погодин теперь весьма несчастлив. Черт дернул его напечатать критику Арцыбашева на Карамзина в своем журнале, и это сделало ему заклятых врагов из всех друзей Карамзина". С ним разрывали знакомства.

К лагерю "друзей Карамзина" – против "своих" – теперь решительно примыкает и Одоевский. Он пишет в Москву два письма, далеко выходящие за пределы породившего их "сюжета", пишет обо всем, что. накипело и додумалось: о причинах расхождения с "Вестником", о собственной новой литературной и общественной позиции. Письма – чрезвычайной важности, и мы должны привести их полностью. Одно – в порыве первого негодования, неоконченное и оставшееся, по-видимому, неотправленным – Шевыреву, второе – спокойно-продуманное, с развернутой и весьма примечательной программой, пожалуй, впервые так полно вводящее нас в круг мироощущений "нового", возмужавшего Одоевского, – Погодину.

"Письмо, назначавшееся к Шевыреву"

Пишу к тебе, любезный Степан Петрович, ибо чрез третьего неприятное передавать легче. Что за пакости и гадости напечатаны в 16^{м} и 17^{м} №№ М.В. Они взбесили и меня и всех наших здешних сотрудников. Как не стыдно было печатать ети 3 письма к издателям, исполненные личностями и всякими мерзостями, каких до сих пор не было видно в Моск.<овском> Вестнике? В тоне ни малейшего благородства, в суждениях ничего не доказано, кроме безмерного авторского самолюбия и бессильной злости. Мне казалось, что я вижу пред собою булгаринские статьи, с тою разницею, что у Булгарина статьи остроумны. Ето ли мы предполагали при издании М.В.? Етим ли хотели отличиться



от других журналов? Гадко Господи! я стыжусь называть себя участником Вестника. – И откуда взялась такая прыть у Погодина? Он боялся помещать выходки на глупость петерб<ургских> журналов, которые истинно достойны брани и насмешек, боялся прикоснуться к монополии, захватываемой литературными торгашами, и не боится помещать личности на человека, истинно заслуживающего уважение, несмотря на свои недостатки. Чего? не стыдимся повторять плоские остроты Северной пчелы и faire avec elle cause commune [1]; и ето как будто нарочно после того письма, в котором я писал к Погодину, что главное, что возвышает в глазах моих достоинство М.В. ето – беспристрастие в суждениях. – Етого мало: зачем вмешано Правительство (№ 17 – стр. 110) в литературную перебранку? – ето неприлично и не пристойно. Против Прав<ительства> никто спорить не станет, и не етим способом должно убеждать соперника. Етим вы сделаете только то, что запретят критику в журналах, точно так же, как по такому же поводу запретили писать о театре. Оно и дельно; зачем давать в руки оружие людям, которые в порыве оскорбительного смешного самолюбия готовы пожертвовать всем, забыть все приличия, – чтобы только отмстить своему сопернику или принудить его к молчанию?

Одоевский – Погодину
12 января 1829 года

"...Вы любите истину и потому не рассердитесь, если я скажу вам, что последние книжки "Московского вестника" произвели пренеприятное впечатление на людей всех партий. Похвалы Арцыбашеву и брань на Карамзина всем показалась явлением по крайней мере странным. Я сам, как вы знаете, совсем не карамзинист, но и меня возмутило сочинение, в котором великого писателя тормошат как школьника. Я не говорю о том, справедливы или несправедливы мнения г. Арцыбашева; дело в том, что таким тоном не говорят о единственном нашем историке. Ваши объяснения ничего не помогают; никто не сомневается в вашей благонамеренной цели, но вы бы также ее достигли, если б выбрали из критики Арцыбашева лучшее, откинувши все неприличное. Вы знаете, что я далек от тех безусловных почитателей, которые не хотят верить ошибкам великого писателя, но мною руководствует одно чувство, которое уверяет меня, что писатель, хотя мало возвысившийся над посредственностию, есть предмет уважения. Это чувство заставило меня негодовать на критику Арцыбашева. И какое время вы для нее выбрали? Когда правительство всеми силами старается помогать нашим успехам в литературе и в науках вообще! Так-то мы отвечаем его благородным усилиям? Смех и негодование – вот впечатление, которое производят наши писатели на публику и без того не расположенную к просвещению. Так, любезнейший Михаил Петрович, издавая журнал, т.е. единственные книги, читаемые в России, мало обращать внимание на разрешение частных ученых вопросов;

---

[1] Действовать с ней заодно (*фр.*).

решительно могу сказать, познакомившись более со светом, что эти вопросы никого не интересуют, кроме десятка может быть во всей России и печатать о них что-нибудь истинная роскошь, или лучше мотовство, а особливо в журнале; загляните в любой экземпляр и вы увидите, что известия о Чуди и Черемисах и других подобных вопросах – даже не разрезаны. Оно и естественно. Спросите у Соболевского, можно ли человека с тощим желудком потчевать каким-нибудь воздушным пирожным. Всякий журнал в России, по моему мнению, должен иметь одну цель – возбудить охоту к чтению. Знакомство с делом, доставленное мне службою, уверило меня, что наше просвещение находится на степени наших прадедов, которым насильно надобно было брить бороды, что всякое действие на просвещение в России может только и единственно сходить сверху от правительства, что одно его покровительство согревает кое-где явившуюся любовь к просвещению. Отнимите это солнце, и завянут парниковые цветы нашей словесности. Нигде на всем пространстве империи нет самопроизвольного стремления к просвещению. Что сделает правительство, – то и есть. Но правительство может основать школы, выписать учителей, покровительствовать ученым, – но возбудить охоту к учению, приобресть литературе привязанность и уважение публики – дело писателей. Что же делают наши писатели? Сообразите эти общие мысли с помещением в вашем журнале критики Арцыбашева на Карамзина. Оставя и талант его и все другие отношения, должно заметить, что Карамзин был счастливец, умевший заинтересовать нашу публику, сделаться писателем народным. Правительство ценило его, награждало его как редко награждает людей на другом поприще. Не живя в свете, трудно вообразить себе, какое благотворное влияние производят награды на мнение публики. Последняя необыкновенная награда нынешнего государя Карамзину была не только данью уважения, но вместе и высоким политическим делом. Вообразите минуту, в которую она явилась, радость ненавистников просвещения, что нашли скамейку, на которую им ловко было опираться, уныние людей истинно просвещенных – и вы согласитесь со мною. Эта награда зажала уста гасильникам, они не произносят более имени литератора с насмешкою, просвещение перестало быть словом однозначительным с преступлением. Отец не вскрикивает более от ужаса, когда сын его говорит ему, что хочет заниматься литературою. Косвенное действие сей награды было то, что русская литература вошла в моду в лучшем обществе, за коим обыкновенно тянутся прочие. Это косвенное влияние действий правительства весьма важно. Замечу здесь мимоходом вам как журналисту, что с этой точки зрения не худо бы посмотреть на действие, произведенное покойною императрицею. Дело журналиста воспитать действие, произведенное Карамзиным на читателей. Этой ли цели достигает критика Арцыбашева? Нет, а только доказать, что Карамзин не имел ни способностей, ни познаний, что одним словом уважение, которым он пользовался, было не что иное, как заблуждение. Если бы критика, вместо всеобщего смеха и негодования, произвела действие ею предполагаемое, сделала бы она нашу публику бережливее на внимание и без того с расчетом выдаваемое?

Скажу более: не расхолодила ли бы она и в самом правительстве благородную страсть к ободрению литераторов? Да и теперь не косвенное ли то порицание наград, данных Карамзину? И где же печатается эта критика? В журнале, в котором участвуют люди нового поколения! Сообразите все это и взвесьте, что важнее, все эти отношения или поправка нескольких букв в летописях, мелочная и для самой науки. Напечатайте критику Арцыбашева отдельно – над нею бы посмеялись и только. Но когда она в журнале – за нее отвечают некоторым образом все участники в оном; ибо хотя уши всем прокричите о беспристрастии, журнал, по существу своему, все есть выражение какого-либо особенного мнения. А как я мнения Арцыбашева разделять не хочу, то вы не рассердитесь на меня, если я объявлю вам, что доколе будут печататься в "Московском вестнике" статьи, подобные критикам г. Арцыбашева и пр., я не могу участвовать в "Московском вестнике". Все это не помешает нам остаться хорошими приятелями".

"...таким тоном не говорят о единственном нашем историке..."

Как все переменилось за два года! Одоевский выговаривал Погодину за Карамзина буквально теми же словами, которые еще недавно сам выслушал от Пушкина. Урок не прошел даром. Он защищал теперь великого историка от нападок с пушкинских позиций, под его доводами мог бы подписаться и сам поэт. Он, "совсем не карамзинист", требовал уважения к великому писателю, составившему эпоху в истории русского просвещения. В том же смысле одновременно с ним ратовал против посягательств на высокое имя Карамзина и Вяземский; через год аналогичные мысли будут высказаны Пушкиным на страницах "Литературной газеты", в его критическом разборе "Истории русского народа" Николая Полевого.

Действительно, многое было передумано и многое для себя – решено. Через несколько лет, когда "ошибки молодости" и вовсе, казалось бы, уйдут в небытие, он еще раз признает справедливость давнишнего укора: в его "Пестрых сказках" индийский мудрец благословит на жизнь воскрешенную им красавицу поэзией Байрона, самого Пушкина и – Державина.

Государственная служба, близкое участие в "кухне" по составлению прогрессивного цензурного устава родили и другую, убежденную и ставшую потом излюбленной мысль, которая едва еще возникла в приведенном ранее письме к Полевому, но теперь впервые так отчетливо была высказана Погодину: в отсталой России парадоксальною силой вещей именно правительство стоит во главе просвещения и в этом смысле оно всегда будет идти впереди народа. Именно поэтому Одоевский видит в Карамзине вовсе не придворного историографа, равно как и царское благоволение к нему почитает, вслед за Пушкиным и его единомышленниками, "высоким политическим делом".

В связи с этим он разъясняет Погодину и свое отношение к нынешнему "Московскому вестнику", важно преподносящему читателям – людям "с тощим желудком" – "воздушные пирожные", и опять-таки, пожалуй, в первый раз столь отчетливо формулирует идею целеуст-

ремленного, неуклонного просветительства, которую положит он в основание своей будущей необозримо-огромной общественной деятельности, ибо в этом, по его мнению, более всего нуждается страна, все еще находящаяся "на степени прадедов".

Эта программа видится Одоевскому как кредо "нового поколения".

Погодин отвечал полным несогласием, коротко и запальчиво:

"Участником я не объявлял вас нигде, – впрочем, напечатаю еще, что виноват (если) я один, и что буду издавать "Вестник" один".

Разрыв был продуманным и окончательным. Надежда, "Вестник", о котором Н. М. Языков написал было: "Разборчив, строг, аристократ", – жестоко себя скомпрометировал и начал окончательно падать. Немало способствовал тому и отъезд Шевырева. Пушкин, хоть и утешал Погодина – "перемелется мука будет", – но также потерял к журналу всякий интерес, а Титов спустя несколько месяцев писал из Петербурга незадачливому издателю: "Если ты едешь в Малороссию, это не худо: поезжай, заглохни на время, пописывай, почитывай, а "Вестником" истопи печку".

Для Одоевского, однако, это был разрыв не только с журналом, но и со многим, что уже не устраивало его, вдохнувшего петербургский воздух, во вчерашних литературных единомышленниках. С этого времени и выходит на поверхность его стремительное сближение с петербургским литературным кругом.

Чуткие "наблюдатели" из III отделения это сближение даже в известном смысле предвосхитили, уже, как мы помним, в одном из доносов 1828 года назвав имя князя рядом с известными "проповедниками либерализма" – Пушкиным и Вяземским.

29 января 1829 года Орест Михайлович Сомов, еще недавно литератор из лагеря Булгарина и Греча, а прежде – Измайлова, приближенный теперь Дельвигом и вскоре сделавшийся среди его друзей "своим", извинялся перед Одоевским по поручению барона за несостоявшуюся их встречу.

В марте Соболевский писал ему из Флоренции: "Видаешь ли ты Дельвига? Если да, в чем нет сомнения, то обними его, или по крайней мере часть его, если твои руки не короче его периферии; также не забудь и его супруги. – Поручи ему сказать Пушкину, что здесь цена Aleatico – 108 копеек и что за каждый его стих – 12 бутылок".

16/4 июня – вновь "министерствующему" своему другу:

"...26 маия вашего, то есть 7 июня здешнего я собственными руками испек весьма изрядно пирог с грыбами, и съел его с Шевыревым (не считая питейного) в честь А. С. Пушкина, вышедшего в оный день на белый свет. Скажи ему это, если он у вас <…> Титову, Кошелеву и пр. и проч. мои объятия, не забывая барона и баронессу, и даже Анну Петровну Керн, исполненную всякой скверны, если ты ее когда видишь. Поручил бы тебе обнять и Мицкевича, да слух идет, что он уже на пути в Италию. Ему, человеку восхищающемуся, здесь будет разлюли <…>"

Кстати, в этом же письме Соболевский интересовался, не хочет ли Одоевский иметь портрет Аретина: "Здесь в Palazzo Pitti есть современный, которого копию en petit могу тебе прислать, если ты все продолжаешь свой роман. Есть тоже портрет Льва X, писанный Рафаелом, и гравируемый теперь лучшим гравером Jussi".

Спустя некоторое время предлагал себя в помощники и Шевырев. Он описывал Одоевскому итальянские "реалии" – "разное старое", годное в его роман об Иордане Бруно, рекомендовал новейшие труды и просил прислать имена исторических действующих лиц: "Я везде вышарю и доставлю <…> много сведений".

Однако продолжал ли Одоевский "Бруно" или замышлял что другое, мало кому было известно – разве что Титову, писавшему Погодину, да и то почти год назад: "Одоевский прислать романа не решается…"

Московское "братство" распадалось: Соболевский был в Италии, Алексей Хомяков – в Турции. Вместе с Зинаидой Волконской, в качестве наставника ее сына, отбыл в феврале 1829 года в Италию и Шевырев. Уезжал он из Петербурга, и Н. И. Любимов описал Погодину прощальный вечер у Одоевского – вчетвером, включая Титова: "...попили шампанского, подумали, поговорили, пошумели и погрустили". Ностальгическая грусть, расставание – с прошлым...

Пройдет время, и они сойдутся вновь уже другими людьми.

1829 год вообще как будто высшею силой начался под знаком расставаний. Трагически оборвалась еще одна драгоценная нить, связывавшая его с молодостью: гибель Грибоедова. "Ужасный жребий несчастного Грибоедова", – писал в эти дни потрясенный Вяземский. Пушкин, напротив, почти завидовал смерти мгновенной и прекрасной.

Одоевскому же, наверное, вспомнились зловещие строки давнего грибоедовского письма к нему из Киева, где тот окунулся в российскую древность, созерцая "камни славных усопших": "В Киеве я пожил с умершими". Соболевский тревожно и настойчиво спрашивал его из Флоренции: "Где была бедная Грибоедова жена во время каши?"

Может быть, именно следствием всех передряг явилась для него, натуры впечатлительной и физической слабой, тяжкая болезнь; друзья – очевидно, не на шутку встревоженные – скрывали, однако, свое участие под маской веселого цинизма:

"Соболевский: Ништо ему; да еще жаль что не околел; ко мне не пишет.

Шевырев: Как жаль что не околел! тема для дюжины элегий, случай для епитафии, что за охота им выздоравливать!"

Но к концу года жизнь вроде входит в колею.

Поздней осенью в пушкинско-дельвиговском кругу возникают первые реальные разговоры о "Литературной газете". К середине декабря все уже известно: издатель новой газеты – Дельвиг, редактор – Сомов, в сотрудниках – Пушкин, Баратынский, Вяземский, Жуковский. Сомов берет на себя редакционные тяготы и лихорадочно "вербует"

участников в новое предприятие. 12 декабря он пишет издателю "Малороссийских песен" М. А. Максимовичу: "Титов и Одоевский тоже нашего полку". Он просит привлечь к изданию Киреевского. Недавние сотрудники "Московского вестника" заключают с петербуржцами новый литературный союз, но – на разных основаниях. Шевырев, к примеру, скорее из соображений тактических: московское ядро разваливается на глазах; столичные же для него по-прежнему "чужие", "петербургская шайка".

Для одного Одоевского это, кажется, перемена решительная и бесповоротная. Нет, он сохранит преданность многим идеалам любомудрия и "философской" своей вере, но один сумеет перенести ее на петербургскую почву.

При подготовке первого же номера "Литературной газеты" Сомов обращается уже к нему за помощью. Одоевский консультирует статьи по музыке, философии, экономике, переводит, пишет, наконец, сам. Сиюминутные, "внутриредакционные" записки Сомова следуют одна за другой: 7, 13, 28 февраля, 12, 20 марта... Одоевский – едва ли не один из ближайших помощников редактора, реально "делающего" газету, и как раз в те первые месяцы ее существования, когда, ввиду отсутствия Дельвига, руководит ею фактически Пушкин. "Литературная газета" не случайно считается "пушкинской": именно он задал ей направление.

Нового в писательском портфеле Одоевского оказалось, кажется, немного. Он дает в газету два старых "индийских предания": "Тени праотцев", еще в 1824 году вписанные в альбом Зинаиды Волконской, и "Глухие", аполог из серии пересказов "Панчатантры", а также пишет рецензию на серьезно уже волнующую его тему: о новой системе образования, предложенной нидерландцем Жакото.

Однако здесь же появляются еще два небольших, но примечательных отрывка его пера. Это философские рассуждения о ступенях человеческого познания и духовного совершенствования и "Отрывки из журнала доктора" – также философский – и едва ли не первый в подобном роде – опыт осмысления человеческого бытия, открывающегося взору практикующего медика с наибольшей сокровенностью и остротой: герой "Отрывка", молодой врач, воспринимает бесконечное многообразие повседневно текущей перед ним жизни как "Шекспирову трагедию в миниатюре".

Круг "петербургского" литературного общения резко расширен. Одоевский становится завсегдатаем столичных литературных домов, коротко принят у Жуковского. Привлекают к себе все больше и его собственные вечера – Одоевский вскоре станет хозяином одного из самых знаменитых литературных салонов.

Наступление нового, 1831 года празднуется в Мошковом переулке уже в обществе Жуковского, Вяземского, Виельгорского, Всеволожского – все пушкинская "гвардия". Для хозяина это событие из значительных: он задолго пишет о нем Соболевскому, и тот откликается из Цюриха почти с завистью:

"...Где бы я ни был в Русский новый год, определю по счету разницы градусов Петербургскую полночь и встречу новичка за или с бутылкою шампанского. Итак считайте меня за столом, не обносите и пролейте налитую для меня в очередь рюмку". Он просит также напомнить о себе всем присутствующим и требует "подробного рапорта" о торжестве. Новогодние же эти "торжества" в гостеприимном доме князя станут отныне традицией.

Одоевский воодушевлен. Теперь, кажется, он вполне готов к новой творческой жизни, зреют, наконец, и новые замыслы, и он твердо собирается летом в свою костромскую – "жить и писать". Он сообщает об этом Варваре Ивановне Ланской, скучающей в это время в Костроме вместе со своим мужем, ныне там губернаторствующим, и, как всегда, рассказывает ей о себе с полной доверительностью. В ответ –

В. И. Ланская – В. Ф. Одоевскому
20 марта 1831 года

"...Итак любезный братец жизнь петербургского большого света начинает вам надоедать – я нисколько тому не удивляюсь а могла бы удивиться противному. Женщины вообще и я сама, слабое творение, имела тысячу предлогов для удовлетворения и тщеславия и прихоть разного рода свойственных нашему полу, я могу, как и мы все, увлекаться рассеянностию и увеселения светские, бывала собственно для себя – теперь для детей – ето нам прилично и простительно но тем мущин<ам> которые имеют ваше дарование конечно нельзя довольствоваться пустыми приличиями и обязанностями большого света. На етот щет что Петер<бург> что Москва почти все ровно; как скоро пуститься в круг выездов и приемах то и нельзя иметь свободно мыслящем время. – Впрочем как мне описывает сестра ваши вечера, то оне должны быть самые приятные – беседа с умными и образованными людьми, и притом музыка, не приготовленного скучного концерта, но звуки настоящих талантов – вот истинно провождение времени, которое я всего более любила и которого мы здесь совершенно лишены <…> Я радуюсь что сбираешся писать – но боюсь что все в роде сатирическом, которого я виновата, не умею ценить.

Впрочем ети пять лет что вы провели в большом свете, должны много способствовать <1 нрзб.> к раскрытии ваших дарование – при женитьбе вашей, любезный племянник – вы людей из общества знали только по книгам – теперь довольно имели собственной опытности, (которую ничего иное заменить не может) и верно многое видите другими глазами, а не все в очки немецкого филозовства, и университетского презрения..."

Наверное, примерно тогда же Погодин, с которым, несмотря на "идейные" расхождения, сохранились у Одоевского личные связи, с годами еще укрепившиеся, писал в Петербург: "Принимайся за работу. Пора. Мнемозина вышла в 1824 году, а что ты сделал с тех пор. Вспомни притчу Ев.<ангельскую>".

Поездка в Кострому не удалась – холера заперла Одоевских

на лето в Петербурге. Оставался в городе нынешний начальник Одоевского Дмитрий Николаевич Блудов, пытавшийся помочь бедствующим, – неловко было переселяться хотя бы за город, на дачу, и его подчиненному. Князь, неистребимый ученый педант, как всегда, всерьез начинает интересоваться предметом, делать обширные выписки о злополучной азиатской гостье и противоборствует ей по последнему слову науки, снабжая в письмах медицинскими наставлениями и перепуганную насмерть матушку. Однако наблюдательный взгляд остро фиксирует и подробности происходящего вокруг, "вальтер-скоттовские" типы – своими впечатлениями он делится с князем Г. П. Волконским. "Город был весьма любопытен в это время, – писал Одоевский, – и олицетворил для меня Бокачиево описание язвы. Бледные испуганные лица во фраках, с губками и стклянками, возле церквей толпы женщин и мужчин, которые нашли искусство сделать набожность отвратительною, на улицах гробовые дроги и на них веселые лица гробовщиков, считающих деньги на гробовых подушках, все это было Вальтер-Скотов роман в лицах, и все это так было для меня любопытно, что я почти не мог ничего ни читать, ни писать".

Спустя двадцать с небольшим лет смертоносную силу болезни пришлось ему испытать и на себе: холерная волна накрыла его в 1854 году. К счастью, он справился с ней "молодецки".

...20 октября в Петербурге появляется Погодин. Он широко пользуется гостеприимством Одоевских и проводит у них почти все свободное время, с грустью отмечая для себя при этом, как далеко разошлись они, "московские" и нынешние столичные, в привычках и понятиях.

Княгиня жалуется Погодину, что Владимир "еще беспорядочнее жизнь ведет", и тот советует ей взять мужа в руки. Одоевский восстает: "...Что советуете? – пишет он ему уже в Москву. – Чтобы она меня к рукам взяла, чтобы меня, русского человека, т.е. который происходит от людей, выдумавших слова *приволье* и *раздолье,* не существующие ни на каком другом языке, – вытянуть по басурманскому методизму? Не тут-то было! Та ли у нас природа, принимая это слово во всех возможных значениях? У басурманов явится весна, уже вытягивает, вытягивает почки, – потом лето уж печет, печет, осень жеманится, жеманится перед зимой – так ли у нас? Еще снег во рву, да солнце блеснуло, и разом все зазеленело, расцвело, созрело и снова под снеговую шубу. Так и все наши великие люди и ваш Петр, и Потемкин, и Безбородко, и ваш покорный слуга. Не даром же между ними и климатом такое соотношение. Что на это скажете, милостивый государь? Ничего! Неправда ли? Так не удивляйтесь же, что я по-прежнему не ложусь в 11, не встаю в 6, не обедаю в 3- и к вящему вашему прискорбию объявляю, что и письмо это пишу к вам в 2 часа с половиною за полночь".

Новая волна жизни поднимала его, наконец, на гребень.

ГЛАВА V.
"ДОВОЛЬНО Я НАКАЗАНА СУДЬБОЮ..."

Екатерина Алексеевна все это время жила почти безвыездно в Дрокове. Она продолжала неутомимо благоустраивать свое гнездо, предаваясь этому занятию увлеченно и расточительно. При довольно скромном имении – к этому времени в 217 ревизских душ – роскошествовала она не по средствам: при доме держалось едва ли не полсотни дворовых да столько же почти народу – для затей особенно любимых: швеи, кружевницы и коверщицы. Екатерина Алексеевна тонко понимала в этом и сама, кажется, была большой искусницей; столяры, плотники, каменщики, сооружавшие всевозможные беседки, арки и тому подобное, – помещица образовывала их лично, обучая "знать план и мерить цырькулем". Ее работники и подрядчики были потом в округе нарасхват. Предмет излюбленных забот являли также цветник и сад. Семена редких растений выписывались отовсюду и взращивались любовно, вызывая удивленную зависть соседей. За хозяйственными заботами текла деревенская жизнь, однако не без некоторой приятной рассеянности.

Екатерина Алексеевна все еще молодилась.

С переездом сына в Петербург и с весьма лестным его вступлением в семейство Ланских она заметно старалась не ударить перед новыми родственниками лицом в грязь и держала в своих письмах в Петербург "светский" тон, приличный, как ей казалось, для общения с аристократической родней. Она непринужденно и пространно болтала с Ольгой Степановной о блондах, кружевах и капризах моды, рекомендуя себя в этом деле местной законодательницей: "...все доверие имеют ко мне во вкусе, и я решаю их туалетною участь...", давала невестке житейские советы и учила искусству семейственной жизни.

Екатерина Алексеевна все еще танцевала. Она частенько просила у сына новых нот – "мазурок, вальсов и тому подобное". "Ето очень нужно, – объясняла она, – иногда под фортепьяно весь вечер танцуют. Недавно я два дни сряду танцовала только у нас была музыка как должно мне в етот вечер убавилось 20 лет но на другой день зато когда я не встала с постели прибавилось вдвое".

Рассказы о себе пересыпаются живыми зарисовками жизни уезда, вовсе не похожего, по ее уверениям, "на провинцию": "...беспрестанно балы маскерады катанья, а о обедах и говорить нечего, довольно для деревни 120 человек на бале, для костюмов ничего не щадят, богатые кадрили, однакож которые весьма наскучили... кажется в деревни так же прожить можно как и в столице, при господах сколько людей, и

лошадей, все это живет дни три, сколько постель и принадлежностей, отчего сторожилы деревенские все имеют неоплатной долг..."

Екатерина Алексеевна интересуется все время столичными новостями – уездные жители узнают их из газет слишком поздно; сообщает сыну, что решилась выписать журнал Шаликова ("Телеграф слишком сурьезен") и что с нетерпением ждет обещанных басен Крылова.

Бывшая княгиня, казалось, вполне наслаждалась вторично обретенным супружеским счастьем, ради которого столь легкомысленно предавала она еще недавно забвению сына, и своим мирком – не чужим, страшноватым, как ранее, но пленявшим понятностью.

Хотя в первом своем муже, князе Федоре, и имела она "истинного друга", но знатная родня ее не жаловала, и теперь можно было, наконец, дать отдых уязвленной душе, забыть о спесивых Рюриковичах, снова почувствовать себя мужниной женой и защититься, бежать этой странной прихоти судьбы, небрежно кинувшей ее, "простолюдинку", на порог боярских палат, так и оставшихся, в сущности, недоступными. Сейчас, с женитьбой сына, жизнь, будто в насмешку, вновь подвергала ее этому испытанию, и Екатерина Алексеевна, умудренная уже опытом, положила себе держаться горделиво, с наивным усердием выставляя напоказ свое провинциальное благоденствие: живем, как и должно людям приличного круга. Однако благоденствие это оказалось весьма зыбким.

Павел Дмитриевич Сеченов, отставной подпоручик Одесского пехотного полка, сосватанный в свое время молодой вдовствующей княгине при горячем участии все той же пресловутой Глазовой, с которой теперь, за "все возможные подлости" и "гнусности", были прерваны отношения, вполне освоился в княжеских пенатах. Хитро разобравшись с юным наследником, взял он постепенно полную власть и над женой и уже беззастенчиво начал выказывать свою натуру. "Корысть" отчима, угаданная еще безошибочным детским сердцем пасынка и запечатленная в горькой дневниковой исповеди, расцветала ядовито. Тогда, в дни нерадостной юности, Владимир почувствовал в безвестном подпоручике существо ничтожное, без ума и без правил, – время обратило его "в вредное животное". Так писала теперь мать.

...В первые два года в отношениях между Петербургом и Дроковым наблюдалась видимость светских приличий. Правда, Екатерина Алексеевна слегка корила сына за то, что писал он к ней лениво, но Ольга Степановна старалась возместить свекрови эту сыновнюю нерадивость своими письмами. Молодые не забывали поздравлять маменьку и ее мужа с днем ангела и именин и сопровождали поздравления знаками внимания, тешившими сердце кокетки (чепчики, модные серьги, зонтики, ларчики) и тщеславие отчима.

Однако "игре" этой скоро пришел конец.

Тем временем, когда сын укоренялся на берегах аристократической Невы, на Дроково побежали черные тучи.

1828–1829 годы.

Из писем к сыну

"...естьли я буду описывать мое положение, то оно будет целою историею..."

Причины возникновения этого брачного союза видятся какими-то мутными. Кроме желания вновь обрести положение замужней дамы, Екатериной Алексеевной двигали, кажется, и иные, неведомые нам, но особые причины, о которых потом злорадно распространялся Сеченов, – впрочем, как и о сомнительной родословной жены: злословя ее повсюду, он описывал эту "родословную" "со многими прибавлениями" – и с тем же злорадством.

"...клевета, спутница неблагородного человека, излилась на меня рекою..."

Видно в россказнях, пущенных Сеченовым по уезду, были какие-то резоны – иначе непонятно, как Екатерина Алексеевна, женщина отнюдь не глупая, не остереглась в свое время, когда наклонный к авантюрам подпоручик впервые переступил порог ее дома под чужим именем – уже одно это могло бы быть дурным предвестником будущей совместной жизни.

Павел же Дмитриевич имел свои, далеко рассчитанные виды. За душой у него не было ни гроша, и партия представлялась выгодной. Да и к тому же, как ни чужеродна была Екатерина Алексеевна Одоевскому клану, но отпрыск ее – их семя. О связях таких провинциальному жуиру и человеку "низкого звания", как сам он однажды аттестовал себя, ранее было и не помечтать.

Наследный князь поначалу величал его папинькой, жена потакала во всем, проявляя похвальную покорность. Юному Владимиру предстояло еще только вступить в права наследства, когда все уже, под диктовку Павла Дмитриевича, было решено, самый лакомый кусок – Дроково – отвоеван.

Тяжко пережив невольное материнское предательство, на выгоды свои Владимир махнул рукой. Не философствующему юноше тягаться было с железной хваткой отчима – он мог ответить лишь поспешным, почти брезгливым отдалением.

Правда, уже тогда в голосе Екатерины Алексеевны зазвучали первые нотки жалобного раскаяния:

"Естьли ты помнишь любезный друг, – напоминала она теперь сыну, – что я некогда писала к тебе тогда, когда еще ты был холостой, что я считаю себя нещастнейшим созданием и не имею друга в близком мне человеке. Но ты оставил мое письмо без внимания. Не отвечал ни слова, что признаюсь тебе, меня жестоко оскорбило. Я прибегла к тебе как единственному человеку которого я имела в мире и ожидала от тебя хотя малейшего облегчения. Видев твою холодность к моему бедственному положению, я замолчала и никогда более тебя не беспокоила; но с тех пор не только не облехчено мое положение, но время от времени беспрестанно более и более судьба угнетает жизнь мою..."

Разумеется, столь счастливая перемена обстоятельств жизни сына понудила ее, сколько возможно, стыдливо скрывать от посторонних взоров семейные свои раздоры.

Перед Сеченовым же переезд в Петербург и новое положение пасынка открывали заманчивые горизонты.

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
Зима<после 15-го января 1827 года>

"Любезный друг князь Владимир Федорович благодарность моя к тебе неограниченна тем более что переменя свою жизнь на столь приятною и сладостною не забыл 15-го генваря, замедление хотя и было продолжительно но я не отчаевался обыкновенного твоего ко мне внимания к которому приучил столь давно и столь сильно что отвыкнуть не буду уметь; хотя старались вывести меня из заключения моего но я оставался непоколебим будучи уверен в твоей готовности каждому доказать что я не чужд твоему Сердцу, почему решаюсь в полном моем уверении просить тебя. Минуло уже $8^{м}$ лет как я вступил в лестное для меня твое семейство, никогда не обременял собственными моими просьбами ниже касающимися делами для моего благосостояния. Я был и буду к оному равнодушен, простирать же мои уверения щитаю за излишнее и не желав отдалится от моей просьбы которая состоит в том, как только ты любезный друг вступил в столь благословенное семейство Лонских с тем вместе и родилось пресильное мое желание быть камер-юнкером, – не удивляйся князь своиствено желать себе лестного и желать каждому чем либо значить в том кругу в каком живешь – буде можно употреби все свои средства и тем соверши желаемое и доставь каждому думать более нежели ты есть а мне уверится в истинном твоем ко мне расположении я не решаюсь и не смею беспокоить моею прозьбою почтенную твою супругу Ольгу Степановну но ето будет дело ума твоего присовокупя к ее прозьбе и твою тогда и дело кончится с успехом неоткажи друг мой в единственной моей прозьбе и утешь меня лестным уведомлением к празднику светлого дня а нет решительно откажи прощай друг мой желаю тебе всего лудшего

преданный слуга Д. Сеченов".

Однако и откровенная льстивость, и самая, казалось бы, нелепая просьба отчима должны были в глазах Одоевского отдавать более бесстыдством, нежели наивностью – невежественной и провинциальной. И без того непростые отношения его с матерью и ее мужем кабально осложнялись для него запутанными – и все более с годами запутывавшимися – денежными расчетами: князь в делах такого рода был совершенно несведущ и беспомощен – за жизнь не обманывал его только ленивый.

Е. А. Сеченова – сыну
28 февраля <1827 года>

"Намерение твое купить дачу объясняет мне, что ты потребуешь от меня свои деньги, чево я и ожидала и знала наперед что капитал

не удержится. Но как такой суммы я вдруг никак не могу собрать и на удовлетворение твое должна продать рощу то и прошу тебя на меня не роптать естьли замешкаюсь..."

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
<Зима 1827 года>

"Моя обязанность есть любезной мой друг князь Владимир Федорович уверить тебя нащот заемных писем чтоб ты был спокоен и остался бы в полном уверении что оные письма никогда и никому не будут принадлежать кроме одного тебя в чем я подтверждаю честным моим словом и моею клятвою, но что оные письма по твоему желанию не уничтожены придчина объясненная женою моею и относящаяся единственно к ея одному спокойствию <…> Письмо оное послужит тебе вместо акта".

Это "ружье" выстрелит еще не раз...

Уже много позже, после всех семейных передряг, князь признавался Кошелеву, взявшемуся за его расстроенные вконец дела, что смотрит на управление имением в России как на дело невозможное – по крайней мере для него, Одоевского: "для этого надобно то, чего у меня нет вовсе и чего назвать не умею: то что есть – противно моим понятиям, то что я бы захотел – будет противно благу крестьян <…> при такой дилемме надобно выйти из нелепого положения и предоставить свое имение тем, которые нашли возможность разрешить эту непостижимую для меня задачу".

Павел Дмитриевич Сеченов хорошо знал свойства своего пасынка и хорошо умел пользоваться счастливыми для себя обстоятельствами...

Е. А. Сеченова – сыну
4 марта <1829 года>

"...все, на что ни обращу внимание, доказывает мне что этот человек ежеминутно стремился к своей цели. Ращот его на одинокою жизнь, сочиненной им еще в жизнь со мною, не доказывает ли его замысла. Суди сам, придет ли тебе в голову, живя с женою, сочинить план на одинокою жизнь..."

2 апреля <1828–1829 года>

"Глупым своим распоряжением мужиков растроил. Людям недоходит то что должно, доходы собирает к себе не отдавая отчета, в моем распоряжении не имею капейки <…> я совершенно удалена от всево и не имею ни в чем власти <…> а между тем он играет в карты. Слышу что много проигрывает. Процентов не плотит и на каждом шагу меня обманывает. Грубости до такой крайности которую ты сейчас узнаешь. Несколько времени назад требовал чтобы я сделала духовнаю в ево пользу отдав ему Дроково, а естьли я не сделаю добровольно то он меня заставит сделать из под кулака. Не слышу не однаво слова которое хотя бы мало сохранило пристоиность. И я не знаю какую я играю роль..."

Полоса затишья с увеселениями и танцами сменялась бурей. Над Дроковым густо повисла атмосфера разнузданного громкого скандала.

В курсе его был едва ли не весь уезд, о чем Екатерина Алексеевна с простодушием также повествовала сыну. Особенно волновалась она о мнении Петра Андреевича Кикина, родовитого и известного соседа по имению, лишь недавно появившегося в своем поместье. Кикин, "столичный" человек и знакомец Пушкина, вел себя недоступно, вызвав взволнованные толки и провинциальные пересуды, однако Сеченовы были ему хорошо отрекомендованы, и Екатерина Алексеевна не скрывала горделивого удовольствия: знатный Кикин находил явное удовольствие в общении с нею. Теперь же Сеченов "в Кикине <…> произвел то, чего хотел, отдаля от него..."

Екатерина Алексеевна, чувствуя себя на краю бездны и забыв о светских приличиях, обрушивала на сына сумбурные, исполненные оскорбительных подробностей письма.

"*...Я проклинаю жизнь мою...*"

Судя по всему, Павла Дмитриевича отличал нрав необузданный; грубости его, как писала мать, дошли до крайности. Бывшая Князева супруга, вкусившая некогда сладостный плод "высокого" тона, едва не всякий день была теперь шельмована "бестией" и "мерзавкою". Доходило до рукоприкладства.

Екатерина Алексеевна живописала гнусную историю. В надежде образумить мужа увлекла она его в Москву. Однако и там, продолжая якобы измываться над ней, велел он три дня кряду подавать ей в обед нарочно пережаренного рябчика – только собакам есть. За протестом последовала чудовищная сцена: "...начал меня кусать, искусал щеки, не знаю, как я сохранила нос. Люди сбежались в самую эту минуту, молились Богу и обещали молебствовать, чтобы я с ним разошлась, во весь слух его ругали как можно хуже..."

"...Умоляю тебя, поддержи меня..."

"...Одна крайность вынуждает меня сделать тебя участником моей горести..."

"...Все хорошее и дурное составляешь ты один, кому же как ни тебе должна была отправить столь важные обстоятельства моего положения..."

Дроковские страсти лились в Петербург мутным потоком. Лились почти безответно. Владимир отмалчивался или неохотно отговаривался совершенной невозможностью вмешательства. Для матери поведение сына было непонятным, непостижимым. Его, несостоявшегося защитника, винила она в душе и открыто во многих своих бедах.

"...Остановить безумца в его порывах не значило подливать масла в огонь..."

Екатерина Алексеевна страшилась, что Владимир, пренебрегши ее положением, брезгливо откупился от отчима бумагой, удостоверяющей отказ его от прав на наследство, и дал тем самым в руки проходимцу "орудие" против матери. Теперь, не медля ни минуты, она готова была завещать все чуждому чаду своему – она и не заметила, когда и как встала между ними эта странная стена.

Да и был ли он когда-нибудь – ее сыном?

Небрежением его Сеченов без устали уязвлял Екатерину Алексеевну особенно больно.

"...Он несколько раз упрекал меня <…> что я не нужна тебе потому, что ты не завешь меня никогда и что я не имею в тебе защитника и что надеяться мне не накова. Следуя сему он точно так со мною поступает..."

"...Не просила ли я тебя для проформы пригласить меня в Петербург, чтоб тем обезоружить несносные колкости..."

Приглашения в Петербург она так и не дождалась до конца своих дней.

Екатерина Алексеевна стучалась в закрытые двери.

"...Испытав все огорчения какие только могут быть посланы в наказание, ты никогда бы не мог прибавить их своим участием, но напротив облегчил бы их..."

Картинки с натуры, встававшие со страниц материнских писем, были впечатляющи. Откровения в них граничили с непристойностью – ее пером водило отчаяние.

"...Когда он кусал меня за кусок рябчика тогда же беспрестанно делал обеды и покупал шенпанское..."

"...Естьли я буду сносить долее то останусь без пристанища и может быть без руки или ноги, я от него всего ожидаю..."

"...Преисполнен мерзости..."

"...Не буду говорить о приятностях которыми природа не наградила ево для блаженства супружеской жизни <…> но по крайней мере хотела бы я пользоваться спокойствием..."

"*...Довольно я наказана судьбою...*"

"...Прошу тебя написать мне такое письмо из котораго он мог бы понять что до тебя дошли слухи ево всем мерзостям и гнусным со мною поступком, покажи ему что я в тебе имею апору и что я всегда найду в тебе защиту ето ты сделай не отлагательно..."

Сын, однако, вел себя странно. Вместо ожидаемой поддержки он слал отчиму бездельные подарки, весьма подогревавшие тупую спесь Павла Дмитриевича и ставившие Екатерину Алексеевну в положение ложное и щекотливое, – она не скрывала своей растерянности и огорчения.

"...Желала бы не отвечать на письмо твое любезный Владимир, желала бы предать вечному забвению обстоятельства раздирающие мою душу..."

Уже после разрыва с мужем, зная, что тот собирается в Петербург, униженно просила она Владимира во что бы то ни стало отказать ему от дому: "Надеюсь что ты сохранишь пристойность, избавишь меня от новой язвительной насмешки, что он тобою принят, в укоризну мне..."

"...Пусть меня будет судить свет..."

...Филипповское семейство барахталось, как умело. Еще при начале тысяча восемьсот двадцать седьмого года безвестно и бесславно

кончил свои дни Александр Алексеевич. Кончил, наверное, как жил – запойно, забулдыжно, в губернских секретарях. Родные не сильно об нем печалились, Владимир же не знался с московским дядькой вовсе, и вряд ли кто из окружения князя подозревал о его существовании.

Другой, счастливо выбившийся когда-то в гусары и пользовавшийся даже некоторым благоволением племянника, испытывал теперь свою судьбу в далекой Грузии...

...Но в дроковские раздоры вмешаться Одоевскому все же пришлось.

Из писем П. Д. Сеченова к В. Ф. Одоевскому

13го марта 1828.

"Любезный друг князь Владимир Федорович

получил твое письмо накануне нашего отъезда из Москвы, прочтя оное и видя в оном столь важное содержание, немедля послал за Н.В.Лазаревым которой знал твое дело по Совету успокоил нас и уверил что оное кончится без всяких затруднений по твоему желанию <…> Благодарю тебя моего доброго и любезного князя за столь для меня лестное твое воспоминание которое для меня ни с чем несравненно.

Хотя ты и говоришь что еще ничего не успел для меня сделать чего же больше иметь доказательство в твоей готовности и добром расположении ко мне как не всегдашнем твое воспоминание, которое дает мне право так мыслить. Душевно сожалею что не могу и не имею случая доказать ту преданность и готовность мою которым я к тебе преисполнен, не отчаиваюсь иметь то щасливое время в которое оправдаются слова мои на самом деле и докажут тебе что я не совсем еще дурной человек, равномерно приношу свое глубочайшее почтение и ту превеличайшею благодарность к почтенной Ольге Степановне которую я чувствую за ее доброе або мне воспоминание. В душе благодарю Бога что ты щаслив и щаслив совершенно. Соболевский уведомил нас подробно о твоей завидной жизни. Он у нас часто обедал и много говорил о вас <…> Портфель я получил в деревни очень мил жена отнела на стол своей уборной но куда я еду для виста всегда беру его с собой портфель щасливее кошелька <…> уведомь меня о Гене <?> и подумай с ним куда бы меня на службу деть у нас новой губернатор то не можеш ли ты чрез кого-нибудь достать к нему письмо которое бы могло нас сблизить да и оне могут кажется иметь по особым препоручениям чиновника <…> естьли бы можно получить тебе оное письмо от твоего почтенного дядюшки которое сильно бы подействовало во определение моем и в знакомстве..."

15 октября <1828 года>

Любезный друг князь Владимир Федорович

Получил твое письмо приятное и преисполненное благородством души твоей которое меня заставит всегда делать тебе угодное. Требуемая тобою жертва для меня незначительна стоит только умерять вспыльчивость моего характера что с получением твоего письма я замечаю

в многих случаях исправлении моих недостатков ты не можешь представить какое оное произвело действие надо мною. Неудовольствие наши происходют из мелочей почему она не может роптать так сильно как было тебе передано. Меня жестоко раздражает прихоть и прихоть в сильнеем градуше[1]. Многие обязан почтеннейшему Петру Андреевичу Кикину которой меня полюбил и совершенно изведал мою жизнь. Он часто оговаривает рошкошь [2] без ращотливость и многие нещасные примеры представляет. При нем я вижу свет по крайней мере уменьшились требования беспрестанные <…> вот друг мой придчина наших ссор божусь что других никаких нет что тебе послужит доказательством письмо Кикина которой наверно не стал бы иметь знакомство и столь короткое с человеком дурных своиств или качеств <…> Пожалоста пришли его мне обратно т.е. письмо Кикина я бываю часто почти всякою неделю и он меня нередко посещает он пристрастился к хозяиству почему мы и сошлись с ним сидим вместе и сочиняем разные прожекты и время идет невидимо <…>

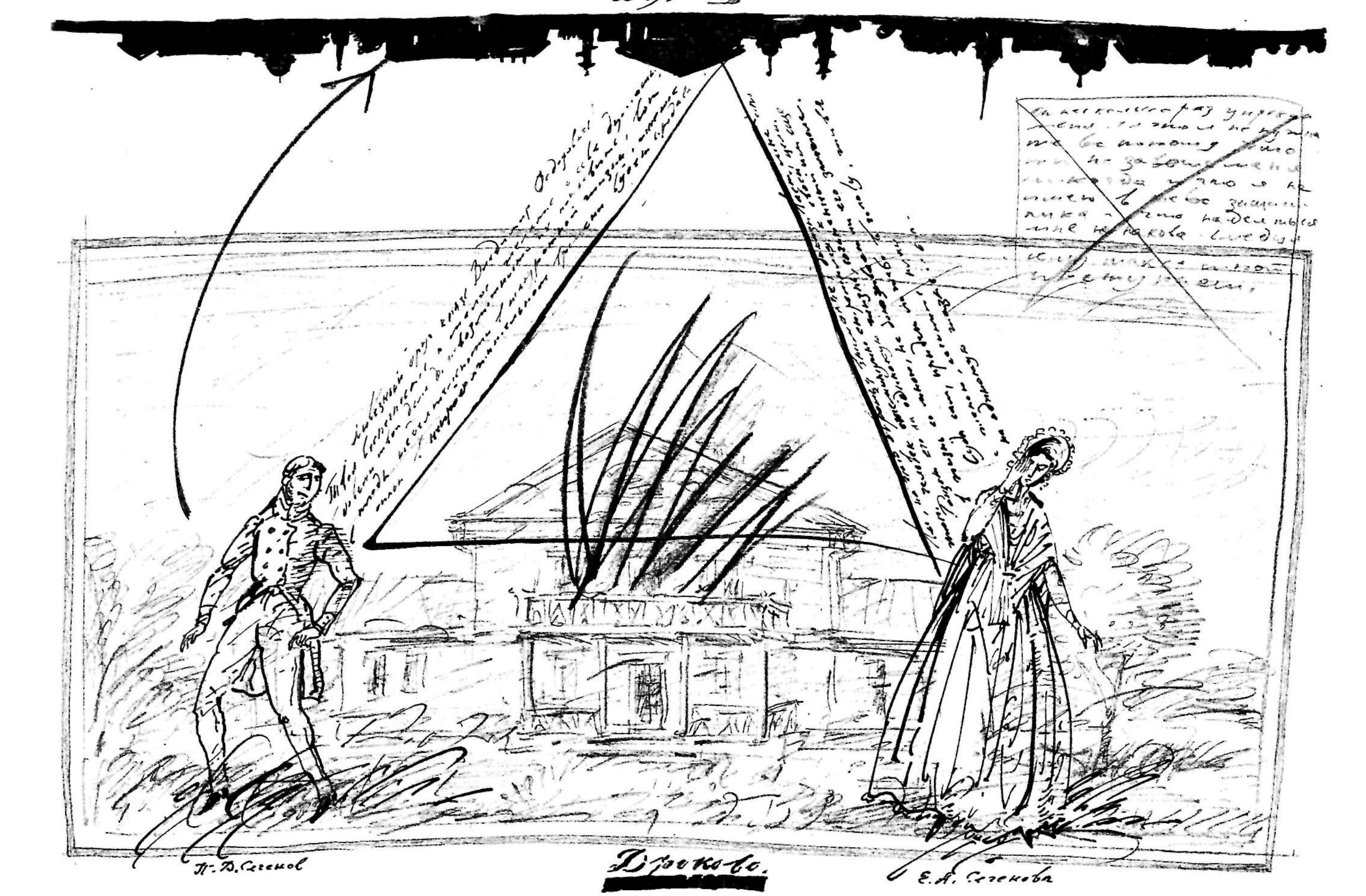
...Спустя семь или восемь лет, когда Екатерина Алексеевна уже навсегда порвала с мужем, она рассказала как-то в письме к сыну довольно похожую на истину историю восхождения и бесславного заката Сеченова на кикинском горизонте. Втершись в доверие и даже поселившись во время размолвки с женой в доме Кикина, Павел Дмитриевич начал по обыкновению своему интриговать, рассорил семейство с почтеннейшим домашним их доктором, лишив тем самым болезненную госпожу Кикину надежной помощи, что и свело ее якобы вскоре в могилу; выполняя же хозяйственные поручения самого Кикина, попался, наконец, на плутовстве и был изгнан с позором.

...Отмалчивался Одоевский и на излияния отчима.

Павел Дмитриевич, много этим огорченный, считал себя оклеветанным и всячески старался оправдаться в мнении пасынка: терять "дружбу" князя вовсе не входило в его планы. В искательных своих письмах он по-прежнему настаивал на единственной причине раздоров с женой – ее "желаниях неумеренных и неимоверных прихотях", совершенно несообразных с их возможностями: "в бытность в Москве употребя на свою персону 2 т<ысячи> и более уже ни гроша нет <…> тот день для нее грустен в которой она не Побывает на Куз<нецком> мосту и что не купит и к удивлению скажу что знакомства никаго не терпит одно в предмете собрание и театр а в деревне цветник собаки и кошки которых расплодилось множество так что придти нельзя везде лай и визг и кажется она живет единственно для одних их суди теперь кто прав и кто виноват."

Чувствуя, что дело зашло слишком далеко и что почва уходит изпод ног, Сеченов – добившийся уже, впрочем, от жены духовной и обязательства на две тысячи в год в личное пользование – мечется, ища примирения с Екатериной Алексеевной через Петербург, и прибегает для того к крайним мерам.

[1, 2] Так в тексте. – *М. Т.*


П. В. Сеченов
Е. А. Сеченова

<1829 год>

"Всякое оправдание уменьшит цену моей безвиности и унизит в глазах то чувство благородства которым я руководствовался в течении осьмилетний жизни моей, заботясь единственно о благосостоянии и спокойствии ея одной не думав нимало о себе чему вы неоднократно удивлялись, и затем все презрено и отвергнуто с безтыдною не благодарностию и с тою безразсудностию которая открыла мне поприще довольно не завидное, но я и тут аставался в надежде что время покажет всю жестокость и ту несправедливость ея в отношении ко мне чему вы сами были свидетелями четырехлетней вашей жизни с нами и потом нимало не улудшилось сие полож<ение> и наконец при всем моем необыкновенном терпении должен был решится предпочесть <не>зависимость [1] которая ни унижает в глазах людей добрых и честных и остатся на целой век спокоиным и непорабощеным до нискости перьвобытного состояния моего и так добрый и любезный князь я должен был решится чтоб за все мои претерпении иметь достоиную награду и тем дать ей возчувствовать всю несправедливость души ея ваш непременной приезд верно <даст> [2] оборот оному нещастному делу. Взоидите в <ее> [3] положение как сын и откроите еи ту пропасть в которую она готовится повергнуть себя и *может быть и других,* ея жизнь и все прихоти совершенно ее погубют и тогда одна надежда остается *ваши заемные письма.* (Курсив мой. – *М. Т.*) Поспеши князь остановить, она очень очень мне жалка божусь что жалко и я готов на все чтоб еще раз доказать благородство души моей.

П. Сеченов".

Удар был рассчитан точно.

Как раз в это время Екатерина Алексеевна сетовала:

"...не менее оскорбляюсь и твоим собственным положением которого я так худо не воображала, растроика наша сделала мне препятствие в твоих процентах <…> ты из политики может быть не говоришь о капитальной сумме, но я очень понимаю твои нужды, и рада бы душою, но не знаю как и из чего взять..."

Одоевского мучили долги, и в Дрокове об этом хорошо знали. Столичная жизнь и положение в свете обходились дорого. Он не успевал латать дыры. В феврале этого же, 1829 года, Мельгунов, понуждаемый обстоятельствами, писал Одоевскому в Петербург о том, что родители его, потеряв терпение и находясь в крайности, намерены предъявить ко взысканию вексель князя – давний его долг; эта тягостная для обоих ситуация заметно расхолодила их дружбу. Спустя год по аналогичному поводу извинял друга перед своими родителями Иван Киреевский; чуть позже Кошелев тревожно спрашивал из Женевы: "...что ни полслова не говоришь о своих экономических делах?.."

Упоминание же Сеченова о заемных письмах, предусмотрительно им в свое время не уничтоженных, явственно звучало угрозой, попахивало шантажом. "Мизерная" родня давала князю еще один жесткий жизненный урок.

[1, 2, 3] В автографе вырвана часть страницы.

Екатерина Алексеевна упрекала сына в холодности и равнодушии. Откуда ей, слабовольной, потерянной, не подозревавшей даже своей материнской вины, было знать о горьких юношеских дневниковых исповедях – не забываемых, не забытых...

Однако Одоевский, зажатый в тиски, знающий равную цену ссорящимся, вынужден был пойти на мировую и, вняв – или сделав вид, что внял – благим заверениям Сеченова, выступить в роли примирителя.

Вскоре уже Сеченов благодарит супругов Одоевских за оказанное гостеприимство – он провел у них в Петербурге девять недель. Обезоруживающе, удальски цинический, сполна познавший науку выгодной интриги, отставной подпоручик весьма, видно, преуспел у доверчивой княжеской четы в своих "завлекательных обманах". В Дрокове как будто воцарился мир – однако ненадежный, формальный. В Петербурге говорено о Екатерине Алексеевне нелестного было, видно, немало, говорено и – выслушано не без сочувствия, иначе вряд ли Сеченов позволил бы себе по возвращении из столицы описывать вновь обретенную супружескую жизнь со столь откровенной иронией.

...День "начался ворчанием и совершился по обыкновению ругательством, продолжавшим ровно четыре дня..."

"...Тысяча упреков и вдвое того язвительных ругательств словоохотной моей старушки..."

"...Успокоить себя не от несносного беспокойства телеги но от брюзгливости моей доброй и скромной супруги..."

Тон сеченовских писем становится все более развязным. Теперь он метит в городничие и бесцеремонно поторапливает пасынка.

"...Тебя мои друг князь прошу **пошевелится** поспешить и не забыть имянно в письме к губер.<натору> тверс<кому> написать что ваше т.е. Лонских желание есть чтобы я был в г. **Вышнем Волочке** а продчии я города принять не могу да пришли мне доверенность на ветлужское твое имение я поспешу туда съездить пока поидет моя прозьба в дело то и поеду туда с Дурново все способы употреблю получить деньги в том даю тебе слово верь что буду уметь и тебе быть полезен. Ожидать буду с нетерпением вашего решительного ответа..."

На исходе 1830 года из Дрокова идут в Петербург беспокойные "холерные" письма, однако податливая Екатерина Алексеевна уже и сама вновь просит в них за мужа:

"Дашков уехал я слышала и говорят что может проехать миновав Москву только крюку будет верст 300 брат его в Рязани Вице-Губер.<натором> и Павлу Дмитр.<иевичу> очинь хочется с ним познакомиться да это и нужно на всякой случай, при случае нельзя ли ему доставить сей способ чрез его брата. Партии которыми всегда изобилуют уезды, иногда требуют сей необходимости".

1830-го декабря 22-го

"Павел Дмитриевич усерднейше приносит вам почтение <...> на Владимира сердится что он будто его забыл".

"...хотя ты и говоришь что завален делом, но доставить не-

сколько минут спокойствия другому так же принадлежит к делу важному..."

1831го февраля 16го

"Это ни начто не похоже с октября не имею ни однаво письма. Все кто имеит сношения с Питербу.<ргом> получают верно и часто свои кореспонденции а ты точно живешь в Америке.

Пиши хоть по одной строке когда не имеишь время написать двух".

Связь с Дроковым держалась скорее сознанием долга, нежели чувствами сердечными – очередной долг был исполнен, и в Петербурге опять замолчали. Однако спустя два месяца туда пришло сообщение драматическое: 27 марта в Дрокове сгорел господский дом, многое погибло, и Сеченовы вынуждены были переселиться в баню, а оставшуюся мебель разослать по соседям. Отчаявшаяся Екатерина Алексеевна – "кажется ничего не может быть сего ужаснее как быть свидетельницею погибающей собственности" – утешена единственно тем, что чудом не погибли в огне портреты сына и невестки и вспоминает двенадцатый год: "Едва устроились и привели в порядок наше жилище и по окончании пользовались только 4 месяца. В 12^{м} году в новом доме жили только два месяца, и теперь испытываю ту же участь..."

1812-й год для нее еще вживе, недавняя собственная биография. Незадолго перед пожаром адресовалась она к сыну с очередной просьбой:

"Я брала в Комиссии вспоможения деньги в 12^{м} году и представила свои души за брата для назначения ему 2.000 рублей и еще так же на 2700 рублей за иностранку вдову Екатерину Вирланд. – А так как все казенные взыскания до двух тысяч прощены Манифестом то я и подала нащет сего прошение в Казенную палату, которая все дела Комиссии принела к себе, и теперь все таковые просьбы препровождены к Министру финансов на утверждение, то и прошу тебя нельзя ли тут похлопотать чтобы оные две претензии подвести под манифест..."

Однако мы отвлеклись...

Так или иначе, но прекрасно сообразивший ситуацию Сеченов твердо, видно, решил положить на своем, и Одоевский в конце концов поддался соблазну сбыть с рук ненавистные ему хозяйственные хлопоты, отдав их на откуп отчиму; при его легкомысленном посредничестве был приближен Сеченов и к Ланским, Сергею Степановичу и Варваре Ивановне, соседям Одоевского по имению, столь же несчастливым в управителях.

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому

1832 года Генваря 11-го дня г. Москва

"Любезный друг князь Владимир Федорович!

Твоя беспечность и малое желание о себе думать, довели твои дела до невозможности их поправить, вот плоды твоей недеятельности в неокуратной жизни, имение в описи в непродолжительном времени

будет продаватца за неплатеж $12^{ти}$ тысячь скопившихся с 1825 года, что я могу сделать, и какие обороты предпринять с моими ничтожными средствами, откинь свою философию, вникни со всею обширностию твоего ума, какои конец будет твоей безтолковой жизни, требует того твоя собственная честь и моя дружба, готовая жертвовать всем, чтоб удержать твою собственность, есть еще надежда скакать туда собрать сколько можно аброка, а чего недостанет надеется по редко-родственному к тебе расположению Варваре Ивановне, и я как заслуживший ее доверие поручусь честно уплатить еи в назначенные сроки, как готовой оказать тебе послугу, буде и того мало предложу им себя, свои малые способности падчиню навек свою жизнь в совершенную власть располагать собой, жертвуя даже и своею службою. Сегодня я еду в Тверь, а от туда в Кострому и в Ветлугу; по желанию Сергия Степановича здесь всех участвующих в размежевании леса согласил, положил конец оному делу почтя меня лестным доверием уполномочив с открытием весны произвести в действие то, чего все желают более 10 лет. Засим я требую твоего постоянного и деятельнейшего хождения по делам моим, нетокмо относящимся к моей особе, но даже и к прозьбе моих друзей, коих в итоге два: Граве и Лазарев, и чтоб ты незделал для них обоих, эсть уже награда за мои хлопоты, коими я решился обременить себя за одно доброе твое спасибо, совсею деятельностию моих малых способностей, то нещади себя будь мне полезен <…> Пиши ко мне прямо в Кострому на имя Сер.<гея> Степановича я скоро там буду постараюсь тебя успокоить, а ты меня так мы и сквитаемся. Целую у доброй твоей Ольге Степановне ручку, при свидетельствовании вам здравия пребуду с чувством истинно преданной вам обоим по смерть слуга и друг ваш

Павел Сеченов"

Минута слабости и "завлекательность" сеченовских обманов стоили князю дорого – он увяз в его сетях надолго.

ГЛАВА VI.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

В то время как за закрытыми для посторонних глаз дверьми семейства князя разыгрывались жестокие провинциальные страсти, чета Одоевских уверенно выдвигалась на авансцену столичной жизни. Перед молодыми супругами, пополнившими петербургское созвездие потомков древних геральдических дерев, учтиво распахнулись самые блестящие гостиные.

В литературных кругах признали в князе новое заметное дарование: он обратил на себя внимание как автор "Последнего квартета Беетговена" – новеллы, только что появившейся в дельвиговском альманахе "Северные цветы", – и не только. Молчание было прервано; его сочинения, отмеченные новой, зрелой манерой, становились теперь достоянием читающей публики одно за другим.

Обретал все большую известность и дом в Мошковом переулке. Он давно перестал служить лишь постоянным прибежищем "московской колонии", и открывшиеся здесь "субботы" становились необходимой принадлежностью культурной жизни столицы. О них широко уже разносилась молва, достигшая даже сибирских рудников. Минуло немногим более пяти лет с тех июльских дней, когда Одоевский появился в Петербурге, с того лета, что пролегло роковой чертой в судьбах одних, лучом надежды в судьбе другого, и те, с кем разминулся он тогда на горестном тракте, из-за тысяч заснеженных верст наблюдали теперь новые "звезды" столичного небосклона. В мае 1832 года Екатерина Трубецкая в письме из Петровского завода расспрашивала мать о новом петербургском салоне.

"Вы меня спрашиваете о литературных вечерах у кн. Одоевского, – отвечала ей графиня А. Г. Лаваль. – Это обычные вечера, там очень часто музицируют и очень редко читают, например, какую-нибудь повесть, которая занимает не более получаса. Теперь я опишу эту супружескую пару. Кн. Од<оевский> моложе своей жены, которую он обожает, он получил безупречное воспитание, и его ум из числа самых выдающихся. Он много занимается литературой и еще больше своими служебными обязанностями, которые считает священными. Он страстно увлекается музыкой: сочиняет, аккомпанирует, играет фантазии, вариации с таким чувством и такой выразительностью, что даже те, кто не понимает музыку, слушают его с удовольствием, как например Сухозанет. Княгиня превосходная женщина, очень приятная в обществе, с прекрасной душой. Живет только для своего мужа. Этот союз всего, что есть самого высокого, – ума и души – меня очаровывает и приводит

в восторг. Я с ними очень дружна, и самые приятные дни моей жизни это дни, которые я провожу с ними. Их характеризует необычайная простота, которая почти всегда сопровождает достоинство. Вы понимаете, насколько эта манера мне близка и мне нравится".

Наверное, вести из Петербурга расходились среди узников Петровского завода мгновенно. Конечно же, достигали они и кузена Владимира, Александра, еще, кажется, совсем недавно писавшего московскому "отшельнику" легкие, вызывающе-беззаботные "столичные" письма. Теперь он сам переживал куда более страшное, насильственное "отшельничество" – и узнавал о блестящем восхождении едва ли не отрекавшегося от "света" брата, впрочем, – всё верного своим привязанностям: литературе и музыке...

Свидетельства графини Лаваль – так же как и "интеллектуальная" зависть Варвары Ивановны Ланской, вздыхавшей в захолустной Костроме по прелестным литературно-музыкальным вечерам своих родственников, – относятся, кажется, к той поре, когда здесь господствовал еще непринужденный дух интимности, объединявший людей "избранных" и коротко между собою знакомых.

Однако вскоре не всегда удачными, но бескорыстными, подвижническими усилиями князя "обычные" вечера в Мошковом стали все более собирать публику весьма разноликую, приобретая свой, особенный колорит, непривычный для великосветских раутов демократизм.

Строго говоря, под крышей флигеля дома Ланских как-то само собой образовалось два салона – Ольги Степановны и чудаковатого ее мужа, и голоса современников доносятся до нас из двух княжеских половин, часто противореча друг другу.

...Среди поздних, сделанных на склоне лет многочисленных заметок Владимира Федоровича есть одна короткая запись, весьма примечательная. Он занес на бумагу ответ некоей дамы на вопрос, что есть демократ. "Трудящийся аристократ есть уже демократ", – отвечала она. Записал Одоевский этот ответ, видно, не случайно – слова дамы были о нем, аристократе-труженике; так выстроил он свою жизнь смолоду, так подсказано было самой судьбой, предопределившей ему место на сломе древнего гнезда. Он тяжко пережил это бремя распада, ему предстояло еще нести эту нелегкую ношу до конца – матушка, дядька, совсем уже невесть откуда взявшийся залетный отчим – из незнакомого, диковатого, агрессивно и властно наступавшего мира... Но он не только выстрадал свой жребий, как выстрадал его потом Аркадий Версилов, – Одоевский невольно предвосхитил одну из гениальных художественных моделей эпохи собственной жизнью. Он извлек из того, что предложила ему судьба, жизненный урок, сделал свой выбор: аристократ-труженик, то есть – демократ. Эта характеристическая особенность Одоевского казалась иным парадоксальной, другим – привлекательной, у третьих вызывала насмешки – то добродушные, то злые. Воспоминатели писали потом о ней, прибегая к эффектным антитезам, но вряд ли кто-нибудь из них подозревал причины, породнившие следствие: Одоевский все же оставался в глазах окружающих прежде всего

тем, кем сам хотел себя ощущать – и ощущал: аристократом крови. Любопытно, что почти одними и теми же словами сказали об этом два совершенно разных человека, наблюдавших князя в расцвет его петербургской жизни и на закате дней.

"По происхождению своему князь Одоевский стоял во главе всего русского дворянства, – писал Владимир Соллогуб. – Он это знал; но в душе его не было места для кичливости – в душе его было место только для любви". Спустя несколько десятилетий то же проницательно подметил и американец Юджин Скайлер, переводчик Тургенева и Толстого, почувствовавший в "первом аристократе" России и "величайшего демократа".

Вряд ли видна была кому из друзей, даже близких, даже умной Ольге Степановне, эта мучительная и долгая внутренняя работа, может быть – борьба, павшая на раннюю Москву, отзывавшаяся еще в первые петербургские годы. Но отныне итог ее определил дальнейшее. Он носил одно из славных российских имен – и воспринял его, как некую историческую миссию, ему назначенную. В 1844 году, накануне выхода в свет собрания своих сочинений, Одоевский обратился с неожиданной просьбой к тогдашнему министру просвещения С.С.Уварову, но обратился, как к "древнему русскому боярину", ища его "боярской защиты" от личностных выпадов "Северной пчелы" и "Библиотеки для чтения". Объясняя странный свой поступок, он писал, что имеет в виду вовсе не возможную литературную критику – он просит "предохранить от поругания" имя, которое имеет честь носить и которое принадлежит "истории нашего отечества".

Поэтому, наверное, и стезю трудящегося чиновника, избранную им не только "идейно", но и необходимо – как средство к существованию, и поприще литератора воспринимал Одоевский с горделивым достоинством – он все оставался потомком исторического рода, и ему не было нужды, как, скажем, Пушкину, с болезненным постоянством доказывать древнее свое дворянство. Пожалуй, этот особый демократизм и выделил его сразу из среды петербургских "литературных аристократов", куда он был принят как равный. Сам только встававший на ноги, он мог позволить себе не только открыто протягивать руку поддержки собратьям по перу, без чинов и различий, но и делать это с широтой и постоянством. Вот отчего, по меткому замечанию Шевырева, на диване его пересидела вся русская литература.

Так складывались знаменитые "субботы". Они вовсе не являли собой бестолковое или даже претенциозное, как казалось иным, смешение "языков": то была продуманная, принятая раз и навсегда жизненная позиция, одна из попыток ее "вовеществления". Внимательные посетители его вечеров улавливали это, и характерно, что наиболее чутко – люди следующего поколения, "сороковых". И.Панаев много позже заметил, что "желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось". "Целая бездна", по его словам, разделяла тесный кабинет князя, всегда битком набитый литераторами, от салона Ольги Степановны.

"...Для того, чтобы достичь вожделенного кабинета, – вспоминал он, – литераторам надобно было проходить через роковой салон – и это было для них истинною пыткою. Неловко кланяясь хозяйке дома, они как-то скорчившись, съежившись и притаив дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками".

В унисон Панаеву вторит Д. Григорович.

Все так. И тем не менее родовитый князь искренне стремился придать званию литератора вес – и не всегда не успевал в этом.

"Субботы" Одоевского на долгие годы сделались примечательностью отнюдь не одной светской столичной жизни. Сменялись посетители салона, менялся и сам хозяин, но еженедельные его собрания все несли на себе отпечаток почти упрямого постоянства, верности "первородной" идее. Прообраз петербургских вечеров зародился – или был сотворен – уже в московском Газетном переулке: высокий интеллектуальный накал лившихся здесь бесед, их многотемье и широта господствовавших интересов, даже причудливая, "декоративная" теснота "святилища" новоявленного Фауста. Все это перекочевало затем в столицу, приспособилось к новой жизни, пришло в окончательное соответствие с жизненными принципами. Прочный каркас, остававшийся неизменным всю остальную жизнь; с ним вернулся Одоевский на закате дней и назад, в Москву. Заботливо сохранялись и самые "атрибуты" его обители, воспроизводившиеся в каждой новой петербургской квартире: в Мошковом переулке, на Фонтанке, в Эртелевом переулке, на Литейной, в Румянцевском музее...

Однако "плоть", облекавшая раз и навсегда возведенную конструкцию, была подвижна и диктовала контуры фасада.

Не случайно воспоминания очевидцев, при всем их кажущемся восторженном однообразии, таят в себе некие внутренние противоречия, и породило их многое: и "голоса-антагонисты" – со стороны князя и со стороны княгини, и череда меняющихся лет, лиц, обстоятельств, поколений, наконец – все это отразилось в мемуарных свидетельствах, даже если сделать поправку на всем известное их коварство. И сегодня ничто уже не может заменить нам эти "живые разговоры".

Василий Ленц, юрист и музыкант, воспитанник Дерптского и Петербургского университетов:

"В 1833 году князь Владимир Одоевский, уже известный писатель, принимал у себя каждую субботу после театра. Придти к нему прежде 11 часов было рано. Он занимал в Мошковом переулке (на углу Большой Миллионной) скромный флигелек; но тем не менее у него все было на большую ногу, все внушительно. Общество проводило вечер в двух маленьких комнатках и только к концу переходило в верхний этаж, в львиную пещеру, т.е. в пространную библиотеку князя. Княгиня, величественно восседая перед большим серебряным самоваром, сама разливала чай, тогда как в других домах его разносили лакеи совсем уже готовый. Ее называли la belle Créole, так как она цветом лица похожа

была на креолку и некогда славилась красотою <…> У Одоевского часто бывали Пушкин, Жуковский, поэт князь Вяземский, драматург князь Шаховской, в насмешку называвшийся la père de la comédie, далее Замятин (будущий министр юстиции), Блудов, молодые члены французского посольства. Из дам особенно обращали на себя внимание красавица Замятина, графиня Лаваль, старая и страшно безобразная, и не терпящая света княгиня Голицына, Princesse Nocturne, как ее называли, потому что она обращала ночь в день и вставала не ранее полуночи <…> Тут можно было встретить также Дантеса, красивого кавалергардского офицера, от руки которого впоследствии пал Пушкин. Гордый своими успехами между дамами, он был воплощенная спесь..."

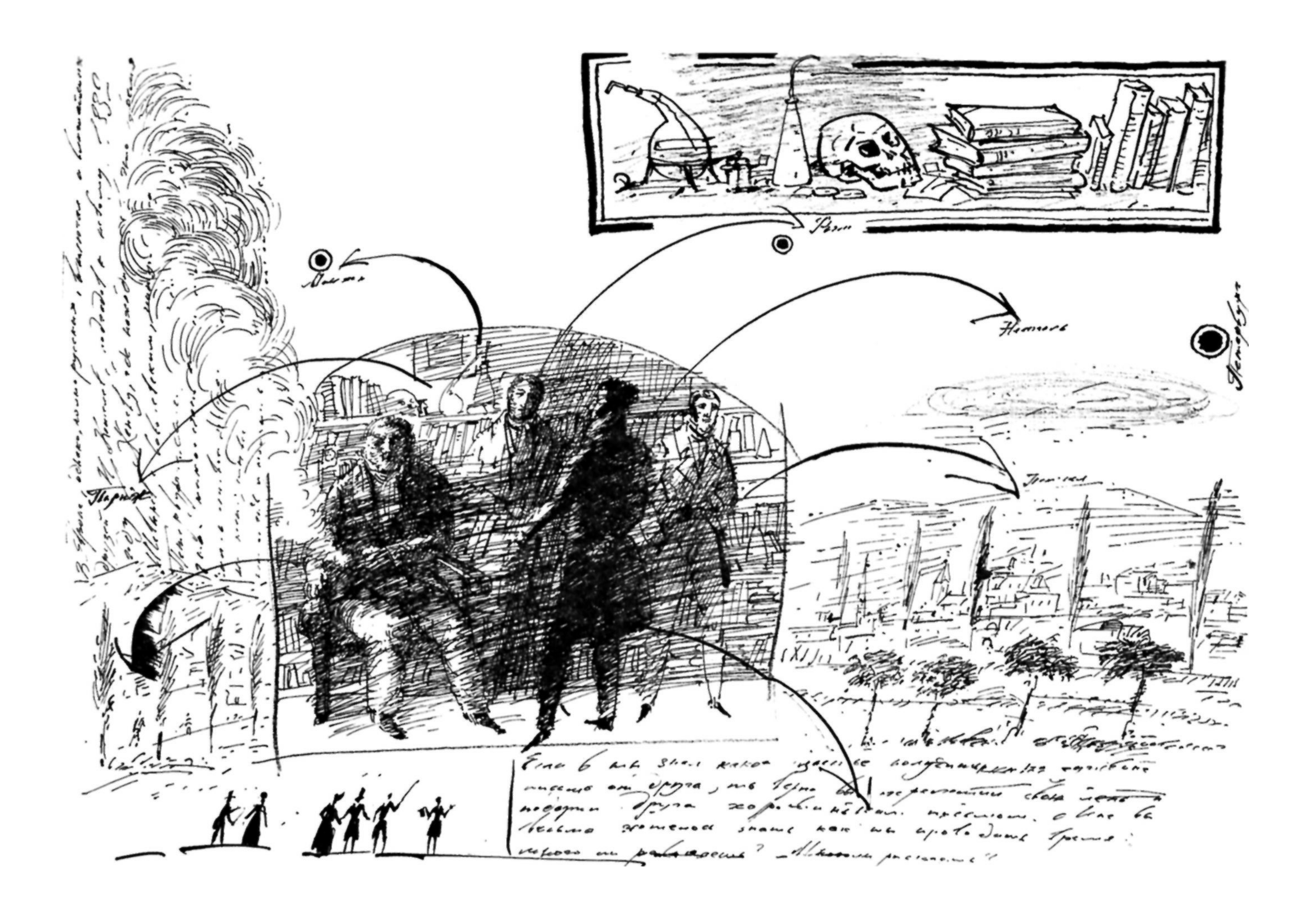
Михаил Погодин:

"...Это было оригинальное сборище людей разнородных, часто между собою неприязненных, но почему-либо замечательных. Все они на нейтральной почве чувствовали себя совершенно свободными и относились друг к другу без всяких стеснений. Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец – барон Шиллинг, воротившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня Ростопчина, Глинка и профессор химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров <…> Здесь явился на сцену большого света и Гоголь, встреченный Одоевским на первых порах с дружеским участием..."

До мелочей описана современниками и сама "львиная пещера", уставленная причудливыми этажерками с множеством ящичков и углублений, необыкновенными столами со всевозможными склянками, химическими ретортами и даже черепами, с выразительным портретом Бетховена на стене, но главное – уже тогда, в начале тридцатых, известная замечательной своей библиотекой, достаточно к тому времени пополненной. Книги лежали повсюду – на столах, диванах, окнах, на полу, попадались среди них и старинные, в пергаментных переплетах – Одоевский основательно был уже углублен в изучение российских древностей и европейских мистиков.

"В этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия", по словам Владимира Соллогуба, сблизившегося с Одоевским как раз тогда, в начале тридцатых, бывал весь цвет просвещенного петербургского общества:

"Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления, и всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко; все смотрели друг на друга приветливо, все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук; я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы – я всех их тут видел, наших незабвенных, братствующих поэтов и мыслителей..."


Париж
Петербург

Иван Панаев:

"...Одоевский желал все обобщать, всех сближать и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что кроме избранников, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора..."

Василий Ленц:

«...Однажды вечером, в ноябре 1833 года, я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился... Вдруг – никогда этого не забуду – входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал – incessu dea patebat![1] Благородные античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского музея. Князь Григорий, подошед ко мне, шепнул на ухо: "Не годится слишком на нее засматриваться"».

Иван Панаев:

"...Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидал там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности...

Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса".

Василий Ленц:

"В этом доме не существовало общего всем другим домам и всегда тягостного обычая представлять гостей друг другу. Раз введенный сюда считался как бы знакомым со всеми и так и держал себя. Это весьма удобно. Уходят, не прощаясь, и входят с легким поклоном, как будто виделись 10 минут тому назад. Мне захотелось посидеть по крайней мере около Пушкина. Я собрался с духом и сел около него. К моему удивлению, он заговорил со мной очень ласково: должно быть, был в хорошем расположении духа. Гофмана фантастические сказки в это самое время были переведены в Париже на французский язык и, благодаря этому обстоятельству, сделались известны в Петербурге <…> Пушкин только и говорил что про Гофмана <…> Я знал Гофмана наизусть <…> Наш разговор был оживлен и продолжался долго; я был в ударе и чувствовал, что говорил, как книга. "Одоевский пишет тоже фантастические пьесы", – сказал Пушкин с неподражаемым сарказмом в тоне. Я возразил совершенно невинно: "Sa pensée malheureusement n'a

---

[1] Когда она появлялась, то казалось, что видишь богиню (*лат.*).

pas de sexe" [1], и Пушкин неожиданно показал мне весь ряд своих прекрасных зубов: такова была его манера улыбаться".

Иван Панаев:

"Особенное внимание великосветских госпож и господ обращал на себя издатель "Сказаний русского народа" И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах князя Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек, себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облекался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского <…>

Кроме Сахарова привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского – отец Иакинф Бичурин <…> Он обыкновенно снимал в кабинете Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и ораторствовал о Китае, превознося до небес все китайское.

Он до того окитаился, вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностию стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.

Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.

Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву "о" и не стеснялся в своих выражениях. Какой-то светский франт перебил его однажды вопросом:

– А что, хороши женщины в Китае?

Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы, и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:

– Нет, мальчики лучше..."

Владимир Соллогуб:

"...Все, кажется, было так хорошо устроено: комнаты были такие уютные; на полках громоздились такие знакомые нам книги; в таком-то углу стояло фортепьяно; вокруг письменных столов, заваленных бумагами, ожидали друзей дома такие покойные седалища. Чего не слыхали эти спутники домашней жизни! На этом диване Пушкин слушал благоговейно Жуковского; графиня Ростопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение; Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал графа Виельгорского про разрешение контрапунктных задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либреттисте. Тут перебывали начинающие и подвизающиеся в области науки и искусства – и посреди их хозяин дома то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знанья и незлобия..."

Петербургскую жизнь можно было считать налаженной. Подвигалась служба, к которой Одоевский – как ко всему, за что брался –

[1] К несчастью, мысль его не имеет пола (*фр.*).

проявлял усердие и добросовестность: ни чины, ни карьера не составляли предмет его вожделений. Он был уже заметен в свете. Он обрел новый литературный круг – лучшее, что было в России, что мог пожелать себе. Однако прежние, душевные, корневые связи, хоть и пошатнувшиеся, все еще оставались достаточно сильны: москвичи по-прежнему продолжали держаться друг друга.

Княгиня, вообще не любившая первопрестольной, также благоволила к этим москвичам особенно – возможно, то была тонкая дань привязанностям мужа. Впрочем, и они отвечали ей любовью – с ними держалась она ласково и просто.

Начало тридцатых стало для москвичей началом странствий. Собственно, Шевырев, Соболевский, Рожалин уже наслаждались Италией; в 1830-м Иван Киреевский уже слушал Гегеля и Шеллинга в Германии, но, оставшись почти равнодушным к первому, не нашел ничего существенно нового и во втором: "дух" его лекций показался русскому шеллингианцу "интереснее буквальности", об этом он писал в Россию. Вскоре отбыл дипломатом в Константинополь и Титов.

Летом 1831 года, пережив сердечную драму – безуспешное сватовство к "черноокой Россети", – уезжает за границу Кошелев. Он шлет оттуда Одоевскому подробные отчеты о жизни и красотах европейских государств – более, однако, о "жизни действительной": в нем стремительно созревал "великий человек на малые дела", как любил он потом говорить о себе.

"Уже в Питере, – писал Кошелев, – я делался жестоким практиком, но теперь одни факты имеют цену в моих глазах <…> Сколько иллюзий разрушено, но зато сколько действительных сведений приобретено". Кошелев был твердо намерен прежде всего набраться у европейцев практического опыта. Тем не менее рассказывал он, конечно, о разном: о деловом свидании с Брокгаузом в Лейпциге, со снисходительной иронией – о пышном праздновании последнего дня рождения Гете в Веймаре; Германию, вожделенную Германию, воспринял он вообще без энтузиазма; описывал также прелести и нравы Альбиона. Впрочем, Англию, куда он так стремился, страну, хоть и в самом деле замечательную по многим отношениям, Кошелев все же поругивает: "...ни любви, ни дружбы, ни великодушия, ни самоотвержения..." "И дружба и любовь основаны на деньгах..." Франция в его глазах также "жалости не стоит: ругаются как извощики, говорят вечно о свободе, а имеют в виду всякий для себя самый неограниченный деспотизм". Европа наводит на русского путешественника уныние: "Да, любезный друг, – признается он, – не все люди созданы как мы".

Содержат его письма новости и литературные – впрочем, весьма, по мнению Кошелева, здесь скудные: "Во Франции вышла история Бурбонов с 1814 года до 1830 <…> С.Симонисты осмеяны совершенно <…> В Германии пишут рассуждения о современной политике, стихи на смерть Гете <…> Английская книжная промышленность делается теперь всего дельнее: англичане не печатают более роскошных изданий, но стараются пускать в ход самые дешевые издания".

...В Европе, однако, полно русских, включая и ближайших друзей, и Кошелев, подгадав к новому, 1832 году в Женеву, где находились в это время Шевырев с Соболевским, пишет оттуда в Петербург:

"...Если б ты знал какое щастие получить на чужбине письмо от друга, то верно бы переломил свою лень и подарил друга хорошеньким письмом. – Мне бы весьма хотелось знать как ты проводишь свое время: много ли работаешь? много ли рыскаешь? Чем занимаешься? С кем видаешься? Продолжаются ли твои субботы? Что поделывает княгиня, Веневитинов, Волконский и пр. Что творят гр. Лавали, Булгаковы, Карамзины и пр. – О Москве я имею весьма подробные известия <…>"

Кошелев выражал также искреннюю радость по поводу того, что Блудов и Дашков "сделались настоящими министрами", и спрашивал Одоевского, остается ли тот при Блудове "и в качестве чего"? "С кем и как ты встречал Новый год? В Женеве гибель русских, но мы, т.е. Шевырев, я, Соболевский и Волконский собрались особо, пили за твое здоровье, за здоровье Титова, Киреевского и прочих отсутствующих наших друзей. Я им рассказал как мы встретили у тебя 1831 год, как пили и ели, и как мы старались предугадать в каком состоянии и где найдет нас 1832 год".

Сообщал Кошелев и о своих:

"Шевырев славный малый, но жестокий теоретик и притом суховат. Такие теории строит, что слушать больно. Когда его знаешь, то нельзя не любить: и добр, и умен, и благонамерен; но мы с ним беспрестанно спорим, и почти ни в чем не согласны <…>".

В другом письме сетовал он о Рожалине, который "в совершенном упадке духа", "тоскует, воображает, что должен вскоре умереть". Рожалин направлялся домой с княгиней Зинаидой Волконской. Соболевский Кошелева порадовал: за границей он заметно переменился "в свою выгоду". Он также собирался назад, в Россию, – поселиться в Москве и сделаться "великим промышленником". "Промышленность обращает его особенное внимание, – писал Кошелев, – и если он в первые годы не разорится, то надеется сделаться миллионщиком (почтенным, по его словам, человеком)".

Кстати, планы Соболевского сбылись – с той лишь разницей, что не в Москве, а в Петербурге, на Выборгской стороне, основал он спустя семь лет в компании с другим "архивным юношей", И. С. Мальцовым, бумагопрядильную фабрику – известную Сампсоньевскую мануфактуру – и зажил, по словам Ксенофонта Полевого, "английским фабрикантом".

Сам Соболевский, не грешивший никогда сентиментальностью, – и тот, оставив свои "демонические" шуточки ("мой демон" – звал его Одоевский), выказывал князю из прекрасного далека память сердца. В день его именин, запасшись бутылкой итальянского, "взлез" он, как сообщал другу, "в шар торчащийся над крестом Святого Петра. Там лег на мраморный пол, и ну давай потягивать за здоровье его сиятельства князя Владимира Федоровича, и за здоровье ее сиятельства княгини

Миритрисы Черномодовны <…> Ты из сего можешь вразумить, посредством трансцендентального идеализма, – заключал он, как всегда, шутовски, – что я в Риме".

В другой раз отчитывался он в своих впечатлениях "Записками путешественника":

"РИМ – сборный город – владыка земли; дворцы и соборы

Неаполь – прелесть, скука и широкко

Помпея – в ней bronzes antiques, цветом как лице ее сиятельства княгини Ольги

La madonna col bambino [1] – семейственная картина; ее сиятельство с его сиятельством князем Владимиром Федоровичем (колорит заимствован у Иверской)

Соболевский глупая скотина, потому что не может вас забыть..."

Современная европейская жизнь москвичей в общем разочаровала. В разочаровании этом были, правда, свои оттенки. Неудовольствия "практика" Кошелева или "промышленника" Соболевского расходились с чувствами Шевырева, серьезно переживавшего упадок "больной" Европы, упадок, рождавший в нем мысли о русском мессианстве. Спустя несколько лет Титов, также словно стряхнувший с себя слепую юношескую влюбленность, описывал Одоевскому "туманную Германию" – не без доли снисходительной иронии и скептицизма. Но рассказ его о кумирах молодости был, тем не менее, столь полновесен, так остро и вживе давал представление о современном состоянии немецких умов, что Одоевский даже сделал попытку – правда, безуспешную – письмо это напечатать.

"В Минхене узнал я лично Шеллинга, Герреса, Баадера и пр., – рассказывал Одоевскому Титов. – Geheimratz von Schelling корчит тайного советника и нетерпим своими собратиями, но все-таки, по-моему, умнее всех; при мне он начал свои лекции о мифологии, которую почитает не смесью Аллегорий, или искаженных исторических фактов, но самородным, **невольным** созданием духа человеческого. Он трудится над сочинением о Философии Богословия, но как думают многие, едва ли решится когда-либо его выдать: поле слишком обширно, и он принялся возделывать его уже в поздних летах. Преподавание Шеллинга отличается ясностию и резкостию почти французскою. Геррес, напротив, читая или лучше сказать скандируя свои лекции, похож на Пифию, качающуюся на своем треножнике и оживленную не духом, а каким-то **чадом** истины. Отличительная черта его – воображение сильное и неправильное. Большие мысли часто мелькают, но как герои Оссиановы, в тумане, и невесть куда бредут и откуда. Он преподает всемирную историю, готовит сочинение о родоначалии европейских народов и кажется убежден, что понимает даже историю русскую: в чем я сомневаюсь. – Баадер не начинал еще при мне своих лекций, но я несколько раз с ним беседовал: его мнения показались мне смесью нескольких широких теоретических мыслей с детскою неопытностию в практичес-

---

[1] Мадонна с младенцем (*ит.*).

ком отношении. Любимая его идея – восстановление догматического, чистого католицизма, но без Папы, и он не сомневается в том, что это возможно. Баадер теперь пишет **догматическое Богословие.** – Сообщи все это Сербиновичу, который интересовался знать, что делается в Минхене и прибавь, что Шеллинг остался протестантом как был прежде, хотя и убежден в недостаточности протестантизма <…>

Изо всего этого ты можешь заключить, что лично я был очень доволен немецкими учеными. Народ сообщительный, доверчивый и ласковый гораздо более чем я полагал прежде. Правда, мне у них пособили частию рекомендация Жуковского, частию мое германское красноречие и дипломатическое звание: ибо на дипломата, который пытается судить о предметах отвлеченных, смотрят почти с таким же любопытством, как на японца, который бы принялся брать уроки вальса или французской кадрили..."

Не покидая Петербурга, Одоевский наблюдал свою духовную родину глазами друзей, единомышленников московской жизни. Впечатления были противоречивы. Иные из тех, кто так рвался в Европу, возвращались оттуда славянофилами.

Ему же, вожаку "любомудров", еще только предстояло самому испытать их восторги и разочарования.

...Ранней весной 1832-го, когда Кошелев сообщал Одоевскому о возвращении Рожалина, был на пути в Россию и Шевырев. Летом того же года вернулся в Москву и сам Кошелев. Спустя год появился там Соболевский. Возвращаясь из дальних странствий, возвращались они и к оставленным на время делам и занятиям.

Кошелев был доволен, очень доволен Москвой: "Нашел здесь круг знакомства очень приятный, – писал он Одоевскому. – Баратынского люблю как душу свою. Редкий человек! Я николь не подозревал в нем по его стихам такой глубины чувства и ума. Я с ним видаюсь ежедневно. Киреевский все так же мил и так же ленив. Свербеев мне сперва не нравился, но теперь очень с ним сошелся и вижу в нем весьма хорошего. Жена его прелестная. Если б все женщины были на нее похожи, то все бы в пеленках переженились. Шевырев готовится профессорствовать. Мельгунов предполагает издавать журнал "Переводчик", в котором помещены будут лучшие статьи из иностранных журналов. Раз в неделю (по пятницам) мы собираемся у Свербеева; по понедельникам то у нас, то у Елагиных. – Одним словом нам всем очень приятно. Есть с кем душу отвести..."

Возвращались москвичи и к литературной деятельности – на этот раз, кажется, с меньшей предубежденностью против союза с петербуржцами. Опыт "Московского вестника", общение последних лет пошли на пользу.

Вновь начали затеваться совместные литературные предприятия. Однако – не только.

ГЛАВА VII.

"ДОМ СУМАСШЕДШИХ"

24 декабря 1830 года выходят в свет "Северные цветы на 1831 год". На его страницах – рядом с Пушкиным, Вяземским, Баратынским, Федором Глинкой, едва еще известным публике Гоголем, рядом с друзьями по прежнему "любомудрствованию" Титовым и Шевыревым – Одоевский, его небольшая новелла "Последний квартет Беетговена" – о великом композиторе, о трагическом конце "опальной, отринутой от мира" души.

"Музыкальную статью" о Бетховене Одоевский задумал еще в 1827 году, под непосредственным впечатлением известия о кончине великого венца, и уже спустя месяц и три дня после смерти Бетховена обещал ее Погодину, сообщив и свой замысел: "о музыкальном характере" композитора.

Приобщение Одоевского к музыке Бетховена началось едва ли не в пансионские годы: "Теперь Лист в Париже играет на больших концертах простые сонаты Бетховена, по которым мы все учились играть на фортепиано", – обронил он как-то в одной из позднейших своих рецензий.

Перед творениями знаменитого маэстро Одоевский преклонялся. Он знал их до тонкостей и считал, что Бетховен достиг в музыке высот еще небывалых, хотя музыка эта и не несла ни легкого наслаждения, ни покоя. Однако Одоевский собирался писать вовсе не о славе Бетховена, а о трагедии его. О трагедии могучего повелителя звуков, постигшего высшие тайны гармонии, о таком же непреклонном мученике истины, как и Иордано Бруно, – оба, шагнувшие через головы "мелочной посредственности" далеко вперед, неколебимо несли свое предназначенье до конца, со спокойным сознанием собственной, высшей правоты.

Новелла Одоевского о музыканте, сраженном глухотой, в которой с романтической небрежностью были отброшены биографические реалии (да они еще почти и не были известны – в петербургских книжных лавках о композиторе ничего не отыскалось!), оказалась вместе с тем пронизана иной, неизмеримо более высокой, психологической достоверностью. Не случайно спустя десятилетие поэт-петрашевец А. П. Баласогло утверждал, что ни одна самая полная биография Бетховена, "преусердно настроенная даже немецким критиком по ремеслу", не даст и того малейшего представления о композиторе, которое почерпнет читатель из небольшой "статьи" князя Одоевского.

Бетховен стал первым героем задуманного писателем произве-

дения под названием "Дом сумасшедших" – монументального памятника "гениальным безумцам".

Уже на склоне лет, давно успокоенный от романтических страстей, Одоевский высказался как-то "о роли гения", и в частности о великих композиторах, в том смысле, что они "всегда опережали условные теории и подвергались за то нападкам".

Теперь же, в самом начале 1830-х, он создает "характер", трагический накал которого заключается вовсе не в глухоте музыканта, а в том, что, познав "бездну, разделяющую мысль от выражения", Бетховен уходит из жизни непонятым, на вершине своих открытий.

В этом неистовом образе, вышедшем из-под пера молодого русского писателя, и в самом деле поразительно сочетались немногие скупые факты и свободная фантазия, каноны романтического письма и тончайшее, истинное понимание природы бетховенского гения.

Историческая достоверность прототипа, выбранного с поразительной художнической отвагой, с какой-то даже дерзостью, безошибочно уловленная глубинная причина трагедии великого музыканта придали созданному Одоевским романтическому образу, несмотря на биографические несоответствия, силу жизненной достоверности. Баласогло заметил это проницательно. Новелла опиралась не на бытовые, а на психологические реалии. Повествование несло на себе отпечаток *живых* представлений о композиторе.

...Ближайший Одоевскому fanatico per la musica Михаил Виельгорский, также страстный поклонник Бетховена, двадцатилетним юношей, будучи в Вене, имел счастливую возможность познакомиться с маэстро лично и присутствовать на первом исполнении Пятой и Шестой симфоний. Спустя несколько лет в своем подмосковном имении Луизино он организовал "бетховенский цикл": силами домашнего симфонического оркестра здесь были исполнены семь симфоний. Домашние концерты Виельгорского (не только в подмосковной, но и в самой Москве) – его знаменитые музыкальные утра еще в 1825 году горячо приветствовал на страницах "Московского телеграфа" юный Одоевский: "...едва ли можно встретить в России что-либо подобное сим концертам..." Здесь господствовал "вкус, напитанный глубоким изучением искусства и оживленный пламенною, бескорыстною к нему страстию". Имя Бетховена фигурировало в этих концертах неизменно.

Известно, что Виельгорский был прекрасным рассказчиком. Трудно предположить, чтобы он в нескончаемых "музыкальных" беседах с другом не вспоминал знаменательной встречи, чтобы Одоевский, захваченный своим замыслом, не выспрашивал у него новые и новые подробности. Все это столь неожиданно явилось потом в его "Последнем квартете...": ощущение личности героя, точный зрительный образ, счастливо соединившийся с образом музыкальным.

Непонятная, пугающая, дерзкая новизна последних творений венца, нараставшая его глухота уже среди современников породили толки не только о падении таланта, но и о безумии великого маэстро.

Одоевский помнил эти толки хорошо, помнил, как суетная молва величала сумасшедшим творца "Кориолана" и "Фиделио".

С этого и начинается повествование: музыканты разыгрывают один из последних квартетов Бетховена и, приведенные в отчаяние "бессмыслицею сочинения", которое они готовы счесть за насмешку "над творениями бессмертного", в отчаянии бросают смычки. "Одни приписывали упадок его глухоте <…> другие – сумасшествию..." И снова – ниточка, ведущая к музыкальному кружку Виельгорского. Сохранились воспоминания, запечатлевшие сцену, поразительно напоминающую ту, которой открывается новелла: знаменитый петербургский скрипач А. Ф. Львов, "пробуя" у Виельгорского один из последних квартетов Бетховена, швырнул в раздражении на пол свою партию, а затем в письме к Н. Я. Афанасьеву воскликнул в сердцах: "...как вы, Н<иколай> Я<ковлевич>, не видите, что это писал сумасшедший?"

Спустя год после выхода "Последнего квартета Бетховена" в "Северной пчеле" появилась маленькая заметка Одоевского об очередном концерте Филармонического общества, в котором впервые прозвучал для русской публики и бетховенский "Кориолан". Все прочие пьесы, исполненные в тот вечер, слились в памяти рецензента «в одного "Кориолана"» – несколько вдохновенных его строк об этой гениальной увертюре прозвучали продолжением уже снискавшей шумный успех новеллы. "Кориолан" возник перед Одоевским, "как колоссальный призрак души, посетившей наш мир для того, чтоб оставить ему в наследство свою тень, независимую и вечную, как вселенная... Слушая "Кориолана", – писал Одоевский, – веришь, что он, как мир, был создан единью мыслию... "Кориолан" есть создание души опальной, отринутой от мира. Бетховен *выстрадал* сей венец".

Едва ли не одним из первых принес Одоевский свой дар памяти великого маэстро, смиренно сложив его к подножию будущей бетховенианы; одним из первых возвестил он и о победном возвращении гения в мир:

"...Гений его возвратился к земной жизни путем, достойным его предназначения. Мы слышали последний отгул страстей, за которыми последовали не спокойствие, но мрачная тишина, изнеможение души. Так пролетит зловещая комета, и долго огненная полоса лежит на черных тучах; так промчится буря, и долго после нее низвергаются подорванные скалы".

Возвращения к Бетховену, к размышлениям о приговоре, вынесенном великому композитору близорукой "толпой", станут отныне для Одоевского лейтмотивными. Они будут постоянно углубляться и расширяться, рождая новые мысли, вовлекая в свой круг все новые явления. Спустя шесть лет он напишет специальную статью "Кто сумасшедшие?", в которой будет утверждать, что не было, в сущности, ни одного великого человека, ни одного "избранника духа", который в час зарождения в нем нового открытия не казался бы окружающим сумасшедшим, что ни одна новая мысль не являлась на свет иначе, как поруганною. В это же время мысли о "безумии" творческом и

"безумии" социальном сливаются в его сознании воедино: рядом с Бетховеном встает Чацкий. Извещая в "Северной пчеле" петербургских любителей музыки об ожидающем их "торжественном празднике" – первом исполнении Девятой симфонии, долгое время пролежавшей в пыли и "задушенной презрением мелочной посредственности", Одоевский предвосхищает возможные пересуды мнимых знатоков, чье тупое и самодовольное осуждение Бетховен испытал на себе, как никто другой, – и в предвосхищении этом легко и свободно входит вдруг в "грибоедовский" тон:

"...Филармоническое общество во втором своем концерте даст его 9-ю симфонию. Это ужасно! 9-ю симфонию? Ту самую, за которую он был почтен сумасшедшим, как Чацкий!.. Что скажут Фамусовы музыкального мира? Разумеется, что:

По матери пошел, по Анне Алексевне,
Покойница с ума сходила восемь раз".

Борьба за Бетховена становилась продолжением борьбы за Грибоедова и его бессмертную комедию. Быть может, здесь коренились начала и зрелых раздумий о "безумцах" политических – декабристах... Романтический гимн "гениальным безумцам" с годами все более обретал иной, обобщающий смысл.

"Последний квартет Бетховена" сразу обратил на себя внимание – его автора ожидало всеобщее, восхищенное признание. Глубоким смыслом этой маленькой новеллы тотчас проникся Пушкин. "Северные цветы" застали его в Москве, накануне женитьбы, но прочитаны были быстро. Сквозь общее неудовольствие альманахом прорывается искренний восторг – поэт прочит Одоевскому европейскую славу. "Музыкальная" тема была в это время Пушкину особенно близка: он сам только что привез из Болдина своего "Моцарта и Сальери", и не исключено, что ранее он говорил об этом предмете с автором "Бетховена" – уже признанным музыкальным авторитетом, к тому же ярым "моцартистом" и поклонником "Дон Жуана".

Однако о восторгах Пушкина Одоевский узнал лишь полтора месяца спустя. 21 февраля Кошелев писал ему из Москвы:

"...Вчера на бале у Щербининой встретил Пушкина. Он очень обрадовался. Свадьба его была 18-го, т.е. в прошедшую среду. Он познакомил меня с своею женою, и я от нее без ума. Прелесть как хороша. Сегодня вечером еду к ним. Пушкин весьма доволен твоим "Квартетом Бетговена". Он говорит, что это не только лучшая из твоих печатных пьес (что бы не много значило), но что едва когда-либо читали на русском языке статью столь замечательную и по мыслям, и по слогу. Он бесится, что на нее обращают мало внимания. Он находит, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную; а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века".

Одоевский входил в большую литературу – и входил в нее, как писатель пушкинского круга.

Спустя год после триумфального столичного дебюта в тех же "Северных цветах" появляется вторая его новелла из цикла о "сумасшедших" – "Opere del cavaliere Giambattista Piranesi". В примечании, как бы предвосхищавшем читательскую догадливость, была подтверждена связь нового произведения с "Бетховеном": "...они суть отрывки из одного и того же сочинения, лишь несколько округленные".

Но хотя этот, второй, "отрывок" – о безумном архитекторе Пиранези – и был написан вслед первому стремительно, детальный план будущего художественного "здания" вряд ли еще был прояснен тогда до конца.

Первое достоверное свидетельство о характере и масштабах "Дома сумасшедших", его оформленные контуры, как и само название, сохранил для нас двадцатитрехлетний Николай Гоголь – тогда молодой еще сочинитель из Малороссии, сравнительно недавно явившийся в Петербурге, но успевший уже покорить своим дарованием самых взыскательных литературных судей и публику. Усиленно протежируемый Плетневым и Жуковским, обласканный Пушкиным, был он горячо принят и под крыло Одоевского, с которым они сошлись как-то сразу и коротко. Эта привязанность Гоголя оказалась глубокой и устойчивой, ее отзвуки слышатся и спустя годы в его римских письмах; он хранил в памяти имя друга – среди "немногих сладких для сердца имен, – имен, унесенных с родины".

Подпал молодой писатель и под творческое обаяние князя.

30 ноября 1832 года, только что вернувшись из родной Васильевки, сообщал Гоголь Ивану Ивановичу Дмитриеву в Москву последние столичные новости и среди прочего, явно под свежим впечатлением только что происшедшей встречи, рассказал о литературных планах Одоевского. «Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, – писал Гоголь, – вроде "Квартета Бетховена", помещенного в "Северных цветах" на 1831. Их будет около десятка, и те, которые им написаны теперь, еще лучше прежних. Воображения и ума – куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке! Они выйдут под одним заглавием "Дом сумасшедших"».

Одоевский и сам только что появился в столице после того летнего путешествия, что предполагалось еще прошлым летом, но не состоялось из-за холеры, – князь тогда писал, как мы помним, Варваре Ивановне Ланской о своем страстном желании вырваться в деревню для литературной работы. Теперь они с Ольгой Степановной осуществили прошлогоднее намерение: в Москву и подмосковную Ланских Варино, где дожидалась супругов Варвара Ивановна, к матушке в Дроково – на короткое свидание (кажется, первое после женитьбы) и для хозяйственных и денежных разговоров, а затем – в костромскую. По дороге туда очень звал их заехать к себе в Николаевское отобедать Иван Сергеевич Одоевский, обещавший молодым княжеский прием: "Так хотелось бы вас видеть, обнять, расцеловать и о многом поговорить с вами".

Скорее всего, именно в это лето общий замысел будущего произведения и оформился окончательно, тогда же, вероятно, получив

и свое название: "Дом сумасшедших". На приволье, не обремененный службой, писатель мог не только свободно работать, но и обсуждать задуманное с Варварой Ивановной, отправившейся с Одоевскими и в Кострому, – ее литературному чутью доверял он особенно, делясь с ней в письмах из Петербурга даже едва забрезжившими идеями и получая в ответ подробные и дельные советы, приправленные нелицеприятной и строгой критикой. Не случайно третью новеллу, предназначенную для "Дома...", – "Импровизатора", здесь, возможно, и написанного, посвящает Одоевский именно ей.

Ни Кошелева, ни Шевырева князь в Москве не застал – зато Титов, находившийся в Греции и будто подслушавший на расстоянии тысяч верст "тайное тайных" друга, сообщал ему еще в марте из Пороса: "О Бейроне я узнал несколько смешных анекдотов; он оставил по себе в Афинах славу сумасшедшего".

Гоголь оказался, очевидно, первым, кому рассказал Одоевский о результатах своей летней работы: он привез с собой не только готовый план "Дома...", но и, по свидетельству Гоголя, несколько новых "повестей", написанных "теперь" и только что ему читанных. "Пиранези" к этому времени был уже публике известен – "Северные цветы на 1832 год" появились на книжных прилавках в самом конце 1831-го. На страницах альманаха новелла Одоевского соседствовала с пушкинским "Моцартом и Сальери".

Возможно, "Пиранези" явился в "Северный цветах" не без участия поэта. Оба произведения близко соприкасались по теме – они были о нравственных началах искусства, однако Одоевский вел здесь свой "голос". Сама тема была задана им уже в "Бетховене". Теперь, как бы согласно канонам фуги, начиналась ее разработка.

Одоевский твердо заявлял себя писателем-философом. Все, что передумал он за годы молчания, все, над чем бился мучительно в ученых своих занятиях, начинало обретать стройную систему – собственную философию жизни, человеческого бытия. Уже в Бетховене воплотил он не просто романтическую идею художника и не понимающей его "толпы", идею трагического разрыва между "мыслью и выражением", но и гордый образ гения, опередившего время.

Спустя десятилетие он не без горделивого сознания собственных заслуг заметил как-то Краевскому, что его "наблюдения над связью мысли и выражения принадлежат к области, доныне еще никем не тронутой и в которой, может быть, разгадка всей жизни человека".

В "Пиранези" раздумья Одоевского о судьбе и назначении человека искусства шли дальше: теперь они касались нравственной природы таланта. Он вновь повествовал трагедию гения, но на этот раз характер трагического конфликта его героя – не только с миром, но уже и с самим собой – был иным. Бетховен, несмотря на разлад его с окружающей жизнью, предстал перед читателями натурой не только целеустремленной, но и цельной. Пиранези же являл человека с "разорванным" сознанием. Он одержим замыслами грандиозными, быть может, даже гениальными, но бесплодными. Его архитектурные затеи – срыть Монблан,

чтобы открыть вид на спроектированный им увеселительный замок, или соорудить триумфальную арку, которая соединила бы Этну с Везувием, – безумны, но это "безумие" не дышит священным огнем вдохновенного провидения, от него веет какой-то устрашающей, почти бесовской силой, оно холодно и мертво. Именно безжизненность "прекрасных фантазий", безжизненность самого дара Пиранези и таит в себе, по мысли Одоевского, разгадку природы "злого гения". Невовеществленные идеи порождают "духа-мучителя", "дух-мучитель" родит озлобленность в сердце, озлобленное сердце становится источником адских, губительных не только для одного человека, но и для всего человечества замыслов. "Слушайте и удивляйтесь... – исповедуется Пиранези. – Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня..." Чудовищные изобретения Пиранези – разного рода темницы с бездонными пещерами, цепями, замками, "украшенные" всевозможными приспособлениями для казней и пыток, – плод "преступного воображения", которое могла питать только озлобившаяся душа. И творения архитектора мстят своему создателю. Они давят его "своею громадою" и "с ужасным хохотом" просят у него жизни. "С этой минуты я не знаю покоя, – с отчаянием признается он, – духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов, – заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел, каждый нерв подвергают нежданному страданию, – и между тем, жестокие, прядают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание, – и наконец, изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю".

Одоевский откровенно проводит "падшего" своего героя сквозь круги ада. Бессмысленное, не направленное на благо расточительство таланта, отпущенного человеку природой, есть, по мысли писателя, тяжкий грех, с неизбежностью обращающий всякую деятельность в преступление. За это и "наказывает" Одоевский своего героя "космически": он придает ему черты Вечного жида, осужденного Христом за безнравственный, немилосердный поступок на вечную муку. И Пиранези, подобно его апокрифическому праотцу, назначено вечно маяться на земле. Снедаемый, беспрестанно подгоняемый бушующими в нем адскими страстями, он кочует из страны в страну – из Европы в Азию, из Азии в Африку – в надежде отыскать руины, которые смог бы он

воссоздать своей творческой силой. Но тщетно: талант изменил ему давно, а за сомнительные труды оставлена одна лишь убийственная "награда" – трепетать от радости при виде разрушений и в бессильной зависти биться о гордые стены бессмертных творений своих великих учителей. "Обнаженное сердце поэта" погибло в нем невозвратно.

При всей разности творческих задач и несхожести поставленных проблем Одоевский солидаризовался с Пушкиным в основной мысли: "Гений и злодейство – две вещи несовместные".

Мир фантастического, мир мечты, открытый романтиками как благо, как исход, вдруг обрел под пером Одоевского зловещий колорит, заиграл мрачными брейгелевскими красками. Романтики увлекали в небо; к свету – вершинам человеческого духа – был устремлен еще его Бетховен. В "Пиранези" же писатель, казалось, неожиданно низвел своего героя в ад – ад человеческой души, из тайников которой с ядовитым шипением выползает растревоженный, вызванный к жизни змий зла. Пожалуй, у русских романтиков это был первый суд над "блаженством безумия", по слову Полевого.

Эти глубокие, продуманные философски и обоснованные самой жизнью мысли о природе творца – носителя зла, облаченные, казалось бы, в сугубо романтическую форму, на самом деле расходились с романтическими представлениями в существенном: "надмирность" "злого гения" Пиранези оказывается иллюзорной: Одоевский фактически лишает его ненаказуемости, поставив в зависимость от законов человеческого общежития.

Правда, уже в этой новелле писатель начинает свою завлекательную "мистическую" игру с читателем, которому – также навечно – оставил он лукавую загадку о своем злосчастном герое: то ли и в самом деле Вечном жиде, то ли несчастном художнике, не совладавшем со своим буйным воображением и сошедшем от этого с ума.

Тем не менее, как бы подчеркивая жизненную конкретику этого романтического повествования, Одоевский параллельно с ним создает "русский вариант" новеллы, первоначально впрямую так им и названный – "Русский Пиранези". Любопытно, что в черновиках уже "итальянский" Пиранези разгуливал "по улицам петербургским". Готовя вторую новеллу к печати, писатель переименовал ее в "Бригадира". Это была как бы "злободневная", современно-национальная вариация на заданную философскую тему: на этот раз Одоевский рассуждал о тщете бесполезной жизни и том огромном зле, которое приносит ежедневно, ежечасно тупая, лишенная всякого смысла человеческая деятельность вообще – будь то чиновничья служба или ложно понятое, неумелое воспитание детей. Именно об этом – позднее раскаяние и "посмертная" исповедь прожившего вполне благополучную, не хуже других, жизнь бригадира – "русского Пиранези".

В этих двух новеллах – впрочем, как отчасти и в "Бетховене" – отразилось много личного.

Боготворимый Шеллинг, Христофор Колумб XIX века, как скажет потом Одоевский, привнес в философию поэзию и открыл человеку

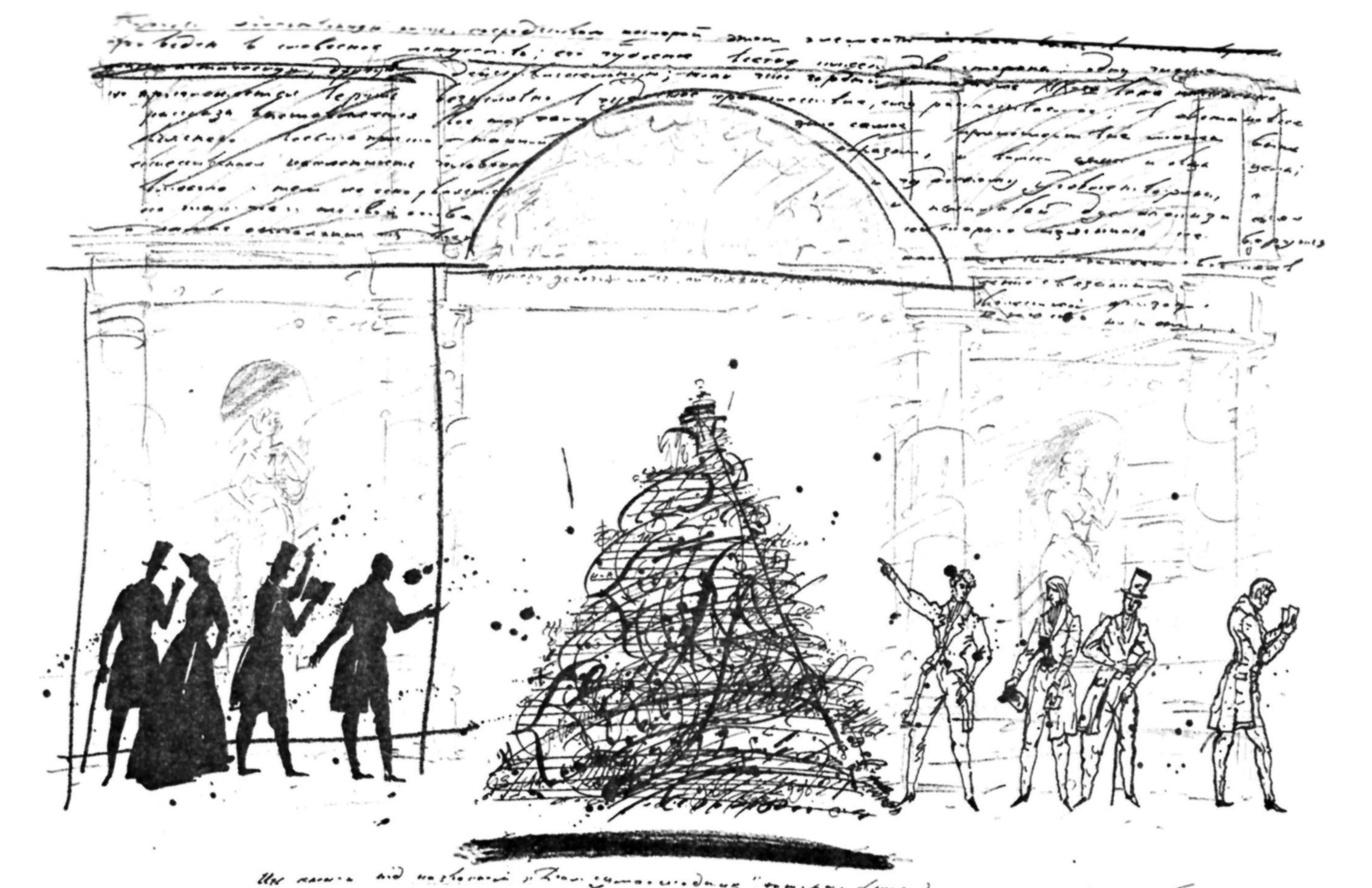
душу его – русский писатель, усвоив уроки Учителя, начал наполнять классические философские абстракции собственным реальным содержанием, поверять философию и своей, и окружавшей его жизнью, внося в общезначимые представления новые коррективы. В 1844 г. он признавался, например, Краевскому, что хотел выразить в "Пиранези" собственное психологическое состояние, когда самопроизвольно родившаяся мысль начинает мучить его, "разрастаясь беспрестанно в материяльную форму".

Не только для своих героев, но и для себя избрал он путь неустанного, необходимо-полезного служения обществу на любом поприще, какое бы ни предложила ему судьба, – государственном, писательском или общественном, невзирая на насмешки, ропот недоумения или даже негодование "толпы". Так понято было собственное назначение еще в молодости. Идея "общественной пользы" и теория "малых дел", осветившие много позже путь разночинной интеллигенции, родились, быть может, в тиши московского Газетного переулка, в долгих беседах "любомудров". Парадоксально, но именно они, новое "философствующее" поколение, в отличие от петербургских "вольтерьянцев", наследовали эту традицию передового российского дворянства – традицию государственного служения, и стали сознательно активными и опытными практическими деятелями: экономистами, судьями, промышленниками. Не случайно Титов, еще в 1826 году одобряя вступление Одоевского в службу, писал, что нельзя упускать случая делать хоть малое добро. Таковым стало их жизненное кредо, и Одоевский, проникнутый этой идеей, уже следовавший ей в жизни, утверждал ее теперь и в своем творчестве. Утверждал и философски, глубоко задумываясь над свойствами человеческой натуры и смыслом человеческой деятельности и преломляя высокую мысль сквозь нужды "сиюминутной" жизни, в которой "неумолимые условия общества" порождали "русских Пиранези".

Он будет потом неустанно говорить об этом впрямую – и специально, и по каким-либо поводам, говорить так, как отчетливо задалось это впервые здесь: и в смысле общечеловеческом, философском, и в злободневно-практическом, обличительном.

Своего "Пиранези" Одоевский посвятил Алексею Хомякову – и неспроста. Это был знак и памяти сердца, и верности прошлому – горькое расхождение с москвичами, бывшими единомышленниками, ждало его еще впереди. Однако не только это. Одоевский вводит в повествование легкие портретные штрихи друга, дав рассказчику новеллы и его имя – Алексей Степанович. В описанных им библиофильских "страстях" проглядывал другой его друг – Соболевский, известный книжный знаток и собиратель. Это, пожалуй, первые его зарисовки "с натуры" – первые, не очень уверенные, но крайне важные. Отныне прием этот будет набирать силу: автобиографические "медальоны", реалии собственной жизни станут одним из существенных принципов его художественного письма.

"Пиранези" не имел такого заметного успеха, как "Бетховен", – новелла казалась не столь эффектной и менее понятной. Однако Одоев-



ский должен был подавить в себе горечь некоторого разочарования: он начал создавать свою Книгу жизни, свою Девятую симфонию, и на этом тернистом пути ему предстояли те же испытания, что и его Бетховену: разрыв не только с непонимающей "толпой" – с читателями, но и с ближайшими друзьями будет с годами заметно увеличиваться. В "Бетховене" он предвосхитил свою писательскую судьбу. Создавая следом образ Пиранези как антипода великого венца, он как бы утверждал свой идеал и свое жизненное кредо от обратного.

"Дом сумасшедших" начал активно "заселяться", о нем уже довольно широко знали друзья, но и они, похоже, не вполне постигали его замысел.

Примерно в это время москвичи задумывают новый альманах, и Мельгунов пишет по этому поводу князю:

"Да было бы вам известно, что наша литературная братия московская предложила мне издавать Альманах к Святой неделе. В нем назначено встретиться всем нашим, сверх того вкладчиками нашими будут и сотрудники Северных Цветов. Баратынский пишет о том к Пушкину, Вяземскому, Козлову, Гоголю; молвите им и вы от себя слово. Я же пишу к Жуковскому, Языкову, Ф. Глинке и пр. Надеемся и на ваше соучастие. Не пришлете ли нам одного из оригиналов вашего Сумасшедшего дома? Или другое что-нибудь. Но ваша статья необходима. Это голос всех, и я их орган". Боясь, что у Одоевского нет ничего заготовленного впрок, Мельгунов пытается заинтересовать его новым сюжетом, как нельзя более, по его мнению, подходящим, и предлагает для "Дома" примечательный, с его точки зрения, персонаж – немецкого историка Бартольда Нибура, автора знаменитой "Римской истории". "...Не включите ль в него и Нибура, – спрашивает он, – который может быть героем самой разительной повести. Удар Судьбы ужасен: посвятить всю жизнь труду исполинскому, видеть его окончание, наслаждаться заранее ожидавшею его славою, и вдруг – потерять все это в одну ночь! Пламя пожрало рукопись 3-го тома, он сошел с ума. Жена не пережила несчастия своего мужа, и он остался один на своем пепелище. В этом происшествии есть что-то высокотрагическое, и если бы вы прикоснулись к этому предмету, то нет сомнения, что извлекли бы из него золото".

Извлекать "золото" из сюжета Мельгунова Одоевский, однако, не стал – в первую очередь, конечно, потому, что и предложенная фабула, и герой ее были о другом: род простого клинического сумасшествия его не занимал. "Психическую историю болезни", по выражению Белинского, – "Записки сумасшедшего" – начал, напротив, создавать вскоре Гоголь. Заразившись идеей "сумасшествия" и задумав вслед Одоевскому "Записки сумасшедшего музыканта", он в итоге, как и в "Портрете", низвел "высокого безумца" с романтического пьедестала, превратив его в петербургскую чиновничью "мелочь", в жалкое существо, доведенное "до гнусной степени пошлости, нравственного и умственного ничтожества". Однако важно, что тот же Белинский увидел и в этом "уродливом гротеске", в этой "добродушной насмешке

над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком" не только "бездну поэзии", но также и "бездну философии".

...Выхода полного "Дома сумасшедших" продолжали ждать с нетерпением. О нем спрашивали постоянно в письмах из Москвы. В 1833 году Одоевский в предисловии к вышедшим "Пестрым сказкам" вновь подтвердил свое намерение и повторил раннее обещание: "Нужным считаю присовокупить, – сказано было здесь от имени "издателя" В. Безгласного, – что я на себя же взял издание давно обещанного "Дома сумасшедших"; сочинение, которое впрочем, сказать правду, гораздо больше обещает, нежели сколько оно есть на самом деле". Н.Полевой, рецензируя "Пестрые сказки", не скрывал своего разочарования по поводу того, что они увидели свет прежде "Дома...".

Наконец, в альманахе "Альциона" на 1833 год, также принадлежавшем пушкинскому лагерю – его издавал барон Е. Ф. Розен при участии поэта и его творческих единомышленников, – появляется третья новелла цикла – "Импровизатор", и Одоевский сопровождает ее следующим примечанием: "Из книги под названием "Дом сумасшедших", которая в непродолжительном времени будет выдана".

Здесь писатель продолжал развивать тему, заявленную в "Последнем квартете Бетховена", – о "бездне", разделяющей "мысль" и "выражение", о самоценности творческого процесса – неизбежно мучительного, ибо он есть не что иное, как путь поиска и постижения истины. Именно поэтому подлинному художнику и назначено страдание, творческие муки, требующие сосредоточения всех его душевных сил, доводящие его до "безумия". Эту цену платит творец за самые высокие свои озарения, за то лучшее, что способен создать человеческий гений. "Humanuni generis mater, nutrixque profecto dementia est" – "Безумие, конечно, мать рода человеческого и кормилица" – вспомнит писатель спустя несколько лет древнее латинское изречение.

Но эта – "бетховенская" – тема осложнена в новом рассказе размышлениями, нашедшими свое отражение в "Пиранези": о гибельности злых начал, торжествующих в человеке. Однако источник зла здесь уже иной. Причины творческого краха злосчастного архитектора коренятся в самой его натуре, они заключены в трагической "недосказанности" его таланта, деформирующей личность и неумолимо ведущей к безысходному внутреннему конфликту, доводящему до безумия. Герой же "Импровизатора", для того чтобы избежать мук Пиранези и обрести уже не только способность "производить без труда", но и богатство, идет на сознательный сговор с враждебными естественной человеческой природе "чудесными" силами. Киприяно – посредственный и бедный поэт, уставший грызть перья в ожидании вдохновения, но вместе с тем наделенный всеми причудами творческой натуры, – просит доктора Сегелиеля, владеющего таинственными чарами, избавить его от "вечного страдания" – от неспособности "мыслить", неспособности "выражаться" и даровать взамен легкое вдохновение. Однако впридачу Киприяно получает от насмешливого "магика" еще один зловещий дар: "все видеть, все знать, все понимать". Отныне перед его всепроникаю-

щим взором мир распадается на атомы – вместо серебряных волн видит он лишь мириады инфузорий, вместо прекрасных глаз возлюбленной – "сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости". Киприяно купил колдовскую способность бездумного стихотворства и богатство страшной ценой: мир поэзии разрушился для него навсегда. Он превратился в "холодного жреца", на смену "сладким мукам создания" пришло "самодовольство фокусника". Блестящие импровизации, эти "фантасмагорические видения из волшебного жертвенника", которыми покорял он слушателей, были бездумны и не стоили ему ни малейшего труда, "высокое таинство зарождения мысли" превратилось в дело "легкое и весьма обыкновенное" – то был "чертов мост с китайскими погремушками", протянувшийся для него над бездной, отделявшей "мысль от выражения". Лишь алчная радость наживы оживляла его на мгновение искренней радостью. Предрешен и жалкий его конец. Возмездие, уготованное Киприяно, – сродни тому, что заслужил Пиранези: нескончаемые скитания по чужбине, из страны в страну, в безуспешном бегстве от пагубного дара Сегелиеля – и от самого себя; истерзанный, жалкий, он находит последний приют в деревне у степного помещика, в роли шута.

Идеи "Дома сумасшедших", все усложняясь, получали сквозное развитие, и Одоевский был здесь очень последователен.

Пушкин, однако, через два года – намеренно ли или нет, но оспорил в "Египетских ночах" основную мысль "Импровизатора": если для создателя Киприяно искусство импровизации означало утрату творческой свободы, слепое подчинение капризным вкусам "толпы" и подмену истинного искусства – холодным ремеслом, то Пушкин относится к неизъяснимой и прекрасной для него способности своего героя как к дару "свободного вдохновения", редкостному проявлению истинной, высокой поэзии.

Это тем более любопытно, что впечатления обоих творцов питали, возможно, одни и те же литературные и жизненные впечатления – об импровизаторах писали и говорили в ту пору много. Вживе были и выступления немецкого поэта-импровизатора Лангеншварца в Петербурге в 1832 году – того самого, в котором предполагают даже прототип героя Одоевского.

Толки прессы оказались разноречивы. Рецензент "Московского телеграфа" нашел в новелле Одоевского "нечто несообразное с истиною поэзии": "Мне кажется, он просто сумасшедший, ваш Киприяно!" "Молва" высказалась сочувственнее и – проницательнее. Здесь выделили "Импровизатора" из всего, что было напечатано в "Альционе", увидя в нем "род философической поэзии", отметив "оригинальный сгиб ума, могущественную фантазию, мастерство рассказа". Воздерживаясь от окончательного суждения до выхода всего "Дома сумасшедших", в "Молве" тем не менее предрекали: "Если неизвестный автор выдержит себя везде, то мы заранее поздравляем нашу словесность с зарею Философической повести, гостьи у нас еще небывалой".

Спустя десятилетие конкретнее раскрыл авторскую идею Белин-

ский. Он написал, что в "Импровизаторе" "прекрасно развита мысль о бесплодности и вреде знания, приобретенного без труда и усилий, как источнике самого пошлого и тем не менее мучительного скептицизма, результатом которого всегда бывает искреннее примирение с пошлостью внешней жизни.

Отчасти это можно бы отнести и к гоголевскому "Портрету".

В отклике на "Opere del cavaliere Giambattista Piranesi" рецензент "Телескопа" с откровенностью признавался, что "истинный смысл" этого "прекрасного" рассказа "угадать довольно трудно". Быть может, одним из немногих, для кого этот "истинный смысл" истории Пиранези – как и других "обитателей" "Дома сумасшедших" – прозвучал внятно и увлекательно, был Гоголь: "ум и воображение" Одоевского оказались для него мощным творческим стимулом. Эти импульсы явственно ощутимы в "Арабесках", к которым он приступил в эту пору. Возможно, "безумцами" Одоевского была подсказана сама аура "сумасшествия", в них царящая, но несомненно и более конкретное родство идей, особенно отразившихся в начатом тогда "Портрете": мысль Одоевского о "зле" как неизбежном следствии измены художника своему высокому назначению нашла здесь свой отчетливый отзвук. Однако Гоголь – подобно тому, как это сделал и Одоевский с "русским Пиранези" – бригадиром, – погружает своих "сумасшедших" в реальную, повседневно текущую рядом жизнь – в то, что "неразлучно с нами, что обыкновенно". Психологические явления, "непостижимые в человеке", он открывает в обитателях сумеречного Петербурга, в их фантасмагорическом бытии, единодушно принимаемом за норму.

История художника Черткова в "реальной" своей ипостаси сродни истории поэта Киприяно, которого "жестокая бедность" с юных лет сжимала "в своих ледяных объятиях"; и здесь это – бедствующая молодость, дрогнувшая перед неотразимой властью золота, пусть не великий, но истинный талант, проданный за богатство и сомнительную мишурную славу.

Однако Гоголь воспринимает и принцип "фантастического" письма "Импровизатора", существенно отличный от сказочной фантастики "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (кстати, так неудовлетворивший Белинского), и словно бы следует за сюжетной коллизией истории Одоевского: и в его "реальное" повествование врывается чуждая, недобрая, иррациональная воля, олицетворенная в "антихристе" – ростовщике Петромихали. Но пафос Гоголя направлен не столько на обличение, сколько на борение с "антихристом" как носителем мирового зла. Общехристианские мотивы новелл Одоевского о грехе и возмездии он переводит в план нравственно-религиозный, говоря не об одном грехе художника, отдавшегося во власть этого "мирового зла" и предавшего свое призвание, за что ожидает его неминуемо высшая кара, но и о противостоящих "дьявольскому" наваждению божественных началах, об очищающей и искупительной силе веры.

Если Пиранези "наказан" еще Одоевским лишь за бесцельность, безжизненность своих творческих идей и в известномсмысле,по-

жалуй, являет собой лицо страдательное, то импровизатор Киприяно и Чертков – оба продают душу "дьяволу" уже сознательно – за избавление от творческих мук, сгубивших несчастного архитектора, за легкое золото и легкую, быструю славу. Тем не менее нравственный итог для всех троих – один. Безумная, почти звериная месть Черткова миру, чистому, божественному искусству за собственное творческое бесплодие сродни бессильной зависти Пиранези к творениям гениев. Не в силах совладать с поднимающимися в душе его темными инстинктами, Чертков истребляет великие холсты так же, как готов крушить создания "счастливца Микело" Пиранези.

Вместе с тем "антихрист" Гоголя, чудесным образом, подобно таинственному доктору Сегелиелю, изменяющий жизнь своей жертвы и также хранящий силу колдовской тайны ценой человеческих жизней, заметно отличен от своего ближайшего литературного прототипа – внесоциального, "вневременного". Он "двулик", и один из его ликов столь же реален, как реален и типичен для Петербурга 30-х годов талантливый, но бедный молодой художник, квартирующий в невзрачном домишке, в Пятнадцатой линии Васильевского острова. "Антихрист" Петромихали в глазах его создателя не только инфернальная сила, несущая в мир зло и неведомым нам образом влияющая на судьбы людей; это еще и ростовщик, фигура социально-конкретная, олицетворяющая также "земное", насажденное самим человеком зло – пагубную и могучую власть золота.

Одоевский, впрочем, вскоре также подхватит в полный голос эту вторую тему и выступит со страстной проповедью против "земного" зла – буржуазной власти капитала, но это будут уже не столько фантастические истории, озаренные глубоким философским смыслом, сколько исполненные пламенных обличений аллегории. Философская фантастика, обобщенно-философские обличения Одоевского обретают в произведениях его младшего друга не только своеобразное развитие и яркую художественную плоть, но и конкретное место "обитания": современный Петербург.

"Безумие" героев Одоевского – состояние души и психики, трудно поддающееся категорическим и однозначным оценкам, безапелляционному диагнозу клинического сумасшествия. Действительно, безумны ли Бетховен и Киприяно лишь в глазах окружающих или на самом деле? Ответить трудно. Гоголь же начинает сводить с ума изначально нормальных людей – и лишает их рассудка не только "фантастически", но и "социально": силой золота и силой "чина".

Такая точная временная, социальная прикрепленность, социальная "знаковость" внутри "фантастического" художественного мира в эту пору Одоевскому еще не свойственна – он, в свою очередь, попробует воспользоваться этим открытием Гоголя позднее, открытием Гоголя и – Пушкина, тогда же создавшего свои "петербургские повести" – "Домик в Коломне", "Медного всадника", "Пиковую даму", родственные друг другу одним общим мотивом, который Владислав Ходасевич определил как "конфликт, возникающий из вторжения темных

сил в человеческую жизнь". Однако эти "темные силы" фосфоресцируют на пушкинских страницах загадочным мерцающим светом, чуждым резких, контрастных всполохов. Фантастическое и реальное сосуществуют здесь почти нерасторжимо, и, скажем, тот же "дьявольский договор", этот "ужасный грех", с которым, может быть, сопряжена тайна трех карт, остается в "Пиковой даме" лишь в области предположений Германна, как возможность, но альтернативная, а не существующая в качестве безусловной данности, вроде аналогичного "договора", заключенного Киприяно или Чертковым. В своем понимании "фантастического"– за исключением, пожалуй, "Портрета" в первой его редакции, "Портрета" "Арабесок", – Гоголь тяготеет несомненно более к Пушкину, чуждому "туманностей" немецкого романтизма, но вместе с тем усвоившему самые принципы художественных открытий восхищавшего его, например, Гофмана гораздо органичнее, чем общепризнанный "русский гофманист" Одоевский, который не случайно так упорно от этого почетного уподобления открещивался, настаивая на "самости" своих взглядов. В начале 1860-х годов, готовя к переизданию "Русские ночи", он в заново написанном "Примечании" к ним объяснился по этому поводу с публикой специально. Он признал в Гофмане гениального изобретателя "чудесного", и это художественное открытие, как всякая "чужая мысль, чужое слово, чужой прием", "по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов" с неизбежностью, волею или неволею не могло не найти отклика и в нем. Однако, как уверял Одоевский, "исходный пункт" его "фантастики" был иным. И в самом деле, вряд ли, например, исполненный поэзии и художественного изящества гофмановский "гениальный безумец" – явившийся посреди филистерского Берлина "кавалер Глюк", – вряд ли это поэтическое создание выдержало бы рационалистический напор идей "Пиранези" или "Импровизатора".

Общая романтическая почва давала разные всходы. Существенное отличие "фантастической" манеры Пушкина от манеры автора "Пиранези" и "Импровизатора" очень хорошо понял потом Достоевский, увидев в "двойственности" "Пиковой дамы" "верх искусства фантастического". Это прекрасно сознавал и сам поэт, и, наверное, В. Ленц оставил уникальное в этом смысле свидетельство – уже переданную нами запись своего разговора с Пушкиным о Гофмане на одном из вечеров князя, когда поэт произнес "с неподражаемым сарказмом" свою сакраментальную фразу: "Одоевский пишет тоже фантастические пьесы"...

К пушкинскому пониманию "фантастического" придет и Одоевский, но много позже. С большим или меньшим успехом он будет пробовать его метод в своих последующих фантастических повестях, но опять же пытаясь согласовать его с собственными задачами, и в 1861 году выскажется о Гофмане совершенно в пушкинском духе. Он скажет, что Гофман "изобрел особого рода чудесное", что он нашел "единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую – действительную; так что гордый

читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое: в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, – таким образом, и волки сыты и овцы целы; естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа..." Однако именно здесь он сделал для себя ту самую оговорку об "исходном пункте", отличном от гофмановского, о котором мы говорили выше.

Четко очерченные временные границы начала 1830-х явились уникальным по-своему моментом, когда три крупнейших писателя приблизились друг к другу на максимально короткое расстояние, какое допускала очевидная разность художественных индивидуальностей, приблизились на волне романтической эпидемии "безумия", к началу тридцатых годов настигшей и русскую литературу, а по существу – на подступах к созданию той особой разновидности философско-фантастической повести, которая усваивала уже принципы реалистического мышления. Конечно, орбиты их и траектория движения были расчислены по-разному. Однако в интенсивных творческих перекличках зарождалось новое художественное явление, которое Достоевский назвал потом "фантастическим реализмом". Сами расхождения их касались одних и тех же предметов, диалектически порождая подчас сходство противоположностей, а приоритет открытия не всегда принадлежал гениальнейшему. Так, Одоевский своими новеллами о "гениальных безумцах" первым заявил о создании "философической" повести, "гостьи" до того в России "небывалой", и первым высказал свое этическое отношение к иррациональному, вторгающемуся в человеческий мир, как к источнику зла. "Безумие" же в этом контексте оказалось в понимании всех троих трагической кульминацией жизни их героев.

Однако идея "сумасшествия", явившаяся сигналом неблагополучия мира, сигналом нарушения естественного – или привычного – миропорядка, распространилась не в одном литературном сознании. Сложно и противоречиво прозвучала она и в сознании общественном, социальном. Она была "на слуху" у Одоевского еще с пансионских лет, когда Каченовский язвительно узрел кандидата в сумасшедшие в кумире московской молодежи Шеллинге. Чуть позже сами "любомудры" в глазах своих яростных оппонентов были также буквально на пороге желтого дома: воюя во времена "Мнемозины" с "главным" любомудром – "гусляром-философом" Одоевским, – Булгарин не жалел сарказмов самого разного свойства: "...полет ума за пределы природных способностей – влечет к сумасшествию!" – писал он в одной из своих полемических статей. Замечание Титова в письме к Одоевскому из Греции о Байроне, оставившем по себе в Афинах славу сумасшедшего, – тонкий и понятный обоим знак прежних, памятных разговоров. В ту пору, возможно, ходил по рукам среди московской молодежи и знаменитый памфлет А. Ф. Воейкова, который, впрочем, мог найти отклик в их душах одним лишь названием – "Дом сумасшедших".

Тогда же, на заре двадцатых, явился – не только на литературной,

но и на общественной арене – "сумасшедший" Чацкий, сразу обратив взоры молодого философа к социальным корням явления и приковав к себе его внимание на долгие годы. В одном из черновых отрывков "Дома..." под заглавием "Сумасшедший" Одоевский набрасывает сходный тип: "Человек не случайный, не танцующий, не играющий в карты, не ищущий невесты (литератор)", "...поскользнулся – нет пощады; упал – добивать до смерти; борется – нахал и якобинец". Как мы помним, Бетховен и Чацкий – великие "безумцы" – также в его сознании равноподобны.

Художественные воплощения идей и теоретические их обоснования нередко появлялись у Одоевского параллельно. Мысль о целостном здании "Дома сумасшедших" не покидала писателя года до тридцать седьмого. В 1836-м в "Библиотеке для чтения" появляется уже упоминавшаяся его статья "Кто сумасшедшие?", предназначавшаяся для "Дома..." в качестве предисловия. Ей был предпослан эпиграф из "Ада" Данте, ставший потом одним из эпиграфов "Русских ночей":

"На половине пути нашей жизни я заметил, идучи темным лесом, что прямая дорога потеряна".

Рассматривая здесь "психологическую историю людей, которых обыкновенно называют "сумасшедшими", писатель предпринимал уже попытку философского и научного осмысления глубоко волновавшей его проблемы. Он вновь повторял свои излюбленные идеи – о мысли, тускнеющей, когда проходит она "сквозь выражение", о невозможности "провести верной определенной черты между здравою и безумною мыслию". Белинский позже вспоминал, как Одоевский еще в 1847 году не шутя уверял его, "что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший".

В 1830 году, кстати, аналогично высказывался, к примеру, и Николай Полевой. В очерке с примечательным названием "Сумасшедшие и не сумасшедшие" герой его, слепец, не в состоянии уловить разницу между разговорами на вечере у богача и в доме для умалишенных. "Не правда ли, – восклицал Полевой, – что слепец бывает иногда странен, как Гофманова сказка? На что похоже, в самом деле: не различишь безумия от ума! Это, кажется, так легко..."

"Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя?" – задавался Одоевский в статье вопросом вопросов, и в подтверждение справедливости своей логической посылки анализировал механизм "восхождения" всякой новой мысли к своему пику, когда человек и способен только на великие открытия. Именно в этом состоянии, утверждал Одоевский, "все понятия, все чувства собираются в один фокус", к чему не способен никакой "здоровый" человек. Он уподоблял это состояние тому "мгновению", в которое совершается какое-либо открытие, "потому что для всякого открытия нужно пожертвовать тысячами понятий общепринятых и кажущихся справедливыми: оттого не было почти ни одной новой мысли, которая бы в минуту своего появления не казалась бреднями;

нет ни одного необыкновенного происшествия, которое бы в первый момент не возбуждало сомнения; нет ни одного великого человека, который бы в час зарождения в нем нового открытия, когда еще мысли не развернулись и не оправдались осязаемыми последствиями, не казался сумасшедшим". Одоевский напоминал, что таковыми почитали Колумба и Гарвея, Франклина и Фультона.

Он возводил гофмановских "безумцев" на высшую ступень человеческого интеллекта, придавая им высочайшую историческую и культурную значимость. И, пожалуй, впервые столь отчетливо и открыто поверял он так высоко ценимое им "инстинктуальное" знание логикой науки.

Однако до того, как была написана эта статья – предисловие, подводившее итог, – Одоевский создал еще один – наверное, самый замечательный из всех и последний – рассказ, назначавшийся в "Дом сумасшедших", – "Себастиян Бах". Но между "Импровизатором" и им пролегли два года, наполненные событиями творческой и личной жизни. Поэтому и мы оставим на время величественное здание "Дома...", возведенное уже почти под крышу, как оставил его до поры и сам создатель.

Вернемся к нему вместе с ним.

ГЛАВА VIII.

"СКРОМНЫЙ ИРИНЕЙ"

Одоевский становился признанным писателем – новеллы о "гениальных безумцах" сразу выдвинули его в число первых русских прозаиков.

Весной 1833 года Николай Мельгунов рекомендует князю молодого кандидата Московского университета Януария Михайловича Неверова как страстного поклонника его таланта: "Он <…> в восторге от ваших повестей, о которых не может говорить без энтузиазма, в восторге от вашей музыки, ибо сам музыкант – в душе; и вследствие всего этого убедительно просил меня познакомить его с вами. Он был принят здесь в круг Свербеева, Киреевского; уверен, что вы не откажете принять его и в свой круг. Вы найдете в нем юношу любознательного, свежего душою, какими мы все были в 18, 20 лет..."

Не минуло еще и семи лет столичной жизни, а молодые люди искали уже его покровительства – как совсем еще недавно, отправляясь в незнакомый Петербург, искал его он сам.

Что же до Мельгунова, то он, как мы помним, сам за два месяца до того просил у Одоевского для затевавшегося им альманаха "дани", имея в виду что-нибудь из "оригиналов" "Сумасшедшего дома". Вместо этого, однако, Одоевский отправил ему другую новинку – одну из своих "Пестрых сказок". Правда, по совпадению, письмо Мельгунова было помечено 17 февраля – днем, когда вышло и цензурное разрешение на весь сборник, но Одоевский, очевидно, "рассчитывал на выход московского альманаха до появления "Пестрых сказок" на книжных прилавках. Следующим письмом Мельгунов благодарил князя за "статью", сообщал, что альманах не состоялся "за недосугом" ("а нам русским всегда недосуг!" – добавлял он), и выражал надежду прочесть в скором времени присланную ему "повесть" в "Пестрых сказках Гомозейки".

Москвичи, по сохранявшейся еще традиции, были совершенно в курсе и этого, нового, замысла Одоевского, и Киреевский сожалел теперь, что первоначальное и оригинальное, по его мнению, название цикла – "Махровые сказки" – заменено на "Пестрые": это напоминало ему "Бальзаковы Contes bruns" – "Озорные рассказы". Тем не менее друзья прочли уже "с удовольствием велием" "Сказку о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту", отданную Одоевским в печать "для опыта", а Кошелев с Киреевским, по просьбе князя, составили даже для "Молвы" "статейку" – правда, почему-то не появившуюся, – в которой они собирались уведомить читателей

о выходе нового сочинения и обратить внимание публики на "глубокое" его значение.

Однако "Пестрые сказки", как и новеллы о "гениальных безумцах", имели свою – и притом похожую – творческую предысторию. Они также вышли из недр другого, более крупного замысла – на этот раз автобиографического: "Жизни и похождений Иринея Модестовича Гомозейки, или Описания его семейных обстоятельств, сделавших из него то, что он есть и чем бы он быть не должен". Замысел "Жизни...", оформлявшийся, очевидно, параллельно с замыслом "Дома сумасшедших", знаменовал и рождение нового литературного образа – литературного "двойника" писателя, от имени которого любил он потом исповедоваться и вести диалог с читателем на протяжении всей своей творческой жизни. Эта маска – одна из самых значительных среди тех, что стал "надевать" на себя Одоевский, вообще необыкновенно склонный к литературным мистификациям, – представляет собой столь важный этап в творческом развитии писателя, что стоит остановиться на ней подробнее.

Впервые Гомозейко, "магистр философии и член разных ученых обществ", явился на страницах "Пестрых сказок". Ему были посвящены два предисловия, предпосланных рассказанным здесь историям: "От издателя" и "Предисловие сочинителя". "Издатель" В. Безгласный рекомендовал Гомозейку, сочинителя и собирателя сказок, как человека "почтенного", но "скромного и боязливого", решившегося обнародовать свой труд с одной лишь отчаянной целью – поправить финансовые дела, дабы иметь возможность сменить старый фрак, пришедший в "пепельное состояние", на новый – "единственное средство, по мнению Иринея Модестовича, для сохранения своей репутации" – и купить страстно желаемую и продающуюся по случаю редкую книгу.

Само "знаменательное" отчество героя, восходящее к латинскому "modestus" – "скромный" и воскрешавшее в памяти просветительские традиции и собственные первые литературные опыты Одоевского, вроде "Дней досад", было выбрано писателем, конечно, не случайно – оно недвусмысленно указывало на смысловую направленность "маски". Контурный портрет, набросанный легко и иронично, обретает плоть и большую конкретность в "автопортрете" – "Предисловии сочинителя". Здесь дорисовывается облик "незаметного" человека, завсегдатая "уголков" светских гостиных.

"Когда вы где-нибудь в уголку гостиной встретите маленького человечка, худенького, низенького, в черном фраке, очень чистенького, с приглаженными волосами, у которого на лице написано: "Бога ради оставьте меня в покое" – и который, ради сей причины, заложа пальцы по квартирам, кланяется всякому с глубочайшим почтением; старается заговорить то с тем, то с другим; или с благоговением рассматривает глубокомысленное выражение на лицах почтенных старцев, сидящих за картами, и с участием расспрашивает о выигрыше и проигрыше; словом, всячески старается показать, что он также человек порядочный и ничего дельного на сем свете не делает;который

между тем боится протягивать свою руку знакомому, чтобы знакомый в рассеянности не отвернулся, – ето я, милостивый государь, я – ваш покорный слуга". Как в главном своем "недостатке" и "злополучии", составляющем "вечное пятно <…> фамилии", по выражению его "покойной бабушки", признается Ириней Модестович читателю в том, что он – "из ученых", из "пустых" ученых, то есть тех, что знают все возможные языки: "живые, мертвые и полумертвые"; что превзошли все науки, преподающиеся и не преподающиеся в европейских университетах. Самая же непреодолимая страсть Гомозейки – "ломать голову над началом вещей и прочими тому подобными нехлебными предметами".

Гомозейко с отчетливой грустью сознает, что играет в свете "жалкую ролю" и что все его старания поправить свою "несчастную репутацию" оказываются безуспешны: "...к несчастию, – признается он, – я не танцую; не играю ни по пяти, ни по пятидесяти; не мастер ни очищать нумера, ни подслушивать городские новости, ни даже говорить об етих предметах; чрез мое посредство нельзя добыть ни места, ни чина, ни выведать какую-нибудь канцелярскую тайну..."

Образ этот, намеренно сниженный, почти ернический, после гордых и страстных авторских интонаций в новеллах о "безумцах" выглядел неожиданно: "маленький человечек", ученый-чудак, мученик гостиных. Однако в, казалось бы, совершенно новом для Одоевского герое проглядывали хорошо уже знакомые нам черты – того, похожего на Чацкого, "сумасшедшего", которого набросал он в черновиках "Дома сумасшедших": "человек не случайный, не танцующий, не играющий в карты"...

Вместе с тем Екатерина Алексеевна тотчас признала в Гомозейке собственного сына. "...Но всего мне лучше понравился этот сидящий в углу, и говорящий, оставьте меня в покое, – писала ему матушка, прочитав "Пестрые сказки", – это очень на тебя похоже..." Это характерное выражение, так живо отозвавшееся в душе Екатерины Алексеевны своей "узнаваемостью", перекочевало, кстати, в "Пестрые сказки" из "Жизни... Гомозейки", где оно должно было служить эпиграфом: "Бога ради оставьте меня в покое!" "Похож" был Гомозейко на своего создателя и иными чертами, которые так же непременно должны были быть узнаны близкими. Ириней Модестович выступал, например, противником "методизма" точно так, как писал еще недавно о том же предмете сам его творец Погодину: "...чтоб меня, русского человека, т.е. который происходит от людей, выдумавших слова приволье и раздолье, не существующие ни на каком другом языке – вытянуть по басурманскому методизму?.. Так не удивляйтесь же, что я попрежнему не ложусь в 11, не встаю в 6, не обедаю в 3…" Одоевский даже выдает лукаво ничего не ведающей публике свой семейный "секрет", "заставляя" Иринея Модестовича удовлетворять библиофильскую страсть за счет литературного труда. "...Теперь открывается навигация и мне нужны книги, – писал как-то сам Одоевский Шевыреву, – а ведомо вам буде, что я книги могу покупать только за те деньги, которые выручаю за свои сочинения".

Ириней Модестович Гомозейко оказался не так прост, как это могло показаться на первый взгляд. Он был задуман необыкновенно пластично – писатель вложил в него не только накопившийся к этому времени собственный жизненный и творческий опыт, но и иные литературные впечатления. На последнее с очевидностью указывали те не свойственные ранее его поэтике черты, которые проявились в сложной конструкции образа "сочинителя" "Пестрых сказок".

Когда зародилась идея самих "Пестрых сказок", сказать сейчас с точностью мы не можем, однако кое-какие предположения все же напрашиваются.

Вполне возможно, что непосредственные импульсы к "сказочному" творчеству Одоевский получил в кружке Жуковского.

16 января 1830 года Константин Сербинович, ближайший помощник Карамзина по "Истории государства Российского", а в ту пору цензор, описал в своем дневнике вечер у Жуковского, посвященный проводам Ивана Киреевского, уезжавшего за границу. Здесь собрались тогда Кошелев, Одоевский, Титов, Пушкин, Василий и Алексей Перовские, Крылов, Плетнев. Шли, конечно, литературные разговоры, и, между прочим, Алексей Перовский – уже известный под именем Антония Погорельского писатель – объяснял присутствующим своего "Магнетизера" – задуманный им роман с фантастическим сюжетом, начало которого только что появилось в первом номере "Литературной газеты". Кроме того, Перовский разговаривал с Жуковским и о своей "Черной курице" – превосходной сказке, очень тому нравившейся, и о другой своей повести, восхищавшей Пушкина, – "Лафертовской маковнице". Это была первая русская "фантастическая сказка", изданная Погорельским еще в 1825 году и включенная им спустя три года в цикл – "Двойник, или Мои вечера в Малороссии", построенный по примеру гофмановых "Серапионовых братьев": ряд новелл в нем объединяли беседы рассказчика со своим двойником – также до известной степени alter ego автора. У Погорельского беседы эти тоже касались смысла жизни, свойств человеческого ума и истории развития человеческой мысли, – словом, кружили вокруг тем, которыми теперь так остро интересовался Одоевский и даже претендовали на некоторую философичность.

Широко известно свидетельство и о другом вечере у того же Жуковского, принадлежащее Погодину. В октябре 1831 года, во время своего пребывания в Петербурге, он записал в дневнике: "Вечер у Жуковс<кого>... Гнедич, Пушк<ин> и Одоевс.<кий>. – Чит.<ал?али?> сказки свои – Смешные и грязные анекдоты...".

Кто именно читал тогда у Жуковского "смешные и грязные анекдоты", так и осталось невыясненным, но думается, что, скорее всего, "чтецов" было двое – Пушкин и Одоевский. Минувшее холерное лето неожиданно ознаменовалось "сказочным" поветрием. Пушкин и Жуковский, запертые карантинами в Царском Селе, "развлекались" сказками, пустившись в своеобразное творческое состязание. Результатом его явились "Сказка о царе Салтане" – продолжение прошлогод-

них болдинских опытов Пушкина в "народном", "совершенно русском", по словам Гоголя, духе и "Спящая царевна" Жуковского.

Однако одновременно Пушкин был занят окончательной подготовкой к изданию и других "сказок" – прозаических, также созданных год назад в Болдине, – "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина": "мода" на сказки родилась задолго до холерного лета.

Почти с уверенностью можно предположить, что именно это "сказочное" поветрие, захватившее литературный кружок Жуковского-Пушкина, не миновало и Одоевского, причем "заразило" оно его довольно рано, едва успев возникнуть.

Очевидно, в первой половине 1830 года Титов затевает один из очередных альманахов, произраставших тогда на литературной ниве, как грибы в теплый дождь, и просит Одоевского:

"Как хочешь, князь, а непременно ты должен дать мне главу из твоего Романа для альманаха, который я издаю на будущий год. Вели ее покаместь переписать. Я забыл тебе о том сказать вчера. Твоего Жоко также перепиши. Эти гостинцы я повезу в Москву".

Записка Титова не датирована, однако известно, что в декабре 1830 года он покинул Петербург, уехав в Константинополь чиновником русского посольства вместе с другом своего дядюшки Д.В.Дашкова дипломатом А. П. Бутеневым. С последним, кстати, находились в дружеских отношениях и Одоевские, и Бутенев писал из Константинополя Ольге Степановне о Титове как о ее "протеже".

Сама мысль о столь коренной перемене жизни и рода деятельности обрела, очевидно, у Титова реальные контуры лишь к осени 1830 года. Именно тогда, например, делился этой новостью с матерью Кошелев: "...Он (Титов. – *М. Т.*) рад уехать куда угодно, только чтобы распроститься с скучными гостиными петербургскими". Посвятив себя дипломатической карьере, Титов вновь появился в русской столице лишь в 1839 году.

Все это дает веские основания отнести замысел титовского альманаха к первой половине 1830 года. Мы помним, что как раз в это время ближайшие московские друзья Одоевского были увлечены идеей задуманного их другом романа о Иордано Бруно и, будучи в Италии, наперерыв предлагали свою помощь. Вполне естественно, что Титов, "петербургский" москвич и в ту пору один из конфидентов князя, также был вхож в его творческую лабораторию. Нет сомнения, что он просил у Одоевского в качестве "дани" главу именно из этого романа.

Однако гораздо интереснее, что в качестве второго "гостинца", который он собирался везти в Москву, отправляясь туда, возможно, в отпуск к матери, назван "Жоко" – рассказ, появившийся спустя три года в "Пестрых сказках" под названием: "Жизнь и похождения одного из здешних обитателей в стеклянной банке, или Новый Жоко", с ироническим подзаголовком "Классическая повесть" и с торжественным эпиграфом из Буало, звучавшим, однако, в переводе графа Хвостова веселой двусмысленностью:

Змеи, чудовища, все гнусные созданья
Пленяют часто нас в искусствах подражанья.

Одоевский все еще продолжал сводить литературные счеты с французским классицизмом. Революционные события 1830 года, надо полагать, всколыхнули в нем с новой силой эмоции, окрасившие в свое время его резко негативное отношение к событиям года 1789, и подстегнули к очередным филиппикам против "неисправимой" Франции, а заодно и против ее классицистских и сентименталистских литературных традиций. Раздражение это будет жить в нем еще довольно долго, и он вновь и вновь будет возвращаться к старым своим попрекам в адрес французов, обвиняя их в "холодном подражательстве" и "математических" расчетах... Теоретики нечувствительно дошли до мысли о том, – писал Одоевский в одной из заметок этого времени, – что не только должно подражать Природе, но даже образцам произведений (grands modeles [1]), упуская из вида, что произведение искусства есть свободное, независимое создание". Даже русских романтиков упрекает он в том, что они, воображая, будто "освободились от цепей классицизма, не придерживаясь его правил", на самом деле "освободились от привычки к предшествующим ращетам à froid [2]". Сентиментальным Жанлис, Дюкре-Дюменилю и даже Ричардсону также достанется от него еще не раз.

"Новый Жоко", эта пронизанная сарказмом история "ужаснее повести Едипа, рассказов Енея", и возникла как прямая литературная пародия, – однако, как пародия "двойная".

"Открытие" Жоко принадлежало французскому писателю Шарлю Пужану, в 1824 году поведавшему миру сентиментально-руссоистскую историю об обезьянке Жоко, воспитавшей мальчика, который полностью слился с "естественным" миром своей второй матери, страстно к нему привязавшейся, но и павшей жертвой своего воспитанника, стоило только тому вернуться в утративший первозданную гармонию цивилизованный мир.

Это трогательное повествование обрело неслыханную популярность. Мода на Жоко распространилась и в России, и в 1825 году на московской сцене, вслед парижской, представляли с колоссальным успехом драматургическую версию повести. Память о Жоко оказалась устойчивой, и даже Пушкин помянул еще "резвую покойницу Жоко" в черновиках "Домика в Коломне".

Вместе с тем наряду с восторженными подражаниями явилась в России и "контр-версия", принадлежавшая Погорельскому и включенная им в упоминавшийся уже нами цикл "Двойник". Один из рассказов цикла – "Путешествие в дилижансе" – представлял собой не что иное, как полемическую, антируссоистскую переделку нашумевшего сюжета.

Вполне возможно, что именно "критический" вариант Погорельского, первого русского "фантаста", с которым Одоевский встречался на вечерах у Жуковского как раз тогда, когда здесь велись литературные разговоры на "фантастические" темы, и послужил автору "Нового Жоко" ближайшим стимулом к созданию пародии.

---

[1] Великие образцы (*фр.*).
[2] Здесь: с холодной головой (*фр.*).

Однако иронические упражнения Одоевского в "искусстве подражанья" несли в себе уже иной, нежели у Погорельского, смысл: они касались не только и не столько почившего сентиментализма, сколько молодой французской "неистовой" словесности, родившейся с сарказмами на устах в адрес прежних "сентиментальных" литературных кумиров и провозгласившей взамен поклонения "украшенной природе" верность "голой натуре". Вызывающая свобода французских новаторов в выборе сюжетов художественного повествования и способов их интерпретации, свобода, широко открывшая в литературу двери "грязной" действительности, миру "дна", "запретным" ранее темам, вызвала настоящую бурю. В судорогах революционных потрясений родилось шокирующее, "прелюбодейное" искусство.

На исходе 1820-х годов "неистовые" романтики с берегов Сены порядком взбудоражили и русские литературные умы. Новый жанр "кошмарного" романа равно приковал к себе взоры и восхищенные, и возмущенные. Именами Виктора Гюго, Эжена Сю, Дюма, Бальзака запестрели страницы русских журналов, причем наряду со звездами первой величины шумная известность в России выпала также и на долю писателей ныне почти забытых, но тогда весьма популярных – в частности, на долю наиболее яркого выразителя "неистовой" школы Жюля Жанена. Между прочим, как раз в то время, когда сочинял Одоевский свою "сказку" о кровожадном пауке, русская периодика была полна возбужденными и разноголосыми откликами на роман Жанена "Мертвый осел и обезглавленная женщина", анонимно вышедший во Франции в 1829-м, спустя два года появившийся в русском переводе и воспринятый его русскими интерпретаторами в качестве "манифеста" неистовой поэтики.

Обсуждение "Мертвого осла" выявило всю амплитуду колебаний в отношении к новой литературной школе и ее эстетическим принципам. Одни восстали против "раболепного списывания голой натуры", другие, напротив, в "ужасной откровенности", с которой выставлялись напоказ "последние отправления человеческого организма", усматривали "значительность жизни".

"Неистовый роман" вызвал повышенный интерес и в пушкинском кругу. "Литературная газета" также откликнулась на его творческие новации; Пушкин находил жаненовского "Осла" "прелестным", считая его "одним из самых замечательных сочинений настоящего времени".

В этой литературной атмосфере и родилась сказка Одоевского. Популярный, почти "классический" сюжет французской сентиментальной прозы он спародировал в новой, "неистовой" манере, и это нашло прямое отражение в названии его литературной шутки: "Новый Жоко, классическая повесть". Писатель нарисовал отвращающие, прямо-таки апокалиптические картины конца мира, причем фатальная неизбежность этого конца заключена во всепоглощающем, "зверином" инстинкте уничтожения всего сущего, инстинкте, таящемся внутри того самого "доброго", "природного" бытия, которое так трогательно живописал

Пужан. Зловещий паук, кровожадно пожирающий собственное семейство, этот "мохноногий герой", изобретенный Одоевским взамен милой обезьянки, и являл собой "нового Жоко".

Любопытно, что уже иные из первых читателей "Мертвого осла" увидели в нем реакцию на "кошмарный жанр" и восприняли его не только как антитезу сентиментализму, но и как комически-пародийное воспроизведение самих романтических принципов повествования. Пушкин в одном из писем к В. Ф. Вяземской также, между прочим, писал по поводу этой литературной новинки: "Относительно смутившей Вас фразы я прежде всего скажу, что не надо принимать всерьез всего того, что говорит автор. Все превозносили первую любовь, он счел более занятным рассказать о второй. Может быть, он и прав".

"Анекдот", придуманный Одоевским, воистину был "смешон и грязен" – Погодин как нельзя более точно уловил скрытое в нем "литературное задание", подметив обе его стороны: пародийность и поэтику "неистовости". Второе из брошенных им словечек было уже в ходу: "венцом господствующего ныне *грязного* рода литературы" (курсив мой. – *М. Т.*) назвала "Мертвого осла" "Северная пчела". Спустя три года, когда "Новый Жоко" увидел свет в составе цикла "Пестрых сказок", еще конкретнее его природу определил Николай Полевой. Он писал В. И. Карлгофу: "...Боже! что это такое "Пестрые сказки"? Камер-юнкер хочет подражать Гофману, и подражает ему еще не прямо, а на жаненовский манер..."

Мы не случайно так задержались на, казалось бы, литературной безделице: дело в том, что ею начинается одна из основных линий дальнейшего творческого развития Одоевского. Личное его отношение к "неистовой" словесности складывалось неодносложно. Имена французских романтиков "новой волны" то и дело возникают в эти годы на страницах его заметок и сочинений. В опубликованном спустя несколько лет отрывке задуманного, но незавершенного романа "Катя, или История воспитанницы" рассказчик, например, предваряет свое повествование примечательным вступлением, в котором, несмотря на критические нотки, явственно слышен отзвук "французских уроков": "...я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни классической интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили нас остроумные сочинители Барнава и Саламандры, ни рачительного описания кафтанов, которыми щеголяют подражатели Вальтера Скотта. *Моя история – природа во всей наготе или во всем своем неприличии – как хотите"* (курсив мой. – *М. Т.*). Одоевский явно и глубоко размышляет над предложенными новой французской школой не только эстетическими, но и этическими принципами, – однако размышления его критичны: то, что наступивший "коммерческий век – век расчета и сомнения – требует в литературе кровавых страстей и фанатизма", не являлось еще в его глазах ни оправданием, ни доказательством "пользы пороков".

Однако мы отвлеклись от нашего сюжета, и пора вернуться к "соревнователям-сказочникам", читавшим на вечере у Жуковского мос-

ковскому гостю Погодину свои творения. Теперь наверное можно утверждать, что Одоевский преподнес здесь присутствующим историю Жоко – новейшее создание своего пера, "модный" смысл которого должен был быть его слушателям совершенно понятен – и Погодин вполне подтвердил это своим отзывом. Не случайно, конечно, и экспозиция "Нового Жоко" оканчивалась серией полемически-пародийных вопросов, представляющих собой не что иное, как парафразу концовки пушкинского "Домика в Коломне": "Зачем ети господа? Зачем их холодные преступления? на какую пользу?" Они служат лишним подтверждением "заданности" сказки Одоевского и ее конкретной предназначенности – для литературного "турнира" в пушкинском кругу.

Примечательно: то же самое проделал потом в своем "Носе" и Гоголь, воспользовавшись этим же пушкинским приемом.

Что касается Пушкина, то он, вероятнее всего, читал у Жуковского в. тот октябрьский вечер своего "Гробовщика". Еще летом, в Царском, откуда с таким трудом, сквозь карантины, переправлял он рукопись "Повестей" в Петербург к Плетневу для печатания, он познакомил с белкинскими "историями" ближайших друзей: Жуковского, может быть, Смирнову-Россет и Гоголя. Чтение же у Жуковского, уже в Петербурге, на котором присутствовал Погодин, состоялось за два дня до выхода "Повестей Белкина" в свет, и вполне вероятно, что Пушкин, как и Одоевский, хотел преподнести и московскому гостю, и Гнедичу одну из своих "новинок", которая вот-вот должна была появиться. Среди же "сказок" Белкина лишь "Гробовщик" мог быть сочтен на глаза Погодина "смешным и грязным анекдотом" [1] – так же, как и "Новый Жоко".

Что же до последнего, то все это было очень похоже на Одоевского: идея сказки, обернувшаяся философским гротеском, образец критического прочтения литературного первоисточника, стимулировавший резкий, по пафосу почти публицистический, в духе молодых его критик, выпад против давних литературных антагонистов. Эта манера художественно-публицистического повествования, манера социального или философского гротеска, явившаяся впервые в "Новом Жоко", станет потом отличительной, глубоко индивидуальной и оригинальной манерой зрелого Одоевского, создавшего в этом жанре такие высокие образцы, как, скажем, направленную против социального утилитариста Бентама "фантазию" "Город без имени".

Мы знаем теперь, благодаря случайному свидетельству Титова, что "Новый Жоко" был создан не позднее первой половины 1830 года. Неизвестно, однако, был ли задуман рассказ уже как составная часть "Пестрых сказок" или просто в качестве самостоятельного произведения. Скорее всего – последнее, так как идея цикла также окончательно оформилась, по-видимому, под непосредственным влиянием ближайших литературных впечатлений. Но об этом речь впереди.

Так или иначе, но и первая эта сказка, явившаяся, кажется,

---

[1] Предположение о чтении Пушкиным "Гробовщика" высказано В. Э. Вацуро.

также первым художественным опытом зрелого, "петербургского" Одоевского, уже своеобразно соединила в себе предшествующую творческую практику писателя и воздействие новой, пушкинской литературной среды.

Склонность к "злободневности" найдет потом место и в других сказках Одоевского, и не случайно именно они, и в первую очередь "Новый Жоко", потеряют со временем в глазах читателя всякий интерес – "смысловой" ключ к ним окажется утраченным. Впрочем, не был он вполне ясен уже современникам; даже любомудры считали, что мысли в них не вполне отделаны, а Погодин спустя много лет в связи с "Пестрыми сказками" признавался: "В тридцатых годах, может быть, мы и понимали их, и забавлялись, но теперь уже мудрено разобрать, что хотел сказать ими замысловатый автор. Впрочем, – добавлял он, – в них рассыпано много забавных и острых вещей, и везде сквозят основные его мысли и верования".

"Сказочная эпидемия", переросшая даже в своеобразную литературно-бытовую игру, оказалась, впрочем, заразительной не для одного Одоевского. Как известно, в то самое холерное лето 1831 года рядом с Жуковским и Пушкиным, в Павловске, жил Гоголь, чуть не каждый вечер навещавший своих новых друзей и литературных покровителей. У него у самого как раз в это время печаталась первая книга "Вечеров на хуторе близ Диканьки", также пронизанная духом сказочной поэзии.

Все это не могло пройти мимо литературного сознания Одоевского, все теснее сближавшегося не только с пушкинским кругом, но и с новичком его Гоголем, чьи "Вечера..." приветствовал он восторженно, считая их "и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу" выше всего, изданного доныне "под названием русских романов".

Кстати, вовсе не исключено, что петербургские друзья озорно подстегнули Одоевского включиться в это "сказочное" состязание. Однако ни поэтическим даром, ни даже просто поэтическим видением, подобно Гоголю, он, увы, не обладал, – но у него зато был уже опыт "философической" повести.

На скрещении этих и других "дорог" и рождались "Пестрые сказки". Они, как и все, что выходило из-под пера молодого и даровитого писателя, были отмечены творческой оригинальностью, но вместе с тем несли на себе и печать не то чтобы прямых литературных влияний, но некоей литературной атмосферы, поисков, широкой литературной программы, опять же ведущей нас непосредственно к пушкинскому кругу – точнее, к рождавшейся здесь прозе.

Как мы уже говорили, в конце октября 1831 года увидели свет "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", "изданные" прозрачным анонимом "А.П.". За месяц до того русские читатели открыли для себя новое литературное имя – Николая Гоголя. Его искрометные истории, вобравшие в себя сказочно-фантастический мир украинского фольклора, также преподносились здесь от лица рассказчика и "издателя" – пасичника Рудого Панька.

Возможно, новоявленные литературные "рассказчики" и подали

Одоевскому окончательную мысль о собственном цикле "сказок", которыми он мог бы потягаться с "соревнующимися", сказав свое, особенное слово. И не исключено, что "слово" это, по его замыслу, должно было быть до известной степени полемичным. Ни недоступные ему поэтические образцы, ни уникальный опыт малоросса Гоголя не могли служить Одоевскому "точкой отсчета". Зато у него перед глазами были прозаические "побасенки" Пушкина, сыгравшие, думается, в появлении "Пестрых сказок" решающую роль. На родство их с "Повестями Белкина" недвусмысленно указывал уже эпиграф, взятый из того же источника, что и эпиграф к пушкинским "Повестям", – из фонвизинского "Недоросля". В выбранной Одоевским для этих целей цитате: "Какова История. В иной залетишь за тридевять земель за тридесятое царство" – речь идет, как и у Пушкина, об "историях".

"Рациональное" задание цикла Одоевского отразилось в известной степени и в окончательном его названии, гораздо точнее соответствовавшем "пестроте" "мыслей и верований", в нем заключенных, самому замыслу автора.

"Пестрые сказки" явились своеобразной "лабораторией" не только идей, но и стилей, включив в себя образцы философского гротеска, социально-нравоучительного рассказа, фольклорной и "бытовой" фантастики.

Всегда довольно сложно вторгаться в психологию творческого процесса, но, тем не менее, здесь есть еще одно не вполне обычное обстоятельство, в связи с которым можно, наверное, высказать весьма осторожное и предварительное предположение. По собственному признанию писателя, как-то вырвавшемуся у него много позже, он создавал свои "пестрые", или, как сам потом назвал их, "арлекинские", сказки в "горькие минуты" жизни: тридцатилетний молодой человек переживал тогда едва ли не самую тяжкую в своей жизни личную драму.

Этим "горьким минутам", растянувшимся на годы, будет посвящен отдельный рассказ, и сейчас нет смысла предварять его. Однако если, как постепенно становится очевидным, творческое воображение Одоевского, отнюдь не "игривое", довольно часто нуждалось в импульсах и этими импульсами было движимо, то тем более вполне вероятно, что "арлекинские сказки", писавшиеся в состоянии душевного кризиса и потребовавшие от писателя "торжества воли", могли явиться, скорее всего, лишь результатом особого, сильного стимула, и этот стимул, бесспорно, исходил из новой для него литературной среды. Атмосфера интеллектуального артистизма, царившая здесь, оказалась для Одоевского в эту пору особенно ценной: влияние ее было не только плодотворно, но и спасительно. Новые литературные идеи расширяли творческие горизонты; увлекательная их сила помогала преодолевать тяжелую депрессию. Одоевский попал в пушкинское "магнитное поле".

Первостепенным же и непосредственным толчком к новому замыслу послужили, без сомнения, "Повести Белкина".

Широко освещены в исследовательской литературе творческие

контакты Пушкина и молодого Гоголя, причем не только известные эпизоды "передачи" Пушкиным молодому писателю сюжетов "Мертвых душ" и "Ревизора", но и менее "масштабные", но не менее показательные случаи заимствований Гоголем пушкинских мыслей и приемов.

Гораздо менее изучены "генетические связи" с Пушкиным Одоевского. Между тем уже лежащие на поверхности эпизоды свидетельствуют о несомненном и сильном влиянии на вчерашнего любомудра личности поэта.

Собственно, два молодых писателя – Одоевский и Гоголь – волею судьбы и обстоятельств творчески оказались по отношению к Пушкину в равном положении. Оба они обратили на себя его внимание и, только что вошедшие в новый для них литературный круг, шли буквально по пятам своего кумира, жадно ловя на лету его идеи и творческие новации. Известно свидетельство П. В. Анненкова о полушутливом признании Пушкина относительно Гоголя: "С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя". Аналогичным "конденсатором идей" стал Пушкин и для Одоевского, который не просто воспользовался циклической формой "Повестей Белкина" – сама по себе она была достаточно хорошо известна, но заимствовал, подчинив собственному заданию, некоторые из важных принципов пушкинского повествования. Причем похоже, что, как бывало и с Гоголем, идеи могли быть почерпнуты уже из устных литературных разговоров. Не исключено, в частности, что "Новый Жоко", написанный до выхода в свет "историй" Белкина, отчасти был "спровоцирован" и разговорами о новом французском романе, и пушкинскими рассуждениями вслух о жанре и принципах пародии. Так, он сам уже в "Графе Нулине" спародировал сюжет шекспировской Лукреции. Пародийное начало явственно ощутимо и в "Повестях Белкина".

Однако основным открытием Пушкина, оказавшимся для Одоевского решающим, стал Иван Петрович Белкин. Этому новому типу героя-рассказчика, "кроткому и честному" мелкому горюхинскому помещику, мягкосердому и равнодушно-неумелому в хозяйстве, предающемуся в сельской тиши мукам сочинительства, и обязан, думается, главным образом своим рождением Ириней Модестович Гомозейко. "Скромный Ириней" – неожиданный у Одоевского "низовой" герой – явился как бы "городским", "столичным" вариантом Ивана Петровича.

Разумеется, Одоевский, как и Гоголь, "вышивал" по пушкинской канве свои узоры, творил свои "истории", и Гомозейко в этом смысле создание глубоко и принципиально индивидуальное: в нем отчетливо присутствуют и личностные, автобиографические черты, неуловимые в "неопределенно-широком" Белкине, и инородная Белкину "эмблематичность", соответствующая содержанию и структуре "фантастических сказок". Однако самый принцип "знаковости" рассказчика Одоевским усвоен, и к Гомозейке вполне приложимо определение рассказчика-Белкина, данное ему В. В. Виноградовым: он, "как алгебраический знак, поставленный перед математическим выражением", определяет "направление понимания текста".

Главным отличием Гомозейки – рассказчика "фантастических" философских сказок, является его "ученость": Ириней Модестович – ученый-чудак. Однако в социальной иерархии ему отведено то же "низовое" место, что и Белкину, он так же боязлив, застенчив и неопытен в практической жизни и, подобно Белкину, является "полуавтором" рассказанных историй: большая часть их не сочинена им, но "собрана".

"Издатель" записок Белкина "А.П." намекает публике, что в "портфеле" покойного, помимо предлагаемых рассказов, был еще и неоконченный роман, употребленный его ключницею "на разные домашние потребы". "Издатель" Гомозейки сообщал, что решился обнародовать его "сказки", побуждаемый надеждой "ободрить Иринея Модестовича к окончанию его собственной биографии".

"Собственной биографией" и должна была стать "Жизнь... Гомозейки", где Одоевский совершенно отчетливо намеревался развить "идею Белкина". В сохранившихся фрагментах "автобиографической хроники" он не только воспроизводит и развивает многие черты социального и психологического характера пушкинского героя, но и реализует собственное творческое задание в рамках художественной системы, открытой Пушкиным.

Гомозейко из "Жизни и похождений..." родствен Ивану Петровичу Белкину гораздо более, нежели Гомозейко "Пестрых сказок" – в сущности, герой еще "интеллектуальный"; именно "интеллектуализм", а не социально-иерархическое его положение является в этом "варианте" Гомозейки определяющим. Это еще – как бы подступы к "белкинскому" типу. В "Жизни.... Гомозейки" Одоевский "переселяет" своего героя в провинцию, предполагая развернуть, судя по сохранившимся отрывкам, широкую панораму провинциального быта, с которым он сам тесно соприкоснулся в захолустном Ряжске и Дрокове в молодые годы. При этом Ириней Модестович Гомозейко должен был превратиться здесь из ученого-чудака точь-в-точь в такого же нерадивого и неопытно-доверчивого помещика средней руки, наследника скромного родительского достояния, вконец им расстроенного, как и незадачливый владелец Горюхина. Подхватывает Одоевский и одну из важнейших в структуре Белкина тем – тему социально-исторического осмысления типа *недоросля* и делает это с принципиально пушкинских позиций, "раздваиваясь" в своем герое так, как писал в связи с Белкиным один из исследователей: белкинские "истории", отражающие все стороны сознания их "рассказчика", "обращены одной своей стороной, своей твердой корой, к Митрофанушке, к "беличьему" мироощущению Белкина, а ядром своим – к взыскательному, грустному созерцателю жизни. Самое явление жизни и тайный смысл ее здесь слиты в такой мере, что трудно отделить их друг от друга". Само время действия "хроники", его историческое пространство должно было совпадать с временем действия "Повестей Белкина": вокруг 1812 года, до- и посленаполеоновская эпоха.

Пожалуй, Одоевский оказался в числе считанно-немногих, кто отнесся к первому прозаическому произведению Пушкина глубоко и

серьезно, причем и глубина, и серьезность эта сказались с гораздо большей очевидностью в неосуществленной "Жизни... Гомозейки": в "Пестрых сказках" прослеживается еще скорее по преимуществу внешнее заимствование модели.

В бумагах Одоевского сохранилось начало также не доведенных до завершения сатирических очерков, озаглавленных "Домашние заметки, собранные старожилом" и относящихся, вероятно, к 1850-м годам. Из предисловия к ним явствует, что они были задуманы как прямое подражание "Летописи села Горюхина", или "Горохина", как ошибочно именовался пушкинский отрывок при первой, посмертной его публикации в "Современнике".

"Вероятно, всем просвещенным читателям известна Летопись села Горохина, начатая, к сожалению, не конченная нашим бессмертным поэтом Пушкиным, – говорится в предисловии к "Заметкам", – эта летопись всегда привлекала особое мое сочувствие и подавала повод к глубоким размышлениям; признаюсь, во мне возбуждалось даже желание продолжать ее, но, к счастию, я скоро убедился, что во мне не достанет ни сведений, ни таланта, чтобы выдержать сие любопытное повествование в том виде, который ему был дан поэтом; как обыкновенно бывает в таких случаях, я решил ограничиться лишь подражанием, которое также, если не ошибаюсь, может иметь относительную пользу". Последняя фраза о подражании была потом зачеркнута.

Когда бы ни были задуманы и начаты "Домашние заметки", совершенно ясно, что им предшествовали долгие и "глубокие размышления" об этом неоконченном пушкинском произведении, "всегда" привлекавшем к себе особенное внимание Одоевского.

Не трудно предположить, что этот интерес должны были вызвать у Одоевского уже "Повести Белкина". Возможно, он говорил об этом с Пушкиным, как возможно и то, что разговор их мог коснуться той самой первой части "романа Белкина", упомянутого "издателем А.П.", который злополучная ключница извела на заклейку окон, и что Пушкин в этих разговорах мог говорить об Иване Петровиче Белкине расширительно – не только как о "рассказчике", но и как о "горюхинском летописце". "Жизнь и похождения... Иринея Модестовича Гомозейки" и явились, если угодно, первым "подражанием" Пушкину. Если бы Одоевский довел эту свою "хронику" до завершения, она стала бы, вероятно, исключительным в его творчестве образцом художественного воспроизведения "действительной жизни" в традициях пушкинской прозы.

Этого, однако, не случилось, и тому были разные причины.

...Произошло редкое совпадение. Иван Петрович Белкин, биография его и жизнь вдруг откликнулись в душе Одоевского собственными его впечатлениями и мало кому известным из друзей ранним жизненным опытом, воскресили немногие, но, видно, глубоко запавшие в память страницы собственной "провинциальной" жизни, атмосферу дома бабки Авдотьи, где он, по логике вещей, также должен был бы получить, не будь одоевской родни, классическое воспитание российского недоросля, воспринять "беличье" мироощущение. Может быть, именно по-

этому он и избрал жанр автобиографической хроники, как бы решив "проиграть" один из возможных, но не состоявшихся "вариантов" собственной жизни. Эта идея нашла прямое свое отражение и в названии задуманного произведения, названии "от обратного", смысл которого становится до конца понятным лишь в этом контексте: "Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки, или *Описания его семейных обстоятельств, сделавших из него то, что он есть и чем бы он быть не должен".* (Курсив мой. – *М. Т.*)

Именно поэтому отрывки неосуществленной и пронизанной реалиями "Жизни..." представляют особый, двойной интерес: творческий и биографический, и мы остановимся на них подробнее.

Иван Петрович Белкин стал "летописцем", "историком" своего Горюхина; Ириней Модестович Гомозейко – действующим лицом аналогичной, но "новейшей" истории своего уезда, причем рассказ обоих – по простому ли совпадению или потому, что Одоевскому было уже известно кое-что об "Истории села Горюхина" от самого Пушкина, – выдержан в жанре "исповедального", автобиографического повествования – впрочем, весьма тогда распространенного. Так или иначе, но Одоевский явно следовал общему движению пушкинской мысли, легко и бегло прочерченной им в "Повестях" "биографической" сюжетной схеме.

У Пушкина "биография" Белкина рассказана начиная со дня его рождения и "первоначального воспитания". Аналогичный фрагмент, именно так и озаглавленный – "Первоначальное воспитание", – сохранился среди набросков "Жизни... Гомозейки". Любопытно, что уже по смерти Одоевского Ольга Степановна, разбирая вместе с друзьями мужа его бумаги, отметила именно этот фрагмент, относящийся, по ее указанию, к "биографии" Гомозейки, как годный для печати. И поскольку здесь, в отличие от пушкинской "истории Белкина", факты жизни героя и его творца сплелись воедино, имеет смысл воспроизвести этот никогда не публиковавшийся отрывок полностью.

"Первоначальное воспитание".

«Мое рождение не было ознаменовано никаким примечательным явлением природы, не явилась ни комета, ни новая звезда, не было ни тени затмения ни солнечного ни лунного; даже солнце не захотело взглянуть на новорожденного; напротив, на дворе был туман, дождь, слякоть, словом Русская осень во всей своей безыскуственной прелести. Я ето знаю наверное, потому что бабушка к числу двух любимых своих анекдотов с тех пор присоединила и рассказ о бричке, посланной в город по случаю моего рождения за лекарем и которая, не отъехав от деревни двух верст по большой дороге, завязла; примечательнейшее при сем обстоятельство, которое долго возбуждало любопытство и всеобщее участие в нашем уезде было то, что одно колесо брички утонуло в грязи; его отыскали уже на будущее лето на аршине под землею <…> Бабушке удалось на своем веку рассказать раз сто об етом происшествии.

Итак: я родился, вслед за чем меня окрестили и крепко-накрепко спеленали и положили в колыбелку. Батюшка вскоре после моего рождения скончался, матушка предварительно выделила себе седьмую

часть, приняла на себя опеку над моим имением, а бабушка принялась пеленать меня и качать колыбельку.

Так протекли долгие годы.

Матушка с бабушкою, наслышавшись довольно на своем веку о неповиновении детей своим родителям, с самого начала решили, чтобы приучить меня к покорности и уважению, обходиться со мною как возможно строже. Еще более они утвердились в етой мысли, заметив во мне с самого младенчества зародыш самого буйного и неуважительного характера: например, я громко кричал и бился из рук, когда меня пеленали, кричал также, когда меня по два и три часа держали в духоте на праздниках и еще сильнее принялся кричать, когда на помочах мне стали выворачивать лопатки.

На беду мою причудливая природа поселила во мне отвращение к огурцам. – О огурцы! чего вы мне стоили. До сих пор я не могу об них вспомнить без ужаса. Матушка с бабушкою никак не могли понять етой причуды; не смотря на их долголетнюю опытность им разу не случалося встретить, чтобы человек мог иметь отвращение к огурцам, и потому они положили во что бы ни стало победить мое упрямство, глубокомысленно рассудив, что обуздывать непокорный характер должно на первых порах, не упуская времени.

Вследствие сей системы каждый вечер принесут проклятые огурцы, подзовут меня – я затрясусь, заплачу, отворочусь – меня высекут, пристращают, заставят проглотить несколько кусков, на другой день я болен, матушка в отчаянии, хлопочет со мною <что> Бог дал ей такого <ребенка>, который ни с того ни с сего беспрестанно хворает. Но едва оправлюсь – опять проклятые огурцы явятся на сцену – и опять я трясусь, плачу, опять меня секут и опять я болен. До сих пор от етих минут осталось во мне страшное впечатление, которое врезалось в мою память и не изгладится с жизнию».

В других отрывках "Жизни..." рассказывается, как вследствие неизменных и суровых наказаний за "умничанье" сделался Ириней Модестович "робким и боязливым", как матушку насилу убедили отдать его в гимназию – она предубеждена была против излишней учености, помня своего покойного дядюшку "из ученых", известного пьяницу и мота; как вернувшемуся домой после окончания университета сыну объявила она, что он уже не ребенок, и предложила для начала высечь старосту на конюшне...

"...Жизнь в родительском доме ежедневные мучения, побранки..."

Любопытно, что юношу упрекают в эгоизме потому, "что он не принимает участия в рассказах о 1812-м годе".

...Узнаваемые отголоски автобиографических заметок, дневниковых страниц, писем... Скорее даже мозаично отложившаяся в них некая аура детства, возникающая из скупых, почти аскетических исповедей и полупризнаний писателя. "Личностность" жизнеописания Иринея Модестовича Гомозейки отметил еще П. Н. Сакулин. Но "личностность" эта особая – сложноассоциативная, психологическая. "Первоначальное воспитание" напитано ею: и ранняя смерть отца, и матушка-опекунша,

предусмотрительно обеспечившая себя по смерти мужа, – будто списано это с завещания Федора Сергеевича: "...препоручаю сына моего малолетнего князь Владимира княже Федорова сына Одоевского в полную опеку жене моей...", "...сверх следующего ей на седьмую часть имения выдать ей из имения моего..."; и дядюшка – пьяница и мот, да и самое ощущение "духоты" раннего детства – "душно" пеленали, "душно" курили травами, что помнил во взрослой жизни сам князь и о чем так весело-бездумно рассказывала в письмах к Ольге Степановне Екатерина Алексеевна. Совершенно "автобиографично" и необычайно выразительно выглядит в этом контексте эпизод с огурцами. Он столь правдоподобен и прочувствован, что почти не оставляет сомнений в своей подлинности.

Ироничные – теперь уже с расстояния лет – воспоминания Иринея Модестовича о матушкином предубеждении против излишней учености также невольно воскрешают в памяти горькую юношескую исповедь самого автора на страницах "Дневника студента":

"<…> спрашивается <…> должна ли быть заботливость о моем назначении в будущем. – Разумеется. Средства для будущего рода жизни суть познания – но когда не дают способов приобретать их – то не следует ли из этого, что не заботятся о будущем назначении..."

Если довериться этим автобиографическим реминисценциям, атмосфера ранних лет, "первоначального воспитания" Иринея Модестовича Гомозейки красноречиво дорисовывает нам и атмосферу детства самого Одоевского – ту, которую он так старательно всю жизнь обходил молчанием: домостроевский мир полуграмотной бабки Авдотьи, чьи, может быть, подлинные черты единожды, под минутным напором воспоминаний, проскользнули на бумагу. Не случайно, перебеляя этот отрывок и как бы опомнившись, осознав все "неприличие" подлинности, он заменил "бабушку" – "тетушкой". Но матушка Иринея Модестовича (или его?) так и осталась в лучах этого мира, весьма, кажется, для нее органичного, "своего". Может быть, именно потому Ириней Модестович и не любил, не хотел вспоминать 12-й год, принадлежавший тому времени, той, мучительной для него, жизни...

В черновиках "Жизни и похождений..." то и дело мелькают и другие мотивы, возвращающие нас к дроковским "страстям".

Удрученный горестными для себя обстоятельствами, которые нашел он под кровом матушки, Ириней Модестович, выйдя в сад, наблюдает попавшегося ему на глаза червяка, сорванного ветром с дерева и тревожно ищущего своей родной ветки. Руководимый "чудным инстинктом", червяк чувствует время своего "превращения" и борется за то прекрасное мгновение, когда он сможет "сорвать с себя свою земляную одежду" и воскреснуть "для любви и жизни", переносясь на легких крыльях с цветка на цветок. Точно так же и юноша, наблюдающий эту сцену, боится умереть червяком: "Неужели не найдется на свете руки <…> которая бы и мне помогла оставить мою темную долю – мое грязное платье – и мне суждено лечь в могилу, убитому грубою встречею ежедневных обстоятельств". Воспоминания собственной юности – скорее даже эмоциональная память о том нерадостном времени –

перемежаются теперь у Одоевского с философскими размышлениями о жизни. Из описанного эпизода родится потом его детская сказка "Червячок".

...После смерти матушки Ириней Модестович, подобно Белкину, становится владельцем имения, однако с ним происходит примерно то же, что и с Иваном Петровичем в Горюхине, – неумелое, нелепое его хозяйствование приводит к краху: "Продают его имение – все обижают".

Далее Одоевский предполагал описать мытарства своего героя – человека с ранимой душой, страстно желающего "вразумить невежество" и воспротивиться "врагам здравого смысла", – но и здесь он терпит фиаско, ни в ком не находя ни поддержки, ни участия.

После скитаний по провинции предполагался переезд незадачливого правдоискателя в Петербург, где он должен был служить в семействе купца домашним учителем.

"Жизнь и похождения... Иринея Модестовича Гомозейки" создавались параллельно с "Пестрыми сказками" – точно так, как одновременно родились из-под пера Пушкина "Повести Белкина" и "История села Горюхина". Однако, как мы уже говорили, в "Пестрых сказках" Одоевский свернул с "пушкинской" дороги и, чутко улавливая и учитывая открытия Пушкина, начал, тем не менее, нащупывать и разрабатывать собственные повествовательные принципы, начала своей "фантастической" прозы, в которой, как это имело место и в случае с Гоголем, явственно ощущалась не только сила "притяжения", но и известный "коэффициент сопротивления" Пушкину.

Мир "Пестрых сказок" был причудлив и фантасмагоричен: "деревянные", тупые господа кивакели, живущие, подобно роботам, и одушевленные колпаки, чванливо восседающие в вольтеровских креслах; перо с бессмертной, страдающей душой и бездушный петербургский чиновник Иван Богданович Отношенье, павший жертвой единственной своей, картежной, страсти; люди, задыхающиеся в реторте, и бездыханная кукла, валяющаяся по полу "для изъявления глубочайшего почтения и совершенной преданности".

Однако это круженье призраков говорило больше уму, нежели сердцу, – фантастический мир Одоевского был холоден и умозрителен. Николай Полевой, враждебно настроенный в это время к пушкинскому кругу и выступивший в "Московском телеграфе" с решительным осуждением "Сказок", заметил, между тем, не без оснований, что истинные Гофманы в наш "холодный век рассудительности и приличий" крайне редки. Он увидел в новом произведении Одоевского лишь "бесцветные" аллегории, "род распространенной басни", пронизанной "холодом прозаизма" и лишенной прелести искреннего "простодушия".

И тем не менее в своих оценках он был прав не вполне. Рядом с "аллегориями", созданными "пронзительным философическим умом", как написал другой их рецензент – уже дружески настроенный барон Розен, – уживалась и "добродушная веселость": "пушкинское" начало проникло и на философски обличительные страницы фантастических "Пестрых сказок".

Наряду со "Сказкой о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту", ставшей наиболее популярной и представлявшей сатирическую манеру Одоевского, приправленную, однако, откровенным дидактическим пафосом, наряду с господином Кивакелем и оживающими механическими куклами, этими гофмановскими персонажами, переосмысленными опять же на нравоучительный манер, в состав цикла были включены и такие "побасенки", как "Игоша" и "Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем", демонстрировавшие два различных типа фантастики – "психологической" и "бытовой".

Конечно, "контекст" "рассказчика" Гомозейки распространялся на все новеллы цикла так же, как "белкинский контекст" (С. Бочаров) на все "рассказанные" им истории. Тем не менее обе эти сказки генетически связаны с проблематикой и стилистикой "Жизни и похождений... Гомозейки".

"Игоша", эта история "общения" маленького героя рассказа с "безруким, безногим" существом – домашним духом, фабульно восходящая к фольклорной быличке и открывающая перед читателем психологически осмысленный мир ребенка, воспринимается как естественное продолжение и развитие осуществленной главы из "автобиографической хроники" – "Первоначального воспитания": на "Игошу" также невольно ложится эмоциональный отсвет самой атмосферы детских лет писателя. Не случайно этот рассказ Одоевский ведет от первого лица. Доверив в "Хронике" бумаге многие автобиографические реалии, он как бы углублялся теперь в тайники собственного детского сознания, воспроизводя психологически сложную структуру взаимодействия мира ребенка и мира взрослого человека. В воображении юного героя Игоша становится реальным соучастником его игр и проказ. Легко и органично уверовав в байки взрослых о строптивом нраве невидимого человечка, ребенок уже не сомневается, что не кто иной, как Игоша, разбил новые игрушки, ибо он *реально* видел, как смешной человечек вошел в комнату, подскочил к столу и зубами потянул салфетку, на которой стояли игрушки; именно Игоша, а не он, маленький шалун, стянул на пол нянюшкин чайник, чашку и очки. Когда ребенка требуют к ответу, он с полной убежденностью и верой все совершенные провинности относит за счет Игоши и говорит об этом отцу. В ответ же, к полному его недоумению, следует наказание.

"В слезах я побрел к углу. Смотрю: там стоит Игоша; только батюшка отвернется, а он меня головой толк да толк в спину, и я очутюсь на ковре с игрушками посредине комнаты; батюшка увидит, я опять в угол; отворотится, а Игоша снова меня толкнет.

Батюшка рассердился.

– Так ты еще не слушаешься, – сказал он, – сейчас в угол и ни с места.

– Батюшка, это не я – это Игоша толкается.

– Что ты за вздор мелешь, негодяй; стой тихо, а не то на целый день привяжу тебя к стулу.

Рад бы я был стоять, но Игоша не давал мне покоя; то ущипнет

меня, то оттолкнет, то сделает мне смешную рожу – я захохочу; Игоша для батюшки был невидим..."

Этот опыт оказался для писателя чрезвычайно важен: впервые на страницах художественного произведения задумывался он об особенностях человеческой психики и критериях объективной и философской истины. "Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не испорчены", – писал он много позже в "Психологических заметках". Однако примечательно, что даже эти художественно-философские задачи Одоевский начал решать на материале собственного жизненного опыта – как медик-экспериментатор, проверяющий свои научные открытия прежде всего на себе самом. Кстати, принцип "естественнонаучного" подхода к "фантастическим" феноменам станет потом отличительной чертой его писательской манеры, одним из излюбленных методов художественного анализа.

Примечательна и поэтика этого небольшого рассказа. Сосуществование параллельных планов – фантастического и реального – воспроизведено здесь как неуловимое, легко переливающееся одно в другое чередование детской грезы и действительной жизни, как состояние полусна – полуяви, когда факты сиюминутного бытия продолжают свою жизнь, свое развитие в иной, "ирреальной" ипостаси – и вновь возвращаются в действительность: прием, только что виртуозно использованный Пушкиным в "Гробовщике", действие которого движется "необъявленным" сном. Однако в отличие от Пушкина Одоевский не разрушал в "Игоше" созданный им зыбкий, поэтический, мерцающий мир "пробуждением": читатель, как и маленький герой повествования, оставался во власти грезы – отнюдь не романтической, во власти ощущения р е а л ь н о с т и "пограничного" существования. Впрочем, так было в первой редакции рассказа, в "Пестрых сказках". В 1844 году писатель, включая "Игошу" в готовившееся тогда им собрание своих сочинений, заново его переработал. Он раскрыл, вывел наружу таившуюся в легкой художественной ткани идею открытым авторским вторжением – иными словами, дописал "пробуждение", теоретически объяснив скрытый прежде от читателя пушкинский прием "семантического параллелизма" (В. Виноградов). В заново отредактированном повествовании мир ребенка предстал в ретроспективе, как воспоминание взрослого человека, но не просто об одном из эпизодов детства, а "о том полусонном состоянии... младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностью". С течением времени, под влиянием "ученья, службы, житейских происшествий <…> – так заканчивал теперь свой рассказ герой – этот психологический процесс сделался для меня недоступным; те условия, при которых он совершался, уничтожились рассудком; но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным, и еще не успела забыть о них, в эти минуты странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти и его явление кажется мне понятным и естественным".

Пушкинский повествовательный принцип, использованный некогда Одоевским, обрел спустя десятилетие окончательную свою трансформацию – в естественном соответствии с мировоззренческой и художественной эволюцией самого Одоевского. И конечно, потенциально иноприродный характер этой эволюции должен был быть ясен проницательному Пушкину с самого начала: исключения лишь подтверждали правило.

Тем не менее еще об одном "исключении" в "Пестрых сказках", также находящемся в тесной связи с "Жизнью и похождениями... Гомозейки", мы все же расскажем.

"Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем" вводит читателя в рутинную, захолустную жизнь самого Гомозейки, хорошо уже известную нам по его "биографии", – жизнь, где все так узнаваемо и вещно, и все – абсурд. На сцене появляется город Реженск и его обитатели: Гомозейко, как и Белкин, "от недостатка воображения" заимствовал название города из своего "околодка". На бумагу вновь ложатся впечатления собственного детства писателя, рождается образ столь хорошо знакомого ему Ряжска. Как бы расширяя пушкинскую "горюхинскую географию", Одоевский впервые вводит в литературу тему "истории одного города", предвосхищая герценовский Малинов и салтыковский Крутогорск, а также будущие персонажи Островского – "героев" провинциальной России.

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

"От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташино тож, 21 минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько насторону, телосложения слабого. Почему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оного тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили б уведомить в оное же село Морковкино".

Перо Одоевского вдруг оживает. Фантастическая история о поисках пропавшего хозяина мертвого тела, рассказанная им с искрометным юмором, исполнена прекрасно знакомых писателю, осязаемых бытовых подробностей. Это и неподражаемый приказчик Севастьяныч, любитель домашней желудочной настойки, уездный толкователь законов, записанных в тетрадке покойного его батюшки-подьячего, отставленного в свое время от должности за "непристойное поведение", и легко и уверенно нарисованные сценки провинциального быта: Реженская

ярмарка, где торгуют пряниками и мылом греки, не ведающие, что делается в их земле и зачем они взяли город Трою, а Царьград уступили туркам, и ведение судопроизводства, которое единолично чинит в уезде все тот же Севастьяныч, провинциальный эрудит и мечтатель, тоскующий о силе Бовы Королевича и рассказывающий под вечерок изумленным слушателям о похождениях Ваньки Каина и путешествии купца Коробейникова в Иерусалим. Он вершит правосудие не хуже Ивана Богдановича Отношенья, разве что только без столичной степенности и лоска.

История о "мертвом теле", как и "Игоша", резко выпадает из условно-фантастического, дидактико-аллегорического мира "Пестрых сказок" и по многим соотносимым деталям максимально приближается все к тому же пушкинскому "Гробовщику" – в "фантастической" практике Одоевского случай такого приближения к Пушкину, пожалуй, единственный. Следуя формальной модели пушкинской фантастики, Одоевский также отказывается от "завуалированного" ее варианта, избирая сон в качестве стержня и пуанты сюжета и также разрешая его "пробуждением", снятием "тайны", катарсисом. Однако последствие возлияний и сна, привидевшегося подвыпившему, как и Адриян Прохоров, Севастьянычу, явленное наутро в виде уморительной просьбы о выдаче тела его владельцу, иностранному недорослю из дворян Цвеерлею-Джону Луи, имеющему обыкновение выскакивать из своего тела, – просьбы, написанной самим Севастьянычем под диктовку вышеозначенного "недоросля", переводит повествование в план курьеза, бытового анекдота, снимая тем самым сложнопсихологическое содержание "пушкинского" сна и образуя известный "угол отклонения" в плане функционального использования пушкинской фантастической модели.

Не случайно эта "сказка" Одоевского с сочным, превосходно выписанным бытовым контекстом, исполненная легкой, поистине пушкинской иронии, по замечанию Розена, особенно нравилась в провинции. Однако она была "двулика", и одной своей стороной обращенная к "Гробовщику", другой – "поворачивалась" к Гоголю. Конечно, намеренно в качестве эпиграфа к ней автор избрал и цитату из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (точнее: "Ночи перед Рождеством"), также соотнесенную с обстановкой "низового", провинциального, народного быта и, сверх того, как бы обнажающую двигательную пружину рассказанного анекдота: "Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцовал на небе и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех". Причем подписан эпиграф также показательно: «Рудый Панько, в "Вечерах на хуторе"».

Не случайно и Гоголь проявлял к циклу Одоевского повышенный интерес. 8 февраля 1833 года, в самый канун выхода "Пестрых сказок", он писал своему другу А.С.Данилевскому: "На днях печатает он (Одоевский. – *М. Т.*) фантастические сцены под заглавием "Пестрые сказки". Рекомендую: очень будет затейливое издание, потому что производится под моим присмотром".


Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — гостиную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — погреб, тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагает … назвать таким образом: „Тритажник", или „дом в три этажа" сочинение и проч. — что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет к „Тритажнику" не только к будущему году, что крайне необходимо.
Рудый Панек
Ириней Модестович Гомозейко
1
2
3
Не дождавшись Белкина; начал шутку, видно, он покойник; не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панька. Не дожил он, видно быть в их компании.

Именно в это время и сам Гоголь делает первые наброски своего "Носа", идея которого, несмотря на существовавшие уже и хорошо известные европейские сюжетные аналоги (Шамиссо, Гофман), была, без сомнения, непосредственно "спровоцирована" "Сказкой..." Одоевского – уже сам зачин его, прямо объявляющий "тайну", безошибочно адресует нас к экспозиции истории о "мертвом теле": "Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие"... Другое дело, что Гоголь развивает по-своему идею и Пушкина, и Одоевского, обозначая, в свою очередь, в повести о злосчастном майоре Ковалеве "угол отклонения" и от того, и от другого. Так, обращаясь к сюжетной схеме о "потере" человеком части своей плоти, своего "я", он интерпретирует ее вовсе не как курьез или нелепицу, разрешающуюся снятием тайны, пробуждением хватившего лишку героя. Правда, снятие тайны и у Одоевского все же частичное: "реликты" ее в рассказе остаются в виде распространившихся "слухов" – фантастической трансформации курьеза народным сознанием: «...в одном соседнем уезде рассказывали что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: "лови, лови покойника!"

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: "Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?" и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: "А вот собираются справки"». Именно этот прием использовал и Гоголь в концовке "Носа".

Отказывается Гоголь и от более сложной формы установления причинно-следственных связей реального и "ирреального", продемонстрированной Пушкиным в "Гробовщике". Намереваясь вначале также прибегнуть к мотивировке событий, описанных в "Носе", сном, Гоголь в окончательном варианте повести уходит и от этого "соблазна", создав совершенно особый тип фантастической повести, решительно порывающей, кстати, и с романтической "тайной", образец "немотивированной" и "неразрешенной" фантастики.

Это был все тот же – думается, уникальный в истории литературы – "узел", в котором столь тесно переплелись вдруг творческие интересы трех писателей. И хотя интенсивное их взаимодействие продолжало развиваться по принципу "притяжения-отталкивания", свое родство, тем не менее, остро ощущали сами участники "триумвирата" – точнее, два младших "триумвира", шедших по пятам старшего. Именно следствием такого самоощущения и явилась идея альманаха "Тройчатка", предложенная Одоевским и Гоголем Пушкину.

28 сентября 1833 года Одоевский писал поэту в Болдино:

"Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый – гостиную, второй – чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность – погреб, тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы к "Тройчатке"

сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: "Тройчатка, или Альманах в три этажа", сочинение и проч. – что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет и "Тройчатка" не выйдет к новому году, что кажется необходимым".

Самосознание молодых "соавторов" было, видно, таково, что совместное литературное предприятие, предлагавшееся Пушкину, представлялось им как бы делом настолько логически естественным и не подлежащим сомнению, что они позволили себе фактически известить Пушкина об этом post factum, имея уже по готовой повести и вдобавок поторапливая его, дабы поспеть "к новому году".

Любопытны здесь еще две детали: во-первых, "триумвират" мыслился целенаправленно – именно как союз трех равноположных "рассказчиков": Белкина, Гомозейки и Рудого Панька. Во-вторых, "единство" это ощущалось, вероятно, не одними его участниками – Одоевский прибегает к высокому для Пушкина авторитету Жуковского, сообщая своему корреспонденту, что "мысль трехэтажного альманаха ему очень нравится".

И, кажется, единственный из участников и "болельщиков" этой затеи – Пушкин – думал иначе. 30 октября он уклончиво-шутливо по форме, но твердо по существу отвечает Одоевскому отказом. "Не дожидайтесь Белкина; не на шутку, видно, он покойник; не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панка. Не достоин он, видно, быть в их компании..."

Собственный "угол отклонения" от своих "собратьев" был Пушкину совершенно ясен.

Известно, что после отказа Пушкина Одоевский и Гоголь намеревались все же осуществить свой замысел вдвоем – издать альманах "Двойчатка". "Я печатаю – ужас что! – с Гоголем "Двойчатку", книгу, составленную из наших двух новых повестей", – писал Одоевский М. А. Максимовичу. Однако и это предприятие по неизвестным нам причинам не осуществилось; осталось неизвестным и то, какие именно повести собирались объединить под одной обложкой писатели.

Возможно, намерение это возникло как результат затаенной обиды на Пушкина и в известном смысле должно было выглядеть демонстративно – как не исключено, что как раз поэтому в последний момент "обиженные" от своего плана отказались. Вполне вероятно, их мог отговорить посвященный в перипетии "Тройчатки" Жуковский.

Между прочим, замысел "Тройчатки" знаменателен еще одним обстоятельством. В свое время В. В. Виноградов также усмотрел в нем отзвук идей "неистовой" французской словесности – влияние все того же Жюля Жанена, точнее – появившегося сразу вслед за первым второго его романа "Исповедь", посвященного наблюдениям над контрастами городской жизни и описывающего, в частности, "срез" большого столичного дома. Причем интересно, что именно эти главы в романе были

выделены самим Жаненом как наиболее яркое отражение принципов новой поэтики. Кстати, аналогичный прием писатель использовал уже в "Мертвом осле", где тоже есть мимолетная, но выразительная зарисовка парижского дома "в разрезе", бытовая картинка пробуждающегося города, которую наблюдает герой, "мысленно отстраняя белые и красные занавески у окон".

Так или иначе, но Иван Петрович Белкин, а также его "истории" – в первую очередь, конечно, "Гробовщик" – оставили в художественном сознании Одоевского глубокий след. Вскоре, видимо, после "Пестрых сказок" он задумывает другой цикл – "Записки гробовщика", и еще П. Н. Сакулин усмотрел в этой идее "некоторое влияние" пушкинской повести и, возможно, пережитой Одоевским в Петербурге холеры 1831 года – прибавим, точно так, как возник на фоне холеры 1830 года и "Гробовщик". Из намеченных тринадцати рассказов цикла осуществились лишь три – и те со значительными интервалами, растянувшимися на десятилетие: "Записки гробовщика", в которые вошел рассказ "Сирота" (1838), "Живописец" (1839) и "Мартингал" (1846). Сакулин подробно проанализировал весь "блок" цикла от самых истоков его зарождения, так что нет смысла повторять уже сказанное. Однако отметим, опять же, характерную трансформацию пушкинской задачи и самого пушкинского типа. Решив, как и Пушкин, "посмотреть на жизнь с исключительной точки зрения", причем вначале с точки зрения даже не одного, а "двух классов людей, присутствующих решительным минутам нашего существования: врача и гробовщика", Одоевский "конструирует", однако, довольно искусственную "модель" гробокопателя – художественную натуру, склонную к "философическим мечтаниям", человека с университетским образованием, "деклассировавшегося" лишь силою жизненных обстоятельств и наблюдающего жизнь своих клиентов во всей ее социальной пестроте как бы "извне" – отстраненно и "философски". Причем, как уже было отмечено, характерно, что гробовщик Одоевского – из русских немцев, и "немецкая кровь" должна была, очевидно, служить известной мотивировкой его философических наклонностей. Насколько это далеко от органического смысла пушкинской повести, говорить не приходится. Однако таковой была логика художественной и мировоззренческой эволюции самого Одоевского.

Вместе с тем по выходе "Записок гробовщика" Одоевский заинтересованно спрашивал Шевырева: "Скажи мне что ты думаешь о Записках Гробовщика? Я тут хотел писать в новом для меня роде – пластически; удалось ли мне ето?" О том же, что этот "новый род" возник именно под влиянием критик Пушкина, говорит позднее признание писателя Краевскому относительно "формы" своих произведений: "...она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим..."

..."Пестрые сказки" очень хвалили в Москве – Шевырев, Киреевский, Кошелев, Н. Ф. Павлов. Пансионский учитель Одоевского И. И. Давы-

дов отметил в своих "Чтениях о словесности": «Философической повести у нас не было до приятных опытов в "Пестрых сказках"».

Екатерина Алексеевна тоже "отрецензировала" их подробно. Она писала сыну из Дрокова: "Читала я твои пре-пёстрые сказки; инова не понела, другое догадалась, третьему рассмеялась Игошу не понела, не знаю [1 нрзб.] что ты хотел сказать. Девушка из которой вынул сердце француз слишком зла, я думаю тебе за нее досталось, деревянный гость к несчастию слишком справедливо и можно бы пожелать, чтобы бедная кукла никогда не очнулась, реторта хорошо написана..."

Крайне любопытно, что фантастический персонаж одной из "историй" цикла – "Просто сказки" – колпак, восседающий на вольтеровских креслах, был воспринят Екатериной Алексеевной как "нос в колпаке". Между тем в самой сказке подобный образ отсутствует – "нос" в тексте не упоминается вовсе, но зато он акцентированно воспроизведен на рисунке-заставке, изображающем голову, венчающую вольтеровские кресла, с резко выдающимся носом, очертания которого повторены в водруженном на голову колпаке. Если вспомнить признание Гоголя в том, что издание "Пестрых сказок" производилось под его "присмотром", трудно не соблазниться предположением, что идея графического изображения "колпака" принадлежала именно ему – между прочим, художнику – и что именно в этой связи и замаячил перед ним, быть может, собственный образ "персонифицированного" носа. Во всяком случае, только благодаря картинке Екатерина Алексеевна и могла так воспринять этот "персонаж" сына. "...Чей это нос в калпаке сидящий на волтеровых креслах, – спрашивала она, – ожидай после всех насоф и английского брюха что посыплют на тебя стрелы и громы писателей достанется и тебе, впрочем я думаю нет гостиной в которой бы тебе не душно было..."

"Свой" же петербургский кружок отнесся к "Сказкам" сдержаннее. Любопытно, что очень, кажется, ждал их Жуковский и, видно, спрашивал о "Сказках" в письмах к друзьям не раз. Судя по повышенному интересу, он был посвящен в этот творческий замысел Одоевского еще до своего отъезда за границу в июне 1832 года. 17 февраля 1833 года Плетнев писал ему в Швейцарию: "Одоевский еще не напечатал своих сказок, которые называются Пестрыми с красным словцом". В начале мая через Александра Тургенева Вяземский передает Жуковскому, что "Пестрые сказки" ему высланы, но еще за месяц до того сам пишет другу:

«Одоевский издал свои "Пестрые сказки", фантастические. Я еще не видал их, но издание, сказывают, очень красивое, кокетное и фантастическое. Кажется, род Одоевского не фантастический, то есть в смысле гофмановском. У него ум более наблюдательный и мыслящий, а воображение вовсе не своенравное и не игривое».

Владимир Соллогуб вспоминает следующий эпизод, относящийся как раз к этому времени: идя как-то по Невскому с Пушкиным, встретили они Одоевского, только что напечатавшего свои "Пестрые сказки" и успевшего уже разослать экземпляры друзьям. Разумеется, послан

был таковой и Пушкину. «...Одоевскому очень хотелось узнать, – рассказывает далее мемуарист, – прочитал ли Пушкин книгу и какого он об ней мнения. Но Пушкин отделался общими местами: "читал... ничего... хорошо..." и т.п. Видя, что от него ничего не добьешься, Одоевский прибавил только, что писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он поклонился и прошел. Тут Пушкин снова рассмеялся своим звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов, и сказал: "Да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Кто его принуждает? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда писать их нетрудно"».

Свою версию этого же разговора Пушкина с Одоевским обнародовал еще в 1860 году и П.В.Долгоруков – обнародовал при жизни Одоевского, вызвав резкие его возражения. Правда, это был случай особый: Долгоруков сводил с Одоевским давние счеты. Дело касалось предуэльной истории Пушкина, и Долгоруков все еще помнил о той жесткой позиции, которую занял по отношению к нему Одоевский, убежденный в его причастности к травле поэта. Именно потому в пасквильной своей статье, стремясь дискредитировать дружеский характер отношений Пушкина с князем, он, среди прочего, пересказал и эпизод, описанный Соллогубом, но пересказал как *сплетню,* явно подхваченную им некогда из третьих рук, выхолощенную и лишенную тех живых штрихов, которые в устах Соллогуба придают рассказу о встрече на Невском силу правдоподобия.

Однако, как это ни парадоксально, но сама "сплетня" Долгорукова служит лишним подтверждением того, что это – отголосок факта", имевшего место в действительности.

Иронический отзыв Пушкина по поводу "фантастических сказок" Одоевского, даже если рассказ Соллогуба и не вполне точен, представляется все же возможным по существу и дополняет собой ряд аналогичных, также донесенных до нас "молвой" замечаний Пушкина в адрес тяжеловесной, на его вкус, "рациональной" фантастики Одоевского. Остроумные "mot" поэта, получавшие в литературных и светских кругах, как это случалось не раз, довольно широкое хождение, и сформировали, скорее всего, определенный стереотип общественно-литературного мнения на этот счет – стереотип, несомненно повлиявший, в свою очередь, и на характер позднейших воспоминаний. Достаточно вспомнить приводившийся уже разговор Пушкина с Ленцем о фантастических повестях Одоевского на одном из вечеров самого князя; согласно рассказу, сохраненному М. Н. Лонгиновым, Пушкин якобы называл Одоевского "гофманской каплей".

Что же касается собственно "Пестрых сказок", то непосредственные высказывания Пушкина по их поводу нам неизвестны. Не знаем мы также, успел ли он действительно прочитать их к моменту встречи с Одоевским на Невском, как рассказывает Соллогуб, и какие причины вызвали его замешательство. Спору нет: "Жизнь и похождения... Гомозейки", этот "пушкинский" опыт, не был ни развит, ни завершен и оставался в ящике письменного стола. "Сказки" же были выданы публике.

Думается, что отзыв Вяземского о "Пестрых сказках", высказанный им в письме к Жуковскому, отразил "приговор" пушкинского круга. Вяземский очень точно определил существо литературного дарования князя. В соревновании "сказочников" ему невозможно даже было определить место – он просто ушел в другую, свою "сторону". И "соревновавшиеся", и "болельщики" должны были испытать чувство легкого разочарования: не Гофман и не Поэт национальный, русский. С этого, быть может, и началось некоторое литературное отчуждение между Одоевским и "пушкинистами": наметились слишком разные дороги.

Тем не менее у "Пестрых сказок" нашелся свой читатель, и Розен, наверное, не очень преувеличивал, когда писал, что публика "расхватывает" книгу. Время сохранило нам любопытнейший читательский отзыв – некоего А. И. Сабурова, отставного ротмистра-улана из тамбовских дворян, привлекавшегося, между прочим, по делу декабристов – "с выдержанием в крепости одного месяца".

Сабуров имел обыкновение заносить на бумагу свои впечатления о прочитанном, и в 1833 году наибольшее его внимание привлекли как раз "Пестрые сказки", о которых записал он следующее:

"9. Пестрые сказки Адуевского. Мысли г-на Адуевского, имея отпечаток колкой аллегории, совершенно справедливо и искусно касаются предметов, часто встречающихся в общежитии и обществе. Намек, который сочинитель делает на полурусское, полуфранцузское воспитание петербургских, даже скажу вообще русских девиц, справедливо выставляет тщеславие и невежество матушек иметь в доме гувернантку француженку, библиотеку, составленную из французских гадостей, платье, сшитое по французской выкройке, они не запрещают возлюбленным дочкам своим, растроганным приторностию Ла Мартина, читать также "Французские путешествия по России", где г.г. путешественники глубоко познавшие отечество наше так справедливо излагают мнения свои, может быть не сходя с крила какого-нибудь жилища в la rue aux Ours [1]". Нет, извините, скажут мне горячие заступники невинности, вы что-то очень нападаете на наших русских девиц; посмотрите, как они воспитаны, хоть бы у нас в Москве: почти все говорят по-английски, читают Кибсеки, от Мура и Байрона без ума. О! проклятое лепетанье! Как часто ты очаровываешь людей, считающих образованностью свободные повороты языка на различных европейских наречиях <…>

Адуевский тоже, но лучше меня нападает на воспитание наших девиц в статье "О том как опасно девушкам одним ходить по Невскому проспекту".

Другая статья его о Мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем, по мне еще лучше первой. Третья статья о том, от чего N.N. не удалось в первый праздник поздравить своих начальников, очень хорошо и остро написана.

Вообще в книге сей слог чист и мысли разнообразны и остроумны. В иных местах однако Г-н сочинитель до того заносится и

---

[1] В Медвежьей улице (*фр.*).

запутывается в аллегорической паутине, что и паук поэт не расплетет ее.

Адуевский со временем будет в России то, что во Франции Дидерот, в Англии – Стерн в Германии – Jean Paul» [1].

...По выходе "Пестрых сказок" Одоевский, судя по всему, продолжал интенсивную работу над "Жизнью... Гомозейки" – рукописи писателя хранят явные тому следы. Он рассчитывал, очевидно, довести "хронику" до завершения. Об этом знали друзья, постоянно интересовавшиеся ее продвижением и также не терявшие надежды увидеть новое произведение в печати. "Жизнь... Гомозейки" пополнялась все новыми и новыми эпизодами.

Спустя год после "Сказок" в "Библиотеке для чтения" все за той же подписью "В. Безгласный" появился "Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки". Это была "История о петухе, кошке и лягушке", получившая окончательное свое название лишь в 1844 году, в собрании сочинений.

В "Жизни и похождениях... Гомозейки" Одоевский собирался посвятить отдельный рассказ вступлению своего героя в службу – опять же в провинции, секретарем под начало губернского полицмейстера Ивана Савельевича Прохорова. В черновых набросках повествуется о том, с каким рвением "ученый" секретарь Гомозейко принялся за свое дело, как составил по разным иностранным источникам проект городского благоустройства, мечтая поставить губернский город "на европейскую ногу", и как заслужил даже за скромные свои старания полицмейстерскую выволочку и звание "карбонария". Здесь же должен был помещаться и "рассказ о лягушке, кошке и проч.", из которого и вырос "Отрывок...", отделанный для журнала как самостоятельная история. Вполне естественно поэтому, что в нем – так же, как и в "Сказке о мертвом теле...", – действие происходило в Реженске. Сближала оба произведения и манера повествования, так что и "Сказка..." теперь, задним числом, тоже вполне могла восприниматься как "отрывок" из "автобиографической хроники". В "Отрывке..." же, помещенном в "Библиотеке для чтения", вновь возникала "покойная бабушка", бывшая якобы свидетельницею "странного происшествия", случившегося в Реженске с городничим, отставным прапорщиком Иваном Трофимовичем Зернушкиным. Исправлял городничий свою должность давно – и все им были довольны, ибо он "позволял всякому делать, что ему было угодно; зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться". Особенно восставал он против некоторых "затейников", побывавших в Петербурге и приступавших к нему с разными "небывалыми" и "вредными" нововведениями. Ему намекали, например, что "не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякий вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя, и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необхо-

---

[1] Выражаю сердечную благодарность И. С. Чистовой, предоставившей мне этот отзыв.

димо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами". Иван Трофимович "остроумно и с твердостию" отклонял все эти "неразумные" требования, справедливо доказывая, что "бог дает дождь и хорошую погоду, и, видно, уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено <…> а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может". Относительно пожарной трубы резон был также простой: "таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оного уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи..."

Картины провинциального быта оказывались куда более достоверными и исполненными жизни, нежели умозрительные "построения" философских сказок. Автобиографические страницы дышали подлинной, грустной поэзией.

Уже давно высказывалось удивление по поводу столь точного, подробного знания Одоевским, человеком "городским" и "кабинетным", никогда, по сути, не ведшим поместной жизни и не связанным с провинцией, провинциального быта, и только сейчас становится ясным неиссякаемый источник этих сведений, поддерживавших в столичном жителе собственные "дроковские" воспоминания и обогащавших их. Это были нескончаемые письма отчима, неустанно колесившего по российским губерниям в поисках теплого местечка и пространно описывавшего пасынку провинциальный жизненный уклад. Одоевский обрел вдруг возможность, не покидая столицы, следить нравы не одного Дрокова и Рязанской губернии. Описания Сеченова бывали не просто забавны, но и весьма познавательны, неожиданно раздвигая "горизонты" петербургской жизни. В связи с "Историей о петухе..." еще П. Н. Сакулин заметил, что знакомство Одоевского "с провинциальной администрацией" могло быть у него благодаря Сеченову, служившему полицмейстером. Действительно, осенью 1832 года отчим писателя получил при посредстве новых влиятельных родственников место – не вожделенное, правда, городничего, но – полицмейстера в Саранске, откуда и потекли первые "нравоописательные" послания новоявленного преобразователя российских порядков.

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
<ноябрь 1832 года, Саранск>

<…> я был на ниточки от смерти в 7 часов вечера я поставил правилом делать обзор городу желал уничтожить водворившиеся с давних лет беспорятки т.е. собираются люди пьяные и распутные и толпой ходют по улицам делая всякие неблагопристойности крича играя на балалайках и тому подобное потом в то же время вгоняют гурты скота разного в город по неоднократным моим требованиям сему не мог положить конец бесчинству и безпорятку чрез три или четыре объезда привел сие в порядок оставаясь покойным дня чрез три хотел сам лично

удостоверится проежая большую почтовую улицу в темноте наехал на стадо свиней состоящих из 200 штук в 8-м часов вечера лошади столь гнусного вижания испугались круто повернули дрожки меня опрокинули а кучера потащили на вожах коего порядочно избили но слава богу остался невредим левая пристяжная переломила ноги и околела кому же за сие обязан как не безпорядочному жителей городу но и так распущены и избалованы что ни на что не похоже <…>

Скажу вам что успел и пожар тушить на самую Казанскую в 4 часа ночи загорелась баня в том строении города где покрыто соломою до 7 домов я первой явился найдя всех соседей в сборе первое мое распоряжение было принесть один дом на жертву сломав его и тем избавил прочий от пожара при сильном ветре не дав распространится огню затушил быстрым полетом труб – не знаю скажут ли спасибо а я сделал как следует...

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
<ноябрь 1832 года, Саранск>

...Предчувствие мое не обманулось Саранск хотя устроен жителями противу городища и устроен красивее но населен большею частию крестьянами однодворцами, дворянами, мещанами и малым числом купечества что составляет весьма затруднительное состояние города ибо с тремя властями трудно и не в моготу владеть. Каждой из них подчинен своему начальству у коих с давних лет непримиримая вражда и беспрестанная выходит ябеда. Но всего неприятнее то что лежит собственно на моей ответственности как то пожарная команда, инструменты, лошади и вся упряжь то здесь присвоено думе и она полная распорядительница беспорядку которой здесь повсеместно распространен а я за все отвечай но переинычать этого нельзя всякая новизна для людей глупых и необразованных эсть средство возбудить ненависть и ропот, хотя с терпением и надеюсь водворить порядок и спокойствие городу приступив к оному я почел нужным испросить у губернатора прибавки жалования моим подчиненным частным квартальным и письмоводителю которые получают не более 120 руб. в год есть ли возможность содержать себя прилично офицеру и притом какое можно иметь средство воздержать их от злоупотребления когда каждому из них не достанет на сапоги вот друг мой чем вы должны занятся и положить фундамент соответственно ваших благонамеренных предположении министерства внутренних дел – с моей стороны действие мое неослаблемо сокращая зло и тем приобретая расположение моих сограждан которые были под спутом сильных и богатых. С приездом моим я многое открыл и прекратил как то в обвешевании в абмеревании в ценности без тарифа продуктов, в недоброте законами постоновленных питей и тому подобное кое жителям города по душе <…> вчерась в ночи 2 часа случился пожар я первой и действовал с успехом при большем ветре не допустил сгореть двум даже задним строением при большей линии домов покрытыми соломою, и так понемногу действую...

Между прочим, эта провинциальная "хроника" откладывалась, вероятно, не только в творческой памяти писателя – она должна была быть любопытна и поучительна и Одоевскому-чиновнику, постоянно получавшему по службе самые разнообразные и неожиданные поручения. В частности, почти в это время он был назначен от Министерства внутренних дел членом в Комиссию, учрежденную для усовершенствования пожарной части в Петербурге, и очень возможно, что Сеченов об этом назначении знал.

..."Жизнь... Иринея Модестовича Гомозейки", как мы уже говорили, завершена так и не была – "История о петухе, кошке и лягушке" явилась, собственно, единственным законченным и увидевшим свет ее отрывком. После его опубликования "Жизнь...", видимо, уже не пополнялась – даже черновыми набросками. Как это часто случалось с Одоевским, он оставил и этот крупный замысел, не доведя его до конца.

Возможно, тому была двоякая причина: во-первых, пытаясь выстроить "автобиографическую хронику" на существенных и "потаенных" фактах собственной жизни, Одоевский невольно превысил художественно-допустимую меру откровенности – и не мог в какой-то момент не осознать это. Подобные случаи в его творческой практике отнюдь не единичны, и мы будем еще о них говорить. С другой стороны, попытка "подражания" Пушкину, письма в "пушкинской" манере, также явно не удалась: художническая и мировоззренческая индивидуальность взяла свое. Сам образ Гомозейки начал распадаться, двоиться, троиться и обретать совсем иные очертания: его "душила" уже, как было сказано в одном из черновиков, "недосказанная мысль".

Одоевский все решительнее уходил в философскую прозу. Даже "бытописательство", от которого он отнюдь не отказывался, обрело под его пером особенные, не-пушкинские черты.

Спустя пять лет Ириней Модестович досказал читателям свою последнюю "сказку" – "Привидение", но это было уже нечто совсем иное – "страшная история" о "предчувствиях и привидениях" во вкусе "готических" романов (не случайно действие ее происходит в "готическом" замке), где впервые сошлись с открытыми забралами два антагониста: "закоснелый" скептик – вольтерьянец, насмехающийся над всякими "бреднями", и сам Ириней Модестович, вполне обернувшийся к этому времени лицом к "мистической" вере. Эта его последняя "сказка" послужила камертоном последующих, не похожих на "гомозейкинские" и качественно новых "фантастических", "мистических" историй. Ириней Модестович Гомозейко, сослужив свою службу, окончательно сошел с литературной сцены.

ГЛАВА IX.

"...ВИДЕЛ Я СКРОМНУЮ ОТШЕЛЬНИЦУ..." ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ

Письмо, из которого Одоевский и Гоголь узнали о том, что г-н Белкин "не на шутку покойник" и посему не может составить компанию Гомозейке и Рудому Паньку, было получено в Петербурге из Болдина. Пушкин отправил его, добравшись, наконец, сюда поздней осенью, после странствий по пугачевским местам. Однако в том же письме значились и другие, загадочные строки, касавшиеся одного Одоевского.

"Теперь донесу Вашему сиятельству, – писал Пушкин, – что, будучи в Симбирске, видел я скромную отшельницу, о которой мы с Вами говорили перед моим отъездом. Не дурна. Кажется губернатор гораздо усерднее покровительствует ей, нежели губернаторша. Вот все, что мог я заметить. Дело ее, кажется, кончено".

Собираясь в Оренбуржье, Пушкин намеревался побывать также в Симбирске, где гражданским губернатором в то время был А. М. Загряжский, дальний родственник Н. Н. Пушкиной. В его доме поэт и собирался остановиться.

...К тому времени злополучный отчим князя успел уже рассориться со своими саранскими "согражданами". Письмо, в котором описывал он Одоевскому свою бурную деятельность в Саранске, заканчивалось минорно: "Саранск не по мне я же его не искал народ беспокойной вздорной и даже опасной своими ябедами..." За сим следовала просьба о новом, лучшем устройстве. При этом Сеченов выказывал немалую амбициозность. С презрением расписывая чете Одоевских "мерзости" провинциальной жизни и самозабвенно – собственные преобразующие сей уродливый лик бытия действия, он не шутя помышлял о блеске славы на государственном поприще: неудача с камер-юнкерством нисколько, видно, его не расхолодила. Сеченов не скрывал, что надежды свои связывает с влиятельным пасынком, беспардонно претендуя заодно и на денежную мзду.

"...Хотя и сам не понимаю о будущем но не отчаеваюсь имея тебя, – писал он, – а с тобой моя головушка не пропадет и ты подашь мне во всяком случае помощь. Мое жалованье едва ли достаточно на два месяца в году и самое необходимое дозволишь из извлекаемых мною твоих выгод по Ветлуги для себя уделить и тем сохранить твоего вотчима в том положении и уважении кое он успел приобрести от всех лудших особ г. Пензы имя доброго и честного человека есть для меня неоцененное сокровище в мире почему да не посрамлю и не употреблю во зло твою дружбу и самую доверенность и те связи коими нас с тобою сближают – стараися изыскать средства чтоб я и служба моя была слишком

видна как то в Рыбинске, в Ржеве, в Моршанске ибо чем более есть способов к прекращению зла тем сильнее мои чувства влекут меня на сии посты зато я был следим и поверяем беспрестанно легко могу быть известным Дми.<трию> Нико.<лаевичу> (Блудову. – *М. Т.*) я берусь следить и привесть сию часть (пожарную. – *М. Т.*) в надлежащей порядок какая бы не воспоследовала запутонность дело мастера боится я же себя щитаю не из последних вникая в оное понимаю достаточно хорошо и тем приобретаю навык моих обязанностей завлекая себя с удовольствием на службу моего царя токмо желая улудшеть моих подчиненных положение их..."

Неуживчивость провинциального "преобразователя" была изумительна. Спустя несколько лет та же история повторилась и в следующей его "вотчине" – Сызрани, "вместилище всякого непросвещенного разврата", по аттестации Сеченова. Впрочем, путь его из Саранска к долгожданной должности городничего в Сызрани оказался весьма извилист. На нем неожиданно возникла таинственная "скромная отшельница" – та самая, о которой и писал Одоевскому Пушкин. Однако поэт невольно оказался посвященным в эту семейную историю спустя год после ее начала.

Из объяснительной записки П. Д. Сеченова
<Десятые числа декабря 1832 г.>

"По нахождению моему в городе Саранске в должности полицмейстера девицу Варвару Ивановну Кравкову узнал я в Саранске в квартире ее родных в последних числах минушего ноября месяца, когда они проезжали к родственнику своему г-ну Метальникову в Ардатовский уезд да вскоре после того еще случайно там же видел в гостях зятя их Метальникова в селе Репьевке куда я заехал по знакомству с ним по пути, отправляясь к новой должности моей в г. Сызрань.

Тут по случаю бывших имянин сына Метальникова и по убеждению их пробыл я 6-е, 7-е и 8-е числ сего месяца..."

Из объяснительной записки В. И. Кравковой
<Десятые числа декабря 1832 г.>

"…Там (в Репьевке. – *М. Т.*), заметив он (Сеченов. – *М. Т.*) печальный вид мой и задумчивость с видом сострадания спрашивал меня о причине оного; а как я со времянем хотя краткого знакомства нашего слышала от всех похвальный отзыв о благородстве в поступках и склонности к добру, а особенно о сострадании к нещастным, то без всякого сомнения открыла ему непреодолимое желание посвятить себя единственно Богу в каком-либо монастыре сказав ему о том что хотя я и убеждала на увольнение меня моих родных не один раз но они о том и слышать не хотели, вместе с тем просила его увести меня тайно в Симбирск где я поступлю в монастырь и родителей моих о том уведомлю..."

Далее, по показаниям обоих, разнящимся лишь в незначительных, но характерных деталях, события развивались следующим образом:

несмотря на отговоры Сеченова, представлявшего молодой девице "тягость монашествующих" и "тяжкую горесть" родных (показания Кравковой), и предупреждения, что тайный их отъезд и совместное путешествие могут вызвать "злоязычные толки" (Сеченов), Кравкова все же настояла на своем. Тогда, простившись с хозяевами, Сеченов раздобыл тройку и на рассвете следующего дня тайно подкатил к дому Метальникова, где в условленный час его уже ждала беглянка. Дорогою они, как явствует из обеих объяснительных записок, "нигде не останавливались ни даже для ночлега и отдыха, кроме перемены лошадей", и, прибыв в Симбирск вечером следующего дня, устроились на ночлег в разных местах. Однако вслед беглецам уже неслась погоня – брат Кравковой корпуса инженеров прапорщик Дмитрий Кравков настиг их в Симбирске и, во всеуслышание обвинив саранского полицмейстера в похищении его сестры и "оскорблении чести рода", потребовал поступить с ним "по всей законной строгости". Ранним утром, поднятые со своих постелей, предстали Сеченов и Кравкова перед симбирским губернатором А. М. Загряжским. Сеченов, поддержанный виновницей происшествия, пытался отвести от себя обвинения в "соблазнении" девицы как человек, "обязанный супружеством, чему едва ли есть пример между людьми низкого класса". Кравкова уверяла, что, не согласись Сеченов на ее просьбу, она "решилась бы на всякую крайность". Не открыв, однако, "тайну причину" своего поступка, она повторила губернатору желание "посвятить себя Богу", дабы просить "небесное благословение" для всех своих родных, а себе – прощение их за "невозвратное навсегда удаление" в "святую обитель". Смиренная, но непреклонная воля "скромной отшельницы" немедля была исполнена – стараниями губернатора ее определили в Спасский женский монастырь.

Однако дело "об оскорблении рода" Кравковых на этом отнюдь не закончилось. Кравковы требовали возмездия. Началось разбирательство, принимавшее для П. Д. Сеченова все более угрожающий характер, – в Сызрань его не пускали. Расследование возглавил сам Загряжский, – и отношения с ним у Сеченова складывались не лучшим образом. Вначале, казалось, все шло "довольно сносно", но затем, по уверению обвиняемого, губернатор "по одной лишь трусости и мягкости <…> характера совершенно все испортил", дав делу "другое направление". Через четыре недели, т.е. примерно в начале января 1833 г., в Петербург, министру внутренних дел Д. Н. Блудову, была отправлена составленная Загряжским докладная об этом чрезвычайном происшествии, без всяких, по словам Сеченова, "защищающих" его "подробностей" и с "недопущением до должности". Личной известности министру, о которой еще недавно мечтал, достиг он неожиданно скоро, но в качестве вовсе непредусмотренном – провинциального Дон-Жуана. Однако Сеченов, предчувствуя недоброе, принял свои меры – одновременно с докладной министру в Петербург полетела от него к влиятельному пасынку "просьба с приложенными бумагами" с тем, чтобы тот непременно доставил их "по принадлежности". Сгоряча Сеченов горделиво отказался было от заступничества Одоевского, считая, что "правое" его дело и без того

оправдает его "пред лицем <…> высшего начальства, которое имеет в виду одно лишь сострадание <…> и добрые наклонности к несчастной жертве". Однако история эта, давшая столь богатую пищу для кривотолков, приняла уже скандальную огласку, несколько поубавив пыл Павла Дмитриевича, настоятельно потребовавшего вскоре от князя немедленно заняться ходом сего дела. С поразительной быстротой достигла новость и столицы. Фигурировало в ней и имя Одоевского как ближайшего родственника "героя" происшествия.

Тем временем выяснились новые подробности. 16 января 1833 г. В. И. Кравкова написала на имя симбирского полицмейстера еще одну объяснительную записку:

"От вступившей в Спаской монастырь
из дворян девицы Вар<ары> Ива<новны> дочери
Кравковой.

На требование Вашего Высокоблагородия имею честь объяснить что мое непреодолимое желание было вступить в монастырь с того самого дня <как> я узнала решительной отказ, сделанной моими радителями сватавшемуся за меня князь Роману Петровичу Сатиану [1], к которому я питала чувства моей страстной любви <…> Сия придчина и столь жестокая побудила положить на себя клятву переменить жизнь и посвятить себя Богу..."

В тот день, когда девица Кравкова открыла, наконец, "тайную причину" своего удаления в "святую обитель", из Петербурга в Сызрань было отправлено письмо – достойное, чтоб привести его полностью.

В. Ф. Одоевский – П. Д. Сеченову
16 января 1833 года

"До меня дошли слухи, почтеннейший Павел Дмитриевич, что Вы в Симбирске для своей защиты употребляете мое имя, рассказываете о моем небывалом влиянии в Министерстве, что чрез меня вы получили место и пр. пр. Вы не можете себе представить, до какой степени эти слухи меня огорчили; а когда они дойдут до Министра, тогда произведут самое невыгодное и для меня, и для вас действие, такое самохвальство с моей стороны, воспользовавшись его благосклонностию к моим работам, есть такое для меня унижение, которого бы я ввек не желал испытать. Я предвидел это пред вступлением вашим в службу. Я знал, как понимают это всегда в провинциях; я тысячу раз толковал вам на письме и на словах, что я решительно не имею никакого влияния в Министерстве и никогда не захочу иметь его, ибо это не мое дело, что мое дело это работать, работать и только, что благосклонность Министра ко мне есть благосклонность начальника к чиновнику усердно трудящемуся, а совсем не та благосклонность, какую понимают в провинциях, где не понимают другой службы, кроме интриг и происков; что если б я и захотел когда-нибудь решиться на какие-либо происки, то они не произвели бы никакого действия на моего начальника; и что

---

[1] По всей видимости, искаженная фамилия грузинских князей Асатиани. – *М. Т.*

следственно вам никогда не должно надеяться на мое предстательство и заступничество как по характеру моего начальника, так и по собственному моему характеру. Вы пренебрегли моими советами и поставили меня в самое мучительное положение. Я не смею глаз показать Министру теперь уж; вообразите себе, что будет тогда, когда он будет иметь все право назвать меня самохвалом; сколь приятно мне будет это состояние, разыгрывать пред моим начальником ролю лицемера, который во зло употребляет его снисхождение, торгует им: и кому же – мне? Мне, человеку, который осмеливается громко смеяться над интриганами и пройдохами и во всеуслышание презирать их? Нет! ввек я не думал дойти до такой степени унижения. – Вы знаете, Павел Дмитриевич, что я не богат, не имею сильных родных, – имею одно: мое чистое, честное, незазорное имя, которое я ни от кого не получил, но приобрел сам и беспрестанным следованием за собою и разными пожертвованиями. Как вам известно – все мне вздор, и имение, и места, кроме моего имени. – Именем Бога, пощадите его, мое единое сокровище, уважайте его и не бросайте его людям, которых один язык будет уже для меня осквернением. Не удивитесь, если вы вслед за сим письмом получите от меня уведомление, что я подал в отставку. Вы знаете мои правила: я не могу служить более с начальником, которого лишусь доверенности. – Мы не поняли с вами друг друга, почтеннейший П<авел> Д<митриевич>.

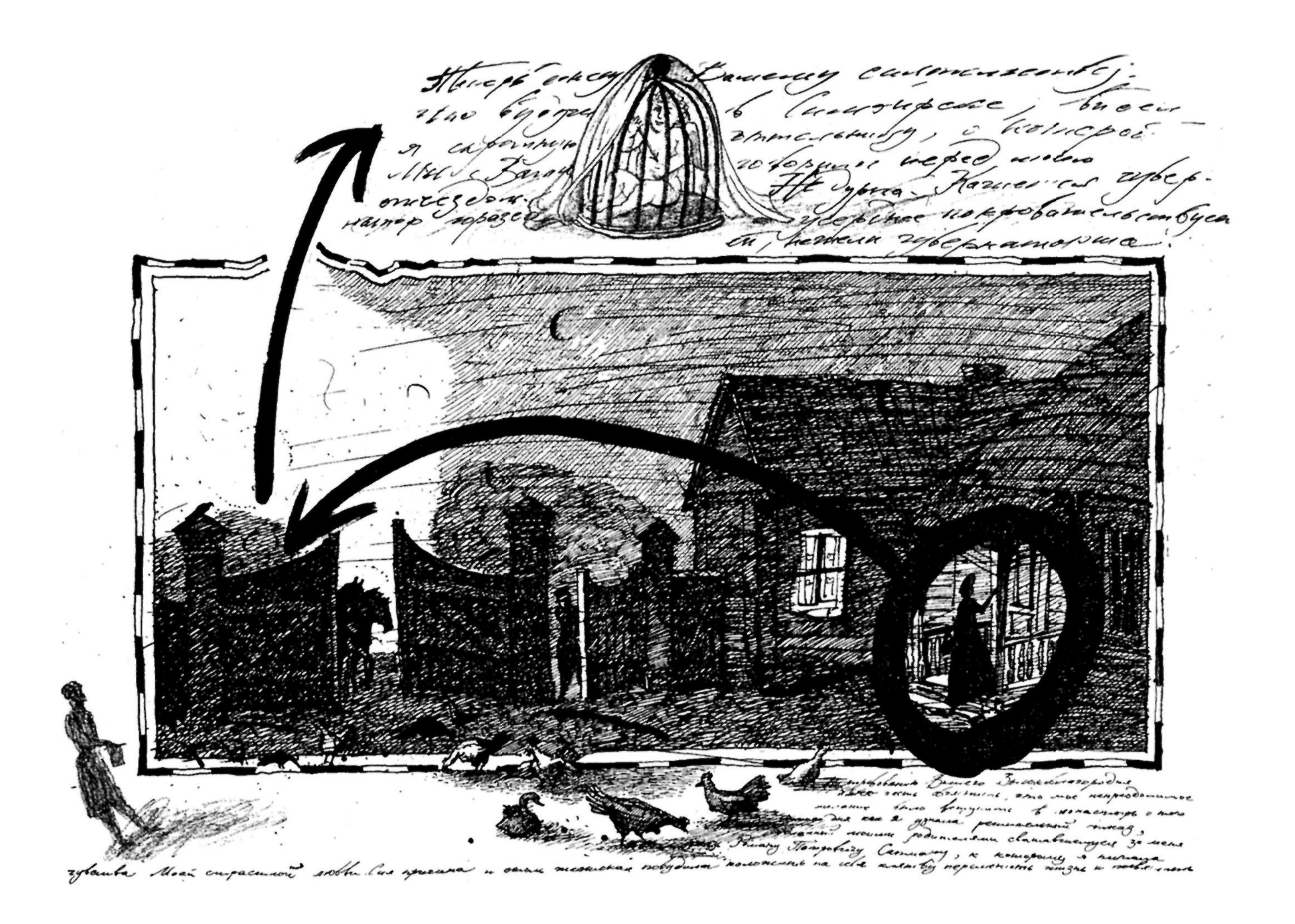
Повторяю вам мой совет, действовать в вашем деле просто, не напрашиваться в Сызрань, не ссориться с губернатором. Одна правота вашего дела, и прямость ваших поступков может спасти вас.

Растолкуйте мне ради Бога, какую выгоду имеют Кравковы преследовать вас, я этого понять не могу. Вы пишете мне о том, о чем нечего писать, а о нужном умалчиваете".

Очевидно, что письмо это и бумаги, посланные из Симбирска в Петербург, разминулись в пути; не зная еще об отстранении отчима от должности, Одоевский наугад адресовал письмо по месту нового его назначения, но оно попало к адресату спустя лишь четыре месяца...

Тем временем Сеченов продолжал оправдываться, пуская в ход все доступные ему сильные основания. Возмущаясь неправедными обвинениями, в официальном письме, адресованном Блудову, ссылался он на служебную характеристику, данную ему якобы губернатором Панчулидзевым, под началом которого он состоял. Здесь недавний полицмейстер был аттестован "отличным чиновником, с которым <…> приятно служить". "Не в похвалу себе скажу, – добавлял пострадавший, – что чувствую себя приспособнейшим быть отличным полицмейстером, ето служба по моему характеру и деятельности и готовности каждого удовлетворить..."

В другом письме напоминал он Одоевскому об аналогичном деле некоей Ураевой: "Я тоже виновник ея дочери жившей у нас во вступлении в монастырь которая и поныне молит Бога обо мне. Тем спас ее от беспрестанного тиранства ее матушки и глупого родителя <…> Что ж мне делать, – писал он с наигранным простодушием, – когда



случай избирает меня быть посредником между нещастными и жестокостию людей пользующих правом деспотизма. С получением места начальника города я решительно дал моим чувствам свободное действие к пользе ближних присвоив себе власть растраивать браки на обманах основаныя и наоборот соединять пользующих слабостию своих невест или желающих предпочесть богатству или видам и тому подобное, настоятельно требовав всякое начатое негласное дело с обоих сторон кончено согласно и дружественно, что и удавалось с успехом..."

Однако в ту пору Одоевскому было, наверное, не до самодовольного самоуправства отчима, чинимого им по собственному благоусмотрению, – эти впечатления всколыхнутся в его сознании позже и по другим поводам. Одоевский попал в трудное положение. "Все мне вздор, и имение и места, кроме моего имени", – эти слова, смысл которых должен был быть вполне понятен адресату, требовали известного мужества: незадолго до того, как мы помним, именно Сеченову отдано было в полное управление его Никольское, давно заложенное в Московском Опекунском совете, и именно сейчас, в разгар описываемых событий, оно должно было быть перезаложено с тем, чтобы погасить необходимейшие из многочисленных долгов. Был среди них и особенно мучительный – ссыльному брату Александру, настойчиво напоминавшему о нем через отца.

"Мой Александр, – сообщал Иван Сергеевич Одоевский в мае 1832 года племяннику, – в каждом письме, что он мне пишет, просит тебя ответить: он хотел бы получить свои деньги, т.к. май уже миновал, скажи мне, мой добрый друг, что я должен ему ответить. Я сказал ему, что ты предполагаешь в мае выслать мне его деньги и что ты дал мне слово!

Ты знаешь русскую пословицу: на нет и суда нет? Если ты не можешь расплатиться с ним сейчас, скажи мне, когда точно ты сможешь это сделать; я просто попрошу его потерпеть" [1].

Спустя два месяца – вновь через отца – просьба была повторена: "Мой Александр, – опять передавал Владимиру Одоевский-старший, – в своем последнем письме приветствует тебя и просит меня напомнить, что май уже прошел. Ссылаясь на свое нынешнее состояние, он напоминает тебе о твоем обещании и о своих безотлагательных нуждах. Скажи мне, что я должен ему ответить, дорогой Владимир? Войди пожалуйста в его положение и ответь мне с ближайшей почтой" [2].

На Сеченова как на управляющего имением возлагалась вся надежда. Еще до злополучной истории с Кравковой у Одоевского с отчимом было, очевидно, условлено, что тот едет в Никольское и Москву для нелегких хозяйственных и юридических хлопот. Более того, ему предстояло "принять в опеку" и костромское имение Сергея Степановича Ланского.

Материальное положение Одоевских было к тому времени критическим. Незадолго до того, в конце декабря, Одоевский писал отчи-

[1, 2] Подлинники по-*фр.*

му: "...Я новый год встречаю в полном смысле без гроша. Судите о моем положении – закладывать ни мне, ни жене уже больше нечего; все ее брильянты и серебро в ломбарде". И здесь же – просьба повидаться с некими Гандини (очевидно – заимодавцы) "и рассказать им, зачем вы едете в Ветлугу и что первые деньги будут для них".

Впрочем, получи даже Сеченов гневное письмо из Петербурга вовремя, выбора у него не было – не только Одоевский, но и он, более чем когда-либо, был теперь зависим от пасынка. К концу января, когда дело Кравковой было уже отправлено в Петербург и оставалось только ждать решения судьбы "высшим начальством", Сеченов, испросив себе отлучку, покидает "проклятый город Симбирск" и отправляется, как и предполагалось ранее, в Никольское. Теперь он может писать Одоевскому "прямее и откровеннее". Как бы предваряя вопрос о причине преследования Кравковых, Сеченов сообщает пасынку, что это – "семейство распутное, пьяное и буйное" и что он по вине губернатора стал жертвой людей, "понимающих лишь одно золото", "...а которого у меня, – писал он, – было не очень много, то мы и не сошлись, да и считал за ненужность кому-либо дать". Позже в письме к другу-конфиденту он живописал Кравковых еще выразительнее, почитая дом их средоточием "распутства и всякого гнусного разврата, пьянства и нахальства до такой степени доходившего, что кавалеры сего семейства позволяли себе ходить полунагими и врать с плеча по имени" – и посреди этого "развратного общества" – "девушка образованная, милая, с чувством высокой добродетели". Именно такую версию Сеченов усиленно поддерживает и в письмах к Одоевскому, считая, что "за правду и помочь доброму человеку есть <…> обязанность и святой долг" его пасынка. Жене же он в это время пишет уклончиво, невнятно и, как обычно, полуправду: что недоволен местом в Сызрани (до которой так и не доехал), что (без объяснения причин) попал под следствие и что вообще с его вспыльчивым нравом нельзя тут долее оставаться: "дает знать что имеит опасного человека", – как передавала его слова сыну Екатерина Алексеевна.

Всю зиму и весну Сеченов – то в Никольском, то в Костроме и Москве – регулярно сообщает в Петербург о рьяных своих усилиях по наведению порядка в имении, действительно находившемся, судя по всему, в весьма плачевном состоянии. "...С помощью Бога надеюсь в мой приезд <…> удержать имение в порядочном распоряжении, – пишет он в феврале в Петербург, – предохраняя их от голода и смерти", ибо Костромская губерния "в бедствии" и "все степные давно едят мякину". "В имении твоем я нашел безхлебие", – сообщает он Одоевскому в другой раз.

"Меда для вас приготовленного 2 пуда нашел в Никольском и разругал, что его к вам не послали <…> грибов, рыжиков и груздей, ни у кого не нашлось, даже и у старожил господ помещиков ветлужских, но маленькую кадочку авось мы с Баевым отыщем", – примерно к этому, очевидно, и сводился весь доход от имения, т.к. в остальном, как жаловался Сеченов, "с тощим народом" ему было "не сладить", да и попытки спасти положение, похоже, ничего лучшего не сулили:

"Олену Левоновну я успокоил, – писал он Одоевскому 21 февраля, – равно и Гандини получит, но то жаль, что кажется тебе ничего не останется".

Сеченов регулярно и подробно сообщает Одоевским ход хозяйственных дел – и со все нарастающим беспокойством и настойчивостью, в ожидании "верного известия", в каждом письме вопрошает, "к чему <…> должен себя готовить".

Одоевский, однако, упорно молчит. Томясь неизвестностью, видя, что "убедительнейшие просьбы" не имеют должного действия, Сеченов пытается подстегнуть пасынка иным способом. "...Жду непременно твоего ответа в Москву, – пишет он, направляясь туда из Костромы, – и дотоле не выеду, пока не узнаю чего-нибудь о себе доброго или худого <…> в Москве же мне необходимо по твоим делам остаться дней 10". Через неделю – еще настойчивее: сообщая, что те же – по делам Одоевского – хлопоты могут его удержать в Москве, заявляет, что рискует из-за этого "по службе получить неудовольствие", а посему – "прошу тебя, ради Бога, напиши в Симбирск чрез кого-нибудь поубедительнее, я по сие время от 20 декабря решительно не знаю ничего ни о тебе, ни о себе и делах моих, поспеши меня чем-нибудь порадовать". "...Приложу все мое старание имение выкупить потом послать чрез В.<арвару> И.<вановну> в Сибирь 1.000 рублей..."

"...1-е ради Бога вышли мне бумаги о коих я вторично повторяю
2. помоги допущением меня до должности <…>
3. и буди можно сдержи свое обещание ознакомить меня с Загряжским.
В заключение извещаю тебя что князь Щербатов будет сполна удовлетворен

ворен	8.000
Гандини тоже	5.000
Дубле	1.700
Линову по частному твоему письму	500
по росписке твоей Милютину	200
и все мелочные твои долги по росписи отысканных мною	300
Итого	15.700

По залогу оставшиеся деньги до 2.000 приказал Беляеву выслать в Питербург и отдать отчет его действию подробной вам, и тогда я поздравлю вас что вы решительно от ваших долгов освобождены чего душевно желаю и хлопочу изо всех сил <…>"

И наконец, 27 февраля – о том, что, кажется, не может остаться без ответа: "...К Святой неделе вместо яйца надеюсь прислать квитанции из Совета к вам в выкупе имения".

Сеченов сулит доставить Одоевским чистого дохода 25 тысяч рублей.

Сеченов наступает – Одоевский по-прежнему упорно отмалчивается, хотя, похоже, бумаги, присланные отчимом, были им внимательно изучены: они хранят следы его помет.

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
24 февраля <1833>

"...Пиши ко мне в дом В. И. Ланской я жду твоего ответа на многие письма мною тебе посланные <…> Жену жду сегодня сюда едит видно много накопила без меня денег. Дела кажись ее все приведены в порядок еще летом".

П. Д. Сеченов – О. С. Одоевской
9 марта 1833 г. Москва

"Не умоляйте меня пощадить князя Владимира Федоровича почтеннейшая княгиня Ольга Степановна, любя его могу ль не дорожить его спокойствием, но согласитесь что встречаются случаи непредвидимые которые поневоле заставляют докучать тем кем мы дорожим наиболее, и в том положении что добрые действия князя и его советы для меня весьма полезны всегда и более еще теперь, почему не оправдывая себя в неосторожном поступке, прошу его по доброте сердца и по оказанному ко мне прежде расположению, в нужнейшем случае к тому же мне и прибегнуть и то одна крайность меня к тому побуждает..."

———

"...Много дела которое верно бы с лудшею выгодою было кончено, но неведение страшит меня и не окончивши еду завтра в Симбирск опасаясь чтоб дальная просрочка мне не повредила <…> Нащот своих мне вверенных буть покоен сие то что к лудшему и к пользе стремится все будет без упущений сделано. Желаю от тебя получить подробное и приятное уведомление в Симбирске <…>"

В Симбирске же Сеченова ждала запоздалая отповедь Одоевского – его письмо от 16 января. Оно, очевидно, всерьез испугало незадачливого полицмейстера своей суровостью и максимализмом, т.к. в спешном своем ответе он просит князя "не расстраивать" его со всем "семейством и их расположением дорогим", без чего жизнь ему "будет в тягость и на всю <…> жизнь упреком". В том же письме, выражая недоумение по поводу того, что в Петербурге происшествие его принято "за событие ужасного и невероятного", Сеченов приводит новые доказательства своей "невинности", сообщая при этом, что "дело хотя и медленно идет", но "чисто и ясно" его оправдывает. Но официальный Петербург по-прежнему хранил молчание – вплоть до мая, когда симбирский губернатор получил, наконец, уклончивое министерское предписание "озаботиться скорым окончанием дела Сеченова". В Сызрань, тем не менее, дорога ему оказалась закрытой; он был допущен в один из ближайших городов Симбирской губернии – "до окончания должности". Однако при столь, казалось бы, со слов Сеченова, безусловной его правоте расследование подвигалось подозрительно медленно, и лето не принесло существенных сдвигов.

Тон писем Сеченова заметно меняется. "Изнуренный ожиданием", он заверяет пасынка, что готов делать для него что только может "доброго", лишь бы тот не оставил его. Параллельно сыпятся просьбы о протекции то в давно присмотренный Вышний Волочек, то в Рыбинск –

последняя прикрыта наивно лукавым мотивом близости Рыбинска к имению князя, что позволило бы ему, Сеченову, еще прилежнее блюсти интересы Одоевского. Сызрань, хотя все еще недосягаемая, кажется, тем не менее, Сеченову недостойной его возможностей.

10 сентября 1833 г., в день, когда в Симбирск прибыл Пушкин, Сеченов в отчаянии сообщал Одоевскому о том, что расследование только лишь теперь передано из земского суда в уездный, что этому "конца не будет", и просил "научить", что ему делать. При этом он, как и прежде, заверяет "любезного друга князя Владимира Федоровича", что дело его "столь чисто и столь справедливо", что "не могут ни к чему прицепиться", в противном случае его "давно бы упекли в уголовную и определили бы в угодность Кравкова им назначенное <…> наказание", т.к. у того "карманы толсты", а у него, Сеченова, "едва-едва дышут".

Еще раньше, зимой, когда дело только началось, Сеченов неоднократно и настойчиво подсказывал Одоевскому верный путь к благополучному исходу: "Опять тебе повторяю, князь, – писал он в феврале, – найти кого-нибудь поважнее для Загряжского и написать обо мне <…> попроси, кто с ним знаком, кого просьба подействует на Загряжского и тем ко мне будет снисхождение". Возникало имя губернатора в его письмах к пасынку и позже. Судя по течению дела, тогда Одоевский его просьбе не внял. Неожиданная же поездка Пушкина в Симбирск, родственные отношения его с Загряжским, в доме которого он предполагал остановиться, – все это было едва ли не единственной и слишком соблазнительной возможностью получить, наконец, сведения о происшедшем из верных рук. Видно, о большем, т.е. о прямом ходатайстве перед губернатором, речь не шла и на этот раз. Судя по всему, версия отчима по-прежнему вызывала у Одоевского недоверие, – и неслучайно. Спустя почти год Пушкин неожиданно внес в нее совсем иные акценты, которые хоть отчасти должны были объяснить его корреспонденту, отчего щекотливое это дело так затянулось и приняло столь неприятный оборот, с разбирательством в земском и уездном судах, отстранением Сеченова от должности, даже угрозой ареста, отчего оно дошло до Петербурга – до самого министра внутренних дел Д. Н. Блудова, лично входившего в его разбирательство и решавшего судьбу отчима другого своего подчиненного – князя В. Ф. Одоевского.

Уже по окончании дела Сеченов, все еще переживая его перипетии и волнуясь восстановлением своей репутации, писал о случившемся в оправдательных тонах одному из близких своих друзей – и, между прочим, следующее: "Сей девице 22 года; не думай, чтоб была красавица, совсем нет, но мила, любезна, умна и добра, вот что заставило меня впутаться в столь неприятное дело <…> поверь моей чести, что одно сострадание было виною исполнения с моей стороны ее требования". "Не дурна", – коротко, но выразительно охарактеризовал девицу Кравкову Пушкин, и это его свидетельство – думается, безусловно достоверное – невольно бросало тень сомнения на пылкие уверения Сеченова в "одном сострадании". Брошенное же вскользь пушкинское

замечание об усердном покровительстве, оказываемом беглянке губернатором, не менее определенно должно было объяснить князю и причину непомерно горячего участия Загряжского в судьбе новоиспеченной послушницы, принятой в губернаторском доме, невзирая на атмосферу скандала вокруг ее имени.

Не забудем, что Пушкину история Кравковой была уже известна от Одоевского – разумеется, в версии Сеченова, основного его информатора. Быстрый и верный пушкинский глаз уловил иное, и самая характеристика Кравковой – "скромная отшельница" – обрела в его устах едкий и иронический смысл. В своем письме Пушкин не упоминал о Сеченове – видно, разговор с Одоевским перед отъездом шел лишь о таинственной "героине", в личности которой, как догадывался Одоевский, и коренилась разгадка истины.

К моменту появления поэта в Симбирске история Кравковой все еще не утратила своей остроты. Напротив – как раз во время его пребывания там симбирское общество получило новую пищу для разговоров: бежал от отца в Грузию простым солдатом брат Варвары Ивановны Дмитрий Кравков; мать их, получив наследство, решила оставить мужа и жить отныне "с изгнанниками", о чем написала дочери в монастырь, сказав при этом о своем супруге много дурного. Письмо это ходило в Симбирске по рукам – к несомненной выгоде Сеченова. Думается, эти последние обстоятельства положили начало перелому в отношении к незадачливому саранскому полицмейстеру – даже сам архиерей оказал ему честь своим посещением, да и губернатор стал принимать в нем "сильное участие" и сожалеть, что так его "изуродовал".

Все это, наверное, и дало Пушкину основание – быть может, даже со слов Загряжского – счесть дело фактически конченным, хотя формально оно протянулось еще с год.

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому
<начало лета 1834 г.>

Любезной друг князь Владимир Федорович и много уважаемая княгиня Ольга Степановна – не есть ли вернейшего доказательства вашего ко мне равнодушия которое меня привело было до отчаяния, узнав я от людей совершенно посторонних и вовсе не берущих во мне участия то что я ровно добиваюсь четыре месяца от тебя мои хладнокровной князь – я допущен Министром до должности от 17-го марта и не был тобою извещен к чему сие приписать ей-ей и не придумаю знав твое ко мне истинное расположение и так быть беспечну не дать мне знать о том что составляет мое спокойствие, благополучие и даже самое щастие я получил известие из Симбирска от двух лиц от жандармского полковника и полицместера которые оба пишут чтоб я явился к должности которая хотя с изменением но сие лудше службы дроковской. Как я рад был нежданною новостию ты сам представить можешь и вдвое того душевно огорчился что не от тебя имею извещение то предоставляю вам судить вправе я или нет на вас сетовать. Три месяца потеряны невозвратно с ущербом моего здаровия ибо я оные провел

в Дрокове хуже нежели на иголках, Бог вам судья и сей мой справедливой ропот остается между нами право никто не услышит и я все по прежнему вас люблю и уважаю токмо немного сумневаюсь в вашем многокровии заслуженным расположении но что же делать насильно мил не будешь, я в моих заботах забыл вам сказать что батюшке заем твой заплатил и росписку посылаю с дворцовой гвардии унтер-офицером Павловым бывшем твоим крестьянином равно донесение ветлужского бурмистра и поверенного Беляева и прокурора Костромского где усмотришь что мое действие точно такое же как и было и всегда будет токмо ты плати тою же монетою. Министр велел меня допустить до должности с присмотром что мне крайне прискорбно начать так служить что право не так-то для меня приятно но современем Бог милостив и ты поможешь я несумневаюсь, благо допущен чего я добивался до нельзя я тому очень очень рад конешно все таки обязан тебе и благодарю от души <…>

П. Д. Сеченов – В. Ф. Одоевскому

Любезный друг князь Владимир Федорович, наконец мое дело кончено и самой уголовной палатой признано допустить меня до должности <…> Я словом оправдан пред целым миром в моей невинности и принят в лучшее общество как человек, пострадавший без вины...

ЭПИЛОГ

Е. А. Сеченова – В. Ф. Одоевскому
5-го июля 1836 года

...К сожалению видела твое имение в газетах но не понимаю твоего письма с кем у тебя тяжба, не с тем ли покупщиком у которого П.<авел> Д.<митриевич> взял задатку 3 ты<сячи> и ничего не сделал, кроме растраты денег?

Слышала что П.Д. в Москве, где и жита расположен, отец его умер, и ему досталось 100 душ. Делает обеды у Яра, и живет в сотовариществе с примерным повесою молодым Бухвостовым, почему я надеюсь остаться в покое по ненадобности ему угла как то было прежде, угощал моих соседей своих любимцев и сказывает всем, что очинь доволен своею таперешнию жизнию, чему и я рада собственно для себя. Смешное сватовство его не есть выдумка, он точно делал предложение Полетаевой и на помолвке дарил невесте 5 ты.<сяч> заемное письмо. Етому был свидетель один иностранец и долго не хотел верить что я жена его. Такие чудеса в классе сих людей нередкость...

Е. А. Сеченова – В. Ф. Одоевскому
27 сентября 1836 года

...Я никак не могла вообразить чтобы ты передал право заемного письма Сеченову после всего того, что тебе было известно, и как я вижу что это случилось уже во время его истории, тем еще удивительнее, таперь конечно мое содействие будет бесполезно, и оставшие деньги

отошлют к нему. Не постигаю тебя любезный Владимир как ты давно не разгадал его, правда с благородными чувствами человеку не придет в голову такие способности к обману он же употреблял со всею тонкостию их, и мастерски приноравливался к тому на каво имел виды.

Мне очинь жаль что вы не давали мне веры, надо было жить с ним чтобы узнать что етот сосуд самый нечистый, я говорила тебе в 1832 году чтобы вы не делали ему доверенности, все что он ни делал по видимому для вашей пользы, делал для себя, поверь что без виду собственного он для вас ничего не зделал кроме вреда. Когда я сказала ему что он во зло употребляет вашу доверенность, он мне отвечал, что он умел так вас поставить что мое никакое доказательство не будет действительно открыть его действии. Мне всегда больно было видеть как вы ослеплялись его хитростями, я кажется живу довольно на свете, но клянусь всем что есть святого подобного человека не встречала. Кажется ума не много, но обманы его так завлекательны что по неволи поверишь и остеречса не возможно, и чтобы дойти до своей цели ничего никогда не щадилось, и по многим моим замечаниям я нахожу что он не в силах удержать себя, ежели имеет какое нибудь средство исполнить свою склонность. Одна совершенная невозможность только удержать может две сильнейшие его слабости, интриги и карты, для сих двух страстей нет вещи которыми бы не жертвовал несмотря надолго ли, и что после произойдет, до етого нет дела, но он счастлив той минутой в которую удалось, такова была моя с ним 16^{т} летняя жизнь, такова его и таперь. Свидетелей своих дел не терпел, первый враг кто заметит его дурной поступок, в том числе и я.

Вкратчивость необыкновенная <…>
Старик вдовой имел дочь одну и двух братьев гусаров. Он хотел прикрыть ето дело сватовством, обещая на помолвке подарить заемное письмо в 50 тыс. но дело испортилось тем, узнали что он женатый. Гусары хотели поучить его по гусарски, надо было откупиться деньгами, он из Гревсеных денег купил им землю за 7 тысяч рублей <…>

Потом служба его, не успел принять ее как завел уже интригу, 7-е сентября выехал из Дрокова, в Городице прожил октябрь, в ноябре приехал в Саранск в то же время свел интригу и в декабре 8-е число увез. Между нами положено было чтобы мне приехать тогда когда он утвердится постоянно но я сего не дождалась, и полагая приехать к его именинам не успела. Коравкова занела мое место. Во время своего следствия в 1833 году он проездом из Ветлуги встретился со мною в Москве, в ето время он предлагал Гольщапову взять 8 тыс. привезенных оттуда, он не принел, из чего очинь видно что он под предлогом твоей выгоды брал уволнении, и собрал для исправления своих гнусных дел, которые продолжает и таперь и даже и то кажится быв в лавки у Гуа где встретился с Голыцаповым просит его выдти посмотреть его экипаж, то не хотел идти, но он убедил его, и что ж коляска заложена вороными лошадьми, в серебреных хомутах, Коравкова сидит в коляске. Он раскланился с Голыцаповым и при нем сел в коляску. Оба громко засмеялись оставив у дверей Голыцапова. Вот любезный

Владимир что Сеченов, – тогда, когда он не имел пристанища, и щитал мой угол для него нужным, он в самую интригу старался меня переуверить, и бранил всех злых людей, врагов его небывалых. Но как теперь может обоитися без меня получив отцовское имение и собрав капитал, он нарочно показывает свою связь и хвастает ею без стыда. Таков он был всегда, мы были ему нужны, но таперь не имев нужды доказывает, как дорожил тобою, не говоря уже о себе, – доверия твоего не оправдал, что больно <…>

Из набросков к "Жизни и похождениям Иринея Модестовича Гомозейки"

"Спасенная девушка от разврата родных – гонения от оных и пр. т. п."

ГЛАВА X.

"СЕБАСТИЯН БАХ". ...ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ РАСТЕРЗАНА..."

Лето 1834 года Одоевский проводил в Ревеле. Ревельские поездки на воды, довольно регулярные, для подкрепления постоянно дававшего о себе знать слабого здоровья, были всегда плодотворны и творчески – не обремененный службой, все свободное время отдавал он здесь письменному столу. Итогом этого лета явился "Себастиян Бах" – последняя новелла, специально назначавшаяся в "Дом сумасшедших", хотя мысль о завершении задуманного монументального произведения уже, кажется, едва тлела. Во всяком случае, публикацию "Баха" сопровождало следующее авторское примечание: «Из неизданной книги "Дом сумасшедших"». История великого Баха принадлежала этому замыслу органически, и писатель не мог не досказать ее.

"Себастиян Бах" появился на журнальных страницах в следующем году – в майском номере "Московского наблюдателя". Отправляя свое новое детище друзьям-"наблюдателям", Одоевский писал Шевыреву, одному из "вершителей" журнала: "Посылаю вам, любезная моя редакция М. Наблюдателя, Себастияна Баха, написанного con amore [1], которого соблаговолите тиснуть. Ето почти единственная новая статья, которую я готовил для издания всего Дома Сумасшедших..."

С момента появления последнего из "гениальных безумцев" – импровизатора Киприяно – прошел лишь год, однако он привнес много нового.

Создание "Баха" растянулось на годы. Задуман он был, собственно, еще раньше "Бетховена", в Москве – в пору первого знакомства и увлечения великим композитором, когда юный Одоевский сделался одним из первых фанатичных его поклонников в России и когда сочинения Баха стали для него "почти первой учебной музыкальной книгой", большую часть которой знал он наизусть. В 1827 году он посвящает "Тени Себастиана Баха" собственную фугу и всю жизнь поверяет свои музыкальные оценки масштабом Баха и степенью приближения к нему.

Однако художественное воплощение столь сокровенного для него образа давалось, видно, с трудом.

К концу 1831 года Одоевский, увлеченный регулярными посещениями петербургской "Хоровой Академии", где на еженедельных собраниях "все пело" Генделя, Баха, церковную музыку, вновь усиленно работает и над задуманной новеллой. В письме Верстовскому он признается, что музыкальные занятия "невольно отражаются" в его литератур-

---

[1] С увлечением (*ит.*).

ных и музыкальных произведениях. "Читал ли ты в прошлогодних Сев<ерных> Цветах статью: Последний квартет Беетговена, – спрашивал он своего корреспондента, – ето моя. В нынешнем, если успею докончить, то помещу Биографию Себастьяна Баха".

Однако в "Северных Цветах" вместо "Баха", предназначавшегося, судя по этому признанию, сюда же, в 1832 году появляется "Пиранези". "Биография" любимого композитора была вновь отложена и получила окончательное свое завершение лишь спустя три года. Новое произведение было, кажется, особенно дорого автору: в цитированном выше сопроводительном письме в Москву Одоевский, знающий постоянный "грех" "Московского наблюдателя" – типографскую небрежность, – в последний момент делает приписку: "Печатайте пожалуйста Себастияна без ошибок и в точности против оригинала".

Запомним эти, столь скупые, но крайне важные факты истории создания самой, пожалуй, пронзительной, отмеченной наиболее глубоким движением чувства новеллы "Дома сумасшедших" – мы к ним еще вернемся.

Замысел "Себастияна Баха" с годами, очевидно, претерпевал изменения, но несомненно одно: великий Бах никогда не был в глазах Одоевского, подобно другим героям "Дома...", романтическим "безумцем". Напротив – музыка его всегда производила на Одоевского то же впечатление, что и "разговор доброго, умного человека". Нет места "безумию" и в биографии композитора, рассказанной писателем в той же произвольной, свободноромантической манере, допускающей отступления от фактической достоверности, что и биография Бетховена. Совсем наоборот: славный Бах, начав было свою жизнь в искусстве одержимым юношей, стремящимся любой ценой преодолеть рутину внушаемых ему общепринятых музыкальных представлений, оканчивает ее всеми признанным, уважаемым, великим маэстро, и в этом смысле новый герой явно выпадал из галереи целостно задуманных персонажей "Дома...".

Однако не внешняя биография композитора интересует нового ее творца – именно творца, так как, повторяем, подлинные факты соседствуют в ней, как и в истории Бетховена, с вымыслом, – а, как сказано в новелле, "происшествия внутренней жизни Себастияна". Вместе с тем именно внешняя канва жизни рассказана на этот раз Одоевским с несвойственной ему до этого подробностью. Биография "жреца" музыки погружена в современный композитору немецкий быт и прослежена от рождения и до смерти; сам же он окружен таким количеством сопутствующих персонажей, которых не знали прежние истории. Словом, если только следить развитие сюжета, повествование вполне можно было бы причислить едва ли не к числу реалистических жизнеописаний – и внешние факты оказываются здесь не менее важны, чем "происшествия внутренней жизни".

Исследователи обычно сближают новеллы о двух великих музыкантах– Бетховене и Бахе, – усматривая в них не только родство героев,

но и однотипность их "жизнеописаний". Однако это справедливо лишь отчасти.

"Гениальный безумец", Бетховен, – герой не только смятенный, но и не понятый. Его высшее, предсмертное творческое прозрение равносильно творческому "бунту" – оно и заслужило ему славу "сумасшедшего", предопределив и безвестный, нищенский его конец.

В совершенно иной окраске предстает перед читателем судьба Баха. В нем нет бетховенской мятежности, тем более нет и иррационального, почти мистического раздвоения личности, как у Пиранези, позволившего увлечь себя "демону зла". В Бахе все – высшая гармония и покой: и дух, и творчество, и личность. Ему, как и Бетховену, открыты и подвластны самые высокие сферы духовной жизни, но он царит там величественно и спокойно, равнодушный к признанию, к мнению "толпы".

Высокое же имя "безумца" принадлежит в этой новелле не ему, главному герою, а органному мастеру Албрехту, его настоящему, истинному учителю. Это он, а не Бах мучим важными для всех персонажей "Дома сумасшедших" трагическими вопросами бытия. Это Албрехт рисует изумленным, едва постигающим смысл его речей ученикам грандиозные картины извечного борения человека с природой, "мира идей" и "инстинкта кристаллов", "мысли и выражения" – этих вероломных, опасных, но неизменных спутников души человека с тех пор, как покинул он свою "невинную, младенческую колыбель". Однако благодаря своему "безумию", острому и непредвзятому творческому чутью и прозревает Албрехт в своем исправном ученике великого музыканта. На Баха как бы ложится отсвет этого творческого "безумия", уловленного и воспринятого им, но гениальный ученик идет дальше своего талантливого учителя. Он прорывается сквозь это "безумие" как сквозь мрачно-прекрасные, но исполненные тревоги грозовые тучи и возносится над ними, к горним высям, где, казалось бы, нет уже места земной и суетной юдоли. Он осенен "религиозным вдохновением", чуждым мятежных страстей, вдохновением, горевшим в нем ясным, незатухающим пламенем. Это был характер "ровный, спокойный, величественный", отражавшийся "во всей его жизни, или, лучше сказать, во всей его музыке". Никогда ни земная мысль, ни земная страсть не владели его звуками – и оттого они казались иным "холодными и безжизненными": простые и величавые мелодии, рождавшиеся в его успокоенной душе, были подобны молитве, а он сам – "церковному органу, возведенному на степень человека". Именно поэтому никогда не трогала Баха недобрая людская молва – как не трогало и заслуженное им всеобщее признание: ни то, ни другое не достигало возвышенного его мира.

И тем не менее этот небожитель искусства терпит под восхищенным, но причудливо скользящим по бумаге пером Одоевского жизненный крах. Одинокий, ослепший, Бах смутно прозревает перед земным своим концом истинный смысл человеческой жизни. Слава его гремит по всей Европе, к знаменитому старцу стекаются все на поклон – а он впервые с удивлением чувствует, что хочется ему совсем другого: "чтоб кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторон-

них расспросов, положил бы руку на его рану..." Делает он для себя и еще более страшное открытие – он понимает вдруг, что и в своем семействе, для сыновей своих, достойно наследовавших его искусство, он был лишь "профессором между учениками". Конец Баха воистину трагичен: "окруженный вечною тьмою, он сидел, сложив руки, опустив голову – без любви, без воспоминаний..." Оставило его и так безотказно служившее вдохновение, и напрасно он, изнывая, ждет его, напрасно ищет того "единственного языка, на котором ему была понятна жизнь души его и вселенной", – тщетно: его одряхлевшее воображение "представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа! мертвые, безжизненные, они уж не возбуждали сочувствия: магический свет, проливавший на них радужное сияние, закатился навеки!.."

Что же произошло? Почему так жестоко обошелся Одоевский с тем, кого почитал одним из самых совершеннейших творцов? Почему придумал ему такую страшную, такую беспощадную биографию?

В "Себастияне Бахе" Одоевский, кажется, впервые задумывается над тем, что же есть для человека истинное счастье и что же есть вообще "полнота жизни". Не случайно здесь – и впервые на страницах "Дома сумасшедших" – возникает не статичный, как в "Бетховене", а полноправный женский образ: жизнь великого маэстро делит с ним его жена Магдалина.

Дочь доброго Албрехта, она была "проста и прекрасна". Полуитальянка по происхождению, с черными локонами, оттенявшими северные голубые глаза, Магдалина никогда не знала своей полуденной прародины. Лишившись матери едва не в младенчестве, она была воспитана "в простоте старинных немецких нравов", четко очертивших маленький мир ее бытия, заключавшегося в нехитрых домашних заботах да в воскресных визитах к пастору, у которого училась она пению. Себастияну, поселившемуся в доме Албрехта и увлеченному одной лишь музыкой, она, незамечаемая, сопутствовала с юных лет, помогая ему в музыкальных занятиях, переписывая ему ноты и распевая вместе с ним его каноны и фуги. Они поженились, потому что Магдалина, мешаясь со всеми событиями его музыкальной жизни, сделалась ему необходима: он привык к ее мягкому голосу, привык видеть ее лицо перед собой, когда, в грезах импровизаций, останавливался взором на одном и том же месте... Так же протекала и их семейная жизнь. Неслышная Магдалина, взявшая на себя все житейские заботы, рожавшая ему детей и по-прежнему певшая вместе с ним по вечерам новые его сочинения, была всегда рядом.

Безмятежная эта идиллия, ничем не омрачаясь, длилась годы, никак не обременяя Баха и оставляя ему для единственной его подлинной страсти, единственной цели и смысла жизни свободными ум, сердце и время, – длилась до той поры, пока однажды в церкви, где своей игрой на органе возвышал он по обыкновению души прихожан, его чуткий и опытный слух не уловил в их хоре прекрасный, но чуждый молитве, смятенный и соблазнительный голос. Он принадлежал молодому приезжему итальянцу.

Венецианец Франческо, устремившийся в холодную Германию, чтобы поклониться знаменитому Баху, появляется в его доме, и сорокалетняя Магдалина влюбляется в него. С неизведанной ею доселе молодой страстью трепещет она при звуках его тревожного голоса, слабеет под взглядом огненных и томных, подернутых влагой глаз. В его игривых руладах и трелях, над которыми посмеивается Бах, привыкший видеть в каждой ноте лишь "математическую необходимость", она узнает вдруг "настоящую музыку", узнает, будто во сне, мелодии, которые напевала ей когда-то мать и которые тщетно искала она в баховых строгих звуках. В Магдалине просыпается голос крови.

"Итальянская кровь, в продолжение сорока лет... сорока лет! обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою, – вдруг пробудилась при родных звуках; новый, неразгаданный мир открылся Магдалине; полуденные страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развились со всею быстротою пламенной юности; их терзания увеличивались терзанием, которое только может испытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей".

Магдалина нетерпеливо отвергает теперь все, созданное Бахом. В порыве отчаяния умоляет она мужа бросить в огонь свои творения и писать, писать для нее итальянские канцонетты.

Франческо, позабавившийся чувством стареющей женщины, не увез Магдалины; но из тихого дома арнштадтского органиста он увез навсегда царившие здесь дотоле смирение и покой. Магдалина забросила хозяйство – и Баху впервые в жизни пришлось столкнуться с унылой мелочностью быта. Недвижная, безучастная жена его не скрывала теперь и своего равнодушия к его музыке, и Баху, на пятидесятом году жизни, нестерпимо было сознание такого противоречия с главной целью своей жизни в кругу собственного и, как казалось ему всегда, незыблемого семейства. Он думал, что его Магдалина "помешалась". Магдалина же так и не оправилась. Приступы тоски, когда она готова была бежать вослед прекрасному Франческо, чтобы броситься к его ногам, сменялись отчаянием при мысли о невозвратно, впустую утраченной жизни. Вскоре Магдалина угасла навсегда, а ее великому мужу суждено еще было горькое прозрение и конец одинокой души.

Всю эту историю Одоевский придумал сам. В действительности Анна Магдалина, вторая жена Баха, чистейшая немка, пережившая его на десять лет, была дочерью придворного трубача Вюлькена, и ее итальянское происхождение – как и любовь к Франческо, и последовавшая затем смерть – плод вымысла писателя. Но все это, очевидно, зачем-то ему понадобилось.

Магдалина открывает собою галерею женских образов Одоевского – загадочных героинь его позднейших фантастических повестей: Энхен Громбах из "Орлахской крестьянки", Эльсы из "Саламандры", Софьи в "Космораме", где он варьировал и последовательно развивал определенный круг тем и мотивов. Интересно, кстати, что "Саламандра" первоначально также была задумана как "итальянская" повесть.

В "Себастияне Бахе" оказался не один, а два "сумасшедших"

персонажа: наряду с Иоганном Албрехтом – для "Дома сумасшедших" типом уже устойчивым и разработанным – Одоевский, устами Баха, называет таковой и Магдалину. Однако ее "сумасшествие" несет в себе уже некие новые признаки и черты: Магдалина близка к безумию оттого, что полностью отдается во власть "инстинктуального чувства". Спустя десятилетие Одоевский оформит эту, впервые художественно уловленную в "Бахе", мысль теоретически. В неоконченной заметке "Наука инстинкта" он напишет: "...человек может дойти до сумасшествия, предаваясь одному инстинктуальному бессознательному чувству (высшая степень сомнамбулизма)..."

Подобный род "безумия", позже усиленно разрабатывавшийся писателем в нескольких планах, представлен в новелле о Бахе весьма своеобразно. Источником "зла" – вполне традиционно для романтической литературы – предстает здесь "юг", синонимически приравненный к "востоку". Этот мотив прозвучал у Одоевского уже в "Импровизаторе", в образе таинственного доктора Сегелиеля, обретшего свой зловещий дар на Востоке, и сам по себе ничего новаторского не содержал. Однако в случае с Магдалиной знакомая тема осложняется еще несколькими не вполне обычными моментами: биологическим мотивом "голоса крови" и идеей инстинктуального чувства как одной из форм самопознания.

В той же "Науке инстинкта", а также в "Психологических заметках", опубликованных в 1843 году, но складывавшихся на протяжении 1820-х–30-х, писатель формулирует свой взгляд на процесс познания, слагающийся, по его убеждению, из двух компонентов: познания инстинктуального и рационального, "разумного". О наличии этих "двух природ" в современном человеке свидетельствуют, по его мнению, следы первобытного инстинктуального состояния, которые он усматривает в непроизвольных, немотивированных Поступках и комплексе априорных знаний, изначально присущих человеку (ребенок непроизвольно тянется к материнской груди, инстинктуально познание добра и зла, ибо абсолютная истина неизвестна и т.д.). Нам предстоит еще подробный разговор обо всех этих предметах, однако любопытно, что в свою теорию инстинкта, окончательно сформировавшуюся к 1840-м годам, он уже на заре 1830-х, в "Себастияне Бахе", вносит отчетливый оттенок биологизма, столь характерный для позитивистского мировоззрения, элементы которого, как считалось ранее, начали проявляться у него лишь в 1850–60-е годы. Без сомнения, это было продолжением первого "иронического" опыта в "физиологическом", "жаненовском" духе, опыта, который, однако, несмотря на всю свою пародийность, не прошел для восприимчивого русского писателя впустую. "Физиологизм" "неистовых" французских натуралистов давал на почве философской прозы Одоевского свои, оригинальные всходы: "биологические" мотивы, отчетливо прозвучавшие в "Себастияне Бахе", явились следующим после "Нового Жоко" его ростком. Однако в "Бахе" эта тенденция обретает уже несколько иное качество, трансформируясь в сложный комплекс философских идей, нашедших свое дальнейшее художественное и философское развитие в фантастических повестях.

"...Для разума инстинкт есть бред", – скажет Одоевский позже в "Психологических заметках". В "Себастияне Бахе" этот антагонизм, эта "конфронтация" уже обозначены в столкновении мироощущений Баха с его "математическим" мышлением и "прозревшей" Магдалины: ее "инстинктуальное" прозрение Бах принимает за "помешательство".

Однако наряду с художественно-философскими исканиями в этой новелле Одоевского отразилось и нечто иное.

* * *

...В самом начале лета 1831 года покидает Петербург один из самых близких в это время Одоевскому людей, Александр Иванович Кошелев. Болезненно переживая, как мы помним, неудачное свое сватовство к Александре Осиповне Россет, он добивается продолжительного отпуска и отправляется за границу, оставив друга "поверенным" в своих сердечных и прочих делах, ожидая от него исчерпывающих и регулярных сведений о все еще волновавшем его "предмете". Одоевский же неожиданно оказался возмутительно небрежен. Сообщив Кошелеву в сентябре кое-какие служебные и литературные новости, а также уведомив его о предстоящем замужестве Россет, он затем в течение четырех месяцев томит его молчанием, заслужив несколько резких, исполненных упреков писем из Женевы. Кошелев не только обижен, но и оскорблен невниманием Одоевского. Соболевский и Шевырев, которых нашел Александр Иванович в Женеве, подтрунивают над ним за то, что он выбрал в поверенные "автора апологов".

Наконец, 5 февраля 1832 года Одоевский прерывает молчание. "Если кто-нибудь из нас, дорогой Александр, имеет право друг на друга сердиться, – пишет он, – то уж это верно я, а не ты. Если бы Кошелев сделал в моих глазах что-нибудь, что бы мне не нравилось, то я бы начал с того, что не поверил бы своим глазам; а тебе за тысячу верст не пришло в голову подумать, что может существовать какая-нибудь причина, почему дело твое не делается и почему Одоевский тебе о нем не пишет. Стыдно, братец, право стыдно. У твоего Одоевского может быть много горя, может быть горе убило его душу, сделало ни на что неспособным, может быть каждая минута его жизни есть тяжкое борение, на которое истрачивается вся его деятельность, – но кто дал тебе право думать, что я забыл о тебе, кто дал тебе право думать, что я помнил о тебе, "пока воспоминание о тебе было горячо"? Неужели ты в самом деле так думаешь? Бога ради вырежь эту фразу из твоего письма, или, лучше сказать, из моего сердца: она принадлежит к числу величайших огорчений, которые только я имел в мою жизнь; уверен, что она тем же будет и для тебя, когда узнаешь все обстоятельства дела".

1/13 марта пристыженный Кошелев отвечает Одоевскому не менее загадочным письмом, прибегая к прозрачному, весьма распространенному в интимной переписке того времени иносказанию: "Две, три фразы в твоем письме меня жестоко опечалили. При отъезде мне больно было видеть его в етом положении, которое я и прежде угадывал, но я надеялся что какие-нибудь обстоятельства дадут етому делу иное

направление. Постигаю всю злополучность оного, и душевно сокрушаюсь, что присутствием моим не могу несколько его рассеять..." (Подч. в автографе. – *М. Т.*).

7/19 апреля, из Лондона:

"...Крайне сожалею что ты все печален. Давно мне хочется на Русь, но получив твои два последние письма, желание сие стократно усилилось. Душевно желаю видеть тебя и хоть несколько рассеять друга. Я буду на Руси гораздо прежде чем думаешь <…> в начале августа возвращусь в Питер".

В Питер, однако, Кошелев попал много позже, около 10-х чисел мая 1833-го. Не застал его Одоевский и летом в Москве – его друг находился в это время с матушкой в подмосковной. Зато загадочная переписка продолжалась еще, видно, долго.

В передаче Н. Колюпанова, автора фундаментальной монографии о Кошелеве, нам известен недатированный отрывок письма Одоевского с надписью: "одному Кошелеву". Оригинал его разыскать не удалось, однако, судя по фрагменту, приведенному Колюпановым, оно было написано гораздо позднее первых горьких полупризнаний Одоевского.

"Ты удивишься, когда узнаешь, – исповедовался он вновь другу, – что мои арлекинские сказки я писал в самые горькие минуты моей жизни: после этого не упрекай же меня в слабости характера, – это действие было сильным торжеством воли, к которому не многие могут быть способны. В это время я успел перейти все степени нравственного страдания; по странному стечению обстоятельств, должен был действовать прямо против себя, и утешает меня одно, что я в сем случае поступил хорошо и благородно. Когда увидимся, тогда все расскажу тебе. Один раз я позволил себе увлечься горем, и "Бах" есть слабый отпечаток того, что происходило в душе моей. Пожалей обо мне: фактически часть моей жизни растерзана, глубокое чувство подавлено, а от этой борьбы, что ни говори, душа всегда остается в потере: на такую борьбу она истрачивает лучшие свои силы, и это ослабление я чувствую".

Спустя десятилетие после опубликования этого отрывка, в 1899 году историк русской литературы Ч. Ветринский в своем очерке "Человек трех поколений", посвященном Одоевскому, приводя это письмо в связи с новеллой о Бахе, высказывает глухую, но очевидно напрашивающуюся догадку о том, что и оно, и сама новелла – "отголосок личных отношений князя Одоевского в его семье". Не имея никаких других свидетельств и "зацепок", исследователь позволяет себе высказать предположение "по аналогии": "Это была, быть может, – пишет он, – та же драма, что истерзала Пушкина, – драма тем более жестокая, что длилась многие годы и проходила в блестящей светской среде". Однако произвольная версия Ветринского, не нашедшая себе фактических подтверждений, повисла в воздухе.

Еще через четырнадцать лет вновь коснулся загадочного сюжета П. Н. Сакулин. Игнорируя "пушкинскую ситуацию", предложенную его предшественником, Сакулин впервые предположительно называет имя "героини" таинственного эпизода биографии Одоевского: Надежда Ни-

колаевна Ланская. В связи все с тем же "Бахом" и письмом Одоевского Кошелеву он замечает: "В бумагах Одоевского <...> есть разорванное на мелкие куски письмо Надежды Никол. Ланской <...> Не имеет ли оно отношения к подавленному "глубокому чувству" Одоевского?" Далее Сакулин эту тему не развивал – у него не было к тому больше никаких оснований.

Вот, собственно, и все, чем мы располагаем. В начале века, когда Сакулин писал свою монографию, архив Одоевского, переданный по смерти писателя в Петербургскую публичную библиотеку, был еще разобран далеко не полностью, и исследователь называет 67 писем Ланской, к тому времени зарегистрированных в описи, попавших в его поле зрения и им просмотренных. Сегодня ее эпистолярий, хранящийся в фонде писателя, насчитывает 147 писем и записок – большею частью записок по-французски, небольших или вовсе в две-три фразы, как правило, не датированных и исполненных полутаинственного, а зачастую и вовсе таинственного смысла: они словно продолжают прерванные разговоры, наполненные именами и событиями повседневно текущей жизни. Письма, напротив, хотя их и немного, велики, но они столь же малопонятны сегодняшнему случайному, "непосвященному" глазу, для которого вовсе не были предназначены. В этой связке хранился и портрет Ланской, выполненный в 1841 году К. А. Горбуновым. С прелестной акварели задумчиво и ясно смотрят подернутые темной влагой глаза, тихо светящиеся на нежном полуовале лица; открытый выпуклый лоб обрамляют черные, до плеч, локоны. В легкой фигуре, в непроизвольном, будто на лету схваченном художником повороте изящной головки – почти детская незащищенность.

О Надежде Николаевне Ланской нам практически ничего – или почти ничего – неизвестно. Дама, принадлежавшая большому петербургскому свету.

Восстановить сегодня, спустя столетие с лишним, биографию частного лица, не оставившего никакого следа в художественной или культурной жизни, чрезвычайно трудно – "белые пятна" здесь почти неизбежны. Тем не менее попытаемся воссоединить доступные нам разрозненные отрывочные факты.

Жизнь Надежды Николаевны Ланской, урожденной Масловой, неординарна. Детство на ее долю выпало, кажется, нелегкое: безотцовщина, суровая мать, раннее сиротство... В одном из исповедальных писем Одоевскому, отвергая его обвинения в избалованности, она в сердцах восклицала: "Ты говоришь, что меня избаловали: но кто? – Моя мать? – Я всегда дрожала перед ней. – Мой отец? – Мы почти не знали друг друга. – Пансион? – Но я была приведена туда сиротой десяти лет..." В девушках, однако, Надежда Николаевна не засиделась, вовремя по тем временам, лет девятнадцати-двадцати выйдя замуж за кавалергарда Александра Михайловича Полетику – того самого Полетику, который позже, вторым браком, был женат на Идалии

[1] Подлинник по-фр.

Григорьевне Обортей, известной ненавистнице Пушкина, сыгравшей в его преддуэльной истории весьма неблаговидную роль.

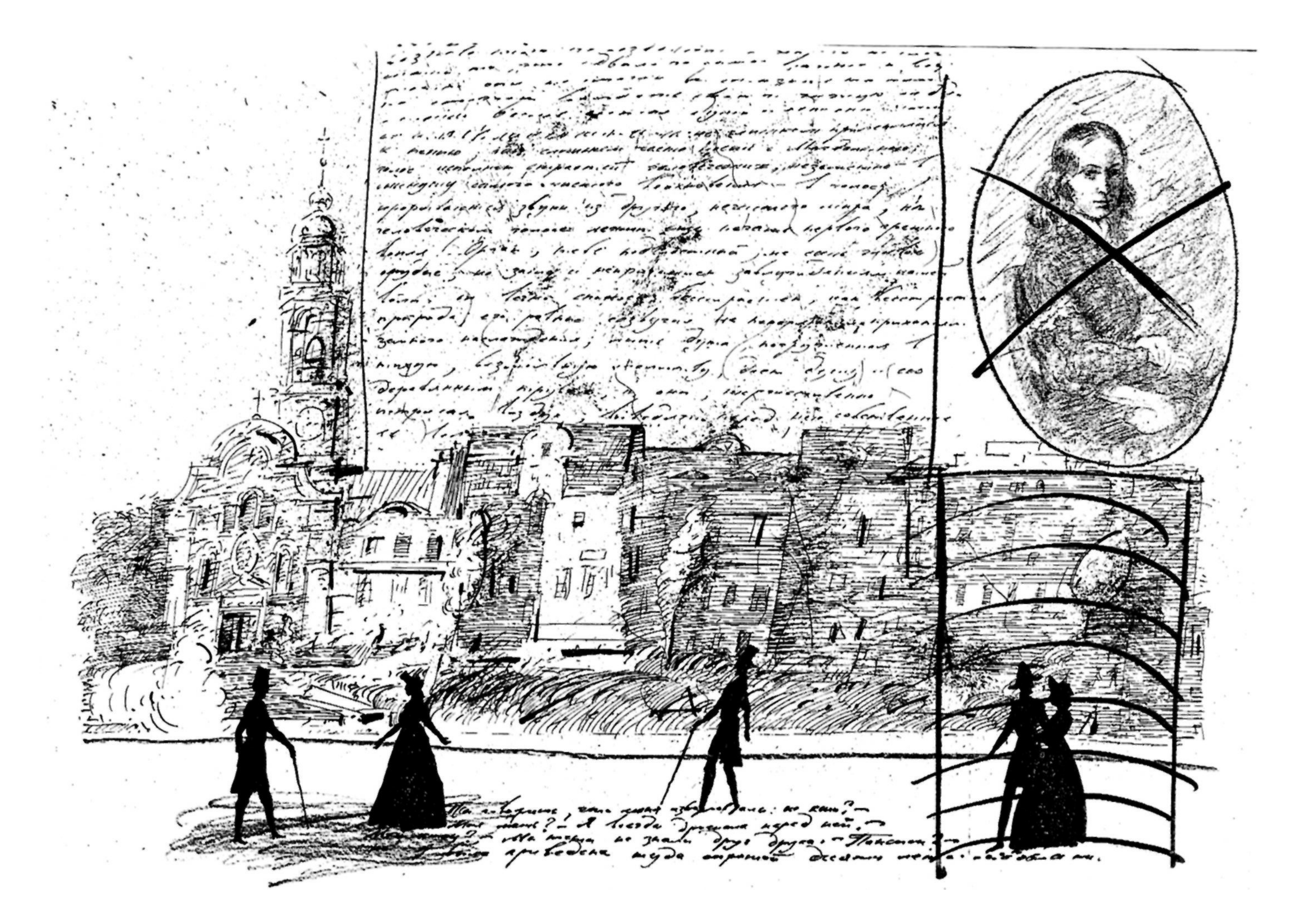
О первой, еще ничем не омраченной поре замужней жизни Надежды Николаевны писала в октябре 1824 года своей пансионской подруге и, между прочим, прабабке Александра Блока А. Н. Семеновой Софья Михайловна Салтыкова, ставшая вскоре женой поэта и друга Пушкина Дельвига. На основании этого письма можно предположить, что Ланская, как и обе корреспондентки, была воспитанницей того самого петербургского женского пансиона мадмуазель Шрётер, в котором преподавал другой ближайший друг Пушкина – П. А. Плетнев. "Благодаря г-ну Плетневу, – писала Софья Салтыкова подруге, – я провожу очень приятные минуты. Наденька Полетика тоже много выигрывает, когда ее узнаешь: это превосходная особа, что же касается ее мужа, то я уважаю и люблю его от всего сердца: это ангел. Я всегда была хорошего о нем мнения, теперь же нахожу, что я недостаточно его ценила. Он прямо доблестен, я знаю его черты, это молодой человек, на которого можно положиться. Я вижу тоже с удовольствием, что Наденька умеет ценить и уважать его и они будут счастливы. Они всегда спрашивают, какие от тебя известия и приветствуют тебя. Вот, дорогой друг, единственные лица, которых я вижу и которых я люблю видеть..."

Оптимистические прогнозы Софьи Салтыковой, однако, не оправдались. Брак с Полетикой оказался непрочным и был расторгнут при не вполне понятных и не вполне обычных обстоятельствах.

Предоставим слово другой мемуаристке, А. П. Араповой – дочери Натальи Николаевны Пушкиной от второго брака. Рассказывая о клане Ланских, передает Арапова, между прочим, и семейную историю своего дяди Павла Петровича Ланского, родного брата ее отца и двоюродного – Ольги Степановны Одоевской, также кавалергарда, героя Бородина, в 1828 году, тридцати шести лет, получившего чин генерал-майора.

"Семейная жизнь Ланского протекла не без романтической подкладки. – Первый раз он женился на Надежде Николаевне Полетика рожденной Масловой. Она была замужем за его товарищем по полку и брак этот был расторгнут на основании недействительности. – Мать его Изабелла Романовна, урожденная Лепарская, воспитавшая своих сыновей в самых строгих правилах, воспротивилась этому выбору и отказала в своем согласии. После продолжительной борьбы Ланской принес в жертву сыновнее повиновение женщине с которой он считал себя связанным долгом чести. С матерью произошел полный разрыв, и она простила его только после рождения первого внука – Николая". Несмотря на туманную эксцентричность брачных перипетий Ланской, ей удалось сохранить с Полетикой самые дружеские и непринужденные отношения – он стал близким, почти домашним человеком в новом ее доме.

Что касается круга общения Надежды Николаевны, то мы доподлинно знаем, например, о двух ее встречах с Пушкиным: об одной – у Одоевского, в 1834 году, свидетельствует дневниковая запись самого поэта, о второй – незадолго до дуэли, 24 декабря 1836 года, – сохранил воспоминание Александр Иванович Тургенев: "У гр. Пушкиной с Жук.



<овским> Велгур.<ским> Пушкин, гр. Ростопч.<ина> Ланская. К. Волх.<онский> с Шернвалем, гр. Ферзен. Я сидел подле. Пушкин и долго и много разговаривал". Это был "лукуловский обед" у известной петербургской красавицы графини Эмилии Карловны Мусиной-Пушкиной – той самой "графини Эмилии", которой позже посвятил свой известный мадригал Лермонтов.

На самом деле встреч с Пушкиным было, конечно, гораздо больше: постоянное общение людей одного круга. В одной из записок Ланской к Одоевскому – наспех, на узкой полоске подвернувшегося под руку листа, к примеру, значится: "Кроме Полетики и Пушкин.<ой> из дам у нас никого нет; приходи как ты есть, не переменяя туалета". Приглашение на не званый, невзначай, "домашний" вечер. Скорее всего, речь в записке идет о Наталье Николаевне – Мусину-Пушкину звали обычно в свете "графиней Эмилией".

Что касается воспоминаний Араповой, не раз подвергавшихся сомнению по причине своей недостоверности и тенденциозности, то в данном случае они оказались совершенно точными и находят себе различные подтверждения. Более того, они – единственное свидетельство, чудом сохранившее нам хотя бы общие контуры "истории" Надежды Николаевны Ланской. Однако за их пределами остался еще один драматический эпизод из жизни Ланской, неизвестный мемуаристке: история ее отношений с Владимиром Федоровичем Одоевским и та роковая роль, которую сыграла она в жизни писателя. Впрочем, отношения эти, мучительно развивавшиеся в течение десяти лет, доставившие Одоевскому немало страданий и в конце концов, кажется, его сломившие, были тщательно скрываемы от посторонних глаз: родственная дружба двух семейств немало тому способствовала.

Не будем, однако, забегать вперед.

Загадочный разрыв Надежды Николаевны с Полетикой и не менее загадочное ее соединение с Ланским произошли не позднее 1829 года, так как именно в этом году Полетика сочетался браком с Идалией Григорьевной. Павел Петрович был старше Ланской на двенадцать лет; Одоевский и Надежда Николаевна были ровесники.

Судя по мартовскому, 1832 года, письму Кошелева из Женевы, он еще до своего отъезда за границу догадывался о неблагополучии в семействе друга. Его глухие намеки на "злополучность" положения, в котором тот оказался, несомненно относятся к появлению в жизни Одоевского Надежды Николаевны. В качестве жены Павла Петровича она вошла, очевидно, в семейство Ланских-Одоевских году в 1830-м или начале 1831-го, и вряд ли будет большой натяжкой предположить в Одоевском сильное, внезапно вспыхнувшее чувство.

Не станем расцвечивать беллетристическими догадками все те "степени нравственного страдания", которые выпали на долю несчастного влюбленного, – он сам описал их в письмах Кошелеву достаточно красноречиво. Из этих признаний явствует одно: и личные представления о нравственности и человеческой порядочности, и тесные родственные и светские отношения с новой супружеской четой встали на

пути Одоевского непреодолимой преградой. Именно в силу этого "странного стечения обстоятельств" он "должен был действовать прямо против себя", обретая взамен возможного счастья унылое сознание того, что поступает "хорошо и благородно". "Злополучность" ситуации, в которую попал Одоевский, и наблюдал Кошелев перед своим отъездом за границу. Признание Одоевского о необходимости "действовать против себя" дает повод предполагать в предмете его любви некие ответные чувства.

На мучительное борение с собой, на подавление "глубокого чувства" уходили у Одоевского все душевные силы. "Пестрые сказки", создававшиеся в этом состоянии подавленности и депрессии, он называет "арлекинскими" – и это, как ничто другое, объясняет известную их искусственность и вымученность. Прорывается боль и на безысходные страницы "Баха" – и теперь понятно, почему поднял Одоевский руку на своего кумира: это было богоборчеством отчаяния, в порыве которого писатель прозревает вдруг ущербность даже высшего творческого интеллекта, если носителю его неведомы простые, земные, грешные чувства. Не случайно в новелле по воле автора гибель Баху несет голос, исполненный "страстей человеческих", – как не случайно именно об этом, накануне женитьбы, предостерегает своего любимого ученика высокий "безумец", служитель "чистого искусства" Албрехт: "...не слишком прилепляйся к пению; ты слишком часто поешь с Магдалиною: голос исполнен страстей человеческих; незаметно – в минуту самого чистого вдохновения – в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира; на человеческом голосе лежит еще печать первого грешного вопля!.. Орган, тебе подвластный, не есть живое орудие; но зато и непричастен заблуждениям нашей воли: он вечно спокоен, бесстрастен, как бесстрастна природа; его ровные созвучия не покоряются прихотям земного наслаждения; лишь душа, погруженная в тихую, безмолвную молитву, дает душу и его деревянным трубам, и они, торжественно потрясая воздух, выводят пред нею собственное ее величие".

Эти наставления учителя вспоминает Бах в роковые минуты своей жизни – вспоминает потому, что убежденное, стройное его пророчество сбылось, но предостережение – не спасло: "бесстрастное", вознесенное над земной суетой и земными чувствами величие "природы" не способно оградить человека от назначенных ему самой же природой земных треволнений, ибо в них заключен, пусть и трагический, но неизбежный смысл дарованной людям "грешной" жизни – и даже молитва не в состоянии заглушить голос этой жизни, не в состоянии спасти, оградить, уберечь от "греха" человеческую душу.

Пульсирующее живыми токами повествование о Бахе, неподдельное волнение, пронизывающее рассказ о его судьбе, тронули даже недоброжелательного по отношению к Одоевскому Герцена. Прочитав новеллу, он писал Н. Х. Кетчеру из вятской ссылки: "Что за прелесть. Она сильно подействовала на меня".

Появляется в "Бахе" и не свойственный Одоевскому ранее религиозный пиетет перед высшими божественными силами, появляется

суеверное признание абсолютной, неотвратимой силы божественной кары. Подобную религиозную окраску придал своим идеям в "Портрете" Гоголь. Он довел почти до религиозного экстаза мысль Одоевского о наказуемости художника за измену искусству в угоду пошлой жизни, выраженную, как мы помним, в "Импровизаторе" и лишь легко тронутую там общехристианскими настроениями. Теперь Одоевский делал вдруг неожиданный и резкий обратный ход. Проникшись, в свою очередь, гоголевским религиозным мироощущением, он возвел своего героя, идеального служителя муз, на Олимп, для того чтобы низвергнуть его с этого недосягаемого трона в ту самую грешную жизнь, над которой призваны были возвыситься его "безумцы" – и ужаснуться справедливости этого низвержения, освященного открывшейся ему теперь божественной мудростью.

Одоевский узрел вдруг разницу между *пошлой* жизнью и жизнью, отказ от которой есть такое же преступление перед Создателем, как и измена высокому назначению художника.

Писатель рассказывает о трагическом прозрении своего героя почти теми же словами, в которых исповедуется Кошелеву: "Половина души его была мертвым трупом!" Творец Баха судит беспощадным судом прежде всего самого себя.

Никогда более в своем творчестве – ни до, ни после "Баха" – не сливался Одоевский так личностно со своими героями, никогда не вкладывал в них более собственного – не философского, но человеческого, судьбоносного – смысла. Правда, личная боль – и мы скоро в этом убедимся – и позже просачивалась на его страницы, но просачивалась едва заметно, затаенно. И лишь однажды, в "Себастияне Бахе", напор внезапно нахлынувшего чувства и внезапно нахлынувшего горя пробил брешь в столь горделиво и самонадеянно возводимом им философском здании. Быть может, эта брешь и оказалась для "Дома сумасшедших" роковой: философски-отстраненные представления о мире и человеческой природе начали вдруг тонуть в бурном, вырывающемся из всех систем водовороте жизни реальной. Себастиян Бах – таким, каким он был явлен русскому читателю, – и его создатель страдали равно и болели одной болью: их обоих сокрушила властная сила "грешного" людского бытия...

Показательно, что, вернувшись к тексту "Себастияна Баха" в 1844 году и слегка его вновь прописав, Одоевский усилил в новелле именно эти мотивы.

Но что же Ольга Степановна – преданная, по-матерински заботливая жена, верный друг? Что сталось с семейной идиллией, которой так восхищались окружающие, считавшие супружеский союз Одоевских идеальным? Ведь в это самое время, когда разворачивалась душевная драма Одоевского, в сентябре 1831 года, гостил в его доме Погодин, наблюдавший чету друзей в повседневной жизни и утвердившийся в общем представлении об их безоблачном семейном счастье, хотя, правда, некоторая "стихийность" поведения князя с постоянными ночными уединенными занятиями была им замечена, и он советовал

Ольге Степановне взять мужа в руки. Одоевский, как мы помним, восстал на Погодина энергичным полушутливым письмом, нацеленным против "систематизма", хотя думается, в этой шутке была заключена и серьезная доля истины: он "бунтовал" против чрезмерной опеки, которой окружила его жена. Неспроста близкие мотивы находят отзвук и в "Пестрых сказках", где насмешливо осуждается не только приверженность внешней, показной упорядоченности жизни, но и расхожие представления о светских "приличиях".

Можно догадываться, что Одоевский, которому в это время не было и тридцати, за истекшие четыре-пять лет супружеской жизни несколько устал от тягостных в своей неусыпности забот любящей супруги.

В связи с перипетиями личной жизни Михаила Глинки Соллогуб как-то выразился в том смысле, что композитору "нужна была нянька, хозяйка, чуть ли не сиделка, как была незабвенная княгиня Одоевская, этот тип доброты и преданности, а не светская жена".

Можно также почти безошибочно предположить, что тщательно подавляемое, возможно, даже не вполне осознанное раздражение, "бунт" против супружеской тирании родились в душе Одоевского с появлением молодой и привлекательной Ланской, рядом с которой увядающая, начавшая уже расплываться Ольга Степановна не могла не проигрывать. Все это так, однако дело отнюдь не только в этом.

Похоже, разочарования Одоевского имели более глубокие корни.

В "Себастияне Бахе" вдруг появляются строки, всплывающие в памяти знакомым отголоском: "Он (Бах. – *М. Т.*) все нашел в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей – кроме самой жизни; он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания, – существа, с которым он мог бы говорить не о музыке".

Для самого Одоевского десять лет назад таким существом стала Ольга Степановна. Он поверял тогда свои душевные муки, свои сомнения дневниковым страницам; там же отразились и первые проблески надежды на счастье, радость измученной души, нашедшей существо, "которое понимало бы все его движения". Молодой человек, только вступавший в самостоятельную жизнь, выразил свой идеал женщины-спутницы в словах, почти буквально повторенных спустя десятилетие, – на этот раз устами литературного героя, в горестной повести о несостоявшейся человеческой жизни.

Тогда душевный порыв, озаренный то ли подлинной, то ли придуманной влюбленностью, принадлежал проникшейся его бесприютностью и одиночеством Ольге Степановне. Теперь Одоевский возроптал: умозрительные представления о жизни, которыми отличался он в молодости, сменялись узнаванием жизни подлинной; "головная" любовь – таким, думается, и было во многом его чувство к будущей своей жене – сменялась чувством подлинным и глубоким.

Много позже Белинский, развенчивая идею романтической любви, писал, что романтики "особенно падки к головной любви. Сперва они

сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины <…> Им любовь нужна не для счастья, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви".

Драматический накал жизненной ситуации вылился на страницы "Себастияна Баха". Не только великий композитор погибал в жизненных обстоятельствах, "предложенных" ему писателем, – "растерзана" была и жизнь самого Одоевского, пытавшегося подавить в себе "глубокое чувство" и испытывавшего от этого муки "нравственного страдания".

Однако разыгравшаяся в жизни Одоевского личная драма наложила свою печать не только на страницы "Себастияна Баха". Очевидно, в это же время он задумал еще одно произведение – роман "Виченцио и Цецилия", по строю чувств, по тональности и пронизывающим его настроениям явно примыкающий к новелле о трагической истории великого маэстро. Замысел этот, как часто случалось в творческой практике писателя, так и не был доведен до полного своего воплощения, но, судя по нескольким совершенно завершенным главам и довольно подробным сюжетным разработкам, занимал он воображение Одоевского настойчиво.

Героиней прерванного повествования должна была стать Цецилия, намеченная как бы в двух ипостасях: в образе оживающей святой, покровительницы гармонии, пленительно изображенной кистью неизвестного мастера, и в ипостаси женщины земной, в которой борются "две" Цецилии – "природная и искусственная": одна – независимая и лишенная "обыкновенных предрассудков", с чувствительным сердцем и пламенным воображением, вторая – скрывающая движения смелого ума и души, покорно и раболепно следующая условным законам светских приличий.

Поначалу Одоевский думал развить традиционный романтический сюжет о преступной страсти, овладевающей иноком. История отшельника Виченцио, укрывшегося от греховного мира в далеком монастыре, среди заснеженных альпийских гор и там воспылавшего вдруг плотским чувством к святой Цецилии, изображенной на стене его кельи, – эта канва, как и необыкновенная популярность у романтиков, начиная с Ваккенродера и Тика, избранной святой, выглядела в литературе уже довольно привычно. Непривычным было другое: развитие, казалось бы, достаточно хорошо разработанной сюжетной схемы.

До своего послушничества Виченцио, молодой философ и художник душой, волновавшийся "возвышенными помыслами любомудрия", пытался постигнуть те же тайны природы и бытия, что и знакомые нам прежние герои Одоевского. Но как раз тогда, когда, как казалось Виченцио, он вполне постигнул то "волшебное сродство мысли с выражением", о котором толковал своим ученикам органный мастер Албрехт, его сразило закравшееся в душу "могущественное сомнение" в гармонической целостности мира, сомнение, так или иначе сгубившее и его предшественников – "гениальных безумцев". Утратив былое непосредственное чувство и красоты, и человеческой добродетели, Вичен-

цио навсегда оставил людей, "с сладострастием отчаяния" наблюдая, как в уединении святой обители "мало-помалу свинцовым сном засыпала душа его". Пробуждение инока, некогда идеального юноши, надменно возвысившегося было над миром, к новой жизни симптоматично: на грешную, отнюдь не "идеальную" землю возвращает его преступное, мучительное и непобедимое чувство. В томительных сновидениях – в Венеции, посреди мора и болезней, в серой рясе сестры милосердия сходит к нему, скользнув легкой ножкой по монастырской стене, прекрасная, святая Цецилия – та, которую мечтал он оживить в своих безумных видениях, с которою жаждал слиться в греховном порыве. Но в ответ на богопротивные признания и мольбы строгая Цецилия напоминает отшельнику о долге: "Иноку ли привычны твои слова? – Св. Церковь разделила нас бездною, между мною и тобою твой святой долг – и мой!"

Но Виченцио восстает против "людских предрассудков" и тех алтарей, которые они "воздвигают и опрокидывают". Сквозь страстные его речи начинают вдруг прорываться знакомые, легко узнаваемые авторские интонации – и в них звучит увлеченное и непосредственное чувство, не очень согласующееся с сюжетной ситуацией: "... я хочу жить, Цецилия, хочу действовать, хочу быть достойным тебя, хочу испытать, не дала ли нам Судьба минуты блаженства, хотя для того, чтобы мы живее чувствовали страдание, хочу тебя научить етому блаженству, тешить твое воображение, лелеять твою душу, хочу об руку с тобою стремиться по стезе совершенствования и деятельности! – Не говори мне о цепях моих: смутная прежде надежда, что оне скоро спадут с меня, с каждым днем делается менее и менее, и когда ты не будешь ожидать етого – вдруг ударит час моего освобождения! – И чего не может человек сделать, когда он захочет? – Все, все подвластно твердой воле человека, все – кроме собственной души Его, ибо душа, всемогущая над ее окружающим, сама в свою очередь подвластна Всезиждущей Силе, которая, незаметно для нее самой, насылает на нее мысли, чувства, намерения, невольные побуждения!" Почти обезумев от безнадежной своей страсти, Виченцио объявляет Цецилии, что перед лицом "Всевышней Силы, возносящейся над всеми однодневными людскими мнениями", он торжественно обручается с нею: "...я приношу тебе в брачный подарок жизнь мою, цель моих помышлений, весь жар чувств и всю умственную деятельность, которою одарила меня Природа! С сей минуты – ты моя невеста и никому не можешь принадлежать более!.."

Богоотступнический монолог влюбленного инока, написанный на одном дыхании, вырывающийся из-под пера писателя подобно крику измученной души, набирает свою трагическую силу, идет crescendo: "Так знай же, – заклинает он призрачную свою возлюбленную, – какое бы пространство ни отделило меня от тебя: буду ли я влачить по земле убитую жизнь, или измученный тобою сойду в раннюю могилу – ты не забудешь меня! – Не сердись на меня за ето – так! тебе нельзя будет, хотя бы ты и хотела, забыть человека, который в продолжении нескольких лет каждый день засыпал и пробуждался с одною мыслию – "ты", который противволи твоей приковал тебя к каждой мысли своей,

к каждому чувству, к каждому действию, для которого ты единственное страдание, единственное блаженство, для которого ты все: Поэзия, добродетель, Религия! Нет слов выразить, как крепко привязаны к тебе малейший признак моей жизни, малейшее биение нерва! – Когда я долго не вижу тебя, мысли мои вянут, бродят, не соберу их, чувства гаснут, душа погружается в холодный, – в преступный сон! <…> Один взор твой – и снова сердце забьется в груди, и душа загорится, и мысли движутся, и молодая деятельность заклокочет в жилах, я мыслю, я чувствую, я учусь, я произвожу, я живу, я действую! Убей же ету душу, Цецилия, убей ее! Но тогда, – тогда и жизнь и смерть моя будут для тебя упреком! В сей жизни или будущей ты ужаснешься, увидев мою убитую душу, ужаснешься более, нежели когда бы увидела мое убитое тело. И знай – где бы ты ни была, что бы с тобою ни было, я, почуяв приближение смерти, приду умереть у ног твоих – там будет моя смертная и брачная постеля! за все мои страдания я сохраняю себе только ету награду. И может быть в те часы, Цецилия, – и они будут не редко, – когда возвышенная душа твоя, наскучив цепями людских законов, вознесется отдохнуть в сферу превечной Истины, – ты там не найдешь покоя! в пустыне души твоей тебя встретит позднее раскаяние: зачем одним взором, одним словом ты не отвратила разрушение сосуда, в котором может быть скрывались и высокие замыслы, и благородное самоотвержение и неустающая деятельность и которому может быть суждено было оставить какой-нибудь след на пути жизни! – О, не оскорбляйся моими словами, Цецилия! Ты не можешь, ты не должна оскорбляться моим святым, чистым, невинным к тебе чувством! Я не требую от тебя ничего, кроме – взора, слова, пожатия руки – надежды..."

Милосердная Цецилия, олицетворение высших гармонических начал, возродила Виченцио к жизни – но она же и сгубила его, невольно открыв уснувшую его душу земным радостям и печалям – точно так, как открыл Магдалине мир подлинных и сильных страстей чувственный голос Франческо, как трагически прозрел перед концом ущербность и бесплодность надмирного бытия великий Бах.

"Все степени нравственного страдания" несчастного инока выражены с редкой у Одоевского художественной силой, возникавшей под его пером лишь в минуты одушевления, озаренного искренним, не придуманным чувством.

Любопытно, что между этой главой, без названия, но обозначенной цифрой "2", и следующей из написанных – четвертой так и осталось зияющее, ничем не заполненное пространство – и это, думается, не случайно. Исповедь Виченцио, обрывающаяся на звенящей, исполненной неподдельной человеческой боли ноте, как бы обрывает одновременно и намеченное развитие традиционного сюжета: создается впечатление, что Одоевский исчерпал его, вложив в уста своего героя все, что хотел сказать. Четвертая глава, озаглавленная: "Характер", транспонирует повествование в совершенно иную тональность, фактически начинает новую сюжетную линию – историю "великосветской", по определению Сакулина, даже "русской" Цецилии.

Собственно, этот новый поворот рассказа о Цецилии нельзя даже назвать "историей" – он лишен фабулы и представляет собой художественно-психологический анализ типа незаурядной светской женщины. Бесследно исчезает со страниц новой главы и инок Виченцио.

Характер новой Цецилии сложен и противоречив. То она "независима, нетерпелива, любит задумываться, больше молчать, нежели говорить", то "скрывает сердце", "боится мыслей, удаляющихся от общих мнений", "покоряется приличиям", говорит "без участия головы и сердца в словах ее". Душа Цецилии становится своеобразной ареной борьбы между "природного организациею человека и условиями общества", и ее способность "жить сообразно своей природе", нежные и богатые задатки оказываются в результате этой борьбы подавленными, "искусственное" начало одерживает верх: "Жизнь мелкая, ничтожная, недостойная Цецилии! Жизнь падающего Серафима!" Но равнодушно примириться с "падением Серафима" автор не в силах. "Не обманывайся! – взывает он к Цецилии. – Светский демон тебя осетил. О! отмолись от него и не продай ему совсем души твоей. – Другая, высшая цель предстоит для прекрасной души твоей. Но достигнуть ее можешь лишь омывшись от грехов твоих. Кидай иногда лепту на олтарь светских предрассудков, но не отдавай всей души твоей на заклание Идолу – он не поймет етой жертвы, а только душа твоя распадется на безобразные части". Автор видит для своей героини лишь одно спасение, один исход – "сильное чувство, достойное своего предмета": "...кто бы он ни был – может связать сии части и возбудить их могущественную деятельность, как один сильный труд может соединить в гармоническое целое несвязные части твоих познаний. Иначе погибнет твоя душа и придет позднее раскаяние!"

И этим, новым поворотом сюжета также руководит мысль, так настойчиво овладевшая писателем, – мысль о естественной полноте человеческой жизни, ибо любая "искусственность" ее – будь то условный кодекс светских приличий или отрешенное, оторванное от "естественного" бытия существование небожителя искусства – ведет к гибели души и позднему раскаянию.

Художнический взгляд Одоевского так пристально останавливается на святой Цецилии, конечно, неспроста. Однако в этот расхожий романтический образ он вкладывает свой – и расширительный, и сокровенный смысл.

"Цецилия", даже в своем незавершенном виде, показательна и чрезвычайно важна по многим отношениям. Пожалуй, впервые Одоевский попытался в рамках единого замысла "проиграть" основную его тему в разных жанровых регистрах – условно-романтическом и реально-бытовом, развивая и варьируя ее по законам музыкальной полифонии. Именно так он будет строить вскоре свои "фантастические" повести.

Первый опыт оказался труден. Тем не менее не только, кажется, поэтому "Цецилия" не получила продолжения. Думается, с нею произошло то же, что и с "Жизнью и похождениями Иринея Модестовича Гомозейки": личная боль прорвалась на ее страницы гораздо явственнее и об-

наженнее, чем писатель позволил это себе, как писал Кошелеву, в "Себастияне Бахе". Ведь и самый образ воплощенной гармонии, и его проекция – крупным планом, с пристальной прорисовкой деталей – на определенный женский характер в определенных, легко угадываемых жизненных обстоятельствах, – все это явно не случайно родилось в разгар личных душевных терзаний, в "злополучных" обстоятельствах, связанных с Надеждой Николаевной Ланской.

История Цецилии была оставлена, однако весьма примечательно, что самый образ в одно и то же время возникает на страницах двух других произведений. В том же "Себастияне Бахе" Албрехт в ряду совершеннейших творений человека вспоминает "Цецилию" Дюрера – точно так, как прекрасная фреска с изображением Цецилии, украшавшая стену кельи инока Виченцио, принадлежала, вероятно, как сказано здесь, одному из учеников Албрехта Дюрера. При этом, однако, замечательно, что Одоевский дважды и, очевидно, подряд повторяет одну и ту же ошибку: ни у самого Дюрера, ни у кого из известных его учеников изображения святой Цецилии не существует.

В том же 1834 году, когда был написан "Себастиян Бах", в альманахе "Новоселье" появился отрывок из еще одного не завершенного писателем романа – "Катя, или история воспитанницы", строго выдержанный уже в жанре бытового реалистического повествования и, между прочим, с автобиографическими реминисценциями, – но и там молодой художник Владимир копирует полотно Карло Дольчи, изображающее святую Цецилию, и стремится уловить в ней сходство со своей возлюбленной.

...Мы вынуждены так подробно касаться неделикатным пером личной судьбы князя вовсе не из нездорового интереса к альковным тайнам. Парадоксальною силою вещей творчество Одоевского, так долго считавшегося лишь холодным "конструктором" своих произведений, оказывается насквозь пронизанным автобиографическими реалиями и мотивами. Мы наблюдали это отчасти уже в "Пестрых сказках"; "Бах" явился тому новым, ярким и неопровержимым свидетельством, подкрепленным признаниями самого автора. Тенденция эта будет отныне расти и развиваться, и отношения с Надеждой Николаевной Ланской займут здесь не последнее место. Озарение любви оказалось не просто мгновенной вспышкой чувства – ему суждена была обреченная, мученическая десятилетняя жизнь: до конца "подавить" это "глубокое чувство" в угоду долгу и благоразумию Одоевскому так и не удалось: подлинная, несочиненная, "греховная" жизнь прорывала ненадежную плотину здравого рассудка и светской благопристойности.

Все это, однако, еще впереди. В начале же тридцатых, при первых шагах к своей Голгофе, Одоевский как будто совладал с крестной ношей. Тайна была доверена "одному Кошелеву", от посторонних глаз первый акт драмы – впрочем, как и ее развитие – был скрыт, и неизвестно даже, до какой степени догадывалась поначалу о происходящем в душе мужа Ольга Степановна. Собственно, "вещественных" поводов

к тревогам и пересудам и не было: Одоевский повел себя "хорошо и благородно"; жизнь продолжала идти своим чередом. Разве что в ближайшее окружение Одоевских прочно вошла новая супружеская чета – Павла Петровича и Надежды Николаевны Ланских.

ГЛАВА XI.

ЖУРНАЛИСТИКА

В одном из писем к матушке мужа Ольга Степановна как-то горько сетовала: "...ваша правда, – писала она, – что Владимир служит не очень счастливо даже все его отпуски для здоровья и лечения были с вычитом жалованья а ето нас очень расстроивает".

Годом ранее сам Одоевский, отправляя в "Московский наблюдатель" очередную свою повесть – "Сильфиду", оправдывался перед "наблюдателями" за то, что и ее отдает им "за плату": "Мне совестно с вас брать, но меня преследует неудача и я что говорится в тяжких".

Дела с костромским имением были к этому времени запутаны окончательно, Сеченов, как мы помним, вместо обещанного выкупа Никольского прикарманил значительную сумму – и Одоевский, крайне стесненный в средствах, которых требовала столичная жизнь и открытый дом, искал новые "резервы" в литературных заработках.

Но, конечно, не одни материальные заботы толкали его вновь в журналистику – этого требовал и темперамент публициста, и давние мечты о собственном энциклопедическом журнале: ему нужна была трибуна, с которой он мог бы не столько продолжать журнальную войну с "пчелистами" и вошедшим в силу Сенковским (оставалось, правда, и это, хотя молодые страсти несколько уже улеглись), сколько "проповедовать" вполне к этому времени сложившиеся философские и гуманистические идеи. Настойчиво искал он выхода и универсальным своим познаниям в самых разных сферах общественно-политических и естественных наук, подкрепленным теперь достаточным практическим опытом. Года с 1834–35-го Одоевский уже "нес на своих плечах", как писал Шевыреву, "Журнал Министерства Внутренних дел" – служебное поручение, за которое он взялся, возможно, по собственной инициативе, и взялся, как за все, что делал, всерьез, обижаясь посему невниманием друзей: "...загляните в Журнал Мин.<истерства> Внутр.<енних> Дел, на который вы и не обращаете внимания, – выговаривал он москвичам, – а между тем с нынешнего года он весь почти составляется из оригинальных статей а ето право не шутка, по крайней мере для меня".

Журналистские планы сводят его особенно тесно и с Пушкиным. Журнальные проекты, возникающие в пушкинском кругу, сменяют один другой: несколько их, как известно, предшествовали "Современнику".

Еще в начале 1835 года Пушкиным и Одоевским был задуман "Современный летописец политики, наук и литературы" – с обширным проектом, предложенным поэту его предполагавшимся соиздателем: обозрение политических происшествий, современных и исторических,

"общий взгляд" на состояние наук и литературы, на состояние русской словесности и печатание оригинальной поэзии и прозы. Издание это, однако, не состоялось, но на его основе тут же, по инициативе Одоевского, при обещанной широкой поддержке всей пушкинской "партии" и самого поэта, возникает другая идея – журнал "Северный зритель". На этот раз в усердные помощники себе и сотоварищи он выбирает молодого и едва еще известного тогда в литературных кругах журналиста Андрея Александровича Краевского.

Несмотря на свою безвестность, а может быть, и благодаря ей, бойкий Краевский развернул кипучую деятельность, вполне, кажется, чувствуя себя с Одоевским "на равных". Стремясь привлечь к участию в будущем журнале известного знатока русского народного творчества И. М. Снегирева, он лихо излагал ему в письме "секрет" – программу "Северного зрителя", в которой, однако, явственно слышен "голос" Одоевского. Краевский обещал своему корреспонденту "журнал энциклопедический и эклектический". "Все отрасли человеческого ведения войдут в него, – писал он, – мнения, принадлежащие всем системам и партиям, лишь бы только они были высказаны с добросовестностью и внутренним убеждением, примутся <…> все ученья и литературные (может быть, и важнейшие политические) новости Европы и России; критика, по возможности беспристрастная и полная, всех русских и важнейших иностранных книг; статьи и серьезные и приятные – вот состав журнала..."

Но не удался и "Северный зритель".

Наконец, с 1836 года начинает выходить пушкинский "Современник".

История его издания изучена достаточно подробно и не нуждается здесь в пересказе. Тем не менее в недолговечном его существовании до сих пор остается один "темный" сюжет – и связан он с именем Одоевского: речь идет о "Русском сборнике" – издании, однотипном с "Современником", едва было не возникшем одновременно и параллельно с пушкинским журналом усилиями все тех же Одоевского и Краевского. И поскольку история эта затрагивает профессиональную и человеческую репутацию Одоевского, обойти ее молчанием невозможно: попытаемся вновь "проиграть" возникшую тогда сложную и во многом так и неясную нам до конца ситуацию с тем, чтобы разобраться в ней еще раз, ибо она приоткрывает новые грани и черточки и без того непростого характера нашего героя.

Вообще журналистские альянсы Одоевского зрелой, петербургской поры не всегда выглядели безупречно. Почти в то же время, что и с Краевским, соединил он свои издательские усилия с Борисом Алексеевичем Враским, чиновником особых поручений III отделения. Враский одно время подвизался в литературе в качестве переводчика, однако оказал ей более услуг как содержатель Гуттенберговой типографии, в которой, в частности, при посредстве Одоевского печатался пушкинский "Современник". Человек он был мало приятный и репутацией пользовался смутной, однако здесь, возможно, решающую роль сыграли

родственные связи: Враский был женат на младшей сестре Ольги Степановны Зинаиде. Уже в 1834–35 годах Одоевский совместно с ним издал первые свои опусы для детей – "Детские книжки для воскресных дней"; с этих пор он пользовался издательскими услугами своего родственника постоянно, сосватав его и в качестве "типографического" соучастника Пушкину.

Андрей Александрович Краевский и вовсе был человеком скандальной биографии. Побочный сын внебрачной дочери екатерининского вельможи, московского обер-полицмейстера Н. П. Архарова, он пробивался в жизни собственными и немалыми усилиями и трудами. Определившись по окончании философского факультета Московского университета на службу в канцелярию московского генерал-губернатора, Краевский вскоре начал выступать и в печати – в "Московском вестнике" под покровительством Погодина, возможно, сочувствовавшего молодому журналисту с сомнительной социальной репутацией из некоего чувства сословной солидарности. Задумав перебраться в Петербург, Краевский наверняка получил от своего патрона верительные грамоты к столичным литераторам и в их числе, надо думать, прежде всего – к Одоевскому. Последний же, по словам Плетнева, "втянул" Краевского в литературно-светские салоны, где тот выглядел, конечно, "странно".

Одоевский оказался в числе участников "Современника" с момента основания журнала – все предполагавшиеся сотрудники "Северного зрителя", включая и его инициаторов, перешли к Пушкину. Однако это чисто литературное издание альманашного типа никоим образом не снимало вопрос об энциклопедическом журнале. Поэтому неудивительно, что идея не угасла: ее продолжал лелеять не один Одоевский, но уже и зараженный ею Краевский, рвавшийся в большую журналистику и исполненный недюжинной энергии и честолюбивых замыслов. Первое время свои намерения они сохраняли, однако, в тайне, но к началу 1836 года проект их будущего издания обрел уже вполне реальные контуры, принципиально отличные от пушкинского квартальника: не забудем, что поэт, обращаясь к официальным властям за разрешением, испрашивал себе право лишь на четыре "сборника статей" сроком на один год. В середине февраля 1836 года, еще до выхода первого номера "Современника", Одоевский писал в Москву Шевыреву: "Краевский думает с 1837 года издавать большой энциклопедический журнал (но это секрет) – и "Наблюдатель" хорошо бы сделал, если бы к нам присоединился. Мы вам доставим нашу программу и наши условия". Краевский в свою очередь делится этими планами с одним из "наблюдателей" – своим приятелем В. П. Андросовым и в первых числах марта получает от него ответ, исполненный поддержки и благословения: "С е к р е т ваш я принял к сердцу. Дай Бог, чтобы ваша затея не походила на многое другое на нашей святой Руси, даже и на наше <…> На "Современник" вам надеяться не должно. Если "Современник" будет хорош и пойдет удачно, т.е. выгодно, то едва ли Пушкин выпустит его из рук; если же обманет общие ожидания, то такое приготовление почвы будет для вас не прибыльно. Мой опытный совет – не надеяться ни на кого, заготовить самим или приготовить бедную трудящуюся молодежь". Со-

вет Андросова был столь же "опытным", сколь и холодно-дельным: в нем явственно сквозила застарелая неприязнь москвичей к столичным литературным "аристократам". Примечательно и то, что Краевский – и вслед за ним Одоевский (или наоборот?) – уже в самом начале были нацелены на союз с "московской братией" – редакцией "Московского наблюдателя", формально в ту пору еще довольно близкой пушкинскому окружению, но по существу скорее разделявшей чувства Андросова. Советы из первопрестольной падали на благодатную почву: не только Краевский, пришлый безвестный "чужак", но и прочно, казалось бы, вошедший в пушкинский круг Одоевский – оба ощущали себя в деловых отношениях с Пушкиным на вторых ролях. Может быть, именно поэтому Одоевский так охотно давал увлечь себя напористому Краевскому. С другой стороны, в непрактичном, доверчиво-добродушном князе, вполне вкусившем уже, однако, журналистской "кухни", пробуждался трезвый журнальный практик, и трезвость эта, работавшая на страстно желаемый реальный, а не сомнительно-эфемерный результат, подсказывала ему, что глубоко чтимый им поэт в практических делах еще менее надежен, чем он сам. Что же касается альянса с Краевским, то, помимо чисто деловой стороны, сыграло, наверное, свою роль и другое. Одоевский, несравненно более демократичный, нежели Пушкин, обладал и большей терпимостью по отношению к "третьему сословию": это было уже иное поколение, воспитавшая его иная – московская – среда обитания, снисходительнее допускавшая в свой круг "выскочек", а по существу – талантливых самородков вроде Погодина. Должны были "играть" на этот союз и более глубокие психологические комплексы, собственная биография. Одоевский, в котором так сильно было развито чувство справедливости, должен был быть терпим. Постоянная же нехватка средств заставляла его – впрочем, как и Пушкина, – смотреть на вещи трезво.

11 апреля 1836 года увидел, наконец, свет первый том "Современника". Искренне приветствуя начинание Пушкина, Одоевский принял в хлопотах по его изданию живое участие, хотя "ни одной строчки <…> пера" его в этом томе и не появилось. Пушкин мягко, но определенно отклонил предложенные ему отрывки, которыми был "не очень доволен", – "Сегелиель" и "Разговор недовольных". Вместе с тем, ценя публицистический дар Одоевского, во втором номере он намеревался поместить сразу две его статьи, причем одной из них, "О вражде к просвещению" – "дельной, умной и сильной" – собирался даже открыть том.

Как известно, с необыкновенной отдачей работал Одоевский в "Современнике" в период подготовки второго тома. В отсутствие Пушкина, находившегося тогда в Москве, он вместе с Плетневым взял на себя не только редакторские, но и организационные и типографские хлопоты. По всем вопросам, связанным с журналом, Пушкин в это время адресуется именно к Одоевскому, предоставив все на его усмотрение. "Скажи ему, чтоб он печатал как вздумает", – писал поэт Наталье Николаевне из Москвы. В этом томе, в частности, как и предполагалось,

была напечатана и статья Одоевского "О вражде к просвещению", которую Пушкин мыслил в качестве программной.

Именно тогда впервые появился в "Современнике" и Краевский – он был приглашен в помощь Плетневым, – наверное, не без усиленных рекомендаций Одоевского, не справлявшегося с делами в одиночку, и сразу по возвращении из Москвы Пушкин писал молодому журналисту: "Не имею слов для изъяснения глубочайшей моей благодарности – Вам и к<нязю> Одоевскому". Характерно, что в обращении Пушкин перепутал имя и отчество адресата – молодой человек был ему еще едва знаком. Однако с этого времени Краевский становится деятельным помощником Пушкина – третий и четвертый номера журнала поэт готовит при его участии.

Тем не менее это обстоятельство никак не повлияло на честолюбивые помыслы Краевского о самостоятельном издании: при всей заманчивости сотрудничества с Пушкиным роль его в журнале была, естественно, второстепенной. 29 мая 1836 года Андросов пишет Краевскому: "Хлопочите, мой любезный Андрей Александрович, кроме желания я с своей стороны буду хлопотать для "Зрителя", сколько мои силы и средства допустят". В дальнейшей переписке будущий журнал получает наименование "Русский сборник".

Но что же Одоевский?

В свое время известный советский литературовед Ю. Г. Оксман выдвинул получившую распространение версию о том, что в связи с проектом "Русского сборника" в отношениях Пушкина и Одоевского произошло заметное охлаждение, выразившееся, в частности, в демонстративном уклонении последнего от участия в III и IV томах "Современника". Эта точка зрения представляется, однако, спорной и не раз вызывала уже серьезные сомнения.

На основании предложенных нами в свое время новых датировок нескольких коротких записок Пушкина к Одоевскому, касающихся повестей последнего "Сильфиды" и "Княжны Зизи", которые предназначались в "Современник", можно с уверенностью говорить о том, что первоначально они планировались в третий журнальный номер. К моменту возвращения Пушкина из Москвы, в конце мая, когда сделанный немалыми усилиями Одоевского второй номер уже печатался и когда он "сдавал" Пушкину дела, ибо сам собирался на лето в Ревель, обе повести не были еще вполне готовы, и Одоевский, как случалось уже не раз, предполагал завершить их во время отпуска. Год назад, например, в аналогичной ситуации, обещая москвичам свои "Петербуржские письма", он также намеревался прислать их из Ревеля: "Здесь (то есть в Петербурге. – *М. Т.*), – жаловался он, – я писать не могу..." Так же было, как мы помним, и с "Себастияном Бахом".

Однако перед отъездом Одоевский показал, видно, предварительные "заготовки" Пушкину, и тот, не большой поклонник "фантастической" прозы князя, к "Сильфиде" отнесся сдержанно – в "Княжне Зизи" показалось ему "более истины и занимательности". Тем не менее выбирать не приходилось: ввиду близившегося лета, когда город пустел,

ему одному – и спешно – предстояло готовить номер, материалов – особенно прозы – остро недоставало, и поэтому свою короткую записочку-рецензию Одоевскому он оканчивал словами: «Во всяком случае „Сильфиду" ли, „Княжну" ли, но оканчивайте и высылайте. Без Вас пропал „Современник"». Перед отъездом Одоевского Пушкин напоминает ему об этом еще раз: "Повесть! Повесть!" Но уезжая, Одоевский оставляет все же издателю "Современника" "дань" – свою статью "Как пишутся у нас романы", в третьем номере журнала и появившуюся.

Удостоверившись в прохладном отношении Пушкина к "Сильфиде", возможно, задевшем его, Одоевский тогда же, в июне, еще до отъезда в Ревель, предлагает эту повесть в "Московский наблюдатель". Резон, думается, простой: не забудем, что писатель постоянно нуждается в деньгах, москвичи, в отличие от Пушкина, платят, и почти законченную вещь хотелось пристроить в печать как можно скорее и наверняка. "На днях пришлю вам повесть, – пишет он Шевыреву, – за которую пришлите мне что можете наравне с прочими, если NB это вас не разорит". По возвращении Одоевского из Ревеля, когда повесть была уже завершена и отправлена в Москву, Краевский – конечно, по его просьбе – напоминает Шевыреву: "За посланную мною вам Сильфиду Одоевский просит денег (на том же основании, как был напечатан его Бах), и чем скорее они пришлются, тем более он будет благодарен". Повторялась прошлогодняя история, когда писатель оправдывался перед Шевыревым за то, что не может отдать ему "Баха" "даром": "...теперь открывается навигация и мне нужны книги, – объяснял он тогда, – а ведомо вам буде, что я книги могу покупать только за те деньги, которые выручаю за свои сочинения".

Правда, "Сильфида", и в самом деле завершенная в Ревеле, не была напечатана и в "Московском наблюдателе", но интересно, что Андросов извинялся за это именно невозможностью заплатить за нее: "...касса моего "Наблюдателя" не в таком завидном состоянии к концу года, – сетовал он Краевскому,– чтобы платить приличным образом за такие статьи. По одежке протягивай ножки".

"Сильфиде" же все-таки суждено было, видно, увидеть свет на страницах "Современника", но уже после гибели первого его издателя – в пятом, посмертном номере пушкинского журнала.

Что же до "Княжны Зизи", то закончена она была много позже и появилась на страницах уже другого журнала – "Отечественных записок" – в 1839 году.

Все эти перипетии поддерживали, конечно, в Одоевском стремление к самостоятельному журнальному начинанию – стремление, подогреваемое, очевидно, в немалой степени и Краевским: без авторитетного имени и связей Одоевского ему, начинающему журналисту, было не обойтись.

Однако, как мы увидим ниже, намерения эти совершенно не исключали продолжение сотрудничества с Пушкиным.

Одоевский вернулся из Ревеля в Петербург в двадцатых числах июля, и попытка осуществить издание "Русского сборника" вступила

в свою последнюю фазу. Желая заручиться предварительной поддержкой, Одоевский и Краевский просили В.А.Жуковского быть ходатаем за новый журнал перед председателем Главного управления цензуры С. С. Уваровым. Просьбу Жуковского обещали уважить, и 16 августа в Цензурный комитет было подано официальное прошение. К этому времени первоначальный проект ежемесячного энциклопедического журнала преобразовался в квартальник типа "Современника"; правда, при этом установка на "энциклопедичность" сохранялась. Возможно, такая трансформация явилась результатом предварительных переговоров, и будущим издателям во имя полученных гарантий пришлось своими планами поступиться.

Параллельно с хлопотами о собственном издании и в связи с ними Одоевский и Краевский обратились к Пушкину с предложением о преобразовании "Современника". Детально разработанный план преобразования они изложили в совместном письме, которое сводилось к следующему: основываясь на том, что "существование двух журналов, в одном и том же духе издаваемых, может только вредить им обоим", Одоевский и Краевский предлагали Пушкину преобразовать "Современник" в ежемесячный журнал энциклопедического характера, в котором они на правах соиздателей хотели бы всецело оставить за собой "ученую часть", Пушкину же отдать в полное распоряжение литературную. При этом авторы проекта брали на себя и все хозяйственные хлопоты. Поставленные условия, по мысли публикатора письма Ю. Г. Оксмана, предполагали отстранение Пушкина от общественно-политической части издания, что было, по его мнению, "глубоко продуманной тактической операцией". Такая точка зрения дала Ю. Г. Оксману основание расценить письмо как ультиматум, предъявленный Пушкину с тем, чтобы в угоду правительству ограничить издательскую и редакторскую независимость поэта, как попытку "купить его безоговорочную капитуляцию перед Уваровым". Согласно предположению исследователя, замысел "Русского сборника" возник и формировался втайне от Пушкина, и Пушкин предложенные ему условия отверг. В этой ситуации Одоевскому и Краевскому ничего больше не оставалось, как уйти из "Современника", передав Уварову все материалы, необходимые для утверждения их в правах редакторов-издателей "Русского сборника".

Таким образом, роль Одоевского – кстати, полностью отождествленная Оксманом с ролью Краевского – выглядела в этой истории, по мнению исследователя, весьма неблаговидно. Его позиция по отношению к Пушкину была им определена как резко оппозиционная и по существу своему реакционная. Более того, логика очерченных отношений в качестве естественного и неизбежного финала предполагала полный разрыв.

Вся предыстория ситуации, возникшей в связи с "Русским сборником", дает веские основания предполагать, что дело здесь обстояло несколько иначе, чем это обрисовал Оксман.

Из самого текста письма Одоевского и Краевского явствует,

что Пушкину хорошо было известно как о самом замысле "Русского сборника", так и о типе предполагавшегося издания. Идея реорганизации "Современника" также не выглядела новостью и уже обсуждалась в литературных кругах: элитарный журнал явно не оправдывал ожиданий широкой публики и конкурировать с популярностью "Библиотеки для чтения" оказался не в состоянии. И без того небольшой тираж его падал, принося к тому же и коммерческие убытки.

29 августа 1836 года, в разгар хлопот о разрешении "Русского сборника", вездесущий журналист А. Ф. Воейков писал Краевскому: "О, как я молю Бога, чтобы осуществились слухи, по которым вы, соединясь с Пушкиным и Одоевским, примете с наступающего нового года живое участие в "Современнике", не имеющем и полутораста иногородних подписчиков! Тогда издавайте его в 24, а не в 4-х книжках". К этому свидетельству человека, далеко отстоящего от пушкинского круга, в данном случае стоит прислушаться, ибо оно говорит о широко распространившихся, очевидно, по городу разговорах по поводу согласия Пушкина на реорганизацию "Современника", так как основные факты предложенного Пушкину проекта переданы Воейковым точно: преобразование журнала действительно намечалось осуществить начиная со следующего, 1837, года, и соиздателями его названы трое – Пушкин, Одоевский и Краевский. Вряд ли и Жуковский стал бы хлопотать о новом издании за спиной Пушкина, в подрыв его интересов. Более того, и что особенно важно, участвовать в "Русском сборнике" собирались практически почти все (27 из 35!) объявленные ранее сотрудники несостоявшегося "Северного зрителя", в том числе сам Жуковский, Вяземский, Крылов, Александр и Андрей Карамзины и даже Плетнев, "воплощенная совесть", как назвал его однажды Пушкин. Неучастие же самого поэта вполне понятно: ему надо было заботиться прежде всего о портфеле собственного журнала.

Одоевский и Краевский обратились к Пушкину со своим предложением в тот момент, когда они были еще совершенно уверены в успехе своего предприятия: 17 августа Цензурный комитет, рассмотрев их прошение, не нашел со своей стороны никаких возражений, постановив дело об окончательном "дозволении сего журнала представить на высочайшее государя императора разрешение"; на первой странице программы "Русского сборника", поданной в Цензурный комитет, значились пометы Уварова: "От В. А. Жуковского" и "Мною обещано". Следовательно, обнадеженные и уверенные в успехе, издатели задуманного издания вовсе не ставили его судьбу в связь с согласием или несогласием Пушкина на преобразование "Современника", а значит, и не имели нужды предъявлять ему "ультиматум".

8 сентября окрыленный Краевский уверенно сообщал радостную весть москвичам. "Вот, если угодно и еще вам новость, – писал он Шевыреву, – только по секрету. Главное Упр.<авление> Цензуры разрешило издавать мне и Одоевскому с будущего года журнал: **"Русский сборник",** 4-мя книжками в год, с принадлежащим к нему листом: **Литературный Летописец,** который будет выходить 12 раз в год в неопреде-

ленное время. Положено дожидаться возвращения Государя для представления ему на разрешение". Вопрос всем представлялся настолько решенным, что Александр Карамзин еще 1 октября сообщал брату: "Одоевский готовится издавать свой журнал <…> Пришли ему статейку". И лишь 6 ноября (!) забил отбой: "...Одоевскому запретили издавать журнал. Наша литературная слава не была продолжительной..."

Обращаясь в этих обстоятельствах к Пушкину, Одоевский и Краевский были движимы, как кажется, иными соображениями, нежели те, что представлялись Оксману, – они исходили главным образом из быстро менявшейся ситуации, в результате чего вместо вожделенного толстого энциклопедического журнала в их руках на деле опять оказывался лишь повременной "альманашный" полужурнал, дублировавший "Современник". Поскольку же обратить вспять это вынужденное "преображение" их первоначальной идеи уже не представлялось возможным, Одоевский и Краевский предлагали, в сущности, Пушкину передать функции "Современника" "Русскому сборнику", в реальности которого они, повторяем, в тот момент были уверены, а "Современник", как журнал уже издающийся, но явно нуждавшийся в реформации, преобразовать в тот тип издания, который, судя по предыдущим замыслам, не был безразличен и Пушкину.

Существует еще одна немаловажная деталь: нам до сих пор остается только догадываться о реакции на письмо самого Пушкина – во всяком случае, никаких свидетельств (кроме косвенного – Воейкова) тому не сохранилось и, следовательно, судить о том, категорически ли он отверг сделанное ему предложение или занял, скажем, выжидательную позицию, мы не можем.

Помимо прошения в Цензурный комитет, Одоевский и Краевский обратились к Уварову с особой "келейной" запиской, сопровождавшей представление проекта нового издания, – запиской, которую исследователи вопроса так часто им инкриминируют. Между тем в ней, ввиду всего уже сказанного, обращают на себя внимание несколько красноречивых деталей. Среди них прежде всего – ее название: "Записка об издании книги под названием "Русский сборник", с принадлежащим к нему Литературным Летописцем", – и самое ее начало: «„Русский сборник" не принадлежит собственно к периодическим изданиям, как по малому числу своих томов, так и потому, что не выходит в срочное время, и, следственно, издатели на основании общих узаконений могли бы издать сие собрание статей обыкновенным порядком, без предварительного дозволения правительства <…>». Далее следуют уклончивые объяснения по поводу того, отчего авторы "Записки" все же решили обратиться в официальные органы за таковым "дозволением", всячески стараясь при этом отвести напрашивающиеся подозрения в том, что затевается именно журнал, а не некое "издание", как они его туманно называют. Однако совершенно явно видно, что это была лишь наивная уловка, – явно потому, что ни ей, ни заверениям в благонамеренности не поверили. Помета Уварова на проекте "Русского сборника": "Это просто Журнал – а программа сходствует со всеми

программами Журналов" – по существу означала, что он акцентирует внимание как раз на том, что авторы проекта всячески старались завуалировать и что в царившей тогда в печати "свинцовой" атмосфере неминуемо должно было поставить новое предприятие под угрозу. Не случайно, что именно это определение нового издания – "журнал" – дважды прозвучало и во "всеподданнейшем" докладе министра Николаю I. При самой, казалось бы, успокоительной характеристике будущих издателей здесь говорилось, что "Главное управление цензуры не нашло препятствия к позволению этого **журнала,** тем более что принимающие на себя обязанность главных редакторов, будучи известны с весьма хорошей стороны по образу мыслей и способностям, подают надежду, что предпринимаемый ими **журнал** (подчеркнуто мною. – *М. Т.*) будет иметь хорошее направление".

Так оно и произошло: на представленный Николаю проект легла его запрещающая, печально-знаменитая резолюция: "И без того много". И. И. Панаев потом рассказывал, что проект Одоевского и Краевского был представлен Уваровым на высочайшее воззрение в военных лагерях в Чембарах – как раз в тот злосчастный момент, когда государь сломал себе ключицу и пребывал в весьма дурном расположении духа, – быть может: история знает немало подобных курьезов, когда всемогущей силою каприза или мелочных житейских обстоятельств решались судьбы не только что какого-нибудь там журнала – целых народов. И тем не менее: не наносился ли резолюцией Николая вполне и тонко продуманный скрытый удар Пушкину? Этот вывод, прямо противоположный оксмановскому, напрашивается невольно. В противном случае трудно вообразить себе Уварова и Николая I защитниками интересов поэта – против Одоевского!

Чтобы иметь возможность объективно оценивать сложившуюся ситуацию, необходимо учесть еще два момента: прежде всего, по-прежнему существовала полная неясность относительно дальнейшей судьбы "Современника", разрешенного лишь на один год. После выхода в свет первых двух номеров недостатки журнала дали уже о себе знать; ограниченность тематического диапазона невольно ориентировала его лишь на узкий, элитарный круг – широкой читательской аудитории "Современник" не завоевал. Кстати, это сразу подметил Белинский. Он же, между прочим, предрек и "неуспех" журналу, т.е. невозможность его "нравственного влияния на публику" в силу самого характера издания, обусловливающего необыкновенно долгие интервалы между книжками; это он почитал главным недостатком "Современника". В этой связи уже высказывалось мнение о том, что проект преобразования "Современника", предложенный Одоевским и Краевским, "отвечал интересам Пушкина". Остается и вероятность того, что Пушкин, как мы говорили, мог отложить окончательное обсуждение предложенного ему проекта до получения Одоевским и Краевским официального разрешения на новое издание. Неожиданное же запрещение Не только не облегчило его положения, но, напротив, необычайно его усложнило: Пушкин был поставлен перед необходимостью во имя спасения "Сов-

ременника" предпринять срочные и решительные меры. Дело в том, что вслед за резолюцией Николая I 28 сентября был издан специальный указ о запрещении каких бы то ни было ходатайств на издание новых журналов.

По воспоминаниям того же Панаева, "с этой минуты никакие просьбы о новых журналах не принимались и существовавшие журналы стали перепродаваться за значительные суммы". Очевидно, уже после отказа в издании "Русского сборника" – еще до последовавшего за этим цензурного циркуляра – обстановка в редакции "Современника" воцарилась тревожная. Высочайшее запрещение означало не только крах далеко идущих планов Краевского или давней мечты Одоевского о собственном энциклопедическом журнале; реальная угроза нависла и над пушкинским "квартальником". В этих условиях поэт, еще только что отказавшийся от участия в "Русском сборнике", солидаризуется с Одоевским и Краевским в возобновленных ими переговорах с "наблюдателями" о получении хотя бы частичных издательских прав на уже существующий, но вот-вот готовый развалиться журнал. Еще в конце мая 1836 г. Андросов писал Краевскому: "Если <…> вы не добудете вашего "Зрителя" – то мы поговорим п о о б с т о я т е л ь н е е о "Наблюдателе". Это уже дело начатое и пока что идет как-нибудь и может идти лучше". Однако характерно, что лишь в тревожные сентябрьские дни идея эта обрела конкретные очертания и вылилась в конкретные переговоры несостоявшихся издателей "Русского сборника", представлявших на этот раз не только личные интересы, но и интересы пушкинского круга, с москвичами. 25 сентября Шевырев, еще не ведавший грозы, приветствуя в письме к Краевскому новый журнал и признаваясь в неизбежности близкой "тризны" по "Московскому наблюдателю", призывал всех "собраться, уложить самолюбие, сделать уступки в выгодах, да основать издание решительно хорошее". А уже через три дня, 28 сентября, в день выхода злополучного указа, Одоевский садится за примечательное письмо в Москву к тому же Шевыреву, в котором, напротив, в отмену "тризны" излагает конкретные варианты "оживления" "Наблюдателя" с помощью петербуржцев. Среди них в первую очередь Одоевский называет, кроме себя, Жуковского, Краевского и Пушкина. Вряд ли он давал это ответственное обещание Шевыреву без предварительного согласия поэта. В сущности, пушкинская "партия" предлагала теперь "наблюдателям" то, что совсем еще недавно предлагали Пушкину Одоевский и Краевский. Это были те же поиски журнальных "резервов". Совершенно очевидно, что сотрудники "Современника", включая и его издателя, в сложившейся ситуации начали предпринимать серьезные и активные шаги: возможность получить разрешение на выход "Современника" в следующем году представлялась теперь безнадежной, "Московский наблюдатель" же в таковом разрешении не нуждался. В этой мысли утверждает и тот факт, что в числе других вариантов, изложенных Одоевским Шевыреву, был и частичный перевод издания "Московского наблюдателя" в Петербург. Очевидно, подобная возможность также предварительно обсуждалась в узком пушкинском кругу, во всяком

случае ясно, что Одоевский выступает с этим предложением не только от своего лица: "...будемте издавать пополам – одну книжку вы, другую мы, – пишет он Шевыреву, – или же одну часть вы, а другую мы". Любопытно, что спешные переговоры с Москвой подкреплялись параллельно и перепиской Краевского с Андросовым, ответившим 1 ноября своему корреспонденту принципиальным согласием, – именно они оба и явились авторами основного проекта перевода "Наблюдателя" в Петербург. Так или иначе, но факты таковы, что почти одновременно с событиями вокруг "Русского сборника" Пушкин, Одоевский и Краевский вновь выступили единым фронтом.

Все это не означает, однако, что в поведении Одоевского и Краевского ничего не вызывает ощущения некоторого, если можно так выразиться, нравственного дискомфорта, нарушения некоей субординации. Сегодня нас в этой истории невольно раздражает отсутствие должного, как нам кажется, пиетета по отношению к Пушкину. Вспомним, однако, ситуацию с "Тройчаткой", в которой в подобной же манере вели себя Гоголь и Одоевский, когда Пушкину пришлось мягко, но определенно ставить молодых людей на место, хотя там и речи не было ни о каких "коварных" замыслах – напротив. Быть может, это был "стиль" нового литературного поколения, явно диссонировавший с неписаным кодексом поведения "старших", тех самых петербургских литературных "аристократов", в отношениях с которыми и у москвичей, сверстников и друзей Одоевского, постоянно слышались заносчивые нотки. Однако тот же Пушкин – именно он в первую очередь, – прекрасно, конечно, все понимая, вступал с ними, тем не менее, в деловые контакты – с тем же Погодиным в период "Московского вестника" и позже – с редакцией "Московского наблюдателя": его взгляд на вещи оказывался шире, чем, скажем, у более нетерпимого Вяземского. Вероятно, и Одоевский, хотя и принадлежавший к пушкинскому литературному и светскому кругу, частенько сбивался на этот тон, и "соседство" Краевского, думается, сказывалось здесь не лучшим образом. Правда, это не мешало ему в литературной борьбе твердо и неизменно отстаивать пушкинские позиции, и тот факт, что аналогично вел себя и младший его соиздатель в начальный период своей деятельности, вовсе не дает оснований ставить между ними знак равенства, хотя, повторяем, союз этот вряд ли был следствием одной лишь мягкости характера князя и его близорукой доверчивости.

Зная о поддержке, оказанной "Русскому сборнику" практически всем пушкинским литературным окружением, трудно согласиться с мыслью о том, что ограничение пушкинского единовластия в будущем преобразованном "Современнике", предложенное Одоевским и Краевским, таило в себе некие коварные цели. На этот счет высказывалось уже справедливое замечание относительно сохранявшегося за Пушкиным безусловного главенства по части определения литературного направления будущего журнала. "Чисто ученую" же часть Одоевский всегда – и не без оснований – считал своей прерогативой: собственно, прежде всего к этому и стремился он с таким упорством, пытаясь осущест-

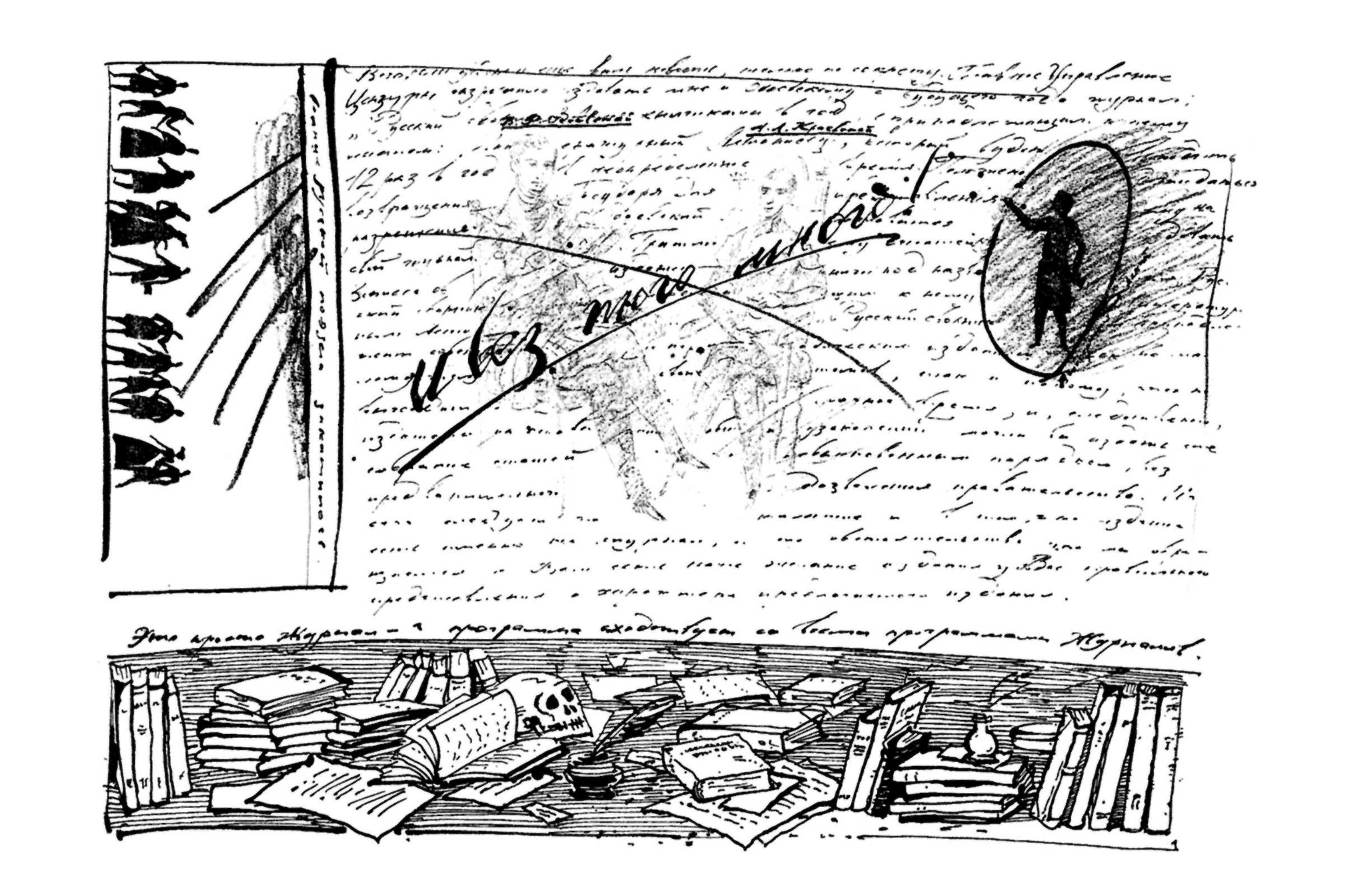
вить свою мечту об энциклопедическом журнале, из-за этого в первую очередь, надо думать, и возник в сложившихся обстоятельствах вопрос о преобразовании "Современника". Подобное разделение "сфер влияния" не должно было быть новостью и для Пушкина. Так, полтора года назад, когда он и Одоевский задумали "Современный Летописец политики, наук и литературы", последний, предлагая свой план издания, писал, в частности, Пушкину: "2ое – Общий взгляд на состояние наук и литературы в последние 4 года в Европе – 1-е, т.е. науки, я могу сделать, 2-е – ваше дело".

Никакого разрыва отношений между Пушкиным и Одоевским в результате истории с "Русским сборником" не произошло – напротив. В последние месяцы жизни поэта они становятся, кажется, особенно тесными.

Осенью 1836 года Одоевский предпринимает попытку выступить на страницах "Московского наблюдателя" в защиту Пушкина и его "Современника". Он пишет замечательную статью "О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина" – ответ на инсинуации "Северной пчелы", насаждавшей в читающей публике мысль о том, что Пушкин, "князь мысли", стал "рабом толпы", променяв свои "мечты и вдохновения" на срочные статьи и журнальную полемику. Страстно развенчивая распространявшиеся не только в булгаринской газете, но и в "Библиотеке для чтения" и "Сыне отечества" тенденциозные домыслы о "падении" таланта поэта, Одоевский почти с трагическим пророчеством, как это обыкновенно делается в посмертных статьях, определяет великое место Пушкина в истории всей русской культуры: "Пушкин, эта радость России, наша народная слава". Здесь же Одоевский давал высокую оценку "Современнику" и всей журнальной деятельности Пушкина. Не исключено, что перчатка "пчелистов" была поднята им с ведома и одобрения самого поэта. К сожалению, при жизни Пушкина эта гневная отповедь Одоевского не увидела свет. Несмотря на неоднократные попытки, статья была опубликована лишь несколько десятилетий спустя.

Что же касается "Современника", то непринужденные и дружеские записки последних месяцев 1836 года, которыми интенсивно обменивались Пушкин и Одоевский, вновь свидетельствуют о самом живом и непосредственном участии последнего в жизни пушкинского журнала.

Гибель поэта Одоевский оплакивал горько. Софья Карамзина писала своему брату Андрею: "Одоевский <…> трогателен своей чуткостью и скорбью о Пушкине – он плакал, как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строк, которыми он известил о его смерти в своем журнале". Эти "несколько строк" – известный некролог "Солнце русской поэзии закатилось", появившийся в "Литературных прибавлениях" к "Русскому инвалиду" и вызвавший негодование в правительственных кругах; он действительно оказался не только самым проникновенным, но и первым из произнесенных вслух надгробным словом от имени друзей поэта, словом, уверенно предрекшим бессмертие погиб-


и без того много!

шему гению. И, между прочим, Краевский, официальный редактор "Прибавлений", получил за это выволочку не от кого иного, как от Уварова.

Также одним из первых понял Одоевский и то, что предстоит борьба и за посмертное имя поэта. Прилагая усилия к опубликованию написанного им некролога и в Париже, во французском переводе, он предостерегал одновременно своего корреспондента Б. Г. Глинку-Маврина от "коварной" статьи, появившейся в январском номере "Библиотеки для чтения" и принадлежавшей Полевому: "...ети господа, кажется, задумали мало по малу задушить мертвого Пушкина (ибо с живым им этого не удалося) и ета статья есть первый камень етой баттареи".

Тогда же, в трагическую зиму 1837 года, взяв на себя вместе с Жуковским, Вяземским, Плетневым продолжение пушкинского "Современника", Одоевский вновь попытался напечатать свою осеннюю статью о Пушкине и настойчиво спрашивал Шевырева: "Да отвечайте: печатаете ли вы статью о Нападениях на Пушкина? <…> Скажите да или нет, ибо в последнем случае ее напечатают в Лит.<ературных> Приб.<авлениях>".

...Софья Карамзина сообщала брату, что известие о смерти Пушкина Одоевский поместил в "своем журнале". Формально это не вполне соответствовало истине – редактором "Прибавлений", как мы сказали, был Краевский (оттенок, впрочем, примечателен: в карамзинском элитарном кружке журналиста-"выскочку" не замечали), но, тем не менее, не только в глазах карамзинского круга, но и по существу "Литературные прибавления" стали также "вотчиной" Одоевского и до известной степени явились продолжением его журналистских "исканий".

В начале декабря 1836 года между ним, Краевским, издателем А. А. Плюшаром, с одной стороны, и А. Ф. Воейковым, неудачливым и вялым редактором "Прибавлений", – с другой, было подписано соглашение о временной передаче прав на издание этой еженедельной газеты в руки нового триумвирата. Собственно, Плюшар фигурировал в договоре как издатель, в качестве же третьего "триумвира"-соредактора был приглашен В. А. Владиславлев, беллетрист и альманашник, служивший в жандармском корпусе. Объявленный новый состав сотрудников почти полностью повторял список "Русского сборника": преемственность изданий была несомненной. Причем на этот раз в нем фигурировал и Пушкин. После только что пережитых "журнальных" перипетий и их драматических последствий пушкинская "партия" явно рассматривала "Литературные прибавления" как вынужденную "промежуточную станцию" – они виделись хоть и временной, и не вполне вожделенной, но все же пристанью. Редакторство энергичного, смекалистого Краевского, бравшего на себя всю поденную работу, но вместе с тем послушного еще начальственному гласу "старших", устраивало всех. ("Здешние, Жуковский и Вяземский, поругивали таки меня, а я всегда был им за то благодарен", – признавался как-то сам Краевский Погодину.)

В начале января, когда "Прибавления" должны были явиться публике в новом качестве, Одоевский жаловался Шевыреву, что работы с ними – "пропасть", – и взывал о помощи, прося стихов у него, Баратынского, Языкова "или что хочешь, да только пришли <…> Лит. <ературные> Приб. <авления> есть огромное брюхо..." Чуть позже Вяземский писал И. И. Дмитриеву: "Видели ли вы преображение и уже сугубое преображение "Литературных прибавлений" живого покойника Воейкова? Я еще не успел принять деятельное участие в этой газете... По крайней мере желаем мы поддержать это предприятие. Теперь, когда запрещено издавать новые журналы, должно смотреть на существующие, как на майораты".

Не будем подробно рассказывать историю "преображенных" "Литературных прибавлений" – она известна, и не это составляет основной предмет нашего рассказа. Напомним только, что очень скоро "Прибавления" стали едва ли не единственным живым отражением текущей литературной жизни, освещавшим ее с позиций пушкинского круга, – недаром Одоевский так усердно вербовал в нее сотрудников. Газета обрела свой четкий профиль – "антибулгаринский", "антикоммерческий"; сам Краевский пылал еще тогда, по словам Панаева, "благородным негодованием против всяких нелитературных выходок". Не случайно и Булгарин извещал своих читателей о том, что обновленное издание шествует "путем покойной "Литературной газеты". Как не случайно и то, что в 1840 году "Прибавления" и были преобразованы в орган, наследовавший это "пушкинское" название – "Литературная газета".

Между прочим, Краевский и Одоевский намеревались вначале и издавать "Литературные прибавления" на "пушкинский" манер – по типу английских еженедельных изданий большого формата, точно так, как некогда Пушкин хотел сделать из своего "Летописца" род английских "Review", и Александр Карамзин, сообщая брату о новом литературном предприятии, которое "сделалось или должно сделаться порядочною литературною газетою", особенно отмечал внешнее ее преображение: "Формат ее огромен и она выходит еженедельно". Осуществить этот проект, однако, не удалось: очень скоро пришлось уступить консервативной инерции читателей и уважить их прежние привычки.

Отказавшись, по-видимому, от официального редакторства "Литературных прибавлений", но, тем не менее, участвуя в них деятельнее других, тосковал Одоевский, однако, и в этой "вотчине", опять не оправдавшей – да и не могшей оправдать – его "энциклопедических" надежд. Здесь был запрещен, к примеру, цензурой отдел промышленности и торговли. Не оказалось на страницах литературного еженедельника места и другим "реликтам" его предшествующих замыслов – неудивительно, что он упорно продолжал поиски своего места в журналистике, упорно боролся за осуществление своих журналистских идеалов.

К ним мы еще вернемся, однако во все ширившемся поле его разнообразной деятельности главным в это десятилетие остается все же для него писательское творчество.

ГЛАВА XII.

КОНЕЦ ТРИДЦАТЫХ

Откликаясь на просьбу Пушкина пополнить прозаический портфель "Современника", Одоевский предложил ему две своих, почти завершенных, повести: "светскую", бытовую – "Княжну Зизи" и "фантастическую" "Сильфиду". Подобное соседство само по себе не выглядело новостью: жизнь реальная и жизнь "фантастическая" – то в параллельном своем существовании, то в причудливом переплетении – уместилась уже под одной обложкой "Пестрых сказок". Этому принципу следовал писатель, создавая и "Дом сумасшедших". Одновременно из-под его пера выходили и исполненные обличительного и дидактического пафоса "светские" – точнее, "антисветские" рассказы: "Бригадир", "Бал", "Насмешка мертвеца", в которых, однако, также присутствовала обнаженная, нескрываемая условность "фантастического" элемента, – правда, никого не вводившая в заблуждение: Белинский справедливо увидел в этих произведениях "не игрушки праздной фантазии, не риторические олицетворения отвлеченных мыслей, общих добродетелей и пороков, но уроки высокой мудрости тем более плодотворные, что их корни скрываются глубоко в почве русской действительности".

Две повести, положенные Пушкину на редакторский стол, были довольно примечательны: одна из них, "Княжна Зизи", развивала грибоедовские повествовательные начала, – но развивала их в новом, своеобразном качестве; вторая явно знаменовала опять же качественное изменение "фантастики" Одоевского. Вместе с тем, при всех столь явных различиях, просматривалась в них и некая общность: отныне, после "Себастияна Баха", в произведениях Одоевского начинают властвовать женщины. На смену "гениальным безумцам" приходят страдающие и загадочные героини, живущие "двойной" жизнью: рациональной и инстинктуальной, в мире реальном и ирреальном, и именно они увлекают теперь за собой героев-наперсников.

"Княжна Зизи" была второй из двух "парных" повестей, объединенных не только внешними, реминисцентными признаками сходства с проблематикой и стилистикой "Горя от ума", но и некими собственными сквозными темами.

"Княжна Мими", написанная за два года до нее и одновременно с "Себастияном Бахом", едко живописала "домашние" светские нравы, характеры и ситуации. Однако в ней неброско, под сурдинку, намечалась и другая, особая нравственная проблема, получившая дальнейшее свое развитие. Параллельно с рассказанной здесь типичной историей баронессы Элизы Дауерталь, павшей жертвой светской сплетни, Одоевский обоз-

начает еще одну сюжетную линию, связанную с графиней Лидией Рифейской и ее "преступной" любовью к Границкому, предмету первой, молодой и пылкой страсти. Возлюбленные, которых разъединил в свое время обычный в свете корыстный расчет матери Лидии, выдавшей дочь замуж за старого, но богатого графа, встречаются несколько лет спустя, и чувство их вспыхивает с новой силой. Лидия, испытывающая отвращение к своему постылому мужу, легко идет на измену, но в это время старый граф смертельно заболевает, и ситуация окрашивается в иные, трагические тона. Возникает прозвучавшая уже в "Цецилии" тема нравственного долга, осложненная, однако, некими "внеземными", фатальными и неотвратимыми мотивами, тем, что подлежит лишь воле Провидения. Довольно распространенная жизненная ситуация – измена Лидии и ее помыслы о соединении с Границким – оказывается вдруг в контексте религиозных представлений о грехе и возмездии. "Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб! Для моего счастия нужна смерть человека!.. – в отчаянии от безысходности вставшего перед ней нравственного выбора говорит Лидия своему любовнику. – Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе". Слабые утешения Границкого, напоминающего ей, что она лишь – "жертва приличий" и была выдана замуж насильно, даже перенесенные Лидией в замужестве страдания "нравственные и физические" не способны ни снять трагического противоречия, ни даже подарить несчастной иллюзию самооправдания. "С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видать тебя, должна выкупить нашу любовь и вымолить у Бога наше счастие... Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною..." То, что отняло у влюбленных "самовластие общества", может теперь возвратить только "провидение". Однако суд "провидения" оказался на стороне не человеческой, но религиозной морали: муж Лидии умирает, но гибнет на пороге долгожданного, почти уже осуществленного счастья и Границкий – на нелепой дуэли, от руки друга, пав бессмысленной жертвой светской сплетни.

Между прочим, напряженную эту тональность повести тонко уловил Титов. "Твоя Княжна Мими мне понравилась бы совершенно, – писал он Одоевскому, – если бы в ней поменьше было сплину".

Тема долга прозвучала уже в "Цецилии", но еще лишь как тема религиозная. Она улавливается и в "Себастияне Бахе" – ведь и Магдалина платит жизнью за свою преступную страсть к венецианцу Франческо. Однако в "Княжне Мими" мотив этот предстает в более широком, нравственно-религиозном аспекте и вписан в конкретный, житейский, хорошо знакомый Одоевскому контекст.

Сложная нравственная коллизия, извечное трагическое противоречие между чувством и долгом начинает мучительно занимать Одоевского не только в общем и отвлеченном, но и в самом своем что ни на есть конкретном варианте, в той ситуации привходящих нравственных противоречий, которые обретает эта коллизия в условиях светско-

го общежития. Мучительная раздвоенность самого автора, которому надлежало вынести "приговор" своим героям, отразилась в выбранных им эпиграфах двух последних глав, ведущих к развязке: сцене последнего свидания Лидии с Границким предшествуют знаменательные слова из Виктора Гюго: "...будущее никому не принадлежит, Ваше величество, будущее в руках Божьих"; трагическому финалу – дуэли молодого барона Дауерталя с Границким – предпослан диалог, заимствованный из "Племянника Рамо" Дидро:

"– Вы станете мне твердить Бог знает какие общие морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был бы их исполнять.

– Но если они дойдут до преступления?

– Это их дело".

Мы можем только догадываться, к чему должны были привести богоборческие призывы инока Виченцио презреть людские "алтари"; но в "Княжне Мими" аналогичная ситуация получает трагическое и однозначное разрешение.

Ничто, кажется, не противоречит тому предположению, что круг очерченных проблем носил болезненно-личностный оттенок: в сходную ситуацию волею судьбы и случая попал и сам Одоевский.

Тема "преступной" любви получает свое развитие и в "Княжне Зизи", осложняясь, однако, новым поворотом – запретное чувство возникает внутри семейного "треугольника": родная сестра одной из героинь повести, княжны Лидии, Зинаида, или Зизи, мучима безнадежной любовью к ее мужу Владимиру Лукьяновичу Городкову.

Кстати, и сам Городков, внешне весьма благообразный и привлекательный, набравшийся светского лоску, за которым скрывается, однако, алчная и хищная натура ловкого махинатора и ловца выгодных невест, ибо, как выясняется, у него самого за душой ни гроша, – весь этот характер сильно напоминает отчима Одоевского Сеченова – вплоть до совершенно аналогичных мотивов его женитьбы на Екатерине Алексеевне и бесконечных его мошеннических операций не только с имением жены, но и пасынка, операций, среди которых, между прочим, имела место и предпринятая Павлом Дмитриевичем сомнительная продажа леса из костромского имения князя – кажется, он на ней так же неплохо нажился, как и литературный его восприемник Городков.

Вернемся, однако, к княжне Зизи и истории ее драматической любви.

Смирившись с выбором Городкова, фактически продиктованным ему деспотичной матерью княжен, Зизи отказывается от всех других предложений руки и сердца и, оставшись под одним кровом с молодыми супругами, испытывая тягостные страдания от постоянно подавляемого чувства, отдается самоотверженному служению своему идолу, во благо его и преуспеяния, и семейного покоя.

Одоевский проводит свою героиню через все те муки подавленного "глубокого чувства", которые выпали и на его долю; ситуация семей-

ного "треугольника" делает эту аналогию еще более похожей, вероятной и оправданной.

Развязка сюжетного узла "Княжны Зизи" не столь драматична, как в "Княжне Мими", но существо ее то же: "преступной" любви, каковы бы ни были мотивы ее оправдания, пусть даже и закономерные с точки зрения здравой логики и рассудка, счастливый исход заказан, не сужден.

Разумеется, в выделенном в обеих повестях мотиве не следует искать слишком прямолинейных и буквальных параллелей жизненной ситуации самого Одоевского. Кроме того, мотив этот не исчерпывает всей проблематики произведений и внутри каждой из художественных систем подчинен, естественно, прежде всего логике художественного развития. Как это свойственно творческой манере Одоевского (да и не только ему), жизненный импульс обретает под его пером новое, независимое существование, и движение сюжета, развязки обоих повестей – яркое тому подтверждение. В "Княжне Зизи", где писателя в не меньшей степени занимает самый тип Городкова, тип нарождающегося буржуазного предпринимателя – выходца из деклассированных дворянских низов – в его российском варианте, именно это и предопределяет характер финала. Оставаясь верным нравственной идее наказуемости "преступной" любви, Одоевский разрешает здесь эту коллизию развенчанием "идеала", которому посвятила влюбленная княжна свою жизнь. "Наказание", ее постигшее, заключено в полном крушении романтических иллюзий, так зло распорядившихся ее судьбой.

Однако сколь важно было все же обратить внимание на эту возникшую вдруг тему, свидетельствует тот факт, что две названные повести далеко ее не исчерпали, и нам предстоит еще вернуться к ней, – но тогда, когда к ней вновь обратится сам автор.

Вторая из предложенных Одоевским Пушкину повестей, "Сильфида", вызвавшая довольно сдержанную реакцию издателя "Современника", несла в себе иной, "фантастический" заряд. Начиная с нее, природа фантастического властно завладевает творческим воображением писателя. В течение нескольких последующих лет фантастические повести не только следуют одна за другой, отодвигая на задний план прочие повествовательные жанры, – фантастика Одоевского вдруг отчетливо начинает менять свое лицо.

Еще в "Современнике", в статье "О вражде к просвещению", он, между прочим, коснулся и этого предмета. "Фантастический род, – писал он здесь, – на который была также мода в Европе и который, может быть, больше, нежели все другие роды, должен изменяться по национальному характеру, долженствующий соединять в себе народные поверья с девственною мечтою человечества – этот род целиком перешел в наши произведения и достиг до состояния настоящего бреда с тою разницею, что этот бред не есть бред естественный, который все-таки может быть любопытным, но бред, холодно перенесенный из иностранной книги". Спустя несколько лет он вновь повторит эту мысль, но с существенным дополнением: основа "фантастического рода" как литера-

турного жанра непременно должна быть фольклорной, однако в соединении с полетом воображения, свойственным детскому, "нетронутому" сознанию.

Образец подобного типа повествования в художественной практике Одоевского уже был – писатель "опробовал" его в "Игоше", и этот первый опыт, как мы помним, сразу заметил и выделил из "Пестрых сказок" Белинский в качестве примера собственно фантастического рассказа – в точном смысле слова. Однако единичный, он как-то затерялся в интенсивном потоке следовавших одна за другой новелл и, ничем более не подкрепленный, не компоновавшийся ни с фантастикой условно-дидактической, ни с романтической, оставался до поры в тени.

Теперь плоды усиленных кабинетных занятий начали обнаруживать себя, выходить на поверхность.

Безраздельно властвовавшего еще недавно над Одоевским Шеллинга заметно теснят новые имена. Писатель отдается углубленным штудиям средневековых мистических философов – врача и ученого Теофраста Парацельса, английского монаха-теолога и астролога Джона Пордеча, Якова Бёме, Юнга-Штиллинга, еще и еще, учений древних кабалистов и мистических откровений духовидца Сведенборга (в личной библиотеке писателя отложилось девять изданий шведского философа); наконец, им окончательно завладевает новый кумир – Луи-Клод де Сен-Мартен, "Неизвестный философ", естествоиспытатель и "рациональный" мистик, широко известный еще в екатерининской России и пользовавшийся особенным почитанием в среде масонов. Да и позже Александр Иванович Тургенев, например, приступая как-то к чтению биографии французского философа, писал брату, что любит "не только талант или лучше гений, но и нравственный характер Сен-Мартена". Между прочим, Одоевский, все более подвергавшийся в это время приступам мистической меланхолии, в одну из таких минут отметил в своем дневнике "знаменательное" совпадение года смерти Сен-Мартена – 1803 – с датой собственного рождения, сдвинув под влиянием минуты свое появление на свет на год назад и тем самым надолго запутав будущих своих биографов.

Всему этому посвящались долгие бессонные ночи, и даже сами "мистические" занятия были обставлены приличными случаю атрибутами: кабинет князя, как говорилось, напоминал лабораторию средневекового алхимика, сам же он любил облачаться в специально сшитый балахон и увенчивать свою голову колпаком из того же "реквизита".

Однако старинные фолианты перемежались в кабинете русского Фауста с колбами, пробирками и прочими принадлежностями естественных опытов – и отнюдь не для эффектного декора. Разносторонний и пытливый естествоиспытатель, обладавший, по свидетельствам многих, изрядными познаниями в механике и химии, в медицине, физике, акустике и бог знает еще в каких неизвестных нам областях, Одоевский и на ниве науки не переставал во всю жизнь быть неустанным и исправным учеником, постоянно расширяя свой научный кругозор. Уже в зрелые лета он слушал лекции по химии профессора Гесса, производил

акустические опыты, предвосхищавшие серьезные открытия. Научный фанатизм князя доходил иногда до курьезов. Столь же серьезно, как и все, за что брался, он переносил свои научные познания и на деликатную область кулинарного искусства, до которого был особенный охотник, потчуя гостей решительно несъедобными блюдами и соусами собственного изобретения, что дошло до нас в нескольких анекдотах, рассказанных его друзьями.

Но настал срок, и молодое вино перебродило, мысли отстоялись, перо, перебравшее не одну художественную форму, окрепло – все вместе давало достаточные основания для веских, продуманных и выстроенных, теоретических оценок. Одоевский вступал в новую, быть может, наиболее зрелую фазу своего творчества. И интерес к философской фантастике окончательно определился в это время как основной; оба же приведенных суждения о "фантастическом роде" становятся теперь в его эстетике едва ли не определяющими.

...В это время в круг не только светского, но и интеллектуального общения князя входит Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова, – писательница и поэтесса, женщина по уму, таланту и образованности незаурядная.

Коренная москвичка, Сушкова, рано лишившись матери, росла в доме своего деда И. А. Пашкова, окруженная укладом старинного русского барства, рассеянного и бестолкового. Непременные гувернантки и легкое домашнее воспитание не стесняли внутренней ее свободы и мало влияли на натуру, развивавшуюся независимо и стремительно. Рано пробудился в ней и поэтический дар. Увлекаясь стихами Жуковского, Батюшкова, Пушкина, она уже при первых своих литературных шагах "пела волность", сострадая участи декабристов.

В 1830 году П. А. Вяземский, вхожий в дом Пашковых, широко открытый литераторам, без ведома Сушковой отправил одно из ее стихотворений – "Талисман" – в Петербург к Дельвигу, и стихи эти появились анонимно в тех же "Северных цветах на 1831 год", где был напечатан и "Последний квартет Беетговена" Одоевского.

Спустя еще несколько лет Евдокия Петровна вышла замуж за графа Андрея Федоровича Ростопчина, сына знаменитого московского генерал-губернатора. В 1836 году молодая супружеская чета появляется в Петербурге, и графине Ростопчиной предшествует уже поэтическая известность. О стихах ее, широко распространившихся в списках, восхищенно отзываются Иван Киреевский, Александр Тургенев; она поражает глубиной чувств, простотой и силой их выражения.

Ростопчина становится одной из первых звезд столичного небосклона – не только великосветского, но и литературного; она сразу входит в пушкинский круг. Обычными гостями ее салона становятся сам Пушкин, Вяземский, Жуковский, Одоевский, А. И. Тургенев, Карамзины, семейство Виельгорских-Соллогубов, – словом, все лучшее, что было на культурном столичном Парнасе.

С Владимиром же Федоровичем у молодой поэтессы отношения

складываются особые – нечто вроде интеллектуального платонического романа, столь распространенного в те благие времена и прелести которого – увы! – заключенные в живой и блестящей игре изощренного ума и изысканной культуре чувств, нами нынче вовсе и позабыты, и утрачены.

Графиня проводит в Петербурге две зимы, в которые и возникает между ними дружба почти интимная. Судя по редко и скупо разбросанным в их переписке полунамекам, они становятся друг для друга едва ли не единственными поверенными личных тайн. Во всяком случае, когда весной 1838 года Ростопчины оставляют столицу и поселяются на время в своем воронежском поместье Анна, Одоевский адресует туда письма глубоко исповедальные. Он пишет о предметах "задушевных" – о тех, что находятся "за душою", и открывает графине свою "важную тайну". Слова его неожиданно оказываются "просты и безыскусственны": они посвящены вере, смирению и молитве – только в них видит Одоевский единственный путь к "душевному спокойствию", "высокой любовью к Богу" он старается отвратить свою корреспондентку от ее "евангелия" – кумиров, исполненных греховных и суетных страстей, – Гюго и Байрона: "Молитва чистая, младенческая жизнь и благая деятельность (в пространнейшем смысле сего слова) – вот три занятия человека в его жизни! других для него нет! все другие суть мечта и призрак, не достойный внимания человека. Они одинаковы для всех людей, для царя и раба, для богача и нищего, для поэта и промышленника, в буре света и пустыне!"

Неизвестно, сколь послушно следовала Евдокия Петровна религиозным наставлениям князя, но она способна была понимать их – и Одоевский, сокровенно таивший движения своей чувствительной души, вверяется ее чуткому и дружескому сердцу без боязни. Спустя год Ростопчина, оказавшись в весеннем, ласковом Пятигорске, в порыве, исполненном сердечного участия, взывает к нему: "Зачем вас здесь нет?.. Как бы вы отдохнули от всех труженических обязанностей и хлопот! Как бы вы помолодели и духом, и сердцем, и здоровьем; как мы с вами наболтались бы досыта!.." Между прочим, Евдокия Петровна сообщает Одоевскому и о том, что в Пятигорске ждут переведенного, наконец, на Кавказ брата его Александра, о котором она столько наслышана. "...Знакомство с ним будет мне и приятно, и опасно, и дружба одного из князей Одоевских вряд ли будет мне защитою против привлекательности другого", – кокетничает графиня, тут же, впрочем, прибавляя: "Ему стоило бы много труда изгладить вас из моего сердца, и ему это не удастся – порукой в том вы и я".

Однако отношения их скрепляются не одними "важными тайнами", тайнами души и сердца, – оба литераторы, они увлечены еще и общим делом, а князь, по праву опытности и старшинства, берет на себя наставничество и литературное.

Ростопчину, в частности, остро интересуют мистические материи. Неизвестно, пробудился ли у нее этот интерес самостоятельно или под влиянием Одоевского, но так или иначе лучшего конфидента для этого

случая было не сыскать. Недаром свою переписку с ним Ростопчина назвала как-то шутя "полумистической, полуфантастической". К 1838 году относится и первый ее опыт в подобном роде – повесть "Поединок", над событиями которой властвует роковое предсказание цыганки. Опыт этот будет потом продолжен и в стихах, и в прозе.

Впрочем, писательница в своих пристрастиях была отнюдь не одинока. Интерес русского общества к вопросам веры и мистики, к миру "сверхъестественного" и "сверхчувственного" становится в тридцатые годы напряженным и едва ли не всеобщим. Он не только сохраняется, но и усиливается и в пушкинском кругу, уже по смерти поэта, и бытует как в письменной, так и в устной традиции, в особенной предрасположенности к разного рода предсказаниям, предчувствиям, бытует в пересказах, в установившемся обычае чтения вслух "страшных повестей" и живого обсуждения их мировоззренческой и литературной основы.

Именно на этой почве личная переписка Одоевского и Ростопчиной, с ясно очерченным кругом духовных, интеллектуальных и эстетических интересов, не просто перерастает в литературную, но и становится фактом литературы.

Ростопчина как-то требует у своего корреспондента написать для нее "какую-нибудь повесть, да пострашнее", и он удовлетворяет это требование, – но своеобразно: вместо "практики" писатель предлагает просвещенной графине "теорию", ответив ей со страниц "Отечественных записок" серией "Писем" "о привидениях, суеверных страхах, обманах чувств, магии, кабалистике, алхимии и других таинственных науках", в которых обнажает не только самый "механизм" "страшной повести", но касается также мистики вообще – и "научной", и "бытовой". По сути, Одоевский продолжает в них разговор, давно начатый им на страницах собственных произведений, – разговор о таинственной и многообразной силе инстинктуальных знаний.

Представляя адресату "самый источник, из которого берутся страшные повести", Одоевский признается, что его издавна интересовала не только поэтическая его сторона. "Под всеми баснословными рассказами о страшилищах разного рода" он видит "ряд естественных явлений, доныне не вполне исследованных, и причины которых частию находятся в самом человеке, частию в окружающих нас предметах". Именно их и намеревается он объяснить в своих "Письмах", подведя эти "страшные явления" "под общие законы природы", намеревается содействовать "истреблению суеверных страхов".

Все известные ему формы "сверхъестественного" Одоевский рассматривает, опираясь на последние достижения физики, химии, физиологии, медицины, математики. Так, феномен привидений коренится, по его убеждению, в оптических и акустических обманах, возникающих вследствие поражения одного из органов чувств. "Обманы чувств" он разделяет, в свою очередь, на "иллюзию" и "галлюцинацию" – "чувственные обманы" и "способность к видениям"; описывая "обманы" оптические, с бесстрастием препаратора разбирает коварные физические

свойства поэтического лунного света. С этих же позиций объясняет Одоевский и известные с древних времен тайны "черной магии" и "животного магнетизма" – гадания, предчувствия, предсказания, сны. Все эти явления он называет явлениями "физиологическими", или "физиопсихическими", а в иных случаях и "электропсихическими". Основной пафос его "разоблачений" – научно-просветительский: "...от светлых лучей знания мало-помалу рассеиваются все эти ложные страхи, человек открывает новую область своему могуществу и деятельности, а то, что было добычею суеверия – становится смиренною главою в наших "Руководствах по физике" для употребления в классах. Правда, при сем уничтожается поэзия народных поверий, – но разве в гордом знании человека нет своей, еще более возвышенной поэзии?"

Все эти мысли развивал писатель и в других статьях и заметках. Между прочим, подобные послания он адресует в это время и сестре Пушкина Ольге Сергеевне Павлищевой. Обращается Одоевский и к одному из основных источников "страшной повести" – фольклору и обнаруживает здесь ту же картину. "Народные легенды суть порождения многих опытных наблюдений, не раз повторявшихся, – записывает он, – и, наконец, слившихся или в афоризм (пословица, присловье, догма) или в поэтическую форму легенды". Причем поэзия, по его мысли, "примиряет" две крайности, сосуществующие в народном сознании: "мистицизм, часто заоблачный (раскольники) и разгул чувственности".

"Мистическая" волна в самых разнообразных своих формах, перекинувшись, как обычно, в Россию из Европы, захлестнула не только общественное сознание – она уже отвоевывала себе место и в сознании художественном, точно так, как властно расширяли горизонты художественного видения и вторгавшиеся в жизнь научные открытия. Ни того, ни другого воздействия не избежал уже Пушкин. Московский же приятель Одоевского Иван Киреевский в своих критических статьях пытался даже вывести некие общие закономерности движения русской научной и литературно-художественной мысли. Русские журналы были полны рассуждениями, как мы сказали бы сейчас, на научно-фантастические темы.

Созвучно Одоевскому думал, например, и сошедшийся с ним в эту пору Владимир Даль – знаменитый фольклорист, писатель и, между прочим, русский сведенборгианец. В частности, его размышления над заговорами – одной из самых "мистических" форм народного творчества – сводились к тому, что "если самый способ действия признать обманом... то все еще остается решить, какие же именно невидимые нами средства производят видимые нами действия? Будем стараться, – добавлял он, – при всяком удобном случае разыскивать и разъяснять их; по мере этих разъяснений мнимые чудеса будут переходить из области заговоров в область естественных наук, и мы просветимся".

Все так. Однако не будем обманываться заманчивой простотой и ясностью скорых решений и уподобляться холодным и самоуверенным прагматикам, которых Одоевский же и посрамил на страницах своих фантастических повестей, несмотря на всю свою научную прогрессив-

ность. Его художественная практика оказалась гораздо сложнее собственных его теорий и не случайно стяжала ему уникальную в русской литературе репутацию философского романтика. Может быть, даже мистико-философского – добавили бы мы. Евдокия Ростопчина шутливо называла своего друга "алхимико-музыко-философско-фантастическое сиятельство" – и в этой шутке была большая доля истины.

Непривычность того, что начал предлагать Одоевский своим читателям, породила разговоры о падении его таланта и непомерно развившихся чудачествах. Энергичный на выражения Панаев, несмотря на свою привязанность к "чудаку", писал К. С. Аксакову: "Князь совсем из ума выживает и пишет такую гадость, что читать тошно".

Совершенно чуждой оказалась "Сильфида" и Пушкину, хотя в ней и мотивы, и стилистика последовавших затем фантастических повестей были едва лишь намечены, а отличительные качества философского и психологического анализа "фантастических" явлений и вовсе отсутствуют, пока еще уступая место внешним атрибутам образного "мистического" мышления и с успехом продолжая некогда излюбленную и вполне реалистическую мысль писателя о пагубности косной среды. Однако уже здесь был намечен герой, постигающий тайны бытия через мудрость средневековых мистиков и любовь к стихийному духу – Сильфиде, посланнице иного, светлого и гармоничного мира, открывающегося только избранным. Но в "Сильфиде" этот идеальный мир как воплощение некоей человеческой мечты о несбыточном прекрасном противостоял еще всего лишь пошлости провинциального быта.

Однако в то время, когда Одоевский излагал свои мысли о фантастическом в "Письмах" к просвещенной графине, на его писательском столе лежала уже завершенная рукопись "Орлахской крестьянки" – небольшой то ли новеллы, то ли психологического этюда, в котором был рассказан удивительный случай. Случай этот, как некогда и сюжет "Игоши", принадлежал бытовой, народной мистике, но касался несколько иных ее сторон. Однако новая новелла была примечательна тем, что опиралась на действительное происшествие – историю немецкой девушки Магдалины Громбах из Орлаха, страдавшей, как говорили в народе, падучей и во время приступов обретавшей якобы дар общения с привидениями. Одоевский был современником этого нашумевшего и широко известного происшествия и описал его по горячим следам, еще при жизни Магдалины Громбах. Рассказанная им история заключается в том, что крестьянскую девушку Энхен – существо, живущее естественной жизнью ("образец немецкого трудолюбия и здоровья", она имела даже "род отвращения от книг") – начинают вдруг одолевать странные видения, вызывающие у нее нервные припадки, во время которых она провидит события, уходящие в глубь веков и заведомо ей неизвестные. Привидения, мучающие героиню, со слов которых она и пророчествует, оказываются реально существовавшими участниками трагической истории, разыгравшейся 400 лет назад в Гейслингенском замке, стоявшем на месте нынешнего дома Громбахов, где некий разбойник убил двух своих детей и возлюбленную и замуровал их трупы в каменных

стенах. Смятенная душа убиенной, называющая Энхен своей сестрой, ибо родилась она когда-то в том же месте и носила то же имя, – и избирает ее теперь орудием мщения. Так в "Орлахской крестьянке" вновь возникает уже использованная однажды писателем в "Игоше" фольклорная тема заложных младенцев, осложненная здесь, однако, фольклорным же мотивом "проклятого места" и мистической идеей "кармы" – непрерывной связи времен и человеческих судеб. Более того, мистический колорит этой новой истории подготовлен и углублен загадочными речами ее рассказчика – "чудака" Валкирина, только что вернувшегося из путешествия по Востоку и проповедующего теперь в светской гостиной странные идеи. Он предваряет свой рассказ о ясновидящей из Орлаха рассуждениями о светящихся драгоценных камнях, которые, по его уверениям, суть не что иное, как символы "нашей прежней светлой одежды", невольно напоминающие человеку о том давно, давно прошедшем "светлом состоянии", которое теперь "нам сделалось уже непонятно". Высказывает Валкирин убеждение и в том, что часто мы не властны в своих словах и поступках и временами в нас говорит "кто-то другой".

Все это не требовало бы специального разговора и прекрасно бы укладывалось в рамки обычной поэтики мистико-романтического повествования, если бы не некоторые особенности интерпретации сюжета и не тот факт, что случай Магдалины Громбах из Орлаха был зафиксирован и описан немецкими учеными. По следам ее провидений на месте дома Громбахов и в самом деле обнаружили остатки фундамента старого замка.

Это был уже образец "научной мистики", в основе которого оказалось не только событие, реально происшедшее, но и клинический случай эпилепсии, подлежащий медицине и обрастающий, к тому же, целым комплексом идей подсознательного.

Это внешне парадоксальное сочетание мистического и физиологического, которое становится отныне отличительным свойством психологической фантастики Одоевского, для него самого строго мотивировано и закономерно: оно обусловлено особым пониманием мистической философской традиции, которую писатель подвергает естественнонаучному переосмыслению.

П. Н. Сакулин первый заметил, что тирада Валкирина о драгоценных камнях – явный отголосок учений Сен-Мартена и Пордеча о грехопадении, о том первоначальном гармоническом состоянии человека, когда он был еще мудр и чист, а "материальная" одежда его – светла. Однако это и подобные толкования библейского учения, встречающиеся и у других средневековых философов, сами по себе еще ничего не объясняют, и поиски прямых и конкретных источников новеллы обречены, думается, на неудачу.

Средневековая мистика, складывавшаяся как явление отнюдь не однородное, уже при своем возникновении знала не только приверженцев оккультного познания мира, но и различные "ереси". Тогда же на страницы "мистических" сочинений начали проникать и натурфило-

софские идеи, породившие определенное направление – "рациональную", или "научную", мистику. Среди тех, кто исповедовал ее, было немало математиков, врачей, естествоиспытателей, физиков. В XVI–XVII веках возникает, между прочим, и устойчивый интерес к "беснующимся", подогретый настоящей эпидемией массового "беснования" в монастырях. Причем интересно, что очень рано, еще со времен Фомы Аквинского, этот феномен начал рассматриваться как медицинский. Один из философов-мистиков XVI века Жан Вир посвятил, например, "беснующимся" специальный труд, основная мысль которого заключалась в том, что "ведьмы" – суть больные женщины, а судьи их – палачи. Думается, интерес Одоевского к "беснующимся" как раз и стимулировался подобными воззрениями, а "Орлахская крестьянка" явилась лишь частью целого цикла, задуманного им на эту тему.

Но решающее воздействие на русского писателя оказал в эту пору, без сомнения, Сен-Мартен и основы его учения, в центре которого был человек и сверхчувственное как то высшее, что отличает его от животных. Французский философ стремился объяснить "не человека вещами", а "вещи человеком". С этим, очевидно, связан и его пристальный интерес к одному из своих современников – австрийскому врачу Месмеру, в частности к его опытам над различными проявлениями автоматизма, ясновидения на расстоянии и т.д. Он предсказывал этому направлению большое будущее, охарактеризовав его родоначальника как "материалиста, располагающего большой властью".

Соотнося в "Орлахской крестьянке" "мистические" загадки с новейшими достижениями медицины, Одоевский, как выясняется, отнюдь не открывал Америк. О непосредственной связи "мистического" феномена с месмеризмом, воспринимавшимся во времена Одоевского, а тем более – во времена Сен-Мартена как новаторское слово в медицине, сказал впервые французский философ. Для "Орлахской крестьянки" это особенно важно, ибо отразившаяся здесь также его трактовка библейского сюжета о грехопадении в контексте миропонимания "рациональных" мистиков обретает особый смысл: "светлые одежды" некогда цельного и непорочного еще человека, жившего в гармонии с окружающим миром и понимавшего язык природы, вырастают в символ той абсолютной истины, той единственной и высшей правды жизни, которая после грехопадения была невозвратно утрачена и на поиски которой направлены усилия многих последующих поколений. Более того, следы первоначального гармонического состояния человека и единения его с миром, в понимании этих философов, сохранились не только в различных символах, требующих теперь разгадки (и драгоценные камни – из их числа), но и в человеческой "прапамяти", ибо непрерывна связь времен, как непрерывно движение человеческой истории. Так разговор о брильянтах перерастает в "Орлахской крестьянке" в разговор о карме – о том, что все во вселенной связано со всем, ибо все умирает, но, видоизменяясь, возрождается вновь. Поэтому временами и говорит в нас, по словам Валкирина, "кто-то другой" – мы слышим тот "внутренний голос", тот голос предков, который и ведет мысль и чувство че-

ловека к началу начал – к постижению первоначальной истины.

Однако мистические идеи воплощены в "Орлахской крестьянке" в форме повествования полуфольклорного, полуфизиологического. Здесь не только присутствуют расхожие фольклорные образы, как это было уже в истории Игоши; повторена и тема "невинного", наивного сознания, максимально приближенного к естественной, природной жизни. В "Игоше" это – ребенок, в "Орлахской крестьянке" – существо, сохранившее наивную первозданность мышления и "детскость" восприятия. Не случайно подчеркивает Одоевский и органическую близость бытия героини к естественному течению природной жизни, и столь же органическое неприятие ею влияний цивилизации. Энхен – носительница наивного народного сознания, которое, по мысли писателя, "и является необходимым условием предрасположенности человека к интуитивному, "сверхчувственному" познанию вещей и явлений, к постижению необъяснимых и загадочных подчас законов, движущих развитием человечества. Именно поэтому и способна она провидеть события, уходящие в глубь веков.

Не менее важно, что способность к провидению ясновидящая из Орлаха обретает во время припадков, то есть в состоянии высшего нервного напряжения (ибо эпилепсия – заболевание нервное). Иными словами, она живет тем "инстинктуальным бессознательным чувством", которое, как объяснял Одоевский Ростопчиной, следует расценивать с точки зрения "физиопсихической".

Этот комплекс проблем все более захватывает писателя, получая дальнейшее развитие в последующих его произведениях.

"Фантастические" замыслы рождаются и реализуются стремительно и плотно, вперехлест, набегая один на другой. Впрочем, не только набегая, но и переплетаясь, как бы подхватывая на лету прерванную или неясно выговоренную ранее мысль. Их объединяет совокупность и общих идей, и настроений.

Если же взглянуть шире, фантастические повести Одоевского отражают отчетливо сформировавшийся универсальный его взгляд на проблемы духовного бытия человека и представляют собой важнейшую страницу интеллектуальной биографии писателя. Это были последние подступы к созданию целостного здания "Русских ночей", здесь окончательно оформились многие из основных идей, сцементировавших величественное и уникальное философское здание, увенчавшее его творческий путь.

Очевидно, тогда же, когда создавалась "Орлахская крестьянка", было близко к завершению и следующее, одно из самых значительных произведений этого рода – "Саламандра", спустя несколько лет появившееся на страницах "Отечественных записок". Во всяком случае, в самом начале 1838 года Краевский, издатель "Отечественных записок", спрашивал Одоевского о "здоровье" "Саламандры" и просил поскорее доставить ее в его "супружеские объятия". Новая повесть предполагалась как продолжение целостного некогда замысла трилогии об общении

человека со стихийными духами, замысла, распавшегося на самостоятельные произведения, которые, в свою очередь, осложнились целым рядом самостоятельных тем и мотивов. Третья часть этой трилогии, "Ундина", так и осталась незавершенной.

Чтобы сразу избежать в связи с "Саламандрой" путаницы, следует, наверное, напомнить, что дилогия, известная нам теперь под этим названием, сложилась далеко не сразу – и это важно. Первой на печатных страницах в 1841 году появилась вторая ее часть, носящая сейчас название "Эльса", но тогда вышедшая под заглавием "Саламандра". В том же году увидела свет и нынешняя первая повесть дилогии – "Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия", однако в качестве самостоятельного произведения, и лишь спустя три года, готовя Собрание своих сочинений, Одоевский объединил обе повести в одно художественное целое. Все эти "превращения" "Саламандры" носят отнюдь не формальный характер: они очень точно отражают последовательное развитие авторской мысли.

Согласно первоначальному замыслу, сюжет "Саламандры" должен был разворачиваться опять в Италии, в XVI веке. Сохранившиеся наброски дают нам о нем достаточно ясное представление. В качестве героя предполагался "молодой адепт", помогающий алхимику в его тайных опытах. Алхимик поручает юноше следить за огнем и засыпает. Тогда-то молодому человеку и видится в огне Саламандра, которая в награду за любовь обещает открыть ему тайну "делать золото", предупреждая, что нарушение тайны грозит гибелью им обоим. Юноша богатеет, его богатство привлекает к себе внимание инквизиции, начинаются преследования. Он скрывается вначале в Германии, затем во Франции, где влюбляется в одну из возлюбленных Франциска, открывается ей, и Саламандра душит их обоих. С тех пор дом, в котором разыгралась драма, становится – подобно тому, как это было в "Орлахской крестьянке" – "проклятым местом": над ним носятся "вопли и стоны".

Уже на полях этого "итальянского" наброска "Саламандры" появилась помета Одоевского, согласно которой действие повести переносилось из Италии XVI века в Москву, "во времена Петра Великого". В окончательном варианте повествование меняет свою географию в третий раз: наряду с Россией в нем появляется Финляндия; время действия – "третье десятилетие XVIII века".

Не возникает сомнений, что в процессе развития и воплощения замысла "Саламандры" поиски "места обитания" ее героев имели для Одоевского особый смысл. Это, как мы увидим, прямо соотносилось с характером интерпретации мистических мотивов, с тем особым взглядом на "мистическую" сущность и психологические свойства действующих лиц, которым был уже отмечен рассказ о ясновидящей из Орлаха.

Совершенно очевидно, что, когда Краевский осведомляется у Одоевского о "здоровье" "Саламандры", в сюжете ее должны уже были быть намечены основные контуры главного женского персонажа, Эльсы, предстающей в двойном образе – стихийного духа огня и невинной, первозданно чистой деревенской девушки с берегов Вуоксы. Рожденной

некогда под влиянием глубоко личностных импульсов идее Цецилии в двух ипостасях – божественной и земной и недавнему созданию писателя – нетронутой цивилизацией Энхен Громбах предстояло слиться в некоем новом качестве.

Двойственная природа сущего, как понимал ее теперь Одоевский, со всей полнотой отразилась и в сложно развитом сюжете дилогии, повествующей о судьбе двух финских детей – Эльсы и Якко.

Финская тема возникла в повествовании не случайно. В 1830-е годы вообще быт, нравы, обычаи северных соседей постоянно находились в поле зрения русских писателей, журналистов, ученых. Неоднократно предпринимал путешествия в Финляндию и Одоевский, живо интересовавшийся историей и культурой этой страны. Его архив хранит путевые заметки о Финляндии, даже следы изучения финского языка. Однако непосредственным толчком к окончательному оформлению замысла "Саламандры" послужили исследования о Финляндии Якова Грота, опубликованные в "Современнике" в виде нескольких статей в 1839- 1840-м годах, где подробно рассказывалось об истории, культуре, а также об особенностях национального характера и психологии северного народа. На этот источник сведений Одоевский ориентирует своих читателей сам – в обширном авторском примечании, которым снабдил он "Южный берег Финляндии...". Примечание это выглядит теоретическим обоснованием художественной концепции дилогии и потому нуждается в достаточно детальном пересказе.

Писатель не скрывает, что статьи Грота явились "неожиданным и в высшей степени любопытным открытием драгоценных подробностей о характере и преданиях финнов, столь разительно отличающихся от преданий всех других народов". Эти национальные особенности, впервые обрисованные с такой полнотой, Одоевский, вслед за ученым, связывает с жизненным и семейным укладом финнов, ведущих уединенное существование, в хижинах, разбросанных между диких скал и редко сообщающихся "не только с другими людьми, но и между собою; оттого известия о всем происходящем в мире, – заключает он, – до них доходят в виде искаженных слухов; в каждой хижине этот слух дополняется каким-либо чудесным рассказом <…> и так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание: явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы". Столь своеобразные условия бытия порождают, по мысли писателя, и особенности национальной психологии: "Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикою привязанностью к своей земле". Близость к природе "научила их знать свойства трав и кореньев; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них ролю колдовства..." Одоевский считает, что "финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху". В силу всех этих причин их "быт, предания, поверья" представляются ему "неоцененным сокровищем для литературных произведений", и не случайно начинает он свое "теоретическое" примечание с определения эстетических

критериев дилогии как "опыта рассказа, основанного большею частию на финских поверьях".

Нет необходимости специально задерживаться на сходстве декларированных здесь Одоевским положений с тем, что уже было воплощено им в "Орлахской крестьянке": связь и преемственность идей слишком очевидны. Гораздо интереснее другое: то окончательное развитие, которое они получили в дилогии – самом крупном и итоговом произведении писателя в жанре "психологической фантастики".

Начинается действие "Саламандры" во времена русско-шведской войны, на берегах Вуоксы, в бедной лачужке старика Руси. Под ветхими ее сводами царит тревога: шведские солдаты насильно увели сына Руси и Гины Павали, и судьба его неизвестна. В ответ на недоуменные вопросы их маленького приемыша Якко, куда же девался Павали, Руси рассказывает финскую легенду о старых спорах "рутцев" с "вейнелейсами" за землю Суоми, где хранится чудное сокровище Сампо, некогда даровавшее народу изобилие и благоденствие. Но люди рассердили богов, и Сампо исчезло – ушло под землю, заплыв камнями. Соседи же, прослышав о Сампо, хотят теперь найти его и захватить силой. Далее Руси повествует о царствовании Петра, его деяниях и о сказочном городе, поднявшемся из болот по его воле. Рассказ о реальных событиях, переложенный на язык финского фольклора и гиперболизированный в соответствии с его канонами, как бы наглядно подтверждает правоту авторской концепции и дает живой пример сотворения мифа на материале, близком русскому читателю.

Таинственный, грозный и пророческий смысл легенды производит на слушателей гнетущее впечатление, пронизывая их ощущением неминуемо надвигающейся катастрофы. В обстановке все усиливающегося нервного напряжения Гина требует от мужа прибегнуть к присущему ему дару ясновидения, чтобы узнать о судьбе Павали, и старик, вняв ей, совершает колдовское деяние с помощью маленькой своей внучки Эльсы, посвящая ее тем самым в таинства черной магии и награждая сверхъестественной силой. Руси велит ей смотреть в огонь, пылающий в очаге, и в зловещем его пламени Эльсе открывается сцена убийства отца.

Старики, мстя шведам за сына, гибнут, Якко же увозят с собой русские солдаты. В Петербурге с маленьким полудиким чухонцем происходят чудесные превращения: смышленого мальчика, попавшегося на глаза самому Петру, отправляют в Голландию учиться, и по возвращении он, уже один из просвещеннейших людей в окружении русского царя, становится его ближайшим сподвижником. Якко навещает родные места, где осталась его осиротевшая "сестрица", нежная его подруга Эльса, и, отыскав ее, полунищенку, добывающую себе скудное пропитание игрой на кантеле и старинными песнями о финском сокровище Сампо, привозит в Петербург. Здесь он поселяет девушку в доме своего благодетеля Зверева, дочь которого Марью Егоровну прочат ему в невесты.

Однако с момента появления в русской столице Эльсы, вырван-

ной из привычного, родного бытия, оказавшейся в обстановке чуждого, непонятного ей уклада и испытывающей к тому же ревность к сопернице, ибо она считает Якко своим суженым, в повести вновь вступает в свои права "мистика".

В отличие от Якко Эльса, как до этого и Энхен, не только оказывается совершенно невосприимчивой к цивилизации – цивилизация ей просто враждебна. Живя в Петербурге, она продолжает тем не менее существовать в стихии своих – наивных, интуитивных представлений, и ни Звереву, ни самому Якко не удается приучить ее к новым условиям жизни. Более того, Эльса, в свою очередь, не постигает и своего друга детства: она стремится увлечь его назад, на Иматру, к родным берегам, уверенная, что только там обретут они утраченное, подлинное счастье. Не искушенная в правилах европейского общежития, бедная девушка не в состоянии подчиниться правилам строгого ритуала, царящего в домашнем быту Зверева – она следует лишь внутренним, непроизвольным движениям души, тем нравственным нормам, которые впитала с детства. Именно поэтому Эльса и не в состоянии ни ассимилироваться, ни повиноваться иным жизненным и психологическим представлениям, как это делает Якко, свою цельность, свою "первозданность" утративший.

Между тем, пытаясь отвратить любимого от Марьи Егоровны, Эльса прибегает к ворожбе, но оказывается пойманной с поличным: ее уличают в кознях; вслед за этим, оказавшись как-то вечером вблизи огня, у затопленной шведской печки, вокруг которой собралась семья Зверева и Якко, Эльса вновь, как это случилось в детстве, обретает дар пророчества. Ей снова открывается "таинство" – в языках пламени она видит своего двойника, свою "сестрицу" Саламандру, которая диктует ей теперь то, что должна она делать сама и что следует сказать Якко. "Сестрица" велит Эльсе бежать отсюда, ибо, говорит она, "здесь развлекут тебя, удалят тебя от меня, погасят, ты отвыкнешь понимать язык наш! На берегах Вуоксы, – продолжает Эльса свое пророчество со слов двойника, – люди не совратят тебя, там сосны и утесы безмолвны, луна светит своей живительной силой и духотворит грубое тело; там в лучах луны, в потоках пламени мы сольемся веселым хороводом, облетим всю землю, и вся земля для нас будет светла и прозрачна". Саламандра устами Эльсы призывает и Якко оставить чужой этот мир, этих людей, ибо, напоминает пророчица, "и тебя, неразумный, оживляла могучая сила старого Руси". "Ты наш!" – заключает Эльса и то ли предостерегает, то ли предсказывает: "Забудешь обо мне – вспомнишь в горькую минуту". Отступничество для "посвященного" невозможно: за всякую попытку измены неминуема кара. Так разворачивается первоначальная идея писателя об измене "молодого адепта" Саламандре и последовавшем за это возмездии.

Размышляя в "Психологических заметках" над взаимодействием разумного и инстинктуального в современном человеке, Одоевский писал, что "ныне сии две силы хотя существуют вместе, но так разделены, что для разума инстинкт есть бред, для инстинкта разум есть нечто

вещественное, грубое, земное". Подобным образом расцениваются в повести окружающими и все поступки Эльсы: либо как колдовство, либо как род нервного заболевания. Последним объясняет "бред" и "невменяемость" Эльсы доктор-немец Иван Христианович, которому, кстати, полудикая чухонка отвечает во время припадка по-немецки – на языке, в нормальном состоянии ей вовсе, разумеется, неизвестном. Приступ "сомнамбулизма" у Эльсы доктор справедливо связывает с огнем: он застал ее сидящей перед пламенем печки. Диагноз его также соответствует правилам медицины; "впрочем, – оговаривается Иван Христианович, – пироманция или гадание огнем была известна и древним, и производила у них подобные явления..."

Далее события "Южного берега Финляндии..." быстро движутся к финалу: Петербург поражает водная стихия – разыгрывается грозное наводнение 1722 года; Якко, сам едва спасшийся от гибели, узнает, что удалось спастись и дорогому для него семейству Зверевых – всем, кроме Эльсы. Известие это поражает молодого человека долгой болезнью; выздоровление его увенчивается сватовством к Марье Егоровне, заботливо выхаживавшей больного. Между тем выясняется, что Эльса жива: ее спас финн Юссо и увез назад, на Иматру. Перед свадьбой Якко еще раз отправляется на родину, чтобы устроить судьбу Эльсы. Здесь он узнает, что подруга его детства, его "сестрица", слывет теперь знаменитой знахаркой и окружена почетом и уважением. Не смея более тревожить ее покой и взглянув на Эльсу лишь издали, Якко покидает отчие места – на этот раз навсегда, покидает ради вновь обретенной второй своей родины.

Действие второй части дилогии, "Эльсы", происходит в Москве. Начинается она с рассказа о "проклятом месте", продолжающего тему "Орлахской крестьянки" и первого, "итальянского" наброска "Саламандры": два контрагента – дядюшка-масон и его племянник, ярый приверженец положительных наук, осматривают "очарованную залу", где по ночам слышатся "вопли и стоны". Волею случая они призваны разрешить эту таинственную загадку, и дядюшка, иронизируя над нынешним просвещенным веком, предлагает "господину физику" объяснить происходящие чудеса "по новым теориям". "Господин физик", апеллирующий к законам акустики, терпит, однако, фиаско – тайна остается нераскрытой, и тогда на сцену вновь торжествующе выступает дядюшка и рассказывает озадаченному племяннику "таинственное предание", связанное с возникновением "очарованной залы". Герои его – все те же Якко и Эльса, причем Якко, вернувшийся на круги своя: после смерти венценосного покровителя, повлекшей за собой крушение его блестящей карьеры, он вновь оказывается в бедной лачуге – и за алхимическими опытами. Обанкротившийся и опустившийся, он ищет теперь последнего прибежища в кабалистике.

Мотивы, побудившие Якко обратиться к алхимии, самые житейские: впав в немилость и лишившись места, средств к существованию и положения в обществе, он одержим стремлением взять реванш любой ценой. Побуждают его к этому и постоянные упреки и требования жены.

Однако ухватившись за "соломинку" – идею об алхимическом золоте, он, тем не менее, слабо верит в успех своей работы, едва ли сбыточной и едва ли не преступной. К тонкостям кабалистики как таковой новоиспеченный алхимик равнодушен. Принять предложение старого графа-"чернокнижника" к соучастию в опытах вынудила его лишь крайняя нужда; голос сомнения заглушается единственным желанием – достигнуть цель вполне утилитарную.

Говорит в Якко и попранная гордость инородца – только в богатстве видит он возможность утвердить себя вновь. Отчаяние воскрешает в его памяти и давно прошедшее – он то и дело возвращается мыслями к покинутым родным берегам, горько сожалеет о содеянном и призывает в беде свою единственную подругу Эльсу. Стремясь любой ценой достичь богатства, чтобы вернуть себе утраченную силу и власть, Якко не собирается делить все блага со "злой" женой: "...полечу к родным берегам, обойму свою Эльсу и с нею вместе засмеюся над целым миром".

Якко и старый граф проводят за алхимическими опытами многие дни и бессонные ночи, поддерживая в атанаре незатухающий огонь, но – тщетно: они терпят неудачу за неудачей, "эликсир жизни" в руки им не дается. Тогда-то измученный, потерявший счет времени Якко вспоминает о таинственной силе Эльсы и в последней, безумной надежде взывает к ее помощи. В ответ в мерцающем свете очага является ему та, которую он призывал. С этого момента Эльса не оставляет уже несчастного и руководит его работой втайне от графа. Струясь белым пламенем, обвиваясь вокруг таинственного сосуда, она велит Якко призвать Саламандру, обещая ему желанный успех, но требуя в награду от любимого лишь одного – принадлежать ей безраздельно, но там, в земной жизни, когда явится она ему в земной своей ипостаси. На робкие же напоминания Якко о жене Эльса-Саламандра отвечает ему то, что однажды прозвучало уже в страстных и преступных словах инока Виченцио, обращенных к Цецилии: "Все, все подвластно твердой воле человека..." "Или ты до сих пор не постигнул, что значит воля человека", – спрашивает у своего суженого и Эльса и уверяет: "Довольно только пожелать..."

Вскоре на пороге бедного жилища Якко в обыкновенной грубой финской одежде и в самом деле появляется Эльса. Прослышав о его злоключениях и бедственном положении, она решилась прийти ему на помощь, добравшись до Москвы и прихватив весь скудный свой капитал, накопленный за жизнь. Однако вопросы изумленного Якко об их с графом "деле" вызывают искреннее ее недоумение: в земной ипостаси собственное мистическое бытие остается ей неведомо.

Эльса остается в доме Якко – к великой радости и его, и даже совершенно спившейся и опустившейся его жены: молодая финка берет на себя все житейские хлопоты, и дом Якко оставляют, наконец, запустение и нищета.

Между тем тайные опыты не прекращаются, и Эльса по-прежнему является своему суженому в образе Саламандры, направляя его. Якко же постоянно мучает неразрешимая загадка: отчего она "там", в земной жизни, не постигает "здешнего" своего существования.

Добыть "эликсир жизни" алхимикам никак не удается. Но тем не менее с помощью загадочной покровительницы Якко становится обладателем чудного камня, оказавшегося замечательным красителем; он использует его, прибегнув к своим познаниям в химии, заводит красильню и богатеет. Однако по совету Эльсы-Саламандры он скрывает от графа свое открытие.

Молодой финн все более привязывается к Эльсе – и все более жена становится ему помехой на пути к новому счастью. Возникая в колдовском пламени вновь и вновь, Эльса сулит Якко освобождение от тягостного супружеского бремени; в реальной жизни так и происходит: Марья Егоровна умирает странно и мгновенно, будто сгорает, объятая каким-то неведомым и почти невидимым, искрящимся лишь синими вспышками огнем. Озадаченные соседи склонны приписать эту непонятную смерть неуемной страсти покойной к спиртному.

На продолжение изнурительных радений у атанара толкает Якко не один страх перед старым графом – Саламандра по-прежнему сулит ему исполнение вожделенной мечты об "эликсире жизни", о таинственном и чудодейственном камне, дарующем долгую жизнь, здравие и несметные богатства.

Наконец, в положенный писаниями чернокнижников срок – в полночь 401-го дня, когда истомленного графа сморил предательский сон, взору Якко на дне атанара предстает распускающийся и благоуханный роскошный цветок, озаривший комнату розовым сиянием. Грубый глиняный сосуд превращается на его глазах в золото; он становится обладателем заветного пурпурового камня, а вместе с ним – и тайны добывать без труда и края драгоценный металл. Но осуществление долгожданной мечты не приносит ему счастья: днем и ночью терзает его страх перед ничего не ведающим, но подозрительным и опасным графом, с которым он не желает делиться своими сокровищами, страх за сохранность золота, которым он теперь владеет. Подобно пушкинскому Скупому рыцарю, он становится бессменным стражем драгоценных слитков, хранящихся в подвалах его дома, – жизнь, лишенная всех других помыслов и радостей, превращается для него в бесконечное терзание. Более того, им полностью овладевает лишь одна преступная мысль, одно желание: любой ценой избавиться от графа. Спасительного же совета получить ему больше не у кого: Саламандра уже не является в пламени бесплодного атанара, земная Эльса по-прежнему не понимает ни преступной радости, ни тревог Якко. Тогда, доведенный до отчаяния, он принуждает ее повторить опыт детства. Подобно старому Руси, он сажает насильно Эльсу перед огнем, требуя научить его, как избавиться от ненавистного патрона. Совершается очередное колдовство – и в родовитого и могущественного графа превращается сам Якко. Для него начинается безудержная, упоенная жизнь – в почете и несметной роскоши, ибо алхимическое золото не иссякает, в увеселениях и волокитстве. Не властны над ним и годы. Якко-граф вовсе забывает об Эльсе и в конце концов сватается к одной из первых московских краса-

виц – молоденькой княжне Воротынской. Однако в день свадьбы, когда все готово, чтобы ехать к венцу, в роскошных графских покоях появляется убогая Эльса. С трудом пробившись к побледневшему жениху, она с прежней наивностью уговаривает графа-Якко уехать с ней, наконец, на Иматру. Граф же, на нынешние глаза которого бедная девушка слишком уж дерзка в своих притязаниях, надменно советует ей отправляться туда одной, да поскорее; на дорогу он подает ей кошелек и снисходительно обещает не оставить заботами впредь. В ответ раздается зловещий хохот Эльсы. Все мешается, рушатся стены – и Якко видит себя вновь в прежней комнате, перед таинственной печью, но пламя тянется к нему, все вокруг дышит жаром, еще минута – и в огне навсегда исчезают и дом, и загадочные его обитатели, Якко и Эльса.

...Так оканчивается рассказ дядюшки. По его уверениям, на этом-то зловещем пепелище и был позже построен дом; "очарованная" же зала пришлась как раз на то место, где располагалась некогда лаборатория алхимика. Предупреждая недоверие племянника, рассказчик передает ему слухи, ходившие тогда по Москве: "Иные, пожалуй, говорят, что г. Якко просто делал фальшивую монету, а потом, чтоб все прикрыть, сжег дом и убежал вместе со своею помощницею чухонкою... другие говорили, что он был сумасшедший; третьи, что он притворялся сумасшедшим... Из всех этих мнений можешь выбирать любое..."

Философский смысл "Саламандры" оказался необычайно сложен. Если в новой героине Одоевского еще можно было угадать прямую наследницу Энхен Громбах, то биография Якко вычерчена во многом неожиданно, даже будто противоречиво. Между тем она отражает острый интерес писателя к процессу ломки "чистого", наивного сознания на переломе эпох. Именно поэтому столь притягательным оказалось для него петровское время, когда вчерашняя полудикая Россия круто повернула на путь европейского развития. Горячий поборник промышленного и культурного прогресса, Одоевский не мог не восхищаться этой стороной деятельности Петра, но он же одним из первых поднял голос протеста и против разъедающего влияния буржуазного утилитаризма, разрушающего некогда цельную человеческую личность. Страстной антибентамовской проповедью окажутся вскоре пронизаны многие страницы "Русских ночей". Параллельно с "Саламандрой" создает Одоевский и "Город без имени" – по словам Белинского, "прекрасную, полную мысли и жизни фантазию", построенную на глубоком и последовательном отрицании теории Бентама. Годом раньше на ту же тему был написан рассказ "Черная перчатка". Поэтому особенно интересно, что уже в столь высоко ценимой им петровской эпохе видит Одоевский начало не только будущего благоденствия России, но и источник многих бед, принесенных цивилизацией, – утраты современным человеком способности к целостному постижению мира, способности к бескорыстной любви и бескорыстному служению долгу.

Три этапа жизни Якко – три ступени движения человека в истории. В начале дилогии он – ребенок, принадлежащий к нации девственно-дикой, и это создает предпосылки к интуитивному постижению приро-

ды – точно так, как это было и с маленьким героем "Игоши", и с Энхен Громбах, и с самой Эльсой, да и с героем "Сильфиды", сознательно порвавшим с цивилизацией. Все это – своего рода возвращения к "светлому состоянию" человечества на заре своего существования, состоянию, "которое нам сделалось уже непонятно"; по словам Валкирина в "Орлахской крестьянке".

На втором этапе Якко – сподвижник Петра I, уже оторванный от корней, от "почвы", но преданно служащий делу, поэтому ему сопутствуют удачи и слава. Вместе с тем сознание его уже отравлено "трихинами" буржуазной цивилизации, в условиях которой идея общественной пользы фатально трансформируется в идею пользы для себя. В прямой связи с этим и возникает на последнем этапе фигура двойника Якко – старого графа, стяжателя и сластолюбца, жаждущего приумножить свои богатства и стать обладателем эликсира жизни, чтобы властвовать и наслаждаться земными благами вечно. Именно это и побуждает его пуститься в тайные и изнурительные алхимические опыты в надежде получить философский камень. По существу, тем же движим и Якко, становясь тайным соучастником графа. Когда же он достигает своей цели, происходит полное отождествление: он просит Эльсу-Саламандру превратить его в старого графа, не помышляя уже ни о государственном поприще, ни об общественной пользе. Гибель Якко и есть отчасти возмездие за преданные идеалы, так же как гибель графа, пытавшегося употребить свои обширные познания лишь для личной пользы, – кара за корысть. Ведь не случайно не ему, в итоге, открывается тайна философского камня. Конец Якко-графа закономерен и назидателен как конец личности, отравленной ядом стяжательства и потерявшей и духовность, и цельность.

Так возникают в дилогии два разнокачественных "мистических" ряда: Эльса, носительница органичной для нее "иррациональной" мистики, и старый граф, мистик "рациональный".

Рациональная основа мистических таинств увлекла уже героя "Сильфиды". "Мы, гордые промышленники XIX века, – пишет он своему другу под впечатлением сочинений алхимиков, – мы напрасно пренебрегаем этими книгами и даже не хотим знать о них. Посреди разных глупостей, показывающих *младенчество физики* (курсив мой. – *М. Т.*), я нашел много мыслей глубоких: многие из этих мыслей могли казаться ложными в XVIII-м веке, но теперь большая часть из них находит себе подтверждение в новых открытиях..." Идея научной ценности "прикладной" алхимии возникла у Одоевского довольно рано – почти одновременно с начавшимся еще в 20-е годы увлечением мистиками – и оказалась необычайно устойчивой. С годами писатель возвращается к ней чаще и настойчивей, дав ей позже ряд широких теоретических обоснований и в "Русских ночах", и в "Психологических заметках", и в поздних статьях и набросках. Его Фауст, например, утверждает, что "все наши физические знания были известны <...> алхимикам, магам и другим людям этого разбора" и что "все нынешние химические знания находятся не только в Алберте Великом, Рогере Баконе, Раймонде Луллии, Василии

Валентине, Парацельзии и в других чудных людях сего разряда, но эти знания были столько разработаны, что встречаются и в алхимиках меньшей величины". Им, по словам Фауста, были известны уже свойства газов, а металлы в их сочинениях описаны "с такою подробностию, которой не встретишь и во многих новейших сочинениях".

К помощи названных Фаустом авторов и прибегает в "Саламандре" старый граф, ставя свои опыты именно над металлами в поисках питейного золота. Воспроизводя их в согласии с описаниями Василия Валентина, Парацельсия, Арнольда де Виллановы, граф с трепетом ждет появления упоминаемого герметическими философами "красного дракона – предвестника удачи – заветного "пурпурового камня", который и есть семя металлов, эликсир от всех болезней, дивная тинктура, возводящая грубый свинец в достоинство золота". Он постоянно наказывает для этого Якко "беречь саламандру", т.е. поддерживать в атанаре неослабевающий огонь, без которого невозможно появление "красного дракона" и все предприятие обречено на провал. Причем огонь этот, как объясняет граф своему помощнику, особый: старик называет его "корнем жизни" и "семенем металлов". Об особых свойствах этого таинственного огня, отличного от огня обыкновенного, говорит Якко и явившаяся ему Саламандра.

Согласно современным Одоевскому толкованиям идей кабалистов и их последователей, под герметическим огнем разумелось не что иное, как электричество. По мнению сторонников этой теории, алхимикам также были прекрасно известны не только металлургические, но и терапевтические свойства элементов, составлявших "эликсир жизни". Все это давало право говорить о "рациональном основании" алхимии и ставить вопрос о том, что алхимиков следовало бы тогда по справедливости поставить "во главу науки и приписать им первенство в великих изысканиях таинств природы, изысканиях, которыми герметические философы опередили, может быть, великие открытия времен новейших и приблизились к любопытным опытам, которые еще недавно покрыли такою славою Кросса, Фокса и Фарадея, знаменитых английских химиков и физиков". Одоевский, без сомнения, эти взгляды разделял. Идея "эликсира жизни", организующая сюжетную канву "Эльсы", характер рассуждений графа о герметическом огне, "властелине над всеми стихиями", само его описание, наконец, – понятия того же ряда. Огненные львы и огненные драконы, перекочевавшие в "Саламандру" со страниц сочинений мистиков, облекавших свои идеи в таинственные и наивные символы, существа дела не меняют, помогая лишь воссоздать стилистику "мистического" повествования. Проясняется как будто отчасти и смысл образа самой Саламандры – символа в ряду прочих, под которым древние разумели, вероятно, действие электричества. Именно так и толкует идею Саламандры у мистиков старый граф: "Ну что такое Саламандра? – говорит он Якко. – Это есть только символическое слово, под которым наши мудрые понимают иногда действие огня в нашем деле, а иногда и самый камень, потому что он горит в огне, не сгорая". И ошибается. Он снисходительно советует Якко

учиться и вместе с тем, при всей глубине и изощренности своих познаний, терпит фиаско, и тайна философского камня открывается не ему, а гораздо менее искушенному Якко. Якко же постигает и иной, высший смысл существа Саламандры-Эльсы, что значительно усложняет канонический и, казалось бы, прозрачно читаемый в контексте "рациональной" мистики символ. Здесь и обнаруживаются существенные коррективы, вносимые Одоевским в эту безусловно принятую им концепцию и лишающие ее известной прямолинейности и однозначности. Старый граф, при всей правомерности поисков практической пользы и утилитарного смысла учения древних, остается, тем не менее, на иерархической лестнице, выстроенной Одоевским в дилогии, на низшей ступени. Для писателя существует еще одна важная сфера деятельности и бытия человека – духовная, включающая в себя и деятельность психическую, подсознательную, без которой, по его мысли, ни поиск, ни постижение истины невозможны. Причину априорной несостоятельности людей типа графа – чисто рациональных экспериментаторов – хорошо объяснил потом Фауст в "Русских ночах". Без труда доказывая своим друзьям, что практически все научные открытия новейшего времени были уже прекрасно известны древним, он высказывает убеждение в том, что "все эти дивы были произведение не кропотливой чувственной экспериментации, но *такого взгляда на природу* (курсив мой. – *М. Т.*), который нам и не снится в том мышином горизонте, в который мы попали благодаря Бэкону Веруламскому". Особый "взгляд на природу" присущ лишь первобытному человеку, существовавшему нераздельно с окружавшим его миром, способному читать книгу природы и понимать ее язык. Этот высший дар графом утрачен, ибо и сознание, и мироощущение его проросли уже представлениями современного человека цивилизованного мира, невозвратно утратившего способность проникать духовным взором в тайны мироздания. Именно поэтому и трагически непонятен ему язык древних, и закрыт, и недоступен истинный смысл их слов. Поэтому и знания его мертвы. Ведь как раз об этом и говорит Саламандра, объясняя Якко причину неудач графа: "Бессмысленный! Он думает, что понимает писание мудрых; он прочел, что нужна сорокадневная работа над фениксом, но прочел только мертвую букву..." Не случайно и Фауст выскажет позже убеждение в том, что в глубине веков лежат "сокровища непочатые, нетронутые, до иных мы доходим случайно, до других боимся прикоснуться, остальных не знаем..." И доступны они могут быть лишь человеку, максимально сохранившему элементы первобытного сознания. Так под пером Одоевского усложняется мистический символ стихийного духа огня – Саламандры, обретающей своего земного двойника – Эльсу, ибо роль Саламандры в повести не просто функциональна: она не только символизирует собой, согласно мистической системе образов, герметический огонь (или, в трансформации на язык современных понятий, электричество), но и открывает Якко "тайну" – истинный смысл учения алхимиков, оказавшийся доступным только ей. Эльса-Саламандра, по мысли Одоевского, и есть тот высший тип психической организации, которому может

быть доступно постижение истины. Однако она, в отличие от графа, познает смысл вещей и явлений инстинктуально (род сомнамбулизма – земная Эльса не помнит о своем существовании в образе Саламандры), и это подводит нас к важнейшему моменту в концепции человека и мира, созданной Одоевским.

В набросках к неоконченной статье "Наука инстинкта. Ответ Рожалину", писавшейся, очевидно, параллельно с "Русскими ночами" и частично в них использованной, а также в "Психологических заметках" Одоевский формулирует свой взгляд на процесс познания, слагающийся, по его убеждению, из двух компонентов: познания инстинктуального и познания разумного. Удельный вес этих составляющих непостоянен и находится в прямой зависимости от этапов исторического развития, влияющих на структуру мышления. В процессе эволюции в человеке естественно возобладала рациональная основа, и писатель связывает с этим целый ряд неизбежных потерь. В частности, остаются загадочными и необъясненными многие моменты психофизиологической деятельности человека: сны, предчувствия, явления магнетизма и т.д. Однако о наличии "двух природ" в современном человеке – инстинктуальной и разумной – свидетельствуют следы первобытного инстинктуального состояния, которые Одоевский усматривает в непроизвольных, немотивированных поступках и в комплексе априорных знаний, изначально присущих человеку (ребенок непроизвольно тянется к материнской груди, инстинктуально познание добра и зла, ибо абсолютная и безусловная истина неизвестна, и т.д.). Пока не укрепилась в человеке "рациональная сила", человечество, по мысли писателя, "жило произведениями своей инстинктуальной силы; знание о сатурновом кольце прежде телескопа, – писал он, – эластическое стекло суть остатки сих инстинктуальных знаний..." Причем этот способ познания чрезвычайно важен, по Одоевскому, не только в постижении внешнего мира, но и в акте самопознания. Однако любопытнее всего то, что в свою теорию инстинкта, сформировавшуюся к 40-м годам, Одоевский уже вносит отчетливый оттенок биологизма, столь характерный для позитивистского мировоззрения, элементы которого, как считалось ранее, начали проявляться у него лишь в 50-60-е годы. "Наука инстинкта, – пишет он в "Ответе Рожалину", – должна явиться у русских. Природа севера заставляет жителей его обращаться в самих себя и тем побеждать природу; такова роль в человечестве северных жителей".

Итак, "северная жительница", Эльса, обретает дар "двойного" зрения, дар предчувствий – ясновидения – пророчеств и высшую способность существования в двух ипостасях. И Якко, хоть он и предал подругу детства и изменил земле своей, оказывается все же доступным тайный язык Саламандры, ибо и он был рожден на берегах Вуоксы и также отмечен в детстве знаком причастия таинству. Примечательно при этом, что Эльса-Саламандра является Якко – и это последовательно подчеркивается в повести – в моменты нервного перенапряжения героя и в состоянии полусна или сна, т.е., по мысли писателя, именно тогда, когда "мы действуем инстинктуально вне условий разума". Близкий

тип "мистического прозрения" был явлен уже в "Сильфиде" – пример того, как человек, отрешившийся от внешнего мира, "может дойти до сумасшествия, предаваясь одному инстинктуальному бессознательному чувству (высшая степень сомнамбулизма)". То же самое наблюдаем мы и в "Орлахской крестьянке". Во всех случаях совершенно отчетливо прослеживается тенденция естественнонаучной мотивировки мистических мотивов. Однако это отнюдь не исчерпывает проблемы.

Появилась ли, например, Эльса с берегов Вуоксы в московском жилище Якко независимо от его желания или это каким-то образом связано с волевыми импульсами, исходившими от Якко и "уловленными" Эльсой на расстоянии? Писатель наталкивает нас именно на эту, последнюю мысль: в преддверии появления реальной Эльсы Саламандра внушает Якко, что любое желание исполнимо – "довольно только пожелать". Мотив безграничных возможностей человеческой воли звучит в устах Эльсы и тогда, когда Якко обращается к ней с преступным, но страстным призывом помочь избавиться от старого графа.

Этот устойчивый интерес писателя к двум видам психической деятельности человека, сознательной и подсознательной, во всех формах их взаимодействия – "сосуществовании", переплетении, противопоставлении, – к которому он упорно обращается вновь и вновь, по существу уже с начала 1830-х годов, получает в "Саламандре" наиболее полное художественное воплощение.

Представления Одоевского о наиболее совершенном типе современного сознания складываются как представления о сознании, в котором счастливо должна сочетаться способность познания как инстинктуального, так и рационального. "Человек должен окончить тем, чем он начал, – четко формулирует он эту свою идею в "Психологических заметках", – он должен свои прежние инстинктуальные познания найти рациональным образом; словом, ум возвысить до инстинкта".

Максимально приближенным к такому типу психической организации и оказывается Якко, и именно поэтому ему, понимающему язык Эльсы и приобщившемуся к просвещенности века, и открывается высшая тайна.

Трудно сейчас судить, насколько верил Одоевский в то, что будущая наука сумеет впитать в себя все тайные знания, – как бы то ни было, феномен "раздвоения", причем "раздвоения" явно мистического, остался в "Саламандре" необъясненным, да и не требовал объяснения, ибо является художественной подлинностью.

Попытка же писателя ввести в художественную сферу современное естествознание оказалась плодотворной: она открывала новые возможности художественного анализа человеческой психики.

Сами по себе темы подсознательного, таинственного в психической жизни, возможностей человеческой воли прозвучали еще в пору расцвета романтической литературы и не являлись уже чем-то новым; новое содержалось в самом методе их анализа, открывавшего неожиданные возможности психологической "фантастики". Ими вскоре воспользовались и Достоевский, и Тургенев.

ГЛАВА XIII.

"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ..."

Уже на склоне лет, когда, казалось, отшумели все житейские бури, Одоевский поверил как-то своему дневнику примечательные строки. "Нет ничего интересней второй жизни человека, – записал он, – внешняя жизнь выставлена на показ всем. Внутренняя же, вторая жизнь есть скрытая основа, которая управляет всем существованием человека. Иногда она прорывается наружу, оставаясь всегда скрытой, как некая тайна. Я не могу постигнуть, как могут люди чувствовать необходимость в признаниях, когда у них какие-либо недопустимые чувства или чувства, которых они не должны бы иметь".

Быть может, эти поздние и скупые слова многое объясняют в характере самого князя, объясняют, отчего так настойчиво "закрывал" он собственную биографию для современников и потомков, отчего так ревниво оберегал свою "вторую" жизнь от посторонних глаз.

Высокое напряжение, каким отмечен его творческий взлет конца тридцатых – по существу, последний, – также, без сомнения, уходил корнями во "вторую" его жизнь, был соотнесен с ней самым непосредственным образом. Мы рискнем даже высказать предположение – возможно, и не бесспорное, – что своеобразие его позднего творческого метода, в котором мистические, а иногда и религиозно-мистические настроения уравновешивались сознательною силой рассудка и интеллекта, отчасти сложилось и под влиянием этой "скрытой основы" и несет на себе тайную ее печать.

Все это время в жизни Одоевского продолжала существовать Надежда Николаевна Ланская.

Но эта сторона его существования действительно оказалась скрытой почти непроницаемо, и рассказать о ней можно немногое.

Доподлинно, однако, известно, что после первого душевного кризиса, когда "глубокое чувство" было подавлено, отношения обеих семей вошли во внешне спокойную колею и были скреплены тесным родственным и дружеским общением. Надежда Николаевна поддерживала тесные, домашние связи с Ольгой Степановной, Владимир Федорович – не только с нею, но и с мужем ее Полем. Обе четы ведут себя друг с другом запросто, видятся едва не ежедневно. Тем не менее главным их связующим звеном остаются, кажется, все же Одоевский и Ланская. Их все более соединяет не один – общий – светский круг и узы родства. Надежда Николаевна, сама не чуждая литературных занятий – она пробует переводить и даже писать, – становится наперсницей и помощницей писателя в его творческих делах. В бумагах Одоевского хра-

нится, например, какой-то отрывок, где обличаются современные литературные и общественные нравы – между прочим, с эпиграфом, кажется, из Сен-Мартена, – и над текстом – карандашная его помета: 'Туки Надежды Николаевны Ланской". Ему первому поверяет она, в свою очередь, свои беллетристические опыты; они заняты совместным длительным и, видно, углубленным изучением Священного писания.

Все это, в общем, было довольно в порядке вещей – подобную "интеллектуальную" дружбу поддерживал Одоевский и с Ростопчиной, – если бы не отчетливые свидетельства того, что как раз самый исход тридцатых – первые два года сороковых знаменуются новым кризисом в личных, глубоко личных – может быть, развивавшихся даже почти подсознательно – их отношениях, и отношения эти обретают необыкновенно напряженную тональность. "Подавленное чувство", так старательно загонявшееся внутрь, прорывает плотину долга и светских приличий во второй раз, всем напором стремительного и уже неуправляемого развития увлекая свои жертвы на край последней черты, к развязке.

События этого времени – собственно, не события в точном, фактическом их значении, но некая почти трагическая их аура, перепады настроений, взаимные упреки, обиды, раскаяния и примирения, – все это восстанавливается наиболее полно по единственно уцелевшим письмам Надежды Николаевны к Владимиру Федоровичу. Однако мы должны напомнить еще раз, что все они, большею частью глубоко интимные, а потому для нас порой совершенно загадочные и, за небольшим исключением, недатированные, "расшифровке" поддаются трудно.

Нет нужды ворошить чужое прошлое – не станем забывать и о том, с какой страстью молодой еще Одоевский, задолго до появления Ланской, восставал против описаний "спального колпака герцога Веллингтона". Но попытаемся все же воссоздать то, в чем заключен тайный или явный смысл вещей, относящихся к биографии писателя, ту душевную атмосферу, которой была отмечена самая, наверное, тяжелая и роковая полоса его жизни.

Кажется, начало 1839 года оставалось еще временем предгрозья: река страсти как будто повиновалась очерченным ей рассудком берегам, хотя опытный глаз уже тогда, наверное, мог бы заметить первые признаки грядущего неповиновения стихии. Надежда Николаевна писала еще князю шутливые записки, именуя его "кладезем разума, феноменом XIX века, средоточием всех совершенств, прельстительным, очаровательным созданием", – однако сквозь шутку начала прорываться затаенная ревность к "злому гению – мучительнице-кузине" – сиречь, Ольге Степановне. В другой раз она, посылая совершенно по-свойски какой-то гостинец чете Одоевских, сопровождает его письмецом, весьма по-женски язвительным. "Благодарю милую Ольгу за все ее милости; целую ручки и ножки, – пишет Ланская. – Вот вам моя порция запрещенного плода; поделитесь, да не деритесь. – Пока я их укладываю, Коля (старший сын Ланской. – *М. Т.*) спрашивает: кому ето? – Владимиру и Ольге. – Который Володе и который тете Ольге? – Не все ли равно? –

Нет, мама, пожалуйста, побольше Володе, а поменьше Ольге. – Хорош! Вот я ей скажу; она к тебе так добра, а ты выбираешь ей поменьше. – Да ето для нее же, мама; она уже довольно полна; а Володя еще худ, то пусть его кушает побольше, а ей уж тяжело..."

Владимир Федорович и Надежда Николаевна объединены общими интеллектуальными интересами и конкретной работой, чего, кстати, как ни странно, совершенно не удается проследить в отношениях Одоевского с женой, роль которой, по единодушным и многократным уверениям свидетелей их жизни, сводилась более к житейски заботливой и попечительной "жене-матери".

Эта пора ознаменована, между прочим, и еще одним важным обстоятельством – вхождением в круг духовного общения, духовных интересов Одоевского и Ланской Михаила Лермонтова.

С молодым автором стихотворения "Смерть поэта" Одоевский к тому времени был знаком достаточно хорошо. Личное их общение началось, по-видимому, за год до этого: зимой 1838 года Лермонтова встречали уже в салоне Одоевского – не говоря о том, что они могли видеться и в других, общих обоим, домах: Карамзиных, Жуковского, М.Ю.Виельгорского. Однако дружеское их сближение началось именно в 1839-м.

Что касается Надежды Николаевны Ланской, то имя ее в окружении Лермонтова до сих пор известно не было – оно называется здесь впервые. Между тем как раз, по-видимому, к первой половине января 1839 года относится ее записка Одоевскому следующего содержания:

"Вот, кузен, Священное писание. Очень прошу в двух словах сообщить новости о тете и возвратить "Демона" Лермонтова, которого я обязана отдать без промедления" [1]. Спустя, очевидно, короткое время она вновь настойчиво повторяет свою просьбу:

"Простите, если я досаждаю вам, дорогой мой кузен, но мне необходимо вернуть Демона сегодня же, если копия с него еще не снята, я отказываюсь, но отдать его я вынуждена" [2].

Обе записки не датированы, но время их написания восстанавливается с достаточной точностью.

Многочисленные, но в большинстве своем искаженные списки "Демона" ходили уже по рукам широко. Один из них и находился в руках Надежды Николаевны, с которого Одоевский, очевидно, и взялся снять для нее копию. Кажется, так же резонно можно предположить, что рукописный экземпляр "Демона", попавший к Ланской, был наиболее исправным – седьмая лермонтовская редакция поэмы, та, по которой и готовил он последнюю, восьмую. Предположение это возникает в связи с той срочностью, с какой понадобилось вдруг вернуть рукопись – скорее всего, самому автору. Объяснялась же спешка тем, что императрица Александра Федоровна высказала желание прочесть "Демона". Читалась лермонтовская поэма при дворе – Василием Алек-

---

[1,2] Подлинники *по-фр.*

сеевичем Перовским – 8 и 9 февраля 1839 года, но до того, готовя рукопись для Высочайшей особы, поэт переделал ее вновь – и окончательно, и правка была произведена им как раз по тексту предыдущей, как мы сказали, седьмой редакции.

То, что записки Ланской Одоевскому связаны именно с описанными обстоятельствами, представляется логичным: в это время Одоевский, общаясь с Лермонтовым еще скорее светски, вполне мог получить рукопись "Демона" не непосредственно от поэта, а через посредников; позже, когда их отношения перешли в дружбу, такое предположение становится мало вероятным.

Между прочим, примерно тогда же, в начале января, В. А. Соллогуб писал Одоевскому: "Императрица просила стихи Лермонтова, которые Вы взяли у меня, чтобы списать, и которые, что более соответствует моему, чем Вашему обычаю, Вы мне не вернули".

Кстати, спустя несколько месяцев разыгрался и другой эпизод, также связанный с Лермонтовым и затрагивавший тех же "действующих лиц": Соллогуба, кружок императрицы, Одоевского. Речь идет о повести Соллогуба "Большой свет", в которой писатель, выполняя будто бы пожелание одной из великих княжен, задетой какой-то дерзостью Лермонтова в маскараде, карикатурно изобразил поэта и его "светское значение" в лице армейского офицера Леонина.

Сюжет этот достаточно широко известен и достаточно подробно изучен, однако и по сей день он вызывает к себе двоякое отношение: условно говоря – pro-соллогубовское и contra. В подобных случаях истина оказывается, как правило, где-то посередине. Не вдаваясь в подробности – не это составляет сейчас предмет нашего интереса, – выскажем лишь осторожное предположение: возникшая неординарная ситуация, возможно, и отразившая до известной степени подспудный и неоднозначный характер отношений ее "участников" и сильно огрубленная толкователями, требует иных оценочных критериев. Именно в этой мысли утверждает и весьма симптоматичное поведение Одоевского, невольно оказавшегося включенным в сомнительную историю.

В мае 1839 года Одоевский получил повесть от Соллогуба как редактор "Отечественных записок" – для помещения ее в журнале, но с просьбой высказать прежде "искренное" свое мнение "о сем новом опыте", поправить слог и приискать приличный случаю эпиграф. Словом, повесть передавалась на полное его "благоусмотрение"; Одоевский же распорядился ею таким образом, что она увидела свет лишь спустя год, хотя Краевский и выпрашивал "Большой свет" у своего соредактора гораздо раньше.

Уже – и, кажется, совершенно справедливо – было отмечено тонкое понимание, с которым отнеслись к столь щекотливому стечению обстоятельств современники из ближайшего обоим – и Соллогубу, и Лермонтову – светского и литературного окружения. Сам поэт презрел даже возможность каких-либо компрометирующих его предположений, сохранив с Соллогубом приятельские отношения; Белинский демонстративнохвалилбеллетристическиедостоинства"Большого

света"; Одоевский же, получив в руки рукопись и редакторскую над ней власть, оказался, как и не раз в иных случаях, "действователем": вероятнее всего, он потребовал от Соллогуба определенных изменений в повести – и настоял на них, оттянув тем самым, сколько возможно, и ее появление: иначе трудно объяснить, отчего "Большой свет", читанный при дворе и получивший одобрение высочайших "заказчиц", был напечатан лишь год спустя – в мартовском номере журнала за 1840 год.

Совершенно очевидно, что не только "пролермонтовская" позиция Одоевского, но и симпатии его, и высокий интерес к поэту определились к этому времени окончательно.

Символично также, что в коротенькой записке Надежды Николаевны нашли место два непроизвольно соединившихся потом "сюжета": первое из известных по ее письмам Одоевскому упоминание о Священном писании и имя Лермонтова. Благодаря этому мы имеем возможность, с одной стороны, с достаточной точностью наблюдать усиление религиозных настроений писателя, столь ярко окрасивших уже за год до этого его исповедальное письмо к Ростопчиной и совпадающих по времени со взлетом "фантастического" творчества, с другой – до конца теперь уяснить себе, отчего именно религиозные споры так лейтмотивно пронизывают всю известную нам историю его общения с Лермонтовым. То, что, по позднейшему признанию Одоевского, споры эти между ними возникали, представляется вполне естественным: автор "Себастияна Баха", влекомый причудливой линией "второй" жизни, развивавшейся почти провиденциально, все более проникался идеями христианского смирения – богоборческие же настроения Лермонтова, только что с такой силой выразившиеся в "Демоне", известны достаточно хорошо, да и сама мятежная, "байроническая" личность поэта являла собой полную противоположность тому мироощущению, в котором пребывал в это время Одоевский.

Нет сомнений, что складывающуюся в его жизни "злополучную" ситуацию Одоевский переживал остро и глубоко – тем острее и глубже, что внутренно уже провидел, предощущал неминуемую развязку, и напряженной, страдающей его душе она рисовалась в образах эсхатологических.

Как раз тогда он задумывает – и реализует свой замысел с несвойственной для него быстротой – самую мистическую свою повесть "Косморама", – быть может, и вообще единственную мистическую повесть в русской литературе в терминологически точном смысле слова. Безусловно и тесно связанная с уже созданными и продолжавшими параллельно создаваться фантастическими повестями, "Косморама", вместе с тем, стоит в их ряду особняком, и право на подобную мысль дает нам сам писатель. Составляя спустя несколько лет собрание своих сочинений и объединив в единый цикл "Домашних разговоров" включенные сюда наиболее значительные, очевидно, с авторской точки зрения фантастические произведения – "Сильфиду" и дилогию "Саламандра", Одоевский не присоединяет к ним "Космораму", вообще в его трехтомнике в итоге не оказавшуюся. Именно – в итоге, так как первоначально

по замыслу писателя она должна была в него войти, но – отдельно, не "циклично", в третий том.

Сохранился договор Одоевского с издателем и книгопродавцем Андреем Ивановичем Ивановым, осуществлявшим издание "Собрания", подписанный 9 сентября 1843 года, – причем интересно, что условия выхода первых двух томов и третьего оговорены здесь отдельно. По поводу же третьего тома, в пункте пятом, сказано:

"Я князь Одоевский обязан уступить 1200 экземпляров третьего тома моих сочинений, содержащего в себе: Записки Гробовщика и Космораму за пятьсот семьдесят один рубль сорок две копейки шесть седьмых серебром, если г. Иванов впоследствии то пожелает, если же он не изъявит на то свое согласие то волен я оным располагать по моему произволению".

Рукопись подготовленных томов – во всяком случае, первого – тотчас же была отдана в цензуру – 20 сентября цензор А.Никитенко дал уже разрешение на печатание.

Однако выход "Сочинений" очень задержался – в продажу они поступили лишь в августе 1844 года. Во многих экземплярах первого тома была печатная вклейка: "Сим трем томам надлежало выйдти еще в начале сего 1844-го года. Говорить ли о том, что причиною этого замедления был отнюдь не издатель, Андрей Иванович Иванов, известный своею деятельностию и распорядительностию, – а сам автор? – Хотя ни тот, ни другой не объявляли никакой подписки на это издание и следственно не обязывались ни перед кем о выходе его к определенному сроку, но тем не менее, желая оправдать в глазах читателей моего совестливого и добросовестного издателя, я долгом почитаю здесь сказать для тех, кого это может интересовать, что причиною замедления были: поправки, перемены и дополнения в книге, а всего более моя неожиданная болезнь и затем продолжительное нездоровье. Князь В. Одоевский".

Среди "поправок и изменений" самые существенные касаются, бесспорно, содержания третьего тома, в окончательном своем виде совершенно переменившегося. Причины этой перемены нам неизвестны.

"Космораму" Одоевский задумывает, очевидно, именно в 1839 году (более ранних ее "следов" не прослеживается) и в основном завершает за летние месяцы, проведенные в Ораниенбауме, хотя конец ее, кажется, переделывался или дописывался заново уже в процессе корректуры.

Черновиков повести – если не считать нескольких незначительных отрывков – в бумагах писателя нет. Тем интереснее ранний набросок, отражающий первоначальную идею "Космормы", сохраненную и в окончательном тексте, – правда, очень подспудно, в сильно трансформированном и усложненном виде. В нем писатель возвращается к сюжетной коллизии "Цецилии":

"В Космор.<аме> представить олицетворенные борения, которые испытывает отшельник, так что для него есть поле для самопожертвования, для гордости, для глупости и проч. т.п."

Между прочим, вряд ли можно считать простым совпадением или случайностью тот факт, что как раз в это время завершал работу над "Мцыри" – поэмой о восставшем на Бога и судьбу послушнике – и Лермонтов: на одной из ее рукописей значится дата: "1839 г. Август 5".

Но Одоевский от этого увлекшего его было вновь сюжета отказывается, и история "Косморамы" развивается совершенно по-иному, но, тем не менее, ее событийный ряд все же вбирает в себя положения и ситуации, однажды писателем уже "проигранные".

"Косморама" посвящена Е. П. Ростопчиной, и по внешним признакам ее можно бы счесть своеобразным продолжением "Писем" к просвещенной графине, писавшихся как раз в это время, ибо она касается тех же, отраженных в них, "мистических" тем. Однако и философское звучание нового произведения, и глубоко скрытые в нем личностные мотивы далеко выходят за пределы научных, эпически спокойных и назидательных объяснений "сверхъестественного", составивших содержание "Писем к Ростопчиной". Несомненная автобиографическая "печать", ложащаяся на страницы мистического повествования, придает ему совершенно особый смысл.

Прежде всего, Одоевский вновь, как и в исполненной жизненных реалий "Кате, или истории воспитанницы", награждает героя и собственным именем, и собственной ранней биографией, прибегая к открытому приему исполненного ностальгической грусти автобиографического рассказа. Как на молитву или за благословением, он возвращает Владимира, давно уже петербуржца и взрослого человека, в Москву, в места, видно, свято хранившиеся в памяти писателя. Владимир приезжает сюда после долгого перерыва, после многих пережитых мытарств и забредает в столь дорогие самому Одоевскому – по воспоминаниям еще не сиротской, безмятежной, "приотцовской" жизни – окрестности Трубы. Герой его бродит по Петровскому бульвару и вокруг Рождественского монастыря, случайно натыкаясь в одном из близлежащих переулков на дом полузабытой и дальней по родству тетушки. Именно здесь, в ауре золотого, невинного своего детства, он встречает странную девушку – воспитанницу тетушки Софью, сыгравшую в его дальнейшей, почти неправдоподобной судьбе роль пророчицы, роль жрицы высшей Истины или голоса самого Провидения.

Но это не все. Сюжетная линия "Косморамы" выстраивается опять же на открытых репликах из двух "светских" повестей, отразивших перипетии жизненной коллизии писателя, связанной с Надеждой Николаевной Ланской – "Княжны Мими" и "Княжны Зизи". Одоевский вновь обращается к ситуации "треугольника". Он заимствует из первой повести и самое имя героини, с которой у Владимира завязывается роман, и ее семейные обстоятельства: муж графини Элизы из "Косморамы" так же стар – как, впрочем, стар и постыл и муж второй героини "Мими" – графини Лидии Рифейской: Одоевский как бы объединяет оба найденных ранее характера в образе новой героини.

Что касается "Княжны Зизи", то, кроме мотива "преступной" любви, в "Космораме" должен был прозвучать и другой явственный

ее отголосок: Софья в одном из фрагментов, практически идентичных печатному тексту, названа Пашей – именем племянницы Зизи и ее воспитанницы, невинной малютки, одним своим присутствием не однажды спасавшей смятенную княжну от преступления запретной черты. Замена этого имени в "Космораме" произошла на самом последнем этапе работы, но связана она, несомненно, с более широким философским и концептуальным заданием, о чем речь впереди.

Вместе с тем со страниц "Косморамы" вновь звучит и нравственная проблематика "светских" повестей: "преступная" любовь – помыслы о "преступном", ценой человеческой жизни, счастье – возмездие. Именно так и развивается внешняя сюжетная канва нового произведения: в минуту тайного свидания и решительных объяснений влюбленных, исполненных мучительной борьбы между прорвавшейся страстью и чувством чести и долга, когда в Элизе, как и в Лидии Рифейской, готово было возобладать уже последнее, приходит известие о смертельной болезни графа, и в этом искусительном всполохе мгновенного соблазна в душах влюбленных ядовито расцветает преступная надежда на возможное скорое избавление Элизы от тяжких семейных пут, от тиранической и злой власти мужа и – как награда за прошлые страдания – желанное счастье с любимым. Однако Элиза, как и Лидия, полна решимости прежде исполнить свой долг; она спешит к постели умирающего, внезапно занемогшего на одной из почтовых станций близ Москвы. Владимир торопится вслед за ней и застает радостное для него известие о смерти графа; влюбленные, едва сдерживая под маской траура и приличий свое счастье, строят уже планы совместной будущей жизни, – но в те самые минуты, минуты радужных и близких надежд их настигает зловещая, дьявольская кара: явившись вначале злосчастным любовникам в вещем сне, разрушившем их лучезарные видения, граф восстает из мертвых и возвращается в бренный мир, чтобы "нарушить счастье живых".

Событиями в "Космораме" управляют инфернальные силы.

Еще в раннем детстве Владимир получил однажды в подарок от доктора Бина, друга семьи его тетушки, у которой он, сирота, воспитывался, детскую игрушку – космораму, сыгравшую в его жизни необъяснимую, роковую роль. Загадочный доктор, обладающий мистической способностью существования не только в реальном мире, но и в инобытии, вместе с косморамой передает невольно Владимиру – как это случилось и с Эльсой в "Саламандре" – свой пагубный дар, посвящает ребенка в "таинство". Отныне Владимиру дарована мучительная способность провидеть в космораме грядущую свою судьбу и жизнь близких, с которыми он связан таинственными узами, способность жить "двойной" жизнью и постигать иные миры. "...Ты в своем детстве случайно прикоснулся к очарованным знакам, начертанным сильною рукою на магическом стекле, – говорит ему доктор Бин. – С той минуты я невольно передал тебе чудную, счастливую и вместе бедственную способность; с той минуты в твоей душе растворилась дверь, которая всегда будет открываться для тебя неожиданно, против твоей воли, по законам, мне и здесь непостижимым. Злополучный счастливец! ты – ты

можешь все видеть, – все, без покрышки, без звездной пелены, которая для меня самого *там* непроницаема <...> Но не радуйся: если бы ты знал, как я скорблю над роковым моим даром, над ослепившею меня гордостию человека; я не подозревал, безрассудный, что чудная дверь в тебе раскрылась равно для благого и злого, для блаженства и гибели... и, повторяю, уже никогда не затворится. Береги себя, сын мой, – береги меня... За каждое твое действие, за каждую мысль, за каждое чувство я отвечаю наравне с тобою. Посвященный! сохрани себя от рокового закона, которому подвергается звездная мудрость! Не умертви твоего посвятителя!"

Здесь, вслед за "Орлахской крестьянкой", вновь звучит и мистическая идея кармы, символизируемая на этот раз таинственной косморамой. Однако Владимир наделен еще и особым свойством физиологического порядка – предрасположенностью к пророческим снам и предчувствиям, проявляющейся в периоды наивысшего нервного напряжения. Один из знакомых даже уверяет его, что благодаря подобной "организации" в руках магнетизера он сделался бы "ясновидящим". Да и сам Владимир склонен объяснять тайну своего "психического состояния" магнетизмом – «нечто подобное очень известному в Шотландии так называемому „второму зрению"». Именно поэтому и способен он обнять вдруг разом прошедшее, настоящее и будущее, и это открывает ему непрерывность цепи человеческих деяний: "Я видал, как минутное побуждение моего собственного сердца получало свое начало в делах людей, существовавших до меня за несколько столетий <…> Я понял, как важна каждая мысль, каждое слово человека, как далеко простирается их влияние, какая тяжкая ответственность ложится за них на душу, и какое зло для всего человечества может возникнуть из сердца одного человека..."

Те же мысли, тот же смысл вкладывает Одоевский и в образ Софьи, сопутствующей герою во всех трагических поворотах его судьбы. Подобно Энхен Громбах, она в свои семнадцать лет была "слишком ребенок, почти младенец" и поражала суждениями "до невероятности детскими". Немка, воспитавшая девушку, выучила ее простым житейским вещам: стряпать, шить, вязать, ходить за больными. Образованность же в общепринятом смысле осталась ей чужда – совершенно равнодушная к книгам, она не слыхала даже имен Гете, Шиллера или Шекспира, как простодушно не ведала о том, что была когда-то французская революция. Зато со всей серьезностью относилась она к простым, почти прописным истинам, первоначальный смысл и значение которых стерлись в сознании современного человека. Владимир, размышляя об этом непостижимо сформировавшемся в столь просвещенный век существе, приходит к мысли о том, что простые сентенции Софьи "в движениях сильных, положительных мыслей нашего века <…> были забыты и казались новыми, как готическая мебель в наших гостиных". Он находит Софью "странной". Однако в ее немудреных, казалось бы, представлениях о жизни обретает герой "Косморамы" внутреннее равновесие и постигает высший смысл бытия; недаром наивные и странные сло-

ва Софьи (мудрость!) становятся для Владимира почти пророческими. Не обладая, в отличие от Энхен, даром "второго зрения", Софья, тем не менее, инстинктуально постигает то, что было дано крестьянке из Орлаха, ибо и ей присущ тот "внутренний голос", благодаря которому пусть неосознанно, но остро ощущает она связь времен, явлений, судеб. "Не шутите так, берегитесь слов, – говорит она Владимиру, – ни одно наше слово не теряется; мы иногда не знаем, что мы говорим нашими словами". На вопрос собеседника, откуда у нее такие мысли, она отвечает: "Я не знаю... иногда что-то внутри меня говорит во мне, я прислушиваюсь и говорю, не думая – и часто, что я говорю, мне самой непонятно".

В "Косммораме", как и в других фантастических повестях, способность человека пребывать в двух ипостасях – мистической и рациональной – Одоевский разрабатывает на двух уровнях, и здесь их мистическое раздвоение так же ярко и необъяснимо: столь разно мыслят и действуют герои повести в мире реальном и ирреальном, столь сложны и непостижимы оказываются глубины души человека, проявляющиеся в состоянии бессознательном, "сомнамбулическом", что доктор Бин, предстающий Владимиру в космораме в совершенно ином качестве, нежели в реальной жизни, предупреждает его: "У вас должен казаться сумасшедшим тот, кто в вашем мире говорит языком нашего". Ту же мысль, но формулируя ее в ином ключе, повторяет и знакомый Владимира – "рационалист", считающий его "ясновидящим". "Рационалист" полагает, что этот род "нервической болезни" "доводит до сумасшествия".

Однако таинственный огонь, вспыхнувший на страницах "Саламандры" и мстительно испепеливший его героев, перекидывается и в "Космораму", но уже мистически-зловещим, всепожирающим пламенем.

После чудесного воскрешения графа, мнимая смерть которого оказалась лишь, по уверениям доктора Бина, невиданным еще в медицинской практике родом глубокого обморока, семейная жизнь его с Элизой вступает в свои прежние права, и связь ее с Владимиром прерывается. Однако накануне своего "воскрешения", явившись жене в пророческом сне, граф, также причастный внеземным, но злым и губительным силам, ибо сам является носителем зла, предупреждает ее о неминуемой и дорогой цене измены, чреватой не только их гибелью, но и гибелью их детей.

Спустя несколько месяцев после истории, разыгравшейся на почтовой станции, и нервической болезни, сразившей Владимира, он вновь встречается как-то в театре с Элизой и ее мужем, светские их отношения возобновляются, любовь вспыхивает с новой силой. И хотя во время своего невольного затворничества, когда вновь и вновь отворялась перед ним его "таинственная дверь", Владимир узнал устрашающие подробности о подлинной сущности графа, о злобной и мстительной его натуре, о совершенных им страшных преступлениях равно как в мире реальном, так и в инобытии, узнал, наконец, что связан и с ним, и с насильственно причастной его злодеяниям Элизой незримыми, но нерасторжимыми узами, восходящими к прошлым поколениям его

близких (мистический отголосок темы родственного "треугольника" из "Княжны Зизи"!), в реальной жизни он роковым своим знанием пренебрегает.

Наконец, в канун Нового года, когда граф, уповая на особую удачу, отправляется играть в карты, Элиза, также презрев сновидческие грозные предостережения, назначает Владимиру тайное свидание. В разгар его рядом с ними вдруг возникает граф, застающий любовников в объятиях, цепкие его пальцы магической силой намертво сжимают их сплетенные руки, лицо его багровеет, глаза пронзают несчастных огненным кровавым лучом, загорается мебель, синеватое пламя бежит по телу самого "мертвеца", губы его в последний раз кривятся в мстительной, коварной улыбке – и дьявольское, неостановимое пламя беспощадно пожирает вместе с ним Элизу, их детей, дом – все дотла...

Владимира же из этой оргии огня спасает явившееся ему видение Софьи, увлекающее его за собой, усмиряющее на пути его огненное безумие.

Вновь оказавшись на краю гибели и снова вернувшись к жизни, Владимир, теряющийся в догадках, привиделось ли ему все это во сне или наяву, узнает, однако, что граф со всем своим семейством и в самом деле погиб в канун Нового года в невиданном пожаре, что вскоре затем от внезапной и необъяснимой болезни, покрывшей исстрадавшееся тело язвами, похожими на ожоги, скончалась Софья, да и на руке самого Владимира навсегда запечатлелось темное пятно – в том месте, где сошлись цепкие пальцы графа... Доктор Бин передает Владимиру обращенную к нему предсмертную записку Софьи, в которой значится: "Высшая любовь страдать за другого <…> Все свершилось! жертва принесена! не жалей обо мне – я счастлива! Твой путь еще долог, и его конец от тебя не зависит. Вспомни слова мои: чистое сердце – высшее благо; ищи его".

С той поры таинственная дверь в иные миры остается для Владимира мучительно и навсегда открытой. Но все живое в этом мире бежит его, несчастья и беды следуют одно за другим.

"Скоро ль, долго ль пройдет мое испытание – кто знает! Иногда, когда слезы чистого, горячего раскаяния льются из глаз моих, когда, откинув гордость, я со смирением сознаю все безобразие моего сердца, – видение исчезает, я успокаиваюсь – но недолго! Роковая дверь отворена: я, жилец здешнего мира, принадлежу к другому, я поневоле там действователь, я там – ужасно сказать, – я там орудие казни!"

Так кончается эта странная, исполненная мистического отчаяния повесть.

Остается только догадываться, какие бури бушевали в истерзанной предчувствиями душе ее создателя уже тогда, когда его пожар, казалось, можно было еще предотвратить...

В высшей степени интересно, что философский и религиозный мистицизм, возобладавший в "Космораме", затмил реальную, психологически жизненную ее основу даже для взоров самой Ланской.

"Сегодня день мой начался с 5-ти часов утра и начался тобою, –

писала она Одоевскому в Гельсингфорс. – Читала твою Космораму. – Если ты спросишь, нравится ли мне она? Я скажу тебе: вероятно. – Если бы я могла понять ее, то, конечно она бы мне очень нравилась, но надо быть г. Ростопчиной, чтобы вполне понять ето, вполне можно сказать, что повесть достойна той, для которой она создана!" [1]

Трудно понять, то ли Надежда Николаевна и в самом деле не постигала всю меру тщательно скрываемых, очевидно, от нее страданий князя, то ли явно проступающая в ее колких словах ревность к Ростопчиной пробудила в ней перекрывшее все чувство немедленной ответной женской мести. Вряд ли для Ланской составляли секрет более чем дружеские отношения Одоевского с графиней, – как, впрочем, и то, что, по уверениям Ростопчиной, именно она и "властвовала" в это время над "вдохновением" своего "мистического" корреспондента.

"Олицетворенные борения", религиозные мотивы приобретают для Одоевского особый интерес и сокровенный смысл. За год до этого, воскресив излюбленную некогда форму аполога, окрашенную теперь, однако, в иные тона, он пишет лирическое, пронизанное невыразимой грустью и религиозно-философским настроением "перотское мистическое предание" "Душа женщины": пред отлетевшей душой женщины, чистой и непорочной, перед "святой" ее душой, сопровождаемой ангелами в рай, райские врата закрываются из-за одного лишь ее, забытого, но тяжкого греха: "гордости смирения".

Спустя год после "Косморамы" писатель создает рассказ "Необойденный дом", в основу которого ложится религиозная народная легенда о великом грешнике и праведнице, пронизанная идеей христианского всепрощения.

...Одоевский возвращается из Ораниенбаума с готовой, или почти готовой, рукописью (в печати под ней появляется помета: "Ораниенбаум, 1839"). Неудивительно, что подобными настроениями окрашены и его разговоры с Лермонтовым этой поры. Теперь, между прочим, получает и свое естественное объяснение как содержание единственной дошедшей до нас записки Одоевского поэту, так и дар, который она сопровождала. В августе, заехав как-то к нему и не застав дома, Одоевский оставляет, как можно догадаться, свой экземпляр Библии и несколько слов: "Ты узнаешь кто привез тебе ети две вещи – одно прекрасное и редкое издание мое любимое – читай Его. О другом напиши, что почувствуешь прочитавши..." Узнать "почерк" анонимного посетителя для поэта, конечно, не составило труда.

Новый, 1840 год Лермонтов встречает у Одоевского. 14 января, накануне выхода первого номера "Отечественных записок", в котором печаталась "Косморама", Одоевский читает ее на вечере у Карамзиных, в узком кругу: кроме хозяев – лишь Вяземский, Жуковский, Александр Тургенев и Лермонтов. "Прения с Вяз<емским> и Жук<овским> за высшие начала психологии и религии", – записывает свои впечатления о спорах, вызванных "мистической повестью", Тургенев, выражая, одна-

[1] Заключительная часть последней фразы написана *по-фр.*

ко, сомнения по поводу ее художественной формы, явно отклонявшейся от пушкинских принципов "фантастического" повествования и, по его мнению, "не приличной предмету": в "сказке", как считал он, вряд ли можно представить "тайны магнетизма и seconde-vue".

Спустя полтора месяца Лермонтов стреляется на дуэли с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, и Одоевский, взволнованный его судьбой, узнает подробности о грозящем другу наказании вновь через Надежду Николаевну Ланскую, которая сообщает ему о самом первом решении относительно предполагавшегося приговора – гораздо более сурового, чем тот, о котором нам известно; о нем мы вообще узнаем с ее слов впервые. Между тем факты, которыми располагала Ланская, бесспорно заслуживают абсолютного доверия: они наверняка были ей переданы Александром Полетикой, первым ее мужем, назначенным презусом комиссии военного суда, учрежденного в связи с этой скандальной дуэлью. Очевидно, сразу по завершении работы комиссии – это произошло 5-го апреля – она писала Владимиру Федоровичу:

"Сожалею, дорогой друг, что не могу сообщить Вам о Лермонтове чего-либо более приятного, чем то, что мне только что передали: дело его закончено, он приговорен к двум годам каземата и потом к переводу в армию тем же чином, без выслуги; (а так, как ето случается с ним уже второй раз, то по закону, он в гвардии никогда больше быть не может). Однако мера эта может быть еще смягчена, поскольку на приговоре нет подписи Императора, и возможно, Государю еще угодно будет как-то облегчить его участь..."[1]

Сведения, содержащиеся в этой записке, необыкновенно ценны: написанная, очевидно, до официального оглашения приговора суда, она отражает один из обсуждавшихся вариантов обвинительного вердикта: в окончательном своем виде, как известно, он определял лишение Лермонтова чинов и прав состояния и три месяца содержания в каземате в крепости, после чего поэта предписывалось выписать в один из армейских полков тем же чином. И лишь резолюция Николая I на докладе генерал-аудитора, сомнительно "смягчавшая" приговор, определила окончательную меру: немедленный перевод Лермонтова на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк, действовавший, между прочим, на "опаснейшем и отдаленнейшем" участке театра военных действий. Свидетельство Ланской, сообщенное ею Одоевскому, лишний раз подтверждает, что в решении судьбы поэта действовал довольно сложный и неоднозначный по своим мотивам расчет – в том числе и политический, однако интересно, что "закулисные" пружины, довольно подробно уже описанные, приводились, оказывается, в движение разными противоборствующими силами буквально до самого последнего момента.

В первых числах мая Лермонтов отбывает из Петербурга на Кавказ – туда, где менее года назад кончил свою короткую жизнь, сойдя

---

[1] Подлинник *по-фр.;* фраза: "...и потом к переводу... быть не может" – написана *по-русски.*

в безвестную могилу, другой разжалованный и сосланный офицер – Александр Одоевский. Для Владимира же Федоровича наступает пора, быть может, самая счастливая, но и самая мучительная. К лету 1840-го ситуация "треугольника" вступает, кажется, в полные свои канонические и лицемерные права, и это "больное", обреченное счастье не могло не доставлять автору "Косморамы" нравственных терзаний. Скорее всего, именно тогда была написана, например, записка Ланской, в которой она назначает князю свидание:

"Как только Вы закончите работу, спускайтесь и ждите меня до 11 часов". Подпись: "Незнакомка".

В июне Одоевские уезжают на летние вакации князя в Гельсингфорс, и письма, которые шлет ему туда Надежда Николаевна, в полной мере обнаруживают характер "двойной игры", коварно завладевшей к этому времени, конечно, обоими: Ланская ведет ее со всеми преимуществами довольно обычной в подобных случаях женской цинической ловкости, Одоевский, все более теряющий власть над своими чувствами, – добровольным и уже безоглядным соучастием.

Н. Н. Ланская – В. Ф. Одоевскому
<Вторая половина июня 1840 г.>

...Теперь о нашей работе: я приблизилась к концу Нового Завета и потом займусь переборкою всего, что ты мне послал; постараюсь всеми силами, чтобы от того была какая-нибудь польза, но не смею и надеяться, ибо без тебя не пойму ничего; притом, еще буду бояться перепутать и наделать тебе лишних хлопот.

Прощай, моя душа! Все наши тебя помнят, не забывай и ты нас. – Обнимаю Ольгу; никогда перемена погоды не радовала меня так, как теперь, мыслию, что вы в дороге, не мокнете на дожде, не тонете в грязи и можете пользоваться ваннами и водами при ясном солнце и в теплом воздухе. Дай Бог, чтобы для вас всегда и везде было ясное солнце!

Еще обнимаю вас обоих, желая вам от души доброго здоровья и всевозможного веселья в Гельзингфорсе.

Ваша преданная
Н. Ланская

Да! Я тебе обязана была на-днях истинно душевным удовольствием, читая твоего Живописца. – Прощай. Лошади пришли.

4-е Четверг <июля 1840>

Сегодня не пишу к тебе потому, что сегодня не люблю тебя.

5-е пятница <июля 1840>

...Я приехала сюда в надежде получить здесь новости о тебе, Владимир; нашла здесь письмо, но не то, которого ожидала. Если это леность, дорогой друг, то она непростительна, потому что заставляет меня беспокоиться о тебе. Молю Бога, чтобы беспокойство было безосновательным

<…> Прощай, будь здоров, купайся и веселись в своем Гельзингфорсе! – Прощай, еду по разным мытарствам. – Петр вам кланяется [1].

К осени тайное становится, очевидно, явным: наступает кризис и в семейных отношениях князя.

Остается не только удивляться, но и восхищаться тем поистине аристократическим достоинством, с каким сумели оградить от посторонних глаз происходящее все участники разыгрывавшейся драмы: "недопустимые чувства" даже при сопровождавшем их накале ни разу никем из "действующих лиц" этой тяжкой ситуации не были выплеснуты наружу, никто, даже близкие, не подозревали о ней: княжеская чета оставалась для друзей и света примером редкого согласия и любви.

Между тем в начале октября 1840 года Одоевский, живя со своей женой под одной крышей, пишет ей письмо, содержание которого и нервозное его косноязычие оказываются красноречивее всяких догадок.

Одоевский – Ольге Степановне

Считая, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на страдания, что к тому же служебный долг и общественное положение налагают на нас обязательства, для выполнения которых необходимо спокойствие днем и покой по ночам, что кроме того, домашние ссоры – от состояния внутреннего напряжения до шумных сцен – способны в определенном возрасте лишь наложить на нас неизгладимую печать смехотворности, я дал себе честное слово, что если еще хоть раз мои усилия прекратить подобные сцены окажутся бесплодны, и моя жена позволит еще себе предаваться навязчивой идее, заставляющей ее полночи бегать по дому босиком в одной рубашке и будить всех людей и даже соседей своим криком и проклятиями, мешая мне работать днем и отдыхать ночью после дневных трудов – я повторяю, я дал себе честное слово, уверенный, что справедлив в своих требованиях иметь домашний покой, уйти из дома в течение 24-х часов после подобной сцены, оставив мою жену полной хозяйкой дома, и переехать куда бы то ни было, где я смогу спокойно отдаваться занятиям, которые диктует мне мое общественное положение, преодолев непростительную слабость, до настоящего времени заставлявшую меня жертвовать долгом мономании моей жены и лишь усугубляющую мою мягкотелость. Однажды уйдя из дома, я уже никогда не вернусь. 5 октября 1840. СПб.

Кн. В. Одоевский[2].

...8 февраля 1841 года в Петербурге вновь появляется Лермонтов, получивший Высочайшее позволение на двухмесячный отпуск. Первый же свой вечер в столице он проводит у Одоевских.

Сведения, которыми мы располагаем об общении их в этот последний лермонтовский приезд, более чем скупы. Тем не менее известно,

---

1 Подлинник *по-фр.;* заключительные фразы – *по-русски.*

2 Подлинник *по-фр.*

что Одоевский был в числе тех немногих, с кем поэт чаще всего проводил время, – в кругу Карамзиных, Ростопчиной, А. О. Смирновой-Россет.

Между прочим, в феврале Краевский – человек, очень близкий в эту пору Лермонтову и бесконечно ему преданный, – заказывает портрет поэта молодому талантливому живописцу из крепостных К. А. Горбунову, недавно появившемуся в Петербурге и благодаря усиленному покровительству и хлопотам Жуковского, К. П. Брюллова, Одоевского получившему вольную. Тем же 1841 годом помечен и выполненный им акварельный портрет Надежды Николаевны Ланской. Судя по тому, что до нас он дошел в связке ее писем, сохраненных писателем, можно резонно предположить в Одоевском и заказчика, пожелавшего запечатлеть на память облик любимой женщины. Более того, не обошлось здесь, кажется, и без его подсказки: акварель Горбунова повторяет основную композицию "Святой Цецилии" Карло Дольчи – то же расположение фигуры, та же поза портретируемой, сидящей в креслах, с легким поворотом головы на зрителя, да и в самом абрисе, ясных чертах лица, даже в прическе с выбившимся локоном направляемая кисть художника будто старалась уловить сходство с Цецилией, как это случилось уже однажды с героем "Кати, или истории воспитанницы", нареченным, между прочим, как и герой "Косморамы", Владимиром, когда, копируя Карло-Дольчиеву Цецилию, он стремился угадать в ней образ своей возлюбленной, "тихую гармонию" ее души.

В апреле Лермонтов покидает Петербург в последний раз. Перед отъездом он дарит Одоевскому один из лучших своих кавказских пейзажей – "Вид Крестовой горы", Одоевский же ему – свою записную книжку с надписью: "Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. Кн. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е С.Пбург". Мрачные предчувствия Лермонтова были, конечно, другу его известны – так же, как, наверное, и предсказание гадалки, напророчившей поэту смерть. Особенно сблизившаяся с Лермонтовым в эту последнюю его "петербургскую" пору Ростопчина вспоминала потом, что на прощальном ужине он "только и говорил об ожидавшей его скорой смерти".

В устах провиденциально настроенного Одоевского слова: "...чтобы он возвратил мне ее сам..." – означали заклинание роковой судьбы. Впрочем, и сам подарок был подобен талисману. Напутственно звучали и вписанные им в книжечку изречения Евангельской мудрости:

Иоанн. И мир преходит, и похоть его; а творяй волю Божию пребывает вовеки. – Аще зазирает нам сердце наше, кольми паче Бог, яко болий есть Бог сердца нашего и весть вся. – Сие есть дерзновение, еже имамы к Сыну Божиему, яко аще чесо просим по воли Его, послушает нас.

Павел. Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас? – Держитеся любове, ревнуйте же к дарам духовным, да пророчествуете.

Любовь же николи отпадает; аще и пророчествия упразднятся, аще и языцы умолкнут, аще и разум испразднится.

Сеется Тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и тело духовное.

Тако и писано есть: первый человек Адам бысть в душу живущую, последний Адам есть дух животворящий.

Не слышите ли гласа глаголющего: непрестанно молитеся!

Быть может, пронзительные и умиротворяющие, вечные эти слова Одоевский недавно читал и толковал вместе с Надеждой Николаевной Ланской...

Заклинания не спасли. Евдокия Петровна Ростопчина, откликнувшаяся на гибель поэта горькими стихами, обнаружила позже фатальную закономерность:

"Странное сближение: – записала она в 1852 году в своем альбоме, – в течение 12 лет сосланный Одоевский пишет на смерть умерщвленного Грибоедова, – потом сам умирает, и воспет Лермонтовым; через два года Лермонтов погибает, застреленный Мартыновым на дуэли, в Пятигорске, на Кавказе, – и на смерть его стихи писаны графинею Ростопчиною, как будто для того, чтобы женскою рукою заключить ряд этих жертв насильственной смерти!.."

Страницы записной книжки князя оказались последними, заполненными лермонтовской рукой, – прощальные отголоски их разговоров. Спустя шестнадцать лет Одоевский, которому прощальный его подарок поэту был возвращен, рядом с записанными некогда евангельскими речениями сделал помету: "Эти выписки имели отношение к религиозным спорам, которые часто подымались между Лермонтовым и мною".

Среди внесенных в книжку поэтических шедевров находился также и черновой набросок к "Штоссу" – так и оставшейся неоконченной повести Лермонтова, "отрывок" которой был читан им еще в марте в узком дружеском кругу, включавшем, вероятнее всего, и прошлогодних слушателей "Косморамы". Теперь, на страницах записной книжки Одоевского, он звучал последней и наиболее отчетливо выговоренной полемической репликой, как бы высвечивая с особой ясностью и силой весь круг тем – не только религиозно-философских, но и литературных – так тесно соединивших этих двух, столь непохожих, людей.

Как уже было не только замечено, но и подробно проанализировано, "Штосс" отразил все грани их творческого взаимодействия – и притяжения, и отталкивания. Проблематика незавершенной повести Лермонтова вобрала в себя и общность их "физиопсихических" интересов, того пристального – и теоретического, и художнического внимания к "сверхъестественному", "сверхчувственному", которое сблизило Лермонтова, Одоевского и Ростопчину: выверенная проза "Штосса" отразила даже прямые реплики из "Писем" Одоевского к Ростопчиной. Вместе с тем "Штосс" был писан в легкой, пушкинской "фантастической" манере и следовал пушкинским эстетическим принципам "страшного" рассказа, резко отличным от творческой практики его "фантастического" друга.

Оставшись последним отголоском петербургской жизни поэта, повесть эта навсегда запечатлела и "живые разговоры" – сердечную,

но интеллектуально-напряженную атмосферу позднего и действительно к этому времени заметно сузившегося пушкинского круга.

...Тем временем отношения Одоевского и Надежды Николаевны развивались, кажется, стремительно – судя по всему, влюбленные закинули уже шапку за плетень.

Арапова, передавая воспоминания родных, назвала семейную жизнь Ланских "довольно бурной". Замечание, дополнительно кое-что объясняющее, однако неизвестно, было ли это причиной или следствием возникшего романа.

Так или иначе, но раскрепощенное, не сдерживаемое более чувство победно понесло их по своим волнам, то вознося на гребень, то ввергая в пучину размолвок – напряженных и страстных.

Н. Н. Ланская – В. Ф. Одоевскому

Спасибо, дорогое дитя, за твое милое намерение, спасибо, но не нужно приходить сегодня. Нужно поступить так, как говорит мама. Ты хороший мальчик, и следует быть таким всегда; кроме того, так ветрено, что ты можешь простудиться, и тогда нельзя будет ни гулять, ни есть лакомства, а доктор даст лекарства – такие невкусные, такие горькие...

Будь умницей сегодня вечером, веди себя хорошо, отвечай, когда с тобой разговаривают, чтобы у тебя не было недовольного вида и чтобы мама всегда была довольна, когда о тебе говорят. Когда я смогу навестить тебя, я принесу тебе конфетку, и если мама будет довольна тобой, ты ее съешь <…> Доброго вечера, мое золотце – как я тебя люблю. Обними за меня маму, и скажи ей, что завтра я здесь последний день, т.к. Полю нужно ехать в Петергоф, и я воспользуюсь случаем провести пятницу на даче.

Прощайте, дорогие друзья. До свидания [1].

Я узнаю тебя вновь, дорогой Владимир, это именно ты, с твоей ангельской добротой, с твоей снисходительностью истинного христианина. Нет, я вновь буду возвращаться к моей вине, я буду часто к ней возвращаться, и не для того, чтоб ты простил меня. Но как мог ты принять мое теперешнее уныние за желание отделаться от твоих упреков? Неужели ты думаешь, что я боюсь осуждения тех, кого я считаю своими лучшими друзьями? Нет, Владимир, если бы ты меня бранил, если бы сказал мне: "Я сержусь на тебя, не позволю тебе больше видеться со мною" я приняла бы это наказание и подчинилась бы ему. Я сказала бы себе: "В один прекрасный день это должно было кончиться". Но когда существо, которое я обожаю, говорит мне: "Я больше не люблю тебя", когда я вспоминаю, что это самое существо сказало мне: "Я с трудом привыкаю, с трудом отвыкаю, но я никогда не возвращаюсь", когда я все это знаю, и когда ты говоришь: "Я не люблю больше тебя – или вас", – когда я все это знаю, откуда черпать мне необходимое

[1] Подлинник *по-фр.*

мужество?..И ты воображаешь, что я боюсь чьих-то мнений и чьих-то проповедей <…>

Не приходи сегодня вечером, Владимир. Как только я отошлю тебе эти строки, я отправлюсь к своему кузену <…> который умирает. Он был мне добрым другом! По-видимому, в моих бороздах в этом году немало отложилось. Доброй ночи, мой дорогой, добрый друг. Поль целует тебя так же, как и дети.

Ты мне ни слова не пишешь о своем кашле, Владимир. Завтра мы с нетерпением будем ждать тебя вечером. Не правда ли? Обнимаю тебя так же, как и Ольгу.

Надин[1].

В середине лета 1841 года в Петербурге появляется новый неаполитанский посланник граф Луиджи Грифео. Он сменил на этом посту недавно скончавшегося князя ди Бутера, который был женат на петербургской красавице, урожденной княжне Варваре Петровне Шаховской, прожил в русской столице шесть лет и коротко вошел в здешнее общество. Очевидно, благодаря рекомендациям быстро осваивается в Петербурге и его преемник. Не исключено, что в дом Одоевских ввела его княгиня ди Бутера – она владела обширной дачей в Парголове, близ дачи Одоевских, и общение их было особенно тесным. Во всяком случае, новое итальянское имя очень скоро и часто начинает мелькать в записочках, которыми постоянно обменивались Одоевские и Ланские, условливаясь об общих делах, раутах, концертах и прочее.

Появление Грифео оказывается для Одоевского роковым: оно непредвиденно и круто меняет его отношения с Надеждой Николаевной.

...Этот финал Одоевский напророчил себе в "Себастияне Бахе": тридцатисемилетняя Ланская, мать двоих детей, старшая годами, влюбляется в молодого итальянца и безоглядно кидается в водоворот новой – уже не "интеллектуальной" и действительно "преступной" – страсти.

Подробности нам неизвестны – да в них и нет необходимости – письма Надежды Николаевны этой поры, обращенные к предмету прежней своей и не вполне изжитой еще любви, расскажут о происходившем более всех других свидетельств.

Н. Н. Ланская – В. Ф. Одоевскому

...Ты, который собираешь сказочки для своих приемышей, хочешь ли ету? [2] ... Если она и не хороша, то по крайней мере коротка, ето уже достоинство.

Прощай, обнимаю тебя, когда-то мы с тобою встретимся и узнаем ли друг друга?.. Будьте здоровы оба.

Надежда Л.

---

[1] Подлинник *по-фр.*

[2] В конце 1838 г. Одоевский был назначен правителем дел Комитета Главного попечительства детских приютов. – *М.Т.*

———

Вот, милый друг, Владимир, № 9 бесконечной моей повести. Как она должна надоесть тебе!.. Теперь налицо всякая погрешность, всякая лишняя мысль, всякое неуместное слово – а сколько всего стало! – Теперь нет больше того теплого, благодетельного для меня чувства, которое возле каждого недостатка внушало тебе снисходительность, иногда и сострадание. Нет его, Владимир. Теперь ты настоящий судья мне. Я вчера не узнала тебя – во мне привычка так упорна!..

Прощай, милой друг. Господь с тобою.

———

Не имею никакого права просить тебя; и все-таки прошу: Владимир! не отвергни моей молитвы: не отдаляйся от меня душою! – Припиши просьбу сию не разврату сердца, но какому-то тайному, может быть, благодетельному предчувствию.

———

Раскрывая пакет, который вы, уходя, оставили мне, я обнаружила вложенное туда письмо ваше. Мне слишком трудно выразить всю ту степень изумления, возмущения и горести, кои оно заставило меня пережить. Оправдаться мне было бы значительно легче, особливо если бы вы соблаговолили разъяснить некоторые пункты его, которые мне совершенно непонятны.

Мне в такой же мере никогда не приходило в голову приносить в дар кому бы то ни было такие пустяки, как листочки, о коих идет речь, как и вообще придавать им малейшее значение, ибо, вы должны это помнить, те немногие достоинства, кои отмечались мимоходом в нескольких ваших похвалах, выпавших мне на долю во все времена, я всегда склонна была относить лишь к вашей снисходительности и доброжелательности ко мне. На свое счастье я обладаю достаточным чувством смешного, чтобы не придавать какого-либо значения своей особе из-за нескольких страничек, кои мне довелось в моей жизни нацарапать. Если я взяла на себя смелость просить вас вернуть мне мою мазню, то исключительно чтобы выполнить желание графа Строганова, который просил меня об этом, полагаю, скорее из любезности, чем из подлинного интереса; и я все еще спрашиваю себя – кто же они такие, те подлые враги, столь ожесточенно преследующие вас своими интригами и клеветой? Ведь не граф же? Он слишком высоко стоит, у него слишком большие преимущества перед вами, чтобы ставить себе подобные цели. К тому же с той минуты, как я узнала, что вы собираетесь с ним разойтись, я больше не видала ни графа ни графиню, и, даже рискуя прослыть в их глазах невежливой, ни разу не переступила их порога, так я боялась, как бы не вырвалось у меня невольно какое-нибудь слово, которое могло бы быть истолковано как проявление недоброжелательства и злобы. Неужто же это мне, мне, Владимир, можно бросить упрек в том, что я ношу маску? В каких обстоятельствах своей жизни я пользовалась ею? Неизвестны вам разве другие обстоятельства, когда я с возмущением и презрением срывала ее с себя, даже когда дружба и преданность предлагали мне прибегать к ней как к якорю

спасения? Я с отвращением срываю с себя маску, я позволяю увидеть себя такой, какой я была, безо всяких прикрас, и я убила себя этой дружбой, этой преданностью, за которую ныне преследует меня ненависть, нет, не та открытая ненависть, которую можно предвидеть и предотвратить, но ненависть глухая, молчаливая – обычный удел ничтожных и малодушных.

На какой же это **почве я так славно потрудилась,** каковы **факты** якобы причиненного вам **реального зла,** кои вы вменяете мне в вину – вот чего я не в силах ни постигнуть, ни уразуметь.

Что это за подробности и обстоятельства моей жизни позволили узнать о ней лучше, чем вы узнали о ней от меня самой – ибо при той безмерной преданности, которую я питала к вам, Владимир, могло ли быть в моем сердце хоть что-либо скрытое от вас, мог ли любой ваш вопрос остаться без ответа? Подумайте сами! Какова же та цель, которую я по вашему мнению преследовала, дабы действовать против вас – против которого ни одна недобрая мысль не рождалась в душе моей... Призываю о том в свидетели само небо.

Кто они такие, эти люди, вместе с которыми я будто бы собираюсь **действовать заодно против вас,** я, которая вижусь лишь с немногими друзьями, большая часть которых вас не знает или же несколько безразличных знакомых, все отношения с которыми ограничиваются ежедневным обменом приветствиями. Уж не это ли называете вы моим **блистательным делом** и моими **экстравагантными радостями?** Право, дорогой князь, поздравляю вас с вашей проницательностью, позволившей вам так легко разобраться в вопросе, который бы поставил в тупик самого дьявола! Я бы очень хотела иметь основание сказать то же самое о вашем послании, к великому сожалению, у меня нет надежды, что вам удастся когда-нибудь распутать весь тот вздор, который вы нагородили там по поводу бедных обвиняемых.

Что касается вашего прощения, князь, то, восхищаясь вашим великодушием, прошу сохранить его до той поры, когда я его у вас попрошу, а ежели сие чувство слишком вас обременяет, можете одарить им одну из ваших собак, которая, подозреваю, укусила вас в приступе бешенства.

Но нет, нет!.. Вы сами не верите словам своим, Владимир, вы слишком хорошо знали меня по отношению к другим, чтобы искренне обвинять меня – и когда? Какую минуту избрали вы, чтобы упрекнуть меня в избытке счастья, чтобы пригрозить мне будущим, исполненным несчастий и терзаний? Когда страдающая, изнемогшая, сломленная, быть может, и физически, и морально, я ставила себе одну лишь цель – мирно дожить все более чреватый случайностями, ненадежный конец своих дней!.. Подумайте о том, что я существо созданное из земли и праха, а вы – вы человек из Евангелия, Христианин в точном смысле слова![1]

---

[1] Подлинник *по-фр.*

...Описав в "Дворянском гнезде" печальную историю Лаврецкого и Лизы Калитиной, Иван Сергеевич Тургенев, тончайший знаток сердечных чувств, закончил свой рассказ замечательными по заключенному в них такту словами: "Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать – и пройти мимо".

Последуем его примеру и мы, имеющие, к счастью, редкую возможность отдать последнее слово самому Одоевскому.

Верный своему правилу не выставлять напоказ "недопустимые чувства", он вновь, как это бывало уже не раз, прибегает под спасительную, но зыбкую и призрачную защиту литературной "маски".

...В его писательском архиве давно уже лежали разрозненные страницы так и не оконченной утопии "4338-й год", из которой в разное время были опубликованы две главы: в 1835 году и в 1840-м. Среди черновиков, относящихся к этому произведению, сохранился и довольно странный, исповедальный отрывок, не имеющий решительно никакого отношения ни к довольно точно восстанавливаемому – и восстановленному – содержанию задуманного научно-фантастического романа, ни к главному его герою, от имени которого ведется дневниковый рассказ, подлинный, почти трагический смысл которого – увы – не вызывает сомнений.

Психологические задачи Хартина

VII-11

Что в сердце Юлии? две полуугасшие любви. Да – две! не меньше – ей жаль Людовико – жаль и меня и сверьх того совестно смотреть на меня. Тщетно она хочет уверить что любовь для нее не существует. Я никогда не понимал ее любви к Людовико – нечем ему наполнить ни ее ума ни ее сердца; это мог быть женский каприз, минута тщеславия, порыв чувственности – не более, а потом просто жаль покинуть; несколько натертый обществом, – он Молчалин в полном смысле, хотя сердце его и не так еще испорчено: как Молчалин он

...небогат словами,
Услужлив, скромненький, в лице румянец есть,
Какою ворожбой умел к ней в сердце влезть?

Дружбу ее с ним – я уже и вовсе не понимаю: он добрый малый, – но пустота и ничтожество его невероятны. А между тем: Молчалины блаженствуют на свете!

Я просидел с ними целый вечер – с чувством девственным, чуждым всякого пристрастия я хотел уловить искру ума и души в этом человеке; он сидел на моем всегдашнем месте; все как со мною: диван неловок – ему, как бывало мне, Юлия предложила подушку, он, как бывало я, взял ее, положил на то же место... барин уселся – я как отставной сел в углу, стараясь заглушить в моем сердце все чувства, превратиться в наблюдение, с твердым намерением если замечу что он с успехом может заменить – преклониться и отдать шпагу победителю. Бывало из дружбы к Юлии и из какого-то сожаления к Людовику, – я старался

поддерживать его в разговоре, наводить на предметы, которые не так явно показывают, что в голове у человека дождевой пузырь – теперь я молчал.

Тщетно Юлия хотела расшевелить его всеми блестками своими ума – одни пошлые фразы вырывались из уст его; она старалась всячески заинтересовать Его – рассказывала о своей прежней жизни, о моем детстве, об обычаях наших внутренних губерний – зашло дело о дневнике – кто не в состоянии сказать что-нибудь о таком предмете? Дело шло о дневнике чувства, о происшествиях столь разнообразных внутренней жизни – он же никак не мог понять существование дневника иначе, как во время путешествий – тщетно Юлия хотела вбить свою мысль в Его голову – она не пробивалась сквозь Его густой мозг – одни пошлые фразы выходили из него, – я краснел за него от души: я понял как должно было быть ето выражение бездонной пустоты для Юлии, как тяжелы ей были все жертвы ею принесенные этой восковой кукле, – и особенно при мне, – и постарался свести разговор на другой.

Вот я пожертвован кому!..

Чудно! я понимаю Людовико на постеле, en fortune d'un mâle [1] это понятно – но неужли он не надоел еще Юлии? Неужли она ему не надоела? ему должно быть скучно с нею, как всегда скучно глупому человеку с умным? Я явственно видел его сладкий зевок! Как должно ему быть странно, привыкши быть мебелью в гостиной, ограничивать свой разговор рассказами о бале или перемещениях лиц, – проводить целые вечера с глазу на глаз с женщиною ума обширного, мужского, жадного к впечатлениям высоким? Я чаю, он сам этого не понимает, – если только понимает, какая бездна разделяет его душонку от этой огромной души? – Право – лучше мне не вмешиваться; он сам обделает свои дела лучше меня – и рано или поздно, занавеска спадет и Юлия явственно увидит куклу и ей надоест ее видеть. Но до тех пор! – Если бы немного больше было в нем Божественной искры – он бы почувствовал все горе, которое он производит, – все расстройства в семействе, он бы великодушно удалился – право я начинаю верить слышанному мною, что сжатый в денежных обстоятельствах ayant besoin de faire figure [2] он волочится за теми женщинами, у которых можно обедать! Кто знает? Кто исчислит все маленькие пружины, которые действуют на душу пустого человека! А Юлия! Какое будет для нее пробуждение! Бедная, непонятная Юлия! Что-то будет? Я решился не сообщать ей моих наблюдений – пусть она лучше всмотрится в эту куклу – чем раньше, тем легче будет ей забыть об ней. А держит он ее в ежовых рукавицах – она боится смотреть, боится говорить невольно думая, как бы не опечалить Его.

Молчалины блаженствуют на свете.

---

[1] В качестве самца (*фр.*).

[2] При необходимости принимать приличный вид (*фр.*).

VII. 14.

О! Тяжел – грустен был сегодняшний вечер. Юлия была одна. Казалось, к ней возвратилась память о прежнем – казалось, она сознавала то смешное и жалкое состояние, в котором она теперь находится. Но вдруг посреди самого дружеского разговора она мне сказала: "Ты меня предал – ты все рассказал моему брату. – "Нет! я не рассказал, но отвечать был вынужден на его вопросы о Людовико – я напротив даже защищал – только брат смешал мои слова о боязни Юлии с словами о недостойной ее ума слабости. Начались упреки и слезы. "Верю твоей привязанности", – говорила она насмешливо. Странная, непонятная Юлия! Она хочет, чтобы ее любили, видели, что она падает в бездну, и ни словом бы ее не останавливали. А все я ей предан как собака – для ее щастия и спокойствия отдал бы жизнь свою. О! тяжко! тяжко! Все мысли мои мешаются – я понял выражение: ноет сердце – о! это ужасно – я вижу, что мало по малу я начинаю сходить с ума – ибо все мои усилия победить себя тщетны – я ничего не могу делать – одна мысль: Юлия и ее нещастие – чую, чую приближение этого холодного покрова, который сожмет всякую здравую мысль во мне – о если бы умереть!

Je voudrais me rapprocher de mon mari![1] – сказала наконец Юлия – какая щастливая, золотая мысль – найти Неба – как сделать, чтобы эта мысль не погасла... а потом у ней опять черные, черные мысли – доходящие до самоубийства – бедная, бедная Юлия – деспера[2] души моей. Боже, пожалей <?> ее и меня.

VII.18. – Завеса разодрана. До сих пор Юлия уверяла меня, что после письма моего, в котором в святом негодовании дружбы я резко начертил картину ее положения, представил, что она вредит мужу, вредит детям, и самой себе и Людовико приготавливает самое горестное будущее; Юлия уверяла меня, что все кончилось между ею и Людовико, что она сделалась неспособною любить **никого** и тем менее Его; что она не краснеет своей прежней любви к нему, но что привязанность ее миновалась безвозвратно. Ее положение меня глубоко тронуло; я обвинял себя, зачем я так поспешил обвинить и сказать ей всю нагую правду, которая оскорбила ее женское тщеславие, хотя и думал, что Юлия выше этого тщеславия. В это время мне мелькнула мысль, что для постоянного щастия Юлии и ее детей, для успокоения ее духа необходимо снова, искренно и вполне сойтиться с мужем. Как довести ее до этой мысли? Самопожертвование с моей стороны было необходимым, но чтобы это самопожертвование произвело на Юлию благодатное действие – объятия ее мужа должны были для нее открыться. Трудное было дело. – Я принял на себя снова должность палача; все что мой ум, мое сердце могло внушить опасений самых заботливых, самых нежных – все было сказано; Юлия плакала, уверяя меня **постоянно,** что я мучу ее напрасно, ибо нет ни к кому любви в душе ее. – Я верил ей. Но на сих днях

---

[1] Я хотела бы помириться с моим мужем (*фр.*).
[2] По-видимому, от *лат.* despero (отчаиваюсь, не имею надежды).

приходит ко мне Людовико: "Вы мне оказали услугу, – сказал он, – вы вверились моему благородству и рассказали мне все с откровенностию – я не хочу быть в долгу у вас и из благодарности должен вывести вас из странного положения: Юлия вас уверяет, что она меня не любит и что все между нами кончилось; она вас обманывает; мы любим друг друга и имею на это самые убедительные доказательства; она жалуется мне, что вы нарушаете ее спокойствие, говоря ей о ее долге, напоминая о прежнем. – Я два раза хотел удалиться. – вы это знаете; она два раза меня остановила; во второй раз я почитал дело конченным совершенно – и хотел на другой же день вас обо всем уведомить, но в тот же день она написала мне записку и рассказала что получила от вас письмо, которое ее так оскорбило, что она снова меня призывает (это в то же время, когда Юлия писала ко мне, что все между ею и им кончено). Я не виноват как видите – я сделал все что мог". – Этот поступок совершенно примирил меня с молодым человеком, – ибо показывает с Его стороны такое деликатство, на которое мало людей в Его положении были бы способны. Я поблагодарил его за это открытие... этого последнего горя мне недоставало – я думал, что уже никакое новое терзание невозможно для души моей – и как я жестоко ошибся. Так вот это существо, которому вполне, чисто, искренно, бескорыстно я посвятил все мгновения жизни! "Я не могу хотеть", – говорила она мне когда я уверял ее, что стоит захотеть отделаться от смешной страсти – и между тем она могла хотеть провести меня постепенно, мало по малу в продолжении двух месяцев чрез все степени терзаний, чрез отринутую привязанность, оскорбленное самолюбие, презрение к выражениям искренней души, боязнь, чтобы она в горе не покусилась на свою жизнь, чрез предложение человека ни в каком смысле ее не стоящего, – чрез все, что может изнурить человека душевно и телесно; она могла видеть хладнокровно мои страдания, она видела хладнокровно мои бессонные ночи, видела, как умудрился я похудеть в течении месяца, видела, что горе из внутренности души проникло мои кости, что я не мог уже приняться ни за какое дело, что все мысли в моей голове замерли, что я скорыми шагами приближался к сумасшествию – она знала все эти терзания в человеке, который во всю свою жизнь не изменял ей ни словом ни делом – ей было этого мало; Юлия **могла захотеть обмануть** и **предать** Его – и все это для того, чтобы не отказаться от минутного каприза, который даже не наполняет души ее, и никогда не наполнит! ей нужны были все эти терзания, чтобы подсластить кубок чувственной любви, выпиваемый одним разом...

И между тем тщетно ищу я ненависти в душе моей к Юлии... нет, я не могу уважать ее – но не могу и ненавидеть, – чувствую, что я все готов принести ей в жертву и что чувство дружбы к ней не прекратится с моей жизнию. Странное чувство! дружба пламенная как прежде – и не могу уважать ее! – Чем? Когда возвратит она себе мое уважение! О! тяжко! Тяжко! не уважать предмета своей привязанности – чувство убийственное, ужасное.

Я пошел к Юлии, чтоб рассказать ей наш разговор с Людовико –

я нашел у ней доктора, который объявил мне опасность ее положения! Я не имел духа упрекать ее; я сжал сердце, спокойно передал ей наш разговор с Людовико, сказал что все между нами кончилось... она была видимо поражена этим разговором – мне было ее жалко – она просила не оставлять ее, – уверяла, что лишь на моем сердце она находит успокоение – и я верил ей – странное, непонятное существо! Она в эту минуту была откровенна! Кто знает, ей, покусившейся на обман один раз, – может быть нужно меня как ширмы и только – что нужды! если я в таком только виде могу доставить ей щастие!

Когда я не вижу ее – я спокойнее; видеть ее для меня терзанье – и между тем я не говорю ей об этом; каждая минута с нею есть для меня удар кинжала – члены мои немеют, сердце бьется аневризмом, голова немеет – но я оборачиваю внутрь мои невыносимые терзания – мое присутствие нужно Юлии – да будет! О! если бы смерть унесла меня из этого мира! Но если и там я перенесу мои терзания – тяжко! тяжко! Бог да простит тебя, Юлия – ты не знаешь, что ты творишь.

...Очевидно, поздней весной 1842 года Надежда Николаевна Ланская оставляет мужа и детей и бежит с Грифео за границу. Во второй половине апреля, ближе к концу, воспользовавшись известием о болезни матери, Одоевский подает по начальству просьбу об отпуске:

"Чувствуя с каждым днем увеличивающееся расстройство моего здоровья и получив известие о болезни моей матери, уже в преклонных летах и с которой я уже более десяти лет не видался, я прошу всепокорнейше дозволить мне съездить в Москву на 3 недели..."

В начале мая он в сопровождении Ольги Степановны прибывает в первопрестольную. Десять лет не ступала его нога на старинные мостовые. Друзья молодости не замечают в чете Одоевских никаких перемен: княгиня, хоть и показавшаяся хворою, так же приветлива и мила, князь на первый взгляд – "Одоевский 32-го года". "...В умственном отношении точно то же, – как написал потом Хомяков А. В. Веневитинову. – По-прежнему хочет самых свежих устриц и самого гнилого сыра, то есть современности индустриальной и материальной и древних пыльных знаний алхимии и кабалы". Москва приветствовала редкого гостя чередой празднеств; он, в свою очередь, собрал всех в лютеранскую кирху, чтобы усладить слух москвичей Баховыми фугами – в собственном, органном исполнении. Плененный Натальей Петровной Киреевской – женой старшего из братьев, Ивана, он даже позволил себе нескрываемые восторги. "Никого кроме ее не видит и никем кроме не занят", – как сообщала в Петербург свекровь Натальи Петровны А. П. Елагина.

Несколько раз присутствует Одоевский и на собраниях москвичей, но – коротко: недостало времени ни ему войти в новую московскую жизнь, ни москвичам – вновь полюбить его. Тем не менее эпилог "Русских ночей" отразил, кажется, вскоре возникшие его споры с бывшими единомышленниками. Именно в это свидание здесь особенно почувствовали, что нынешний Одоевский – "не совсем их". Спустя год По-

годин – правда, еще приватно, в дружеском письме – называет его "отщепенцем".

4 июня Владимир Федорович вместе с женой отбывает в первое свое заграничное путешествие. Эта служебная поездка, связанная с его работой в Ученом комитете для руководства школьным образованием государственных крестьян и планировавшаяся еще зимой, оказалась теперь спасительной.

В день отъезда он пишет короткую завещательную записку, приложенную к какому-то "пакету":

"Сей пакет в случае моей смерти прошу выдать как он есть нераспечатанным жене моей княгине Ольге Степановне Одоевской урожденной Ланской. Июня 4 дня 1842 года.

Статский советник и камергер
князь Владимир княже Федоров сын Одоевский".

Он отправлялся, наконец, на долгожданную встречу с просвещенной Европой, с духовной своей alma mater, считая, что жизнь его кончена...

В течение четырех месяцев Одоевский посещает Германию, Францию, Италию, Австрию, Швейцарию, добросовестно перенимая опыт европейского начального образования. Однако личные его интересы сосредоточиваются, конечно, прежде всего в Германии. Здесь он, едва ли не самым последним среди русских шеллингианцев, знакомится и с самим Шеллингом. Они ведут разговоры о философах – в частности, о Сен-Мартене, о богословских предметах, магнетизме и природе сна, и Шеллинг высказывает соображения, как нельзя более созвучные представлениям Одоевского: "магнетизм <…> не есть ни возвышение духа, ни уничтожение до инстинкта, мы не можем определить, что такое магнетизм, пока мы не узнаем, что такое сон, или, лучше сказать, где мы бываем во сне, а мы где-то бываем, ибо оттуда приносим новые силы". Русский мыслитель оставляет в немецком философе прекрасное впечатление – он замечает в Одоевском след долгих размышлений "о предметах глубоких": "это остается в глазах и есть такой верный признак, которого никак подделать нельзя".

Однако ни эта, очень значительная для писателя, встреча, ни новые впечатления не приносят облегчения. Одоевский возвращается в Россию в столь же мрачном состоянии духа, как и покидал ее. Его путевые заметки исполнены мыслей почти безнадежных. Он мучим прежними вопросами бытия, по-прежнему неразрешимыми.

"Одно только существо может отвечать на них – но когда оно меня услышит? Горькая тьма! злее холодной вещественной тьмы; – чрез несколько часов взойдет вчерашнее солнце, и полузамерзшие люди оживут, воскреснут и забудут о сегодняшней ночи. Когда же воскреснет душа моя, когда пройдет мучительная ночь?.."

Глава XIV.

ЕЩЕ КОНЕЦ ТРИДЦАТЫХ И НАЧАЛО СОРОКОВЫХ

Итак, снова – Петербург. Однако прежде чем двинуться вместе с нашим героем дальше – по жизненной его тропе, нам придется еще ненадолго задержаться во времени, только что перед нами прошедшем.

Все описанные повороты судьбы Одоевского принадлежали частной его жизни. Между тем, человек светский и служащий, он в эти годы становится фигурой, все более заметной и на официальном столичном небосклоне. Еще в 1836 году, будучи уже надворным советником, Одоевский получает камергера и не очень стремительно, но верно набирает служебную высоту. В 1838 году его производят в коллежские советники со старшинством, в 1841-м – жалуют в статские.

Ласково принят он и при дворе – настороженная память о сомнительных его молодых связях истаивает, кажется, даже в сознании самого Николая. Особенно коротко вхож Одоевский к великой княгине Елене Павловне, жене Михаила Павловича, – женщине замечательной, с обширным умом и добрым сердцем. Именно с нею связано и начало благотворительной деятельности князя, его неустанное и самоотверженное попечение о детских приютах, сиротах, больницах для бедных.

Привычно вертелось и давно запущенное колесо светской жизни.

В 1838 году, покинув, наконец, кров тещи в Мошковом переулке и перебравшись с Ольгой Степановной на Фонтанку, в дом Долгорукова, Одоевский, описывая матери новое свое жилище, давал ей заодно и любопытный сколок петербургской светской жизни.

В. Ф. Одоевский – матери
<осень 1837 года>

"...Что Вам сказать об нас: мы очень довольны своей квартирой; хотя и высоко – в четвертом етаже, но ето не беда; весь Петербург по недостатку места тянется вверх: каждый год является на домах новый етаж; есть дома в шесть и семь етажей; за то у нас теперь есть солнце – преважная вещь в нашем болоте; я не видал его семь лет, ибо дом моей тещи на набережной, где никогда не бывает солнце; доктор прописал мне его вместо микстуры. Мы живем очень тихо, еще общество не в движении, хотя у графини Лаваль, княгини Белосельской, у Сухозанета взяты дни для раутов – очень спокойная вещь, на которую приезжаешь в 11 часов, видишь кого надобно, потолкуешь и можешь без зазрения совести к полночи возвратиться домой. К странностям теперешней моды принадлежит мороженое, которое играет преважную ролю на раутах, ибо раут тогда только называется bril-

lant [1] – когда гостиная набита битком и полчаса не отыщешь хозяйки (об хозяине никто не думает). – Мороженое теперь подается в виде чего бы вы думали? котлет с зеленью, цветной капусты с соусом – ето называется attropes [2]. – Слуги должны быть в чулках и башмаках. Общее и хорошее обыкновение надевать на оффициянтов белые перчатки, вместо прежних салфеток. Ети перчатки делаются из бумаги вязаные, не мешают держать поднос и очень опрятно. Я как человек занятой никого не пускаю к себе в продолжении недели, но для тех, кому нужно меня видеть, отворяю двери в субботу. Наши субботы очень любят, ибо у нас нет никаких претензий, все чисто, но просто; с 9 часов вечера до 2 часов ночи ето как Китайский фонарь: и модный свет, и литераторы, и музыканты и деловые люди. Ольге случается наливать до 50 чашек и более, ибо мы не даем ничего кроме чая; ето что называется здесь – un thé, т.е. что целый вечер чай не сходит со стола; такой день в неделе необходим, ибо иначе при большом круге знакомства нашего и по свету, и по литературе, и по службе мне бы не оставили ни одного дня в покое, а теперь по крайней мере мой лакей смело всем говорит что: "не принимают". Вот Вам маленький абрис петербургской жизни: утром работаешь, в 4 часа идешь гулять пешком, в 5 обедаешь, потом что-нибудь почитаешь, а в 11 часов покажешь свою фигуру на каком-нибудь рауте, иначе жить нельзя..."

Спустя два года молодой ученый-филолог Измаил Иванович Срезневский, попав впервые в описанный Екатерине Алексеевне дом на Фонтанке, поспешил поделиться первыми впечатлениями со **своей** матушкой. Он живо обрисовал хозяев – княгиню, показавшуюся ему "в роде смуглого папошника", и князя, в бархатном черном шлафсюртуке и темном колпаке (дело было поутру), "хомяковатого" и похожего на немецкого колбасника, – впрочем, снисходительная молодость узрела все же лицо "миленькое, добренькое, умненькое". Успел Срезневский осмотреть и кабинет, в котором был принят, устроенный с большим удобством для работы, с богатой библиотекой, – но и богатой мебелью, с внушительным собранием картин.

Разговор хозяина, однако, оказался прост и горяч: об украинском фольклоре, музыке, детских приютах.

Тем не менее салон князя к этому времени заметно меняет свой облик. Новые лица, появляющиеся на пестрых его собраниях, кажутся особенно несовместными: официальный, великосветский и дипломатический Петербург встречается здесь с новой, разночинной молодежью.

У него по-прежнему сходится цвет литературного Петербурга, но между литераторами все более и более начинают сиять "лица чистокровной породы". Теперь уже порою, как вспоминал современник, в залах князя насчитывалось "три-четыре действительных литератора, один или два композитора, да на каждого из них, пожалуй, по два князя, по два графа, по два камергера, да по два камер-юнкера"...

---

[1] Блестящим (*фр.*).
[2] Здесь: сюрпризы (*фр.*).

Юрий Арнольд, композитор и музыкальный критик:

"Когда я в первый раз явился <…> к Владимиру Федоровичу на вечернее собрание, мне сначала, конечно, было не совсем ловко: я никого не знал из всей этой довольно многочисленной компании... Само собою разумеется, что я прежде всего подошел к хозяйке дома, засвидетельствовать должное "высокопочитание со стороны всепокорнейшего ее слуги" в виде самого этикетного реверанса. Ее сиятельство удостоили меня милостивым легоньким наклонением головы, но ручки своей протянуть не изволили: это в переводе с мистериозного языка великосветского церемониала значило: Mesdames et messieurs; ça appartient à la rôture, et pire même, c'est un homme de rien; ça ne vous regarde donc nullement [1]. Я же <…> скорчил еще более сладкую мину и поклонился еще отборнее этим членам того общества, которое, называя само себя "хорошим", нередко высказывало и еще высказывает себя далеко не хорошим. Но, улыбаясь им, я думал: Господа и госпожи! Да я сюда и вовсе не для вас явился <…> Не вы есть то "хорошее" общество, которое я, без сомнения, найду в соседней комнате!

Тут же вышел сам князь очень приветливо мне навстречу и, пожав мне руку, повел меня в другую комнату..."

Иван Тургенев (в пересказе Авдотьи Панаевой):

"Я оттого перестал бывать по субботам у Одоевского, что мне просто стыдно, до чего не умеют себя держать прилично новые литераторы. И какой чудак Одоевский, сам себе задает каждую субботу порку, как будто он находится в школе. Я вижу, как его шокируют манеры дурного тона "литературного прыща", когда он бывает у него..."

И хотя в кабинете князя, как и прежде, разговоры идут большей частью о последних явлениях литературы, хотя здесь возникают и получают жизнь и иные благие идеи – о женских гимназиях, например, или других благотворительных начинаниях, именно эту пору имел, очевидно, в виду и Герцен, зло заметивший, что у Одоевского "толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга", и что в его доме обретались "полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы". Последнее, возможно, был намек на ближайшего родственника Ланской Враского. В "безмятежном святилище знания" веяли теперь иные ветры, и, кто знает, может быть, Тургенев, высказавшийся с аристократическим небрежением о "литературном прыще" – молодом Достоевском, которому Одоевский с энтузиазмом покровительствовал, был отчасти и прав: Владимир Федорович, бескорыстно любивший таланты и верный своим принципам литературного братства, вместе с тем вполне и искренно мог страдать от дурных манер "разночинной" братии.

Сам князь кажется молодым уже повытершимся светом и жизнью. Авдотья Панаева, добродушно посмеиваясь, вспоминает, что, невзирая на весь свой демократизм, Одоевский был единственным пи-

---

[1] "Медам и месье, этот вот принадлежит к простолюдию, хуже даже, человек ничтожный; следовательно, он вас совсем не касается" (*фр.*).

сателем, являвшимся даже на литературные вечера в карете с ливрейным лакеем.

Осенью 1839 года появляется в доме на Фонтанке и Белинский.

"Питер принял меня хорошо и ласково <…> – делится он вскоре первыми своими столичными впечатлениями с В. П. Боткиным. – У князя Одоевского по субботам встречаюсь с посланниками, и у нас уже составился вист впятером: я, немецкий, французский, итальянский и турецкий посланники. Впрочем, видел я одного – шведского, графа Пальментиерна: презамечательныи старик, выучился по-русски, любит со всеми говорить по-нашенскому-то, добр и прост, как какой-нибудь русский немец, учитель немецкого языка. Видел И. А. Крылова и, признаюсь, с умилением посмотрел на этого милого и достолюбезного старца".

Между тем переезду Белинского в Петербург Одоевский способствовал немало – от этого зависела судьба "Отечественных записок", новой его журнальной "вотчины".

"Отечественные записки", журнал по преимуществу исторический, с 1820 года издавался в Петербурге П. П. Свиньиным, но издавался столь неумело, таким "домашним", кустарным способом, что из года в год влачил довольно жалкое, незаметное существование.

Краевский, как было однажды замечено, имел особое счастье на журнальные вакансии. В конце 1838 года на паях (в итоге – усилиями трех основных вкладчиков: самого Краевского, Одоевского и Б. А. Враского) журнал у Свиньина был откуплен, и Краевский стал официальным его редактором. История "Отечественных записок", сконцентрировавшая в себе, по сути, всю историю русской журналистики сороковых годов, – тема совершенно особая. Однако в организации и формировании нового их направления Одоевский сыграл столь значительную роль, что не рассказать об этом, хотя бы в коротких словах, нельзя, тем более, что это – последнее, завершающее звено его журналистской деятельности.

О побудительных мотивах, двигавших Краевским в его издательских предприятиях, о причинах его небывалого успеха писалось много. Называлось здесь все: тщеславные мечты о громкой и независимой литературной славе и меркантильные – о роскоши, подобной той, что, по слухам, окружала Сенковского; недюжинный организаторский талант, почти "американский" размах и просто благоволение фортуны... Роль же Одоевского в этих успехах – прежде всего, в успехе "Отечественных записок" – определяется обычно в более скромных масштабах. Между тем и на этот раз повторялась прежняя "модель": формально оставаясь на вторых ролях, Одоевский в действительности в значительной мере определил лицо журнала, и Краевскому в первые годы становления "Отечественных записок" все еще приходилось признавать негласное его верховенство. Панаев утверждал, что Одоевский вообще имел на него в это время "сильное влияние" и что Краевский завел даже у себя "точно такие же оригинальные столы со шкаликами, какие были у князя Одоевского, и снял с него покрой для своего кабинетного костюма во время ученых занятий".

В 1956 году Р. Б. Заборова опубликовала неизвестную ранее 36-листную тетрадь Одоевского, озаглавленную им: "Отечественные записки" и содержащую детально разработанную программу и структуру будущего издания: список намечавшихся сотрудников, предуведомление редакции и ряд других сведений. Все эти принципиально важные установки вскоре нашли почти полное свое осуществление на новых журнальных страницах. Более того, они прямо восходили к самым ранним совместным замыслам Пушкина и Одоевского, в частности к "Летописцу", с характерным, предложенным Одоевским названием: "Современный Летописец политики, наук и литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала 3-го (последнего) десятилетия 19-го века". Это, собственно, и был первый прообраз будущего энциклопедического – "в полном значении этого слова" – журнала, находившего теперь свое воплощение в "Отечественных записках". Принципы его построения глубоко продумывались Одоевским задолго до того, как Краевский вступил на большую журналистскую стезю, – и начали продумываться еще совместно с Пушкиным. В апрельском, 1835 года, письме Пушкину с подробным изложением программы "Летописца" Одоевский, между прочим, предлагал начать "обозрение политики, наук и литературы с 3-го десятилетия 19-го века, т.е. с 1830-го года, и потому, – писал он, – поместил в "Летописце" 1ое – Хронологическое обозрение сухое, по годам, политических происшествий с 1830-го года..." В опубликованной тетради Одоевского среди прочих записей значительное место занимает как раз подробная разработка раздела "Современная хроника России", выстроенного в точном соответствии с тем планом, который он излагал Пушкину четыре года назад. Не менее примечательно и то, что все намеченные здесь Одоевским будущие авторы действительно оказались представленными в первых же номерах "Отечественных записок".

Этим разделом открывался новый журнал – и это была принципиально важная, отличительная его особенность, о которой, наряду с установкой новых издателей на энциклопедичность, подробно сообщалось в развернутой программе обновленных "Отечественных записок", опубликованной в конце 1838 года на страницах "Литературных прибавлений": "Но первое место в сем журнале назначено будет тому, что ближе всего к сердцу русскому – известиям о текущих современных успехах России во всех направлениях жизни общественной, и в особенности об успехах ее в просвещении, о ходе нашей ученой и изящной литературы, о современном состоянии русского искусства и как опытной, так рациональной промышленности". Цель этого раздела будущие редакторы видели в давно назревшей необходимости создать "современный мемориал", долженствующий способствовать, по их мысли, самопознанию нации и сообщению точных и верных сведений о современной России Европе, все еще знающей о ней понаслышке. Теперь, на страницах своего журнала, Одоевский получил, наконец, возможность

осуществить давние идеи в наиболее полном и развернутом виде. И, конечно, спору нет, в Краевском, которого заразил он несколько лет назад заманчивыми своими проектами, он обрел единомышленника и активного практика. Не будем отождествлять, однако, конечные цели обоих: они, безусловно, различны, и спустя несколько лет, когда у Краевского вполне прорезался вкус к той самой "литературной промышленности", которую еще недавно он так гневно обличал, это проявилось со всей очевидностью.

Имя Одоевского как автора появилось на страницах первых же номеров преобразованного журнала, причем это были произведения не только художественные, но и философско-публицистические, статьи и рецензии по вопросам науки, промышленности, домоводства. Однако с точки зрения вновь сформулированного журналистского кредо наибольший интерес представляет, пожалуй, его очерк "Утро журналиста", появившийся в последнем номере "Отечественных записок" за 1839 год, и мы остановимся на нем подробнее – тем более, что с той поры не перепечатывался он ни разу.

Рассказ об "утре журналиста" – произведение по-своему уникальное: мастерски, с профессиональным знанием дела здесь воспроизводится процесс рождения журнала. Однако писатель не только воссоздает в свойственной ему сатирической манере картину журнальной "кухни", наполняя ее злободневно звучавшими для современников и легко узнаваемыми приметами тогдашних непрекращавшихся журнальных войн; не только направляет самую острую из своих стрел в главного врага "Отечественных записок" – Сенковского, но и разворачивает свою "теорию" журнального дела, свое понимание целей и назначения "толстого" русского журнала, призванного удовлетворить разнообразные интересы "тысячи классов", вкус каждого из его читателей. Просветительской миссии "благонамеренного, бескорыстного" журнала, под которым разумеются, конечно же, "Отечественные записки", придает Одоевский важнейшее значение: "Журнал добросовестный есть дело великое в благоустроенном государстве".

Здесь же писатель высказывает и важнейшую свою идею о просветительских целях подобного издания, назначенного протянуть связующую нить между "двумя жизнями", существующими в обществе: "жизнью ученой и жизнью обыкновенной, или, так сказать, житейской", ибо "от этих мыслей в обществе светлеет ум, расширяется промышленность, богатится торговля, лучше сохраняется здравие". Однако столь же важной представляется Одоевскому и обратная связь, необходимость довести до кабинета ученого "истинные потребности общественной жизни". "Публицистическая версия" представлений писателя о поступательном движении человеческой цивилизации звучит уже в полный голос, уверенно и убежденно; как бы высвобожденные из сложных художественно-философских структур и повернутые к "действительной" жизни, представления эти начинают проявлять практические свои качества. Этими исходными рубежами определяется и дальнейшая мировоззренческая эволюция Одоевского, и характер собственного его

"действительного" бытия – то, что дало основание поздним современникам назвать его "великим человеком на малые дела".

"Великой целью" назвал в "Утре журналиста" провозглашенные им практические задачи энциклопедического журнала и сам Одоевский, задачи, сведенные в лаконичную и четкую формулу: "мирить и соединять науку с жизнью". Именно к этой "великой цели" и стремился он в журналистике в течение долгих лет с таким упорством. Именно в этом, а не в лихих перебранках видит он теперь и единственное средство борьбы с монополией цинических "литературных торгашей".

"Отечественные записки" полностью повторяли структуру "Русского сборника", изложенную его несостоявшимися издателями в программе, представленной в свое время в Цензурный комитет.

Теперешние же их лозунги – борьба с "торговым направлением", "смирдинской кликой" и в особенности с журнальной диктатурой Сенковского – помогли привлечь к новому изданию лучшие литературные и научные силы: число объявленных сотрудников – 127 имен в сравнении с аналогичной цифрой "Библиотеки для чтения" – 33 невольно провоцировало образ Ноева ковчега; размах и фундаментальность объявленной программы произвели впечатление ошеломляющее на людей различного творческого диапазона и устремлений: не только литераторы пушкинского круга, но и прочие прогрессивные интеллектуальные силы России впервые получали в свое распоряжение такую широкую трибуну, равную по возможностям "Библиотеке для чтения" – той цитадели, которую им и должно, и возможно было теперь поколебать. И. И. Лажечников, выражая общее мнение, писал, например, Краевскому: "Даю руку мою на новое ваше предприятие; верьте, что тут же и сердце мое. В "Лит<ературных> Приб<авлениях>" арена была слишком тесна для боя с рыцарями тьмы и корысти; радуюсь, что вы выбрали поле более обширное".

Все это было замечательно, однако уже при первых шагах новорожденного журнала послышались в его адрес и реплики весьма критического свойства, и повод к этому подала прежде всего все та же программа журнала, показавшаяся некоторым весьма расплывчатой: в ней отсутствовало само понятие направления нового органа – оно было подменено невнятно звучавшей установкой на "энциклопедизм". "Желая дать пристанище всем мнениям без различия, Редакция будет принимать статьи, написанные не только против ее убеждения, но даже в опровержение ее собственных мыслей..." – записал Одоевский в своей подготовительной тетради к "Отечественным запискам"; этот тезис получил отражение и в окончательном тексте редакторского анонса. Между тем уже в феврале 1839 года Н. И. Надеждин, опальный редактор разгромленного три года назад "Телескопа", посвященный в закулисные дела нового петербургского журнала, писал Краевскому из Одессы: "В критике надо резче обрисовать свой взгляд и литературный кодекс..." Настороженно отнесся к "мешанине" "Отечественных записок" и Герцен. Но особенно любопытны в этом смысле первые отклики на журнал Белинского, обнаруживающие еще очень подспудные, но тем

не менее "болевые точки", уже таившие в себе зерно будущих разногласий с редакторами "Отечественных записок".

Стремясь в это время в Петербург и ведя интенсивные переговоры с Краевским по поводу возможного своего переезда в столицу и сотрудничества в "Отечественных записках" и "Литературных прибавлениях", критик, при общей высокой оценке вышедших номеров журнала, который он считал, как писал Краевскому, "теперь единственным в России по внутреннему достоинству" и "нашим общим делом", позволяет себе и довольно резкие отзывы в адрес отдельных публикаций – прежде всего теоретических. Так, почти негодование вызывает у него статья И. И. Давыдова "О возможности эстетической критики" – "гнусная статья пошляка, педанта и школяра", и Белинский недоумевает, какими судьбами попала она на страницы "Отечественных записок". Еще раньше он раздраженно писал Краевскому о большой "пакостной" статье Э. И. Губера "О философии", печатавшейся в первом и третьем номерах журнала. Обе стрелы были пущены, по существу, в одну и ту же цель, и, между прочим, вольно ли или нет, но косвенно метили и в Одоевского.

Инициатива приглашения Давыдова в качестве автора по столь важной для журнала проблеме, как принципы эстетической критики, принадлежала, конечно, Одоевскому – верному его ученику и последователю. Что касается Губера, то для сотрудничества в журнале – и именно в качестве историка философии – наметил его также он: это имя значится в его подготовительных материалах к "Отечественным запискам". Молодой поэт и критик, Эдуард Иванович Губер, происхождением из русских немцев, совсем недавно приобрел известность переводом "Фауста" Гете, предпринятым им при поддержке Пушкина. Отважный труд, впервые знакомивший русского читателя с великим творением и заслуживший авторитетные похвалы, Белинского не удовлетворил категорически. "Жалкий г. Губер, – писал он Панаеву, – *двукратно* жалкий – и по своему переводу, или искажению "Фауста", и по пакостной своей философской статье, которая ужасно воняет гнилью и плесенью безмыслия и бессмыслия". Нетрудно догадаться, почему губеровские очерки по истории философии отдавали для Белинского "гнилью" – той самой, которую обнаружил он и в предложенной переводчиком трактовке "Фауста", героя которого Губер воспринял как "символ нашего духовного стремления", завершающегося возвращением к вере, находящего выход "в отрадном успокоении религии". И вполне понятно, отчего этот строй мыслей откликнулся в Одоевском сочувствием и поддержкой. Конечно, "налет ортодоксальной христианизации", по словам современного исследователя, с некоторым оттенком мистицизма, не мог не вызвать противодействия Белинского. В обоих случаях это был целенаправленный протест против теории и практики романтического идеализма, против "жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга". Спустя три года Белинский признавался Николаю Бакунину: "С некоторого времени во мне произошел сильный переворот; я давно уже отрешился от романтизма, мистицизма и всех "из-

мов"…" ЭТО было начало "теоретического разрыва" (Герцен) с романтизмом, и с этих позиций решал теперь Белинский не только чисто литературные, но и социально-политические, и эстетические проблемы. Не случайно, обсуждая вопрос о своем сотрудничестве в "Отечественных записках", требовал он для себя полной и независимой свободы выражения собственных суждений и, будучи в крайне стесненных обстоятельствах, когда, казалось бы, не приходилось выбирать, жестко писал Панаеву – посреднику в его переговорах с Краевским: "Если дело дойдет до того, что мне скажут: независимость и самобытность убеждений или голодная смерть – у меня достанет силы скорее издохнуть, как собаке, нежели живому отдаться на позорное съедение псам <…> Что делать – я так создан".

То, что необходимость столь категорических условий реально для него существовала, подтвердили, как видим, первые же номера журнала.

Тем не менее издатели "Отечественных записок", очень скоро разочаровавшись в приглашенном в журнал, в отдел критики, московском публицисте В. С. Межевиче, работавшем ранее в "Молве" и "Телескопе", с готовностью пошли на переговоры с Белинским. Н. Ф. Павлов, например, возмущенный этим шагом петербуржцев, возлагал всю "вину" именно на Одоевского: "...скажи, ради Бога, – вопрошал он своего корреспондента, – для чего вздумалось вам к концу года и к началу нового напречь все силы, чтоб уничтожить плоды своего долготерпения, ума, души и трудов? Вы выписали Белинского. Ведь он известен. Этот мортус отправил похороны "Телескопа" и "Наблюдателя". Я думал, что для облегчения Краевского необходима такая пишущая машина, как Белинский, но мне в голову не входило, что над ним не будет надзора, что он станет то же писать, что писал в "Наблюдателе", что даст цвет и свое направление "Отечественным запискам". Вот тут ты кругом виноват. Вот равнодушие-то непростительное. Ведь ты не читал, видно, его статей; видно, и Краевский также не читал..."

Последний упрек отдавал откровенным сарказмом. Примерно то же внушали из Москвы и Краевскому бывшие "наблюдатели", на поддержку которых в Петербурге очень рассчитывали. Погодин советовал не слушать "вздору юношей и мальчишек".

Однако ни Одоевский, ни Краевский, читавшие, думается, статьи Белинского с особенным, удвоенным пристрастием, благим этим советам не вняли: в октябре 1839 года критик был уже в столице, а в декабре Панаев сообщал К. С. Аксакову: "Белинский здесь в сильном ходу. Краевский от него в восторге, кн. Одоев<ский> за ним ухаживает..." Сам Белинский вскоре по приезде писал Боткину: "Князь Одоевский принял и обласкал меня, как нельзя лучше". На первых порах критик бывает, кажется, у него в доме довольно регулярно: то показывает ему музыку москвича Л. Ф. Лангера, то обедает у князя в обществе Гоголя, то знакомит его с переводами Боткина.

Приглашение Белинского в "Отечественные записки" было шагом серьезным и смелым – это понимали и друзья, и недруги. Булгарин,

встретив Панаева на Невском, остановил его со словами: "Почтеннейший, почтеннейший – бульдога-то это вы привезли меня травить?"

Однако идиллия, воцарившаяся в редакции "Отечественных записок" в первые месяцы после появления здесь Белинского, была довольно иллюзорной: очень скоро началась корректная по форме, но по существу – позиционная война за определение лица и направления журнала. В противовес тезису, сформулированному Одоевским и подхваченному Краевским – отринуть тон учительства, "дать пристанище всем мнениям без различия партий", в том числе и убеждениям, противным редакции журнала, Белинский с первых же шагов принялся и "учить", и "исправлять" нравы – общественные, эстетические, литературные. Несходство позиций не замедлило явиться и читателю.

В ноябрьском, за 1840 год, номере журнала была напечатана статья Одоевского "Записки для моего праправнука о русской литературе", пронизанная негодованием по поводу состояния современной отечественной словесности, все еще пребывающей в "младенческом" возрасте. Со свойственной ему публицистической страстностью обличал автор беспомощность и непрофессионализм литераторов, занимающихся литературой лишь походя, между делом, и знающих о жизни действительной весьма мало; изливал сарказмы на критиков, которые берутся судить о том, чего не знают вовсе, наконец – на "состояние гостиных", этого центра интеллектуальной жизни, где, однако, благодаря жестко установленному "церемониалу" – подобно ненарушимому этикету "царства богдыхана" – душится всякая живая мысль. Сатирические пассажи, совершенно в духе его молодых социально-обличительных и антисветских филиппик, заключал Одоевский пессимистическим выводом: в сегодняшней России "между наукою и жизнию, между литературою и жизнию, между поэзией и жизнию – целая бездна". "Впрочем, виновато ли общество? – задавался при этом автор риторическим вопросом, подводившим его к излюбленному тезису, к обличению подлинных, по его мысли, "виновников" всех бед, переживаемых современной литературой: существованию в ней "класса промышленников", "поставщиков" литературного эрзаца; оттого и живет литература "противоестественною жизнию".

Через номер, в январе следующего года, на страницах "Отечественных записок" появилась первая программная статья Белинского "Русская литература в 1840 году". В ней, в частности, было уделено место и разбору "Записок..." Одоевского. Говоря о "бесплодности" современной русской литературы, о взаимных обвинениях "производителей" и "потребителей" – публики и сочинителей, он вскрывает "более общие причины" этого противоречивого процесса, полемизируя с Одоевским уважительно, но твердо. Признавая, что автор "Записок" очень основательно, оригинально и сильно обвиняет нашу литературу в ее постоянной стрельбе мимо цели, когда она берется за изображение общества, особенно "высшего", критик восклицает: "Где же вина литературы, если она не находит для своих портретов оригинальных лиц, с отпечатком внутренней жизни? Литература должна быть выражением

жизни общества и общество ей, а не она обществу дает жизнь <...> Где нет внутренних, духовных интересов, внутренней, сокровенной игры и переливов жизни, где все поглощено внешнею, материальною жизнию, – там нет почвы для литературы, соков для питания..." Это было новое понимание "разумной действительности", к которому начал подходить Белинский и согласно которому именно она, эта действительность, как ничто другое, предопределяет духовное состояние общества. Взгляд критика обнаруживал совершенно иной, нежели у Одоевского, угол зрения на процессы духовной жизни; их неопровержимая диалектика ставила под сильный критический удар обличительный пафос самого автора "Записок", обнаруживая, что и он, подобно тем, кого обличает, бьет "мимо цели".

В своих позднейших воспоминаниях о критике, проникнутых искренним, удивленным восхищением перед этой "высшей философской организацией", Одоевский совершенно точно определил характер их отношений: "Всякий раз, когда мы встречались с Белинским (это было редко), мы с ним спорили жестоко".

...Еще в самом начале 1842 года, когда было уже известно, что Одоевский, возможно, отправится вскоре в заграничное путешествие, Краевский запрашивал его по поводу "возможности объявления", в случае его отъезда, о передаче своей "власти" в журнале двум остающимся редакторам – ему и В. А. Владиславлеву. Однако это письмо содержит и недвусмысленные свидетельства начавшихся разногласий – оно звучит ответом на критические замечания Одоевского, "во многом очень справедливые".

По возвращении из-за границы Одоевский заметно отдаляется от журнала Краевского и перестает играть в нем ту важную роль, какой отмечены были начало и первые годы существования "Отечественных записок". Помимо серьезных и глубоких расхождений с Краевским, резко менявшим характер и направление своей издательской и журнальной деятельности, помимо депрессивных настроений, владевших Владимиром Федоровичем, существенную роль в этом сыграло и еще одно обстоятельство.

Родовитый князь был исправным чиновником. В мае 1840 года открывается вакансия на довольно значительную должность во II отделении Собственной его императорского величества канцелярии, ведавшем законодательными делами, и предпочтение среди кандидатов на нее отдается Одоевскому. В этом нет ничего удивительного: II отделением управляет в это время Дмитрий Николаевич Блудов, столкнувшийся, как мы помним, с ним на служебном поприще еще в самый начальный период его чиновнической деятельности, в пору работы над цензурным уставом, и тогда уже оценивший незаурядные возможности молодого человека, которого он сразу к себе приблизил. В новой должности Одоевский был привлечен Блудовым (опять же, как и при составлении цензурного устава, – в качестве редактора) к выпуску переиздававшегося под его началом "Свода законов": по собственным воспоминаниям Владимира Федоровича, работали они тогда бок о бок.

Вскоре после возвращения Одоевского из-за границы ему поручается новое важнейшее дело, ознаменовавшее еще одну, совершенно доселе не известную страницу его биографии – "кавказскую".

Дело касалось унификации законодательных основ, издавна действовавших в Закавказье и восходивших к древним правовым нормам и национальным обычаям, с общими законами Российской империи.

Задача эта оказалась не только трудной, но и весьма щекотливой, ибо обнажила всю амплитуду колебаний политической морали: от вынужденного или убежденного следования реформаторов великодержавным принципам до нравственных страданий, воистину достойных пера Достоевского.

К решению "закавказского" вопроса в разное время так или иначе привлекались лучшие русские государственные умы, за ходом законодательной работы тревожно и неусыпно следил сам Николай, и как ни странно это может показаться сегодняшнему читателю, вполне приученному к "ужасам" царизма, но именно рукой самодержца (добавим при этом: на российском троне – не лучшего!) была в решительный момент предотвращена идея прямой и грубой русификации края.

Среди тех, кто оказался причастным к этой работе самым непосредственным образом, совершенно неожиданно возникает имя Владимира Федоровича Одоевского.

Предыстория же в коротких словах такова.

К моменту присоединения к России в Грузии уже почти столетие действовал законодательный свод, выработанный грузинским царем Вахтангом V Законодателем. Известный под названием "Уложения царя Вахтанга", он представлял собой весьма своеобразное собрание законов, состоявшее из собственного "Уложения" Вахтанга, а также законов греческих, армянских, основанных на римском праве и включавших в себя величайшие постановления древнего Рима, царя Георгия, Агбуги (мусульманских), Моисеевых и Католикосских.

В Высочайше конфирмованном постановлении 1801 года о внутреннем управлении вновь присоединенной Грузии основная законодательная сила в гражданском судопроизводстве сохранялась за сводом "Уложений царя Вахтанга" и лишь в уголовных делах требовалось выполнение законов Российской империи.

Вместе с тем уже тогда новому начальству Грузии предписано было собрать и привести в большую упорядоченность местные законы и обычаи.

Однако управление страной, жившей по освященным многими веками традициям, с поразительной национальной пестротой, оказалось делом довольно хлопотным. К тому же неосведомленным в особенностях жизни Закавказья русским чиновникам "Уложение" представлялось несовершенным и противоречивым. У них создалось даже впечатление, будто оно и вовсе не принималось местным населением как обязательное и что на практике предпочитали здесь сплошь и рядом следовать давно сложившимся"неписаным" законам, согласным с народными обычая-

ми. Попытки же введения российского правопорядка явно вносили в сознание коренных жителей (или, как их именовали по тогдашней терминологии в официальных документах, "туземцев", что не несло, впрочем, в себе никакого уничижительного смысла) лишь сумятицу.

Оставим в стороне юридическое существо и все подробности вопроса, долгие и сложные перипетии напряженнейшей внутриправительственной борьбы за наиболее приемлемые формы как юридической, так и реальной унификации законов, длившейся пятьдесят восемь лет! Это тема специальная и в печати нами уже освещенная. В щекотливой и ответственной с точки зрения человеческой и государственной морали работе, которую поручил своему старшему чиновнику Блудов, сейчас нас прежде всего интересует **нравственный** ее аспект – собственно юридический и историко-правовой анализ результатов его труда, предъявленных в виде увесистого тома в 360 страниц и содержавшего скрупулезно, до малейших деталей продуманные рекомендации по законодательным преобразованиям Закавказского края, мы оставляем специалистам.

В апреле 1842 года, в результате полного провала реформаторской деятельности очередного "преобразователя" Закавказья сенатора П. В. Гана, специальным указом организуется новый, особый Комитет по делам Закавказья, а также Временное – VI – отделение Собственной его величества канцелярии по делам устройства Закавказского края, просуществовавшее, впрочем, до конца 1850-х годов.

На этот раз Комитет представлял собой синклит крупнейших государственных умов: председателем его назначен был военный министр А. И. Чернышев, членами – председатель Департамента законов Государственного Совета и Главноуправляющий II отделением граф Д. Н. Блудов, а также министры: внутренних дел – Л. А. Перовский, государственных имуществ – граф П. Д. Киселев, финансов – граф Е. Ф. Канкрин; сюда же вошли наследник, великий князь Александр Николаевич, и Бенкендорф. Комитету предоставлялись самые широкие полномочия.

Управляющим Временным отделением стал М. П. Позен, человек умный и дельный, сделавшийся и личным докладчиком Николая: вся работа велась под пристальным монаршим наблюдением. Непосредственное составление нового проекта отдается в руки наиболее опытного в подобных вопросах Блудова. Более того, привлекается к этой работе и Михаил Андреевич Болугьянский (Балугьянский) – уже весьма престарелый, 74-летний статс-секретарь, блестящий знаток в области государственного права, юрист по образованию и первый ректор Петербургского университета, "правдивейший и беспритязательнейший", по свидетельству М. А. Корфа, человек, любимый наставник Николая. Кстати, имя его, как ни парадоксально, фигурировало во время следствия по делу декабристов в качестве одного из предполагавшихся участников тайного общества. В свое время, при составлении "Полного собрания" и "Свода законов", Болугьянский сыграл важную роль главного советчика и консультанта М. М. Сперанского. Теперь его уникальная эрудиция и практический опыт понадобились вновь.

Таким образом, силою "могучих обстоятельств" правовая участь

Закавказского края оказывается в начале сороковых годов в руках блистательного профессионального триумвирата.

Впервые имя старшего чиновника II отделения князя В. Ф. Одоевского возникает среди этих лиц в марте 1843 года. 27 марта Блудову официально препровождается "Дело об отмене Законов царя Вахтанга", как оно именовалось в делопроизводстве, и приложенное к нему специальное "Отношение", 29 марта на полях этого "Отношения" появляется помета: "Копия сообщена кн. Одоевскому <..> Бумаги отосланы к<нязю> Одоев<скому> при письме от М. А. <Болугьянского>".

С этого момента Одоевский становится основным практическим исполнителем сложнейшего государственного поручения. Два других высоких его участника – Блудов и Болугьянский – вполне понимают всю серьезность задачи: старшего чиновника Одоевского не торопят и не понукают. По окончании работы на его письменном столе останутся горы исписанной бумаги, еще несколько томов – след тщательных исследований, изучения истории Закавказья и издревле действовавших здесь правовых норм, след глубокого аналитического освоения всех доступных источников, мучительных раздумий, наверняка стоивших ему многих бессонных ночей. На все это у него уходит без малого два года.

2 декабря 1844 года, представляя завершенный труд Болугьянскому для последующей его передачи Блудову, Одоевский сопроводил свою "Объяснительную записку" следующим письмом:

Ваше превосходительство,

Честь имею представить Вам мою работу по делу о Грузинских законах; одного прочтения Конфиденцияльного объяснения (в особом пакете) и Оглавления, одного взгляда Вашего достаточно будет для объяснения, почему сия работа не могла быть представлена прежде. В течение 20-летней моей службы я даже не воображал чего-либо подобного; сия работа выходит из ряда административных, а тем более законодательных дел, которые всегда опираются на какие-либо документы; здесь надлежало их изобрести для такого края, о котором сведений достоверных, могущих быть принятыми в основание для государственной работы – не существует, где должно было прибегать к индукциям при неверном и темном руководстве 30 томов разноречащих частных известий, а дело идет о благосостоянии целого края! Эта работа меня истерзала нравственно и физически; число одних цыффр приведенных и сверенных мною простирается до 10 тысяч.

Я осмеливаюсь просить Ваше превосходительство при представлении сего дела его сиятельству Конфиденцияльное объяснение приказать запечатать в Вашем кабинете в особо приготовленном для того пакете, не отправляя в канцелярию; на то я имею особые причины, которые явны и по содержанию сего Объяснения.

С глубочайшим уважением и совершенною преданностию честь имею быть
Вашего превосходительства всепокорнейшим слугою

Кн. Влад. Одоевский.

Однако "особого пакета", в который, кроме "Конфиденциального объяснения", были вложены также, согласно описи, и "Приложения", в "Деле об отмене силы и действия Законов царя Вахтанга", хранящемся в Центральном государственном историческом архиве, не оказалось, и разыскать его в других фондах не удалось. Очевидно, "особые причины", побудившие Одоевского к столь необычным для служебного делопроизводства предосторожностям, оказались и в самом деле вескими: "Объяснение" его к официальным документам явно приобщено не было.

По счастью, однако, эта "рукопись" все же не "сгорела": черновик ее находится среди бумаг писателя, хранящихся в Рукописном отделе Публичной библиотеки в Ленинграде. Замечательный документ, довершающий неожиданными и яркими штрихами облик писателя, сложившийся к исходу его творческого пути, позволяет проследить ясно выраженную здесь общественно-политическую его позицию, сочетавшую гуманистические устремления с приверженностью авторитарным интересам.

Позиция эта была достаточно сложна и своеобразна: она впитала и прежние идеалы, прежний богатый опыт духовного общения и с декабристами, и с людьми пушкинского круга, но также с удивительной последовательностью развила раннее его неприятие политического радикализма и антимонархических настроений. Его "Объяснительная записка по делу о Грузинских законах" освещена этим двойным, причудливым светом; исповедуемые теперь мысли высказаны "конфиденциально" с предельной, так свойственной ему на протяжении всей жизни прямотой.

Не углубляясь в детали, остановимся лишь на важнейших из них.

Прежде всего, из двух существовавших полярно противоположных "точек отсчета" в решении "закавказской проблемы" – взгляда "извне" и "изнутри" – Одоевский безоговорочно присоединяется к последнему, ратуя в противовес сторонникам грубой и неразборчивой в средствах русификации края за "естественное" историческое и экономическое его развитие. Он упорно настаивает на том, что "безусловная отмена" грузинских "постановлений" "была бы для нее бедствием".

Попав в 1829 году на Кавказ, Пушкин, между прочим, также увидел кавказскую ситуацию "изнутри". "Черкесы нас ненавидят, – написал он потом в "Путешествии в Арзрум". – Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены..." Вполне вероятно, что "угол зрения" Пушкина, подкрепленный, возможно, его живыми рассказами, сыграл для Одоевского не последнюю роль. Это совпадение их взглядов – не единственное.

В "Конфиденциальном объяснении", предназначенном Блудову, Одоевский признается, что "некоторые исторические пояснения" в его "Записке" присовокуплены "не без намерения". В частности, поясняет он, таковыми являются приводимые им исторические сведения "о древнем существовании христианства в Осетии <…> где благодетельное влияние религии было бы так важно для смягчения нравов почти диких

жителей <…> и где с 1815 года христианство не может укорениться несмотря на все усилия правительства". "Чему приписать сей неуспех, – восклицает Одоевский, – если не тому, что вместе с христианством входили в страну по незнанию, или по системе, и нарушения всех тех обычаев и поверьев, которые так дороги туземцам?"

В свое время для покорения "буйных" новой власти и новому, непривычному образу бытия предлагал и Пушкин, вместо огня и меча, средства "более нравственные", "более сообразные с просвещением нашего века" – например, проповедь Евангелия.

Идею "креста" вместо "меча" разделяли, между прочим, и другие сторонники "мирного" покорения горцев – в частности, Александр Бестужев, изучавший Кавказ со страстью ученого и историка. В одном из незавершенных его "кавказских" отрывков, где "трехгранной логике" противопоставляются "плуг или рубль в руке", говорится также и об евангельском учении, способном укротить "бурные нравы", стоит только проявить терпение, "справедливость и кротость", коими непременно будет побеждено в конце концов "вероломство".

Приверженность Одоевского существующему монархическому правопорядку отнюдь не вступала в противоречие с "нравственным" решением государственных проблем. Более того, только подобный подход к ним, особенно в столь сложном случае, открывал, по его мысли, путь к извлечению подлинной государственной пользы из присоединения к России новой обширной территории.

Насильственные меры, по мысли Одоевского, "отняли бы у правительства весьма сильные средства, представляемые ему туземными законами".

Одним из принципиально важных вопросов, впервые поднятых Одоевским, был вопрос об "особенном" положении грузинского крестьянства. Сложившееся в Закавказье исторически, на протяжении длительного времени, оно, как убежденно объяснялось в "Записке", никак не могло быть приравнено к российским понятиям крепостного права. "...Внимательное изучение "Законов Вахтанга" приводит к заключению, – пишет он здесь, – что крепостное состояние никогда (о чем в деле нигде не упоминается) не существовало в Грузинском крае, хотя русский переводчик и употребляет сие выражение, вероятно не зная как назвать **особенное** состояние грузинских крестьян". Разъясняя далее своеобразие этого "особенного состояния", при котором крестьянин всегда пользовался известной свободой в своих отношениях с помещиком и сохранял за собой по закону право выкупа, Одоевский предостерегает от непоправимых последствий, могущих возникнуть в результате нововведений по российскому образцу: "Можно себе представить, – восклицает он, – какое влияние на туземцев может произвести превращение их **особенного** состояния в **крепостное!** Сколько поводов к тяжбам, недоумениям и неустройствам" может возникнуть от введения в край "чуждых, необъяснимых для него понятий в виде закона, лишающего туземца самых дорогих для него прав". Такая мера, недопустимая с исторической и социальной точек зрения

сама по себе, была бы, по мнению Одоевского, "несообразна" и с "видами государственными". Сохранение льгот закавказского крестьянства, гораздо более свободного, нежели русское, он считает также "полезным" и "для дальнейших видов правительства".

Самый взгляд Одоевского на эту проблему, повышенное внимание к ней представляют двойной интерес: и как неординарная и независимая точка зрения государственного чиновника, и как прямое отражение собственной его социальной и гражданской позиции – позиции человека, являвшегося одним из самых убежденных противников крепостничества, немало сделавшего на этом поприще и до конца дней считавшего 19 февраля одним из великих праздников. "Объяснительную записку" можно считать в этом смысле едва ли не первым его "антикрепостническим манифестом".

Однако "Объяснительная записка" имела и еще один, совершенно особый подтекст.

Препровождая ее Болугьянскому, Одоевский не случайно писал, что эта работа вышла для него за рамки административных и тем более законодательных дел и "истерзала" его "нравственно". Думается, столь тягостные муки доставило Одоевскому не только сознание ответственности за дело, в котором шла речь о благосостоянии целого края, хотя, конечно, одного этого для нравственных терзаний было бы, кажется, уже вполне достаточно. Нет сомнения, что поручение Блудова пробудило в Одоевском и иные чувства: в его памяти не могли не воскреснуть друзья, нашедшие свою смерть за Кавказским хребтом, и прежде всего – кумир былых лет Грибоедов, несостоявшийся преобразователь Закавказья.

...Эти страницы последних грибоедовских лет перелистывали многие: Л. П. Гроссман, Ю. Н. Тынянов, А. А. Лебедев, И. Л. Андроников, Н. Я. Эйдельман... Перелистывали со страстью, скрещивая шпаги, виртуозно владея искусством научного боя. Перелистаем их вновь и мы, – но не для того, чтобы заново пересмотреть справедливость или несостоятельность тех или иных концепций, но чтобы ввести в круг спорящих еще одно лицо, до сих пор в этом споре не фигурировавшее: Владимира Одоевского.

...Далекий уже от нашего повествования Петербург 1828 года, последний приезд Грибоедова в столицу, победным гонцом Туркманчайского мира.

Вознесенный царскими милостями, "модный" в петербургском свете, Грибоедов полон, однако, живого интереса к прежним друзьям. С Одоевским же им было тогда о чем поговорить. В известном смысле они оказались в одной "упряжке": к этому времени Владимир Федорович также становится "государственным" человеком. Именно в ту зиму, в Петербурге, обдумывает Грибоедов и проект Российской Закавказской компании.

Поэтому вполне естественно, что тогдашние их разговоры касались, скорее всего, не только литературы, но и дел общественных, политических, служебных, наконец, в том числе и кавказских. Захвачен-

ный гордыми планами преобразования Закавказья, Грибоедов, наверное, с особенной охотой рассуждал в этот приезд вообще об экономических нововведениях в России, о будущем страны. С князем они должны были спорить: думается, тогда Одоевского, будущего автора страстных антикапиталистических филиппик, не мог не занимать вопрос о нравственных последствиях буржуазного прогресса. Проект же Грибоедова именно на него и был рассчитан.

Быть может, глухим отголоском тогдашних петербургских споров с Грибоедовым и прозвучало уже приводившееся признание Одоевского Кошелеву, взявшемуся привести в порядок его дела по имению. Полностью передавая другу свои полномочия, Одоевский, однако, как мы помним, присовокуплял, что смотрит на управление имением в России как на дело невозможное – по крайней мере для него: "...для этого надобно то, чего у меня нет вовсе и чего назвать не умею: то что есть – противно моим понятиям, то что я бы захотел – будет противно благу крестьян..." Идее "блага крестьян" Одоевский будет служить потом фанатично: вскоре он станет одним из самых рьяных сторонников отмены крепостного права. Письмо Кошелеву – след уже начавшихся раздумий на эту тему.

В "буржуазном" грибоедовском проекте одним из самых спорных и уязвимых оказался именно вопрос о рабочей силе, вызвавший резкие возражения первых же его оппонентов. Как известно, Грибоедов предлагал – для пользы дела – переселить в гибельные для северных жителей южные места российских крестьян, скупленных у помещиков.

"...То что я бы захотел – будет противно благу крестьян..." Это – весьма существенные, важные мысли Одоевского о российском правопорядке, касающиеся крестьянского вопроса, и в этом духе должен был он возражать Грибоедову на один из самых "больных" пунктов складывавшегося и, возможно, обсуждавшегося в узком дружеском кругу знаменитого проекта.

Понятно, что не вспомнить в 1843 году "знакомых мертвецов живые разговоры" Одоевский не мог. И конечно, прежде всего не мог не вспомнить о Грибоедове – и потому, что тот до тонкостей знал Закавказье, и потому, что теперь и ему самому было предложено судьбой то, что давний его друг пытался взять на себя самозванно: решить судьбу целого края.

Располагаем мы и другим косвенным свидетельством присутствия "тени" Грибоедова в сознании Одоевского этого времени. Среди его черновых бумаг сохранилась на небольшом обрывке листа любопытная переписка с неизвестным лицом: вопрос-ответ, вопрос-ответ, переписка, которая могла иметь место, скажем, на каком-нибудь домашнем концерте или в аналогичной ситуации, когда неловко было переговариваться вслух. Содержание же ее таково:

Рукой Одоевского:

"Были ли изданы особенною книжкою статьи, касающиеся до присоединения к России Армянской области? Если были, то под каким названием их можно купить и нет ли у тебя?"

Рукой неизвестного:
"Нет, и я не знаю даже какие статьи. Родофиникин знает, напоминал о возвращении Вахтанга; вследствие чего пришли его если можешь нынче, а завтра непременно".
Рукой Одоевского:
"Неуж при переходе армян в наше владение ничего не было на письме, ни листа бумаги не потрачено? Я помнится что-то читал".
Рукой неизвестного:
"Только и было упомянуто в Манифесте о мире с Персиею, да в газетах об отправлении Паррота в Арарат, и экспедиция от министерства финансов, а немного после Аптекаря туда же. – Не забудь же о Вахтанге".

Комментарии, как говорится, излишни: "Манифест с Персиею" – это и есть тот самый Туркманчайский мир, который доставил Грибоедов в Петербург и по которому отходила к России Армянская область.

Вряд ли может представиться натяжкой ощущение того, что "Объяснительная записка" Одоевского в известном смысле оппозиционна Грибоедову, – пожалуй, Тынянов мог бы взять себе в неожиданные союзники и автора "Русских ночей". Спустя четырнадцать лет Одоевскому выпало, быть может, доспорить с прежним своим кумиром – и это, думается, также явилось одной из причин "нравственных терзаний". Грибоедовской идее несвойственного, преждевременного Закавказью буржуазного пути развития, пути, который должен был быть умощен к тому же российскими рабами, Одоевский противопоставлял мысль о естественных, исторически сложившихся национальных формах поступательного движения, и не случайно, наверное, уделил он, в частности, такое большое внимание "особенному состоянию" грузинского крестьянства.

Кстати, в приведенной только что переписке Одоевского с неизвестным лицом одна деталь нуждается в специальном комментарии. Дело в том, что переписывавшиеся упоминают Константина Константиновича Родофиникина, директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел, умершего, однако, в... 1838 году! Уже из одного этого факта недвусмысленно явствует, что интерес Одоевского к Закавказью возник гораздо прежде того, как получил он по службе поручение Блудова, и не исключено, что самый выбор Блудовым исполнителя по подготовке законодательного проекта для Закавказского края был как раз продиктован тем, что Управляющий II отделением прекрасно знал об этих интересах своего подчиненного – ведь Одоевский и Блудов вне стен департамента поддерживали довольно интенсивные светские отношения и Блудов находился в числе посетителей салона Одоевского.

Значительная осведомленность Одоевского в закавказских делах – причем "из первых рук" – имела, как нетрудно догадаться, и еще один постоянный источник: им был Алексей Алексеевич Филиппов, отдавший службе в Грузии четверть века. К концу тридцатых годов, в период правления в Закавказье одного из безоглядных сторонников "русификации" края Е. А. Головина и реформ Гана, Алексей Алексеевич занимал должность губернского прокурора и был в числе открытых противников предполагавшихся Ганом нововведений. Конфликт его

с "реформаторами" оказался настолько непримирим и резок, что дошел в конце концов до Петербурга и, более того, был доведен даже до сведения Николая. Обличения Филиппова – честного и неподкупного служаки и к тому времени – прекрасного знатока края, прослужившего уже здесь двенадцать лет в разных провинциях, представлялись, очевидно, Гану и Головину столь опасными, что они развернули против него настоящую войну и, постаравшись привлечь на свою сторону все доступные им петербургские силы, добились смещения Филиппова с прокурорской должности, вызвав, между прочим, протесты Позена. Все это имело место, естественно, до окончательного "разоблачения" Гана, то есть с мая 1838 года, когда Филиппов вступил в должность прокурора Верховного Грузинского правительства, и по июль 1840-го, когда он был от нее отстранен.

Все служебные перипетии дядьки тотчас становились известны его племяннику в деталях: Филиппов рассказывал о них в письмах, прося поддержки и помощи. Владимир же Федорович хлопотал за него, конечно, прежде всего через Блудова.

Время, отданное Одоевским этому чрезвычайному делу, было для него напряженным вдвойне: параллельно с работой над новым грузинским законодательством он готовил первое Собрание своих сочинений.

Судьба распорядилась знаменательно, как бы предоставив возможность писателю и мыслителю, подводившему итог не только своим художественным и философским, но и нравственным исканиям, тотчас приложить их в дело, да еще столь выходящее вон из ряда обыденных. Прислушаемся вновь к вырвавшимся из глубины сердца словам его о "нравственных терзаниях", доставленных этой работой: они исполнены многосложного смысла.

Откликаясь развернутой и глубокой рецензией на выход этого единственного трехтомника, Белинский укорял Одоевского в столь запоздалом его появлении. Критик был прав и не прав, ибо писатель, в общем мало заботившийся о славе, и это свое Собрание составил отнюдь не как полное, а – избранное, заключавшее в себе то, что могло быть представлено как итог всей творческой деятельности. Этим и был продиктован в первую очередь состав.

В первом томе читатели впервые увидели "Русские ночи" в завершенном виде. В форму уникального в русской литературе философского романа вылился не только самый монументальный из всех замыслов писателя – "Дом сумасшедших", но и многое, что было передумано и перебрано за предшествующую творческую жизнь.

В два других тома, игнорируя хронологическую последовательность, но как бы следя развитие единой сквозной мысли, Одоевский включил отобранные им разновременные сочинения, объединив их в тематические циклы. Одного из них, под названием "Домашние разговоры", составившего второй том и вобравшего в себя наиболее существенную проблематику всего новеллистического творчества писателя 1830-х годов, мы касались ранее, в связи с фантастическими повестями.

Однако наряду с "Сильфидой" и "Саламандрой" сюда вошли рассказы и условно-фантастические – "Черная перчатка" и "Imbroglio", и "светские" – автобиографический "Новый год", "Княжна Мими" и "Княжна Зизи".

Третий том, содержание которого, как было уже сказано, переменилось в последний момент, в окончательном виде сформировался из четырех разделов: "Рассказы путешественника", "Опыты рассказа о древних и новых преданиях", «Отрывки из „Пестрых сказок"» и "Смесь", включившая два небольших рассказа из "домашней жизни", "Письма к графине Ростопчиной" и статью из "Современника" "О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе".

Первые два цикла вновь объединили разножанровые произведения: первый – новеллу из светской жизни "Свидетель" и "готический" рассказ Иринея Модестовича Гомозейки "Привидение"; второй – фантастического "Игошу", "Санскритские предания", дидактического "Живого мертвеца" и бытовую, пронизанную автобиографическими реалиями "Историю о петухе, кошке и лягушке".

Принятый писателем принцип циклизации по внутренней своей логике напоминает каноны построения музыкальных полифонических произведений, сами же циклы – своеобразные "полифонические тетради", подобные собраниям столь излюбленных Одоевским Б аховых прелюдий и фуг. Сквозные идеи и темы легко и органично транспонируются в них в различные жанровые регистры, и жанровые различия как бы теряют при этом силу.

Но, конечно, подлинным открытием "Сочинений" стали "Русские ночи", стройно соединившие философские искания русского Фауста. Прозвучал последний, мощный, завершающий аккорд; застывшие в слове звуки, никогда и никем более в столь целостной форме не повторенные, донесли до потомства мысли "доброго, умного человека".

Нет нужды здесь говорить о "Русских ночах" подробно – иначе пришлось бы повторить все то, что отложилось уже на страницах нашего повествования. Выстраивая это философское здание, пронизанное идеями универсальными, обнимающими все стороны духовного бытия человека, Одоевский не только ввергает четырех своих героев-собеседников в сложнейший интеллектуальный спор о путях к Истине, который вел на протяжении всей жизни с самим собой; он включает сюда в виде вставных художественных "иллюстраций" и то, что также было создано им ранее. Однако два небольших художественных текста, два этюда появляются в "Русских ночах" впервые: это "Последнее самоубийство" и "Цецилия", заключающие "Ночь четвертую" – ту, где писатель с наибольшей силой и выразительностью, крупными мазками, прочерчивает духовный и жизненный путь некогда горделиво-холодного и уверенного в непреложной своей правоте "экономиста".

Предпоследняя новелла этой "Ночи", "Последнее самоубийство" исполненная мрачного пророчества, рисует ужасающие картины конца человечества, в котором возобладали эгоистические, зверские инстинкты. Отчаянный, провидческий взгляд Одоевского выхватывает в представшем его мысленному взору будущем лишь голод, болезни и злове-

щую жажду взаимного уничтожения обезумевших от лишений людей. Явившиеся в это время "пророки отчаяния" узрели начало людских бед там, где "счастие всех людей" было восстановлено "против счастия каждого человека", где обществу, словно "злому духу", "блаженство души" было продано "за блаженство тела", где забыт был сокровенный смысл самого понятия: "жизнь". Жестокие пророки открывают людям, перед концом их, горькие и безнадежные истины; сами изверившиеся, устремляясь мыслями в прошлое, они с грустной иронией находят там лишь единственное "надежное средство" "против неистовой жизни": ничтожество малодушия. Даже невыразимое, являвшееся в туманах облако, называемое "поэзиею, философией", оказалось бессильно. "Жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение". Еще минута – и "мессия отчаяния" довершает "отмщение" – отмщение, взлелеянное щедротами самой жизни: "В уреченный, торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостию взялись за руки; громовой упрек выражался в их взоре <…> раздался грозный хохот, то был условленный знак – в одно мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс солнечную систему... раздались несколько стонов... еще... пепел возвратился на землю... и все утихло... и вечная жизнь впервые раскаялась!"

Второй коротенькой новелле, следующей вслед за этой, предпослана авторская ремарка: "Предшедший отрывок написан сочинителем незадолго пред его кончиною; к счастию, он не остался в этом неестественном состоянии души. В последнем отрывке, "Цецилия", видно воздействие религиозного чувства; этот отрывок, по-видимому, написан в сильном волнении духа, напоминает библейские выражения, вероятно тогда читанные автором, и написан рукою почти неразбираемою..."

Даже не подозревавшие никакой подоплеки новейшие комментаторы "Русских ночей" уловили несомненное сходство этого "отрывка" с давними набросками неосуществленного романа. Вновь написанный, пронизанный светлой печалью, подобный стихотворению в прозе, он звучит прощанием Одоевского с его Цецилией:

"Он верил, что за голубым отблеском есть сияние, что за неясным отголоском есть гармония; и будет время, мечтал он, – и до меня достигнет сияние Цецилии, и сердце мое изойдет на ее звуки, – отдохнет измученный ум в светлом небе очей ее, и я познаю наслаждение слезами веры выплакать свою душу... Меж тем, жизнь его вытекала капля за каплею, и в каждой капле были яд и горечь!.."

Круг замкнулся.

Жизнь привела литературного двойника писателя к тому же горестному финалу, что и его создателя, к тому, исполненному трагизма и безнадежности, прозрению, на которое осудил он и самого своего любимого героя – Себастияна Баха...

ЭПИЛОГ

В августе 1844 года "Сочинения князя В. Ф. Одоевского" увидели свет. Путь в литературе был завершен. Правда, имя писателя раза два мелькнуло еще на журнальных страницах, но то были последние запасы литературного портфеля. Белинский, оценивая творческую деятельность Одоевского, написал, что у него странная слава: имя его известно более, нежели сами сочинения.

Для многих, даже из близкого окружения – тех, кто пытался заглянуть в него поглубже, он так и остался загадкой.

В 1845 году Плетнев признавался Жуковскому:

"Но что сказать об Одоевском? В нем все еще остается что-то неразгаданное. Он к чему-то стремится. Только в намерениях и поступках его, в цели и средствах, в желаниях и их осуществлениях столько несогласия и противоречия, что я готов признать его за существо, от природы обделенное каким-нибудь органом..."

Сам писатель, откликаясь в письме Краевскому на статью Белинского, напечатанную анонимно, с горечью восклицал: "Скажите, кто это меня так горячо любит и так досадно, так жестоко не понял?"

Но худо ли, хорошо ли – точка была поставлена. Первый, исполненный страстей и противоречий, но отмеченный и творческим взлетом, круг был завершен. Одоевский ступил на порог новой эпохи – и новой, другой своей жизни.

Постепенно, один за другим, уходили свидетели прошедших лет; редкие напоминания былого отдавались в надломленной его душе звуками почти уже потусторонними.

После длившегося десятилетия перерыва нарушил вдруг молчание Кюхельбекер – в 1845 году раздался его ссыльный голос: "Узнаешь ли, старый товарищ по журнальному поприщу, некогда друг Грибоедова и мой, добрый Владимир Федорович, узнаешь ли, кто к тебе пишет? Двадцать лет ты не видал этого почерка..." Погасший и больной, смутно представляя нынешнее бытие горячего своего соиздателя, Кюхельбекер взывал к тому, молодому Одоевскому:

"Тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас!" Одоевский и сам держал ответ перед дорогими тенями – они неотступно стояли за его спиной. Он "представительствовал" за них перед вновь народившимся поколением, как умел. Но был ли он счастливее?..

Неумолимое течение времени уносило, однако, и память сердца.

Спустя еще семнадцать лет в дневнике состарившегося уже писателя появилась короткая отрешенная запись:

"У меня Гербель (с просьбою дать какие-либо сведения о брате Александре и о Кюхельбекере – мало могу что сообщить, ибо последнего знал лишь один год, а первого в разное время лишь несколько месяцев)..."

...В 1848 году скончалась Екатерина Алексеевна, давно расставшаяся с Сеченовым, простившаяся по горькой необходимости и с любимым Дроковым и доживавшая свои дни в Москве. О смерти матери Одоевский узнал от Алексея Алексеевича. "Кавказские" неприятности – конфликт с Головиным и Ганом – кончились для него плачевно: намыкавшийся за одинокую свою жизнь, кляня и Грузию, он вышел в отставку и поселился с сестрой в Москве. Но обиды прошли, и сердце его вновь затосковало по оставленному Кавказу. Не выдержав этой тоски, Филиппов вернулся в Тифлис, чтобы окончить сужденный ему век под ласковым грузинским небом. Неистовое же чувство праведности сохранилось в нем нетронутым. Именно оттуда, из Тифлиса, отправил он своему племяннику в Петербург холодное, непрощающее письмо с известием о смерти сестры:

Милостивый государь
князь Владимир Федорович!

О том, что 11 августа Вы лишились матери, а я сестры, я написал к Вам 23 августа... сестра скончалась в доме Замятиной, Хамовнической части, близь Зубовского бульвара, в Долгом переулке...

Умерла и Варвара Ивановна Ланская – добрый ангел Одоевского. Родственница же ее, Надежда Николаевна, пережила князя на пять лет и на два – Ольгу Степановну.

После побега с Грифео и разразившегося громкого скандала, который повлек за собой бракоразводный процесс, длившийся двадцать лет, она хлебнула, кажется, горя. Страстный итальянец вскоре ее оставил. Возвратного пути в Россию не было, и спустя какое-то время Надежда Николаевна перебралась во Францию, проживая пенсию, назначенную великодушным Ланским. Довелось ли ей еще раз свидеться с Одоевским? Неизвестно. Письма прошлого донесли лишь до нас след ее позднего приятельского общения с Соболевским – в Париже, в начале 1860-х... Последнее успокоение она нашла на католическом кладбище Монмартр...

Владимир же Федорович в эти годы заметно переменился. Он неистово отдался благотворительности – впрочем, как и его жена, – и пришел к мысли, что "вечного горя" не существует.

В 1845 году он еще подумал было предпринять новое издание своих сочинений – да как-то не сладилось. Ушедший вскоре с головой в новое свое детище – "Общество посещения бедных", – он позже, много спустя, оправдывал этим свое литературное молчание: "...на меня пало одно дело; друзья мои знают – какое... они также хорошо знают, какого

рода занятий и какой упорной борьбы оно требовало. Этому делу, в течение девяти лет, я принес в жертву все, что я мог принести: труд и любовь; эти девять лет поглотили мою литературную деятельность всю без остатка... Затем нелегко – всякий это знает, – после долгого отсутствия, возвратясь на прежнее пепелище, связать настоящее с давнопрошедшим, концы с концами".

Утешительная отговорка – вольная или невольная. Вокруг шумели уже другие люди, исповедовавшие и иные идеалы. Князь представлялся их равнодушному взору старомодным и едва не отжившим свой век. Его научные и просветительские устремления мало кого занимали. Между тем мысли его, нечувствительно и безымянно, расходились по страницам молодых и смелых сочинений.

В глазах же тех, кто общался с ним лично, он все оставался тем же добрым, бескорыстным человеком, а супружеский союз его с Ольгой Степановной – столь же идеальным...

В другую эту жизнь Владимир Федорович уверенно продвинулся по служебной лестнице. Вернувшись на склоне лет в родную Москву, он завершил свои дни первоприсутствующим московского Сената.

В 1858 году раздался еще один голос из прошлого – ему напомнила о себе Евдокия Петровна Ростопчина:

"Капитан Миаули, дедушка Ириней, Albert le Grand, Hoffman II, и проч., и проч., и проч., а теперь сиятельный князь, важный сановник.

В то время, когда я знала и ведала не только где вы и что с вами деется, но даже что вы думаете, и в каком тоне, мажорном или бемольном, находятся ваши мысли, ваши чувства, ваше внутреннее я... Да, где оно, это старое, гармоническое, поэтическое время, а?.. Non, non, vous n'êtes plus Lisette [1], говорил Беранже своей прежней возлюбленной, встречая ее в блондах и бархате, в шляпке с перьями и блестящем экипаже... Нет! нет! ты больше не мой Миаули, не сказочник, не сочинитель Bukler Valser, не гармонист, толкующий мне о привидениях, а нечто важное, серьезное, государственный человек; и потому я через "Indépendance Belge" [2] узнаю о вашем возврате на родину, и если бы не было газет, я бы не ведала о вашем существовании... а лучше ли вам среди грандеров?.. легче ли сердцу?.. счастливее ли вы?.. Нет, небось... и если б не *Савоська* порой услаждал слух ваш любимыми звуками Мендельзона и прочих, вы бы и не знали, среди своих забот и придворных должностей, что есть еще музыка на свете; что есть наслажденья кроме Анны через плечо и умственная, душевная пища помимо вечеров с Altezza и Durchlaucht, своими и чужими?.. А я хочу пробудить в вас давно уснувшее эхо бывалых мелодий, хочу потрясти ваши воспоминания, омолодить, оживить вас, хоть на пару часов. Вот вам, друг Одоевский, вот вам две книжечки, которые напомнят вам многое и многих, уже не сущих, но прежде вам милых, вот вам лейпцигское издание моей души, потому что я помню вашу ненависть к стереотипам и в ваше отсут-

---

[1] Нет, нет, вы уже не прежняя Лизетта (*фр.*).

[2] "Независимость Бельгии" (*фр.*).

ствие берегла вам этот гостинец для встречи, как поэтическую хлеб-соль! Ваше имя является гласно и печатно единожды, но как часто оно подразумевается на разных страницах, запечатленных моими сердечными исповедями!.. Если вы только станете перелистывать эти два томика, то они возобновят в вас все силы молодости и воображенья, они опоят вас вашими собственными воспоминаньями, так часто шедшими об руку с моими!.. Наши общие друзья воскреснут перед вами; ваши субботы, мои обеды, то с Глинкою, то с Листом, Мендельзоном и Шубертом, разыгрываемыми у Смирновой, ваши confidences [1] касательно ваших личных тайн, все, все тут, все оживет, заговорит, запоет перед вами дивную, страстную, животворную песнь старины".

Однако как ни хлопотал Одоевский на ниве благотворительности, просвещения и правопорядка, как ни отдавался с удвоенной страстью музыке, в которой по-прежнему находил отраду, прошлое все еще тлело в нем тихими, но незатухающими угольками, тлело, быть может, для последней, горделивой вспышки.

По смерти в бумагах его отыскалось неотправленное письмо, адресованное новому российскому самодержцу. В этом письме Одоевский испрашивал разрешения Александра II на продолжение труда Карамзина. Без ложного смирения он излагал государю не только свою "заветную тайну", но и свои на нее права: "Мой предок князь Никита имел счастие быть верным подданным, даже другом и поверенным всех таин Вашего предка, царя Алексея Михайловича. Позвольте мне иметь счастие быть Вашим бытописателем". Одоевский собирался писать современную историю своего отечества – труд под названием "Россия во второй половине XIX-го века". Он сознавал, что единственный может "выработать" верный материал для будущих историков: "Первый современный труд всегда служит подкладкою для следующих трудов и влияет на их направление". Престарелый писатель утверждал свое право на это, апеллируя к самым высоким нравственным авторитетам. Он напоминал Александру о своей дружбе с любимым наставником государя Жуковским, чьи упреки "из-за гроба" слышны ему: «Жуковский упрекает меня за бездействие и ободряет на делание: он любил во мне то, что он называл „определительностью мысли и слова, искренностью моих убеждений и умением писать по-русски"». Верный себе, готовый на новый, едва не самый значительный в теперешнем его представлении труд всей жизни, Одоевский отказывался от каких бы то ни было привилегий, в том числе и материальных, выговаривая себе единственное исключение. "В случае Вашего Всемилостивейшего разрешения, – писал он, – осмелюсь просить открытого входа в архивы, на том основании, как это было дозволено Карамзину..."

Владимир Федорович опасался лишь одного – слабости дряхлеющего здоровья: "...боюсь умереть прежде, нежели исполню предпринятое..."

Эти его опасения оказались основательны.

Письмо было писано незадолго до смерти...

---

[1] Признания (*фр.*).

ПРИМЕЧАНИЯ

Часть первая

Глава I. ЗАВЕЩАНИЯ

С. 15. Завещание Ф. С. Одоевского – Отдел Рукописей Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, пер. 101, № 8, л. 1–2. Против подписи духовника, на полях – помета неизв. рукой, сделанная, по всей видимости, при разборе бумаг О. после его смерти: "Вероятно был дом и в этом приходе. Может быть тут и родился".

С. 15. Об истории рода князей Одоевских (с генеалогич. таблицами) см.: ЦГИА, ф. 1681, оп. 1, № 62; ф. 957, оп. 1, № 11 (работа Власьева Г.А.); ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 15, № 1, 2; Соловьев С. М. История России с древнейших времен в 15-ти кн. М., 1959–1966, по указ.; экслибрис О. с гербом рода Одоевских – Рукописные собр. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. Указатель. Т. 1. Вып. 1 (1862–1917). М., 1983. С. 120.

С. 16. Повторное завещание Ф.С.Одоевского помечено 3 дек. 1807 года – Рукописный отдел Ин-та рус. литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), ф. 392, № 67, 2 л.

С. 16. *...из автобиографических записок Одоевского.* – "Мои записки": ГПБ, ф. 539, пер. 101, № 4, л. 1–10 (между прочим, О., рассеянность которого была широко известна, и здесь указал дату своего рождения с явной опиской: "Я родился в 1804 году с 30 июля на 1-е августа". (л. 2).); частично опубл.: Замотин И. И. Романтизм 20-х гг. XIX в. в русской литературе. Спб., 1913. Т. 2. С. 381; см. также: Автобиография кн. В. Ф. Одоевского. 1849. – Отдел рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина (далее: ГБЛ). ф. 233.38.32, 2 л. Авт. с пометой С. Д. Полторацкого (копия: Там же. 38.33, л. 9–10).

С. 16. *...семилетний Александр Пушкин...* – Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. С. 11; Пушкин А. <Ю.> Для биографии Пушкина // Москвитянин. 1852. № 24. Кн. 2. С. 24.

С. 17. *...примерно 25 тысячам.* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1480, л. 1–3.

С. 17. О продаже Новгородского имения – там же, № 1226, л. 2–3; дело по прошению опекунов В. Ф. Одоевского о продаже Новгородского имения. 2 апр. 1812 г. – 12 июня 1817 г. – ЦГИА, ф. 1583, оп. 2, ед. хр. 29.

С. 17. Письмо А. А. Филиппова А. П. Филипповой – ЦГИАМ, ф. 92, оп. 4, № 179, лл. 2–3, копия; другая копия этого письма датирована 22 окт. (там же, л. 17 об.).

С. 18. *...не вполне справедливо...* – См. письмо В.П.Титова неустановленному лицу от 15 марта 1873 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 7 об. – 8.

С. 18. *...низведением Екатерины Алексеевны в крепостные.* – См.: П. Б.<артенев> Из записной книжки "Русского архива" // Рус. архив. 1903. № 12. С. 671. Примечательно следующее: Петр Бартенев, первый "автор" этой версии, был в числе тех, кто разбирал архив О. и, следовательно, имел возможность получить необходимые сведения из первых рук – непосредственно от вдовы писателя. Остается предположить, что прямых разговоров о матери О. и ее родне тогда не возникало и Бартенев воспользовался позже какими-то неясными слухами, имевшими, очевидно, место.

С. 18. *...словом, в Европу.* – См. формулярный список А.А.Филиппова – ЦГИА, ф. 1349, оп. 5, ед. хр. 418; его письма Е. А. Сеченовой от 19 июня 1809 г.

и 2 июня 1810 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1476, л. 1–4 об.; Бурский И. История 8-го гусарского Лубенского полка. 1807–1907. Одесса, 1913. С. 107.
С. 19. <Воспоминания кн. Е. В. Львовой об О.> – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 1–2.
С. 20. *...о своем зяте и внуке.* – Письмо от 24 окт. 1807 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1664, л. 1.
С. 20. *..."милого Сережу"* – Письмо от 27 марта 1814 г. – там же, № 1476, л. 6.
С. 22. *...мертвое безмолвие...* – См.: Кошелев А. И. Записки. Berlin, 1884. С. 4–5.
С. 22. Письмо А. А. Филиппова А. П. Филипповой – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1662, л. 1–2.
С. 23. "Дело" по завещанию А. П. Филипповой – ЦГИАМ, ф. 92, оп. 4, № 179, 137 л. <Завещание А.П.Филипповой> – там же, л. 13–20, копия.
С. 24. Письмо А. А. Филиппова Е. А. Одоевской – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1476, л. 5.
С. 25. *...столь тесных некогда отношений с "опекуншей".* – См.: ЦГИАМ, ф. 92, оп. 4, № 179, л. 26–100.
С. 25. Письмо О. С. А. Соболевскому от 7 нояб. 1826 г. – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 375.
С. 25. Письмо А. П. Глазовой – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 407, л. 1.
С. 26. *...риза серебреная вызолоченая...* – ЦГИАМ, ф. 92, оп. 4, № 179, л. 16.

Глава II. ПАНСИОН

С. 28. *...поставляют благо общества.* – О воспитании. Соч. А. Прокоповича-Антонского. М., 1818. С. 16 и след.
С. 29. *...по склонности и своим способностям.* – Подробнее см.: Сушков Н. В. Московский университетский Благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского Благородного пансиона и Дружеского Общества. М., 1858; – Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель.-Писатель. М., 1913. Т. 1. Ч. 1. С. 8–72. (Далее: Сакулин).
С. 29. *...шкала его оценок – не очень ровная.* – См.: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 100; Сакулин. Т. 1. Ч. 2. С. 73, прим. 1.
С. 29. *...проповедует мораль и пользу.* – См.: Сушков Н. В. Указ. соч. С. 46–56.
С. 29. ...в *"Вестнике Европы".* – Одоевский В., кн. Отрывок из Лабрюйера – "Каллиопа". Труды воспитанников Университетского Благородного пансиона. Ч. 4. М., 1820. С. 226–230; "Отрывки из Лабрюйера" // Вестн. Европы. 1822. № 17. Смесь. С. 61–65 (подп.: Одвский).
С. 30. *...и многое тому подобное.* – См.: "Каллиопа". Ч. 2–4. М., 1816–1820.
С. 30–31. "Жертва признательного сердца..." – ИРЛИ, ф. 93, оп. 4, № 73, л. 1–2. Подп.: К. Владимир Одоевский.
С. 31. "Разговор о том, как опасно быть тщеславным" – Вестн. Европы. 1821. № 7 и 8. С. 161–169. Там же было опубл. еще одно соч. О.: "Премудрость и благость Божия в отношении к человеку (с греч. – из Иоанна Златоуста)" – С. 277–281.
С. 31. *"...в нем действуют, в ней судят".* – Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1882. Т. 7. С. 82–83; см. также: <Евреинов М. М.> Память о 1812 г. // Рус. архив. 1874. Т. 1. № 1. Стлб. 95–96.
С. 32. *...будем уметь их образовать и совершенствовать.* – Давыдов И. И. Начальные основания логики: Для благородных воспитанников Университетского пансиона. М., 1821. С. 149. Книга сохранилась в библиотеке О. – см.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. С. 42. № 258. Здесь же отмечены два других труда Давыдова, также предназначенных воспитанникам пансиона: "Опыт руководства к истории философии" и "Учебная книга русского языка, содержащая етимологию, орфографию, синтаксис, просодию и краткие правила риторики". М., 1829. (Там же. С. 43. № 260, 261). О Давыдове подробнее см.: Сакулин. Ч. 1. С. 21–45.

С. 34. "...в *Германии и в России".* – Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1975. С. 187. (Далее: Русские ночи).
С. 34. *"... здесь был бы первый".* – Письмо от 9 янв. 1819 г. // Рус. архив. 1889. Т. 3. С. 546–547.
С. 34. *...помещению его сочинений в "Вестнике Европы".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 153, л. 1–4.
С. 35. *...когда было узнать его?* – Цит. по: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. Спб., 1888. С. 206–207. (Далее: Барсуков).
С. 35. *...санскритским языком и алхимией.* — Воспоминания кн. Е. В. Львовой – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 1 об. – 3.
С. 35. *...рано начал сочинять и сам.* – В рецензии на один из концертов воспитанников Благородного пансиона, состоявшийся 30 ноября 1819 года, говорилось: "Князь Владимир Одоевский играл своего сочинения квинтет на фортепиано: игра и сочинение, доказывающие истинное дарование, восхищали внимательных слушателей". (Вестн. Европы. 1819. № 23–24. С. 301); см. также: Бернандт Г. Статьи и очерки. М., 1978. С. 40–41.
С. 36. *...порядок во время чтения.* – В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869. С. 46.
С. 36. *"Я истину ослам с улыбкой говорил".* – См.: Мендельсон Н. М. Общество любителей российской словесности при Московск. ун-те. Историческая записка и материалы за сто лет (1811–1911). М., 1911. С. 29 и сл.
С. 36. *...по доброте... простил его".* – Цит. по: Михайлова Н. И. "Парнасский мой отец". М., 1983. С. 117–118.
С. 37. *...Теонаи Эсхина...* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 90–91.
С. 37. *...несколько месяцев спустя.* – Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений и писем. М.; Л., 1934. С. 256, 259. (Далее: Одоевский А. И.).

Глава III. "СТРАННИК В СВОЕМ ДОМЕ"

С. 38. *...уважение или сочувствие.* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 8.
С. 39–40. Письмо О. в Дроково – Там же, оп. 2, № 1473, л. 1–2.
С. 40. Воспоминания Е. В. Львовой. – Там же, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 4.
С. 40. *...для уплаты долгов Федора Сергеевича...* – Там же, оп. 2, № 1226, л. 2.
С. 41. *...за 20.000 рублей.* – См.: ИРЛИ, ф. 392, № 5, 2 л.
С. 41. *Доля матери... превышала положенное.* – Наследственные расчеты О. с матерью см.: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1226, л. 1–5.
С. 41. *"...память которой продолжаю обожать".* – Одоевский А. И. С. 416.
С. 42–47. "Дневник студента" – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 95, л. 56–71. Под названием – помета, сделанная неустановл. лицом при разборе архива О. после его смерти: "Это годится для биографии кн. Одоевского". Ср.: Сакулин. Ч. 1. С. 93–98; Замотин И. И. Романтический идеализм в русском обществе и литературе 20-30-х гг. XIX столетия. Спб., 1907. С. 365–369; Штерн М. С. "Дневник студента" В. Ф. Одоевского // Художественный метод и творческая индивидуальность. Томск, 1978. С. 15–20.
С. 48. *...терпела неаккуратность в уплате долгов.* – См., напр., письмо П. С. Щербатовой Е. А. Сеченовой – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1477. Б/д.
С. 49–51. П-н <В. Ф. Одоевский>. Отчаяние любви // Благонамеренный. 1820. № 13. С. 52–53; Пылающая хижина. Песня. Там же. № 19. С. 49–52; Эпитафия. Там же. № 22. С. 254.
С. 52. *"...ты часто бываешь с нею".* – Одоевский А. И. С. 269.
С. 52. Кутузов Н. "Аполлон с семейством" // Сын отечества. 1821. Ч. 67. № 5. С. 193–210, с датой: "20 сент. 1820 г."; см. также: Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 48–52, 229.
С. 53. И. К. <В. Ф. Одоевский>. Письмо к редактору // Вестн. Европы. 1821. № 3. С. 218–221.

С. 53. *...возмущался нападками... и Вяземский.* – Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 19 февр. 1821 г. // Остафьевский архив кн. Вяземских. Спб., 1899. Т. 2. С. 166. (Далее: Остафьевский архив).
С. 53. Черновой автограф "Письма к редактору" – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 31, 2 л.
С. 53. *Врасплох – отправить в желтый дом.* – Одоевский А. И. С. 259.
С. 54. *Без заблужденья – счастья нет.* – Там же. С. 260.
С. 54. "Речь..." опубл.: "Речь, разговор и стихи, произнесенные в публичн. акте Университетск. Благородн. пансиона, по случаю выпуска воспитанников, окончивших полный курс учения, 1822 года марта 25 дня. Москва". С. 3–14; см.: Сакулин. Ч. 2. С. 86, прим. 2.
С. 54. *"...с правом на чин Х класса".* – Аттестат О. об окончании Благородного пансиона Моск. ун-та – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 11.
С. 54. *"...слишком во зло себе своею свободою".* – Одоевский А. И. С. 264.

Глава IV. ДЕРВИШ

С. 55. *...всему поколению 1820-х годов.* – Сакулин. Ч. 1. С. 100 и сл.
С. 55. *"...другие пламенно ее желали".* – Кошелев А. И. Записки. С. 13.
С. 55. *...никакого социального содержания.* – Письмо от 20 авг. 1823 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 6 и об.
С. 56. *...должности в Губернском правлении.* – См. письмо О. С. А. Соболевскому <май-июнь 1826 г.> – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, авт.; копия: ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 11, л. 10. Между прочим, О., прося Соболевского похлопотать за него, адресует его к Б. К. Данзасу, брату К. К. Данзаса и лицеисту II курса, в это время советнику Московского губернского правления, члену одной из декабристских организаций.
С. 56. *...видит... заметный беспорядок.* – Воспоминания кн. Е. В. Львовой – ГПБ, оп. 1, пер. 101, № 15, л. 2 об. – 4.
С. 56. *...в своем подмосковном имении Болшеве.* – Документы об учреждении приюта в с. Болшеве в 1819 г. см.: ЦГИА, ф. 1263, оп. 1, ед. хр. 181, 183, 190; о П. И. Одоевском – Моск. телеграф. 1826. № 5–8. С. 271–272; ЦГИАМ, ф. 127, оп. 5, д. 3.
С. 56. *...и надписью: "sapere aude".* – В память о кн. В. Ф. Одоевском. С. 53.
С. 57. *"...прямо заводит – в желтый".* – Одоевский А. И. С. 265. Последующие цитаты – там же. С. 267–270.
С. 60. Фалалей Повинухин. <В. Ф. Одоевский>. "Письмо к Лужницкому старцу" и "Письмо второе" – Вестн. Европы. 1822. № 4. С. 306–314.
С. 60. Письмо О. В. П. Титову от 16 июля 1823 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 153, л. 1.
С. 60. *...символом провинциальной дремучести.* – Дроково находилось на юге Рязанской губернии, вблизи г. Ряжска Скопинского уезда. Фигурирующее в произведениях О. название города – Реженск – совершенно очевидно представляет собой контаминацию названий двух городов: Рязани (в написании О. – Резань) и Ряжска.
С. 60. *"А все от большого света заняла".* – Вестн. Европы. 1822. № 7. С. 233.
С. 60. "Странный человек" (К Лужницкому старцу) – Вестн. Европы. 1822. № 13–14. С. 140–146. Подп.: Одвский; "Похвальное слово невежеству" (Письмо к Лужницкому старцу) – там же, № 20. С. 280–298, б/п; "Дни досад" (Письмо к Лужницкому старцу) – там же. 1823. № 9. С. 34–45; № 11. С. 206–216; № 15. С. 219–226; № 16. С. 299–312; № 17. С. 24–48; № 18. С. 104–125. Подп.: Одвск. и Од.
С. 61. М.П<огодин>. "К Лужницкому старцу" – Вестн. Европы. 1823. № 5. С. 11–20; № 6. С. 151–153; № 11. С. 224–227.
С. 62–64. Письма О. В. П. Титову от 20 авг. и 16 июля 1823 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 153, л. 1–7.
С. 64. *"...тогда были еще новы".* – В память о князе В. Ф. Одоевском. С. 48.
С. 64. Письмо А.С.Грибоедова О. <осень 1823 г.> – Грибоедов А. С. Сочинения.

М., 1988. С. 491. (О степени их родства см.: Генеалогическое древо Одоевских VIII–XIX вв. // Cornwell N. V. F. Odoyevsky. His life, times and milieu. London, 1986. P. 280–281.)

С. 66. *"...стесняет... смелое дарование".* – Письмо от 10 июня 1825 г. – Там же. С. 515.

С. 66. *"...Платон, Демосфен и Тит Ливий".* – Письмо от 15 марта 1823 г. – Цит. по: Барсуков. Т. 1. С. 212.

С. 67. *"...бросил письмо в огонь".* – Одоевский А. И. С. 256.

С. 67. *...о принципах и нравах... журнальной жизни.* – См.: Рус. старина. 1904. Т. 117. № 2. С. 384–385.

С. 68. *"Можно ли выставлять такие чувства!"* – Вестн. Европы. 1823. № 1. С. 35–37.

С. 68. *"...в голове ни малейшего благоразумия".* – Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 337.

С. 68. *"...родоначальнике всех плюсов и минусов".* – См.: Сакулин. Ч. 1. С. 104.

С. 68. *...на древе человеческих познаний!"* – Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л. 1934. С. 306.

С. 68. *...повторявшиеся членами Общества.* – Полевой Кс. Записки. Спб., 1888. С. 100–101.

С. 68. *...подражание «большому "Обществу российской словесности"» Антонского...* – Кошелев А. И. Записки. С. 11–12.

С. 69. *...к философскому обоснованию "немецкого духа".* – Кёниг Г. Очерки русской литературы. Спб., 1862. С. 128–129.

С. 69. *"...отчаянных судей словесности и наук".* – Булгарин Ф. В. Иван Выжигин. Спб., 1829. Ч. 2. С. 118–121.

С. 69. *"...баснословные предания – его душу".* – Русские ночи. С. 15–16.

С. 70. *"...но с радостью и соглашался".* – Цит. по: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. М., 1889. С. 74.

С. 70. *"Счастливое время! Где ты?"* – Одоевский В. Ф. Соч.: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 37. (Далее: Соч.: В 2 т.)

С. 70. *в... прочитанной друзьям статье.* – См.: Пятковский А. П. О жизни и сочинениях Д. В. Веневитинова // Веневитинов Д. В. Сочинения. Спб., 1862. С. 15 и сл.

С. 70. *...значение его... переоценить трудно.* – "Опыт..." в сохранившихся фрагментах впервые опубл. М. И. Медовым и В. М. Зверевым в кн. "Рус. эстетич. трактаты первой трети XIX века". М., 1974. Т. 2. С. 156–168; 509–603; об эстетических взглядах О. также см.: Сакулин. Ч. 1. С. 155–176; Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969. С. 104–148.

С. 70. *"...любомудра, как он называл себя".* – В память о кн. В. Ф. Одоевском. С. 50–51.

С. 71. *"...за неимением... открытых путей".* – Цит. по: Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов. Спб., 1901. С. 64.

Глава V. "МНЕМОЗИНА"

С. 72. *"...я смогу осуществить свой журнал..."* – Летописи Гос. литературного музея. Декабристы. М., 1938. С. 165.

С. 72. *"...может быть прок в его предприятии".* – Письмо от 27 авг. 1823 г. // Рус. архив. 1900. № 2. С. 190.

С. 72. *...одному журнал не осилить.* – См.: Рус. старина. 1875. № 7. С. 371–372.

С. 73. *...дела в ... дедовском Костромском имении...* – См. приходно-расходные ведомости и др. материалы по вотчинным владениям О. 1823–1835 гг. – ИРЛИ, ф. 392, № 40–42, 44–45.

С. 73. *"...от первоначальных друзей твоих!"* – Письмо от 11 дек. 1823 г. // Рус. старина. 1875. № 7. С. 375; подробнее см.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 268–269.

С. 74. *"...Феодальная гордость еще не совсем исчезла!"* – Одоевский А. И. С. 272.

С. 74. *"... и другие известные наши литераторы".* – Вестн. Европы. 1823. № 24. С. 316–318.
С. 75. *...в руки энергичного младшего соиздателя.* – См.: Приходно-расходные записи по изданию "Мнемозины" – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 48.
С. 75. *...по признанным литературным кумирам.* – См.: Гирченко И. В. "Мнемозина" (Московск. лит.-худ. альманах В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского) // Декабристы в Москве: Труды музея истории и реконструкции Москвы. Вып. 8. М., 1963. С. 150–161.
С. 75. *"Листки, вырванные из парнасских ведомостей"* – Мнемозина. Собр. соч. в стихах и прозе. Изд. кн. В. Одоевским и В. Кюхельбекером. Ч. 1. 1824. С. 177–182. Подп.: -двск.-
С. 76. *...церковными книгами и фольклором?* – Там же. Ч. 2. 1824. С. 29–44.
С. 77. *...до мелкой журнальной грызни.* – Подробно об этом эпизоде см.: Дрыжакова Е. Н. Из полемики "Мнемозины" // Рус. литература. 1975. № 4. С. 96–99.
С. 77. *...в одном из писем к Одоевскому.* – Письмо от 27 сент. 1826 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 3.
С. 77. *"...надуматься, что ты дурак".* – Остафьевский архив. Т. 3. С. 62.
С. 77. *"...даже Кюхельбекер врет".* – Письмо от 30 нояб. 1825 г. // Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 1. С. 482; 483, прим. 10.
С. 77. *...служившие... образцами для подражания.* – См.: Королева Н. В., Рак Д. В. Личность и литературная позиция Кюхельбекера // Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 599–615.
С. 77. "Следствия сатирической статьи". – Мнемозина. Ч. 3. 1824. С. 125–146. Подп.: Одвск.
С. 78. *"...остальных частей сразу 1200".* – Кюхельбекер В. К. [Соч.] Т. 1. Л., 1939. С. 190.
С. 78. *...подписку на альманах в Петербурге.* – Одоевский А. И. С. 272.
С. 79. *Была объявлена неслыханная война.* – См.: Кюхельбекер В. К. Путешествие... С. 747–750.
С. 79. *"...извини брата и друга".* – Одоевский А. И. С. 274–275.
С. 79. *"...мы были в райке..."* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 37.
С. 80. *...на "едином общем мериле".* – Мнемозина. Ч. 1. С. 61–80.
С. 80. *...свои мысли по чтении "Полярной звезды".* – См.: Сакулин. Ч. 1. С. 154.
С. 81. *"Междуусобия продолжаются"...* – Кюхельбекер В. К. Путешествие... С. 498–499. О копии статьи – рукой Кюхельбекера и Одоевского – см. там же. С. 758.
С. 81. *"...видел его в действительности".* – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953. С. 275; Т. 8. М., 1955. С. 300. (Далее: Белинский. ПСС.).
С. 82. *"...настоящее значение философии".* – Рус. архив. 1864. № 7–8. Стлб. 804–806.
С. 82. *"...отнюдь не соединяется с гг. классиками".* – Кюхельбекер В. К. Путешествие... С. 499–500.
С. 83. *"...цель пламенного ее стремления!"* – Мнемозина. Ч. 3. С. 1–3. О воздействии апологов О. на современников см.: В память о кн. В. Ф. Одоевском. С. 48; Белинский. ПСС. Т. 8. С. 300–304.
С. 83. *"...Кюхельбекер – ко вторым".* – Кюхельбекер В. К. Путешествие... С. 500.
С. 84. *...заговорить... о Шеллинге и Окене.* – Мнемозина. Ч. 4. 1825. С. 230–235.
С. 84. *"...я еду в С.-Петербург".* – Рус. старина. 1904. № 2. С. 378–379.
С. 84. *"...и быть корректором оного".* – Там же. С. 380–381.
С. 84. *...введя ее в разумные берега.* – См.: Глассе А. Критический журнал "Комета" В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского // Лит. наследие декабристов. Л., 1975. С. 280–285.
С. 85. *"...журнальных мнений, прений и рвений".* – Рус. старина. 1904. № 2. С. 381.
С. 85. *...была доставлена... 22 октября 1825 года!* – См. письмо С. Н. Бегичева Кюхельбекеру от 23 марта 1825 г. // Там же. 1875. № 7. С. 378.
С. 85. *...и мы бы чему-нибудь помучились.* – Сев. пчела. 1825. № 127. 22-го окт.

Отд.: Новые книги. См. также письмо П. А. Муханова Ф. В. Булгарину от 16 февр. <1825 г.> // Рус. старина. 1888. № 12. С. 591.

С. 85. *...и потому, что менее касались литературы.* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 37.

С. 86–87. *"...как ты сам меня на то вызвал..."* – Одоевский А. И. С. 276–279.

С. 87. *...и музыкальные статьи, и новые свои произведения.* – См.: Одоевский В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., 1956. (Далее: МЛН); Грановский Б. Начало музыкально-критической деятельности В. Ф. Одоевского // Уч. зап. Гос. научно-исслед. ин-та театра, музыки и кинематографии. Т. 2. Сектор музыки. Л., 1958. С. 255–282.

С. 87. "Сборы на бал" – Моск. телеграф. 1825. № 2. Прибавление. С. 17–24. Подп.: Z.Z.; "Женские слезы" – Там же. № 3. Прибавление. С. 39–43. Подп.: Z.Z. (См. также: "Ответ на статью "Женские слезы" – Там же. № 7. С. 118–119); "Невесты" – Там же. № 4. Прибавление. С. 59–62. Подп.: Z.Z.; "Разговор двух приятелей" – Там же. № 5. Прибавление. С. 75–82. Подп.: X; "Разговор под Новинским" – Там же. № 10. С. 157–162. Подп.: О. "Разговор двух покойников" – Там же. № 3. С. 210–214. Подп.: ZZ.

С. 88. *...были исполнены "жизни и поэзии".* – Белинский. ПСС. Т. 1. С. 275.

С. 88. *...ни одного стиха не было записано на бумаге.* – МЛН. С. 373–374.

С. 88. *...общественный смысл грибоедовский сатиры.* – Подробно см.: Сакулин. Ч. 1. С. 244–248, 270–275; Ч. 2. С. 330–333.

С. 89. Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии "Горе от ума" // Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 23–29; 202–203; МЛН. С. 102–105, 542.

С. 89. *...назвал... защитников Грибоедова "неловкими".* – Кюхельбекер В. К. Путешествие... С. 227–228.

С. 89. *"...Борьба ребяческая, школьная".* – Письмо от 10 июня 1825 г. – Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 516.

С. 89. *"...но Грибоедов очень умен".* – Письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому от 28 янв. 1825 г. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., Л., 1937. Т. 13. С. 137. (Далее: Пушкин. *Акад.*); см. также его письмо А. А. Бестужеву // Там же. С. 138. Подробнее о полемике вокруг "Горя от ума" см.: Проскурина В. Ю. Диалоги с Чацким // "Столетья не сотрут..." М., 1989. С. 56–67.

С. 90. *"...не совсем ошибался"...* – МЛН. С. 497.

С. 91. *...перемены образа правления в России.* – Кошелев А. И. Записки. С. 13–14.

С. 91–92. Письмо В. Кюхельбекера В. Одоевскому." – Рус. старина. 1904. № 2. С. 382–384.

С. 92. *"...она тебя заочно любит".* – Там же. С. 380.

С. 93. *...составить себе... мнения друг о друге.* – Грибоедов А. С. Соч. С. 514.

С. 93. *"...Однако его не тронули".* – Воспоминания кн. Е.В.Львовой. Л. 4–5.

С. 94. *...Титова, Шевырева и меня...* – Кошелев А. И. Записки. С. 15 и сл.

С. 94. *...посвятили... в свою "тайну" или нет.* – См.: Сакулин. Ч. 1. С. 305–306; Порох И. В. Деятельность декабристов в Москве // Декабристы в Москве: Труды Музея истории и реконструкции Москвы. Вып. 8. М., 1963. С. 88–97.

Глава VI. НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН

С. 96. *...друзьями Шварца и Новикова.* – См. дневниковые записи С. С. Ланского – ГБЛ, ф. 147, № 2022.6. 8 с.

С. 96. *...вникала в предметы самые разнообразные.* – В. И. Ланской (вместе с дочерьми) принадлежит пер. "Юрия Милославского" М. Н. Загоскина на англ. яз., анонимно изданный в Лондоне в 1833 г. (см.: Алексеев М. П. Вальтер Скотт и его русские знакомства // Лит. наследство. Т. 91. М., 1982. С. 356–358 – далее: ЛН), а также пер. с фр.: "Беседа по освящении Храма пресвятыя Богородицы, взыскательницы погибших, устроенного в замке пересыльных арестантов 1843 г. декабря 23 дня, говоренная синодальным членом Филаретом, митрополитом Московским". М., 1847. Была также опубл. ее переписка с М. А. Волковой (см. ниже).

С. 96. *"...большинство людей не в состоянии постичь".* – Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой и В. И. Ланской // Вести. Европы. 1875. № 3. С. 232–233.
С. 97. *"...уважения и непритворной привязанности".* – См.: "Четыре аполога", соч. кн. В. Одоевского. М., 1824.
С. 97. "Выписка... Варвары Ивановны Ланской" здесь и далее – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, №17.
С. 97–101. В. Одоевский. "Выписки из моего дневника". – ИРЛИ, ф. 392, № 5, 4 л.
С. 102. Письмо О. Соболевскому <май-июнь 1826 г.> – Там же, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 360, б/д (копия: ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 11, л. 10).
С. 102. Его же <14 июля 1826 г.> – Там же, л. 362–363 (копия – Там же, л. 9 и об.).
С. 103. *...от императрицы Елизаветы Алексеевны.* – О пожаловании О. С. Ланской во фрейлины см. Высочайший указ Придворной конторе от 25 марта 1813 г. – ЦГИА, ф. 466, оп. 1, ед. хр. 236, л. 7.

Часть вторая

Глава I. "РАССКАЖИ ЕМУ О МОЕЙ ЖЕНИТЬБЕ..."

С. 106. *"...государыня худа, мальчик хорош"...* – Цит. по: Барсуков. Т. 2. С. 33.
С. 106–107. ...Письмо О. Е. А. Сеченовой от 10 авг. 1826 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1473, л. 3–4.
С. 108. *"...посылаю к моему камердинеру"* – Письмо от 15 авг. 1826 г. – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 364 (копия: ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 11, л. 2).
С. 108. *"...не только по тебе, но и непосредственно"* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 23, б/д.
С. 108. *...гонит он его, Маиева, со двора.* – См. письма Д. Маиева О. от 19 июля и 4 авг. 1826 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 723, л. 1–4.
С. 109. *"...дай остальные Дмитрию"* – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 364–365 (копия: ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 11, л. 3).
С. 109–110. Письмо О. Соболевскому от 4 сент. 1826 г. // Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 205.
С. 110. Письмо П. Х. Граббе А. П. Ермолову – ГИМ, ф. 335, д. 1, л. 106 и об. Сообщил А. Г. Тартаковский.
С. 112. Письмо О. Соболевскому от 6 сент. 1826 г. – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 370 и об.
С. 112. Письмо А. А. Филиппова О. от 24 сент. 1826 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1104, л. 21.
С. 112. *...по непременному почти залогу.* – Документы по оформлению рядной см.: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1226, л. 26–29.
С. 113. *...обширность дома... вполне достаточной.* – Письма Е. А. Сеченовой О. от 18 окт. 1826 г. и 17 янв. 1827 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 1–3.
С. 113. *...пришли мне все это немедленно...* – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 366 и об.
С. 114. *...чем оно наделе...* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 3 и об. Частично опубл.: ЛН. 58. С. 52.
С. 114. *...чего не пишу...* – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 373 (копия: ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 11, л. 17).
С. 114. *"Это делает честь веку".* – Барсуков. Кн. 2. С. 32.
С. 114. *...Министерства внутренних дел.* – Формулярный список О., составлен. 2 декабря 1868 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 3; см. также: Правительственный вестник. 1869. № 50.
С.115. *"Смешно и грустно".* – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 373 об.
С. 115. Письмо А. А. Филиппова О. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1104, л. 1–2.

С. 116. *...губернского секретаря Филиппова.* – ЦГИА ГССР, ф. 26, оп. 1, ед. хр. 7800, л. 1.
С. 116. Формулярный список А. А. Филиппова здесь и далее – ЦГИА, ф. 1349, оп. 5, ед. хр. 418.
С. 116–117. Письмо А. А. Филиппова О. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1104, л. 3–4 об.
С. 117. *"...похоже на равнодушие".* – Письма Е. А. Сеченовой О. от 28 февр. <1827 г.> и 10 дек. 1828 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 101 об., 17 об.
С. 119. *"...пора отдохнуть душе его".* – Письмо Е. А. Сеченовой О. от 4 марта <1829 года> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 990, л. 3 об.

Глава II. НАЧАЛО ПЕТЕРБУРГА

С. 120. *Мы все ждем от вас новостей...* – Полевой Н. Избр. произв. и письма. Л., 1986. С. 495.
С. 120. *"...полилась их всемирная ученость".* – Пушкин. *Акад.* Т. 8. Кн. 1, С. 420–425.
С. 121. *"(...можно бы и отвечать, да NB)".* – Письмо от 2 марта 1827 г. – Там же. Т. 13. С. 320.
С. 121. *"...что-нибудь путное сделает".* – Письмо В. А. Жуковского П. А. Вяземскому от 26 дек. 1826 г. – ЛН. 58. М., 1952. С. 60.
С. 121. *"не дает... течения".* – Письмо от 5 мая 1827 г. – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 130.
С. 121. *"...для авантажу".* – Письмо Е. А. Сеченовой О. С. Одоевской, б/д <1827 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 990, л. 5–7.
С. 122. *"...кантаты воинские, страстные?"* – Письмо б/д <1826–1827> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 39.
С. 122. *"...зевал в Русском театре".* – Письмо от 28 янв. 1827 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 758, л. 1 и об.
С. 122. *...Маккиавелли и Торквато Тассо.* – Письмо О. Соболевскому от 13 нояб. 1826 г. – ИРЛИ, ф. 244, оп. 17, № 136, л. 272–273.
С. 122. *"...житье да и только!"* – Письмо от 11 дек. 1826 г. – МЛН. С. 489.
С. 123. *"...черт дернул, – стал писать..."* – Письмо П. А. Муханова Ф. В. Булгарину от 16 февр. 1825 г. // Рус. старина. 1888. № 12. С. 591.
С. 123. *"...на сколько времени... один от другого..."* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 758, л. 42–43; частично опубл.: Сакулин. Ч. 2. С. 318.
С. 124. *"Истинные литераторы за нас".* – Письмо М. П. Погодину от 17 нояб. 1826г. – ЛН. 16–18. С. 682; Барсуков. Кн. 2. С. 65–66.
С. 124. *"...по вечерам принимает".* – Письмо от 14 дек. 1826 г. // Рус. старина. 1875. № 4. С. 820–821.
С. 125. *"...а нет, чтобы ко мне написать..."* – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 66–67; см. также: ЛН. 16–18. С. 686.
С. 126. *"Вчерашний вечер... совсем Москва".* – Письмо от 12 янв. 1830 г. – Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1911. С. 18.
С. 126. *(...в доме, принадлежавшем Ланским)* – См.: Нисгрем К. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. Спб., 1837. С. 106, 842; Записки графа М. Д. Бутурлина // Рус. архив. 1901. № 12. С. 438.
С. 126. *"...Одоевского, бывшего издателя".* – Письмо от 3 дек. 1826 г. // Рус. архив. 1884. № 5. С. 225.
С. 126–128. *"...и виснут на щеках как ослиные".* – Письмо от 3 марта 1827 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, №1063, л. 5–6.
С. 129. *"...знать это биографу сего мужа?"* – Моск. вестник. 1827. № 5. С. 78–81. Подл.: И. К.
С. 129. *"Пушкин читал уже по корректуре".* – Рус. старина. 1904. № 3. С. 705–706.
С. 130. *...оружие врагам "Московского вестника".* – Письмо от 29 апр. 1827 г. // ЛН. 16–18. С. 691.
С. 130. Письма Титова О. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 7, 9.

С. 130. Свод откликов на смерть Д. Веневитинова см.: Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 400–423; Барсуков. Кн. 2. С. 91, 135.

Глава III. "В МИРЕ ЧИНОВНИЧЕСКОМ..."

С. 131. *...в дальний Омский гарнизон.* – Декабристы. Биографич. справочник. М., 1988. С. 174–175.

С. 132. *"...остался и быть по сему".* – Подробнее см.: Гиллельсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // Пушкин. Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 197–198.

С. 133. *"...величайших государственных людей".* – Рус. архив. 1874. № 7. Стлб. 12–13.

С. 133–134. Записки Титова О. и рукой Дашкова – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 42, 44, 45, 50, 88; см. также записку О. Титову: "Твой мальчик болен; когда к тебе прислать – сегодня или завтра чем свет?" – и ответ Титова: "Теперь 9 ¾ часов; так как ты собираешься не спать, пришли в 12 часов ровно; у меня уже будет готово". (Там же, № 153, л. 9).

С. 133–134. Письмо Погодина О. // Рус. старина. 1904. № 3. С. 706–707.

С. 134–135. Письмо О. А. Верстовскому – МЛН. С. 492.

С. 135. *"...мой цензурный устав 1828 года".* – Рус. архив. 1897. № 6. Стлб. 284; по воспоминаниям Я. О. Орла-Ошмянцева, кружку московских друзей О. было известно о том, что он является "одним из составителей Устава" (О. О. <Орел-Ошмянцев>. Из воспоминаний о кн. В. Ф. Одоевском // Там же. 1892. № 1. С. 86.).

С. 135. *"...для начертания цензурного устава..."* – Рус. обозрение. 1894. № 3. С. 426.

С. 135. *"...перемены, требуемые Ценсором..."* – МЛН. С. 491.

С. 135–138. "К истории рус. цензуры" и "Еще о цензуре" – Рус. архив. 1874. № 7. Стлб. 11–30.

С. 139. *"...впускающим свой яд".* – Здесь и далее см.: Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987. С. 69–75.

С. 139. *"...Рожалин и другие москвичи".* – Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. Спб., 1909. С. 258–270; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Л., 1969. С. 158.

С. 140–142. "Секретная газета" и "Записка" Дашкова – Цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Спб., 1922. С. 49–51.

С. 142. *"...возвысим над чистотою слога".* – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 103.

Глава IV. НОВЫЕ ЛИБЕРАЛИСТЫ

С. 144. *...ясной и высокой... философии жизни.* – "Минута свидания" // Моск. вестник. 1827. № 6. С. 145–146. Подп.: Каллидор; "Царь Девиндра и Голубь" // Там же. № 5. С. 102–104. Подп.: N; "Мир звуков" // Там же. № 13. С. 43–46. Подп.: Каллидор; "Переход чрез реку, приключение Брамина Парамарты" // Там же. № 15. С. 231–245.

С. 144. *"...любопытный отрывок учености".* – Письмо от 31 авг. 1827г. // Пушкин. *Акад.* 13. С. 340–342. Об авторстве О. см.: В память о кн. В. Ф. Одоевском. С. 54.

С. 144. "Опыт теории изящных искусств с особенным применением оной к музыке" – См. прим. к с. 70.

С. 145. *"...германские идеи и таинства Востока".* – Письмо от 5 мая 1827 г. Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 130.

С. 145. *...организационных и издательских дел.* – Письмо Пушкина П. А. Вяземскому от 9 нояб. 1826 г. // Пушкин. *Акад.* 13. С. 304–305.

С. 146. *...три "дельных" статьи "Московского вестника".* – Пушкин. *Акад.* 13. С. 340–342.

С. 146. *...московскую братью перед Пушкиным.* – ЛН. 16–18. С. 733–734.
С. 146. *"...делом, словом или помыслом".* — См.: Барсуков. Кн. 2. С. 132.
С. 147. *"...двух врагов... накладно".* – Там же. С. 170.
С. 147. *"...ясное тихое размышление".* – Здесь и далее: Моск. вестник. 1828. № 5. С. 81–82.
С. 147. *"мальчишек Шевыревых".* – См.: Вацуро В. Э. "Северные цветы". М., 1978. С. 132–133.
С. 147. *"...в знак нашего... незлопамятства".* – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 352.
С. 148. *"Бей, да и дело с концом".* – См.: Там же. Кн. 2. С. 169, 180, 196.
С. 149. "Два дни в жизни земного шара". – Моск. вестник. 1828. № 14. С. 120–128.
С. 149. *"...робею сего явления".* – Письмо от 24 окт. <1832 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 991, л. 10.
С. 150. *"...досад никаких не бывает?"* – Рус. старина. 1904. № 3. С. 707.
С. 150. Из письма к Н. Полевому. – Там же. 1901. № 5. С. 405–406.
С. 151. Из письма С. Н. Бегичева О. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 227, л. 1 об.
С. 151. *"...будешь в состоянии... произнести решенье".* – МЛН. С. 495.
С. 151. *"...согласие Ольги Степановны"...* – Письма от 28 февр. и 31 сент. <1827 г.> – ГПБ. ф. 539, оп. 2, № 989, л. 98, 12 об.
С. 151. *"...мы тогда вас журили".* — Письмо от 20 марта 1831 г. – Там же. № 683, л. 7 и об.
С. 152. *"...жить между собою ладно".* – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 189.
С. 152. *"...на постоянство... смею надеяться".* – Письмо от 29 нояб. 1827 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 758, л. 4.
С. 153. *"...на всю улицу".* – Письмо от 11 дек. 1826 г.: МЛН. С. 490.
С. 153. *"...даже азбуки не знаешь".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 989, л. 98–99.
С. 153. *...Плетнев и Николай Муханов.* – ЛН. 58. С. 76.
С. 154. *...проводит он вечер и у Дельвига.* – ЛН. 16–18. С. 700, 703.
С. 154. *...наравне с другими журналами.* – См.: Барсуков. Кн. 2. С. 298–299.
С. 154. "Утро ростовщика" – Моск. вестник. 1829. Ч. 2. С. 147–159. Подп.: К.
С. 155. *"...для некоторых проделок".* – Письмо от 14 июня 1829 г.: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 6 об.
С. 155. *"...и о начале сего не слыхала".* – Письмо от 4 марта 1829 г. – Там же. № 990, л. 4.
С. 155. *...грамотности малолетних преступников.* – Там же, оп. 1, № 36, литера "В".
С. 156. С *ним разрывали знакомства.* – Подробнее см.: Барсуков. Кн. 2. С. 234–264.
С. 156–157. Письмо, назначавшееся к Шевыреву. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 156, л. 1 и об.; см. также: Сакулин. Ч. 1. С. 313.
С. 157–160. Письмо О. Погодину. – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 260–263. Ср. с аналогичными идеями О., нашедшими вскоре отражение в неоконченном романе "Жизнь и похождения Иринея Модестовича Гомозейки". – См.: Сакулин. Ч. 2. С. 45.
С. 160. *..."Истории русского народа" Николая Полевого.* – Подробнее см.: Вацуро В. Э. "Северные цветы". С. 197–198.
С. 161. *"...буду издавать "Вестник" один".* – Письмо от 22 янв. 1829 г. // Рус. старина. 1904. № 3. С. 709.
С. 161. *"...а "Вестником" истопи печку".* – Цит. по: Барусков. Кн. 2. С. 316.
С. 161. "... *за каждый его стих – 12 бутылок".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 8 об. (Ср. воспоминания Погодина о начале "Моск. вестника": "Вино играло роль на наших вечерах <...> Пушкин не отказывался иногда выпить <…> и пред началом "Московского вестника" было у нас в моде "алеатико", прославленное Державиным". А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 41).
С. 161. *Ему... здесь будет разлюли...* – ГПБ,ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 6 об.
С. 162. *"...доставлю ... много сведений".* – См.: Сакулин. Ч. 2. С. 7, прим.
С. 162. *"...пошумели и погрустили".* – Цит. по: Барсуков. Кн. 2. С. 303.

С. 162. *"Где была... во время каши?"* – Письмо от 16 апр. 1829 г. – ГПБ. ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 7.
С. 162. "... *охота им выздоравливать!"* – Письмо от 29/17 сент. 1829 г.: Там же, л. 10.
С. 163. *"...Одоевский тоже нашего полку".* – Рус. архив. Кн. 3. С. 260.
С. 163. 12 записок и писем О. М. Сомова О. (1829–1831) – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1016.
С. 163. "Тени праотцев": Лит. газета. № 11. 20 февр. 1830 г. Подп.: Гр.; "Глухие" – № 13. 2 марта. С. 101; "О системе Жакото" – № 9. 10 февр. С. 73; "Отрывки из журнала доктора" – № 17. 22 марта. С. 131–133; "Четыре периода познаний" – № 46. 14 авг. С. 78–79.
С. 164. *"...налитую для меня... рюмку".* – Письмо от 23 дек. <1830 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 17.
С. 164. Письмо В. И. Ланской О. – Там же. № 683, л. 5–8.
С. 164. *"Вспомни притчу Евангельскую".* – Там же, № 875, л. 9, б/д.
С. 165. *...перепуганную насмерть матушку.* – См. письмо Е. А. Сеченовой О. от 1 дек. 1830 г. – Там же, № 989, л. 18–21; записная тетрадь О. (1829–1833 гг.) – Там же, оп. 1, № 36, литера X.
С. 165. *...справился с ней "молодецки".* – См. письмо В. П. Титова О. от 6/18 сент. 1854 г. – Там же, № 1063, л. 79 и об.
С. 165. *"...в 2 часа с половиною за полночь".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 27, прим. 1.

Глава V. "ДОВОЛЬНО Я НАКАЗАНА СУДЬБОЮ..."

С. 166–167. *"...все имеют неоплатной долг..."* – Письма Е. А. Сеченовой О. от 3 янв. 1827 г. и б/д <зима 1827 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 989, лл. 8, 32 и об.
С. 168. *"...судьба угнетает жизнь мою".* – Письмо от 2 апр. <1828–1829 г.> – Там же, № 990, л. 36.
С. 169. П. Д. Сеченов – О. – Там же, № 988, л. 63–64.
С. 169–170. Е. А. Сеченова – О. – Там же, № 989, л. 102.
С. 170. П. Д. Сеченов – О. – Там же, № 989, л. 8 об.
С. 170. *"...непостижимую для меня задачу".* – Цит. по: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. М., 1889. С. 100.
С. 170–172. Е. А. Сеченова – сыну. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 990, л. 1 об. – 2 (4 марта <1829 г.>); 36–39 об. (2 апр. <1828–1829 г.>).
С. 173–176. Из писем П. Д. Сеченова О. – Там же, № 988, л. 1–2 (13 марта); 53–55 (15 окт.); 99 об. (б/д) ; 72–73 <1829 г.>.
С. 176. *"...о своих экономических делах?"* – Рус. старина. № 4. С. 212.
С. 177. *"День начался... скромной супруги"...* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 988, л. 108–109.
С. 177. *"...вашего решительного ответа..." – Письмо "от 29-го числа г. Москва"* <1830–1831 г.> – Там же, л. 56 об., см. также л. 57–58 об. Между прочим, в Вышневолоцком уезде находилось имение О. С. Ланской. (См.: Там же, № 1226, лл. 26–29.).
С. 177–178. *"...иногда требуют сей необходимости"; "...подвести под манифест..."* – Письма Е. А. Сеченовой О. – Там же, № 989, л. 19 об. (от 1 дек. 1830 г.); лл. 22–24 (от 22 дек. 1830 г.); л. 27 об. (от 16 февр. 1831 г.); л. 29 об. – 30 (от 27 апр. 1831 г.); л. 14 и об. (б/д).
С. 178. П. Д. Сеченов – О. – Там же, № 988, л. 3–4 об.

Глава VI. ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

С. 181. *"...эта манера... мне нравится".* – Цит. по: Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 190–191.
С. 182–187. *"...было место только для любви".* – Здесь и далее свод воспоминаний

о салоне О. см.: Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929. С. 171–182.
С. 182. *"...истории нашего отечества".* – Русские ночи. С. 231.
С. 188–189, 191. Письма А. И. Кошелева О. (1831–1832 гг.) – Рус. старина. 1904. № 4. С. 207–214; ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 7–8, 11–12, 15 и об., 20–21, 26–27; Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. С. 129.
С. 189–190. Письма С. А. Соболевского О. от 27/15 июля и 29/17 сент. 1829 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1003, л. 21, 10 и об.
С. 191. *"...уроки вальса или французской кадрили"...* – Письмо от 16 марта 1836 г.: Там же, № 1063, л. 18–19. Частично опубл.: Сакулин. Ч. 1. С. 334–338.

Глава VII. "ДОМ СУМАСШЕДШИХ"

С. 192. *..."о музыкальном характере" композитора.* – МЛН. С. 646. (См. также: Алексеев М. Бетховен в рус. литературе // Рус. книга о Бетховене. М., 1927. С. 158–184).
С. 192. *"...все учились играть на фортепиано".* – МЛН. С. 156. См. также с. 58, 68.
С. 192. *...из небольшой "статьи" князя Одоевского.* – Там же. С. 59.
С. 193. *...памятника "гениальным безумцам"* – Ср. запись О. в "Психологических заметках": "Инстинктуальная поэтическая деятельность духа отлична от разумной в образе своих действий, но в существе своем одинакова. Так бессознательно развивались во мне одна за другою повести Дома сумасшедших и, уже окончивши их, я заметил, что они имеют между собой стройную философскую связь" // Русские ночи. С. 203.
С. 193. *"...бескорыстною к нему страстию".* – Там же. С. 87–88.
С. 194. *"...что это писал сумасшедший?"* – См.: Афанасьев Н. Я. Воспоминания // Историч. вестник. 1890. № 7. С. 35.
С. 194. *"...низвергаются подорванные скалы".* – МЛН. С. 105–106.
С. 194. *...не являлась... иначе, как поруганною.* – Библ. для чтения. 1836. Т. 14. С. 50–64. Подп.: Безгласный; см. также: Сакулин. Ч. 2. С. 212–213.
С. 195. *"...с ума сходила восемь раз".* – МЛН. С. 114.
С. 195. *И поклонником "Дон Жуана".* – Там же. С. 647.
С. 195. *"...мысли нашего века".* – Рус. старина. 1904. № 4. С. 206.
С. 196. *"...лишь несколько округленные".* – "Сев. цветы" на 1832 г. Спб., 1831, С. 47–65. Подп.: ь.ъ.й.
С. 196. *...под... заглавием "Дом сумасшедших".* – Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. М., 1986. С. 78.
С. 196. *"...о многом поговорить с вами".* – Письмо от 10 июля 1832 г. ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 827, л. 5. Подлинник по-фр.
С. 197. *"...в Афинах славу сумасшедшего".* – Письмо от 3/15 марта 1832 г. – Там же, № 1063, л. 14.
С. 197. *...не без участия поэта.* – См.: Бернандт Гр. В. Ф. Одоевский и Бетховен. М., 1971. С. 33.
С. 197. *"...разгадка... жизни человека".* – См.: Русские ночи. С. 235.
С. 199. "Бригадир". – Впервые: Новоселье. Спб., 1833. Ч. 1. С. 501–517. См. также: Русские ночи. С. 284.
С. 200. *"...разрастаясь... в материяльную форму".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 252, прим. 1.
С. 202. Письмо Н. А. Мельгунова О. от 17 февр., б/г <1833> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 758, лл. 12–13. Об истории Б.-Г. Нибура подробнее см.: Отеч. записки. 1841. № 1. С. 10–44.
С. 202. *"...нравственного и умственного ничтожества".* – См.: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 305.
С. 203. *"...сколько оно есть на самом деле".* – "Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным". Спб., 1833. С. VI.

С. 203. *...увидели свет прежде "Дома..."* – См.: Моск. телеграф. 1833. № 8. С. 572.
С. 203. "Импровизатор" – Впервые: Альциона на 1833-й год. Спб., 1833. С. 51–86. Подп.: ь,ъ,й.
С. 203. *"...мать рода человеческого и кормилица"* – Цит. по: Русские ночи. С. 19; см. также: Библ. для чтения. 1836. Т. 14. С. 50–64.
С. 204. *...проявлению истинной, высокой поэзии.* – Подробнее см.: Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л., 1987. С. 306–310.
С. 204. *...прототип героя Одоевского.* – См.: Сакулин. Ч. 2. С. 249, прим. 1; Пушкин. Иссл. и материалы. Т. 10. Л., 1982. С. 168–175; Звенья. М.; Л., 1934. Кн. 3–4. С. 191–204. Об устойчивом интересе О. к импровизаторам см.: его письмо С. П. Шевыреву <1836 г.> // Рус. архив. 1878. № 5. С. 55 и к нему – В. А. Жуковского <1841 г.> // Рус. старина. 1904. № 7. С. 153.
С. 204. *"...сумасшедший, ваш Киприяно!"* – Моск. телеграф. 1833. № 1. С. 152–153.
С. 204. *"...гостьи у нас еще небывалой".* – Молва. 1833. № 5. С. 18–19.
С. 205. *"...с пошлостью внешней жизни".* – Белинский. ПСС. Т. 8. С. 297 и сл.
С. 205. *..."угадать довольно трудно".* – Телескоп. 1832. № 2. С. 300.
С. 205. *...в "антихристе"-ростовщике Петромихали.* – См.: Ветринский Ч. В сороковых годах. М., 1899. С. 304.
С. 207. *"...сил в человеческую жизнь".* – Ходасевич Вл. Статьи о русской поэзии. Пб., 1922. С. 77.
С. 207. *...в заново написанном "Примечании"...* – Здесь и далее – Русские ночи. С. 189–190.
С. 207. *...идей "Пиранези" или "Импровизатора".* – Ср. черновые записи П. Н. Сакулина: ИРЛИ, ф. 272, оп. 1, № 83, л. 9 об. – 10.
С. 209. *"...борется – нахал и якобинец".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 206, прим. 3.
С. 209. *"...что он не сумасшедший".* – Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Пб., 1876. Т. 2. С. 274.
С. 209. *"Это, кажется, так легко..."* – Новый живописец общества и литературы. 1830. Ноябрь. № 21. С. 370.

Глава VIII. "СКРОМНЫЙ ИРИНЕЙ"

С. 211. *"...какими мы все были в 18, 20 лет..."* – Письмо от 28 апр. 1833 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 758, л. 8.
С. 211. ...в *"Пестрых сказках Гомозейки".* – Письмо б/д <февр. 1833> – Там же, л. 14.
С. 211–212. *...Киреевский сожалел... "глубокое" его значение.* – См. письмо А. И. Кошелева О. от 12 февр. 1833 г. – Там же, № 637, л. 28. Частично опубл.: Сакулин. Ч. 2. С. 35–36. Отрывок из "Озорных рассказов" (в рус. пер. "Темные повести") был опубл.: Сын отечества. 1832. Ч. 150. С. 189–199. Рец. Белинского см.: Белинский. ПСС. Т. 2. С. 122. См. также: Сакулин. Ч. 2. С. 36, 66; Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 165.
С. 212–213. *"Когда вы где-нибудь... канцелярскую тайну".* – "Пестрые сказки..." Спб., 1833. С. XI–XII.
С. 213. "...это *очень на тебя похоже".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 36, прим. 3.
С. 213. *"...оставьте меня в покое!"* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 80, л. 534.
С. 213. *"...выручаю за свои сочинения".* – Там же, ф. 850, № 408, л. 29.
С. 214. *...Ивана Киреевского, уезжавшего за границу.* – См.: ЛН. 58. С. 258; письмо И. Киреевского родным от 21 янв. 1830 г. // Рус. архив. 1906. № 12. С. 586–588.
С. 214. *...претендовали на некоторую философичность.* – Подробнее см.: Турьян М. Жизнь и творчество Антония Погорельского // Антоний Погорельский. Избранное. М., 1985. С. 11–16.
С. 214. *"Смешные и грязные анекдоты..."* – Пушкин и его современники. Материалы и исслед. Вып. 23–24. Пг., 1916. С. 117.
С. 215. *"Эти гостинцы я повезу в Москву".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 54.

С. 215. *...дипломатом А. П. Бутеневым.* – См.: Бутенев К. В. П. Титов // Рус. архив. 1892. № 1.С. 87–91.
С. 215. *...о Титове как о ее "протеже".* – Письмо от 21 апр. 1832 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, №1265, л. 1.
С. 215. *"...с скучными гостиными петербургскими".* – Цит. по: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. С. 126.
С. 216. *"...к... ращетам à froid".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 2. С. 369.
С. 216. *"...в черновиках "Домика в Коломне".* — Подробнее см.: Там же. С. 370, прим. 2; Passage E. The Russian Hofmanists. The Hague, 1963. P.p. 56–57; Cornwell N. V. F. Odoyevsky. His life, times and milieu. London, 1986. P. 303; Родина Т. М. Достоевский. Повествование и драма. М., 1984. С. 80.
С. 216. *...переделку нашумевшего сюжета.* – Антоний Погорельский. Избранное. С. 16.
С. 217. *"...сочинений настоящего времени".* – См.: Лит. газета. 1830. 23 окт. № 60. С. 193–195; Пушкин. Акад. Т. 14. С. 81 (здесь и далее). См. также: Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика рус. литературы. М., 1976. С. 76–100.
С. 218. *...назвала... "Северная пчела".* – Сев. пчела. 1831. № 158, 17 июля.
С. 218. *"...на жаненовский манер".* – Полевой Н. Избр. произв. и письма. Л., 1986. С. 514.
С. 218. *"...во всем своем неприличии – как хотите".* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 49.
С. 219. *...этим же пушкинским приемом.* – Здесь и далее см.: Вацуро В. Э. "Великий меланхолик" в "Путешествии из Москвы в Петербург": Временник Пушкинской комиссии, 1974. Л., 1977. С. 43–63.
С. 219. *...Смирнову-Россет и Гоголя.* – Подробнее см.: Вацуро В. Э. "Повести Белкина" // Пушкин А. С. Повести Белкина. М., 1981. С. 327.
С. 220. *"...основные его мысли и верования".* – В память о кн. В. Ф. Одоевском. С. 55.
С. 220. *..."под названием русских романов".* – Письмо О. А. И. Кошелеву от 23 сент. 1831 г.: Труды кафедры рус. литературы Львовск. ун-та. Вып. 2. Львов. 1958. С. 72.
С. 221. *...как и у Пушкина, об "историях".* – На это обратил уже внимание С. Бочаров. – См. в его кн.: Поэтика Пушкина. М., 1974. С. 149, прим. 67.
С. 222. *"...что и кричать нельзя".* – Анненков П. В. Лит. воспоминания. [М.,] 1960. С. 71.
С. 222. *Пародийное начало... в "Повестях Белкина".* – См.: Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987. С. 343–347; Пушкин А. С. Повести Белкина. С. 39–44.
С. 222. *..."столичным" вариантом Ивана Петровича.* – См.: Бороздин А. К. И. П. Белкин и его произведения // Собр. соч. Пг., 1914. Т. 2. С. 30–61; Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. С. 127–185.
С. 222. *..."направление понимания текста".* – Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 538.
С. 223. *"...трудно отделить их друг от друга".* – См.: Узин В. С. О повестях Белкина: Из комментариев читателя. Пб., 1924. С. 17–18.
С. 224. *"...может иметь относительную пользу".* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 11, л. 67 и об.
С. 225. *...как годный для печати.* – Там же. № 80, л. 533.
С. 225–226. *"Первоначальное воспитание".* – Там же. № 4, лл. 138–139; то же – с некот. разночтениями – № 80, л. 534–538. По этой копии восстановлена поврежденная в № 4 часть текста (отмечено < >). В пересказе данный и др. отрывки см.: Сакулин. Ч. 2. С. 37–48.
С. 226. *...высечь старосту на конюшне...* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 20, л. 83 об.
С. 228. *...его детская сказка "Червячок".* – Подробнее см.: Сакулин. Ч. 1. С. 450; Ч. 2. С. 39–40.
С. 228. *...параллельно с "Пестрыми сказками"...* — См. письма Кошелева О. от 26 июня и 1 окт. 1833 г., в кот-х он спрашивает, "скоро ли издастся жизнь почтеннейшего Гомозейки?" – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 33, 34 об.
С. 228. *...прелести искреннего "простодушия".* – Моск. телеграф. 1833. № 8. С. 572–582.

С. 228. ...*уживалась и "добродушная веселость"...* – Сев. пчела. 1833. № 104.
С. 230. *"Его ум и сердце еще не испорчены".* – Русские ночи. С. 210.
С. 230. ...*реальности "пограничного" существования.* – Подробнее см.: Бочаров С. Г. О смысле "Гробовщика" // Контекст 1973.М., 1974. С. 196–230; Турьян М. А. "Игоша" В. Ф. Одоевского... // Рус. литература. 1977. № 1. С. 132–136; Петрунина Н. Н. Проза Пушкина. Л., 1987. С. 76–100.
С. 230. *"...кажется мне понятным и естественным".* – Сочинения кн. В. Ф. Одоевского. Ч. 3. Спб., 1844. С. 56.
С. 231. *"...в оное же село Морковкино".* – Пестрые сказки... С. 31–32.
С. 232. *"...производится под моим присмотром".* – Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. М., 1986. С. 82.
С. 234. *"...необыкновенно-странное происшествие".* – О других совпадающих мотивах см.: Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1959. С. 465 (ком. Е. Ю. Хин).
С. 234. ...*"немотивированной" и "неразрешенной" фантастики.* – Подробнее см.: Манн Ю. Фантастическое и реальное у Гоголя // Вопросы литературы. 1969. № 9. С. 115–119; Инютин В. В. Опыт целостного анализа гротескного произведения... // Коммуникативная и поэтическая функция худ. текста. Воронеж, 1982. С. 59–65.
С. 235. *"...что кажется необходимым".* – Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 426–427.
С. 235. *"Не достоин... в их компании".* – Там же. С. 429.
С. 235. *"...из наших двух новых повестей"...* – Киевская старина. 1883. № 4. С. 846.
С. 235. ...*под одной обложкой писатели.* – См.: Виноградов В. В. Избр. труды. Поэтика рус. литературы. М., 1976. С. 79; Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 292 (прим. Г. М. Фридлендера).
С. 236. ...*принципов новой поэтики.* – Виноградов В. В. Избр. труды. С. 78.
С. 236. *"...красные занавески у окон".* – <Жанен Жюль>. Мертвый осел и обезглавленная женщина. Пер. с фр. М., 1831. С. 39–40.
С. 236. ...*повторять уже сказанное.* – Сакулин. Ч. 2. С. 135–148.
С. 236. *"...удалось ли мне его?"* – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 24.
С. 236. *"...быть более пластическим..."* – Русские ночи. С. 235.
С. 237. *"...реторта хорошо написана..."* – Отзывы подробнее см.: Сакулин. Ч. 2. С. 35–37.
С. 237. ...*образ "персонифицированного" носа.* – Уместно вспомнить, что обложка вышедшего спустя девять лет издания "Мертвых душ" была сделана по собственному рисунку Гоголя. – Воспроизв.: Золотусский И. Гоголь. М., 1984. Между с. 320 и 321.
С. 237. *"...Пестрыми с красным словцом".* – Соч. и переписка П. А. Плетнева. Т. 3. Спб., 1885. С. 528.
С. 237. *"...в начале мая... не своенравное и не игривое".* – Остафьевский архив. Т. 3. С. 233; Рус. архив. 1900. № 3. С. 373.
С. 238. *"...когда писать их нетрудно".* – Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 578. Ср.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 323–324.
С. 238. ...*вызвав резкие его возражения.* – Долгоруков П. В. Министр Ланской // Будущность. (L'avenir). 1860. № 1. 15 сент. С. 6. Ст. опубл. в парижском эмигрантском изд., и поэтому О. лишен был возможности отвечать печатно. Его ненапечатанный ответ и дневниковый комментарий см.: ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 85, л. 36–37, авт., л. 38–42 об. – копия; ЛН. 22–24. С. 117–118. В обоих случаях О. отрицал самый факт своего разговора с Пушкиным по поводу "Пестрых сказок".
С. 239–240. Отзыв А. И. Сабурова. – ЦГАОР, ф. 1074, оп. 1, ед. хр. 3, л. 4 об. – 7 об. О нем см.: Декабристы. Биогр. справочник. М., 1988. С. 162–163.
С. 240. "Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки". – Библ. для чтения. 1834. Т. 2. С. 192–211.

С. 240. *...отделанный... как самостоятельная история.* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 542–547, 555–556.
С. 241. *"...уже затевать такие затеи..."* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 21–22.
С. 241. *...благодаря Сеченову... полицмейстером.* – Сакулин. Ч. 2. С. 43, прим. 1. Сведения Сакулина о том, что Сеченов служил также градоначальником в Симбирске, ошибочны. (См.: Пушкин. Исслед. и материалы. Т. 11. Л., 1983. С. 184, прим. 42.).
С. 242. *...а я сделал как следует...* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 988, л. 94–95 об.
С. 242. *...и так понемногу действую...* – Там же, л. 92–93 об.

Глава IX. "...ВИДЕЛ Я СКРОМНУЮ ОТШЕЛЬНИЦУ..." ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ.

С. 244. *"Дело ее, кажется, кончено".* – Письмо от 30 окт. 1833 г.: Пушкин. Акад. Т. 15. С. 90.
С. 245. *"...моих подчиненных положение их..."* – Письмо от <ноября 1832 г.> – ГПБ, ф. 5 39, оп. 2, № 988, л. 93 и об.
С. 245. Из объяснительной записки Сеченова. – Там же, № 1453, л. 1. (Здесь и далее прим. подробнее см.: Турьян М. А. Из истории взаимоотношений Пушкина и В. Ф. Одоевского // Пушкин. Иссл. и материалы. Т. 11. С. 183–191).
С. 245. Из объяснительной записки Кравковой. – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1453, л. 4.
С. 246. *...с "недопущением до должности".* – Письмо Сеченова О. от 25 янв. 1833 г. – Там же, № 988, л. 15.
С. 247. "*... наклонности к несчастной жертве".* – Там же, л. 14.
С. 247. *"...и посвятить себя Богу..."* – Там же, № 1453, л. 8 и об. (л. 6–7 – копия).
С. 247–248. О. – Сеченову. – Там же, № 1459, л. 2–3.
С. 248. *"...и готовности каждого удовлетворить..."* – Письмо б/д <2-я пол. 1832 г.> Там же. № 988, л. 85–86.
С. 250. *"...что и удавалось с успехом..."* – Письмо б/д <1833 г.> – Там же, л. 98.
С. 250. *"...попрошу его потерпеть".* – Там же, № 827, л. 4 и об.
С. 250. *"...ответь мне с ближайшей почтой".* – Письмо от 10 июля 1832 г. – Там же, л. 5 об.
С. 251. *"...что первые деньги будут для них".* – Там же, № 1459, л. 7 об.
С. 251. *"...за ненужность кому-либо дать".* – Там же, № 988, л. 15.
С. 251. *"...с чувством высокой добродетели".* – Там же, л. 112–113.
С. 251. *"...святой долг" его пасынка.* – Там же, л. 15 об.
С. 251. *...передавала... Екатерина Алексеевна.* – Там же, № 989, л. 40–41.
С. 251–252. *"...С помощью Бога... в выкупе имения".* – Письма от 3, 14 февр., б/д <февр.>, 21, 27 февр. 1833 г. – Там же, № 988, л. 7 об. – 8, 16–18 об., 21, 89 об. и 97 об.
С. 253. Письма Сеченова О. от 24 февр., 9 марта 1833 г. и б/д. – Там же, л. 5 об., 9–11.
С. 254. *..."едва-едва дышут".* – Там же, л. 34–35.
С. 254. *"...с моей стороны ее требования".* – Там же, л. 113 об.
С. 255–256. Письма Сеченова О. – Там же, лл. 87–88 об.
С. 256–258. Письма Сеченовой О. – Там же, № 989, л. 44 об. – 45, 47–49.
С. 258. *...гонения от оных и пр.* – Там же, оп. 1, № 20, л. 83 об.

Глава X. "СЕБАСТИЯН БАХ". "...ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ РАСТЕРЗАНА..."

С. 259. *"...я готовил для... Дома Сумасшедших".* – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 29–30.
С. 260. *"...помещу Биографию Себастьяна Баха".* – Письмо от 6 нояб. 1831 г. – МЛН. С. 495; см. также с. 650.
С. 260. *..."разговор доброго, умного человека".* – См.: "Из памятных тетрадей С. М. Сухотина" // Рус. архив. 1894. № 2. С. 240.

С. 262. *"...радужное сияние, закатился навеки!.."* – Здесь и далее цит. по кн.: Русские ночи. С. 103–132. Впервые: Моск. наблюдатель. 1835. № 5. С. 55–112. Подп.: Безгласный, с датой: Ревель. 1834.
С. 263. *...задумана как "итальянская" повесть.* – См.: Турьян М. А. Эволюция романтических мотивов в повести В. Ф. Одоевского "Саламандра" // Русский романтизм. Л., 1978. С. 188–189.
С. 264. *"...(высшая степень сомнамбулизма)..."* – Русские ночи. С. 201.
С. 265. *"...инстинкт есть бред".* – Там же. С. 210.
С. 265. *...исполненных упреков писем из Женевы.* – См., напр., письмо от 2/14 янв. 1832 г.: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 637, л. 13–14.
С. 265. *"...когда узнаешь все обстоятельства дела".* — Цит. по: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. С. 99–100.
С. 266. *"...не могу несколько его рассеять..."* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, №637, л. 15.
С. 266. *"...возвращусь в Питер".* – Там же, л. 17 об.
С. 266. *"...и это ослабление я чувствую".* – Цит. по: Колюпанов Н. Биография А. И. Кошелева. Т. 1. Кн. 2. С. 102.
С. 266. *"...в блестящей светской среде".* – Ветринский Ч. В сороковых годах. М., 1899. С. 302.
С. 267. *...у него не было... оснований.* – Сакулин. Ч. 2. С. 257, прим.
С. 267. *...выполненный... К. А. Горбуновым.* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1492. Одоевские в числе других оказывали Горбунову в Петербурге покровительство. – См.: ЛН. 45–46. С. 776 и сл.; письмо Н. Н. Ланской к О. С. Одоевской <2-я пол. 1841 – нач. 1842 г.>, в котором она просит Одоевскую ввести Горбунова в дом кн. Голицыной (ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1336, л. 20 и об.).
С. 267. *"...туда сиротой десяти лет..."* – Там же, № 686, л. 109.
С. 268. *"...и которых я люблю видеть..."* – Цит. по: Модзалевский Б. Л. Пушкин. [Л.,] 1929. С. 135.
С. 268. *"...после рождения... Николая".* – Арапова А. П. <Очерк ее о роде Ланских>, б/д: ИРЛИ, 25727 С XXXVб. 13, л. 21. См. также: Сборник биографий кавалергардов. 1801–1826 / Под ред. С. Панчулидзева. Спб., 1906. С. 233.
С. 270. *"...долго и много разговаривал".* – См.: Пушкин. Акад. Т. 12. С. 321. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 239; Письма А. Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 200–201.
С. 270. *"...не переменяя туалета".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 209.
С. 271. *"Она сильно подействовала на меня".* – Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 21. С. 60. См. также: Белинский. ПСС. Т. 8. С. 312.
С. 272. *...усилия... именно эти мотивы.* – Ср., напр., наиболее существенное разночтение: вместо "Когда возвратился... говорить словами". (Моск. наблюдатель. С. 111) – "Смерть матери... говорить не о музыке" (Цит. по: Русские ночи. С. 131).
С. 273. *"...а не светская жена".* – Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 613.
С. 274. *"...своей высокой теории любви".* – Белинский. ПСС. Т. 10. С. 336–337. См. также: Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982. С. 24–41.
С. 275–276. *"Иноку ли привычны... слова? ... пожатия руки – надежды"...* – Там же, л. 521 об. – 525. Название романа обозначено О. в оглавлении этого переплета ("Тетрадь XVI").
С. 276. *...даже "русской" Цецилии.* – "Характер". – Там же, л. 526–532 об.; др. отрывки см.: № 1, л. 231 и об., № 9, л. 409 ("Старинная легенда"), № 13, л. 53–54 об., 126–129. Ср.: Сакулин. Ч. 2. С. 14–17.
С. 278. "Катя, или История воспитанницы". – Новоселье. Спб., 1834. Ч. 2. С. 369–402.

Глава XI. ЖУРНАЛИСТИКА

С. 280. *...ето нас очень расстроивает.* – Письмо б/д <сент.–окт. 1837 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1473, л. 9 и об.

С. 280. *"...я что говорится в тяжких".* – Письмо О. С. П. Шевыреву от 12 июня 1836 г. – Там же, ф. 850, № 408, л. 5.
С. 280. *"...не шутка, по крайней мере для меня".* – Ему же, б/д <конец 1834 – нач. 1835 г.> – Там же, л. 30 об.
С. 281. *"...вот состав журнала".* – ЛН. 58. С. 121–122.
С. 282. *...где тот выглядел, конечно, "странно".* – См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. Спб., 1896. Т. 1. С. 208.
С. 282. *"...нашу программу и наши условия".* – Цит. по: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных "Отеч. записок" // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1949. Т. 6. № 3. С. 214.
С. 282. *"...приготовить... трудящуюся молодежь".* – ЛН. 58. С. 291.
С. 283. *...собирался даже открыть том.* – См. письмо Пушкина О. от начала (не позднее 5) апреля 1836 г.: Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 436–437.
С. 283. *"...чтоб он печатал, как вздумает..."* – Письмо от 11 мая 1836 г. // Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837, Л., 1969. С. 137–138.
С. 284. *...был ему еще едва знаком.* – См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 454.
С. 284. *"...сколько мои силы... допустят".* – Цит. по: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский... С. 213.
С. 284. *...вызывала уже серьезные сомнения.* – Здесь и далее подробнее см.: Турьян М. А. Из истории взаимоотношений Пушкина и В. Ф. Одоевского // Пушкин. Иссл. и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 174–183.
С. 284. *...планировались в третий... номер.* – См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 440–442.
С. 284. *"...я писать не могу"...* – Письмо О. Шевыреву, б/д <конец 1834–нач. 1835г.> – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 30 об.
С. 285. *"...это вас не разорит".* – Там же, л. 5.
С. 285. *"...тем более он будет благодарен".* – Письмо от 8 сент. 1836 г. – ГБЛ, архив и коллекция Давыдовых, картон № 1, ед. хр. 57, л. 2 об.
С. 285. *"...выручаю за свои сочинения".* – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 29.
С. 285. *...в самом деле завершенная в Ревеле...* – Цензурное разрешение на повесть было получено О. 25 авг. 1836 г. – См.: ЦГИА, ф. 777, оп. № 27, ед. хр. 200, л. 32.
С. 285. *"По одежке протягивает ножки".* – ГПБ, ф. 391, № 152, л. 45 об.
С. 286. *...пришлось своими планами поступиться.* – См.: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский... С. 217.
С. 286. *...предполагала полный разрыв.* – См.: письмо Краевского и О. Пушкину <Середина авг. – первая пол. (до 16) сент. 1836 г.> // Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 442–444; ЛН. 58. С. 295.
С. 286. *...иначе, чем это обрисовал Оксман.* – См.: Пушкин. Иссл. и материалы. Т. 11. С. 180, прим. 23–24.
С. 287. *"...Тогда издавайте... в 4-х книжках".* – Цит. по: Заборова Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // Там же. Т. 1. С. 328.
С. 287–288. *"...для представления ему на разрешение".* – ГБЛ. Архив и коллекция Давыдовых, картон № 1, ед. хр. 57, л. 2 об.
С. 288. *"...слава не была продолжительной..."* – Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 119, 132.
С. 288. *...без предварительного дозволения правительства.* – Цит. по: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский... С. 218.
С. 289. *"...будет иметь хорошее направление".* – Рус. старина. 1903. № 3. С. 588–589. Между прочим, именно в это время О. получил камергера. Ходатайство о пожаловании его, библиотекаря Комитета иностранной цензуры, в это звание, подписанное, кстати, министром просвещения С. С. Уваровым, помечено 17 июня 1836 г. (См.: ЦГИА, ф. 472, оп. 2, ед. хр. 876, л. 92–93); официальное извещение о пожаловании появилось в "Северной пчеле" 13 июля 1836 г. (№ 157, разд. "Внутренние известия").

С. 289. ...в *весьма дурном расположении духа...* – Панаев И. И. Лит. воспоминания. М., 1988. С. 125.
С. 289. *"...отвечал интересам Пушкина".* – См.: Известия АН СССР. Отд. л-ры и языка. 1951. Т. 10. Вып. 5. С. 521–522; Пушкин. Исслед. и материалы. Т. 1. С. 329; Пушкин. Письма последних лет. С. 437; Орлов Вл. Молодой Краевский // Орлов В. Пути и судьбы. Л., 1971. С. 460.
С. 290. *"...и может идти лучше... издание решительно хорошее".* – Цит. по: Орлов Вл. Молодой Краевский. С. 473, 467–468.
С. 291. *"...одну часть вы, а другую мы".* – Письмо О. Шевыреву от 28 сент. 1836 г. – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 7–9. Частично опубл.: Могилянский... С. 220. Еще 1 дек. 1836 г. Погодин спрашивал О.: "...я слышал, что "Наблюдатель" переводится в Петербург. Правда ли это?" (Рус. старина. 1904. № 3. С. 710).
С. 292. *"...2-е – ваше дело".* – Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 433.
С. 292. *...лишь несколько десятилетий спустя.* – Впервые: Рус. архив. 1864. № 7. С. 824–831; см. также: Пушкин. Иссл. и материалы. Т. 1. С. 330.
С. 292. ...в *жизни пушкинского журнала.* – См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 445–451.
С. 292. *"...о его смерти в своем журнале".* – Пушкин в письмах Карамзиных... С. 176.
С. 294. *"...первый камень етой баттареи".* – Рус. старина. 1880. № 8. С. 805.
С. 294. *"...напечатают в Литературных Прибавлениях".* – ГПБ, ф. 850, № 408, л. 25 об.; частично опубл.: Сакулин. Ч. 2. С. 326, прим.
С. 294. *...признавался... Краевский Погодину.* – Цит. по: Барсуков. Т. 5. С. 112–113.
С. 295. *"...есть огромное брюхо..."* – Цит. по: Могилянский... С. 221.
С. 295. *"...должно смотреть... как на майораты".* – Рус. архив. 1868. Стлб. 652.
С. 295. *..."пушкинское" название – "Литературная газета".* – Подробнее см.: Орлов Вл. Лит.-журнальная деятельность А. А. Краевского (в 30-е гг.) // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. Серия филологич. наук. Вып. 11. № 76. Л., 1941. С. 37–46.
С. 295. *"...и она выходит еженедельно".* – Пушкин в письмах Карамзиных... С. 154.

Глава XII. КОНЕЦ ТРИДЦАТЫХ

С. 296. *"...в почве русской действительности".* – Белинский. ПСС. Т. 8. С. 305–306.
С. 297. *...это противно природе... совершенно чистою, невинною".* – Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 252–253.
С. 297. *"...поменьше было сплину".* – Письмо от 24 нояб. <1834 г.>. ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1063, л. 32.
С. 298. *"Это их дело".* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 251, 254.
С. 298. *...продажа леса из... имения князя...* – См. письмо Сеченова О., б/д <1833 г.>: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 988, л. 89.
С. 299. *"...холодно перенесенный из иностранной книги".* – Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 44.
С. 300. *...девять изданий шведского философа...* – См.: Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988, № 3754–3762.
С. 300. *"...нравственный характер Сен-Мартена".* – Цит. по: Сакулин. Ч. 1. С. 397. См. также: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 161–162, 298.
С. 300. *...запутав будущих своих биографов.* – См.: Сакулин. Ч. 1. С. 459. В автобиографии, начатой в 1849 г. по просьбе С. Д. Полторацкого, О. собственноручно отметил дату своего рождения: "июля 30 дня 1804 года" (ГБЛ, ф. 233, к. 38, ед. хр. 32, л. 1–2).
С. 301. *...предвосхищавшие серьезные открытия.* – См.: Виргинский В. С. В. Ф. Одоевский. Естественнонаучные взгляды. М., 1975; его же. В. Ф. Одоевский как социолог и утопист // Вопросы истории. 1970. № 2. С. 196–204; Рус. речь. 1988. №3. С. 31–33.

С. 302. *"...в буре света и пустыне!"* – Цит. по: Сакулин. Ч. 1. С. 455–457.
С. 302. *"...порукой в том вы и я".* – Письмо от 25 мая 1839 г. // Евдокия Ростопчина. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986. С. 336–337.
С. 303. *...о ... силе инстинктуальных знаний.* – Отеч. записки. 1839. № 1. С. 1–16; № 2–3. С. 1–16; № 8–9. С. 12–26. Подп.: В. Безгласный.
С. 304. *"...мистицизм... и разгул чувственности".* – Рус. архив. 1874. Кн. 1. С. 342, 282.
С. 304. *"...и мы просветимся".* – Даль В. И. Полн. собр. соч.: В 10 т. Спб., 1897–1898. Т. 10. С. 319.
С. 305. *"...пишет такую гадость, что читать тошно".* – Труды Всесоюзн. б-ки им. В. И. Ленина. 1939. № 4. С. 211.
С. 306. *...был... описан немецкими учеными.* – Perty M. Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig und Heidelberg. 1861. S. 330–332.
С. 306. *...в нас говорит "кто-то другой".* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 128.
С. 306.*...одежда его – светла.* – Сакулин. Ч. 2. С. 93.
С. 307. *...ведьмы... а судьи их – палачи.* – См.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории зап.-европейской средневековой философии. М., 1957. С. 225 и сл.; Штейнер Р. Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям. М., 1917. С. 128–132; Шпренгер Я. и Инститорис Г. Молот ведьм. Пер. с лат. Н. Цветкова. М., 1932. С. 7, 11. Ср., между прочим, "Объяснительные примечания" В. Брюсова к его "Огненному ангелу" (гл. V, VI, XIV и др.).
С. 307. *..."материалиста... большой властью".* – См.: Леман Б. Сен-Мартен. Неизвестный философ, как ученик дона Мартинеца де Пасквалис. М., 1917. С. 58.
С. 308. *...в его "супружеские объятия".* – Рус. старина. 1904. № 6. С. 573.
С. 309. ...в *качестве самостоятельного произведения...* – Отеч. записки. 1841. № 1. С. 3–38; Утренняя заря. Спб., 1841. С. 15–128.
С. 309. *...носятся "вопли и стоны".* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 92, л. 298. Ср.: Сакулин. Ч. 2. С. 75.
С. 310. *...характера и психологии северного народа.* – Современник. 1839. Т. 13. С. 5–57; 1840. Т. 17. С. 5–31; 1840. Т. 18. С. 5–82. Здесь и далее подробнее см.: Турьян М. А. Эволюция романтич. мотивов в повести В. Ф. Одоевского "Саламандра" // Русский романтизм. Л., 1978. С. 187–206.
С. 310. *"...образовались древние мифы".* – Здесь и далее: Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 141–142. Ср. у Грота: Современник. 1840. Т. 19. С. 28–29.
С. 312. *"...земля... будет светла и прозрачна".* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 174.
С. 313. *"...вещественное, грубое земное".* – Русские ночи. С. 210.
С. 313. *...грозное наводнение 1722 года...* – В архиве О. сохранилось адресованное ему письмо А. Д. Боровкова от 15 нояб. 1824 г. с описанием только что пережитого им знаменитого петербургского наводнения 1824 г. (ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 269, л. 1 и об.).
С. 316. *"...можешь выбирать любое".* – Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 219.
С. 317. *"...подтверждение в новых открытиях".* – Там же. С. 113.
С. 318. *"...в алхимиках меньшей величины".* – Русские ночи. С. 158–160.
С. 318. *"...английских химиков и физиков".* – Алхимия и философский камень // Отеч. записки. 1839. Т. 5. № 8–9. С. 91. См. также: Русский романтизм. С. 192–193.
С. 319. *"...благодаря Бэкону Веруламскому".* – Русские ночи. С. 161.
С. 320. *"...остатки сил инстинктуальных знаний".* – Там же. С. 208.
С. 320. *"...роль... северных жителей".* – Там же. С. 200.
С. 321. *"... (высшая степень сомнамбулизма)".* – Там же. С. 201.
С. 321. *"...ум возвысить до инстинкта".* – Там же. С. 217.

Глава XIII. "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ..."

С. 322. *"...они не должны бы иметь".* – ЛН. 22–24. С. 146.

С. 323. *"...Руки Надежды Николаевны Ланской".* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 9, л. 168–169, б/д.
С. 324. *"...а ей уж тяжело..."* – Там же, оп. 2, № 686, л. 138 и об., б/д.
С. 324. *"...обязана отдать без промедления".* – Там же, л. 60.
С. 324. *"...отдать его я вынуждена".* – Там же, л. 180.
С. 325. *...правка была произведена... седьмой редакции.* - Подробнее см.: Вацуро В. Э. К цензурной истории "Демона" // Лермонтов М. Ю. Исслед. и материалы. Л., 1979. С. 410–414; Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1986. С. 36–41.
С. 325. *"...Вы мне не вернули".* – Заборова Р. Б. Лермонтов и Соллогуб // Труды Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Т. V (8). Л., 1958. С. 191.
С. 327. *"...располагать по моему произволению".* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 5, л. 1 и об.
С. 327. *"...продолжительное нездоровье. Князь В.Одоевский".* – Подробнее см.: Русские ночи. С. 277–278.
С. 327. *...уже в процессе корректуры.* – См. в связи с этим 2 записки Краевского О.: Сакулин. Ч. 2. С. 82, прим. 2.
С. 327. *"...для глупости и проч. т.п.".* – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 48, л. 51; см. также "Тринадцатый час" – отрывок из намечавшегося продолжения "Космора-мы" – там же, № 20, л. 110; Сакулин. Ч. 2. С. 89–90.
С. 329–330. *..."Ты в своем детстве... твоего посвятителя!"* – Здесь и далее цит. по кн.: Сильфида. Фантастические повести рус. романтиков. М., 1988. С. 480–525.
С. 333. *"...для которой она создана!"* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 20.
С. 333. *"...что почувствуешь, прочитавши".* – Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.; Л., 1957. С. 471.
С. 333–334. *"...тайны магнетизма и seconde-vue".* – ЛН. 45–46. С. 399.
С. 334. *"...как-то облегчить его участь".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 60, б/д.
С. 334. *...до самого последнего момента.* – Подробнее см.: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. С. 6–35.
С. 335. *...Подпись: "Незнакомка".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 124.
С. 335–336. *Письма Н. Н. Ланской О.* – Там же, л. 5–6, 20 и об.
С. 336. *О. – Ольге Степановне.* – Там же, № 138, л. 2–3.
С. 337. *..."тихую гармонию" ее души.* –- Воспроизведение "Святой Цецилии" Карло Дольчи см.: Гос. Эрмитаж. Зап.-европейская живопись. Каталог 1. Л., 1976. С. 92.
С. 337–338. *...непрестанно молитеся!* – Цит. по: Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. / Под ред. Д. И. Абрамовича. Т. 5. Спб., 1913. С. 36–37. О записной книжке, подаренной О. Лермонтову, см.: Рус. старина. 1887. № 5. С. 405–406; Заборова Р. Б. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского // Труды Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. V (8). С. 185–189. Ср.: черновые записи Сакулина о нравственно-религиозных взглядах О. – ИРЛИ, ф. 272, оп. 1, № 87, л. 231, 234, 299–313.
С. 338. *"...жертв насильственной смерти!.."* – Цит. по: Лермонтов М. Ю. Сб. ст. и материалов. Ставрополь. 1960. С. 159.
С. 338. *...от... практики его "фантастического" друга.* – Подробнее см.: Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова // М. Ю. Лермонтов. Исслед. и материалы. Л., 1979. С. 223–252.
С. 339–340. *Письма Н. Н. Ланской О.,* б/д <лето-осень 1841 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 103–110.
С. 340. *...вхожего в петербургское общество.* – Подробнее см.: Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Риссорджименто. М., 1959. С. 496, 701; Dino, duchesse de. Chronique de 1831 à 1862. T. 1. 1831–1835. Paris, 1909. P. 412; Пушкин в письмах Карамзиных. С. 56–57, 337.
С. 340–342. *Н. Н. Ланская – О.,* б/д <конец 1841 – нач. 1842 г.> – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 686, л. 154, 156, 133, 164–166 об.
С. 343–347. *Психологические задачи Хартина.* – Там же, оп. 1, № 30, л. 43–56.

С. 347. *"...съездить в Москву на 3 недели"...* – Там же, оп. 1, № 95, л. 119.
С. 347. *"...знаний алхимии и кабалы".* – Письмо А. С. Хомякова А. В. Веневитинову, б/д. // Хомяков А. С. Сочинения. Т. 8. М., 1900. С. 53–54.
С. 347. *...как сообщала... А. П. Елагина.* – Рус. архив. 1886. № 3. С. 335.
С. 348. *...называют его "отщепенцем".* – См.: Рус. старина. 1904. № 3. С. 714.
С. 348. *...в первое свое заграничное путешествие.* – См. письмо Плетнева Жуковскому от 5 июня 1842 г. – Рус. архив. 1870. Стлб. 127.
С. 348. *...оказалась теперь спасительной.* – См.: письмо Краевского О. от 13 янв. 1842 г. – в ст.: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский... С. 224; Тарасов Д. Ф. Выдающийся просветитель и педагог дореформенной России – В. Ф. Одоевский. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. педагогич. наук. М., 1963. С. 13.
С. 348. *"...княже Федоров сын Одоевский".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1226, л. 25.
С. 348. *"...никак подделать нельзя".* – См.: Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 138–141.
С. 348. *"...когда пройдет мучительная ночь?"* – Цит. по: Сакулин. Ч. 1. С. 459.

Глава XIV. ЕЩЕ КОНЕЦ ТРИДЦАТЫХ И НАЧАЛО СОРОКОВЫХ

С. 349. *...жалуют в статские.* – Формулярный список О. от 2 дек. 1868 г. – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 3.
С. 349–350. *О. – матери.* – Там же, оп. 2, № 1473, л. 10 об. – 12 об.
С. 350. *...фольклоре, музыке, детских приютах.* – Письмо от 1 нояб. 1839 г. // Путевые письма И. И. Срезневского из славянских земель. 1839–1842. Спб., 1895. С. 28–29.
С. 350–351. *"...три-четыре действительных литератора... когда он бывает у него".* – См.: Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929. С. 177–178, 180.
С. 351. *"...жандармы и вовсе не литераторы".* – Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 30–31.
С. 352. *...в карете с ливрейным лакеем.* – Панаева А. Воспоминания. М.; Л., 1933. С. 131–132.
С. 352. *"...милого и достолюбезного старца".* – Белинский. ПСС. Т. 11. С. 428.
С. 352. *...Краевский... его редактором.* – Подробнее см.: Орлов Вл. Лит.-журнальная деятельность А. А. Краевского // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. Серия филологич. наук. Вып. 11. № 76. Л., 1941. С. 46–48.
С. 352. *"...во время ученых занятий".* – Панаев И. И. Лит. воспоминания. М., 1988. С. 91.
С. 353. *...и ряд других сведений.* – Заборова Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине // Пушкин. Исслед. и материалы. Т. 1. М.; Л., 1956. С. 339–342.
С. 353. *"...политических происшествий с 1830-го года..."* – Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 433–434.
С. 353. *...еще знающей о ней понаслышке.* – Лит. прибавления к "Рус. инвалиду". 1838. № 43.
С. 354. *...по вопросам науки... домоводства.* – См.: Боград В. Э. Журнал "Отеч. записки". 1839–1848. Указатель содержания. М., 1985.
С. 354. "Утро журналиста"(Из записок ленивца). – Отеч. записки. 1839. № 12. С. 179–208. Подп.: С. Размоткин.
С. 355. *"...выбрали поле более обширное".* – Цит. по: Кулешов В. И. "Отеч. записки" и литература 40-х гг. XIX в. М., 1959. С. 16.
С. 355. *...в... тексте редакторского анонса.* – См.: Отеч. записки. 1839. № 1. С. 1–10.
С. 355. *"...свой взгляд и литературный кодекс".* – Рус. старина. 1904. № 5. С. 393–399.
С. 355. *...отнесся к "мешанине" ...и Герцен.* – Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 22. С. 10.

С. 356. *"...плесенью безмыслия и бессмыслия".* — Белинский. ПСС. Т. 11. С. 362, 370.
С. 356. *...по словам современного исследователя...* – См.: Левин Ю. Д. Рус. переводчики XIX в. Л., 1985. С. 51–71.
С. 356–357. *...мистицизма и всех "измов..."* — Белинский. ПСС. Т. 12. С. 114. Подробнее см.: Гинзбург Л. Белинский в борьбе с запоздалым романтизмом // Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982. С. 229–244.
С. 357. *"...Что делать – я так создан".* – Белинский. ПСС. Т. 11. С. 361.
С. 357. *"...и Краевский также не читал".* – Письмо от 29 янв. 1840 г. // Рус. старина. 1904. № 4. С. 198–199.
С. 357. *"...кн. Одоевский за ним ухаживает... обласкал меня, как нельзя лучше".* – Белинский. ПСС. Т. 11. С. 423, 418.
С. 358. *"...вы привезли меня травить?"* – Там же. С. 420.
С. 359. *"...почвы для литературы, соков для питания"...* – Белинский. ПСС. Т. 4. С. 434–435.
С. 359. *"...мы с ним спорили жестоко".* – Рус. архив. 1874. Кн. 1. С. 339–342.
С. 359. *"...во многом очень справедливые".* – Письмо Краевского О. от 13 янв. 1842 г. – См. прим. к с. 347.
С. 359. *...работали они тогда бок о бок.* – См.: О. "Мои записки". – ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 101, № 4, л. 6–10.
С. 362. *"...при письме от М. А. Болугьянского".* – ЦГИА, ф. 1261, оп. 1, № 59, прил. 1, л. 1–2. См. также: там же, № 59-а, л. 214; ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 103, л. 111.
С. 362. В. Ф. Одоевский. Объяснительная записка по делу о грузинских законах. – ЦГИА, ф. 1261, оп. 1, № 59-а, л. 23–199; черновые материалы к ней – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 103. Письмо О. Болугьянскому – ЦГИА, ф. 1261, оп. 1, № 59-а, л. 10.
С. 363 и сл. "Конфиденциальное объяснение" – ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 103, л. 175–181.
С. 363. *"...целые племена уничтожены..."* – Пушкин. Акад. Т. 8. С. 449.
С. 364. *...будет побеждено... "вероломство".* – См.: Капелюш Б. Н. Неизвестный текст А. А. Бестужева // Лит. наследие декабристов. Л., 1975. С. 290–294.
С. 364–365. *"Внимательное изучение... для дальнейших видов правительства".* – ЦГИА, ф. 1261, оп. 1, № 59-а, л. 50–51об., 181–182.
С. 365. *...проект Российской Закавказской компании.* — Подробнее см.: Эйдельман Н. "Мы молоды и верим в рай"... // Дружба народов. 1987. № 10. С. 161–167.
С. 366–367. *"Были ли изданы... Не забудь же о Вахтанге".* – ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 153, л. 8 и об.
С. 368. *...вызвав... протесты Позена.* – См.: ЦГИА, ф. 1268, оп. 1, ед. хр. 127, 37 л.
С. 370. *"Жизнь обратила этот утешительный призрак... и в каждой капле были яд и горечь!.."* – Русские ночи. С. 54–61.

ЭПИЛОГ

С. 371. *"...обделенное каким-нибудь органом".* – Рус. архив. 1870. Стлб. 1280–1281.
С. 371. *"...так жестоко не понял?"* – Цит. по кн.: Русские ночи. С. 234.
С. 371. *"Будь счастливее нас!"* – Отчет имп. Публ. б-ки за 1893 г. Спб., 1896. Приложения. С. 69.
С. 372. *"(...в разное время... месяцев) ..."* – ЛН. Т. 22–24. С. 145.
С. 372. *...по горькой необходимости и с... Дроковым...* – См. письмо Н. Ф. Павлова О. от 6 апр. 1839 г. об угрозе продажи Дрокова за долги: ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 845, л. 6–7.
С. 372. *Письмо А. А. Филиппова О. от 3 сент. 1848 г.* – ЦГАЛИ, ф. 365, оп. 1, ед. хр. 33, л. 1–2.

С. 372. *...в Париже, в начале 1860-х...* – См. письма Н. Н. Ланской Соболевскому от 27 нояб. 1861 и дек. 1863 г. – ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, ед. хр. 18, л. 381–383.

С. 372. *...на католическом кладбище Монмартр...* – См.: Рус. некрополь в чужих краях. Вып. 1-й. Пг., 1915. С. 49.

С. 372. *..."вечного горя" не существует.* – См.: ИРЛИ, ф. 272 (П. Н. Сакулина), оп. № 1, № 87, л. 5–14.

С. 373. *"...настоящее... концы с концами".* – Рус. архив. 1874. Кн. 1. С. 312–313. См. о том же письмо О. Шевыреву, б/д: ГПБ, ф. 539, оп. 1, № 96, л. 222–227.

С. 373–374. *Письмо Е. П. Ростопчиной О. от 4 февр. 1858 г.* – В кн.: Евдокия Ростопчина. Стихотворения. Проза. Письма. С. 340–341.

С. 374. *"...прежде, нежели исполню предпринятое".* – Рус. архив. 1895. Кн. 2. С. 36–40. См., между прочим, также отчет О. по возложенной на него работе над семью томами "Материалов к биографии императора Николая I" – ЦГИА,ф. 472, оп. 35, (18/985), д. 5 (1860 г.), л. 168.

СОДЕРЖАНИЕ